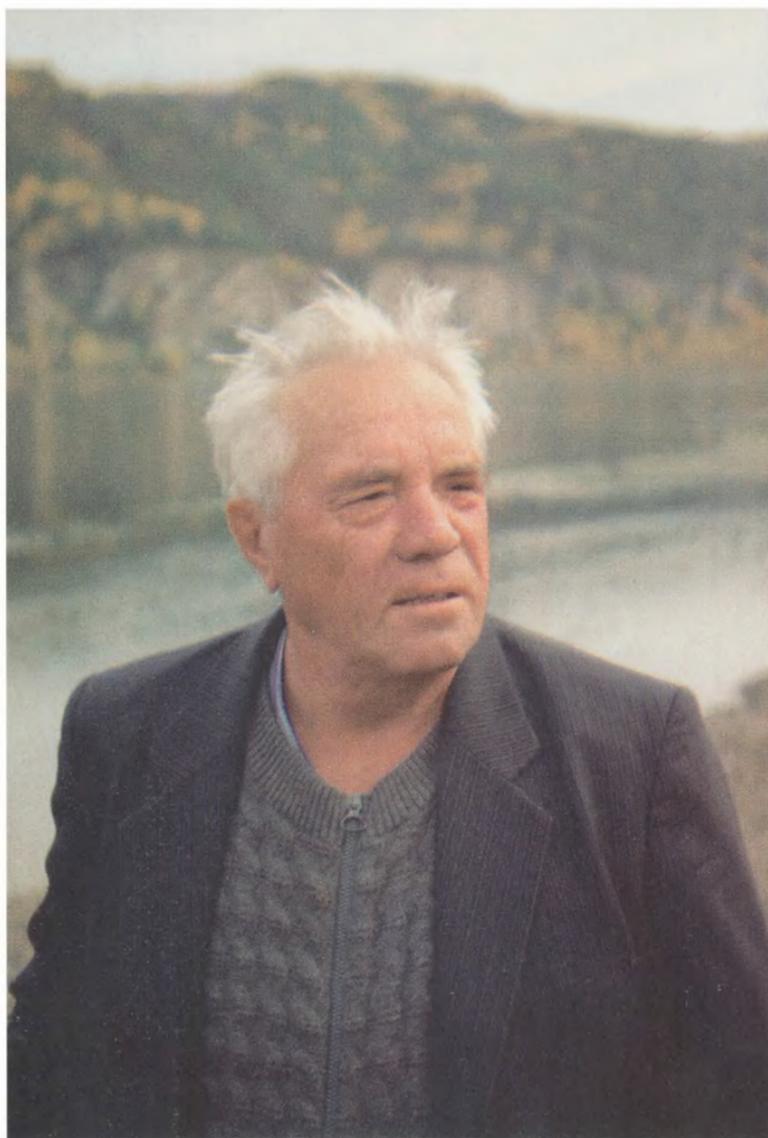


Звѣноꙗ АСТАФЬЕВ

Звѣноꙗ АСТАФЬЕВ



B. Acuña

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

**КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997**

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

Том
первый

•

РАССКАЗЫ
ТАЮТ СНЕГА
Роман

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

Художественное оформление
А. Озеревской и А. Яковлева

Астафьев В. П.

А91 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 1. Рассказы. Тают снега: Роман. Красноярск: «Офсет», 1997 — 608 с., портр.

В первый том Собрания сочинений нашего современника, русского писателя В. П. Астафьева — он родом из сибирской деревни Овсянка, живет и работает в г. Красноярске — вошли самые ранние его произведения, написанные им в 1951—1959 годах на Урале, в г. Чусовом, куда после войны привела его судьба. Здесь вчерашний фронтовик, молодой израненный солдат начал «примеривать себя» к гражданской жизни, здесь он начался как литератор, назвав свой первый рассказ «Гражданский человек». Здесь написаны первые рассказы для детей и роман «Тают снега».

В. П. Астафьев сам комментирует свои произведения во вступительной статье и примечаниях.

Издательство выражает признательность сотрудникам Российской Государственной библиотеки С. Н. Просековой, Е. М. Васильевой и другим, оказавшим существенную помощь в подготовке текстов данного тома.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Вышли мы все из народа,
Как нам вернуться в него?

Игорь Кобзев

Я начинал писать в очень сложное для нашей литературы, да и всей культуры, да и для всего общества, время. Начинал как типичный областной писатель. Обычно эти слова берут в кавычки, я этого не делаю совершенно сознательно. Мой путь в литературу не был тяжким, но и легким его назвать нельзя. Так называемое «становление писателя» происходило одновременно со становлением человека и гражданина. Это и всегда так было, но только в мирных условиях, в нормальных государствах все это происходило естественно, без судорог, переворотов в сознании и жизни, без искажения понятий в восприятии действительности, как показало время, для граждан наших, и в немалом количестве, обернувшееся неисправимым моральным уродством. Часть из них так и не решилась расстаться с привитыми им вроде оспы жизненными постулатами, с навязанной идеологией, понятиями чести, совести, принципов, точнее, беспринципности. Хорошо быть малым дитем, весело, беззаботно, и никакого с тебя спросу, за все отвечает дядя, который велел тебе петь и смеяться, «как дети, среди упорной борьбы и труда».

Но если ж ты решился в Отечестве нашем жить не по указке ротного старшины, любимой партии и очередного отца и учителя, если задался целью преодолеть в себе не только послушного раба, называемого советским гражданином, изжить прежде всего свое гражданское невежество, робость перед своим начальством, не гнуться послушно перед повседневной и повсеместной ложью и остервенело рвущим живое мясо карательным сословием, ты обязан был подняться над всем этим, нравственно пре-

взойти быдло, претендующее направлять жизнь и ставить тебя по команде смиренно.

Я знавал и знаю людей, которые и в лютых сталинских лагерях были независимы, свободны духом, их не могли подавить самые оголтелые держиморды и садисты, дело кончалось тем, что они заставляли нашу карательную систему пойти на попятную и даже заискивать перед «политическими». Маявшийся в Кучинской политзоне, неподалеку от города Чусового, о котором речь впереди, Василь Стус, замечательный украинский поэт, великий, бесстрашный гражданин земли своей истерзанной, лагерному холоду и живодеру говорил: «Ты гестаповец! Ты фашист! Ты вечный жандарм!» — Они, эти воспитатели, добились, домордовали в конце концов человека по фамилии Стус, запрятали его в уральской земле под столбиком N 9. Но они не в силах были убить мятежного гражданина и поэта Василия Стуса — это выше всех их истребительных сил. Были и такие среди «политических», которые на удар плетью, на издевательства и матерщину смиренно говорили: «Господь тебя прости!» И ничто так не бесило лагерное отродье, как это гордое смирение человека, не желающего опуститься до злобного зверя.

Надо было преодолеть в себе неуча, надо было не по капельке, а по бисеринке выдавливать из себя привычку к крови, к смерти, приобретенную на войне, следовало из одноклеточного существа превратиться в нормального человека, потом уж откликаться на творческий позыв, существовавший с детства. Я говорил и писал уже не раз, что писателем рождаются, а вот членом Союза писателей становятся, иногда очень быстро, ловко, успешно и хлебно.

В самый раз, пожалуй, немножко рассказать о себе. Много писать не требуется, потому как в творчестве моем биография отображена довольно полно и подробно, прежде всего в самой моей «толстой книге» — «Последний поклон». Только не надо воспринимать ее чисто биографической книгой. Как и во всяком сочинении, есть в ней и домысел, и вымысел, авторская фантазия, реальные персонажи сосуществуют иногда с никогда на свете не жившими, возникшими из моего воображения. Я понимаю, что вобью в удручение некоторых моих доверчивых читателей, коих воспитала наша упрощенческая критическая да убогая общественная мысль: коли есть прототип и все «списано с жизни», значит, книжка правдивая и автор — человек хороший, но коли прототипа нет, то шарлатан он, не писатель, и надо у него проверить документы.

Но, люди добрые, живи человечество по законам соцреализма и сообразуйся с рецептами его, оно ж никогда бы не получи-

ло бессмертных произведений Гомера, «Доп-Кихота», «Путешествий Гулливера», не говоря уже о незабвенном «Бароне Мюнхгаузене», «Шахерезаде», Дантовом «Аде» и бессмертных произведениях совершенно ошеломляющего своим бесовством, несравненного выдумщика, архигениального русского сочинителя Гоголя.

Родился я, если считать расстояние вверх по Енисею, в восемнадцати верстах от Красноярска, в селе Овсяпка, которое чуть постарше самого краевого центра, 1-го мая 1924 года. Прадед мой имел мельницу и огромное безалаберное потомство, среди которого мой папа, Петр Павлович Астафьев, был старшим внуком своего деда Якова Максимовича Мазова — так именовали моего прадеда, который, прийдя в село, долгое время жил на окраине, в мазанной глиной избушке-полуземлянке, а может, и за то, что примазался к селу.

Сам Яков Максимович, по рассказам, слышанным мною от односельчан, якобы явился в Сибирь поводырем слепой бабки из Архангельской губернии, Каргопольского уезда. Я и в самом деле видел на архангельской губернской карте хутор под названием Астафьев, ныне исчезнувший, как и все «неперспективное» по Руси, запущенной и горькой. Может быть, прадед мой происходил оттуда? Этого я не знаю, но что фамилия Астафьевых прибыла в Сибирь из Архангельской губернии — подтверждает пятитомное издание «Освоение Арктики». Там есть справка о том, что у одного архангельского купца служил приказчик по фамилии Астафьев, и ходил он с артелью за соболем в Сибирь и однажды, будучи на реке Вилюй, решил здесь остаться, повести свое дело и попросил свою долю у хозяина, и тот, судя по всему, ее дал, потому как купец Астафьев не только закрепился в Сибири, но повел дело широко, толково. Так что фамилия наша наибольшее распространение получила из глубин Сибири, да и закрепилась на ее необъятных просторах. Глядя на Читинский мемориал погибших в Отечественную войну сибиряков, я считал сорок семь однофамильцев.

Прадед же мой, Яков Максимович, похоронив бабку свою, еще юношей пошел по богатым верхнеенисейским селам и занимался в работники на водяные мельницы. Был он, судя по всему, человеком мозговитым, с архангельской сметкой, пить горькую не обучился, а вот мельничное ремесло перенял. Накопив денег и спрятав их в драную меховую шапку, которую, сказывали, он везде и как попало бросал — чтобы не был заподозрен «капитал» и лихие люди не позарились бы на него, прадед свою первую мельницу построил на речке Бадалык, за Красноярском. Но в связи с вырубкой лесов речка эта сделалась маловодна,

летами начала и вовсе пересыхать, смоловши мешок зерна, мельник накапливал воду, чтобы слова оживить мельничные мощности. В конце концов речку Бадалык и хозяйство на ней прадед оставил и начал искать место для нового строения. Сунулся за Енисей, в село Торгашино — там уже работает мельница, побывал в селе Базаиха — там мельница совсем уж большая и мощная бурно шумит, и люди или сам уж Господь подсказали Якову Максимовичу пешком перевалить горный перевал. Что он и сделал, сразу же оказавшись на берегу дивно-красивой, многоводной, таежной речки Слизневки, которая в ту пору будто бы звалась Селезневкой, но крепко подгулявшие топографы, иль картографы, спьяну название речки переврали, поименовав ее именем, совсем для речки не подходящим, красоту ее унижающим названием.

Могучий, самовитый, трудолюбивый от Бога наделенный, прадед мой на своем хребту таскал бревна на мельницу, сам ее рубил, возводил, лелеял на радость селу Овсянка и, как оказалось, на горе себе и своей семье. Был он, как и все мельники, не без причуд, слыл колдуном, пугал собою визгливых девок и малых ребятишек. Жена Кольчи-младшего, моего дяди, Анна Константиновна, до се вспоминает, что, как раздастся вопль: «Мазов идет!» — все малое население села с улиц разбегается, забираясь, кто за печь, кто на полати, кто под лавку. А он, поймавши дитя, возьмет да мукой его измажет, иль колочей бородой пошоркает, а когда и по голове погладит, конфетку даст. Господи, неужели такие простодушные времена бывали тут? Неужели на селе страшнее мельника и зверя не водилось? Даже и не верится!

Сам же я прадеда Мазова и прабабку Анну не помню, знаю, что прабабка похоронена на Усть-Мале, а прадед в Игарке, куда он угодил в ссылку, когда ему было уже за сотню лет. Могилы обоих в свалке тех лет потеряны и забыты.

Сын Якова Максимовича Мазова, человека на селе до сих пор почитаемого, непьющего, мой дед, Павел Яковлевич, дело отца продолжил совсем в другом направлении и виде. Все «недостатки» родителя аннулировал и восполнил их развеселым нравом. Папа мой приумножил разнообразие жизни. Обо всем этом рассказано в моих повестях, рассказах.

Что касается открылья родни матери — Потылицыных, то о них я, как ни странно, не знаю почти ничего. Фамилия Потылицыных в Сибири довольно распространенная. Недавно в газете «Красноярский рабочий», заступаясь за своего родича, известного в Красноярске общественного деятеля и бунтаря Александра Потылицына, которого за непокладистый характер и свободомыслие неоккоммунисты, уподобляя себе, мешают с дерьмом,

его родственница, живущая в Ленинграде — Санкт-Петербурге, сообщила, что кто-то из известного рода купцов Гадаловых, к которому принадлежат она и Александр, получил земельный надел в селе Овсянка, так, возможно, какой-то веточкой предки моей мамы прирастают к этому достопамятному дереву исконных сибиряков.

Как бы там ни было, но благодаря мельнику Мазову я угодил в такую местность, что один поэт с Вологодчины, побывавший в моем селе, воскликнул: «Х-хэ, едрена мать! Здесь не хочешь, так все равно писателем станешь!». А великий чернобровый красавец-вождь, большой ценитель прекрасного, будучи гостем Сибири, когда его под ручки подняли на Слизневский утес, обозрев с высоты мои родные окрестности, значительно молвил: «Как у Швейцарии!». Ему, вождю-то, на этом бы возгласе и застопорить речь, остановиться, так нет ведь, заметил, что только вот трудно подниматься на утес, — и хозяева края немедленно велели свалить лес на утесе, сшибить вершину бульдозерами, построить лестницу и смотровую площадку из бетона. Ныне по той лестнице ребята, что поздоровее, едучи из ЗАГСа, таскают в беремени невест наверх, и гости всякие разные озревают Енисей — эту сибирскую «Швейцарию» и даже не подозревают, что всеми эстетическими удобствами они обязаны знаменитому вождю и бывшей местной ухватистой и угодливой партийной верхушке.

Село Овсянка ныне не одно. Вокруг него несколько рабочих поселков, тучи дач и дачек. Там, где когда-то петляла к мельнице и на пашни вела едва заметная травянистая дорога, ныне пролегают железная дорога и асфальтированная автострада, проложенная в еще недавно дружественную братскую страну Туву, где нынче стреляют, быют и режут всех, кто смеет ступить на эту так из первобытной, пещерной стадии развития и не вышедшую землю и тревожить ее коренной, все еще полудикий народ.

Выше моего родного села, совсем рядом — знаменитая Красноярская гидростанция, будто бетонный протез всунутая в зев реки. Енисей ниже плотины едва трепыхается, его затянуло тинной, острова на нем сделались полуостровами, шивера открылись, косы заросли дурным чернолесьем, берега заселены случайным людом, леса по горам пожжены, растения от холодных испарений вымирают, горные хребты нещадно обрубаются, овсянские пашни и заимки давно захвачены дачниками, энергетиками, строителями. Ни одного роскошного лесного и горного уголка, ни одной реликтовой полянки, по коим я в детстве бегал босиком, не осталось, все загорожено под сооружения, похожие на собачьи конуры, вокруг которых вскопаны грядки под нехитрую овощь, под картошку. Есть, конечно, сооружения, излажен-

ные под иностранные виллы и под когда-то спаленные возбужденным революционным пролетариатом помещичьи усадьбы, — здесь обретаются престижные современные виллы, у которых обезьянья подражательность и показушная наглость превыше всяких правил и немудрящего разума.

Более всего мне жалко, что исчезли и исчезают из наших мест звери, птицы, — уж не услышишь извещающего о начале лета криканья коростеля, не призывает из желтых низ спать перепелка, потому как нет в нашей местности и хлебов-то — их дешевле и легче сделалось доставлять из-за океана; не звенит над пробуждающейся землей жаворонок, почти не стало зяблика, щегла, овсянки, редки чечетка-мухоловка, синица, воробей и тот поредел.

Но больше всего мне жаль вырождающиеся, угасающие, задохнувшиеся разливы сибирских цветов. Еще в молодости я называл Сибирь страной цветов. Еще в молодости в чужих краях снилась мне родная земля залитой цветами, да ведь еще и совсем недавно, в детстве, я слышал и запомнил притчу о сибирских цветах. Пользуясь случаем, повторю ее.

Будто бы вскоре после сотворения мира, когда Земля уже была заселена людьми, скотами, птицами, засажена деревьями, Создатель задумался и понял, что не хватает этой, славно задуманной планете какого-то очень важного компонента для того, чтоб сделалась она совсем прекрасной, и поскольку Бог нам достался мудрый, то скоро Он и догадался: травы и цветов! И принялся Господь засеивать Землю цветами и травами. Но земной мир сотворялся так долго и работы у Создателя было так много, что Он к этой поре уже притомился и не ходил поверху пешком, а летал на самолете и из мешка горстями разбрасывал семена.

Свой рабочий день Господь, как и все трудовое население Земли, им содеянное, начинал в семь-восемь часов утра и работал, в отличие от свободных советских тружеников, дотемна. Но Земля-то очень уж большая, а Сеятель на всех один. Вот, значит, все Америки Он засеял, Европу обработал и за Россию принялся. Летал Он, летал, сеял Он, сеял, поначалу экономно и без спешки бросая семена, вот уж пора приспела и пообедать, а Он еще и до Уральского хребта не добрался, и семян в мешке все еще много. Начал Создатель нервничать, торопиться и маленько подхалтуривать, тем более, что архангелы — спецы по сельскому хозяйству и радители растениеводства, Ему подсказали, мол, под вами пространства простираются, где со временем будут обретаться передовые советские трудящиеся — ба-альшие это будут халтурщики и лентяи, так, может, и греха-то никакого не будет,

коли им некоторый исторический пример подать в перспективе, так сказать.

Господь своих советников уважал и над Уралом сеял уже как попало, там так поныне и растет: где густо, где пусто, точнее уже пусто — повытоптали, повыжгли, повырубали посеянное Богом добро неблагодарные чада Его.

За Уралом Бог заметно притомился — наступил уже конец нормальной даже для российских трудящихся рабочей смены. А края Земли все нет и нет. Сквозь пальцы устало трусил Господь семена меж березовых колков и перелесков. Вот иросло тут, в Западной-то Сибири, травы море, а цветочков-то реденько: ромашка-поповничек, люпин, пу и первоцвет весенний, а вот глублиники и костяники — возом не перевозишь!

Тем временем самолет летел, летел, и совсем уж завечерело, и все трудовые люди спали на Земле, птицы петь перестали, скоты траву сонно жевали, у Создателя глаза начали слипаться, в зевоту Его сонную потянуло. И тогда Он рассердился, загремел на все небо: «Мне сверхурочные не платят!» — и бухнул все семя, какое в мешке осталось, вниз. И подхватило то семя ветром, и разнесло по всей Сибири, по Байкалу, по Забайкалью, аж до самого моря-океана донесло, и здесь, по берегам его, да и по всей Сибири такое ли сияние Божьего цвета с весны началось, так ли радостно осветилась Земля-матушка!

«Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..» — восплакал в одном из своих лучших стихотворений поэт Николай Рубцов. А мне вот ни в храме, ни возле храма столь не больно, как на природе, дитю ее кровному, мне жалко цветы, жалко деревья, пташек, зверушек, — всю бессловесную Божью тварь жалко — она-то, она-то, Господом нам в помощь и на содержание наше созданная, за что страдает, почему мучается и сказать не может, и наплевать нам в глаза не способна, отплачивать, правда, пачинает. Жесток и беспощаден будет ее приговор нам, разорителям, насильникам, грабителям.

Все люди напей планеты — есть дети Земли и, надо прямо сказать, дети неблагодарные, порой уже думается, что эта прекрасная планета предназначалась для совсем другого, более разумного и благодарного существа. Родной наш дом изранен, болен, необихожен, небо над ним загрязнено, порвано, большинство рек и морей превращены в сточные канавы, в зловонные, опасные бассейны. Человеку уже не хватает питьевой воды и кислорода. Лысеет Земля потому, что повсеместно срубаются леса и часто на ту самую бумагу, на которой мы многословно и в общем-то бесполезно защищаем природу-мать. Земля, рожало-

щая нам хлеб, плоды и топливо, истощается повсеместно, и ее истощение восполняется добавками химического свойства, опасными для самой Земли и для здоровья людей, питающихся урожаями, на ней произрастающими.

Человечество подошло к опасной черте самоуничтожения и не всегда и не везде осознает это. Увлечение политическими страстями, грандиозными проектами, сказками о прогрессе, который спасет мир и нас с вами, — это очень опасные заблуждения, отвлекающие людей от главных сегодняшних забот, потому что если население Земли не примет срочных мер для ее лечения и спасения, не понадобятся ни самые передовые реформы, ни декларации, ни умные решения, да и сам прогресс, дымящие и смердящие трубы его, большей частью работающие на войну и разрушительные машины, — останутся и угаснут вместе с нами.

Где граница вмешательства человека в природу? Где та черта, за которой находится жизненное равновесие, определяющий предел перед гибельной пропастью? Большинство из нас этого не знает, а редкие тревожные голоса, нас предупреждающие и вразумляющие, тонут в политической трескотне, во всеобщем гаме людском, в грохоте гудков и моторов.

Россия — огромная страна, и беды ее огромны. Но большая Европа, по которой текут реки, превращенные в помойки, — Сена, По, Шпрее, Эльба, и другие земли с мертвой водой, отравленной почвой, мутным небом, загрязненным воздухом, вызывают к нам: спасите нас и себя спасете!

На эту вот болезненную тему я начал писать по- существу сразу, как попала мне под хвост литературная вожжа, не оставляю сию тему и поныне, хотя и понял всю тщетность посредством слова образумить людей и остановить разорение земли.

Первый же свой рассказ я написал в 1951 году, в уральском городе Чусовом, куда приехал на жительство в 1945 году, после демобилизации из армии. Жена моя родом чусовлянка и тоже была на войне. Познакомились мы с ней в нестроевой части, куда я был направлен после госпиталя. Несколько лет я был рабочим на разных предприятиях, даже в горячий цех вагонного депо залез — чтобы побольше зарабатывать, так как жилось нам очень трудно и скудно. Делать тяжелую работу, да еще в горячем цехе, мне было противопоказано, но кто же с этим тогда считался?! К тому же я одновременно учился в школе рабочей молодежи, переутомился, изнурился и заболел. Меня тут же выбросили из горячего цеха, сердобольные врачи рекомендовали идти на легкую работу. Но город-то, Чусовой-то, состоит из тяжелой индустрии, здесь металл плавят, и никакой легкой работы мне никто не припас. Чтобы не уморить себя и семейство с

голоду, я подрабатывал на разгрузке вагонов и, разгружая все подряд, в том числе и мясные туши, угодил работать на местный колбасный заводик разнорабочим, мыл и подавал мясо на столы обвальщиц. Обвальщики мяса — это те люди, которые отделяют мясо от костей и сухожилий. Кто-то ушел в отпуск или заболел, или заворовался и угодил в тюрьму, — меня из цеха перевели в вахтеры. Наконец-то я угодил на легкую работу. Несмотря на все жестокие будни и превратности жизни — бесквартирье, бесхлебье, нищенское существование, я никогда не переставал читать и, узнавши, что при местной газете «Чусовской рабочий» начинает действовать литературный кружок, пошел на первое же занятие.

На этом занятии литкружка читал рассказ бывший работник политотдела наших достославных лагерей. Рассказ назывался «Встреча». В нем встречали летчика после победы, и так встречали, что хоть бери и перескакивай из жизни в этот рассказ. Никто врать его, конечно, и в ту пору не заставлял. Но человек так привык ко лжи, что жить без нее не мог. Вот и сочинительствовал.

Страшно я разозлился, зазвенело в моей контуженной голове, и сперва я решил больше на это сборище под названием «Литературный кружок» не ходить, потому как уже устал от повседневной лжи, обмана и вероломства. Но ночью, поуспокоившись в маленькой, теплой вахтерской комнатке, я подумал, что есть один единственный способ борьбы с кривдой — это правда, да вот бороться было нечем. Ручка, чернила есть для борьбы, а бумаги нету. Тогда я решился почти на подсудную крайность: открыл довольно затрепанный и засаленный журнал дежурств, едва заполненный наполовину, и поставил на чистой странице любимое мною до сих пор слово: «Рассказ».

Я написал его за ночь и, вырвав плотные страницы из корочек, на следующем занятии кружка, то есть через неделю, прочел рассказ вслух. Рассказ был воспринят положительно, и его решили печатать в газете «Чусовской рабочий» как можно скорее. Поразобрав каракули, нанесенные на бумаге полуграмотным, да к тому же и контуженым человеком, маленько его подредактировав, — «Чего там редактировать? Там же сплошная правда!» — я еще вернусь к этой самой «правде», потолкую о ней и о понимании ее в нашем любезном отечестве — рассказ начали печатать. А пока, забегая вперед, скажу, что однажды безмерно мною любимый, совсем недавно умерший, повеллист Юрий Нагибин, с которым мы состояли членами редколлегии в ту пору в очень хорошем журнале «Наш современник», — уверял меня на полном серьезе, что писателями мы сделались ис-

ключительно по причине фронтовой контузии. «Понимаешь, — говорил он, — отыскал я пару своих рассказов, напечатанных в журнале «Огопек» еще до войны, — ну ни проблеска там, ни бисериночки. А вот вдарило по голове, что-то в ней оборвалось, повернулось ли — и открылся талант! А иначе откуда бы ему взяться? У меня отец, мать и вся родня во многих коленах совершенно далеки от этих самых сочинительств...»

О-ох, послушать нашего брата, да на встречах с дорогими читателями, да позаписать бы все, нами сказанное-высказанное — было бы еще похлеще «Барона Мюнхгаузена»!

Да, а рассказ-то с продолжением печатается в «Чусовском рабочем»! Фамилия моя сверху, ниже — название, мною собственноручно написанное, — «Гражданский человек». Я гоголем по обвальному цеху хожу, хотя с резинового фартука сукровица течет, порезанные костями руки кровоточат, солью и селитрой их разъедает так, что от боли штаны у меня мокрые, но я пою на весь завод: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!» И бабы-трудяги мне дружно подтягивают.

Бабы — обвальщицы, шпиговщицы, кишечницы и копильщицы — все, все знают, что я получу много денег, куплю себе новую шапку, костюм, может, и на штилеты сойдется, что выйду я в богатые и с ними, с бабами, ревматизмом от постоянного мокра искореженными, от мясного изобилия впадающими в лютость, тут же переходящую в сентиментальность и плаксивость, здороваться перестану и узнавать их не захочу.

Вдруг обвал, трагедия, полный срыв коммерческих и творческих планов — рассказ мой на середине печатанья остановили по причине его полного безнравственного содержания.

А, батюшки мои! Что же это за зверь такой — безнравственность-то! Сама заведующая отделом агитации и пропаганды Чусовского горкома, запротестовавшая против рассказа и совращения чусовских трудящихся посредством печатного партийного органа, прижила от заезжего прощелыги-лектора ребеночка — и ничего, трудится, мораль направляет. В соседнем с нею кабинете долго руководил городом и районом зараженный сифилисом начальник по фамилии Ставров, валил на свой идейный стол девчонок и баб, начиная от секретуток и кончая уборщицами, с почестями препровожденный на пенсию, с искривленными заразой костями, желтый, хромой, полуразложившийся, бродил по городу, талдычил, что повредил позвоночник на войне.

Какой же чудовищной силы и мощи фугас я запустил, что пошатнул здоровую мораль передового советского сообщества?! Мне тут же любезно, отечески и объяснили какой: наша любимая партия всегда нас воспитывала любезно; отечески, коли не

воспитываешься, — в железы тебя, в руды лагерные, тем более и везти-то недалеко, значит, и ненакладно, всего несколько останков, — город со всех сторон обложен каторжными лагерями, воспитательными заведениями всех мастей и разрядов с длинными померами, знаками и значками и непонятными грифами.

Рассказ «Гражданский человек», которым я решил напрочь смести всякую ложь с советской земли, совершенно бесхитростен, открыт, прямолинеен и даже патриотичен, в чем легко убедиться, найдя его в первом же томе под названием «Сибиряк». Он и сейчас-то, после капитальной переработки и доработки опытной рукой, — не ахти что, а тогда был и вовсе наивненький, блекленький, но в нем было и притягательное свойство — я все списывал с «натуры», в том числе и главного героя — моего товарища по фронту. Все-все: имя, фамилия, название фронтовых и тыловых деревень, количество детей и т. д. — все было точно, доподлинно, все должно было противостоять вселенской неправде. Лишь в одном месте дал я маху — перепутал название деревни главного героя, поименовав ее Каменушкой. Тогда как она оказалась Шумихой, и детей перепутал — было у моего героя их трое, я написал — двое парней и девочка, а оказалось наоборот.

Но этот мах был вовсе не роковым махом, мах я допустил в том месте, где решил пошутить вместе с героем насчет нашего сословия, да и выломал нечаянно дверь с надписью: «Советская мораль — самая лучшая в мире мораль». Словом, из рассказа сокопники узнают про главного героя, что был он лучшим трактористом в колхозе, такой неразворотливый, скромный, незаметный — и лучший! Как же это может быть?

Как видите, все в лучших традициях соцреализма шло до одного рокового места. Оч-чень это интересное явление — «лучшая в мире мораль». Многие совлитераторы, еще не умея писать, уже владели лукавыми приемами соцреализма и могли, как утятя, — только-только вылупившись из яйца, хорошо плавать. Как читающий человек, владел ими уже и я, а тут возьми мой герой и брякни: «Мало сейчас нашего брата, стало быть, мужиков, в деревне осталось, вот и стали мы все для баб хороши».

«Ка-ак?! — возмутились поборники нравственной чистоты в Чусовском горкоме, — наших, советских женщин называть бабами? Делаются, к тому же, грязные намеки на их неразборчивую похотливость, тогда как они у нас...»

Ну, а дальше вы все знаете, как это бывало и бывает еще, какие слова говорятся и оргвыводы делаются. Редактор газеты, Григорий Иванович Пепеляев, отнес все это громоверженье в область юмора, да и народ наш, опять же народ, передовой, советский, самый замороченный, но сознательный, давай звонить,

писать в редакцию и даже приходиться и спрашивать — отчего рассказ молодого автора не печатается, в «верха» жаловаться народ грозился. Может, насчет «верхов» и народа Григорий Иванович и приврал, стараясь приободрить молодую творческую поросль, — в ту пору гибкость редактору и чутье требовались отчаянные, чтобы уцелеть на должности и газету вести на приличном уровне. И печатанье художественного произведения в местной прессе тогда было редкостью. Редактор, сделав вид, что общественность-таки его додавила, рассказ печатать закончил. Пока этот сыр-бор шел да разгорался, одна малосильная работница газеты ушла в декретный отпуск, оттуда угодила на «комсомольскую линию», меня пригласили на ее место, тут я узнал, что весь двухполосный номер газеты имеет гонорар аж семьдесят рублей, по новому курсу — семь, и мне не только на костюм и на шапку, даже на портянки вознаграждения за рассказ не хватит.

Но не бывает дыма без огня, как и огня без дыма, — слух о скандальном рассказе докатился аж до областного города Молотова (ныне это снова Пермь), достиг отделения Союза писателей и оттуда поступила просьба: выслать газеты с рассказом и как можно скорее. Не успел я обидеться в «Чусовском рабочем», проморгаться как следует, бац! — мой рассказ появляется в областной газете «Звезда», правда, в сокращенном виде. Я еще и дух не перевел, эйфорию не перечувствовал, как рассказ уже полностью звучит по областному радио, играют-читают в нем артисты, да еще и под музыку, под симфоническую. И когда пришло письмо — извещение о том, что рассказ будет напечатан в альманахе «Прикамье», — во мне уже никаких сил не осталось, один лишь восторг чувств бушевал во мне и с этим восторгом я накатал несколько рассказов подряд. Но мой творческий порыв был охлажден в той же редакции газеты «Чусовской рабочий», на занятиях того же боевого литкружка, — исчезли из моей творческой продукции вульгарные и грубые слова, вроде «баб», все персонажи у меня говорили изысканно, поступали правильно, главное — идейно и выдержанно.

А так как я еще от фронта не отошел и имел грамотешку в шесть групп, в Игарке еще с трудом законченных, то сами понимают, как эта самая «изысканность» выглядела в моем исполнении. Что-то меня образумило, задержало в «творческом развитии», скорей всего беспросветная нужда и газетная поденщина, и где-то и как-то я и сам усек: мне сейчас надо больше не писать и печататься, а «поработать над собой», потом уж и сочинять продолжать.

Вот на этом пока мой юмор и кончается. Начинается серьезный рассказ о серьезных вещах, о становлении литератора в про-

винции, в беспросветной от тупости российской жизни, тогда еще и в надсаженной военным временем России, вовсе оглохшей от голода, горя, незаживших еще ран, но начинающей трудно пробуждаться, переходить на мирные рельсы, привыкать к нормальному человеческому существованию.

Было бы чрезвычайно интересно услышать и прочесть об истории создания областных отделений Союза писателей в России и национальных республиках. Собственно, этого и ждали писатели, собравшиеся на последний съезд Союза писателей СССР и на один из предпоследних, еще руководимых литвождем Бондаревым, съездов писателей РСФСР, которые проходили как полупьяные колхозные собрания пятидесятых годов, превращаясь в ор, в бестолковую митинговщину, где не творческие дела, а политиканствующая литговорильня захлестывала нехитрый творческий разум, занятый, в основном, выяснением: «Кто за кого?» и еще «вопросами консолидации», которая, опять же по рецептам соцреализма, создавалась и помогала многим и многим членам Союза писателей, прежде всего в республиках, безбедно существовать и «княжить у себя дома», издавая толстые тома в Москве, на русском языке, и жить по-княжески за счет труда переводчиков.

Называя на Кавказе, в Молдавии, в Коми аэсэсэре, в Марийской и Татарской республиках русских людей — поработителями, оккупантами, давителями всего истинно национального, творцы этих и других республик, так и не научившиеся творить, которых дома-то и не читают, а только изучают в вузах, как классиков-родоначальников, вдруг завопили, захопали, как и в прежние годы, дружно скандируя: «Братья! Братья! Братья навек!» — демонстрируя политиканство и кавказско-азиатское лукавство — просто большинство этих поседевших и облысевших классиков без старших братьев обречены на творческое вымирание, ибо корова, под названием Россия, больше не станет доиться, но они, не научившись писать, так ловко умели выкраивать свои произведения по портняжным лекалам пресловутого соцреализма, который изжил себя и вместе с ним изжились порожденные им творческие структуры, загасли пламенные светочи коллективного творческого разума, придя к своему закономерному, логическому завершению. Надо начинать жить по законам и правилам мирового сообщества, а не Союза писателей на улице Воровского, творить самостоятельно и кормиться в одиночку, как это было всегда и есть во всем мире, от этого никуда не уйдешь, ибо коллективный-то разум «кипеть возмущенно» готов, но сотворить ничего путного, кроме стадного сборища дармоедов и краснобаев, не способен. Надо начинать жить самостоятельно,

творить по законам Божиим и полагаться только на себя. Ну, если б при этом было придумано какое-то сообщество писателей, объединяющее их, помогающее облегчить их быт и существование, — кто бы против этого возражал? Но для этого и об этом надо было думать, а не устраивать свалку в сених творческих Союзов, сыгравших в свое время несомненно полезную роль в собирании, учено говоря, консолидации творческих сил и объединении их в действующую, товарищескую артель, называемую областным отделением Союза писателей СССР.

С этой стороны интересна история создания Молотовской писательской организации, в которой я рос, мужал и которая сделала много не только для моего творческого рождения и роста.

В далеской игарской школе был преподаватель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский, которому выпало сыграть заметную роль в моем раннем творческом детстве. Игарка, отрезанная в те поры от мира, была тем не менее охвачена творческим зудом. Из-за длинной зимы, из-за морозов, загонявших ребятишек под крышу, все вынуждены были чем-нибудь заниматься. Это сейчас детки не знают, куда себя девать и что делать, смотрят телевизор, видики, прыгают на дискотеках до преклонного возраста. А тогда — с одной стороны, учили нас классовой непримиримости, жертвенности во имя передовых идей, с другой стороны, — выжившие ссыльно-поселенцы из кожи лезли, чтобы обучить детей грамоте, ремеслу, профессии, все делали для того, чтобы дети не повторили их судьбу, — «Уж коли наша жизнь загублена, так хоть вы живите...».

Родом москвич, из интеллигентного педагогического сословия, истинный патриот и глашатай своего времени, после окончания иркутского педтехникума Рождественский работал сперва в туруханской, затем в игарской школах. На этом славном пути он повстречал такую же прирожденную преподавательницу и воспитательницу младшего поколения Евгению Моисеевну, и в Заполярье, нуждающемся в здоровых, знающих свое дело кадрах, молодые супруги Рождественские пришлось к месту и к стати.

Я отбывал уже третий год в пятом классе, мне уже твердо пророчили дорогу в исправительно-трудовую колонию, я уже и привык к мысли, что сего идейного, массово-воспитательного заведения мне не миновать. А сидел я третий год в пятом классе из-за математики, которая мне не давалась просто так, без труда, а ж привык к «просто так», как налетчик, — на хапок, брать

знания, — и по литературе, истории, географии, ботанике, поскольку она про цветочки, да по русскому языку получал отличные оценки, по всем остальным предметам — очень плохие, словом, шел по науке безо всякой седины. Мне каждый год назначали переэкзаменовку по математике на осень, и каждый год я не изволил на нее являться. Переэкзаменовки для вольно живущего — неволя, они для тупиц, я же начинал сочинять стишки и сказки для детдомовских ребятишек, потому как к этой поре обретался в игарском детдоме-интернате, и когда в Заполярье морозы запечатывали всякую жизнь, по избам, баракам и другим помещениям, ребятишки собирали постели, одежонку, сдвигали койки в комнате девчонок, поскольку она была самая большая, — и в бесконечной ночи, под сполохи волшебных позарей я собирал в кучу прочитанное из книг, увиденное в кино и в театре, все это воссоединял вместе со своими выдумками, — угревшиеся ребятишки мирно засыпали под мои всегда благополучно и красиво заканчивающиеся истории.

Игнатий Дмитриевич и директор интерната Василий Иванович Соколов оказали на мою раннюю жизнь и формирование характера решающее влияние. Василий Иванович присутствует в качестве персонажа под именем Валериана Ивановича Репнина в повести «Кража», и поэтому на его особе я долго задерживаться не буду, скажу лишь, что он упорно искал во мне еще не вытопанную зеленую полянку и нашел ее — увлечение книгами, много разговаривал со мной о прочитанном. Дворянин из потомственной древней семьи, высокообразованный человек из колчаковской армии, он, чуть играя в поддавки, давал мне «фору», прикидываясь, что удивлен моим «всезнанием» и памятью, но постепенно развеивал туман в моей удалой башке и мою самоуверенность. Подлинная простота, доступность, истинная интеллигентность да еще душевная доброта вперемежку с вечной уже грустью и памятью от только что пережитого крушения России, в моем восприятии, уравнивали порывистый, неистовый энтузиазм начинающего поэта, певца пятилеток и сияния небывалой новой жизни Игнатия Рождественского, который вел уроки так увлекательно в нарушение всех правил и методик, что мы частенько «работали» без перемен, случалось, и звонка на перемену не слышали. Более всего он поощрял то, что советская школа со дня своего существования изгоняла из своих зданий и рядов — самостоятельность мышления, чтобы собственный опыт, какой он ни есть, собственные знания давали ответ, чтоб учащийся думал, а не занимался пересказом. Советская школа добилась-таки своего: заела, засушила школу и уроки правильностью, зашоренностью, полным отсутствием собственной мыс-

ли. И вот результат: дети не хотят учиться, сопротивляются, как могут, педагогической мудрости, спущенной сверху, из министерств, из областных и краевых методических кабинетов. Теперь в школах рады бы хоть как-то заинтересовать школьников, но сами-то учителя уже поражены рутинной нашей педагогической наукой, как современные врачи без анализов и обследований и иначе, как по методикам, всевозможным указаниям, не могут работать — не полагается. Из школы исчез дух творчества — это самая главная и трудно поправимая потеря.

Начался новый учебный год, в который я продолжил сидение в пятом классе. Игнатий Дмитриевич влетел в класс загорелый, хорошо «на магистралах» отдохнувший, сотворивший за лето еще одного, уже третьего, ребенка, а всего он сослепу натворил их своей многотерпеливой жене пять штук, в новой рубашке с галстуком, с кучерявым смоляным чубом, культахающимся на ходу, швырнул журнал на стол, сказал дежурному по классу, чтоб отметил потом кого нет на занятиях, и велел всем достать тетради и написать сочинение на тему: кто как провел лето?

И запыхтел пятый «Б», выжимая из себя творческую мысль. А сам учитель уткнулся в бумагу носом, что-то писал, черкал, бормотал, вскакивал со стула и, тыча рукой в такт шагам, ходил по классу. «Тоже сочиняет», — догадались мы, благоговейно при-тихнув.

Игнатий Дмитриевич обладал феноменальной памятью, как и мой, ныне покойный, друг, критик Александр Николаевич Макаров, — знал, кажется, всю поэзию наизусть. И вот особенность какая забавная: все стихи Игнатий Дмитриевич читал по памяти, но свои — по бумаге! Он издал в Москве и в Сибири множество сборников стихов и очерков, Александр же Николаевич в зрелом возрасте писал только критические статьи, о своих поэтических и прозаических увлечениях вспоминал безо всякой охоты, всегда с насмешливой иронией.

Увы, оздоравливающей самоиронии моему любимому учителю и старшему другу так и не хватило, да и внутреннего самоконтроля, может, и культуры отбора — тоже, — многое из его поэзии в силу ее «злободневности», да что там скрывать, и гибельной энтузиазмной трескучести пролетело по горячему воздуху времени и сгорело в нем. Ныне эстафету деда подхватил внук Антон, но этот пишет и поет уже совершенно другое и по-другому. Дай-то Бог горячему, но бурным потоком времени унесенному в небытие таланту продолжаться во внуке лучшим его звуком, восторженным сердцем.

Однако ж ненадолго вернемся в пятый «Б».

Летом я заблудился в заполярной тайге между станками Ка-

расино и Полоем. Весной (1992 года) я пролетал на вертолете над теми местами, где блуждал, и убедился, что мои прежние утверждения, будто я вел себя в тайге умело и стойко, потому и спасся, — самонадеянны и ничего не стоят. В этой тайге самому спастись, да еще будучи мальчишкой, — невозможно, только Господь Бог может тут спасти, что он, Милосердный, не раз и делал в моей жизни.

Как бы там ни было, я поблуждал по страшному Заполярью и уцелел, и свое сочинение так бесхитростно, прямолинейно и назвал: «Жив».

Никогда я еще не старался, не работал с такой любовью, как в тот раз.

И вот снова урок литературы. Игнатий Дмитриевич раздает тетради с сочинениями, кого бранит, кого похваливает. Тетрадей на столе все меньше, меньше, вот голубеет и последняя, — «Моя!» — екнуло и замерло сердце в моей, уже много страдавшей груди. Учитель бережно взял тетрадь, развернул ее и начал читать мое сочинение вслух. Затем поднял сочинителя с места, долго, подслеповато всматривался в него и сказал: «Молодец!» — первая, пока и единственная похвала, полученная в школе, которую, впрочем, учитель скоро охладил, попеняв мне, что я, как распоследний лоботряс, болтаюсь в одном классе третий год. Он и Василий Иванович, все время напиравший на меня насчет моих «природных способностей», — довершили дело. Я перебросился в шестой класс и окончил его за одну зиму. Но далее учиться мне не довелось, мой детдомовский возраст кончился, я должен был начинать самостоятельную жизнь, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей судьбе.

Я поступил на кирпичный завод коновозчиком и подвозил с лесозавода отходы к топкам, чтобы заработать денег на пароходный билет, выехать на магистраль и попробовать там поступить в какое-либо училище, что в конце концов и осуществил, с трудом устроившись в Красноярскую железнодорожную школу ФЗО № 1, которая спешно создавалась на станции Енисей.

И вот, не иначе как «по воле рока», в город Чусовой мне пришла телеграмма за подписью секретаря Молотовского отделения Союза писателей К. Рождественской! «Уж не родня ли моему школьному учителю?!» — подумал я. Нет, не родня, однофамилица оказалась моя новая благодетельница и наставница. Человек тоже одержимый, литературе безмерно преданный, в пределах своего времени довольно хорошо образованный, Клавдия Васильевна была ростика невеликого, курила табак, говори-

ла бархатным басом, почти не пила хмельного, поднимала дочь и нас, молодую писательскую поросль, что стоило ей утраты здоровья и преждевременной могилы.

Совсем еще недавно Пермская писательская организация была довольно многочисленной, солидной за счет эвакуированных из центров писателей. Иные из них при начале войны находились на югах, в санаториях и домах творчества, и вот, бросив на произвол судьбы любимые столицы, иные — и семьи в них, сложными, кружными путями творческие люди достигли Урала и сосредоточились здесь для беспощадной борьбы с врагом, писали все, что им закажут за хлебные карточки и кой-какое денежное содержание. Наибольшего успеха в Перми достигла многолетняя Вера Панова, написав по заказу две повести: «Спутники» и «Кружилиха», произведения, на мой взгляд, сотворенные по бесхитростной схеме посредственной прозы, но поскольку в них были положительные комиссары, любовные драмы и переживания, а также самоотверженный трудовой энтузиазм и соцсоревнование, то автора сразу залауреатили, понесли в президиумы, в писательское начальство. Сама писательница, видимо, посчитала сей благотворительный путь исчерпанным и после войны начала писать совершенно «по-другому», то есть как Бог, а не партийные власти, велели, за что не раз подвергалась критике и даже в партийное постановление какое-то журяще-воспитательное угодила, но на железнодорожную линию, к своим милым, самоотверженным спутникам и спутницам более не возвращалась.

Достославный город Молотов после войны творчески ослабел и почти опустел. Клавдия Васильевна Рождественская работала той порой редактором в Свердловском книжном издательстве, но в силу своего созидательного характера и редакторской самовитости все более и более расходилась с идейной линией творческой интеллигенции Свердловска и издательской общностью, все заметнее и заметнее огружающих в ласкающие волны лакировочной продукции, да так до сих пор из тех греющих хлебных волн, по-моему, и не выплывших.

Предложение занять пост ответственного секретаря Молотовской писательской организации последовало в самый раз. Рождественская собрала свой небогатый скарб, упаковала довольно обширную библиотеку, взяла дочь на руки и за одну ночь преодолела по железной дороге расстояние меж двумя, вечно к чему-нибудь ревнующими друг друга провинциальными гигантами, и с ходу включилась в работу, как скоро выяснилось, довольно трудоемкую, но благодарную и благодатную тем, что партийные власти какое-то время не мешали новому секретарю

работать, не назидали ее, лишь подгоняли с творческими результатами, чтобы «утереть нос этим задавалам, что за Уральским хребтом». Но там, за каменным поясом, был Бажов, романисты Маркова, Попова, фронтовики Очеретин, Стариков, Резник, Максанихин, Хазанович, молодые, но громко о себе заявившие Рябилин, Долинская, лауреат госпремии Ликстанов, поэты Купштум, Мурзиди, драматург Салынский и другие — там «могучий творческий кулак!», гремящий на весь почти Союз. Здесь, в Прикамье, — полторы калеки, ждущие материальных благодеяний за свои прошлые творческие подвиги.

Прагматическим своим умом и редакторским нюхом уловив, что с творческими кадрами, имеющимися в наличии, треклятый этот, забугорный город Свердловск, беззастенчиво именующий себя столицей Урала, городу Перми не обогнать, Рождественская начала истово поднимать творческую целину, возвращать молодую талантливую поросль. И довольно преуспела в этом благородном деле, возобновила выпуск альманаха «Прикамье», началось издание детского сборника «Нашим ребятам», очнулось от медвежьей спячки Молотовское книжное издательство и, взявши книжным знаком старый, дореволюционный герб Перми, на котором медведь и есть главное действующее лицо, начало оно обсуждать, совместно с Союзом писателей дорабатывать, толкать и проталкивать книги начинающих авторов. Косяки поэтов и романистов объявились в Прикамье, ходили грудь на распашку, проводили творческие семинары, учили и учились писать. В особенности приветствовался и поощрялся в ту пору по всей воспрянувшей от войны Руси великой и ее национальным окраинам писатель из народа, от станка и сохи, который попашет, напишет да и выпьет с устатку крепко — для вдохновения и творческого порыва.

Я, еще не почувствовавший себя журналистом, потому как проработал в газете без году неделя, охотно принял на себя облик и поведение даровитого и даже самобытного таланта «из народа», даже и погордиться успел, что вот академиев не кончал, но творю, понимаешь ли, делаю русскую литературу наравне со всеми, может, даже и лучше всех.

В первый мой приезд в столицу Прикамья посидели мы и изрядно потрудились с Клавдией Васильевной над моим первым рассказом и, поскольку терпеть она не могла альковных историй и смертей в художественных произведениях, а у меня герой погибал в конце рассказа (он и на самом деле погиб на войне), то мы с опытным редактором так ловко отредактировали произведение, что герой мой остался как бы между жизнью и смертью,

от альковных же сцен меня Бог миловал, и рассказ отправился в альманахе «Прикамье» в автономное, так сказать, плавание.

В Молотов с собой я привез еще несколько новых рассказов и, посмотрев их, Рождественская отобрала два или три — для следующего номера альманаха, меня же свела в издательство, познакомила с директором, с главным редактором и сказала, что, если я поработаю, то на следующий год у меня наберется рассказов уже на небольшой сборник и надо его издавать, потому как автор весьма перспективный.

Везучий я человек! Везучий! После первой же поездки в областной центр, после первой же встречи с секретарем отделения и издателями я вез с собой первый издательский договор на книгу и даже немножко деньжонок, полученных в качестве гонорара за рассказ, печатаемый в альманахе.

Нужно ли говорить, как горячо, можно сказать, неистово взялся я за работу и как трудно двигалось у меня дело. Браться писать сборники рассказов не должен и опытный автор — сборник, он на то и сборник, чтоб накапливать его годами, иногда и десятилетиями, но откуда мне было это знать?! Я штурмовал первую книжку и отбивал тяжелую поденщину в газете, да еще и избушку строил в эту же пору, потому что жить сделалось совсем негде.

Спал я тогда не более четырех-пяти часов в сутки и не мог себе позволить отоспаться даже в выходной день, потому как, кроме писания, строительства, занимался еще и охотой и, чтобы совсем не уморить семью голодом, стрелял рябчиков в окрестных лесах — большой зверь и более умная проворная птица мне не давалась, так как после фронта я вынужден был стрелять с левого плеча и вообще с детства был приучен «беречь припас» и стрелять за три метра с подбегом.

Как бы там ни было, с обсуждениями, проволочками, с помощью более опытных писателей сборничек мой в четыре листа объемом, в убогом оформлении, под названием «До будущей весны» вышел в 1953 году, и самое любопытное было то, что ехать редактировать его меня угораздило в день смерти Сталина.

Выход первой книги для меня, загнанного жизнью и нуждой в самый что ни на есть темный угол, был не просто праздником, это было важнейшее творческое событие в моей жизни и в жизни семьи тоже.

Как и следовало того ожидать, дальше писательские мои дела пошли неважнецки. Ничего у меня не получалось. Я писал рассказ за рассказом и сам видел, что они вымученные, неживые, подражательные, причем не лучшим, а худшим образцам, пото-

му как по худшим-то образцам писать легче, да еще и права при этом качать: «У меня не хуже...»

Я полагаю, что главный движитель творчества, тайна его и путеводная звезда — это подсознание человека, и не иначе как это подсознание натолкнуло меня на мысль: попробовать писать рассказы для детей. И тут у меня дело пошло ходче и интересней, хотя рассказы, в большинстве своем, опять же не выбивались за городьбу областной, полуграфаретной литературы. Но в детских рассказах было много таежной сибирской экзотики, и это их облагораживало, делало привлекательными для маленького читателя. Среди тех рассказов и написались «Васюткино озеро», которое переиздается до сего времени, переводится на другие языки, его включают в школьные учебники, читают по радио.

Я поставил его заглавным, и очень скоро в областном издательстве был напечатан сборник «Огоньки». «Васюткино озеро» еще и отдельной книжкой было издано, что меня поддержало материально и морально настолько, что я осмелился послать сборник в Москву, в «Детгиз», где он встретил благожелательное отношение и после серьезной редакторской работы вышел большим тиражом под названием «Теплый дождь».

Тогда же редакторы «Детгиза», я и друзья мои начали штурмовать журнал «Пионер». Образовалась обширная, теоретически довольно богатая переписка. Но штурм сего журнала так и не увенчался успехом, зато потом я попал с рассказами в «Мурзилку», чем и горжусь до сих пор.

Надо заметить, что покорение столицы и ее издательств не было у меня стремительным и успешным, как это кажется некоторым моим «знатокам» и доброжелателям. Начавши печататься в журнале «Смена» с полурассказами, блеклыми очерками, я не списал себе славы в молодежной прессе. В толстый журнал «Знамя» попал с рассказом благодаря помощи Юрия Нагибина через десять лет после начала «творческой деятельности»; в «Новый мир» — через семнадцать лет; в «Роман-газету» — лет через двадцать, да и то благодаря тому, что хитромудрое массовое издание это износилось, огрузнело в мутные воды «секретарской литературы» до такой степени, что «Роман-газету» перестали выписывать. И вот мудрое вышло решение: разбавлять «классику» нашим братом, «подающим надежды», хотя многие из нас уже успели поседеть от тех «надежд».

Более всего в свое время мне хотелось напечататься в журнале «Огонек», служившем тогда эталоном современной повелюстики. Но и здесь мне удачи не было — я получал в город

Чусовой коротенькие отлупы на «огоньковских» бланках, иногда пространные правоучительные наставления. Однажды пришло письмо не только мне домой, но и в Молотовскую писательскую организацию с советом: хорошо бы попристальной поинтересоваться автором рассказа «Солдат и мать» — очень все там подозрительно и «паш ли это человек сотворил?..»

Я же чувствовал, что это пока единственный рассказ «из взрослых», который похож на стоящее литературное произведение, и послал его на имя Сергея Петровича Антонова в «Новый мир», рассказчику в ту пору ведущему да к тому же члену редколлегии журнала. Как оказалось, рассказ Антонову пришелся по душе, он начал готовить его для журнала, но в это время произошла смена главных редакторов, а значит, и членов редколлегии. Сергей Петрович вернул мне рассказ с грустным письмом и советом — не оставлять это дело просто так, адресоваться с рассказом в какой-нибудь солидный журнал. И я послал рассказ на имя другого, не менее авторитетного рассказчика, и не зря говорится, что чудак чудака видит издаека, контуженный контуженного, к тому же и чует — таким вот, значит, путем я и оказался в «Знамени», благодаря помощи Юрия Нагибина.

Между тем, шла и даже бурлила творческая жизнь в Прикамье, все новые и новые имена восходили на ясный литературный небосклон. Романисты, опережая один другого, печатали толстые тома и, почувствовав себя уже заряженным на дерзкие труды, подготовленным к одолению крутых творческих высот, подумал я однажды, в совсем неподходящую минуту, когда луна, должно быть, находилась на ущербе: «А не написать ли мне роман? Люди ж вон пишут, кирпичами прилавки заваливают, а я что, хуже их что ли?..»

Мне и замыслом мучаться не надо было — только что вышло первое, самое историческое постановление ЦК и Совета Министров о налаживании дел в нашем сельском хозяйстве.

От сельского хозяйства я был далек, деревню оставил еще в детстве, в газете «вел» лес и транспорт, но картошку в поле сажал, в деревнях бывал. Романисты уральские вон, не выдавши рабочего человека в глаза, пишут себе про ударный труд советских трудящихся, про борьбу за сталь и чугун. У одного чусовского романиста эксплуататоры-французы, слибая шапку с непокорной русской головы, кричат даже: «Руссииш швайне!»

Словом, литературная безалаберность, безграмотность и дерзкая безответственность подвигли меня к созданию более полноценного, нежели рассказ, широкого полотна, тем более, что за толстые книги у нас всегда получали толстые деньги и, чего там

греха таить, надеялся и я тоже с помощью актуально-злободневного романа поправить свои материальные дела.

Хватил я горя с этим романом, сполна поплатился за свою самопадеянность! Но многому меня роман и научил. Прежде всего тому, что, коли какое дело не умеешь делать, так и не берись, употребляй дерзость и нахрапистость в другом месте, на другом поле, на футбольном, к примеру. А литература — это нечто другое, чем игра в мяч, хотя и в футболе иногда употребляются слова «творческая выдумка».

Не я один тогда «творил», не зная не только законов сложения слова, но и вовсе грамоты не имея, не только литературной грамоты, вообще никакой. Сколько жизненных драм, сколько трагедий за этим упрощенным пониманием вседоступности литературного ремесла крылось и кроется. Ведь и поныне у нас каждый второй пенсионер пишет стихи или опровержения в газеты, извещает письменно меня или редакции, что вот, наконец-то, он вышел на пенсию и может спокойно заняться литературным трудом...

О, Боже, Боже! До чего порой убог и бесхитростен бывает русский разум! Дует человек газетные заметки нескладными стихами и не понимает, что он захламывает не только родное слово, всякую разумную человеческую мысль, но оскорбляет и память великих стихотворцев своего великого Отечества: Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Твардовского. Что ему до них! Он сам, сейчас вот, от благодушия, дремучего невежества и наличия свободного времени «упился словом», и несет его графоманская волна вдохновения восторгу навстречу.

Еще до работы над романом я положил себе за правило: еженедельно, а если время позволит, и чаще посещать городскую библиотеку им. Пушкина и там в читальном зале просматривать все новые журналы, и тонкие, и толстые, что-то прочитывать здесь же, экземпляры с наиболее пространными статьями и прозой брать домой.

В «Огоньке» я читал все новые рассказы, и в «Новом мире», и в «Знамени», и тогда же установление себе сделал: начинать читать журнал «с заду», т. е. с публицистических и критических публикаций, был в курсе текущей литературы и не очень-то многообразной критической мысли. Тогда-то, наверное, от переизбытка современной критической продукции мне захотелось прочесть кого-нибудь из прежних мыслителей, и я отчего-то выбрал себе для знакомства Дмитрия Писарева.

Надолго стал Писарев моим критическим кумиром, властителем моих дум, даже его скандальная статья о Пушкине приве-

ла меня в восторг — вот, оказывается, как можно читать и воспринимать даже самое неоспоримое, даже гениев воспринимать на свой лад, не раболепствуя перед ними, раболепия-то и сам Пушкин не терпел. С одной стороны, умнейший, предезкий мыслитель, сокрушитель всяческих авторитетов, в том числе и европейских, с другой, — что ни журнал, что ни статья о советской литературе — сплошное пресмыкание, сплошные аллилуйя или хула, в зависимости от того, о ком пишет автор, а не о чем он пишет. Надо самому во всем этом разобраться, самому учиться все обмысливать.

Пятидесятые годы. О-о-о-х, боюсь, что не все, очень даже немногие представляют себе, на каком уровне общественного развития мы находились и в какую литературу вступали молодые сочинители. Мягко и деликатно называемая лакировка действительности царил повседневно и повсеместно. И не вся беда была в том, что цензура, хитромудро называемая то литом, то комитетом по охране государственных тайн, давила со всех сторон, поглядывала за каждым печатным словом, за каждой пустяковой бумажкой, дело дошло до того, что «литовались» даже пригласительные билеты, газетенки того времени уж такие ли правильные, такие ли верноподданические, лояльные, читались вдоль и поперек, без подписи цензора не могли быть запущены в печатный станок. Самое страшное, что цензор, плотно заселившийся советские ведомства, культуру, вузы, школы, армию и даже тюрьмы, пропикал в кровь человеческую, заселялся в плоть и в сердце существа, находящегося еще в эмбриональном состоянии. Литератор, журналист, режиссер, художник, еще не начав творить, уже твердо знал, как надо творить, и таких ли матерых, изворотливых приспособленцев плодила наша дорогая действительность во всех сферах жизнедеятельности, но прежде всего в области литературы и искусства, что уже и талант был вещью необязательной, порой даже и обременительной, вредной. Уже бытовали приговоры типа: «Слишком много знает и понимает», «Ишь, самородок сыскался!», слова: правда, любовь, родина, патриотизм и т. д. были искажены и препарированы в кабинетах социалистических идеологов, что лягушки в подвале, называемом лабораторией, выпотрошенные до такой степени, что от них оставалась лишь серенькая сморщенная кожа. Как свирепствовали в то время партийные идеологи и верноподданные приспособленцы «из народа», на людных сборищах грома статью В. Померанцева в «Новом мире» — «Об искренности в литературе». С радостью и захлебом уверяла себя не только провинциальная, но и столичная общественность, что никакая искренность нам не нуж-

на, она вредна нашей передовой морали и нравственности, и вообще слова: искренность, правда, порядочность, совесть, честность — имеют совсем иной смысл и значение у нас, нежели в дореволюционном прошлом или в буржуазном, все более разлагающемся и в судорогах идейных противоречий кончающемся мире.

Именно в пятидесятые годы, под шумок и со свалом на то, что мы восстанавливаем разрушенное войной хозяйство, никто и ничто не должно и не смеет мешать, были сметены, загажены, разобраны на конюшни, на свинарники, на мощение дорог и площадей, с висящими на них вождями, непреклонно указывающими путь в светлое будущее, остатки храмов и монастырей с русской земли. Годы спустя, в 70-е, при Ельцине, совсем близко, за Уральским хребтом, будет сотворен еще один тяжкий национальный грех — тайно, воровски, в одну ночь разобрал Ипатьевский дом, в котором были замучены царь с царицею и их светлые дети. Я знаю об этом, но не хочу подпевать модному нынче хору, все наши беды сваливающему на Ельцина.

В такой обстановке, при таком идейном климате клепалась моя первая толстая книга, дерзко названная романом. Писалась она мучительно, со скрипом, выходила с проволочками, мне в ту пору непонятной мышинной возней, пятнадцатитысячным тиражом вместо обещанных тридцати, зато с вербочкой на обложке, которую я сам и придумал, а художник по моей горячей просьбе нарисовал. Начались обсуждения книги в писательских и читательских кругах, появились благожелательные рецензии не только на периферии, одна или две и в столице, но они уже не имели того губительного воздействия на меня, каковое подкосило целые поросли молодых создателей скороспелых романов и повестей, навсегда закрепив их в звании местного областного писателя, льстиво именуемого, допустим, «певцом Прикамья», а то и аж всего «могучего индустриального уральского края». Что, что, а плодить и губить, безответственно хваля угодливого творца, чуть его подкармливая сладким (горькое он и сам наловчился раздобывать), — у нас умели и умеют так, как нигде в мире.

Через несколько лет мне было предложено Пермским издательством повторить издание романа «Таюг снега». Я почистил текст, что-то в нем поправил, но понял, что черного кобеля не отмыть добела, и, когда мне предложили издать книгу в третий раз, уже в Москве, — категорически отказался, понимая, что мне уже проще написать новую книгу, нежели «довести до ума» это, прежде времени рожденное дитя. С годами мне даже удалось позабыть о прозаическом грехе творческой молодости, я вежливенько обходил упоминание романа в библиографии своей,

в разных анкетах и бумагах, но лучший-то в мире, советский-то читатель нет-нет да и напомним о моем творении.

Не далее, как годов шесть назад, на Шукшинских чтениях в Сростках, сижу я под палящим алтайским солнцем на свежестроганом помосте, выходит читательница, начинает меня хвалить, как почтеного гостя, и в числе мною сотворенных произведений называет роман «Тают снега». Томящийся рядом со мной бородастый критик В. Курбатов ширь меня в бок: «Во! — говорит, — классика не забывается!..» — Едва я сдержался, чтоб не стукнуть его кулаком по лбу... А последний автограф на этой книге я поставил осенью 1955-го — одна абаканская журналистка аж в больничку ко мне прорвалась с этой книгой. Вот и иронизирую после этого насчет нашего «лучшего» читателя!

Надо заметить, что критик Курбатов является другом нашего дома, потому что происходит он все из того же города Чусового, родился и крестился где-то в другом месте, вроде бы в Ульяновске, но рос и вырос в уральском месте, долгое время знать меня не хотел и признавать меня литератором не желал на Урале, теперь вот пишет предисловия к моим книгам. Человек блистательно образованный, глубоко порядочный и умный, он символизирует собой истину: не место красит человека, даже все наоборот, и в городе Чусовом выросши, ежели Бог тебе ума дал и ты «над собой неустанно работал и работаешь», — не завалешься под провинциальной творческой скамейкой, хотя, конечно же, многие знания умножают скорбь, и в наше время, да и во все времена дураку жить было легче. Всего же город Чусовой дал миру десяток членов Союза писателей и, сообразуясь с этим феноменальным явлением, я пришел к твердому убеждению, что советский писатель охотней и лучше всего заводится в дыму, саже, копоти.

Два любопытнейших факта по поводу романа «Тают снега» мне еще хочется поведать, да и «пройти» эту тему.

Среди многих читательских конференций и обсуждений случилась у меня одна в Пермском пригородном поселке Нижняя Курья (город Молотов превратился к этой поре снова в Пермь). Завбиблиотекой меня никогда не видела, я ее тоже. По телефону я ей пазвал свои внешние приметы, сказал, во что буду одет. Сошел я с электрички, стою и вижу: по перрону мечется довольно симпатичная девушка и хватает за рукава тех, кто в шляпе, при галстукe, особенно если с бабочкой и тростью, да в дорогом, к тому же, пальто. И когда на перроне осталось нас всего двое, девушка разочарованно произнесла: «Это вы-ы-ы?!»

С тех пор я перестал удивляться чему-либо, связанному с литературой, как и читателям нашим.

«Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты...» Ах, Пушкин, Пушкин, Александр Сергеевич! Чудо ты наше из чудес, солнышко вечное! Читали бы тебя люди, наслаждались тобою постоянно, глядишь, и умнее, и нежнее были бы. А то вот является свету романист из военного пепла и чудовской сажки, да и отнимает у тебя читателя! Так и ладно бы, хоть отнимал без последствий для морали и для себя лично. Так нет, глупая дерзость-то всегда наказуема — и поделом! И поделом!

Нет, не умирает «классика». Вот какой документ, какая веселуха достала меня в родном селе Овсянка летом 1992 года.

Вместе со стихами старика-пенсионера пришла газета из города Гремячинска Пермской области под названием «Шахтер» от 18 февраля 1992 года, а в той газетке черным по белому написано: «КГБ против Астафьева». «Ну и ну! — подумал я, ерзая на стуле, — КГБ против Мандельштама, Клюева, Васильева Павла, Заболоцкого, Ручьева, Смелякова, Шаламова Варлама, Домбровского и Солженицына — это, понятно, фигуры! Понатворили товарищи на свою голову многовато, а я-то чего наделал?!».

Оказывается, ранний мой, почти девственный литературный грех всему причиной, все те же «Тают снега», чтоб им пусто было — никак они не растают!...

Вот она, заметка из гремячинской газетки, целиком. Если «классика» не забывается, то и маразм нашего бытия, идиотизм его не должны забываться, как бы этого ни хотелось направителям и заправителям прошлой жизни.

«БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА»

«Один из признаков тоталитарного государства — вездесущая система слежки за инакомыслящими. Сейчас, когда в Германии открылся доступ к секретным документам и досье МГБ ГДР, оказалось, что метастазы доносительства пронизали все общество, вплоть до семьи. Средства массовой информации сообщали о случае, когда жена регулярно доносила на своего мужа.

Подобная же система контроля за политически неблагонадежными действовала в бывшем КГБ СССР. Особенно же рьяно эта служба следила за людьми творческого труда. Об одной такой истории, происшедшей в 1957 году, рассказал А. И. Белоусов, работавший до выхода на пенсию в нашей газете.

Сначала немого об авторе. Александр Иванович родом из Щучье-Озерского, ныне Октябрьского района Пермской области. С 14 лет в военные годы работал пахарем в колхозе, затем окончил железнодорожное училище и работал помощником машиниста паровоза.

В 1951 году поступил в школу машинистов электровозов, но со второго курса ушел в армию. Служил в авиации техником по обслуживанию реактивных самолетов в Венгрии, Австрии, Албании, Болгарии и Чехословакии. Вернувшись со службы, в 1956 году окончил школу машинистов электровозов и начал работать на станции Чусовская. Водил поезда до Соликамска и Кушвы. Тогда и пригласили его в городскую газету «Чусовской рабочий».

Шел 1957 год. Первые шаги в журналистике оказались не легкими, но удачными. А. И. Белоусов принял литературное объединение при газете и каждую субботу выпускал «Литературную страницу». К большому неудовольствию секретарей горкома КПСС, не желавших видеть в городской газете «литературщины». (Позже, в 60-е годы, в Перми были изданы три книги А. И. Белоусова).

Работа в литобъединении свела Александра Ивановича с Виктором Петровичем Астафьевым, ныне известным писателем. В те годы Астафьев жил в Чусовом. Рассказывает А. И. Белоусов:

— Астафьев родом из Сибири, а в Чусовой приехал вместе с женой, с которой познакомился на фронте. Маша была чусовлячка. В 1957 году жили они в избушке у остановки «3-й километр». Виктор бывал у меня не раз, а когда и к себе затягивал.

В то время он не работал в «Чусовском рабочем», а сидел на вольных хлебах. Уже вышла его книга «До будущей весны» и был написан роман «Тают снега». Вокруг этого романа, который должно было выпустить Пермское издательство, и разыгралась летом 1957 года нечистоплотная игра.

Все книги накануне издания тогда проходили через сито КГБ. Гэбистам области почему-то показалось, что роман В. Астафьева «Тают снега» проникнут кулацким духом. (Семья Астафьевых в 30-е годы была раскулачена и выслана в Заполярье. Виктору было тогда семь лет). По этой причине уже набранной книге не давали ходу.

...Как-то раз, после рабочего дня мы разыгрывали шахматную партию с товарищем. В ту пору руководители (еще сталинская выучка) задерживались на работе до ночи, а с ними и подчиненные. Вдруг меня вызывает редактор Г. И. Пепеляев и сообщает, что я немедленно должен прибыть к уполномоченному КГБ по городу Чусовому. Надо сказать, тогда уполномоченный КГБ был «фигурой», считался хозяином города. Вел себя очень самоуверенно и нахраписто.

Захожу в кабинет уполномоченного. Он был один. Ночь. Горит неяркая настольная лампа. На столе — сигнальный экземп-

ляр романа В. Астафьева «Таюг снега». Я сразу понял, о чем пойдет речь.

— Ну что, пахнет эта книжка кулацким духом? — напрямую и строго спросил хозяин кабинета.

— Да нет вроде бы.

— А подолека-то, чувствуете, какая?

Время шло и разговор наш вилял, кривлял, пока совсем не зашел в тупик. Похоже, уполномоченный и сам толком не знал, что спрашивать.

— Вот вы часто встречаетесь, о чем говорите-то?

— Не припомню.

— Ах, какая плохая память у вас!

Раздосадованный уполномоченный положил передо мной лист бумаги и заставил написать, с какого времени я знаком с Астафьевым и что в нем мне не нравится. Ну, я написал: знаю, мол, Астафьева недавно, мне не нравится, что он выражается в присутствии женщин. Коротенький получился донос: несколько строчек.

Прочитав это, уполномоченный бросил зло: «Не этого я от вас ждал» — и спрятал листок в сейф.

На следующий день утром я случайно встретил Виктора и выложил ему все. А вечером шел с работы домой и увидел, что приближается навстречу человек в черном плаще, в темных очках (все атрибуты, как в кино!). Это был уполномоченный КГБ.

— Пошли, — говорит, — со мной.

Привел он меня к проходной металлургического завода, где помещается отдел кадров. Начальник отдела кадров почтительно встал и оставил нас вдвоем.

— Что же ты сразу после нашей беседы побежал и рассказал Астафьеву? — раскричался он, как только мы остались одни.

— Не побежал, а просто встретил, да и рассказал.

Тут он дал волю своим эмоциям и выругал меня, пожалев, что не успел взять подписку о неразглашении нашего разговора.

Я, конечно, немного робел перед уполномоченным. КГБ тогда здорово боялись — сколько судеб сломали ретивые сотрудники этих органов! Но к тому моменту за моими плечами была уже рабочая школа и служба в авиадивизии знаменитого Покрышкина...

То, чего они не могли добиться от меня, сделал, как выяснилось, спустя несколько месяцев местный писатель. Возможно, из зависти к Астафьеву, а, может быть, не выдержал нажима уполномоченного КГБ. Однажды Виктор встретил его на улице и сказал в лицо все, что думает о нем. После того случая они, увидев друг друга, расходились по разным сторонам улицы.

Выход романа «Тают снега» задерживался. Семья Астафьевых жила в нищете. Маша работала в детском саду и получала гроши. С четырьмя малолетними детьми перебивались с хлеба на воду. Как-то Виктор пришел в редакцию на заседание партбюро (сам он беспартийный) и взмолился: «Что же вы, коммунисты! Помогите же!» Партбюро решило, что вмешиваться в такую историю не надо, но Астафьеву дали дружеский совет. Книгу задержало местное отделение КГБ, но в Москве могут поступить по-иному. Дали Виктору сопроводительное письмо.

В Москве ему сказали, чего, мол, там у вас мудрят, ничего крамольного в книге нет. И дали роману зеленый свет.

Книга вышла, но уменьшенным тиражом, поэтому Виктор получил гонорар вдвое меньше, чем ожидал, и смог лишь покрыть долги, а на жизнь почти ничего не осталось. Согласился поработать собкором областного радио, хотя это было для него большой обузой, отрывало от творческой работы — он тогда писал одну из своих ранних повестей — «Стародуб». Вскоре дела его стали поправляться. Астафьевы уехали в Пермь, а затем в Вологду. И наша связь прервалась».

Записала Н. Кашафутдинова».

Несколько уточнений по заметке: детей у нас было не четверо, а трое — двое своих и племянник жены, сирота, жена моя, Мария Семеновна, никогда не работала в детском садике, по образованию она химик, закончила в свое время единственное ближайшее учебное заведение — Лысьвенский химический техникум и до ухода на войну работала лаборантом на Чусовском металлургическом заводе, затем, после окончания курсов медсестер, куда поступила в начале войны, была призвана для работы в эвакогоспитале и оттуда на фронт. После заключения нашего семейного союза работала в местной промышленности. В момент создания и выхода моего романа служила корреспондентом на Чусовском радио. Семья Астафьевых, деда и прадеда, сибирская. Ссылать ее в Сибирь не понадобилось, так загнали ее в Заполярье — строить порт Игарку. Роман «Тают снега», насколько мне известно, напечатан без консультаций с Москвою. И еще: я никогда, ни в какое партбюро за помощью не обращался и вообще всю жизнь старался не докучать кормилице-партии своими просьбами и жалобами. Мне хватило одного-единственного раза, чтобы понять, что всякие просьбы и тем более мольбы к любимой партии бесполезны, ибо она лишь делала видимость работы, но сама по себе ничего не значила и кроме всеобщего вреда людям ничего не приносила — ее природа и назначение — борьба, вечная борьба со всем и со всеми, неизвестно зачем, к

чему и за что — самая это бессмысленная и самая опасная для всего человечества организация. — В Колумбии я услышал такую характеристику коммуниста: «Идиотас инутилас», что переводится, как «человек ни к чему не пригодный», «человек никому не нужный».

Я трудился в артели «Металлист» слесарем, совмещая эту работу с должностью кладовщика. Слесарь я был никакой, кладовщик — и того хуже: имущество из кладовой у меня тащили все, кому не лень, но поскольку ценного там почти ничего не было, то и сходило все с рук. А слесарить — настраивать гвоздильные станки, точить, нарезать, крутить мне помогали добрые люди, которых в ту пору на Руси было гораздо больше, чем теперь. Когда у нас родилась дочка, мы жили во флигеле, подпертом со всех сторон, жена ходила в шинели и застудила грудь, получился мастит, после операции молока не стало. Мы выходили из положения с молоком так: я помогал тестю на сенокосе и плавил на плотках по реке Вильве с ним сено, за это нам давали молоко. Но требовался и сахар, его по карточкам выдавали мало и редко, прикупали сладкое на рынке. Иногда удавалось купить кусок сахара, затасканный в кармане, но чаще — самодельные конфеты. Молоко от них делалось то розовым, то голубым — какого цвета были конфеты, а сладости от них почти не происходило. Те сводельные конфеты — «соломка», которые я приобрел однажды, были и на вид подозрительные, дочка поначалу охотно принимала цветное молоко, но скоро заболела диспепсией. Рвота и понос день ото дня усиливались, жену с дочкой положили в больницу. Был конец августа, врач на обходе настойчиво напоминал, что нужно сдать карточку, иначе придется больных выписывать. А на работе вместо Марии Семеновны был временно принят другой человек, устроившийся в контору ради карточки. Осталась одна моя рабочая карточка на хлеб, сделалось совсем тяжело и голодно. Вот тогда-то, в обеденный перерыв, прямо в мазутной одежде отправился я в исполком, нашел дверь секретаря горкома. Полный неистовства, полный звона в контуженной голове я ворвался к секретарю и спросил: «Вот двое добровольцев, недавних фронтовиков, отдавших родине молодость и здоровье, заслужили у этой самой родины кусок хлеба?»

Секретарь озадаченно посмотрел на меня, пригласил сесть, попросил успокоиться и стал расспрашивать, кто я, что я и почему свалился на его голову? Потом он долго звонил куда-то, просил, требовал, приказывал даже, но карточки нам все равно не дали, а второго сентября дочка умерла.

Вот с тех пор я и заказал себе не докучать более просьбами родной партии и советской власти тоже. А тогда мне говорили, ладно, мол, не посадили... Поэтому я назову фамилию того секретаря с благодарностью, хотя бы за то, что не сгубил он меня, прыткого русского дурака, — Серебров его фамилия.

И еще один путный человек походил в чусовских партийных секретарях — Хохолков Владимир Михайлович, родом с Вологодчины, после окончания электротехнического института начавший работать в Чусовском электродепо смежным мастером. Со вменяя должности, неосвобожденного секретаря комсомольской организации депо, он как-то стремительно пошел вверх, не особо вроде и стремясь к этому. Много, очень много сделал Владимир Михайлович для города Чусового, затем был взят в совнархоз, затем в какой-то отдел ЦК, надорвал там не богатырское свое здоровье среди сановных бездельников, да и умер, войдя лишь в середину мужицкой жизни. В остальном городское начальство в Чусовом было — шушера на шушере. Партия, выбивая из своих рядов все умное и честное, закономерно дошла до таких верховных ничтожеств, как Брежнев, Черненко, Подгорный, — имя им — легион. Так что же говорить о провинции, о глухой? Здесь вывелся и был селекционирован самый чванливый, самый отвратительный тип партийного чиновника. До Хохолкова секретарем Чусовского горкома был человек, работавший в школе преподавателем физкультуры. Моя будущая супруга, в отличие от мужа, детей ее и внуков, учившаяся хорошо, почитала и почитает всех своих преподавателей, многие из которых и к ней относились и относятся почтительно, до сих пор пишут письма. Она раскланивалась с бывшим учителем физкультуры, и он отвечал на ее приветствия до тех пор, пока не вознесся на чусовской партийный трон. Тут, нарядившись в каракули, стал он разъезжать по колдобинам города в черной «Волге» и не только мою малорослую партийную жену перестал замечать, но вообще здороваться стал по выбору, голову носить гордо, себя — бережно. Ну и свалило его в раннюю могилу той силой, которая превыше всякой гордыни, тем более наглой, партийной.

Здоровье мое совсем пошатнулось и я решил бросить... — Вот, кстати, вспомнилась английская шутка: «Один человек так много читал о вреде алкоголя, что решил бросить... читать». А я вместо того, чтобы перестать мучить бумагу и оставить в покое роман, решил бросить кормильца и поильца своего — «Чусовской рабочий», подверг себя так называемой «ранней профессионализации», которая ой сколько по необъятной Руси мучила да и домучила даровитых ребят. В те же годы маявшийся бесхлебцей и неприкаянностью в городе Горьком даровитый поэт Алек-

сандр Люкин, зарезанный ножом на трамвайной остановке или в подъезде за то, что вступился за девушку, поэтически точно выразил в стихах, названных «Начало пути», мое тогдашнее положение:

Жизнь моя была неустроена — сто забот и сто разных тревог,
И безденежем беспокоена до того, что уснуть не мог.
По ночам меня думы маяли, прилипла беда к беде.
За стихи меня только хаяли — не печатали их нигде.
Видно, были они корявые, мыслям, что ли моим сродни,
Посылал их в Москву за славою, возвращались с позором они.
Я и боль, и тоску испытывал, горем срезанный наповал.
И твердила жена сердитая: — лучше б валенки подшивал.

Не умел я валенки подшивать, это делал мой тесть, пусть и кустарно, не очень красиво, зато добротнo. Да и жена в ту пору была не очень сердитая, зато терпеливая, и, чтобы не доконать ее, детей, чтоб нянька не сбежала от бесклубья, подался я в собкоры областного радио по горнозаводскому направлению Пермской области.

На радио я стал хорошо зарабатывать, купил пишущую машинку, на гонорар же от романа, точнее, с доплатой из гонорара, обменяли мы избушку на большую избу, кое-что приобрели из одежки. Но среди всеобщей лжи, пустопорожней брехни, патристического выкаблучиванья первенство тогда неоспоримо принадлежало советскому радио, даже в газетке, где «оскверняла родное слово и отучивала людей от доброты», как впоследствии написал я в одной из своих «затесей», работа выглядела все же поприличней. Скоро я устал от халтуры и, пока совсем еще не утратил к себе последнего уважения, с хлебного места ушел. Дела мои литературные постепенно налаживались. К этой поре я написал первую свою повесть «Перевал» и был безоговорочно принят в Союз писателей, с чем меня первым поздравил телеграммой мой бывший школьный учитель Игнатий Дмитриевич Рождественский, работавший разъездным корреспондентом от газеты «Правда» и оказавшийся в ту историческую минуту в Москве. Так вот совпало: я поставил первый автограф на первой книге — своему учителю, — он первым поздравил меня со вступлением в Союз писателей, а то уж в Чусовом меня начали преследовать, как тунядца, нигде не работающего, ни топором, ни пилой, ни лопатой, все остальное здесь трудом не считалось.

В своих радиопутешествиях по горнозаводскому направлению не раз я бывал в свите тогдашнего секретаря Пермского обкома Струева. Он здорово играл под своего любимого вождя Никиту Хрущева, за что и был назначен министром торговли нерушимого Союза, окончательно ту торговлю развалил, ибо

ничего более, как кривляться, играть под вождем, не умел, но был беззастенчиво лжив, за что и получил почетную правительственную пенсию и сейчас, наверное, живя где-нибудь на подмосковской даче, ругает демократов и тоскует о славном прошлом, когда вел вместе с Хрущевым счастливый народ к коммунизму...

Русь, сколь бы ее ни превращали большевики в империю зла, стояла и держалась добрыми людьми.

Тот же, чумазный, в саже и дыму стоящий городишко Чусовой, соседний с пим город Лысьва, да и весь Урал горемычный — что бы они были без трудолюбивых, все переносящих людей, из которых и взаправду гвозди делали, в бараний рог гнули, судили, садили, давили, чтоб окончательно превратить в подъяремный скот, в мычащую тягловую массу, пронумерованную комиссарами и помещенную под охрану в казенную стайку или конюшню.

Да, много благодетели сделали, выполняя учение по неслыханному эксперименту над народом, который «не жалко», много и он зла сделал свету и породил бесчеловечности, сам дойдя до неслыханного остервенения, но своим примером, своим тяжким путем он спас весь остальной мир, указав, что дорога, которой он следовал семьдесят с лишним лет — гибельна, навязанный России путь — тупиков. Но, «Господи! Зачем ты избрал для этого жестокого примера наш народ?» — воскликнул однажды в беседе со мною один из несломленных советскими тюрьмами, образованнейший человек, совесть и честь нашего времени.

Я мог бы называть и называть людей, не давших погибнуть и моей семье в послевоенные годы, серьезно и бескорыстно занимавшихся тем, чтобы поставить меня на твердые гражданские ноги, научить обращаться со словом, не пропить, не продать по дешевке Божьего дара и совести, без которых в наше бесстыдное время жить будешь, но творить едва ли, разве что в угоду заказчику, а это равносильно смерти. Я почти пятьдесят лет занимаюсь литературным трудом и так или иначе сумел рассказать о многих людях, способствовавших моему становлению, поддерживавших в трудные дни, часто невыносимо-тяжкие. Пусть и не все они, как говорят наши штатные ораторы, задействованы в моих произведениях, но так или иначе помянуты благодарным словом все те, кто смог помочь мне устоять на ногах, не разменяться на медные пятаки, которым звенела наша щедрая на подачки и посулы родная власть, наш направитель, цензор и вдохновитель, — все та же благодетельница — коммунистическая партия, сама себя именовавшая умом, честью и совестью эпохи. Как же мы оглохли, как ослепли, как притерпелись к бол-

товне и безответственности, слушая, читая эти пустопорожние слова, часто и повторяя их вместе с руководящей камарильей.

Творчество — это не только пенормированный, но зачастую и непредсказуемый труд, в нем случаются не только срывы, провалы и досадные недоразумения, да и обыкновенные пропуски, забывчивость. Случайно встреченные, порой ничего, кроме досады и неприязни, не вызывающие люди непременно и «подвернутся под руку», а те, кого ты хотел бы поблагодарить, отметить словом, — откатятся на задворки памяти и не сразу оттуда возникнут.

Почти нигде не помянул я благодарным словом редактора газеты «Чусовской рабочий» Григория Ивановича Пепеляева, немало усилий приложившего, чтобы я прижился на «чистой работе», овладел азами журналистики, поскорее преодолел бы безграмотность и непрофессиональность. Я знаю, как много на земле, особенно на уральской, бродит или уже ковыляет тех, кто «сделал из меня писателя», по слабости характера, всего себя «отдавши другим», и только из-за неимения времени или охоты сами писателями не стали, недосуг было. Журналистикой, пусть и рашней, убогой, повторяю, помог мне овладеть Григорий Иванович, однако, в качестве писателя иметь меня было ему ни к чему — газете нужен работник, ломовая лошадь, но не свободолюбивый творец. Когда дело дошло до того, чтобы идти мне на «вольные хлеба», Пепеляев не мешал этому, надеюсь, искренно пожелал успехов и, надеюсь, так же искренно радовался им, когда таковые сошли на меня.

Но много было в ту пору и тех, кто злобствовал и скрежетал зубами, что я «с суконным рылом» решил забраться в «калашный ряд». Помню, как корреспондент «Правды» по Пермской области вельможно отчитывал меня за мои творческие поползновения, говоря, что он и не чета мне, но в писатели не лезет, предпочитает быть путным журналистом. Представительный вид, умение «подать себя» привели к тому, что местное руководство сделало его редактором областной газеты «Звезда», которую до него возглавлял замечательнейший человек Борис Никандрович Назаровский. Воспитанный, культурный и мужественный, он мог возражать «верхам», и самолюбивое партийное руководство области вынуждено было считаться с его мнением.

Борис Никандрович к этой поре уже истратил здоровье и начальство насадил своей неуступчивостью, его определили на должность главного редактора областного книжного издательства, в газету же всучили покладистого характером человека, который, если по Крылову: «Хотя немножко и дерет, зато уж в рот хмельного не берет». Быстро он довел «Звезду» до «уровня», ее

перестали читать и выписывать, и тому же руководству области пришлось сановитого мужика сгонять на почетную пенсию.

Зато нашему брату, молодым литсилам, повезло: в издательстве царила «мама Римская», то есть директорствовала Людмила Сергеевна Римская, изворотливая, толк в хозяйствовании и людях знавшая, литературу и литераторов, особенно молодых, любившая не менее, чем своих родных детей. В пристяжке — ироничный, тонко воспитанный меломан, эстет, проициательный человек и читатель — Борис Никандрович. Не всякого якова он подпускал к себе, не всякому оказывал доверие и, тем более, наделял дружеским расположением. Я удостоился всего этого, хотя поначалу с трибун посрамлял начальника своего, называл душителем талантов, сатрапом и деспотом, и еще как-то уничижительно-обличающе. Старик имел ко мне большое отеческое снисхождение, помог найти и купить избушку в деревне Быковке; в речке Быковке водился хариус, я его ударно ловил и там же, в деревушке, начал ударно писать. У Бориса Никандровича неподалеку, в поселке под названием «Винный завод», на берегу Камского водохранилища была дачка, переделанная из баньки. У него здесь пивали водку и закусывали дарами природы литературные знаменитости и друзья молодости: Аркадий Гайдар, Василий Каменский, Савватий Гинц, художник Широков и многие другие. Как я, бывало, появлюсь на «Винном заводе», Назаровский, усмехаясь, скажет: «Виктор Петрович, позвал бы сатрапа-то на ушку». Я и звал, потому как Быковка располагалась в двух верстах от «Винного завода». Мы подолгу с ним беседовали и незаметно, без демонстрации обидного превосходства Борис Никандрович образовывал мой читательский, музыкальный и прочий вкус. Он первый мне сказал, прочитав мои «уральские» рассказы и, естественно, роман, чтоб я не насиловал свой дар, не приспособливал его к «неродной стороне», пел бы свою родимую Сибирь и сибиряков. Долго живший и работавший в Омске редактором областной газеты, он смог помочь студенту местного сельхозинститута, начинающему прозаику Сергею Залыгину. Затем вот и мне.

Назаровский, да и я тоже, шибко были огорчены, когда пришлось нам расставаться, переезжать с Урала, всю мне душу истерзавшего. Но связь наша не прерывалась до самой смерти Бориса Никандровича. Когда я написал и опубликовал повесть «Пастух и пастушка», Борис Никандрович первым откликнулся большим, отеческим письмом, сказавши в нем, что вот он, слава Богу, и дождался, что я начал реализовывать себя на том уровне, какой мне определил Господь. А когда я появился в Перми, сказал, что «Пастушка» моя уже написана в музыке и подарил мне плас-

тинку с пятой симфонией Шостаковича, которую я, увы, никогда не слышал, потому как это произведение раньше почти не исполнялось, да и поныне исполняется редко.

Клавдия Васильевна Рождественская и сменивший ее на посту секретаря Пермского отделения Союза писателей Владимир Александрович Черненко к концу пятидесятых годов оконтурили кружок местных талантов, как это делают геологи перед тем, как начать эксплуатацию месторождения нефти, руды, угля и прочих полезных ископаемых.

Развевая толпу графоманов и говорунов-теоретиков, самими же ими вскормленных и выпестованных, которые обретаются везде в изобилии, а около «легкой и престижно-модной работы» — литературы и искусства тем более, начальство наше сбило невеликую кучку местных «талантов и подающих надежды» молодых людей, большинство из которых подает их доньине или так усердно наподдавалось, что залегло в ранние могилы либо путешествует туда-обратно меж заведениями, лечащими от дури и алкоголизма — самое это распространенное, чудовищное явление: не научившись писать, напечатав очерк в альманахе, издав книжку-другую, иногда лишь подборку стихов тиснув в газете, почувствовав себя в творческом угаре, в «своем кругу», ребята обалдевали от ощущения своей гениальности и начинали беспробудно пить горькую.

Видимо, губительные примеры старших заразительны. У меня есть довоенная хрестоматия для высших учебных заведений, купленная на рынке. В ней помещено тридцать шесть российских авторов той самой «блистательной провинции», по словам Валентина Курбатова, «которая сделала бы честь любому европейскому государству». В ту «провинцию» угодили Короленко, Мамин-Сибиряк, Писемский, Помяловский, Надсон, Бальмонт, Мей и многие-многие другие. Почти у каждого из этих русских писателей в конце краткой биографии застенчивым, мелким шрифтом обозначена причина смерти: «Чох.», «Алког.», исключений немного — поэт Апухтин и прозаик Гаршин — один умер от водянки, другой в горячке бросился в пролет лестницы. Однако эта блистательная русская литературная провинция успела не только бурно пожить, но и поработать, оставила за собой произведения, которые живут до сих пор, и надеюсь, многие из них перевалят этот недобрый, путаный век.

А в наши-то злосчастные времена, что за поветрие повалило молодые таланты, вырвало их из земли, как саженцы, едва пустившие ростки и засветившиеся несколькими листиками да незрелыми плодами? Я мог бы рассказать множество страшных

трагедий о гибели молодых людей «по причине литературы», иногда и целых семей, свидетелем и очевидцем которых мне довелось быть. Но не стану этого делать — это предмет для отдельного грустного разговора, нашим людям и без того нынче нелегко живется.

Руководители Пермского отделения не раз уже предлагали мне оформиться в Союз писателей, тем более что у меня вышла книжка в Москве. Но как человек обостренного, даже болезненного самолюбия и отношения к тому, что старомодно именуется человеческим достоинством, я желал идти в Союз наверняка и, если бы меня отложили с приемом «до следующей книжки» или вовсе отказали, как это бывало со многими периферийными писателями, в том числе и пермскими, я, скорей всего, никогда бы уж не подал заявление о приеме в Союз писателей и остался бы одиночкой на ниве отечественной словесности, коим и пребываю ныне, считая, что все эти творческие Союзы изжили себя, да и сама система отношений между писателями, существование их в обновленном государстве должны быть наиболее приспособленными ко времени и обстоятельствам. Бесшумно окончили свое существование Союзы художников, композиторов, а наш, литературный Союз, развалившись на отдельные узлы и закутки, все еще надеется выжить и прокормить кучу людей, спрятавших глубоко в карманы членский билет, на протяжении многих лет помогавший творческой личности существовать ни шатко ни валко, ничего не делая, ходить в «писателях», требуя себе права на избрание и избранность, на прокорм, пусть и скудный.

Когда я написал повесть «Перевал», то попросил послать рукопись ее вместе с обязательными экземплярами моих книжек в приемную комиссию. Эту-то рукопись и передали члену приемной комиссии Вере Васильевне Смирновой. Она ее прочитала, написала обширную рецензию, сама из-за болезни не смогла прийти на заседание приемной комиссии. Рецензию ту зачитали вслух, проголосовали — и я оказался в Союзе, который на протяжении многих лет давал мне право числиться на работе, служил поддержкой и опорой не только мне в нелегкой и непростой жизни провинциального литератора, поспособствовал крупным и полезным изменениям в творческой жизни. И поклон земной, и спасибо Союзу писателей за это, но перестраиваться, начинать жизнь по-иному все же надо — другие времена, другие поколения на дворе и потому должны быть другие требования к слову и содержанию жизни художника. Мы все-таки жили по упрощенной схеме: руководитель — руководимый и работали по традиции, пусть и замечательной, завещанной и оставленной

нам великой русской литературой. Но традиции — не окаменелость, они также подвержены времени и его изменениям.

Вера Васильевна Смирнова не родня многим Смирновым, населявшим советскую литературу, она всего лишь их однофамилица, к тому же ни прозаиком, ни поэтом она не была, а числилась в Союзе по линии «театральных критиков», и не знаю, чем уж я ей по душе пришелся, но на протяжении немалого времени она «вела» меня, направляла и деликатно влияла на мой «творческий», значит, и жизненный путь.

Вновь созданный Союз — писателей РСФСР — от щедрот своих и административного размаха затеял творческий семинар молодых рассказчиков России. Вера Васильевна не только записала меня в число семинаристов, но и взяла под свою опеку. Собрались мы, молодые литсилы России, в шикарном доме творчества Малеевка. Аж на целый месяц оттуда удален был всякий другой пишущий, но больше отдыхающий люд, дабы не мешал он молодым талантам думать и творить. К каждому двум семинаристам приставлялся опытный наставник-писатель, среди которых оказались Троепольский, Москвин, Зубавин, Перцов и еще кто-то, я уж сейчас не помню. Они, наставники, и жили почти безвыездно здесь же, в Малеевке. Но у Веры Васильевны был я один-одинешенек, и в Малеевку она не приезжала, я ездил к ней в Москву, пил с нею чай и разговоры разговаривал. Вера Васильевна тяжело болела и лежала — большое, непоправимое несчастье подкосило ее — прошлым летом, будучи вместе с нею в доме творчества Дубулты, утонул ее единственный, восемнадцатилетний сын, в той самой морской воронке, где перетонуло много всякого народа, в том числе и по сию пору любимый мною критик Дмитрий Писарев.

За блаженный месяц, отпущенный мне Богом и Союзом писателей, я должен был не только перезнакомиться с творческим народом, но и пообщаться с Москвой, побывать в театрах, на выставках и... написать новый рассказ. «Сильно себя не утруждайте, напишите чего-нибудь для отчета, пустячок какой-нибудь набросайте и привезите мне, — наставляла моя умная и доброжелательная руководительница, — главное, больше общайтесь с людьми, читайте, обсуждайте, соскребайте с себя ногтями провинциальную штукатурку. Вам бы, Виктор Петрович, непременно надо поучиться на Высших литературных курсах».

Я заинтересовался, что это такое? Вера Васильевна объяснила, что при Литературном институте существуют курсы, на которые принимают членов Союза писателей, преимущественно с периферии, причем предпочтение отдается тем, кто не имеет высшего образования и не перевалил возрастом за сорок пять лет.

«Разумеется, никакой институт, никакие курсы писать Вас не научат, по два года жизни в Москве, в творческой среде могут многое дать человеку, который хочет чего-то добиться и стремится к самоусовершенствованию», — Вера Васильевна не просто говорила, но и действовала. Я был в творческой командировке от журнала «Урал» аж на Игарке, когда в Заполярный круг долетела телеграмма, что я зачислен на Высшие литературные курсы, и к первому сентября подлежит мне быть в Москве, куда с опозданием на полмесяца я и прибыл.

На знаменитом, увы, ни разу более не повторившемся в том же виде малеевском семинаре были Юрий Казаков, Глеб Горышин, Виктор Потанин, Виктор Попов, Павел Макшапихин, Андрей Ромашов — более трех десятков рассказчиков было, и все чего-то сотворили или из стола выпули написанное. Я написал рассказ «Кровь человеческая», издал его в Свердловске отдельной книжкой, там же его напечатали в коллективном сборнике — про борьбу с преступностью. И на том мое сердце успокоилось, рассказ тоненькой книжицей всунулся меж других книг и забылся надолго. Увы, увы, на курсах, на Высших, в московской суете, в интересной, порой бурной жизни столичной, подзабыл я благодетельницу свою, разок-другой наведался, позвонил, потом переезжал из Чусовского в Пермь, обустроивался в деревне, писал, читал, снова суетился. Однажды открыл «Литературную газету» — там скромненький некролог в рамочке, — не стало Веры Васильевны Смирновой — тихо, незаметно ушла она, сделав много добра людям, в том числе и мне. И ничего мне не остается, как раскаянно вздохнуть и поклониться низко той земле, которая не перестает рожать добрых людей, в коих ныне особенная нужда.

За два года учебы в Москве я прошел дистанцию, которую в таком культурном центре, как город Чусовой, самостоятельно проходил бы лет двадцать, глядишь, и заскоруз бы, опустился до самого заплесневелого обывателя, превратился бы в отвальный шлак, что горит и остывает круглосуточно за рекой Усьвой, ведь мои чусовские сокружковцы, так горячо, порой не без смысла и ума спорившие о российской словесности, остались на уровне районного литкружка в качестве сочинителей, а как читатели успели даже и одичать, опуститься до завистников, кои густо населяют окололитературные ряды, превратиться в злобствующих патриотов, которым рыбьей костью поперек горла стала так называемая демократия, возможность жить, мыслить и работать самостоятельно.

Во время учебы на Высших литературных курсах раздвину-

лись рамки моей окружающей среды. Москва с ее театрами, концертными залами, выставками, несколькими первоклассными преподавателями, единомышленниками и друзьями, много изведавшими, испытывшими, уже добившимися в литературе заметных успехов, — все-все способствовало духовному просветлению и нравственному усовершенствованию, способствовало прежде всего тем, кто к этому стремился, но не только водку пил. Гуляли, развлекались и мы, седые люди, пускали в аудиториях бумажных голубей. Ниша Михайловна Молева, милейший человек, преподаватель истории искусств, самозабвенно отдававшаяся своему делу, называла нас «мои взрослые дети». Да, да, мы отыгрывали и отгуливали пропущенную юность, молодость, кто и отпятое детство. Среди нас были не только фронтовики, рабочие, крестьяне, были и репрессированные, жертвы сталинских концлагерей. Они делились с нами «богатым прошлым», открывали глаза на правду.

На курсах я не только много общался с курсантами и студентами Литинститута, но и пересмотрел весь тогдашний репертуар в столичных театрах, перечитал рукописи почти всех сокурсников и литинститутцев, да и сам работал, написал повесть «Звездапад», пяток рассказов, перевел по подстрочникам несколько произведений сокурсников из других республик.

Счастливые, плодотворные годы. Жаль, что всего их за первую половину жизни выпало лишь два.

В город Чусовой мне было возвращаться не очень-то способно. Пообещали квартиру в Перми, и я более года ездил туда — смотреть, как продвигается строительство дома, в котором была обещана квартира, — мы с женой боялись, что ее или займут, или передумают давать.

Спустя восемнадцать лет после войны мы получили долгожданную квартиру, и тогда я запомнил навсегда родившуюся в ту пору поговорку, что жизнь советского человека делится на две половины: до получения квартиры и после получения таковой. Квартира сдана нам была без света, без воды, без газа, с бетонными пробками в трубах и вывороченной плиткой в совмещенном туалете. Стенки ее едва дышали. «Зала» была проходной, семья накопилась — пять человек. В ту пору без избы в деревне работать мне было невозможно. Вот тогда-то и свозил меня Борис Никандрович Назаровский в деревню Быковку, и для меня наступили счастливые дни и годы плодотворной работы. Все семейные тяжести легли на жену: в Быковке не было магазина, электричества, все, начиная от керосина и хлеба, надо было

возить и таскать на себе, жену мою в округе прозвали «маленькая баба с большим мешком на спине».

Окрестности Быковки давно и неряшливо обрублены, вырубки заражены энцефалитным клещом, и однажды сразу двое в семье — жена и ее племянник заболели энцефалитом. Я привез Марью Семеновну в город в бессознательном состоянии, но никак не мог определить в больницу. Из Союза писателей пытались мне помочь в этом безвыходном положении через обком, но завобладроватделом фыркнул: «Мне еще только не хватало заниматься писательскими женами...». И тогда я твердо себе сказал: если жена выздоровеет, уеду из этой опостылевшей мне стороны, брошу раздутый от чванства город и спивающуюся писательскую организацию.

О болезни жены узнала ее подруга, работавшая в больнице рентгенологом, и добилась места в отделении, сначала в коридоре, потом больную перевели в палату. Как только жена маленько пришла в себя, я снова повез ее в проклятую и замечательную Быковку, на лоно природы, разумея и веря, что лоно это самое — сильнее и полезительней всех лекарств.

От пристани Степаново до деревни Быковка — полтора километра. Полями и лесами мы с еще недавно бегучей женой шли часа три и, когда вошли в прохладную, когда-то запущенную хозяевами, но обихоженную Марьей Семеновной избушку, тут она воскрешепно заплакала, сам я плакать ушел за баню, к утекающе-говорливой, светлой речке Быковке. И потом, когда я осуществил свое намерение, уехал с семьей в тихую Вологду, где прожил почти одиннадцать лет, в доброжелательной творческой среде, которой покровительствовало, проявляя такт и заботу, областное руководство, а раз оно хорошо, с пониманием относилось к нам, то и всякое другое население должно было ему подражать, Быковку не забывал, наезжал туда не раз. Снится она мне и по сию пору.

В 1980 году я вернулся на родину, в Красноярск, и сразу же занялся тем, чтоб подыскать и купить избу в родном селе Овсянка. Мне повезло. Я купил развалюху в переулке моего детства, против бабушкиного дома, в котором в ту пору жила одна из моих теток, Апраксинья Ильинична. Здесь мне хорошо работается, за период сибирского «сидения» я успел много сделать. Начал и надеюсь закончить давно задуманный роман о войне. Все, написанное в Сибири, широко обсуждалось, печаталось, интервьюировалось, поэтому я не буду останавливаться на моем сибирском периоде.

Коли я назвал свою статью не столь выразительно, как бы мне хотелось, даже по-газетному казенно, позволю себе сухо

порассуждать в конце ее о том предмете, которым занимаюсь, и разумеется, о времени, в котором жил и работал. Позволю задать себе и читателям «прямые» вопросы: кто мы? Что мы? Как жили? Как работали? Получилась ли польза от моего труда? И есть ли она, польза, вообще от труда творца, художника, мыслителя?

Есть, есть, не волнуйтесь! Была, есть и будет. Если б не искусство, не литература, не муки творцов, человечество давно бы уж опустилось на четвереньки, залезло бы в холодные пещеры — подышать, потому как все время испытывало и испытывает неодолимое желание вернуться к зверю и довольно уже преуспело на этом пути. Если сегодня судить по облику и по духовному состоянию населения нашего обширного отечества, то оно уже, за малым исключением, близко к тому, чтобы потерять право называться человеком.

Всю жизнь учился и учусь на писателя. Сперва писал полурассказы, постепенно овладевая навыками рассказчика, подступая к этой очель емкой форме литературного жанра, который в русской литературе исходит от устного рассказа и доведен гениями нашими до таких совершенств, что мировая повеллистика преклонялась и преклоняется перед русским рассказом. Сомерсет Моэм утверждал, что тот, кто в начале нынешнего века не подражал Чехову, не мог считаться в Англии новеллистом и вообще писателем.

Мне удалось написать с пяток рассказов, достойно представляющих этот жанр, и когда я начал овладевать более пространной формой — повестью, также блистательно освоенной русскими классиками, то первые мои повести тоже были рассказами: «Стародуб», «Звездопад», но более длинными или состоящими из главок-рассказов — «Перевал».

Впервые вплотную соприкоснувшись со сложностями объемного произведения — в «Краже», — я вконец запутался, не мог одолеть многие тонкости и преграды сюжетного произведения с ходу, как уже подучился делать в рассказах, особенно лирического и чисто изобразительного характера. Отдельные «номера», отступления, вставки-рассказы, биографии персонажей, смешные байки, пейзажи свершились и тут, в «Краже», но этого было мало для произведения, которое претендовало быть повестью, следовательно, должно было находиться на ближних подступах к роману. Я обязан был научиться думать вместе с моими героями, пропустить через себя, значит, через свою мысль сложности времени и судеб, действующих в нем. Без конца переписывал, марая листы повести, я не только и не столько шлифовал

и отделявал текст — «Кража» только на машинке перепечатывалась четырнадцать раз, — но истязал себя, выучиваясь врубаться в пласт более глубокий, исследуя действительность, психологически постигая характеры героев того времени.

Работая, чему-то подучился. Но с каким напряжением! С каким трудом! С какой тратой внутренней энергии! И все оттого, что с детства, как и многие из нас, советских литераторов, среди которых истинных писателей очень и очень мало, я, как и многие из совграждан, не научен был не только заниматься самоанализом, осмысливанием бытия человеческого, но и ни над чем думать не умел, прежде всего над жизнью и поступками своими, а не только всечеловеческими. Жил, как и многие из нас, механической жизнью: чего-то делал, ел, спал, иногда досыта, чаще — нет, иногда на мягком, иногда на досках, считал, что так, как есть, — должно и быть, все равно кто-то обо мне и за меня думает, заботится о том, чтобы хоть какой-то хлеб для еды, доски для спанья были, — можно ведь и на досках думать, что ты все равно живешь лучше всех, то есть думать то, чего тебе внушили, навязали, вдолбили.

В тридцати-сорокалетнем возрасте я одолевал грамоту, приближался к тому самосознанию, которое литературные деды мои, прадеды, волей судьбы соратники по ремеслу: Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Толстой, Бунин, Тургенев — «прошли» еще в раннем детстве. И когда я читал творения семнадцатилетнего Лермонтова (он в этом возрасте начал своего «Демона» — невыразимо загадочную притчу сложнейшего философского и художественного постижения), когда увидел рисунки семилетнего Мишеля, хранящиеся в Пушкинском доме, меня взяли оторопь и отчаяние. У меня не только руки опускались, но и душа холодела, разум болел, мозги делались наперекосяк. Куда я сдуру затесался? Как смел войти в тот храм, где царят боги? Ведь я русский литератор и занялся тем же самым делом, что и Лермонтов, и Пушкин, я приговорен был хоть в чем-то, хоть как-то приблизиться к их слову, иначе я — наглый грабитель, моральный урод (не в том смысле, как это употребляла проработочно-барабанная этика соцреализма), но в том урод, бесстыдник и браконьер, что своим плоским, бездуховным, пустым словом занимал читателя, отдирая его от величайших творений наших гениев, мешая им наслаждаться умным словом, развиваться, совершенствоваться.

Нам и сейчас все еще некогда, все недосуг осмыслить наше время и подсчитать вред, нанесенный народу партийной идеологией и громоподобной, лукавой псевдокультурой. В том, что он, так называемый советский народ, одичал при всеобщей грамотности, сделался бездуховным, злым, — есть большая заслуга и

современной культуры, прежде всего литературы периода всеобщего социалистического культуризма. Тот, кто не внимал нам, и продолжал внимать Карамзину, Пушкину, Лермонтову, Толстому, Достоевскому, Чехову, Бунину, — не дал себя заморочить видимостью культуры, новейшему образу жизни, идеологии разрушения, ловкого притворства и лести перед своим народом, об того разбивалась псевдокультура, как замусоренная промышленными отходами волна разбивается о каменный утес. «Их было мало на челне», но они грудью встречали шквал обмана, в волнах дерьма оставались чистыми, и на горбине тех стойких утесов не было замшелости, па них, вопреки тьме и непогоде, росли ветреные сосны с чуть изверченными ветвями, цвели подснежники, шумело вольнотравье, над ними пели ветры свободы, и они же первые встречали удары бурь и молний, погибали, мыкались в застенках и психбольницах.

Легко было управляться с нами, полуграмотными, полусуспелыми, полуглухими, пораженными ленивомыслием. Мы такими и нужны были партийной верхушке. Тех, кто смел «поумнеть», переступить грань бездумья, согласно настольным учебникам соцреализма иль по указке сверху, начинали сразу же и совершенно справедливо считать «не нашими». Будучи слушателем Высших литературных курсов, я не пошел на похороны Пастернака не потому, что чего-то или кого-то боялся, нет, я просто не испытывал в этом надобности. Был я уже зрелым человеком и признанным литератором, когда началась травля великого русского писателя Солженицына, но ни я, ни достославные вологодские писатели пальцем не пошевелили в защиту гонимого все по той же причине: моя хата с краю. Гордиться же тем, что в травле не приняли участия, — это игра в паивное малодушие. Да, я где-то в пространных аудиториях смел сказать что-то доброе о Солженицыне, но не стоит тем тешить свое ничтожество, помалкивай, брат, может, и за бесстрашного сойдешь...

Что движет сознанием художника, прежде всего музыканта, живописца, поэта? Подсознание. Оно, оно, нами не отгаданное, простирается дальше нас, достигает каких-то, может, и космических далей и тайн. Тайна и движет творчеством, потому-то все великие гении земли верили в Бога иль вступали с Ним, как Лев Толстой, в сложные, противоречивые отношения. Бог есть Дух, Он всегда с нами, даже когда вне нас, Он — свет пресветлый — и есть та боязная тайна, к которой с детства прикоснувшись, человек замирает в себе с почтением к тому, что где-то что-то есть, а когда один остаешься — оно рядом, оно постоянно оберегает, руководит нами, одаривает, кого звуком, кого словом и всех,

всех — любовью к труду, к добру, к созиданию. Бога скорее и яснее всех чувствуют невинные дети, потому как не знает еще их маленькое сердце сомнения. Вот хитрованы-большевики и прививали свою веру, как холеру, нам с детского возраста и, отлучив от высшей веры, приблизили нас к низшей, вредной, растлевающей морали, заразили безверьем два или три поколения. А высшая вера — это всегда трудно. Надо быть чистым помыслами и сердцем, постичь немыслимое, отгадать высший смысл веры, пытаться донести до людей то, что постиг ты с помощью Божьей, даровавшей тебе отблеск небесного света, пеняя, что зовется небесным, донести, как высший дар, до других людей. Я всегда восхищался и восхищаюсь математиками и музыкантами, владеющими единой системой общения и выражения своих чувств, — они мне кажутся наиболее свободными и совершенными людьми. Недаром же им завидовали даже самые свирепые властители и завоеватели. Вытапывая, выжигая земли и государства, все живое сметая огнем войн, громадами войск, даже самые беспощадные полководцы, как правило, щадили математиков, музыкантов, поэтов, строителей, садовников, звездочетов, отгадывателей «водяной жилы». В девятом-одиннадцатом веках воинственные арабы достигли могущества и процветания своих государств не только мечом и огнем, но и науками. И вот в двадцатом веке, в середине цивилизованных стран появляются совершенно дикие силы — фашисты и коммунисты — и начинают расправу в первую голову именно с интеллекта своих наций, не понимая, что подрубают сук, не только тот, на котором сидят сами, но просто сокрушают все дерево, и в том лесоповале губят и себя тоже, свою бойкую, зубастую, что акула, науку борьбы со всем и всеми, «кто не с нами». В тюремные ямы они бросили писателей, я уже их перечислял: Ключева, Манделштама, Корнилова, Артема Веселого, Зазубрина, Васильева, Князева, Заболоцкого, Смелякова, Ручьева и множество-множество других, предполагая в них наипервейших вольнодумцев. С теми же, кто остался или подрастал, поступили, как с соловьем в басне Гаврилы Державина: «Поймали птичку голосисту и ну сжимать ее рукой. Пищит, бедняжка, вместо свисту, а ей твердят: «Пой, птичка, пой!». Коли еще дальше, еще глубже влезать, вмешиваться в подсознание — начнется разлад души, человека истерзают противоречия. Даже такой титан мысли, как Лев Толстой, повергнут был в смятение и, в конце концов, изведав страх греха, пришел к смирению, к согласию с тем, что было непостижимее и сложнее даже его могучего сознания.

И чем дальше будет существовать и вызревать человек, тем сложнее будет его отношение с подсознанием, ибо сознание —

есть материя почти отгаданная, все же, что дальше сознания, что за пределами его — вечная тайна, кою человек всегда будет стремиться отгадывать и, отгадывая, неизменно, как и прежде, будет совершенствоваться, одаривать мир великими творениями и красотой, если, конечно, путь его вновь не заступит что-то, подобное фашизму и коммунизму, препятствующим нормальному ходу жизни, упрощающим человека и человеческую мораль до всеобщей паготы, до скотского отправления, педаром же любимейшими словами коммунистов были слова: темпы и ускорение. Коммунисты со своим схоластическим умом, отвергнувшие все сложности жизни и загадки бытия, хотели сразу же, без Бога, без веры, без боязни «темных сил» проскочить в рай и по дороге к тому раю не знали никаких преград. Ни кровь, ни муки человеческие, ни страдания, ни стенания не должны были смущать тех, у кого «вместо сердца пламенный мотор», в голове — отупляющий наркотик чужого учения, сулящего скорый путь ко всеобщему благоденствию и неслыханным победам.

Над кем? Над чем? Но наркоман с воспаленным разумом, на задворках которого остались лишь инстинкты разрушения, насилия и мстительности, не способен задумываться над своими поступками, тем более, над окружающей его действительностью — ему на все наплевать. Он — разрушитель. Он всегда антиморален и поэтому громче всех орет о морали. Орет, как и живет, — механически, бездумно движимый все теми же первобытными инстинктами, которые в начале зарождения жизни заложила в него природа. Ему нипочём и лучшая часть человечества, поднявшаяся до постижения Бога, взывающего к смирению, покаянию, неторопливому труду, велящему не брать, а отдавать. Все лучшее в сердце и сознании человека новым идеологам удалось пригупить, загнать на задворки человеческого сознания; тупая машина новых чудо-идеологий, как мельница, перемалывала каменным жерновом все то, что природа, культура и труд заложили в человека; ускоренными темпами происходила деформация вечных, выстраданных истин, скороспелыми посулами братства, равенства и свободы «борцы за правое дело» замутили человеческий разум, а доверчивое сознание русского человека исказили, вывихнули.

Во время второй мировой войны классик скандинавской литературы, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун посетил фашистский корабль, — очень плохо, позорно поступил, но то, что советские классики табунами ходили на поклон к партийным советским вождям, пили с ними вино, даже танцевали вприсядку — это очень хорошо и даже замечательно! Пролетел на военном вертолете над пламенем объятым Вьетнамом классик

американской литературы Джон Стейнбек, полюбовался на действия сынов своей свободной страны, дошедших до nepотребства и озверения, — зачумленный черносотенец Стейнбек — никакой больше не гуманист, отныне он и не друг советского народа. А вот ловкий, молодой да ранний «творец» соцреализма, подсуетившийся в Афганистане, где наши доблестные войска в зверстве не уступали ни фашистам, ни тем более американцам, своим продажным перышком обратил преступление в героизм, и сразу сделался выдающимся деятелем современности, лучшим другом советских генералов, передовым глашатаем за Россию и русский народ.

В непонимании, искажении, затуманивании смысла жизни и человеческого назначения — самая большая уязвимость коммунистической морали. Шипящие, ядовитой слюной брызгающие остатки коммунистической банды, жаждущие лишь одного — отомстить! — не понимают по ввинченной в их упрямые башки бетонной ограниченности, что паваждение кончилось, что историю не перепишешь, жизнь не повернешь вспять. Кому отомстить? За что? А за то, что перестали их слушать и слушаться, раболепствовать перед ними, стоять на коленях? После путча, испугавшись поначалу, что с ними, с коммунистами, поступят так же, как они поступали со всеми побежденными и сваленными с ног, то есть будут бить лежачих, постреляют их, поотрубают им головы, загонят в лагерь; уяснив, что этого не будет, что на них пытаются воздействовать морально, а на всякую мораль они давно не только наплевали, но и наклали большую кучу, «борцы» снова пачинают поднимать полуоблезлые головы, искать виноватых, лгать, изворачиваться, метать из ноздрей революционное пламя. Им даже удалось убедить часть ими же сбитого с панталыку населения в том, что «ничего не переменялось, они еще придут и всем по мозгам дадут...»

Между тем уже начался суд истории, самый нелицеприятный, никому неподвластный, от него ни загородиться, ни спрятаться, главное, не переорать его, в чем коммунисты первейшие мастера.

В Софии в октябре 1991 года состоялась международная конференция с непривычно и пока еще жутко для нашего робкого ума звучащей темой: «О преступлениях коммунизма перед человечеством». Наша велеречивая, ловконькая пресса сообщила об этом на средних полосах, в уголке, петитом, — на всякий случай перестраховываясь перед давно всеми разумными народами проклятым набегом на человечество красной орды, с красной, заразной чумой в сердце, со злобным неистовством, жесточайшим эгоизмом самосохранения в голове.

Но я отвлекся, то есть не вовсе отвлекся, ибо творчество вне времени, вне жизни невозможно. Далее хочется порассуждать о том, как оно, это творчество, или точнее, творческая самостоятельность дается нам, как мы ею овладеваем, выживаем как.

Вот пришло время писать давно задуманный роман о войне, и я снова учусь, в этот раз на романиста. Да, опыт непрерывного, школярского усердия не прошел даром, Богом данное дарование помогло мне в обращении с материалом, уж не схвачусь я с ходу за материал и замысел, возникший в голове, подожду, подумаю, глядишь, замысел-то и улетучится, значит, не мой он, «мой» куда не денется, замучает, затерзает, но заставит «рожать его». Уже нет надобности перепечатывать рукописи четырнадцать раз. Моллю Бога, чтобы работа над романом уложилась в двадцать лет, в пять-семь перепечаток, иначе мне просто не успеть завершить эту книгу.

Легче ль, проще ль сделалось работать? Нет, не легче и не проще. Вот пишу я роман и вижу, что это вовсе и не роман, а рассказ огромных размеров или все та же любимая мною повесть, состоящая из отдельных кусков и рассказов. Лоскутное одеяло — оно тоже одеяло, теплое и даже красивое, под ним можно спать. И все же шились лоскутные одеяла по нужде, из-за пехватки «сырья», по старанья, раденья, усилий, уменья, труда лоскутное одеяло требовало от творца куда больше, чем одеяло из цельного лоскута или куска мануфактуры, чаще всего сатина или ситца.

Снова с нуля, снова преодоление себя, своей неполноценности, сознания, что не дошел и не дорос до построения такой сложнейшей, многоэтажной конструкции, как роман. Тут в самую пору придутся слова из «Азбучной истины» болгарского поэта аж девятого века Константина Преславского в переводе Валентина Арсеньева:

...Милости возжаждав от крещенья...
Ныне я о помощи взываю.
Отче, Сыне и Пресвятой Душе,
Пусть сойдет ко мне живое слово,
Руки воздымаю — дай мне мудрость,
Силу, что с небес своих обильно
Убережь молю от гордой злобы
Фараонской, исцели и дай мне
Херувимов шестикрылых силу...

В рассказе, даже в повести еще возможно как-то инстинктивно увернуться от встречных, очень опасных препятствий: недостатка знаний, прежде всего богословия, в котором заложены и осуществлены все высочайшие постижения человеческого.

Возможен ли новый Шаляпин? Как, впрочем, и Пушкин тоже? Шаляпин-то может и появится, но вот явится ли среда, в которой могучий талант может раскрыться, — в этом я шибко сомневаюсь. Воп какой свал идет в шаляпинском-то театре, в Большом. Там голый голого дерет и кричит: «Рубашку не порви!» Блистательная труппа Большого театра, сформировавшаяся еще в дореволюционные времена, смогла продлить себя в одном или даже в двух поколениях, по инерции возникали и утверждались здесь великие певцы и танцоры, единицами сияя на когда-то многозвездном небосклоне, но и развал надвигался неизбежно, и сколько же в этом свале погублено и растерзано талантов. Театр, где первенствовало не искусство, а парторганизация, сделался притчей во языцех, «накал принципиальной борьбы» в нем за высокое искусство сделался столь яростен и непримирим, что много от него сбежали за рубеж, иных просто выкинули за порог, — время посредственностей не терпит ничего выдающегося, последовательная коммунистическая борьба, как молния, сечет и обезглавливает прежде всего высокое. С тревогой слежу сейчас за тем, как зарождается новая, сильная труппа в нашем великом театре, убеждаясь в том, что русская земля не обесточилась еще, не обессилела и способна рождать первоклассные таланты — только бы не завелась здесь снова всепоражающая, растлевающая красная чума. Я уж не говорю о горькой судьбе провинциального театра, объединений художников, музыкантов, писателей. Если бы те усилия, ту крысиную грызню, которая в них происходит, обратить на труд и пользу, мы бы завалили первоклассной продукцией весь свет и «на весь крещеный мир изготовили бы пир!», но бороться, поднимать бури в провинциальном самоваре всегда легче, чем работать, делать полезное дело.

Антисреда? Антижизнь? Антитруд? Антиискусство? Какой народ, какая культура выдержали бы то, что у нас свершилось? Только очень сильный народ, только мобильная культура. В нас заложены крепкие мускулы, большой духовный заряд, которому мы, увы, предпочли заряд разрушительный, взрывающий, потому как убивать человек научился раньше, чем думать, творить, и эта работа ему привычнее.

Германию и Китай спасло от гибели и угасания, принесенного фашизмом и коммунизмом, то, что все это мракобесие было кратковременно, и еще то, что немцы не затянули войну на своей территории. Случись затяжка, наша армия ограбила, растлила, загнала бы в колхозы немцев навсегда. Не успели наши благодетели коллективизировать сельское хозяйство и разум человека ни там, ни там, и немцы, и китайцы остались частнособственниками, китайцы даже в городе остаются крестьянами и ремеслен-

никами, а немцы хоть в селе, хоть в городе — несравненными тружениками. Те, кому удалось в наши дни осуществить перестройку и добиться улучшения жизни: Чили, Южная Корея, Турция, так называемые страны бывшего соцлагеря, прежде чем начать перестройку, пересадили коммунистов в тюрьму, чтобы эти главные смутьяны не мешали делать дело.

Вон они, загнанные в угол, недобитые, изо всех сил мешают осуществлять реформы, спокойно жить и работать народу, «с свинцом в груди и жаждой мести» снова рвутся к власти, чтобы начать расправу над остатками издерганного, пострадавшего народа. И снова им удается обмануть замороченных ими людей посулами, убедить послушное население, что не они виноваты в развале Союза, в обнищании народа, как и прежние лжецы, они следуют по нехитро заданному курсу: царь виноват, враги народа, оккупанты, «внутренние» враги, идеологические диверсанты, теперь вот демократы, хотя демократией, стало быть, и демократами в России еще не пахло. И на обмане, горлохватстве, стадном, зверином инстинкте коммунисты могут вовлечь толпу в новый переворот, прийти к власти, как Наполеон, на сто или двести дней, и, как император-авантюрист, сумеют за короткий срок залить Россию и ее окрестности кровью. Но это уже будет последнее сошествие антихриста на землю русскую, остатная кровь нашего народа — на большее его просто не хватит.

Большая часть наших сил уходит на преодоление самих себя, своего гражданского и нравственного несовершенства, у меня, плюс к тому, еще и физический недостаток — больная от конгузии голова, испорченное на войне зрение, что не дает возможности заново, как в детстве, читать и в чтении находить то, чего недобрал в жизни. С помощью книг, музыки, природы, театра, дружеского общения возможно преодолевать свое дремучее невежество, свои провальные, губительные недоборы в области культуры. Но время-то неумолимо, второй же жизни Господь не отпустил, чтобы наверстать упущенное.

«Да полно тебе гневить Бога-то!» — могут сказать мне знакомые и друзья, но я-то свои возможности ощущаю лучше, чем они, и эти возможности, не реализованные мною, мучают меня, требуют не довольствоваться полутрудом, полусловом, полужуком. Они требуют написать не просто толстую книгу, которую пыне я написал бы запросто и даже зарядил бы какой-то энергией занимательности, наделил элементами красоты и построил бы ее, может, и умело. Но мне-то хочется написать роман настоящий, мой роман, ни на чей не похожий, не портящий высокой романной песни, звучащей могучим хором на просторах Великой русской литературы, подняться к высотам постижения исти-

ны, постижения смысла наших немислимых, неисчислимых страданий. Значит, надо работать, работать, работать, и пособляй мне Бог в этом, да поменьше мешай суета, жестокая жизнь, убогий быт, так много сил и нервов отнимающий у всех людей на нашей забедованной земле, вечная изнурительная борьба за кусок хлеба, уже растерзавшие, унизившие народ до того, что силы и терпение его на исходе.

Несколько лет назад весной я снова побывал на Урале, в городе Чусовом — надо было поклониться могилке маленькой дочки, старшей дочери могила находится в Сибири, мы ежемесячно бываем «у нее», махонькая же, поди-ка, тяжелой землей раздавленная, все одна да одна, хотя и гнетет нас с матерью чувство вины перед нею, и в памяти нашей она будет вечно.

В прошлый раз, когда мы с женой приехали лет через восемь в Чусовой и собрались на кладбище — день был весенний, ясный, однако, пока мы собирались, ехали, как это часто бывает на Западном Урале, все быстро и резко изменилось.

Когда мы с трудом нашли ограду с могилами многих родных жены, вместе с которыми покоится и паша дочка, — свету белого уже не было видно, ураганный ветер хлестал снегом, завывал в кладбищенских голых деревьях, набатно брэнчал железными венками...

Схватившись за острые прутья ограды, побледневшая жена моя, обливаясь слезами, в голос казнила: «Каменьями надо, каменьями...»

Да, за отношение наше к нашим предкам, родным и близким, за покинутые и поруганные русские кладбища, в том числе и воицкие, не только нас, аховых родичей, но и весь наш загнанный народ Господу следовало бы побить каменьями, он уже и начинает это делать, правда, нам все недосуг сие заметить, думаем, что беды, как кирпичи с неба, падают случайно, вовсе не по нашей вине падают на наши головы, просто наверху не туда и не в тех целятся.

На этот раз я решил ехать на кладбище пораньше, пока держит весенний наст, потому как мне сказали — снегу там по уши. Так оно и оказалось. Из сажей засоренного, местами уже осевшего черного снега торчали лишь вершинки могильных знаков и кое-где острые пики железных оградок. Это кладбище начиналось при мне, на Красном поселке — место так названо из-за того, что здесь сплошь залегла красная глина, по ней окраина поселка. Голо тогда было на скорбной горке, неприютно, ветрено. Могилы в глине и камне копать было трудно, но копали, хоронили — много сразу после войны умирало людей, быстро заселялась красная горка. Мне довелось покопать и позарывать

людей столько, что я устал это делать и какое-то время вовсе не ходил на кладбище.

С тех послевоенных лет на Красном поселке, по кладбищу вырос лес на могилах, посаженный людьми, и из семян, принесенных ветром с горных лесистых перевалов. Много на кладбище горьких осин, погрызенных зайцами, с прошлого раза я помнил, что возле ограды наших могил взялась осина почти в обхват, но я не мог с ходу найти ту ограду, ту осину, хотя казалось, так хорошо знал и помнил это кладбище. Еще и еще заходил я от ворот по главной аллее, еще и еще дивился кладбищу, превратившемуся в лес, где меж деревьев пестрели пирамидки, кем-то придуманные укосины и редко, совсем редко — кресты. На железных памятниках — город-то металлургов — были звезды и крестики, но шпана сломала их и погнула. Чего удивительного? У нас добры молодцы, не знающие, куда девать силушку свою, ломают будки на автостоянках, телефонные автоматы, крушат скамьи, ограды, памятники, в подъездах — двери и перила — такая могучая энергия разрушения накоплена, надо ж ей где-то выход найти, вот она и действует.

На Красном поселке, как и на многих других кладбищах, некоторые памятники упали, их собрали в кучу, они ржавеют, сыплются на черный снег коростой ржавчины. Здесь же выются белыми пятнышками вытаявшие следы зайцев — наплаи косые безопасное место, прижились. Вверху пели зяблики, тенькали синицы, хрипело воронье, справляя свои базарные свадьбы. Изпод горы наплывали запахи гари и дыма — там тяжело вздыхал, парил разноцветными дымами усталый современный прогресс.

Ограду с «нашими» могилками я все-таки нашел, положил купленные у кавказских братьев гвоздики. С кладбища я уходил, когда солнце стояло уже высоко, черпал сапогами снег, затем долго сидел на горе и глядел вниз, на город, прижатый к берегам трех красивейших горных рек: Чусовой, Вильвы и Усьвы. В этом городишке прошла моя молодость, родились и выросли дети. Зачем? Почему здесь живут люди?

Накауне я весь день провел в городе, обул сапоги, насунул кепку и потопал «изучать жизнь», — одна из линий третьей книги романа «Прокляты и убиты» должна пролечь по Уралу и надо было хотя бы зрительно освежить память. Но что тут обновлять и освежать? Ничего на Урале не переменялось, дряхлое сделалось еще дряхлее, дурное — дурнее, больше грязи и дыма, хотя больше-то уж вроде и невозможно вытерпеть.

Под косогором, с которого скатывается что-то, отдаленно напоминающее асфальт, вдавшись углом в пустырь, под электрические опоры — забранный досками огород, в нем несколько

кустов смородины, крыжовника, были еще черемуха, сирень и другие посадки. Молодые деревца скрывали убожество избушки, собранной из старых бревен, из крашенных и продырявленных болтами вагонных досок, крыша, наполовину крытая толью, наполовину железом, — мое и моей семьи первое послевоенное жилье, мною же и сооруженное. Похоронная процессия всегда до конца нашего огорода следовала под похоронный марш. Но дальше и выше в гору оркестрагты давали себе передышку. На горе были знаменитые Жучихины ямы, туда еще до революции санобоз, содержимый предприимчивой женщиной Жучихой, вывозил выделяемое населением добро. В мою здесь бытность этим делом занимался горкомхоз. Старые, едва прикрытые бочки тащили в гору заезженные лошади, но после ливней ямы переполнялись, все нечистоты стаскивало обратно, зимою дорога обмерзала, и тогда лошадей и машины сдержать было трудно, бочки гремели, машины «гуляли», все сметая на своем пути. Каждой весной, люто ругаясь, я чинил огород, после чего садился за старый стол, притиснутый к стене, и под звуки похоронного марша, под грохочущий санобоз писал бодрые художественные произведения, иногда с претензией на юмор. Очень в те годы много хоронили молодых женщин, часто без музыки, под рвущий душу отчаянный плач — то были жертвы изощренных преступлений, творимых Сталиным и его осатанелыми шестерками — запрещены аборты, запрещены после войны, когда бывают непременно прибавки населения, жизнь была сверхтяжелой, и заботливые отцы-благодетели таким вот способом боролись за восстановление населения страны...

Что делалось! Что делалось! Женщины гибли от самоабортов, травились саморучно сготовленными изгонными зельями и, если не погибали, то следовали в тюрьму вместе с тайной акушеркой и, как правило, оттуда не возвращались. По воле мудрых правителей погибало сразу трое русских людей: мать, ребенок и подпольщица — сталинские лагеря не выдерживали и мужчины, что говорить о женщинах.

Забор нашего огорода и перестроенная, поставленная на фундамент избушка сохранилась, забор опять снесен — щепь валяется, но избушка жива.

Напротив нашей избежки строились когда-то, садили деревья на засыпанном отроге оврага наши родственники, так у них не только ограда, но и столбы, и лиственницы, выросшие до опор, — сметены, искрошены. Оставшаяся одна-одинешенька свояченица сидит среди щепы, собранной в огороде на топливо, и повествует о том, что построены на горах отстойники, даже и очистительные сооружения, но, как все и везде у нас, часто они ло-

маются, выходят из строя, и тогда течет все добро прежним путем, по дороге. Вот так-то текло, текло, замерзло, замерзло да и в катушку дорога превратилась, по катушке той лесовоз да тоже, видать, неисправный. «Ка-ак понесло его, милого, вниз, так и давай он все сметать на пути, перелетел через канаву, сшиб огород, деревья, остановился, на него тут же верхом надели «жигуль», «москвич» и еще транспорт разный...»

Ох-хо-хошошки! Ехал я от Перми до Чусового на электричке, мимо вокзалов станций и полустанков, некоторые, еще дореволюционные, демидовских времен, вросли в землю, белели торцами штабеля леса, прели хлысты брошенных лесин и черная лось. Мне тридцать лет назад казалось, что с лесом на Урале уже покончено. Мне говорили за рубежом, что за погубленное, брошенное и промотанное нами добро, только от одной нефти сотни миллиардов, можно было многое сделать, даже золотые каемочки на дорогах навести, но... не в коня корм.

По-прежнему старчески вздыхает натруженный завод, курысь равнодушно дымами; за рекой Усьвой всплывает небо от вылитого раскаленного шлака. Внизу, на грязных улицах, возле черных от копоти домов копошится народ, что-то даже строится и не простое, а модерновое. Ближняя от нашего жилья была пятая школа, где начинали учиться мои ребяташки, называлась она «татарской» оттого, что в округе жило много татарских семей. По баракам, неуклюже, в два этажа рубленных, обреталось много пролетариев, нашим детям было самое место в той, со стороны оврага бревнами подпертой, школе. Анна Ивановна, ликом схожая с усталой крестьянкой, но не с бодренькой совучительницей, раздавала почти всю свою зарплату своим ученикам — на завтраки (тогда всего гривенник), барачные папы и мамы — нами порожденное человеческое отребье — пропивали все, вплоть до последнего гривенника и рубах.

Сгинула «татарская» школа, наверное, покинула сей свет и пожилая сердобольная учительница. На месте школы сооружено здание под стиль «а ля рюс», все в деревянной резьбе, с залом, нумерами, кухней, окна с петухами на наличниках занавешены непроницаемыми, стильными занавесками, как в шестом районе Амстердама, где в каютах за стеклами сидят красотки и во время «сеанса» застенчиво занавешиваются, — бардаки там буржуазные, а это вот нарядный советский чусовский бардак, только именуется хитро: «Дом для приемов». Как пели в тридцатые годы: «Цыпленок тоже хочет жить». Чусовское начальство давно доказало, что его запросы и вожеления нисколько не хуже и не ниже, чем у «тех», что наверху. На рынке наподобие петушков там-сям выстроены ларьки для индивидуальной торговли, тоже все в де-

ревянной резьбе и лаке, стоят меж грязных луж и рыгвин, но никто в них ничем не торгует⁵. И свор грязных, разномастных собак не видать — пришили их бичи или кавказские братья на "бараньи" шашлыки употребили — любят они повертеться в наших бесприютных русских дырах. Около проходной завода, на фоне полинявшей грязной скульптуры Лепина толпится народ. «Митинг, — подумалось мне, — это в смиреннейшем-то городишке!..» Но то был не митинг, то рабочие металлурги после смены штурмовали автобус. Одна баба, похожая на медведя, ревя зверем, размахивала сумкой направо и налево, пробивая себе путь к транспорту. Никаких автобусов прежде в Чусовом не было, с работы и на работу люди ходили пешком, жизнь ютилась подле и вокруг завода, но когда от металлургического завода отпочковался в отдельный ферросплавный завод и стал выделять совсем небывалый смертоносный чад, Министерство черной металлургии вынуждено было пойти на расходы, и решено было строить мост через реку, пачать строительство жилого массива, чтоб хоть частично спасти жизнь новому поколению металлургов, а то ведь и до пенсии многие не доживают. Когда шел я по главной аллее кладбища отыскивать могилы родственников, куда ни посмотрю: и направо, и налево все знакомые фамилии — я же в Чусовом вставал на учет в военкомате, работал на разных работах, в газете, на радио, и многих-многих жителей города знал не только в лицо, но и пофамильно. Лежит на этом кладбище и знакомый врач, большой, добродушный выпивоха, хвалился он когда-то: «Почти всех, что здесь покоятся, я лечил...»

Редакция «Чусовского рабочего» находится теперь за рекой, в Новом городе. Сходить бы надо, но посмотрел я газету — и расхотелось. В бытность нашу в «Чусовском рабочем» мы тоже были верными приспособленцами, послушными исполнителями, как и вся совпресса, оскверняли родное слово, но до подлостей повального порядка все же не доходили. Газета «слепе» напечатана, целые столбцы смазаны, она почти нечитабельна, — это при своей-то типографии! Бывало, наши рассылные не успевали обувь чистить, бегая от редакции до типографии, которая располагалась отчего-то на железнодорожном товарном дворе. На четвертой полосе газеты все в порядке: напечатаны объявления, реклама, даже линейки, виньетки, рамочки — все путем, все как надо! — за это платят. Стишки, обличающие демократов, в газетке тоже четко напечатаны, — стишки под мне известным

* Сейчас везде и всюду у нас торгуют, значит, и чусовские ларьки действуют.

псевдонимом — старый чувовской демагог-партократ скрывается за тем псевдонимом — жив курилка, борется, вопяет в валенки перепрелой вонюю.

Мы до чего дошли-то? До чего дожили? Мне говорили, мол, директор завода и администрация города — неплохие, но ведь это среди совсем плохих! Попробовал бы хозяин завода, скажем, в Питсбурге или в Бристоле, не привезти рабочих на работу и не увезти с работы — трудящиеся его вместе с заводоуправлением снесли бы, камнями забили, заодно и власти городские, сыто наверху дремлющие, разогнали бы. Как привычно — власти хорошие, но в городе нельзя жить. Впрочем, по Уралу, да и только ли по Уралу, есть немало городов и городишек, в сравнении с которыми грязный Чусовой — райское место. Город Красноярск, в котором я живу, разве лучше? В нем тоже нечем дышать. Дети мрут как мухи, рождаемость давно отстаёт от смертности. Секретные, спрятанные под землей города-спутники, начиненные урановой супер-продукцией, радиацией, фтором и массой других отравляющих веществ и гадостей, днем и ночью убивают людей.

«Зачем? Почему здесь живут люди?» — еще и еще задавал я себе вопрос, сидя на горе и глядя на город моей молодости, затянутый пеленой газа, дыма, сажи. Но здесь впору спросить: зачем мы вообще живем? Зачем родились? — «Приемлем с жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть, родимся?» — гремел когда-то Гаврила Державин. Зачем нам выпало жить в стране, превращенной в помойку, в душегубку, в холодный карцер, куда бросают провинившихся эков граждане начальники? «Но раз мы люди и в такое время жить нам выпало — никуда не денешься», — это самоцитата из одной моей ранней повести. Ее я набросал мимоходом, не думая, что она со временем сделается такой злободневной, почти пророческой. Нет у нас запасной родины, нет другой жизни, значит, надобно все вытерпеть и пережить ради того, чтобы обиходить, спасти эту забедованную, ограбленную, почти убитую землю, на которой нам выпало жить, наладить жизнь, которой наградил нас Создатель, сохранить в себе душу ради того, чтобы во всем и во всех она была века, веки-вечные жива.

Утром я уезжал на станцию из спортивного лагеря «Огонек» и на рифленом заборчике старого чувовского кладбища увидел крупно, суриком написанное: «Да здравствует КПСС! Слава товарищу Сталину!».

О, родина моя! О, жизнь! О, мой народ! Что вы есть-то? Чего еще надо сделать, чтобы прозреть, воскреснуть, не провалиться

в небытие, не сгнить? И если ты еще есть, мой народ, может, вслушаешься в вещие слова современного гонимого поэта: «А может, ты поймешь сквозь муки ада, сквозь все свои кровавые пути, что слепо верить никому не надо и к правде ложь не может привести».

Но закончить все же хочется мне не назиданием, а заветом, что всегда у меня на столе, выписанном из стихов вологодского поэта Сергея Чухина, тоже рано себя сгубившего:

Работай, мой друг,
Душою чист,
Один проходи науку.
По правую руку —
Бумаги лист,
И сердце —
По левую руку.
Но легче будет писать
Вдвоем,
Если,
Навек условясь,
Рядом с тобою —
Поводырем
Незамутненная совесть.
А трудно станет
В пургу и свист,
Поделят поровну
Муку:
По правую руку —
Бумаги лист
И сердце
По левую руку.

...Прошло более четырех лет со дней написания этой статьи для собрания сочинений, издание которого в современных экономических условиях осложнилось и задержалось.

За это время я написал и напечатал две первые книги романа о войне, он называется «Прокляты и убиты». Первая книга — «Чертова яма», уже неоднократно изданная, и вторая — «Плაცдарм» — подвергнуты разбору в печати, получены на них и письма от читателей. Как я и ожидал, читатель высокопоставленный — это еще не значит — высококультурный, подвергает роман разному, пользуясь старой, но для них, высокопоставленных, неизносимой моралью и терминологией: — «Мы победили, и это главное», «Клевета на войну», «Поклеп на все святое, главное, на партию», «Где автор это такое видел? Было не так, а вот как?», ну и т. д. и т. п.

Да, увы и ах! Времена-то изменились, генеральские окрики не только на писателя, но и на подчиненных мало или почти не действуют.

Главные, как всегда для меня, письма от людей, видевших войну из окопов, а несколько писем — от солдат, служивших в том же Бердском полку одновременно со мной или за мной, и я непременно помяну их в тех томах, где будет напечатан роман «Прокляты и убиты».

За это время не только писалось, но и думалось много — более всего поразило меня воскресение гидры — коммунистической партии, давно уже и закономерно превратившейся в партию фашистскую, сеявшую смуту и злобу на нашей усталой земле, и снова часть замороженного народа, пока, слава Богу, небольшая, вместо того, чтобы молиться, готова бороться, бить, побеждать, чтобы вернуться к тому прошлому, когда была дешевая колбаса.

Поразительная страна! Феноменальный народ! Шел-шел по трупам и потокам крови к светлому будущему, теперь готов идти тем же кровавым путем к "светлому" прошлому. На Руси Святой, более всех других государств пострадавшей от немецкого фашизма, расправляет крылья, каркает и готов взлететь фашизм советский, уже идеологи свои появились, доказывающие, что без свалки и крови на обратном пути никак не обойтись, надо жертвовать собой и детьми своими, а партия сумеет за все за это отблагодарить. И все это снова от имени народа делается недобитыми коммунистами и воротилами, готовыми ввергнуть его в пучину кровавых бедствий, и уже снова попробовано пролитие крови.

Мы, русские, так ничему и не научились, все неисчислимые жертвы и муки народа, войну перебогшего, кажется, забыты. Это в стране, где народ до сих пор не восстановился, население после войны не прибыло, а убыло. Запутанный большевистской демагогией, во все времена обманываемый народ, снова желающий обмануться, вроде как бы не понимающий простых истин, так и не пришедший к Богу с покаянием, народ, подверженный сомнению и не верящий, что «никогда, ничего не вернуть, как на солнце не вытравить пятна, и, в обратный отправившись путь, все равно не вернешься обратно».

Отученный свободно жить и отвечать за себя, русский народ хочет обратно в стойло, под ярмо, к общей кормушке, в общую тюрьму, на общие нары. Конечно же, часть населения, которая не потеряла еще разума и отлично сознает, куда его тянут авантюристы и пройдохи ленинско-сталинской выучки, как может, сопротивляется этому, протестует, пытается оградить доверчивых и несчастных людей от нового безумия, от новой крови, и потому написана у меня «внеплановая» повесть под первоначальным названием «Не надо крови».

Не надо! Всем строем и содержанием этой повести, — она опубликована под названием «Так хочется жить» — действие в ней простирается от войны и до наших дней, я пытаюсь образумить, предостеречь людей русских — нам не выдержать новой смуты, если мы схватимся в междуусобице. Это будет уже последняя кровь. Пока еще есть надежда, пусть и небольшая, на спасение народа, воскресение Руси. Но если начнем свалку, — ничего не останется: ни народа, ни государства нашего Великого.

Есть в задумке рассказы, «затеси», повесть для детей о собаке.

Дал бы Бог силы творцам и народу успокоение, да хоть сдвиги и надежды на улучшение вконец расшатанной российской жизни, все тогда планы осуществятся, и мечты сбудутся. Поживу еще и поработаю во славу Отечества своего и в усладу усталой души. Мира, покоя и хлеба желаю я себе и всем моим соотечественникам.

Виктор АСТАФЬЕВ

1992—1996 гг.

Овсянка — Красноярск

РАССКАЗЫ

•

СИБИРЯК

Марш окончен. Большая, изнурительная дорога позади. Бойцы из пополнения шли трактами, проселочными дорогами, лесными тропинками, дружно карабкались на попутные машины, и все равно это называлось, как в старину, маршем. Солдаты успели перепаковать новое обмундирование, пропотеть насквозь и начисто съесть харчишки, выданные на дорогу. И все-таки до передовой добрались. Лежат в логу на щетинистой, запыленной траве и прислушиваются; кто озирается при каждом выстреле или разрыве, а кто делает безразличный вид. Разговоры все больше на одну тему: дадут или нет сегодня поесть? Единодушно решают: должны дать, потому как здесь уже передовая и кормежка не то, что в запасном полку, и забота о человеке совсем другая. «Тертые» солдаты, те, что попали в пополнение из госпиталей, многозначительно ухмыляются, слушая эти разговоры, и на всякий случай изучают местность: нет ли поблизости картофельного поля. Они-то знают, что на старшину нужно надеяться, однако и самому плошать не следует.

А передовая рядом. Вздрагивает земля от взрывов, хлещут пулеметные очереди, и нет-нет да и вспыхивает суматошная перестрелка. Бегают связисты с катушками, лениво ковыляют беспризорные лошади, урчат машины в логу. А вот и раненый появился. Спускается в лог, опираясь на палочку. Идет он в одном ботинке. К раненой ноге поверх бинта прикручена телефонным проводом портянка.

Аккуратно свернутая обмотка в кармане. Ненужный пока ботинок за шнурок подвешен к стволу винтовки.

— Привет, славяне! — бодро выкрикивает фронтовик и указывает палкой на ногу: — Покудова отвоевался, а что дальше будет, увидим. Табачком богаты?

Все разом полезли за кисетами. Но солдат с крупным, чуть рябоватым лицом успел раньше других сунуть свой кисет раненому. Тот неторопливо опустил на землю, поморщился и начал скручивать сигарку. Рябоватый боец с робостью и уважением следил за раненым, хотел о чем-то спросить, но не решался.

— Так это уже война? — наконец спросил он.

Раненый с форсом прикурил от трофейной зажигалки, убрал ее в карман и, выпустив клуб дыма, сказал:

— Она самая, — и махнул рукой через плечо: — Передок метрах в трехстах. Ну я, братцы мои, пойду, а то не ровен час накроют. Вы тут развалились — ни окопчика у вас, ни щелки. Еще отшибут вторую ногу и придется мне на карачках до санроты добираться...

Раненый поковылял дальше. Боец, тот, что дал ему закурить, провожал раненого взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за ближней высотой. Лицо солдата сделалось печальным.

Вдруг раздалась команда — все вскочили, поправляя на ходу ремни, попытались выстроиться.

— Вольно! Всем сидеть! — разрешил черноватый лейтенант с усталыми глазами и сам присел на катушку кабеля, которую ему услужливо подсунил связист.

И лейтенант, и связист появились как-то неожиданно, словно из-под земли.

— Не ели сегодня? — поинтересовался лейтенант, и сам себе ответил: — Не ели... Ну ничего, думаю, вечером нам кое-что подбросят, — утешил он и принялся расспрашивать: кто откуда, воевал ли прежде, чем занимался до войны, большая ли семья, и тут же записывал фамилии в блокнот и распределял людей по отделениям.

Рябоватый солдат сразу же попался на глаза лейтенанту. Простоватое лицо солдата с реденькими бровками расплылось в широкой улыбке, а добродушные серые глаза смотрели на лейтенанта так, будто он давно-давно знаком с ним и вот, наконец-то, встретился. Лейтенант не мог не ответить на эту улыбку — столько в ней было доверчивого и дружеского — и внимательней пригляделся к этому солдату.

Пилотка, еще новая, уже успела потерять свою форму и напояла капустный лист, пряжка ремня сбилась набок, гимнастерка вся была в мазутных пятнах.

— Ну и вид у вас! — шутливо проговорил лейтенант. — Попортили здорово вы, наверное, крови старшине в запасном полку...

— Всякое бывало, товарищ лейтенант.

— Фамилия?

— Савинцев моя фамилия. Матвей Савинцев. Я с Алтая. Может, слышали, деревня Каменушка есть недалеко от Тогула, так из нее.

— Нет, не слышал, товарищ Савинцев. Много деревень у нас в стране.

— Наша деревня особенная! — Савинцев оглянулся по сторонам, долго молчал, как будто подыскивая сравнение, и, не найдя его, со вздохом закончил: — Всем деревням — деревня!

— По его рассказам выходит, товарищ лейтенант, что Каменушка — почти город, только в ней дома пониже да асфальт пожиже, — раздался голос из группы бойцов. Все сдержанно рассмеялись и сейчас же выкидательно замолкли.

— Куда же мне вас определить? — покусал губу лейтенант, все еще меряя взглядом крупную фигуру бойца.

— Я — человек неизбалованный, — с готовностью отозвался Матвей. — Куда пошлете, туда и пойду. Может, сомнение есть насчет моего старания, так для проверки пошлите туда, где работы побольше.

Лейтенант подумал еще и решительно произнес:

— В мой взвод, к связистам! У нас работы бывает всегда много.

...И попал Савинцев в боевую семью «паутильщиков», как прозвали связистов на фронте. Покладистый, домовитый характер, готовность прийти каждому на помощь и ненадоедая словоохотливость помогли ему как-то незаметно сойтись с фронтовиками. Те с первого дня стали попросту звать его Мотей, даром, что был он отцом семейства, да и не маленького. Уж очень шло ему это имя: и теплота в нем была, и улыбка необходимая.

Тонкости, которых много в боевой работе телефонистов, давались Матвею туго. Впрочем, все в жизни давалось ему с трудом, поэтому он не падал духом, когда у него что-нибудь не получалось. Но уж если он что усваивал, то навсегда. Было дело, ездил он четыре года прицеп-

щиком, дважды учился на курсах, прежде чем ему доверили управлять трактором. И как же удивились связисты, когда им стало известно, что был он знатным трактористом и про него даже в газете писали. Ну, расспросы, конечно, как да что, а Матвей только отмахивался:

— Какой там знатный! Мало сейчас нашего брата в колхозах, вот и стали мы все там знатные.

В тихие вечера, когда война как-то сама собой забывалась и душа человеческая тоже сама собой настраивалась на мирный лад, Матвей рассказывал о своей родной Каменушке. Слушали его с удовольствием. Наносило издали то запахом родных лугов, то девичьей песней, то парным молоком, то дымком бани, в которой так хорошо попариться, придя с пашни. Простая жизнь, обыденные дела вставали в новой красоте. Раньше-то ее ни замечать, ни ценить не умели — все шло само по себе, все было как надо, и вот...

Иной раз Матвей доставал фотокарточку из кожаного, должно быть доставшегося по наследству, бумажника, подолгу рассматривал ее. На снимке был сам он с неестественно напряженным лицом, рядом жена с ребенком на руках, а впереди два мальчика. У меньшего удивленно открыт рот, а старший, насупив брови, цепко держит в руках книгу.

— Школьник! — с гордостью говорил Матвей товарищам. — В четвертую группу зимусь ходил. И второй нынче тоже пойдет. Одежонку всем надо, катанки, книжки. Заботы-то сколько Пелагее, заботы! — И примолкнет Матвей, задумается, а то и выдохнет: — Что-то они сейчас поделывают?

— Чай, небось, пьют, — подразнит кто-нибудь из солдат.

— Что? Чай? — удивляется Матвей и с возмущением разносит простака, не имеющего понятия о деревенской жизни.

— Да знаешь ли ты, голова-два уха, что сейчас уборочная началась, одни бабы хлеб-то убирают. Не до чаев им, в тридцатом поту бьются... Вот приезжай после войны в это время к нам — почаевничаешь.

Матвею разъясняли, что есть разница во времени: если здесь, на Украине, вечер, то на Алтае уже ночь и вполне возможно, что колхозницы и балуются чайком после трудового дня.

— Может, и так, только я спать ложусь вместе со сво-

ими и встаю тоже вместе... не могу отделиться, — говорил Матвей тихим голосом, глядя поверх солдатских голов, и на этом споры прекращались. Не о чем было спорить. Родной край, своя деревня, свой дом всегда и всюду с солдатом — они врастают в его сердце навечно.

А война бушевала, и враг катился с Украины к границе.

Вроде бы и неповоротливый мужик Савинцев, да и не очень сообразительный, но дело свое исполнял старательно. Рыскал по линии, исправлял порывы, сматывал и разматывал провода, лежал под разрывами и, выковыряв землю из ушей и носа, бежал дальше. Конечно, как и всякий связист, он что-то изобретал, приспособлялся к обстановке — иначе на войне нельзя. Война — это не только выстрелы, это очень много работы, порой непосильной работы. И побеждает на войне тот, кто умеет работать, кто умеет порой сделать то, что в другое время казалось выше всяких сил.

Матвей работал. Он первый стал перерезать нитку связи планкой карабина, зачищать провод зубами, обходиться в случае нужды без заземления. Но на фронте все изобретают, каждый час, каждую минуту изобретают, и этому никто не удивляется. Главное, чтоб польза была. Связист, к примеру, исправляет линию чаще всего один, телефонисты клянут его, ругают, а когда провода соединят — тут же забудут о связисте и дела им нет до того, что он там придумал, как изловчился под огнем наладить линию. Пожалуй, не было на войне более неблагодарной и хлопотной работы, чем работа связиста. Можно ручаться, что матюков и осколков связисты получили больше, чем наград.

Но война есть война. На ней все равно найдется такое место, где человек окажется виден во весь рост.

Однажды часть Матвея Савинцева попала под деревню Михайловку. На свете таких Михайловок, наверное, сотни, и едва ли эта была какой-нибудь особенной. Обыкновенная украинская деревня с белеными хатами, на хатах гнезда аистов, возле хат богатые огороды и сады, на улицах колодцы с журавлями. И расположена деревня по-обычному — поближе к ручью, на пологом склоне. За деревней — возвышенность, удобная для обороны. Немцы и уцепились за нее.

Заняв с ходу Михайловку, пехотинцы атаковали высо-

ту, но атака не удалась. Подтянули свои огневые средства пехотинцы, пальнули — и это не помогло. День, второй прошел — ни с места. Встречались пехотинцам горы, перевалы и широкие реки. Одолевали их, шли без задержек, а тут из-за небольшого холмика такие дела разгорелись, что дым коромыслом. Иному Эльбусу, может, во веки вечные не видать такой страсти и не удостоиться такого внимания, какое выпало на долю этого бугорка. И большис, и маленькие командиры обвели его на карте и красными, и синими кружочками. Подтянулись к Михайловке минометчики, артиллерия, танки. Высоту измолотили так, что до сих пор, наверное, пахать ее из-за металла невозможно.

Но нашла коса на камень. Не отступает противник и, мало того, норовит атаковать. Ночью фашисты заняли два дома на краю деревни. Саперы, что квартировали в них, еле ноги унесли. Эти два дома саперный пачальник, пожалуй, и по сей день помнит. Утром ему же вместе с его «орлами» пришлось их отбивать. Одним саперам, конечно, не справиться было бы, и дали им в поддержку артиллерию. Тот же лейтенант, что встречал солдат из пополнения, отправился с разведчиком и связистом к саперам, чтобы завтра корректировать огонь и держать непосредственную связь с теми, кто будет атаковать высоту.

В темноте, кое-где рассекаемой струями трассирующих пуль, связисты потянули линию на передовую.

— Стой, ребята! — раздался из темноты голос разведчика, шедшего впереди. — Тут болото. Не пройдешь... Надо вниз, по ручью, там есть бетонная труба, что-то вроде мостика, через нее и пойдем.

... Утром закурился над землей какой-то робкий, застенчивый туман и быстро заполз в лога, пал тихою росой на траву. И роса была какая-то пугливая. Капли ее чуть серебрились и тут же гасли. И все-таки роса смыла пыль с травы, и когда из-за окоема, над которым все еще не рассеялся дым от вчерашних пожаров, поднялось солнце, — брызнули, рассыпались мелкие искры по полям, и в деревенских садах да в реденьких ветлах, что прижились у ручейка, затянутого ряской, защебетали пичужки, сыпанули трелями соловьи. Диво дивное! Как они уцелели? Как они не умерли со страха, эти громкоголосые пельники с маленькими сердцами? Поют — и только! Поют как ни в чем не бывало. И солнце, страдное, утомленное солнце светит так же, как светило в мирные дни над

полями — с едва ощутимой ласковостью утром и с ярим зноем к полудню.

Страда наступила, страда...

Но вот справа, далеко за Михайловкой булькнул, как булыжник в тихий омут, минометный выстрел. С минуту было тихо, а потом разом рванули прилетевшие с той стороны снаряды, и пошло! Заухало, загудело крутом. Канули, потонули в грохоте птичьих голосишки, и дымом заслонило спокойное, страдное солнце.

Боевой день начался.

Трижды бросались в атаку саперы и трижды с руганью и заполошной пальбой убежали в пыльные подсолнухи. А саперный начальник, страдающий отдышкой, стрелял для страха из пистолета вверх и крыл их самыми непотребными словами. В конце концов два дома, потерянные саперами, остались существовать только на картах и артиллерийских схемах. Саперам достались только груды кирпича да погреб со сгнившим срубом.

Передовой пункт артиллеристов перебрался в пехотный батальон.

Дела здесь шли пока тоже неважно. После артподготовки пехотинцы по сжатому полю с трудом добрались до половины высоты и залегли. Горячая работа закипела у артиллеристов. Пехота просит подбросить огня туда, подбросить сюда. Сделано. Подавить минометную батарею. Вот и она заглохла. Мешает продвижению закопанный на горе танк — отпустить ему порцию! Есть! Уничтожить пулеметную точку! Крой, артиллерия, разворачивайся, на то ты и бог войны!

Оборвалась связь... Телефонист Коля Зверев, молодой, вертлявый и, по мнению всех связистов, самый непутевый паренек, то и дело нажимая клапан трубки, звал хриплым голосом: «Промежуточная! Промежуточная! Мотя! Мотя! Савинцев!..» Коля ерзал как на иголках, смотрел на хмурого лейтенанта виноватыми глазами.

Нет никчемней человека, чем телефонист без связи: он глух, нем и никому не нужен. Но вот, наконец-то, голос запыхавшегося Савинцева:

— «Заря», говорите с «Москвой».

— Добро, Мотя, отключайся!

Вскоре, осыпав комья земли, в проход блиндажа втиснулась мешковатая фигура Матвея. Он вытер пот рукавом и сказал:

— Здорово живем! Ох и дает фриц прикурить... Возле

мостика уж несколько человек убито, кое-как в обход проскочил.

Матвей помялся, виновато кашлянул и глухо добавил:

— Я попутно нес вам, ребята, перекусить... с командного передали...

— И пролил,— сердито перебил разведчик, глядя на пустой котелок и флагу.

— Да нет... в огороде, что саперы отбили, наткнулся на картофельную яму, а в ней женщина с ребятишками. Ни живы, ни мертвы и третий день не евши. Ну и... что хотите делайте... Солдатам не впервой, а там ребятенки, сердешные...

У разведчика потеплели глаза, он улыбнулся потрескавшимися губами и без осуждения сказал:

— Эх ты, Мотя, разудала голова!

Ободренный тоном разведчика, Матвей достал из кармана горсть белолобых огурчиков и засуетился:

— Вот, братцы, покудова заморите маленько червячка. Огурец — штука полезная: в нем и еда, и вода. Если не обед, так воды-то я уж все одно добуду. Хотел в ручье набрать, а там вода-то горе, лягушки одни. Эх, у нас, на Алтае, водичка в ручьях — студеная-студеная...

В блиндаж вошел лейтенант. По лицу его струился пот, оставляя грязные потеки. Выслав вместо себя разведчика, он опустился около телефонного аппарата на землю, облегченно выдохнул:

— Ну и жара!.. Как, Савинцев, линия?

— В порядке пока. На промежуточной напарник остался.

Лейтенант пристроил на коленях плашкетку, разложил на ней карту и вызвал командный пункт, который по телефонному коду именовался «Москвой».

— У аппарата двадцать четвертый. Обстановка такова: пехота добралась до середины высоты, но залегла. Нужно подавить огневые точки противника, мешают они пехоте. Ну, и сопровождающего огонька подбросить. Передаю координаты... Алло! Товарищ пятый!.. Черт бы побрал эту связь, рвется, когда особенно нужна! — лейтенант сердито швырнул умолкнувшую трубку.

Матвея как ветром выдуло из блиндажа. Не чувствуя сростков, царапавших ладонь, он бежал по линии, лавируя между бабками. Ближе к ручью их не было, и Матвей пополз.

С той стороны по линии к ручью тоже бежал боец.

Матвей узнал своего напарника. Недалеко от мостика связист, будто споткнувшись, взмахнул руками и упал.

«Снайпер!» — мелькнула догадка у Матвея. И он закричал:

— Не шевелись! Добьет! Не шевелись, лежи!

Около упавшего связиста взвилось несколько пыльных струек, и он перестал двигаться.

— Ах, душегуб проклятый! — стиснул зубы Матвей. — Доконал ведь человека. И тех вон ребят у мостика тоже срезал!..

Как всегда в трудную минуту, Матвей стал держать с собой совет.

«Так, значит, фрицы перебили связь на трубе и теперь, как на удочку, ловят нашего брата. Снайпера посадили. Хитры сволочи! Надо посообразать, а то и связи не исправишь, и на тот свет загремишь!»

Он осторожно отполз, подключил аппарат и услышал нетерпеливый голос лейтенанта:

— Двадцать четвертый слушает... А, это ты, Савинцев? Что там у тебя?

— И не говорите, товарищ двадцать четвертый. Снайпер у трубы кладет нашего брата. Напарника вон..

— Та-ак, — послышался тяжелый вздох лейтенанта. — А связь, Савинцев, нужна... До зарезу! Понимаешь?

— Да как же не понимать, не маленький. Ну-к я попользу...

— Постой, Савинцев... — лейтенант замолк, только глубокое дыхание, приглушенное расстоянием, слышалось в трубке.

О чем ты задумался, молодой командир? Много пережил ты, много видел смертей, сам ходишь рядом со смертью, а все еще чувствуешь себя виноватым, когда посылаешь бойца туда, откуда он может не вернуться. Так же, как и в первый раз, сжимается твое сердце, будто отрывается от него что-то с болью. Может быть, увидел ты деревянную Каменушку и жительницу этой Каменушки, которая вместо запятого окопной глиной письма получит коротенькую бумажку и забьется в уютном горе, запищит громко, по-деревенски. И встанут около нее трое простоволосых ребятшек, которым и не понять сразу, отчего и почему где-то далеко-далеко послал на смерть их отца один человек и после победы отец не приседет с обещанными гостинцами...

В трубку было слышно, как шевельнулся лейтенант, кашлянул и тверже произнес:

— Связь нужна! — А потом скороговоркой, как будто недовольно, буркнул: — Да поосторожней там!

Отключив аппарат, Матвей призадумался: смерть-то не тетка. Пошарил глазами вокруг себя, отыскивая место, по которому удобней пробраться к ручью. Метрах в двухстах от трубы росли низкие кусты ивняка, спускаясь к самой осоке, разросшейся по краям ручья. Ободряя себя, Матвей сказал: «Живем пока» — и пополз.

Осторожно раздвинув осоку, Матвей оказался в грязном русле ручья. Руки по локоть ушли в вязкий ил, ползти было трудно, но он упорно двигался к трубе, время от времени делая передышку и сплевывая вонючую воду. Берег ручья и осока скрывали его от глаз снайпера, но Матвей боялся, чтобы тот не заметил провода, пригибающего осоку.

Вот и труба. Матвей ногами вперед залез в нее.

По дну бетонной трубы лениво сочилась струйка позеленевшей воды. Матвей, лежа на животе, вывинтил из карабина шомпол и, пользуясь трещиной в трубе, загнул его крючком. Полюбовавшись своей работой, он привязал крючок к проводу.

— А ну-ка, кто кого объегорит?

Немного высунувшись, Матвей забросил шомпол на верх трубы и потянул. Что-то зацепилось. Он дернул по сильнее, крючок слетел, и несколько оборванных проводов повисло с края трубы.

— Толково! Дело идет! Еще разок!

Чиркнула разрывная пуля...

— А наплевал я на тебя! — приговаривал Матвей, втягивая поглубже в трубу «зарыбаченные» провода.

Свой провод он сыскал сразу. Провод был трофейный, красный. Почему-то командир отделения связи обожал все трофейное и постепенно заменил весь русский провод на катушках немецким и был этим весьма доволен.

— Вот он! — удовлетворенно отметил Матвей и вдруг подумал вслух: — Небось из-за этого красного кабеля они и связь-то перебили? Ну, конечно, его издаля видно. Ох уж этот сержант наш. Ему бы дерьмо, да чужое. Ну, погоди, выберусь отсюда, всю эту трофейщину к лешакам повыкидаю и сержанта отлаю. — Рассуждая так, Матвей подключал соединенные концы к аппарату.

— «Заря»!.. «Заря»!..

— Савинцев, ты? — раздался обрадованный голос лейтенанта.— Добрался? Ну, ладно. Благодарю!

— Служу Советскому Союзу! — радостно ответил Матвей, по привычке привскочив, но так стукнулся затылком, что в глазах потемнело. Услышав, как лейтенант стал передавать координаты на «Москву», Матвей не стал громко ругаться, а потер шишку и вполголоса запел, продолжая разбирать и зачищать провода:

Оте-е-ц мой был природный пахарь,
И я рабо-отал вместе с ним...

Присоединив конец другого провода, он прижал плечом трубку к уху. Женский усталый голос с тихой безнадёжностью звал:

— «Луна»... «Луна»... «Луна»...

— Але, девушка, вы кого вызываете?

— А это кто?

— Это связист Савинцев!

— Ой, я такого не знаю. Как вы попали на нашу линию? Отключайтесь, не мешайте работать!

— А чего мне мешать-то, когда линия ваша не работает,— добродушно усмехнулся Матвей.— Говорите лучше, кого надо, может, помогу вашему горю. Да не посылайте связистов к трубе — спайпер тут подкарауливает.

— «Луну» мне нужно, товарищ связист, поищите, пожалуйста.

— На луну пока еще линия не протянута, уж что после войны будет, а покамест говорите фамилию тутошнего связиста,— пошутил Матвей, отыскивая подходящий провод.

— Голыба — фамилия, Голыба, ищите скорей.

Матвей присоединил провод и начал вызывать «Луну».

— Кто це просыть «Луну»?

— Да тут девушка по тебе заскучалась, — соединяю.— Матвей соединил концы проводов, а когда взял трубку, по линии уже разговаривали:

— Какой-то незнакомый связист Савинцев порыв исправил.

— Алло! Товарищ Савинцев?

Матвей нажал клапан:

— Ну я, чего еще вам?

— Широ дякую вас, товарищ!

— За что?

— Та за линию. Чужую ведь линию вы зрастили и такую помогу нам зробыли...

— По эту сторону фронта у нас вроде нет чужих линий...

Но вот все концы, попавшие Матвею на крючок, сражены. Снова ожили линии, пошла по ним работа. А Матвей томился от безделья, зная, что незаметно улизнуть ему отсюда не удастся. Лежать неудобно — под животом вода. Весь мокрый, грязный, смотрит он на край деревни, видимый из трубы. Горят дома. Пылища мешается с дымом. Наносит горелым хлебом. Огороды сплошь испятнаны воронками. Сады перепоясаны окопами. И трубы, голые трубы всюду. А солнце печет, и дышать трудно. Щекочет в ноздрях, душит в горле.

«Хм, чудак этот Голыба! Чудак. Все свое, все, и за эту вот деревушку, как за родную Каменушку, душа болит. Зачем ее так? Зачем людей чужеземцы позорили? Что им тут надо?..»

Ухнули орудия, и где-то сверху невидимые пролетели снаряды и с приглушенным стоном обрушились на высоту за деревней.

«Наши быют!» — отметил Матвей.

Он умел по звуку отличать полет своих снарядов так же, как до войны определял на расстоянии рокот своего трактора. На высоте, которую Матвею не было видно, часто затрещали пулеметы, рывкнули минометные разрывы, захлопали гранаты...

«Пошла пехота! — опять отметил Матвей. — Может, я под шумок сметаюсь?» Он взял трубку:

— «Заря», как там у вас?

— Порядочек! Вперед наши пошли. Огневики что делают! Вышли «тигры» да бронетранспортеры. Артиллеристы так их лягнули, что потроха полетели.

— Значит, дела идут, контора пишет?..

— Пишет, пишет!.. Да ты откуда говоришь? — спохватился Коля Зверев.

— Не говори, сынок, в таких хоромах нахожусь, что и дыхнуть пег возможности. Перемазался так, что мать родная не узнает.

— Да где ты, чего голову морочишь?

— Где-где... В трубе, что заместо мостика приспособлена. Вот где, и вылезти снайпер не дает.

— Двадцать четвертый пришел, хочет с тобой поговорить.

— Савинцев, ты что, в трубе сидишь?

— Лежу, товарищ двадцать четвертый!

— Ну, полежи, со смертью не заигрывай. Наши идут вперед.

— Ну-к что ж, потерплю... — согласился Матвей и уныло опустил трубку.

Когда снаряды начали рваться гуще, Матвей осторожно выглянул, приподнялся, осматривая поле с бабками снопов, и вдруг радостно забормотал:

— Эй, фриц, ни хрена же ты в крестьянском деле не смыслишь! Сколько снопов в бабку ставится. Пять! А у тебя почти десяток. Погоди-и, научишься ты у меня считать...

Матвей схватил трубку:

— «Заря!» «Заря!», двадцать четвертого мне.

— Нет его, ушел к пехотинцам.

— Слушай, сынок! — захлебываясь и спеша заговорил Матвей. — Снайпера я отыскал, в бабке сидит. Она больше других и в аккурат против тех изб, от которых саперы драпали. Охота мне самому его, зверюгу, стукнуть, да несподручно из трубы.

— Айн момент, позвоню в штаб батальона. Они его из минометов угостят...

— Проворней давай...

От негерпения Матвея стало колотить. Сунул он руку в карман и стал громко ругаться:

— Асмодей! Растяпа! Табак-то весь замочил!..

Секунды тянулись мучительно медленно. «Неужели не найдут?» — ругаясь, думал он и в то же время чутко прислушивался. Рывкнули минометные взрывы.

— Там! — встрепенулся Матвей и уже смелее высунился из трубы. Бабки не было, только клочья соломы оседали на землю.

— Так тебе, стерве, и надо! — закричал Матвей... и вдруг осекся, взглянув на пойму ручья. По ней двигались четыре фашистских танка, за ними, не стреляя, бежали пемцы.

— «Заря!» «Заря!» — не своим голосом гаркнул Матвей, но «Заря» не отвечала.

— «Москва!» «Москва!»

— Слушает «Москва», чего ты как с цепи сорвался?

— Кончай болтать, давай скорей пятого, тут танки прут.

— Где танки, товарищ Савинцев? — послышался голос командира дивизиона.

— Товарищ майор, то есть товарищ пятый! — пугаясь, закричал Матвей. — К трубе подходят уже, бейте скорее! Отсекут пехоту!

— Без паники, Савинцев! Уходи немсденно оттуда! Открываем огонь!

Матвей схватил аппарат, опрометью кинулся из трубы к деревне, потом остановился, махнул рукой и вернулся обратно. Взяв в руки провод, побежал по высоте искать порыв на «Зарю». Матвея заметили. Вокруг него зашвистели пули, хлопнул разрыв впереди. Он лег, стараясь теснее прижаться к земле. Танки остановились и пачали бить из пушек по высоте. Немецкие автоматчики, обтекая их, бегом пошли в атаку. На склоне высоты засуетились наши, готовясь встречать немцев. В это время беглым огнем ударили гаубицы. Болотистую жижу взметнули первые разрывы, потом еще и еще. Танки, пустив клубы дыма, заурчали и попятились к ручью. Но за ними встала стена разрывов — заградительный огонь.

Матвей заметил, как один танк забуксовал в ручье, остервенело выбрасывая гусеницами жирный торф. Грязное лицо связиста расплылось в довольной улыбке, и он побежал по линии, пропуская провод сквозь кулак. Внезапно его, как пилой, резануло по животу. Яркие круги мелькнули в глазах, зазвенело в голове множество тонких колокольчиков, земля под ногами сделалась мягкой, как торф, и перестала держать его. Он упал, широко раскинув руки, и колючая стерня впилась ему в щеку. Пресный и густой запах сухой земли, спелого хлеба, к которому примешивался еще более густой и еще более приторный запах крови, полился в него и застрял в груди тошнотворным комком. Не было силы выдохнуть этот комок, разом выплюнуть густую слюну, связавшую все во рту.

«Попить бы», — появилась первая, еще вялая мысль. Матвей приоткрыл глаза и совсем близко увидел мутный цветок, который колыбался и резал глаза, словно солнечный яркий блик. А на цветке сидел кузнечик, мелко дрожал, должно быть, стрекотал. На то он и кузнечик, чтобы стрекотать беспрестанно. Работник! Но все крутилось в глазах Матвея, в голове стоял трезвон, и он не услышал кузнечика, не узнал обыкновенный цветок — сурепку. Он уже хотел закрыть глаза, но ему мучительно захотелось узнать, какой цветок растет, и даже пощупать его захотелось. Тут он заметил, что рядом с цветком лежит вялый, как будто засохший червяк, провод и подумал:

«А связь-то как же? Вот беда».

Он попытался подтянуться к проводу и с трудом преодолел полметра. Когда он взял провод в руки, то почувствовал уже себя не таким заброшенным, одиноким на этом скошенном поле, на этой кочковатой высоте. Он приподнял голову, натужился и пополз.

Знал Матвей, нутром чувствовал: пока держит провод в руке, будет и жизнь, и сила. Потными пальцами сжимал он тонкую и горячую жилу провода, сжимал и полз, чувствуя, как накаляется провод, как горячет под ним земля и раскаленные камни от живота раскатываются по всему телу, давят на сердце. «Только бы при памяти остаться. Доберусь я до порыва», — стараясь не обращать внимания на горячие эти камни, думал Матвей.

Вот и порыв. Матвей отыскал глазами отброшенный разрывом в сторону другой конец провода, собрал последние силы, добрался до него и начал соединять. Но руки не слушались. Они падали бессильно, а пальцы так занемели, что не чувствовали уже обжигающего провода, не подчинялись Матвею. «Не могу! — с отчаянием и тоской подумал он и, сжав в кулаке оба конца, затих. — Вот силы соберу, тогда».

Тут и нашел Савинцева Коля Зверев, выбежавший на линию: по кошенине тянулась кровавая полоса. Коля перевернул Матвея. Под ним, в бороздке, скопилась кровавая лужица. Земля не успевала впитывать кровь. Коля схватился за пояс, но фляги не было. Тогда он вытаскил из кармана огурчик, которым так великодушно угощал его давеча Матвей, раздавил и кашицу сунул в плотно сжатый рот связиста. На губах Матвея насохли грязь, кровь, мякина. Было ясно, что Матвей кусал зубами стерню, когда обессиливал, но провода из рук не выпускал. Так через эту руку до сих пор и работала связь. Коля попытался разжать кулак Матвея, да куда там! Она будто закаменела — эта увесистая, привычная к тяжелой работе крестьянская рука. Матвей открыл глаза, точно в чем-то удостовериваясь, пристально и долго глядел на Колю, потом с трудом разжал пальцы, пошевелил запекшимися губами:

— На... — А еще через минуту по-детски жалобно произнес, скривив губы: — Худо мне, сынок...

Телефонист хоть и видел, что дела Матвея неважны, но, как умел, начал успокаивать. Говорил он обычные в таких случаях слова:

— Ранение пустяковое, и не с такими выживают, а ты мужик крепкий, сибиряк. Я вот тебя перебинтую, и порядочек. В госпитале залечат. Знаешь, какая у нас медицина, будь спокоен.

Матвей поморщился:

— Не об этом я. Плохо, что фрицев прозевал... Сколько пехотинцев-то пострадало, поди. И все этот снайпер проклятый...

— Да брось ты каркать на себя! И что это у вашего брата, деревенских, за привычка? — грубовато бубнил Коля, не переставая бинтовать живот Матвея и стараясь делать это так, чтобы тот не увидел раны.— За сегодняшнюю работу тебе сто благодарностей полагается, а ты вон чего городишь,— продолжал он отвлекать Савинцева разговорами.

Матвей покосился на него и тихо, но сурово сказал:

— Зря ты бииг переводишь и рану от меня прячешь зря. Как стукнуло, сразу понял, что каюк...— И, чувствуя, что времени остается мало, расходуя последние силы на то, чтобы говорить деловым тоном, он принялся распоряжаться:

— Значит, напишешь домой все как следует быть и всю мою последнюю заповедь исполнишь.— Коля хотел было возражать, но Матвей строго взглянул на него и слабеющим голосом, но обстоятельно, продолжал: — Стало быть, напишешь, погиб я в бою, честь по чести, чтобы Пелагея и земляки мои не сомневались. Та-ак.— Матвей замолк, задумался, и веки его начали склеиваться. Тогда он сделал над собой усилие и, точно боясь, что не успеет договорить, скороговоркой и уже со свистом добавил: — Напиши... сразу, мол, отошел... не мучался...— И уже совсем тихо, роняя бессильную голову, прошептал: — Это пропиши обязательно!

Коля Зверев завыл и затопал ногами.

— Да какое ты имеешь право заживо в могилу оформляться?! Ты есть сибиряк! Понятно?! И ты живой будешь! Понятно?!

Матвей приоткрыл печальные глаза, по-отечески снисходительно глянул на Колю:

— Эх, сынок, сынок! Поживешь с мое, больше понимать будешь. Деревенские мы люди, привыкли, чтоб все по порядку было, чтоб ничего не забыть в последний час... Э-э, где тебе понять! Прости, если словом обидел...

Потрескавшиеся губы Савинцева сомкнулись, а верх-

няя губа его запала под нижнюю. Тяжкая боль навалилась на человека, ломала его силу, выдавливала стон. На скулах обозначились желваки.

Коля спохватился, поднял грузного Матвея на плечи. Дивясь тому, что у него откуда-то взялось столько силы, Коля понес Савинцева напрямик через кукурузу, подсолнухи и хлеба, к деревне. На губы Коли падали слезы, смешанные с потом. Он хотел их удержать — не мог, хотел дернуть рукавом по лицу — руки были заняты. Тогда Коля принялся сердито кричать:

— Деревенские мы... А мы, думаешь, кто?.. Я, может, сам. Я, может, пуще отца родного чту тебя... А ты... Эх ты... — И, чувствуя, что Матвей все больше тяжелеет, обвисает на нем, он громко запричитал: — Слышишь, Мотя, не умирай!.. Слышишь, потерпи маленько...

Но Матвей ничего этого уже не слышал. Перед ним колыхалось бесконечное ржаное поле. От хлебов лились сухость и жара. Он совсем близко увидел колосок, похожий на светленькую бровь младшего сынишки. Он потянулся губами к этому колоску, но вместо колоска перед ним очутился сибирский цветок — жарок, похожий на яркий уголь. С цветка снялся пучеглазый кузнечик и с нарастающим треском помчался на Матвея. Вот он затрещал, как лобогрейка, потом, как трактор, потом, как самолет. Он гремел, надвигался, давил, подминал и обрушивался тяжким ударом на голову. Мир раскололся от яркой молнии пополам, образовав огромную черную щель. В щель эту сначала оговорком, затем раскаленным шариком и, наконец, маленькой искоркой летел Матвей Савинцев, пока не угас.

Земля, пахнувшая дымом и хлебом, приняла его с тихим вздохом.

ЗЕМЛЯНИКА

Подружились Ваня и Нюра с дядей Соломиным давным-давно. В ту пору они еще и в школу не ходили. Чуть не каждый день бывали ребята у реки, бегали, играли, зарывались в песок и порой купались на неглубоких местах. Особенно интересно было им наблюдать за рыболовами. Их собиралось столько, что всем не хватало рыбы и многие, просидев бесплодно полдня, а то и больше, уходили домой ни с чем. С рыбаками было интересно: иногда они рассказывали ребятам о счастливых уловах и о таких здоровых рыбаках, что Ваня и Нюра замирали от удивления. Но рыбы эти почему-то всегда срывались.

Однажды на берегу появился незнакомый рыбак в военной, немного поношенной форме без погон. У него тоже не клевало. Рыбак скучал и сидел неподвижно, уставившись взглядом куда-то вдаль. Он не видел, как требовательно пачал нырять похожий на китайское яблочко поплавков и пастойчиво закачалась вершинка удилица. Ребята не выдержали, подскочили и, задышавшись, прошептали разом:

— Дяденька, клюет!

Рыбак вздрогнул и, оглядываясь по сторонам, растерянно спросил:

— А? Что?..— он опомнился и дернул удилице. Окунь, оцетинившись, пролетел в воздухе, но от поспешного рывка сорвался и запрыгал в траве около самой воды. Ваня не растерялся и плюхнулся на окуня животом.

Рыбак долго держал в руках зеленоватого горбача, сер-

дито дрыгающего хвостом, и, блестя глазами, приговаривал:

— Ах, красавец! Силен, силен! Кэ-эк он сиганул, а? — потом поглядел на улыбающихся ребят и торжественно, словно награду, протянул им окуня: — Нате, держите! За находчивость!

Так завязалась дружба.

С того памятного дня прошло несколько лет. Ребята стали школьниками, сами рыбачить научились. Ивана Павловича они по старой привычке зовут дядей Соломиным. Он называет Нюру пичужкой, потому что у нее острый носик, круглые глаза, и хоть заплетает она волосы в кудые косички, все равно на лбу торчит хохолок, который делает ее, действительно, похожей на птичку. А Ваня — крепкий, лобастый, упрямый, и дядя Соломин величает его тезкой. Мама ребятишек, Надежда Николаевна, говорит, что и видом и характером Ваня похож на отца. Но правда ли это — Ваня не знает: он был еще маленьким, когда отец ушел на войну. Потом с фронта пришло письмо, которое мама до сих пор хранит в ящичке, перечитывает и плачет.

Ваня на год старше Нюры и на голову выше ростом. Учатся они в разных классах и тоже по-разному: Нюра — на пятерки, а у Вани арифметика хромает. И старается он одолеть эту самую арифметику, да терпения маловато.

Услышал Ваня однажды, что есть такие люди, с которыми бейся — не бейся, а раз не даются им точные науки — толку не будет. И поэтому сказал маме: «Не стоит голову ломать над тем, что в нее не лезет». Но на веский Ванин довод мама ответила: «Я вот возьму ремень да всыплю тебе в определенное место — сразу, как по маслу, пойдут у тебя и точные и неточные науки».

Мама, она, конечно, человек хороший, пожалуй, лучше всех на свете, но понять Ваню не может. Вот дядя Соломин — тот сразу догадался в чем дело и сказал Ване: «Э-э, друг, ты соображать ленишься, пользуешься тем, что легко дается. Так дело не пойдет!» И начал приучать Ваню соображать.

Иван Павлович работает ревизором на пассажирских поездах и заочно учится в железнодорожном институте. Однако как-то умудряется выкроить время и для ребят: иногда в лес по ягоды с ними сходит, а то на рыбалку с собой возьмет. Нюра, конечно, рыболов так себе, прямо надо сказать — никудышный, не то что Ваня. Но ей тоже

интересно бывать с дядей Соломиным. Уж очень много знает он сказок и умеет лепить из глины такие игрушки, каких даже в магазине не сыскать. Жаль только, что про войну и про свои геройские дела он мало рассказывает. Но Ваня и Нюра знают, почему: во-первых, он скромный, а во-вторых, в войну у него погибли жена и маленький сын, Славик.

Нюра любит наблюдать за Соломиным, когда он занимается с Ваней. Решает он, решает с Ваней задачки и неожиданно спросит:

— О чем сейчас думаешь?

Ваня растеряется и не знает, что ответить.

— Да так... обо всем...

Нюра прыснет со смеху, Ваня незаметно покажет ей кулак, а дядя Соломин скажет:

— А ну-ка, почтенный тезка, спускайся с небес и вникай в суть задачи.

Ваня нехотя «спускается с небес», где он только что летал на разных ракетопланах до самой луны, и начинает заниматься скучнейшим делом на свете — решением задач.

Арифметика все-таки пошла на лад. Зимой, в день рождения Вани, Иван Павлович подарил ему книгу про Миклуху-Маклая и коробку конфет.

Ваня пять дней подряд читал подаренную книгу и за это время сумел получить три двойки. Мама сильно рассердилась и пошла к Соломину, которого считала виновником всего.

О чем они там говорили — неизвестно, но возвратилась Надежда Николаевна совсем не сердитая и с этих пор была особенно ласкова и даже нежна с ребятами. Теперь Надежда Николаевна знает: коль нет их дома, значит, у Соломина.

— А непоседы мои опять к родне отправились, — иногда говорит она соседям. — Ну, прямо хоть привязывай! И чем он их приворожил?

Соседи-просмешники шутят над ней:

— Соломин петушиное слово знает. Смотри, Надежда Николаевна, как бы он и тебя не приворожил!

Надежда Николаевна покраснеет и только отмахнется от шутников.

Если бы ребятам кто-нибудь сказал, что дядя Соломин не родной им человек, они бы, пожалуй, не поверили. И радостью, и детской бедой они привыкли делиться с ним.

Вот и сегодня после утренника в школе ребята спешат к дяде Соломину, потому что мама еще на работе и дома никого нет. Впрочем, спешит только Нюра: в таблице у нее за весь учебный год сплошь пятерки, а Ваня плетется позади. У него по арифметике получилась только тройка. Ну, что ты поделаешь — не везет человеку! И кто эту арифметику придумал? Уж Ваня ли не старался? Одно утешительно — учительница говорит, что эту тройку можно считать с плюсом. Но все равно мама будет недовольна, ругать начнет, а дядя Соломин, может, и ничего не скажет, но все-таки нехорошо получается, с тройкой-то...

Хозяйка, у которой снимал комнату Иван Павлович, встретила их со слезами:

— Негу, детки, Ивана Павловича, в больнице он, ногу ему повредило...

— К-как повредило? Где? — оторопели ребята.

— В поездке вчера. Пассажир какой-то, подвыпивший должно быть, упал между вагонами, поймался за скобу и орет. Павлыч-то и полез человека спасать. Выручил пассажира, а самому ногу и придавило.— Хозяйка высморкалась в передник.— Ходила я в больницу. По разговорам фершалов получается, что худы дела у Павлыча, отрежут ему ногу,— хозяйка черкнула ребром ладони повыше своего колена.— вот до сих пор и отпласнут...

Низко опустив головы, ребята ушли на берег и уселись под тополями, которые, радуясь наступившему лету, пустили в небо свежие зеленые стрелы. Ваня выводил пальцем на песке любимую цифру — пятерку, а Нюра сквозь слезы смотрела на заречный лес.

— Вань, а земляника поспела? — вдруг тихо спросила она.

— А я откуда знаю? Не до земляники сейчас.

— Ты не сердись. Я это вот к чему. Если поспела — поплывем за реку, наберем и дяде Соломину отнесем...

— Нюрка! — загорелся Ваня.— Ух, и голова у тебя!

...

В проходной будке больницы дежурил низенький курносый дед, щеголявший, невзирая на жару, в подшитых валенках, в шапке и ватной фуфайке. Вид у него был строгий, как у начальника.

— На передачу опоздали,— заявил он тоном, не допускающим возражений,— а свиданки разрешаются по воскресеньям да по средам с двух до шести.

Ребята принялись упрашивать деда, хитрить, даже земляники немного предлагали, но дед твердо стоял на своем посту и на ягоды не соблазнился. В конце концов дед разозлился и прогнал их. Ваня погрозил кулаком захлопнувшейся двери будки, а Нюра бойко крикнула:

— По-оду-у-маешь, начальник какой, а мы все равно пройдем к дяде Соломину!

Дед не удостоил их ответом.

Пришлось терпеливо ожидать кого-нибудь из других работников больницы. Ждали долго, истомились... Ваня отправился искать дырку в заборе, чтобы пролезть в больничный двор, но в это время к воротам подкатила «Победа».

По тому, как засуетился дед, ребята поняли, что приехало начальство. Они подскочили к машине и наперебой закричали:

— Мы к дяде Соломину, разрешите, дяденька?

Из машины выглянул тучный мужчина с бритой головой. Строго сдвинув седые брови, он совсем не строгим тоном обратился к деду:

— Федотыч, что за шум?

Федотыч встал «во фронт» и доложил:

— Непорядок, товарищ главврач, пострелята в больницу прут, а сегодня свиданок не положено...

Нюра не дала Федотычу договорить и так затараторила, что дед недовольно смолк.

Главврач с любопытством посмотрел на стакан земляники в Ваниных руках и удивленно воскликнул:

— Уже земляники набрали, ну и ну!

Взял одну ягодку, осмотрел ее со всех сторон, бросил в рот.

«Ишь, какой, даже не спросил... Думает, начальство — так что угодно брать можно, — с неприязнью глядя на врача, подумал Ваня. — Этот, наверно, и хочет отпласнуть ногу дяде Соломину».

Врач раздавил ягодку языком, причмокнул от удовольствия.

— Ты, герой, и ты, щебетуха, — кем вы приходитеесь Ивану Павловичу?

Нюра растерялась:

— Ну кем... кем... — Но тут же нашлась и выпалила: — Мы лучшие его друзья. Вот!

— А-а, лучшие друзья, — понимающе протянул врач, —

тогда, Федотыч, ничего не поделаешь, придется пропустить. Нарушить правило во имя дружбы — не грех.

— Непорядок это — правила нарушать. Землянику, в крайнем случае, передать можно, — буркнул дед.

— Ничего ты, Федотыч, не понимаешь в землянике. Целебные свойства есть в ней, — сказал главврач и, озорно сверкнув глазами, скомандовал: — В машину, друзья-гвардейцы, подвезу...

И вот они, заплетаясь ногами в полах длинных халатов, идут следом за медсестрой по больничному коридору. В нос ударяет густой запах лекарств, кругом тишина и чистота. стакан с земляничкой, потонувший в длинном рукаве халата, прилипает к потной Ваниной ладони.

Робко вошли они в палату. В ней тоже тихо, бело, поэтому удивительно красиво выглядят на окнах живые цветы. Больные лежат на кроватях, тихо переговариваются. Двое сидят на постели и сражаются в шахматы.

— А где же наш дядя Соломин?

Медсестра подошла к кровати, на которой лежал, закрывшись с головой одеялом, какой-то человек, и, тронув его за плечо рукой, сказала:

— Больной, к вам пришли.

Человек откинул одеяло:

— Ко мне? Кто может ко мне прийти?

Ребята замерли, пораженные — так изменился дядя Соломин. Только позавчера были у него свеглые волнистые волосы, а сейчас голова голая, стриженная, от этого лицо кажется продолговатым и уши как-то странно торчат. Но самая разительная перемена в глазах. Нет той ласковой усмешки, которая часто искрилась в них, нет и грусти. Глаза Соломина словно стекляшки — ровные, безразличные.

Преодолевая робость, ребята двинулись к его кровати, с радостью замечая, что под тонким одеялом — обе ноги. Нюра задрожавшим голосом сказала:

— Это мы пришли, дядя Соломин... Мы... я и Ваня.

— Ах, вот кто ко мне пожаловал, — попытался улыбнуться Иван Павлович, с трудом потянулся с кровати и подвинул табуретку. — Садитесь, ребятки.

Ваня и Нюра чинно уселись рядышком.

— Ну, как дела?

— Все на пять, — почему-то шепотом ответила Нюра.

— Тройка по арифметике, — промямлил Ваня, угрюмо глядя в распахнутое настежь окно.

— Как же ты это подкачал, тезка?

Ваня только вздохнул.

Иван Павлович потрепал Ваню по плечу.

— Ничего, тезка... не горюй...

Нюра толкнула Ваню под бок и повела глазами на рукав халата, где хранился стакан с ягодой.

— Это... вот... дядя Соломин, вам,— неловко предложил Ваня подарок.

Иван Павлович, как замороженный, протянул руки к стакану.

— Земляника! — прошептал он и возбужденно крикнул на всю палату: — Товарищи, ребята землянику принесли!

— Да ну! Неужели поспела?

— Факт налицо! — Иван Павлович поднял стакан так, чтобы все видели: — Угощаю первой ягодой! Нюра, надели всех.

Он сунул ей ложечку, и она пошла по палате, насыпая землянику в ладони больных. Как величайшую драгоценность, принимали ягоду больные, подолгу рассматривали ее, вдыхали аромат и растроганно благодарили:

— Ай, спасибо, детки, вот удружили, вот обрадовали...

— А я думаю: откуда это лесом, земляникой потянуло? — говорил Иван Павлович, — мерещится, думаю, с тоски, а тут оказывается, первооткрыватели ягодного сезона явились... Ну, а вы сами-то почему не пробуете? Берите!

Нюра взяла две ягодки, а Ваня заявил:

— Ел, ел, аж опротивели.

— Тезка, не ври. Сколько раз я тебе говорил, что вранье — последнее дело.

— Я и не вру.

— Нет, врешь. Это — первые ягоды, и в такую пору полный стакан набрать не так просто. Уверен, что вы только зеленцом пробавлялись. Правду я говорю, пичужка?

— Правду.

Ваня сконфузился, метнул сердитый взгляд на сестру и взял щепотку ягод.

Иван Павлович откинулся на подушку, полюбовался ягодами, положил одну из них в рот и блаженно закрыл глаза.

— Хороша! — восхищенно сказал он.

Она была самой его любимой ягодой, эта земляника. Неприхотливая красавица, в траве она растет крупная,

палитая. Отыщешь кустик, внизу на нем висит, как маленький бочоночек, ягодка на зеленой звездочке, а выше — другая, остроносая, с белым боком. Еще выше — совсем маленькая и желтенькая ягодка. И на самой верхинке из травы выглядывает беленький цветочек. На припеке земляника мельче. Здесь, точно багряный ковер, растилаются по сухой земле красные земляничные листья, а сами ягодки — с золотыми крапинками.

— Хороша! — повторил Иван Павлович. — Не знаю, как я теперь в лес с вами пойду, — добавил он и взглянул на свою неподвижную ногу.

— Да это ерунда, дядя Соломин, — горячо заговорил Ваня. — Вон у Витьки Артамоновича отец на деревьяшке и рыбачить, и охотничать ходит, а у вас обе ноги... — Увидев, что лицо у Ивана Павловича помрачнело при упоминании о деревьяшке, Ваня запальчиво спросил:

— Вы, может, не верите, что на деревьяшке и рыбачить и охотиться можно? Еще как можно! Вот свожу вас к Витькиному отцу, все вместе рыбачить станем... А с ним какой случай случился, с Витькиным-то отцом, — захлебываясь, продолжал Ваня. — Пошли они, Витька с отцом и еще один парнишка. Взяли бредень...

— На деревьяшке — и с бреднем? Ты что-то, тезка, того, перехватил...

— Не верите?

— Он правду, правду говорит, — подтвердила Нюра.

— И что же дальше? — с интересом спросил Иван Павлович.

— Ну вот, пошли они, бродили-бродили, рыбы поймали, уху сварили, наелись и спать легли. Витькин отец деревьяшку отвязал и к огню сушить положил, а ночью и загорел у него тужурка на спине. Артамонович как заорет, ребята перепугались спросонья — и бежать. Он цап-царап, деревьяшка отвязана, а тужурка на все пуговицы застегнута. Расстегивать некогда, и ребята удрали, а спину жжет. Но Артамонович не растерялся, запрыгал на одной ноге к реке — и бултых в воду во всем...

В палате хохотали, смеялся от всей души и Соломин.

— Значит, пацаны наутек, а он бултых в воду? О, чтоб вам...

Лежавший в углу больной держался за живот обеими руками и радостно взвизгивал:

— Ой, уморили, ой, швы разойдутся...

Иван Павлович вытер краешком простыни выступившие от смеха слезы, и, отдышавшись, сказал:

— М-да-а, вообще-то смешного тут мало. Да что с вас спросишь — ребятишки вы и есть ребятишки. Ну ладно, с этим Витькиным отцом вы меня обязательно познакомите. А сейчас бегите домой... Еще вот что: в следующий раз принесите мои книги, а то я занятия забросил.— Иван Павлович прижал детей к своей широкой груди, отпустил и сказал: — Ну, бегите, бегите... дорогие.

Ребята паправились к двери, но в палату вошла Надежда Николаевна. Они остановились, удивленные и обрадованные. Надежда Николаевна немного смутилась и, торопливо завязывая тесемки на рукаве халата, проговорила:

— Заболтались вы здесь. Я уж вас потеряла.

— Добрый день, Надежда Николаевна,— радостно улыбаясь, приподнялся на кровати Соломин.

— Здравствуйте, здравствуйте, Иван Павлович. Я на минуточку, вон за чадами, ушли и ушли.— будто оправдываясь, сказала Надежда Николаевна и положила на тумбочку небольшой сверток.— Что это на вас за напасти?

— Да вот, видите, угораздило...

Ребята были очень довольны тем, что и мама догадалась прийти проведать дядю Соломина. Им расхотелось идти домой. Оба приготовились слушать, о чем же будут говорить мама и дядя Соломин. Но разговор оказался неинтересным: о самочувствии Ивана Павловича, о том, как кормят в больнице, о домашних делах Надежды Николаевны. Словом, о всяких пустяках. Только непонятно, почему об этаких пустяках они — мама и дядя Соломин — говорят с воодушевлением и в глазах обоих — радость... И ребятам вдруг тоже почему-то стало еще радостнее.

— Нюр, глянь,— шепнул Ваня сестре и показал на больного, который, полулежа в постели, с интересом читал книгу.— Усы как у Чапая. Такие же закрученные.

— Подойдем? — предложила Нюра.

Усач, увидав подошедших ребят, отложил книгу.

— Так, значит, поспеваает земляника? — с добродушной улыбкой спросил он.— Ну, и много ее нынче? Здорово, поди, цветет?

— Белым-бело, дяденька, особенно на бугорках, только вот спелых ягодок еще мало.

— Рановато. Вот с недельку пройдет, тогда она дозре-

ет. Земляника солнце любит. На солнышке-то она наливается не по дням, а по часам...

— Ничего страшного, Иван Павлович,— донесся до ребят голос мамы,— у нас инвалидам почет, а вы поправитесь, и все будет хорошо. Вы вон какой сильный и... умный...

— И на малину урожай хороший должен быть,— продолжал усач.— В масленицу снег здорово валил.

— А если в масленицу снег здорово идет, то от этого малины много бывает? — с интересом спросила Нюра.

— Примета такая. Есть и другие приметы. Как, например, угадать на завтра погоду, знаете? Если вечером на небосводе заря красная, то завтра жди ветер, а если на горизонте густые облака и солнце садится за них — то завтра, верняком, будет дождь, да мелкий-мелкий, такой нехороший, надоедливый. Еще есть, ребята, лесные приметы. Заблудишься в лесу, а приметы и помогут обязательно выбраться.

Это было интересно. Валя и Нюра все свое внимание сосредоточили на том, чтобы запомнить приметы.

А Иван Павлович с Надеждой Николаевной все говорили и говорили.

Бывает так: пройдет лесной пожар и начисто слизнет ненасытными языками все живое на пригорке. Стоит пригорок, маячит, весь черный, неприветливый. Но проходят года. Ветер наносит на пригорок семян с окружающего леса, щедро посеет их на черную, потрескавшуюся землю. И глядишь, весной после обильного дождика настойчиво пробиваются из-под черных пней и уродливых валежин бледные, но упрямые ростки и настойчиво тянутся к солнцу. Скромно укрывшись от глаз, между узловатых корней начинает наливаться и зреть первая ягода — земляника. И зацветает пригорок вновь! Будут шуршать на пем молодые кудрявые березки; от утреннего прохладного ветерка затрепещут листья на робких осинках; приподнимется на гибких ветвях колючий малинник, празднично зарозовеет кипрей, крепко уцепятся за землю молодые лапчатые пирамидки пихт и елочек.

Все это, радуясь простору, будет тянуться к солнцу, разрастаться так, что сразу и не пробраться сквозь густо сплетенные кусты, травы, цветы. И только внизу, укрытые от глаз, еще долго будут лежать, напоминая о пожарище, обгорелые валежины, но и они со временем сгниют, развалятся, уступив место свежей, молодой поросли...

— Ну, вот что, ягодники,— сказал усач, рассказав о всех приметах, которые знал.— Отправляйтесь-ка домой, сейчас у нас главврач с обходом пойдет.

— Идите, идите,— сказала и мама.— Я сейчас. Я догоню вас.

Ребята помялись немного у двери: нельзя ли еще минутку побыть в палате? Но никто их не задержал. Они вздохнули и вышли.

По коридору расхаживал главврач, заложив руки за спину.

— Ну, как, друзья-гвардейцы, повидались с дядей Соломиным?

— Повидались, спасибо,— ответила Нюра и, помедлив, спросила: — Дядя доктор, ногу ему будете отрезать или нет?

— Хм... Это зависит от того, как вы его земляникой подкармливать будете.

— Земляникой! — обрадовался Ваня.— Да мы каждый день в лес ходить станем и рыбы наудим, он еще рыбу любит, только вы не режьте ему ногу. Ладно?

— Постараемся, друзья-гвардейцы, постараемся сохранить вашему дяде ногу,— взъерошив волосы на головах ребят, вздохнул главврач и пошел в палату, из которой они только что вышли.

Во дворе Нюра остановила брата и предложила:

— Вань, давай всех ребят с нашей улицы сговорим за земляникой? Много в больницу принесем.

Ваня постукал пальцем по голове и серьезно проговорил:

— Крепко у тебя тут, Нюрка, варит...

Дед в проходной хотя и бурчал, но встретил их сейчас совсем по-иному:

— Пронырнули все-таки, пострелята!.. Ладно уж, ходите, особая вам статья, товарищ главврач велел пропускать вас беспромедлительно.

Ребята поблагодарили деда и пошли вначале медленно, но потом, не удержавшись, припустили во весь дух. Под белыми воротничками от быстрого бега у них трепетали галстуки цвета спелой земляники.

ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ

Река пела лесины, в злобе швыряла их на прибрежные скалы, гулко сшибала друг с другом, беспокойными табунами загоняла их в заливы, водовороты и протоки. Подчиняясь ее прихотям, бревна то мчались вперегонки, то плыли не спеша, поблескивая на солнце своими голыми спинами. Вот еще один, бурлящий в узком месте перекат, стремительный напор — и горы останутся позади. Вырвавшись на свободу, река утихомирится, потечет устало, разольется по низинам и лугам. Но слишком стремительно рванулась река. Лесины заметались, как овцы, попавшие в загон, уперлись в обрывистые берега и подводные камни и замерли. Обузданная затором река волнуется, шумит, свирепо бьется об эту неожиданную преграду и не может сорвать ее.

Но не только вода так упорно старается сорвать затор с переката. Ломая багры, проклиная одуревшую реку, на заторе орудуют сплавщики. Вцепившись баграми в зажатую лесину, тянут они свою незамысловатую песню, мерно раскачиваясь под напев:

...Еще разик, еще раз
Де-о-рнем, по-де-о-орнем...

А дерево не подается, как будто впилося концами в беспорядочно нагромоздившийся лес.

— Вот тебе и дернем-подернем, — высвободив багор, цроворчал бригадир сплавщиков Андрей Никифорович

Варакин, вытирая пот со лба жестким рукавом брезентовой куртки.

В душе у него, как в реке, кипит и бушует. Андрей Никифорович, потрясая кулаком, сердито сказал:

— Поем. Ревем. А лес ни с места! — С сердцем плюнув, он приказал набросить на бревно трос, повернулся к берегу, где стоял баркас с лебедкой, и крикнул:

— Эй, лебедчик, уснул, что ли?

Лебедчик, как и все сплавщики, не спал уже более суток, но спать и не думал. Обиженно буркнув что-то под нос, он включил лебедку. Баркас вздрогнул, от него побежали частые мелкие волны. Стальной трос, надетый петлей на дерево, начал медленно подниматься из воды и, внезапно спружинив, брызнул серебристым дождем.

Лебедка остервенело зарычала, лебедчик болезненно сморщился и вдруг нырнул за дощатую стенку. По доскам, как выстрел, хлопнул конец оборвавшегося троса. Мотор заглох. Яснее слышались шум реки и ругань лебедчика.

— Что стряслось?

— Пропади все пропадом, зуб у шестерни выломило, и трос порвало.

— Ты похуже тросишко не мог прихватить? — съязвил Андрей Никифорович и проворчал: — У себя бы зубто выломил, недотепа.

Лебедчик не огрызнулся. Он уже слышался всякой всячины. Трос он взял неплохой, да так лебедкой измочалил его, что он весь ошетинился, и вот порвался. Сплавщики, конечно, понимают, что лебедка и сам лебедчик ни в чем не виноваты, да надо же им на ком-то отвести душу. Вот и терпи, помалкивай. Лебедчик тяжело вздохнул, потер воспаленные от бессонницы глаза и принялся сращивать трос. А Варакин в это время метался по затору. Он прощупывал багром в кипящих среди леса щелях, ложился на живот и, точно принохиваясь, смотрел в глубину, не переставая ворчать:

— И чему ты, старый дурень, научился за свою жизнь? Заломы найти не можешь. А тоже, как путнего, бригадиром поставили... Тьфу, бестолочь.

Исходив затор вдоль и поперек, он с силой воткнул багор в лесину.

— Кажется, каких заторов не разгадывал на своем веку, а этот как заколдованный.— Он постоял в раздумье и крикнул сплавщикам:

— Идите, ребята, обед варить, передохните немного.

— А ты сам-то что, забыл про отдых? — отозвались сплавщики.— Сляжешь ведь.

— Сам, сам... Не до отдыха мне,— отмахнулся бригадир и, зная, что без него не пойдут, с досадой прибавил: — Да ступайте, ступайте, я скоро приду.

Сплавщики направились к берегу, а Варакин снова принялся за обследование затора, отыскивая в нем особый секрет.

На стапеле в судоверфи построенную баржу удерживает всего несколько деревянных клиньев. Достаточно их убрать, как огромное сооружение неудержимо покатится на воду. Затор так же держат своего рода клинья, а иногда всего один. Где-то там, среди многих тысяч деревьев, есть те, которые сделали заломы. Эти деревья первыми уперлись в подводные камни, стали поперек течения. Потом еще и еще. Натолкало, напичкало течением лес на перекат — так и образовался затор. Андрей Никифорович умел по особым приметам или чутьем опытного сплавщика находить эти прихотливо упрятавшиеся «клинышки». А на этот раз и чутье не помогло. Иногда сплавщиков выручает в таких случаях подъем воды, но весенний паводок уже кончался. Лес может обсохнуть на перекате, далеко от города, и его придется выгаскивать по бревнышку. Поэтому-то Варакин и клял затор, на котором впервые получилась осечка. И в какую пору осечка! Лесопильный завод, для которого предназначена древесина, выполняет заказ строителей Сталинградской ГЭС. Бригада Варакина, выделенная на сплав древесины этому лесозаводу, взяла на себя большое обязательство: выполнить задание досрочно.

— Ох-хо-хо, дела-а-а,— убито покачал головой Андрей Никифорович, оглядывая сгрудившийся лес.— Все шло хорошо, а у самого дома, в воротах, можно сказать, получай пилюлю.

Он постоял еще некоторое время неподвижно и, тяжело вздохнув, направился к дымящемуся на берегу костру.

Обычного веселья среди сплавщиков сегодня не было, шуток и прибауток не слышалось. Сплавщики угрюмо молчали. Некоторые дремали. Только лебедчик хлопотал у костра. Он подбрасывал в огонь сухие дрова и, морщась от едкого дыма, помешивал в закопченном ведре ложкой. В кипящей воде метались пластики картошки и, словно

гопяясь за ними, всплывали и ныряли хариусы с раскрытыми ртами. На багровищах и камнях вокруг огня сушились спецовки сплавщиков. От них валил пар. Все еще не успокоившись, вода ниже затора взъерощенными волнами облизывала берег, перекатывала и без того гладко отшлифованные гальки. По берегу степенно разгуливали голенастые кулички.

Одинокие сосенки, схватившись цепкими корнями за утесы, гляделись в мутную воду. Пенистыми островками плыли в реке отражения облаков. Обгоняя быструю воду и тени облаков, промчалась стайка уток. Тревожно крикнув, утки взметнулись над затором, рассыпались и, перелетев через него, снова начали медленно снижаться, собираясь в кучу. По-весеннему бурно и радостно кругом. Только река недружественно шумит.

Примостившись на камне, Андрей Никифорович держал в руках брезентовые штаны, поворачивая их к огню то одной, то другой стороной. Вдруг он свирепо шлепнул себя по шее и пришиб сразу с десяток комаров. Лебедчик поднял ложку, замер на секунду и, прикрывшись рукой, прыснул.

— Кумовья тоже мне пашлись, кр-р-ровососы, напевают тут, — буркнул Варакиш. Кроме комаров, ему не на ком сорвать зло. Будь он в таком состоянии дома, так всему семейству бы досталось. Там известное дело: когда «сам» не в духе, то и мышь не ходи, и кошка не броди. А здесь поругать некого. В бригаде народ хоть и молодой, но как на подбор: работают крепко, и шутников, как они, поискать надо. Андрей Никифорович устало опустил на колени руки и замер, удрученно глядя на тлеющие угли. Невеселые думы лезли ему в голову: «Эх, работа! И когда я развяжусь с рекой да со сплавом... Ну, дай Бог спустить затор. Размахну я свое оружие — багор и — ей-ей — заброшу. Хватит. Набродился, натешился. На пенсию пора, да и сыновей с дочерьми почти дюжина — прокормят». Он не заметил, что высказал последние слова вслух и живо изобразил, как швырнет багор. Сплавщики не выдержали и захохотали.

— А чего зубы моеге? — прикрикнул на них смутившийся бригадир. — И заброшу.

— Андрей Никифорович, — обратился к нему с улыбкой Лавря, — интересно узнать, сколько лет собираешься ты уходить со сплава?

— А твое какое дело? Может, сто лет. Все равно уйду когда-то, лопнет мое терпение.

— Когда-то, конечно, уйдешь, это без сомнения, но едва ли скоро,— усомнился Лавря.

Сплавщики снова засмеялись.

— Чего опять захихикали!

— Ну и характер у тебя, Андрей Никифорович,— покачал головой Лавря.— Как жена с тобой жизнь прожила и не сбежала — удивляюсь.

Андрей Никифорович глянул на него и со снисходительной усмешкой проговорил:

— Чадушко ты, чадо, да ежели хочешь знать, у меня характера вовсе нет, бесхарактерный я человек.

— Сказанул,— хмыкнул кто-то из сплавщиков,— знаем мы...

— А чего вы знаете? — перебил Варакин.— Ничего не знаете. Вот насчет меня судачите. А что я? Ветер. Расходился, как сине море в рукомойнике, поругался, поплевался, тем дело и кончилось. Теперь вот на бережку посиживаем, портяночки посушиваем, а лесозавод без древесины скоро останется. Здорово трудимся! — Бригадир помолчал и, обведя глазами сидевших вокруг костра, строго спросил:

— А чей заказ завод выполняет? — И, многозначительно подняв палец, ответил на свой вопрос с расстановкой:— *Сталинградгидростроя*. Заказ этот не шуточка! Если провалим его, так осрамимся, что нам в городе прохода не дадут, потому что не пристало уральцам перед сталинградцами срамиться. Попимать это надо. А у вас все хиханьки да хаханьки.

— Да мы понимаем, не бреди болячку.

— Понимаем, понимаем, а лес на перекате торосами наставило. Лупить нас надо за такие дела! Вот что.

— Зачем горячишься-то, Андрей Никифорович,— заговорили сплавщики.— Стихия ведь...

— Загорячишься тут,— тихо отозвался Варакин. Он посидел молча, покряхтел тяжело, отмахнулся от ноющих комаров и другим тоном проговорил: — Эх, жалко, нет здесь моего друга Сергея Сергеича, он бы помог разгадать затор. Мастак на эти дела.— И совсем подобревшим голосом продолжал: — Вот уж, ребята, у кого характер так характер,— со всеми потихоньку, с шуточкой, в душу человеку залезет, а как сплавщицкое дело знает...— Варакин причмокнул и заключил: — Профессор!

Сидевшие у костра тихонько засмеялись. Бригадир начал собираться:

— Пойду еще посмотрю, пока обед доваривается, провалился бы он в тартарары, пережат этот, вместе с затором.

— Э-э, зря ты, Андрей Никифорович, намаливаешь, и нам, и сталинградцам невыгодно, чтобы затор провалился,— посмеиваясь, сказал Лавря.

— Все трезвонишь, негодник,— беззлобно проворчал Варакин.

Лавря хорошо знал, что, после того как бригадир погорячится, он становится мягким, сговорчивым, и решил этим воспользоваться.

— Слушай-ка, Андрей Никифорович, о каком ты «профессоре» упомянул сейчас?

— Бывшего прораба нашего неужели не знаешь? — приподнял брови Варакин и любовно добавил: — Его тут по всей реке знают. Ревматизм он достал себе. Дома, в Архиповке, сейчас, горюн, тоскует, мази натирается. А что они, мази-то? — Андрей Никифорович безнадежно махнул рукой.— Что проку в них? Человек с детства водою пропитался, а известно: мазь поверх воды держится.— Грустно помолчав, Варакин сказал: — Но узнай он, что у нас заминка, на животе бы приполз... Душу за сплав положит.

— Андрей Никифорович, говорят: ум хорош, два — лучше; что, если к Сергею Сергеичу на лодке, а? — хитро подмигнув, предложил Лавря.— Тут до Архиповки рукой подать, моментально сплавить можно.

Андрей Никифорович отложил в сторону резиновые сапоги, которые собрался надеть, и с иронией спросил:

— Ты это один придумал, или всей артелью?

Лавря усмехнулся:

— Один...

— Ты понимаешь, что городишь, голова садовая? Человек обезножил на воде, а ты его обратно хочешь притянуть. А у него характер такой, что совсем уходится на заторе, пока не разгадает его.

— Что это вы, Андрей Никифорович, все характер да характер,— поморщился лебедчик, снимая ведро с огня,— им нашу реку не возьмешь. Сюда надо электролебедку или трактор, а не характер.

— Много ты понимаешь. Знаешь ли ты, любезный, что Сергей Сергеич этих заторов разобрал столько, сколько

ты со своей беззубой лебедкой поштучно не вытащил бревен, да полжизни плоты водил по нашей реке и ни одного не посадил даже на «Магнитный».

— Да ну?!

— Вот тебе и ну. Пока уха приостынет, я тебе одну притчу расскажу насчет характера, а ты послушай, тогда и судить берись.— Варакин дряблыми от воды пальцами скрутил цыгарку, прикурил и, потирая колени ладонями, начал рассказывать:

— Раньше лес по нашей реке сплавливали не модем, а плотами. А плотогонное дело, надо вам сказать, шибко рисковое и тяжелое. Работаешь, бывало, потесями¹ до того, что на ладонях вместо кожи клочья. Ну, а местами покуриваешь, на природу посматриваешь. Несет. Если еще харчи подходящие, так совсем житуха. Вот и плывешь, бывало, где песенки попеваешь, а где бьешься до полусмерти. Так до тех пор, пока не принесет к камешку какому-нибудь, вроде «Магнитного», или к утесу. Тут дело короткое: или проскочишь, или... трах!.. И по бревнышку весь плот раскатает. Сам не утонешь, так заработок обязательно в воду канет. Тогда ведь купчишки платили за доставленный лес, а за тот, что разнесло, если есть из чего, так еще и вычитали. Ну, в общем, лежит около этого «камешка» мужицких косточек и котомочек несметное количество. Да-а... И вот однажды к нам на плот дали старшого, или, как его ноне называют, лоцмана. Посмотрели мы на него и разом решили: быть нам в нынешнем сезоне без штанов, побьет все плоты этот горе-командир. Сами посудите, лоцман — это же сила. В крутой момент он должен так рявкнуть, чтобы черти под рубахой забегали. А у этого голос тихонький, глаза, как у девки, голубые... Ну, заартачились наши мужики и к подрядчику: «Так, мол, и так, с этим старшим не поплывем. Он, мол, нас, если не утопит, то по миру обязательно пустит». А подрядчик сволочь был. Этак вот пепел ноготком с папиросы сбивает и говорит: «Что ж, не плывите, лодырничайте. Я другую артель на вашем плоту отправлю. Хватает у нас нынче вашего брата, голодранцев. Попухнете,— говорит,— с голодухи, так с кем уютно поплывете».

Ну, что тут станешь делать? Поплыли. Ругаемся на чем свет стоит и лоцмана, конечно, кроем. А он ничего, помалкивает да поглядывает на нас. Стали подплывать к

¹ Потесь — весло из цельного бревна.

«Магнитному». Я, как сейчас помню, давай свои манатки собирать. Все равно уж, думаю, заранее с плота прыгать. Лоцман и говорит: «Напрасно вы, ребятки, тонуть собираетесь. Проплывем и ног не подмочим». Говорит это он, а вид у него такой, будто мы не к «Магнитному» приближаемся, а так себе, к коряжине какой-нибудь. Поташило нас на камень. Я за потесь держусь, думаю: «Ну, сейчас начнется комедия — закричит наш лоцман бабьим голосом: «Отбивайся влево, отбивайся вправо. Бей куда попало». А потом фуражку сбросит, скажет: «Господи, благослови», и сиганет с плота. А вода на камне чем ближе, шумит сильнее, камень выставил свой острый нос и дожидается. По-путнему пора уже отбиваться, но лоцман команды не подает, стоит и не бледнеет. Ну, думаю я, кончина подходит, и начинаю на всякий случай в уме с родней прощаться. Камень ближе, ближе. Пена от него ключьями летит, ревет, как зверь. Страхота. Не выдержал я, да как заору: «Чего ты, такой-сякой, рот раскрыл? Почему команды не даешь?» А он и ухом не ведет. И вот, у самого уж камня, руку, как артиллерист, поднимает. Мы потеси насухо держим. Приготовились. Вода кругом кипит, глаза я от страха закрыл. И вдруг слышу: «Бей!» Ударил я несколько раз и чувствую, вроде, плот меньше качает. Открыл глаза, а камень-то уж позади, от него вода двумя струями метет да наш плот подгоняет.

Андрей Никифорович замолчал, обвел глазами слушателей и, усмехнувшись, спросил:

- Про кого притча-то сказывалась, поняли?
- Да как не понять. Действительно, характер...
- То-то.

Усталые сплавщики пообедали и прилегли, кто где сидел.

Только Андрей Никифорович, подперев щеку ладонью, сидел задумчивый и усталый. Он беспокойным взглядом скользил по лесу, иногда брови у него приподнимались и глаза отыскивали хмурую скалу, нависшую над рекой. Сколько раз пробовал Андрей Никифорович расстаться с рекой. Возвращался со сплава, привычно забрасывал рукавицы на припечек, снимал спецовку и, точно свалив тяжесть, говорил:

— Ну, мать, перехожу на твое иждивение. Топи печку жарче, теперь не слезу с нее.

— А, закаивался козел в огороды бродить... Сколько лет эту песню слышу...

Но весной, как только река очищалась ото льда, Андрей Никифорович терял покой. Начинал хитрить и уверял свое семейство в том, что ноги у него ныть, слава Богу, перестали и что одно лето он еще должен проработать, так как с опытными кадрами в сплавокомторе «труба». В доме поднимался шум. Все сыновья и дочери во главе с матерью устраивали, как выражался Андрей Никифорович, «домашний митинг». Митинговали до тех пор, пока Андрей Никифорович не прибежал к крайности. Он хмурился и гремел, как в прежние годы, грозно: «Яйца курицу не учат! Сам знаю, что мне делать!»

Содом утихал. Хозяйка швыряла на пол жесткую спецовку Андрея Никифоровича:

— На, бродяжничай! Когда ревматизм корежит тебя пачнет, пеняй на себя. Воды стакан не подам и ребятам не вею.

— Спасибо и на этом, — бубнил Андрей Никифорович и, виновато улыбаясь, добавлял: — Последний раз, мать, ей-богу, последний. Подучу вот молодняк, реку еще раз посмотрю, батюшку-покойничка навещу — и конец...

И сейчас его усталое тело просило покоя, тянуло лечь прямо на камни и заснуть беспробудно. Но глаза беспокойно шарили по затору, прощупывали каждое бревно, а мысли бежали за ними вдогонку, помогали искать хитро упрятавшиеся заломы, водили бригадира за собой, не давая ему думать ни об отдыхе, ни о расчете, а только о лесе, о заводе, который выполнял почетный заказ. Забота глушила в Андрее Никифоровиче усталость, заставляла его руки тянуться за непросохшей спецовкой, толкала на затор.

...За поворотом реки забрякал по камням окованный шест. Сплавщики подняли головы, прислушались. Из-за мыса показалась лодка. В ней, равномерно отгалкиваясь шестом, стоял человек в выдавшем вида плаще и в сморщенной кожаной фуражке. Андрей Никифорович присмотрелся из-под руки, сорвался с камня и побежал. Еще не поравнявшись с лодкой, он, улыбаясь, закричал:

— Сергей Сергеичу мое почтение! Далеко ли путь держишь?

— Дальше вас некуда, перегородили реку-то.

Сергей Сергеевич приткнул лодку к берегу и приподнял фуражку в знак приветствия.

— Гляжу, нет и нет лесу, ну и не усидел. Водичка вот вот на убыль покатится, день-два — и момент упущен.

Перед тем как плыть сюда, звонил я в управление завода. Сильно там обеспокоены задержкой леса. Директор завода с начальником сплавконторы сюда приплыть хотят. А в нашем поселке старики-пенсионеры загуртовались, завтра на помощь к тебе нагрянут.— Сергей Сергеевич помолчал и, окинув взглядом лес, запрудивший реку, спросил: — У тебя как ребята, передохнули?

— Да чего спрашивать, видишь, уже одеваются.

— Ну, тогда я прямо к затору проплыву, а вы собирайтесь и подходите.

Варакин вернулся к костру и почувствовал, как защемило самолюбие.

— Без начальства и без стариков как-нибудь обойдемся,— проворчал он, одеваясь.

Долго ходили Варакин с Сергеем Сергеевичем в сопровождении сплавщиков по затору.

— М-да,— говорил Сергей Сергеевич, пытливо оглядываясь вокруг,— затор, действительно, с секретом,— и, показав на каменный утес, напоминавший своей формой крутлобую бычью голову, спросил: — У быка пробовали разбирать?

— Пробовали,— махнул рукой Андрей Никифорович,— да толку нет.

— Мне все-таки кажется, что там собака зарыта. Струя бьет прямо в бык, видите, как вода бурлит возле него? В малую воду под быком обсыхает несколько каменных ступенек, а немного глубже еще камень лежит... Ну да не тебе, Никифорович, рассказывать про эту скалу.

— Не забыл я это местечко и тоже предполагаю, что зацепка там, но, говорю тебе, пытался брать оттуда лес — ничего не вышло.

— Попытка не пытка, давайте еще раз сходим, посмотрим да попробуем,— предложил Сергей Сергеевич.

...Около склонившегося над рекой утеса, покрытого ржавым налетом, лишайчатым мхом да чахленькими кустиками, лес сгрудился особенно плотно. Некоторые бревна, словно спасаясь от погони, метнулись вверх и замерли, уткнувшись торцами в лобастый утес.

Андрей Никифорович показал на отверстие между лесинами. Вода в нем кружилась, образуя глубокую воронку, и по-змеиному шипела, сгоняя к центру пену, крошки коры, щепки.

Сергей Сергеевич взял багор, опустился на колени и начал прощупывать им в воронке. Несколько раз ткнув во

что-то, он чутко насторожился и совсем низко склонился над водой.

— Стоп! Стоп! Рядом с камнем нащупывается бревно,— сказал он, не переставая действовать багром,— видимо, здесь главный залом.— Вытащив из воды багор, который успела облепить пена, Сергей Сергеевич задумчиво промолвил: — Да-а, допустим, что здесь. Но как от туда бревно вытаскивать?

Ему никто не ответил. Все молча смотрели на воронку с крутящимся в ней мусором. Вдруг Андрей Никифорович решительно сел и начал разуваться.

— Попытаю счастья,— проговорил он торопливо,— не впервой купаться.

— Брось, брось, Андрей Никифорович, года не те, остынешь,— запротестовал Сергей Сергеевич.

— Да никакой черт не возьмет.

— Не мудри, Андрей Никифорович. Что это ты в такую дырку сам суешься. Помоложе тебя есть,— цевольно заговорили сплавщики. Вперед выступил Лавря.

— Разрешите мне.

— Утонешь, а потом за тебя отвечай,— буркнул Варакин.— Нет уж, лучше я сам, вам здоровье-то вперед пригодится...

— Кто? Я утону? — загорячился Лавря,— я что,— в морской клуб хожу в бирюльки играть? Если хочешь знать, пластырь на пробоину в корабле под водой наложить могу.

Варакин почесал щетинистый подбородок, поглядел на Лаврю из-под лохматых бровей и, показывая снятым сапогом на воронку, сказал:

— Слушай, ты, моряк, брюхо в ракушках, плохо тебе будет, если не умеешь как следует под водой держаться. Не обманывай, гляди.

— Была нужда обманывать. Что я — трепач какой? — торопливо раздеваясь, говорил Лавря и, стянув тельняшку, улыбнулся: — Ты, Андрей Никифорович, моря не видал, так тебе и лужа в диковинку.

Варакин спросил с усмешкой:

— А ты-то, бес, где море видал?

— Увижу,— ухмыльнулся Лавря.

Он обвязался веревкой, взял трос с заделанным на конце крюком, выбрал в себя воздух и осторожно спустился в воду. Секунда, пятая, двадцатая...— и никто не дышал и не шелухнулся. Все настороженно смотрели на темный круг воды.

— Тащить надо,— с дрожью прошептал кто-то. Захлебнется...

— Он за веревку дернет, когда тащить,— торопливо бросили ему в ответ. И снова тишина. Только сильнее слышен шум реки.

— Нет, ребята, давайте вытаскивать...— не выдержал Андрей Никифорович и первый схватился за веревку. Все начали поспешно помогать ему.

Вытащенный из воды, Лавря некоторое время лежал с закрытыми глазами. Грудь его тяжело вздымалась. Светлые волосы, потемневшие от воды, мелкими прядками свисали на побледневшее лицо. Рябинки на носу и щеках сделались отчетливей, и лицо казалось покрытым ореховым маслом.

— Вот и покупался я в ванне с древесиной,— открыв глаза и через силу улыбаясь, неожиданно сказал Лавря.

— Тыфу, леший,— облегченно выдохнул Андрей Никифорович. Схватившись за грудь, он опустился на бревно, посидел и затрясся от смеха: — Видали архаровца?! Воды нахлебался и еще зубоскалит. О, чтоб тебе неладно было, досмерти перепугал.— И перейдя на заботливый тон, бригадир приказал: — А ну, к огню быстро. Грейся, сушишь, моряк с разбитого корыта...

— Трос на бревне, орудуйте тут, а меня и правда цыганский пот прошибает, побегу,— собирая одежду и дробно постукивая зубами, говорил Лавря.

— Давай, давай, беги, без тебя тут сейчас обойдется,— легонько подталкивая Лаврю, проговорил бригадир и тинственно шепнул ему на ухо: — Мой мешок развяжи, фляга там, погрейся малость...

Сплавщики расступились по сторонам и впились глазами в то место, откуда только что был вытасчен Лавря. Затарахтела лебедка. Трос, как черный уж, изогнувшийся на лесе, ожил и пополз. Он натянулся, мелко задрожал, лебедка начала захлебываться.

— Ну, милая, ну...— беззвучно шептал Варакин, умоляюще глядя на лебедку,— еще чуточку, чуточку, голубка.

Все напряженно подались вперед. На обветренном лице бригадира морщины собрались в кучу. Казалось, что он, как и все сплавщики, каждой жилкой помогал лебедке тянуть невидимое бревно. Вдруг работающий с перебойми мотор лебедки взвыл и загудел ровно. Так бывает, когда срывается трос. Но нет. На этот раз он шел внатяжку.

И вот показался торец бревна, с которого стекали струйки воды, осыпались камешки.

— Есть! — гаркнули сплавщики так, что под быком гулко, как в трубе, отдалось эхо. Трос, будто закончив свою работу, сорвался, ударился несколько раз по воде ниже затора, свернулся в змеинные кольца и исчез в реке. И тут же все почувствовали, как дрогнул под ногами плотный массив леса. Будто гром зарокотал вдали. Ниже переката, словно выстреленные из пушки, вздымая фонтаны брызг, начали выныривать освободившиеся бревна.

Кругом закричало, затрещало, загрохотало...

— Двинулся!.. Пошел, пошел!.. — радостно закричали сплавщики и, делая саженные прыжки с дерева на дерево, побежали к берегу, крича на ходу: — Не мешкай, уходи-и-и...

— Жми, жми, милай! Давай, давай, дава-а-а-ай!.. — кричал вместе со всеми Варакин, и на его морщинистом, немного бледном лице расплывалась радостная улыбка. Подхватив за руку припадающего на ноги Сергея Сергеевича, он крикнул ему: — Попер лесок-то, попер, вот тебе спасибо, выручил, полагается с меня...

— Не за что, Никифорыч, я тут свидетелем был, а расписать по такому случаю стоит, ко мне попутно завернем.

— Завернем обязательно, пусть ваши архиповские знают, что сплавщики в грязь не ударят, они!.. — Андрей Никифорович не договорил, спрыгнул на берег и понесся к баркасу. Увидев застывшего с широкой улыбкой лебедчика, обрушился на него:

— Ты что, парень, ртом ворон ловишь? Мигом исчезай с механизмом за мыс, а то искромсает! — Сложив ладони рупором, Андрей Никифорович закричал, перекрывая шум и грохот:

— Ребята-а-а-а, баркас убирай! Бы-ы-ыстро!

Сплавщики начали спускать баркас за мыс, а Варакин, не чувствуя под собой ног, метался по берегу, стараясь везде поспеть. Сергей Сергеевич сидел в сторонке на камне и с улыбкой наблюдал за ним, зная, что Варакин сейчас забыл и о нем и обо всем на свете, кроме двигающегося леса.

Лес тронулся вначале плотной массой, выпирая на берег, со скрежетом ворошал камни, вспахивал речной грунт. В некоторых местах бревна лезли друг на друга, как льдины в ледоход, бились и ползли на бык, а то поднимались пачкой наверх и тут же с грохотом рассыпались. Люди на

берегу возбужденно перекликались, хохотали, размахивали руками. Андрей Никифорович, вспотевший и счастливый, на секунду остановился. Заметив рядом с собой Лаврю, потрепал его по мокрой голове и, точно тот мог не слышать, оглушительно заорал ему на ухо:

— Пошел! Пошел, Лавря!

— Лавря-то стоит, — отшутился он.

Варакин посмотрел на Лаврю сияющими глазами, вдруг прижал его к себе, крепко хлопнул по спине и захохотал:

— Эх ты, моряк! Просмешник, язви ты в душу. А-люблю с такими работать. Мы еще покажем, что такое «не везет» и как с ним бороться. Вер-р-рно, Лавря?

— Ну, а с расчетом-то как?

Андрей Никифорович изумленно приподнял брови.

— Я уж и забыл об этом. — Он постоял и, хитровато улыбаясь, начал загибать свои узловатые пальцы по одному: — Отдыхать пойду, когда закончим великие стройки, да поджигателей утихомирим, да... — Он перестал улыбаться и серьезно добавил: — Блажь это моя о расчете-то говорит, а вот увижу, как двинется лесок-то милай, — тут Андрей Никифорович стукнул себя кулаком в грудь, — такое делается, гору еще своротить могу. — Он вскинул на плечо короткий багор, молодецки сдвинул на затылок шапку, незнающую сезонов, и цепкой сплавщицкой походкой поспешил вслед за плывущим лесом. На ходу он отдавал приказания и попутно ругал кого-то.

Возле мыса Андрей Никифорович оглянулся, посмотрел на противоположный берег, где около угрюмого утеса бойко суетились плывущие лесины, отыскал глазами чуть заметные буквы на выщербленном ветрами и дождями граните и сказал:

— До будущей весны... батя...

И снова, как много лет назад, он увидел стремительно летящий по реке плот, а на нем непоколебимо спокойно-го отца своего, Никифора Варакина, который стоит на середине плота и громко командует:

— Вправо! Вправо! Крепко бей! Крепко бей! Пррраворней!

Андрюшка смотрит на быстро приближающуюся скалу, и сердце у него замирает. Широко раскрыты глаза у худых, оборванных мужиков, которые поднимают и опускают тяжелые потеси. Так и остались они навсегда в памяти у Андрюшки — в дырявых лаптях, с жидкими бородечками, не имевшие времени даже для того, чтобы пере-

креститься перед смертью. У них не хватило силы одолеть бешеное течение. Потеси начали редко и вяло падать в воду, что-то беспомощное, обреченное появилось на лицах мужиков, а скала летела и летела навстречу, хмурая, равнодушная.

— Ы-ы-х, лапотошники, ходили бы за сохой... Леший на сплав тащит...— выругался Никифор и, не переставая командовать, сам схватился за поносный*. Дальнейшее Андрюшка помнит как страшный сон. Плот стукнуло о скалу, он встал на ребро, заскрипел и с грохотом рассыпался... Дикие крики понеслись над рекой и тут же оборвались. Крутом Андрюшки желтоватая вода и звон в ушах. Андрюшку крутит, швыряет куда-то, и вдруг он снова видит небо, глотает воздух. Видно, счастливый был мальчишка. Прямо в него ткнулось бревно. Андрюшка судорожно ухватился за него и замолотил погами по воде. На берегу он нашел своего отца. Река, много лет гонявшаяся за этим ловким и смелым лоцманом, наконец, скараулила его, скомкала, изломала и выплюнула на берег. Он лежит у самой воды в мокрых, окровавленных лохмотьях и, устремив в небо обезумевшие от боли глаза, просит:

— Братцы, добейте! Братцы, ради Христа...— Но на берегу один Андрюшка. Он трясется от холода и страха:

— Тятя, тятенька, не надо, не умирай... Страшно...

Много лет спустя уральский партизан Андрей Варакин, гонявший по горам колчаковские банды, привязался веревкой за сосну, которая до сих пор стоит на скале, все такая же приземистая и кривая, спустился над водой и выбил на скале надпись. И стоит скала, как памятник лихому лоцману и многим, многим безымянным мужикам, чьи слезы, пот и кровь текли по этой реке.

Андрей Никифорович долго шел молча. Попытался свернуть цыгарку, но табак рассыпался из бумажки, свернутой лодочкой: дрожали пальцы.

На баркасе было тесно, но сплавщики нашли место для Андрея Никифоровича. Когда баркас поплыл, натыкаясь на бревна, сплавщики запели любимую песню:

Есть на Волге уте-ес...

— Андрей Никифорович, подтягивай! — улыбаясь, крикнул Лавря.

* Поносный — кормовое весло.

— С вашим братом не затоскуешь,— отозвался Варакин и хрипловатым, но все еще сильным голосом подхватил:

И стоит сотни лет...

Песня понеслась над рекой, а на горизонте, затухая зарю, расплылась кудрявая тучка черного дыма. Это дымил завод, на котором заботливые советские люди спешили выполнить заказ великой стройки.

1952

ЖИЛ НА СВЕТЕ ТОЛЬКА

Владимиру Черненко

Жил на свете Толька Пропп. Были у него отец и мачеха, а у мачехи другой парнишка — Сенька. Толька качал его в люльке, а Сенька сучил ногами, тряс побрякушку, пускал пузыри и, улыбаясь Тольке, разговаривал с ним на непонятном языке. Толька грозил ему кулаком и, дергая люльку, шипел:

— Спи ты! А то как двину! — И, чтобы не услышала мачеха, тут же припевал: — О-о-о, спи, малышка,— и еще тише: — Спи, паразит!

А потом семья распалась. Распалась быстро, но незаметно. Отец Тольки умер в больнице, а мачеха вскоре после его смерти забрала Сеньку и уехала из нового заполярного города. Остался Толька один в заброшенном домишке. Здесь в летнюю пору была парикмахерская. Дощатые стенки этого домишки плохо защищали от северных морозов, но Толька особенно не горевал. В городе четыре лесопильных завода, и отходов с них можно брать сколько угодно. Ему и раньше приходилось каждый день возить на санках дровишки, но безо всякого интереса, а теперь он делал это с удовольствием — не для Сеньки и не для мачехи возит!

Толька зажил в свое удовольствие, наслаждаясь свободой и покоем.

Что могло сравниться с теми минутами, когда, раскалив докрасна печку, он раскладывал на ней кружочки картошки и, не особенно беспокоясь, допекались они или

нет, неторопливо, с чувством уплетал то подгоревшие, то почти сырые пластинки.

За окнами северное сияние выдвигало свои фокусы. Оно расстило по небу такие красивые, похожие на материю полосы, каких Тольке не приходилось видеть даже в магазинах. От сияния скользил по снегу трепетный свет, проникал в избушку и играл на стенах, на печке.

Потом в комнате оставались бледные тени, они медленно ползли, точно искали чего-то. И бледный свет, от которого веяло волшебством, и тишина, которую нарушали лишь голодные мыши, скребущие по углам, заставляли Тольку пугливо настораживаться. Он сидел у печки, боясь шелохнуться. Мыши безбоязненно подбегали к нему и, хлопотливо попискивая, таскали картофельные очистки. Толька подкидывал и подкидывал в печку дрова. Ему было не так страшно, когда в ней плясали веселые огоньки.

У печки сосредоточилась Толькина жизнь. Здесь лежали мешок с картошкой, который, к огорчению мальчишки, заметно легчал, постель из половиков, консервные банки, заменявшие посуду, кучка дров, на которых ступнями кверху Толька пристраивал валенки.

Мачеха уехала тайком и забрала почти все. Многого не хватало в Толькином хозяйстве, но зачем ему какая-то посуда, постель и прочее барахло? У него было главное — независимая жизнь. Тем, кто хоть немного пожил со злой мачехой, понятно, что это значит.

Наевшись, Толька запивал холодной водой печеную картошку и зажигал фонарь, неизвестно каким образом попавший в дом с соседнего конного двора. После этого Толька завертывался в половику и ложился рядом с печкой. При тусклом свете фонаря он читал книгу до того, что глаза смыкались сами собой. Маленький Толькин мир проваливался в темноту. Спал он сколько хотел и делал что вздумается. В школе он держался так, будто для него все трын-трава, и ходил с таким видом, что, мол, хочу — учусь, хочу — нет. Могу спустить девчонке льдинку за воротник, пострелять из резинки, прокукарекать на уроке. Некоторые ребята завидовали Тольке и старались водить с ним компанию.

Не один раз учительница посылала Тольку к директору школы. Директор писал записки на имя Толькиных родителей. Эти записки Толька читал вслух, ехидно

посмеивался и в заключение, плюнув на неразборчивую подпись директора, бросал их в печку.

Кое-кто из ребят узнал все-таки, что Толька остался беспризорником. Но он пригрозил «дать жизни» тому, кто расскажет об этом в школе. Характер Толькин ребята знали, оттого и помалкивали.

Все кончилось бы раньше и проще, не будь этой тайны, которую так ревниво оберегал Толька, если бы не запугивания мачехи. Кроме ничемного скарба от мачехи, остался Тольке страх перед детским домом. Мачеха за любой проступок давала Тольке подзатыльники и обещала отправить его в какой-то таинственный приют, где ребята бьют проволоочной плетью, кормят селедкой и не дают воды. Она внушала ему, что приютские воспитатели — форменные звери. День за днем она путала его грозным приютом и добилась своего: приюта Толька боялся больше всего на свете.

Прошло около месяца, и в Толькину избушку начала заползать нужда. Кончилась картошка, кончился керосин, даже мыши вроде куда-то исчезли. Голод одолевал Тольку. Однажды утром он забыл умыться, а потом вообще махнул рукой на это бесполезное дело. Весь он сжался, чувствуя, что к нему подступает что-то тяжелое. И на уроках теперь он сидел тихо, чем немало удивлял учительницу.

Однажды Толькина рука неожиданно наткнулась в парте на кусок хлеба. Незаметно положив хлеб в карман, мальчик на перемене убежал в раздевалку и съел его. Хлеб стал появляться в парте ежедневно. Толька подумал, что его забывает кто-то из учеников первой смены. Но как-то на перемене заметил, что ребята таинственно перешептываются между собой. И понял все. Гордость и неприязнь к сытым ребяташкам победила голод. Толька бросил хлеб на пол и закричал:

— Я не кусочник!

С трудом сдерживая слезы, он сунул учебники за пояс и убежал из школы.

В этот день Толька украл в магазине с прилавка небольшой довесок хлеба. Сколько мук доставило ему это! Толька протягивал к ржаной на редкость поджаристой горбушке руку и тут же отдергивал ее. Ему казалось, что все в магазине смотрят на него. Наконец он схватил первый попавшийся довесок хлеба и опрометью бросился из магазина. Долго колесил он по улицам и переулкам, пря-

тал кусок то за пазуху, то в карман, но ему казалось, что все равно хлеб заметно.

После пережитых волнений изжевал он кусок без всякого аппетита и решил больше не красть.

Вечером Толька от нечего делать забрел на конный двор. Здесь было удивительно мирно и спокойно. Кони с хрустом жевали сено, пахнущее летом, блаженно фыркали, нюхали через загородку друг друга. Долго стоял Толька, прислушиваясь к лошадиной жизни. Даже дремота его стала разбирать. Он встряхнулся, боязливо погладил одну лошадь и нагрузил из ее кормушки полные карманы овса. Лошадь, как показалось Тольке, укоризненно смотрела на него из сумрака большими темными глазами. Толька снова погладил ее и сказал шепотом:

— Ничего, у тебя ведь много.

Мальчик поджарил овес на печке и принялся его шелушить. Овсом до боли искололо язык, но это все-таки была еда, и Толька решил, что временный выход из положения найден.

Когда не хотелось спать (а натошак спалось плохо), он читал книгу с приключениями, мечтал по-своему: «Скорей бы до веспы дожить, до первого парохода! Поеду я далеко-далеко, в жаркие страны. Хоть зимой, хоть летом там теплынь и шамовки завались. Буду я, как Робинзон Крузо или Миклуха-Маклай. Может, остров какой сыщу, небось не все еще открыты: земля-то вон она какая широкая!»

С мечтой жилось легче. Утром Толька бодро пришел в школу, бросил в парту замызганные учебники и с независимым видом принялся за овес.

— Ты чего жуешь? — спросил Вовка, с которым Толька сидел рядом уже вторую зиму.

— Семечки.

Вовка протянул руку под партой и шепнул:

— Сыпани малость.

Толька покраснел, помялся и высыпал ему на ладонь щепоть овса. Вовка попробовал и восхитился:

— Вкусно!

Толька ухмыльнулся и ничего не ответил. В перемену Вовка попросил еще. На этот раз Толька дал ему побольше — коль нравится, жалко, что ли! Вовка выбежал в коридор, а Толька остался за партой. Отцовы валенки совсем развалились и были перевязаны проволокой; штаны и рубаха тоже запачкались и порвались. И шут его знает,

где и когда они порвались! Толька попробовал чинить штаны, но стянул нитками рвань, и те места, где были дыры, напоминали рубцы недавно заживших болячек. Показываться на люди в такой одежде было совестно.

Вовка вернулся из коридора не один, а с ребятами. Они наперебой стали клянчить овса, расхваливать его на все лады.

— Давай, Толька, меновую сделаем,— предложил Вовка.

— Какую меновую?

— Ну... ты нам — овса, а мы тебе свой завтрак, нам эти завтраки надоели хуже горькой редьки. Все хлеб да хлеб.

«Дуралеи»,— решил Толька про себя и снисходительно согласился:

— Что ж, можно, конечно, и сменять.

Сделка была выгодной: за несколько горстей овса он наелся досыта да еще унес домой два бутерброда. А так как ребята настойчиво требовали еще овса, на копный двор он пошел вечером уже с мешочком. Когда Толька шмыгнул обратно к воротам конного двора, из сторожки, где хранилась сбруя, вышел сторож и остановил его:

— Ты что здесь делаешь?

Толька держал за спиной мешочек и не знал, что ответить.

— Овсеца-го зачем набрал, милоч?

Решив, что дедушка с таким добрым лицом не пожалует овса, мальчик глухо ответил:

— Есть.

— Е-есть? — удивленно произнес старик.— Как так есть? Ты что, кошь или курица, чтобы овсом кормиться? Постой, постой, да ты чей будешь? Вроде бы мне твое обличье знакомо.

— Пронин я. Толька Пронин.

— Так, та-а-ак,— задумчиво протянул сторож.— Значит, живете по соседству. Знавал я отца твоего покойного. А мачеха-го где?

— Уехала куда-то.

— Вои-на что? — с изумлением поднял брови старик и засуетился.— Погоди-ка, сынок.— Он засеменил в сторожку и вынес оттуда краюшку хлеба, на которой соблазнительно красовались три вареные картофелины и кусочек сала.— На-ка вот поешь, дорогой, а овес-то брось, не дело им питаться.

Только прижал краюшку и тихо сказал:

— Спасибо, деда.

— Ешь, ешь на здоровье, голубок,— наговаривал старик, провожая его с конного двора, и уже в воротах спросил: — В детдом-то пошто не идешь?

— Лупят там нашего брата.

— Кто это тебе наговорил?

— Сам знаю.

Однако Толька не удержался. Он доверчиво высказал деду все свои страхи и заявил, что в приют он «ни в жизнь не пойдет».

Старик задумчиво прищурился, потеревил бороду и проговорил, вздохнув:

— Ну что ж, вольному воля...

В эту ночь Толька видел разные приятные сны: то свою шумную школу, то поля золотого овса, то жаркие страны, где на деревьях растут варенные картофелины величиной с арбуз, то доброго седенького деда. Проснулся он от чьих-то разговоров и шагов по скрипучим половицам. Только что видел он дедушку с конного двора во сне — и сейчас слышался его голос. Тольке казалось, что сон еще продолжается.

— ...Не дело это, товарищ милиционер. Живет он в холоде, в голоде, изведется малый.

— Почему он сам не заявляет о том, что остался один? Давно бы уже в детдоме был,— отозвался незнакомый голос.

— Э-э, милай, сейчас все узнаешь,— ответил старик и тихонько потянул половик, в который Толька закутывался, как в одеяло.

— Голубо-ок! Вставай-ка, горемыка, дядя за тобой пришел.

Толька быстро вскочил и, едва различая при бледном свете волосатое лицо старика, задыхаясь, прокричал:

— У-ух ты, старый! Хлеба дал, картошки дал! Я думал, ты добрый! А ты продал меня! Не пойду в приют! Не пойду, хоть на месте застрелите!

— Да ты что, милай! Зачем ругаешься? Тебе ведь люди добра хотят,— приговаривал дед, пытаясь погладить его по голове.— Пойдешь в детдом, там тебя оденут, обуют, кормить, учить станут, с ребятами такими же, как ты, жить будешь. Там и тетеньки есть, воспитательницами называются. Они тебя полюбят, ты вон какой парень — боевой да умный...

— Да, полюбят, по спине плетью с проволокой,— уныло отозвался Толька.— Дяденька милиционер, дедушка, мне здесь хорошо, не отправляйте меня в детдом! А? не отправляйте?

— Таким родителям на осиновом суку самое подходящее место,— негромко сказал дед.

— Хорошо, мальчик, в детдом тебя не отправим,— сказал милиционер,— сходишь со мной, тебя там спросят, запишут и отпустят.

— Иди, голубок, иди, хорошо тебе будет. Потом ко мне, старику, прибежишь, спасибо скажешь,— ласково говорил дед.

И Толька понял, что детдома ему не миновать.

На улице все еще было сумрачно. Впрочем, и весь зимний заполярный день напоминает сумерки. Светает медленно, словно ленивый человек поднимается с постели. Сумерки были Тольке на руку. Шагая с милиционером, он подсматривал удобное место и выжидал подходящий момент. И вот он, этот момент: узкий проулок впереди и открытые ворота. Толька рванулся в сторону, вильнул за сугробы и побежал, что было силы. Вдогонку ему неся голос милиционера:

— Мальчик! Мальчик! Постой, глупый...

Толька нырнул в ворота незнакомого дома, милиционер пробежал мимо. Сердце Тольки радостно колотилось. Снова свобода, раздолье и никакого детдома!

Однако он быстро понял, что в жизни его наступила большая перемена. Домой ему возвращаться нельзя, идти некуда. Осталась только школа. Но и в школе дела у Тольки обстояли неважно. Он напропалую грубил учительнице и отличникам, без всякой причины лез в драку, чтобы сорвать свою злость. Вера Семеновна — классный руководитель — сердилась, отчитывала его при всех. И всего обидней было стоять перед всем классом в порванных штанах, в дырявой рубаше и огрызаться. Он почувствовал, что скоро наступит момент, когда не выдержит и заревет.

Не-ет, реветь он, Толька Пронин, не станет. Не из таковских он, чтобы его ниюни весь класс увидел. Лучше в школу не пойдет, все равно уж теперь.

Зачем она нужна, школа? Э-эх, дожить бы ему до первого парохода! Места надо ему совсем-совсем маленько. Не больно раскормлен, в какую-нибудь щель заберется так, что сам капитан не сыщет.

Долго бродил Толька в этот день по городу, ходил из

магазина в магазин, из столовой в столовую. Хотелось есть, было тоскливо и обидно. Вот он пристроился в библиотеке на диване, листает журнал, смотрит картинки, голова клонится — в тепле потянуло спать. Он встряхивает головой и глядит на стенные часы. И ясно вдруг представляет себе, что сейчас делается в четвертом классе.

Вот прозвезел звонок — начинаются занятия во вторую смену. Ребята привычно усаживаются за парты, вынимают из сумок чернильницы, книги, тетради, успевают посмеяться, ущипнуть девчонок. Самые отчаянные, приоткрыв дверь, смотрят в коридор и, крикнув «Идет!», бросаются на свои места. В класс входит Вера Семеновна со строго поджатыми губами. Ребята позаглаза называют ее ронжей в честь рыжеголовой птицы, которая умеет надоедливо каркать. Учительница поправляет рыжие волосы, открывает журнал и начинает переключку. Дойдя до Толькиной фамилии, оглядывает класс, приподнимает брови и с нескрываемым раздражением говорит:

— Опять нет?!

Долго он сидел в библиотеке и думал: «Где ночевать? Что есть?» Ему хотелось лечь и умереть, но только так умереть, чтобы он мог видеть и слышать, как станут жалеть его и как учительница будет раскаиваться, проклинать себя, может быть, заревет даже оттого, что обижала когда-то заброшенного мальчика.

Что только не лезло в голову в этот тяжелый день. Спать ему пришлось на чердаке городского театра, около горячих труб парового отопления. После кошмарных снов, грязный, измученный, он пробродил полдня по городу, доел остатки чьего-то обеда в столовой и, не в силах перебороть себя, побрел в школу.

Он встал в углу около школьной раздевалки и, глотая слезы, подкатывавшиеся к горлу, смотрел на пробегающих мимо него чистеньких и довольных ребят. Он не заметил, как подошел Вовка и тихо спросил:

— Толь, ты почему в класс не заходишь?

Толька хотел ему ответить, но вдруг отвернулся и заплакал. Вовка растерянно топтался и неловко успокаивал его:

— Не реви, Толька, ну, брось. Пойдем в класс. Наплюй на все. Вере Семеновне я такое наговорю за тебя, такое... — Вовка помялся и, ковыряя носком валенка в щели пола, виновато предложил: — Ты ведь есть хочешь, не обидишься, если я тебе отдам свой хлеб... — Он вытащил из пор-

тфеля бутерброд и сунул его Тольке. Увидев, что он спрятал руку с хлебом за спину и смотрит в пол, Вовка заторопился:

— Давай ешь, а я в класс побегу, чернил налью. Я тебя ждать буду, ну? Приходи, ну, ладно? Идет?

Толька стер ладонью слезы, снял пальтишко, проглотил бутерброд и пошел в класс. Вовка вытащил из портфеля новую тетрадку, дал запасную ручку, рассказал, что проходили вчера, и даже сам переписал в Толькину тетрадь примеры вместе с ответами, заданные на дом. Толька приободрился и повеселел. На уроке Вера Семеновна велела Тольке встать, сощурившись, осмотрела его и с усмешкой спросила:

— Пронин, ты, может быть, вообще в школе не нуждаешься? Может быть, слишком грамотен стал?

Толька уткнулся взглядом в чернильное пятно на парте и молчал. Учительница погасила усмешку и выпрямилась, поджав губы:

— Когда кончится твое самовольство? Когда ты станешь серьезным учеником, когда ты перестанешь мучить меня? — Она раздраженно оттолкнула в сторону классный журнал. — Чего только родители смотрят — не понимаю! Ходит грязный, неряшливый, уроков не учит...

Вдруг Вовка вскочил и прерывающимся голосом крикнул:

— Нет у него никого! И вы, Вера Семеновна, ничего не знаете и ничего не понимаете... вот! — губы Вовки скривились, задрожали он, хлопнув крышкой, сел, лег лицом на руки и протянул: — Ему даже есть печего и почевать негде-е-е...

В классе были слышны только Вовкины судорожные всхлипывания. Сдерживаясь, чтобы не разреветься, Толька терзал рукой тетрадь и молчал:

— Как нет никого?.. — через некоторое время растерянно вымолвила учительница и, видимо, попяв все, сказала:

— Толя, выйдем со мной.

В классе зашептались, задвигались; кто-то из девочек удивленно воскликнул:

— А мы не знали ничегошеньки!

В учительской было пусто. Нервно поправляя прическу, Вера Семеновна посмотрела на Толькины драные валенки, по-лягушечьи раскрывшие рты, на его грязную руку,

которой он пытался замаскировать дыру на штанах, и дрогнувшим голосом сказала:

— Почему же ты молчал?

Только уткнулся лицом в ее платье, пахнувшее духами, и разревелся.

Учительница гладила его по голове, что-то говорила, но он не мог остановить слезы. Наконец Вера Семеновна легонько отстранила его, усадила на диван, утерла нос мягким ароматным платком и ушла в класс. Вскоре она вернулась, села рядом с Толькой и тихонько проговорила:

— Сейчас ты расскажешь мне, Толя, все, все, правда?

Он согласно кивнул головой и, все еще время от времени прерывисто всхлипывая, начал рассказывать.

Прозвонел звонок. В учительской появились учителя. Он замолчал, но Вера Семеновна каким-то виноватым голосом попросила:

— Продолжай, продолжай, Толя, это полезно услышать не одной мне.

Только чувствовал, что огорчил ее сильно, и ему стало не по себе. Стесняясь учителей, он говорил уже не так свободно, как наедине с Верой Семеновной.

После того как Толька смолк, преподаватели тоже долго молчали. Вера Семеновна вытащила из сумочки носовой платок, выпачканный о Толькин нос, и теребила его пальцами.

Завуч, седая высокая женщина, взяла из коробки папиросу и, постучав мундштуком о край стола, сказала, глядя в окно:

— Да-а-а... хороши воспитатели, нечего сказать! Ребенок больше месяца без родителей — и мы не знаем этого.— Она закурила и, размахивая спичкой, которая не гасла, продолжала: — Ну, ладно, Вера Семеновна — молодой преподаватель, она могла не догадаться, не поинтересоваться, хотя и стоило. Но мы-то, мы-то, что смотрели?

Спичка обожгла руку. Завуч резко кинула ее на пол.

— Плохо, очень плохо мы работаем и с детьми, и с родителями, не знаем ни тех, ни других как следует, а еще жалуемся на скверную успеваемость.

Завуч глянула в Толькину сторону и смолкла. Затянувшись несколько раз подряд, она смяла недокуренную папиросу и другим тоном проговорила:

— К этому разговору мы еще вернемся. А сейчас, Вера Семеновна, идите в горно и сегодня же устройте мальчика в детский дом.

В буфете горисполкома Вера Семеновна усадила его за столик, купила стакан сметаны и сайку. Толька начал было неуверенно отказываться, но она ласково потрепала его ершистые волосы и шепнула:

— Ешь. Я сейчас вернусь, жди меня здесь.

Когда она вернулась, в стакане не было и признаков сметаны, так тщательно Толька вытер ее кусочком.

— Может, ты не наелся, Толя? — спросила Вера Семеновна.

Стакан сметаны и небольшая сайка, конечно, были для него пустяком, но он сделал над собой усилие и заявил, что сыт по горло.

Вера Семеновна достала из-за рукава дошки маленькую бумажку, положила ее перед Толькой:

— Вот твое направление в детский дом. Я могу тебя проводить, но ты пойдешь один, так будет лучше, и ты не обманешь меня. Не обманешь ведь, правда?

Толька помолчал и, вздохнув, выдал:

— Ладно, пойду.

— Иди, Толя, смело иди. Мачеха неправду сказала тебе о детдоме. Приютлов, какими она тебя пугала, давно уже нет в нашей стране. Ты убедишься в этом сам, а если кто тебя обидит, скажешь мне. Хорошо?

— Я теперь, Вера Семеновна, все буду вам говорить.

— Ну вот и хорошо, Толя, вот и хорошо, мальчик.

Она проводила Тольку на улицу, подняла воротник его пальтишка, надела на его руки свои варежки и, на мгновение прижав к себе, сказала:

— Иди, Толя, иди.

Размякнув от непривычной ласки, сконфуженный, огуленный, шел он по заснеженной улице и снова его душили слезы.

Детдом находился не в самом городе, а немного на отшибе. Новый дом с большими окнами стоял на пригорке. Напротив крыльца было озеро, от которого беспорядочно разбегались в стороны березки, ивовые кусты вперемежку с чахлым ельником, а дальше — белые бороздки — цепь озер, которым в Заполярье счету нет.

Толька, замедляя шаги, подходил к детдому и вдруг замер. Из-за барьеров снега, загораживавших озеро, до него донеслись крики, визг, свист. Он долго стоял в стороне, не решаясь подойти ближе. «Что там делается? Уж не порют ли?» — подумал Толька. Он растерянно снял варежки, подул на коченеющие пальцы и сунул руки в

карманы. Правая рука наткнулась на бумажку, и его потянуло прочь отсюда, в пустую, но милую избушку. Остановило его слово, которое он дал Вере Семеновне. Он только теперь понял, что попался на удочку и сплеховал! Что бы там ни было, а он должен был идти в этот, с виду мирный, но казенный и потому неприветливый дом. Есть же на свете счастливые ребята! Им не надо ходить с направлениями, у них своя семья. А тут хоть бы бабушка была, ну хоть бы кто-нибудь...

Наконец Толька решился. Стиснув в руке бумажку, он пробежал по широким ступенькам: раз, два, три... шесть... восемь... Вот и блестящая дверная ручка. Он взялся за нее, хотел дернуть дверь, но рука как-то сама собой выпустила скользкую ручку. Измученный и бледный, он оперся на деревянную колонну плечом, поднял руку вытереть пот со лба да так и замер, взглянув на озеро. С высокого крыльца все озеро видно как на ладони.

Что там делается! На зеленоватом льду, исчерканном коньками, полным-полно ребятшек. Будто маковые цветы, по озеру мелькают красные, белые шапочки. Ребятишки барахтаются, бегают, кричат, катаются кто на чем. Особенно оживленно около больших деревянных салазок. Седоков много, а салазки малы, все валяются на них разом. Возчики пробуют сдвинуть их с места, скользят, падают, бросают веревку и с криком: «Куча мала!» — тоже валяются на санки. Ребята и постарше, заложив руки за спину, катаются на коньках и не обращают внимания на малышей. А вот двое мальчишек, став в позы боксеров, потоптались, как петухи, на месте, делая выпады издалека. Вдруг мальчишка, что был повыше ростом, начал осыпать ударами другого. Толька был сторонником напористого боя, но он всегда за слабых. Поэтому, позабыв обо всем на свете, он топтался на месте и шептал:

— Ну, двинь ему, садани! Привари разок! Да тресни же ты его! Тресни! Э-эх!

Будто слышав Толькины призывы, мальчишка, за которого он «болел», ловко увернулся от удара и стукнул длинного под левую руку.

Толька подпрыгнул и заорал:

— Каа-апут!

А победитель поднял руку, как боксер, и провозгласил:

— Нокаут! Вот, не рыпайся больше.

Потом они с хохотом побежали к салазкам, около ко-

торых все еще копошилась куча. Толька с восторгом и завистью смотрел на ребятишек, одетых в одинаковые шубки с серыми воротниками.

Внезапно сзади него задзынькал звонок. Толька вздрогнул, обернулся и увидел девочку. Была она в белом переднике, в летних тапочках. Она, торопливо потрясая звонком, одновременно подпрыгивала от холода и кричала:

— Обед! Обед!

Ребятишки вперегонки кинулись к дому, теснились в дверях, подталкивали друг друга. Дверь захлопнулась. Стало тихо-тихо и пусто. Лишь одна девочка, тихонько напевая, обметала варежками снег с валенок. Она было взялась за дверную ручку, но посмотрела на озеро и сказала:

— Вечно эти мальчишки салазки бросят!

Вприпрыжку вернулась она на озеро и прокатилась на санках одна себе, на просторе. Ей, видимо, понравилось. Она прокатилась еще несколько раз. Заметив Тольку, девочка приблизилась к нему и спросила строгим голосом:

— Ты чего здесь, мальчик, стоишь?

Он растерялся:

— Да так, ни... ничего... стою и стою... вот! — И протянул скомканную бумажку.

Девочка с серьезным видом взяла бумажку, расправила ее и принялась читать. Словно убеждаясь в чем-то, она придирчиво осмотрела Тольку и деловито осведомилась:

— Значит, тебя зовут Толей?

— Ага, Толькой.

— Не Толькой, а Толей,— наставительно сказала девочка.— У нас никого не велено так называть, знай об этом сразу.— И торопливо прибавила: — А мое имя Галя. Галя Лазарева.

Толька промычал что-то в ответ, а про себя подумал: «Эка, важность, Ла-а-азарева! Видали мы таких Лазаревых, подлиза какая-нибудь!».

В дверях салазки застряли. Толька решительно отстранил девочку и сам внес санки в прихожую. Галя усмехнулась, но ничего не сказала, а проводила его в раздевалку. Толька, затаив дыхание, смотрел на шубки с серыми воротниками и постеснялся повесить среди них свое драное пальтишко. Все равно у пальтишка вешалки не было. Мальчик скомкал его и бросил в угол. Не поборов соблазна, Толька погладил воротник у одной шубки и подумал:

«Отличникам, наверно, дают. Дали бы мне такую, я бы тоже отлично учиться стал, шут с ними».

Галя провела его в комнату с ванной и побежала куда-то. Пришла пожилая женщина в цветной косынке. Женщину эту звали няней Улей. Она велела Тольке сбросить одежонку и, пока ванна наполнялась водой, остригла машинкой его скатавшиеся волосы.

— А ну, дитятко, пощупай воду, не горяча ли?

Толька погрузил в воду руку и прошептал:

— Хорошая!

Несколько раз пня Уля меняла воду, которая делалась мышиного цвета, и, натирая Тольку мыльной мочалкой, приговаривала:

— Эх ты, дитятко, зарос! Ну, ничего, обиходим мы тебя — и будешь ты как новый гривенник!

Наполнив эмалированный таз водой, она начала окатывать мальчишку, приговаривая:

— С гуся вода, с лебедя вода... Тебя как зовут-то?

— Толька.

— С Толи худоба...

Когда он вымылся и надел новую одежду, пришла Галя, взяла его за руку и повела по коридорчику, вдоль которого тянулась узорчатая дорожка. Они шли в ту сторону, откуда доносилось позвякивание ложек о тарелки.

— К вам новичок, Анна Павловна, его зовут Толей,— важно промолвила Галя, войдя с Толькой в столовую.

Сразу стало тихо. Десятки пар любопытных глаз уставились на Тольку. К нему подошла молодая женщина и, положив руки на его плечи, обратилась к ребятам:

— Где, ребята, есть свободное место для Толи?

За столами задвигались, застучали стульями, отовсюду понеслось:

— К нам новенького, здесь свободно! К нам! К нам!

— Н-не-ет уж,— не выпуская Толькиной руки, сказала Галя.— Я новенького привела — и за столом он будет за нашим!

— Ты куда хочешь сесть, Толя? — наклонившись к Тольке, спросила Анна Павловна.

— Мне все равно,— растерянно пробормотал он.— Если можно — с Галей.

Его усадили за стол, покрытый голубой клеенкой. Толька увидел посреди стола, рядом с тарелкой белого хлеба, блюдечко с солью, на стенах — картины, нарисованные

на картонках и бумаге, на окнах — марлевые занавески с кошачьими мордочками.

Тарелка с рисовой кашей у Тольки опустела моментально. Он скосил глаза на соседей и обмер: «У людей еще половины каши не съедено, а я уж всю свою слупил». Толька опустил глаза и начал под столом разглядывать свои непривычно чистые руки.

— Толя, ты почему не кушаешь? — донесся до него голос Анны Павловны.

Толька поднял голову и удивился: перед ним стояла новая порция каши с луночкой желтого масла в середине. Удивленно поглядел он на Галю, но она, как ни в чем не бывало, помешивала ложечкой в стакане. Пока он доедал вторую порцию, перед ним очутилась третья. Ребята потихоньку наблюдали за ним, но стоило ему взглянуть в их сторону, как они делали вид, будто его тут вовсе нет.

И вдруг Толька понял, что все они когда-то пришли сюда такими же грязными, робкими и голодными, как он. Это открытие и обрадовало его и потрясло.

Перестав стесняться, шмыгая носом, он съел еще порцию, а кофе выпить не смог и с сожалением оставил недопитый стакан.

После обеда Анна Павловна увела его в канцелярию и записала в толстую книгу. Заметив, что Толька то и дело искоса бросает взгляды на корешки книг за стеклянными дверцами шкафа, она спросила:

— Любишь читать, Толя?

— Ага, люблю.

— А что читал?

Он назвал ей несколько книг.

— Ты уже читал «Тихий Дон»? — удивилась Анна Павловна.

— Читал. Интересно, только не все, — откровенно признался Толька. — Про войну интересно, а про лирику и про любовь — не шибко.

— Про что? Про что? — прикрыв рот рукой, переспросила Анна Павловна.

— Про лирику.

— Хм... кто это тебе такую книгу дал?

— Никто не давал. Я ее в городской библиотеке оформил.

— Как оформил?

Толька помялся:

— Ну... спер.

Анна Павловна поморщилась и спокойным, но твердым голосом сказала:

— Читать надо не все, что под руку попадет, тогда, глядишь, со временем интересно будет и про войну, и про лирику.

Она снова улыбнулась чуть заметно и, провожая его, добавила:

— А красть ты теперь перестанешь. Договорились?

Он кивнул головой.

И вот Толька в той комнате, где, по разговорам, он будет жить. Стены комнаты украшены картинами, на окнах в горшках цветы, как в обычном доме.

— Вот здесь ты будешь спать,— сказала Анна Павловна, подведя его к кровати, стоявшей в углу.— Ребята научат тебя заправлять постель. Сидеть на кровати не нужно, для этого есть стулья. Уроки будешь учить в классной комнате. Словом, знакомься с ребятами, они тебе все расскажут и покажут.

Обращаясь к ребятам, которых набилась полная комната, Анна Павловна сказала:

— Вот, ребята, новый мальчик, Толя. Вы все его видели в столовой. Познакомьтесь с ним ближе и покажите ему все.

К Тольке по одному начали подходить мальчики, девочки и, подав руку, называли свои имена. Соня, Таня, Клава, Миша, еще Миша, Валя-девочка и Валя-мальчик... Где тут их всех запомнишь.

Потом до самого позднего вечера он ходил из комнаты в комнату. Чего только ему не показывали, чего не рассказывали. От всего виденного и слышанного у него в голове какая-то неразбериха.

После звонка Толька повесил на спинку стула аккуратно сложенные куртку, рубашку и штаны, как это делали остальные, и забрался в мягкую, прохладную постель.

Ух, хорошо! Никогда еще не спал он в такой мягкой постели. Виденное за день теснилось в его голове. Прошло много времени, прежде чем он задремал.

Но вдруг будто кто толкнул его. Он резко приподнялся и осмотрелся вокруг. Нет, все тихо, замолк шумный дом, спит... «А когда же будут лупить-то?» — вспомнил Толька и подумал, что, наверное, с завтрашнего дня. «Сначала они ласково, а потом уж отлупцуют». Но тут же решил, что если дерут не особенно сильно, то стерпеть ради

такого житья можно. «Ничего, не сахарный, не рассыплюсь...»

...Перед его глазами снова проплывали радостные лица ребят, задумчиво-спокойное лицо Анны Павловны с голубыми глазами и, наконец, доброе-доброе, изрезанное морщинами лицо няни Ули. Он тихонько улыбнулся и несколько раз с удовольствием повторил мягкие, музыкальные слова:

— Няня Уля, няня Уля...

Уже сквозь сон Толька услышал, как тихонько отворилась дверь. Осторожно ступая, кто-то подошел к кровати, погладил его стриженую голову. От руки пахло хозяйственным мылом и еще чем-то непонятным, до боли близким. Он прижался щекой к этой теплой шершавой руке. В памяти возник образ матери, которую он чуть-чуть помнил. Вот так же тихо склонялась она когда-то к его изголовью.

И он заснул впервые за несколько лет глубоким, спокойным сном...

ВАСЮТКИНО ОЗЕРО

Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина и, сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное.

Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина — Васюткиного отца — совсем было приуныли. Частые осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться: ушла на глубину.

Холодная изморозь и темные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга теплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малы.

— Нету нам нынче фарту, — ворчал Васюткин дедушка, Афанасий. — Оскудел батюшко Енисей. Раньше жили, как Бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придет время

— ерши да пескари и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках будут читать.

Спорить с дедушкой — дело бесполезное, потому никто с ним не связывался.

Далеко ушли рыбаки в низовье Енисея и, наконец, остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученой экспедицией.

Григорий Афанасьевич, в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике, ходил по берегу и отдавал распоряжения.

Васютка всегда немного робел перед своим большим, неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал.

— Шабаш, ребята! — сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. — Больше кочевать не будем. Так, без толку, можно и до Карского моря идти.

Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил съехавшие в сторону пластины корья на крыше. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и переметами. Лодки же, неводы, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы.

Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили неводы, конопатили лодки, изготавливали якорницы, вязали, смолили.

Раз в сутки они проверяли переметы и спаренные сети — паромы, которые ставили вдали от берега.

Рыба в эти ловушки попадала ценная: осетр, стерлядь, таймень, частенько палим, или, как его в шутку называют в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нем азарта, лихости и того хорошего, трудового веселья, которое так и рвется наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по пескольку центнеров.

Совсем скучное житье началось у Васютки. Поиграть не с кем — нет товарищей, сходить некуда. Утешало одно: скоро начнется учебный год, и мать с отцом отправят его в деревню. Дядя Коляда, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привез. Днем Васютка негнет да и заглянет в них от скуки.

Вечерами в избушке становилосьлюдно и шумно. Ры-

баки ужинали, курили, щелкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах.

Орехами рыбаков снабжал Васиютка. Все ближние кедровые он обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и дальше в глубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, покуривает (он потихоньку таскал у рыбаков махорку), иногда из ружья пальнет.

...Васиютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ушел куда-то. Васиютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря и с радостью отметил, что до первого сентября осталось всего десять дней. Потом засобирился по кедровые шишки.

Мать недовольно сказала:

— К учению падо готовиться, а ты в лесу пропадаешь.

— Чего ты, мамка? Орехи кто-то должен добывать? Должен. Охота ведь рыбакам пощелкать вечером.

— «Охота, охота!» Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе.

Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать.

Когда Васиютка с ружьем на плече и с патронташем на поясе, похожий на коренастого, малеького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напомнила:

— Ты от затесей далеко не отходи — сгинеешь. Хлеба взял ли с собой?

— Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу.

— Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мал еще тасжиные законы переиначивать.

Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок: идешь в лес — бери еду, бери спички.

Васиютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери, а то еще придерется к чему-нибудь.

Весело насвистывая, шел он по тайге; следил за пометками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдет немного, еще топором ткнет, потом еще. За этим человеком пойдут другие люди; собьют каблуками мох с валежин, притопчут траву, ягоды, отпечатают следы в грязи, и получится тропинка.

Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу у дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут.

Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таежника, рано появилась у Васютки. Он еще долго думал бы о дороге и о всяких таежных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой.

«Кра-кра-кра!..» — неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук.

Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во все горло. Ей так же горласто откликались подруги. Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плеча ружье, прицелился и щелкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему уже не раз драли уши за попусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным «припасом» (так называют сибирские охотники порох и дробь) крепко вбит в сибиряков от роду.

— «Кра-кра!» — передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой.

Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружье в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслось ее скрипучее «кра».

— Тьфу, ведьма проклятая! — выругался Васютка и пошел.

Ноги мягко ступали по мху. На нем там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнездышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел ее со всех сторон и покачал головой:

— Эх и пакость же ты!

Бранился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка — птица полезная: она разносит по тайге семена кедра.

Наконец Васютка облюбовал дерево и полез на него. Наметанным глазом он определил: там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз.

Васютка слез с дерева, собрал их в мешок и, не торопясь, закурил. Попыхивая сигаркой, оглядел окружающий лес и облюбовал еще один кедр.

«Обобью и этот, — решил он. — Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу».

Он тщательно заплел сигарку, придавил ее каблучком и пошел. Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую черную птицу. «Глухарь!» — догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему еще не доводилось.

Глухарь перелетел через мшистую поляну, вильнул между деревьями и сел на сухостоину. Попробуй подкрась!

Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз на заливающуюся лаем собаку, а порой и поддразнивает ее. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет.

Васютка же, как назло, не позвал с собой Дружка. Обругав себя шепотом за ошлошность, Васютка пал на четвереньки, затыкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперед. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь!

...Пора! Васютка быстро встал на одно колено и попытался с маху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках. Мушка перестала плясать, кончик ее задел глухаря... Тр-рах! — и черная птица, хлопая крыльями, полетела в глубь леса.

«Рапил!» — встрепенулся Васютка и бросился за подбитым глухарем.

Только теперь он догадался, в чем дело, и начал беспощадно корить себя:

— Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чужь не с Дружка...

Птица уходила небольшими перелетами. Они становились все короче и короче. Глухарь слабел. Вот он уже, не в силах поднять грузное тело, побежал.

«Теперь все — догоню!» — уверенно решил Васютка

и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко.

Быстро скинув с плеча мешок, Васютка поднял ружье и выстрелил. В несколько прыжков очутился около глухаря и упал на него животом.

— Стоп, голубчик, стоп! — радостно бормотал Васютка. — Не уйдешь теперь! Ишь какой пряткий! Я, брат, тоже бегаю — будь здоров!

Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любясь черными с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке: «Килограммов пять будет, а то и полпуда, — прикинул он и сунул птицу в мешок. — Побегу, а то мамка наподдает по загривку».

Думая о своей удаче, Васютка, счастливый, шел по лесу, насвистывая, пел что на ум приходило.

Вдруг он спохватился: где же затеси? Пора уж им быть.

Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полуголый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые березки с редкими желтыми листьями. Да, лес был такой же. И все же от него веяло чем-то чужим...

Васютка круто повернул назад. Шел он быстро, внимательно присматриваясь к каждому дереву, но знакомых зарубок не было.

— Ф-фу ты, черт! Где же затеси? — Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступила испарина. — Все этот глухарина! Понесся, как леший, теперь вот думай, куда идти? — заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать подступающий страх. — Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу. Та-ак... Почти голая сторона у ели — значит, в ту сторону север, а где ветвей больше — юг. Та-ак...

После этого Васютка попытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой — новые. Но этого-то он и не заметил, затеси и затеси.

— Эх, дубина!

Страх начал давить еще сильнее. Мальчик снова заговорил вслух:

— Ладно, не робей. Найдем избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает, мимо никак не пройдешь. Ну вот, все в порядке, а ты, судак, боялся! — хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе: — Шагом арш! Эть, два!..

Но бодрости хватило ненадолго. Затесей все не было

и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на темном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы, но вместо нее обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление, высыпал из мешка шишки и шагал, шагал...

В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял прислушиваясь. Тук-тук-тук, тук-тук, — билось сердце. Потом напряженный до предела слух Васютки уловил какой-то странный звук. Где-то слышалось жужжание. Вот оно замерло и через секунду снова донеслось, как гудение далекого самолета. Васютка нагнулся и увидел у ног своих ислевшую тушку птички. Опытный охотник — паук растянул над мертвой птичкой паутину. Паука уже нет — убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло, а ловушку бросил. Попалась в нее сытая, крупная муха-плевок и бьется, бьется, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенета. И тут его будто стукнуло: да ведь он заблудился!

Открытие это было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришел в себя.

Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда, но представлял это совсем не так. Уж очень просто все получилось. Васютка еще не знал, что страшное в жизни часто начинается очень просто.

Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох в глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько раз он спотыкался, падал, вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал в валежины вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаяние охватило его, и сразу не стало сил. «Будь что будет», — отрешенно подумал он.

В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод: Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда.

«Тайга наша кормилица хлипких не любит!» — вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал припоминать все, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дома. Пригодились спички.

Васютка обломал нижние сухие ветви у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучу и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул — вокруг посветлело. Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров — веселее с ними.

Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пенёк. Вытащив из мешка краюшку хлеба, мальчик вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, оципав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгреб костер в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыл ее мхом, присыпал горячей землей, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров.

Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шел пар и аппетитный запах: глухарь упрел в собственном соку — охотничье блюдо! Но без соли какой же вкус?! Васютка через силу глотал пресное мясо.

— Эх, дурило, дурило! Сколько этой соли в бочках на берегу стоит! Что стоило горсточку в карман сыпануть? — укорял он себя.

Потом вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли, и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалликов, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся:

— Живем!

Поужинав, Васютка сложил остатки еды в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши или кто-нибудь еще не добрался до харчей, и принялся готовить место для ночлега.

Он перенес в сторону костер, убрал все угольки, сбросил веток с хвоей, моху и леги, накрывшись телогрейкой.

Снизу подогревало.

Запятый хлопотами, Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать с новой силой. Заполярная тайга не страшна зверьем. Медведь здесь редкий житель. Волков нет. Змей — тоже. Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы. Но осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они могли бы позариться на Васюткины запасы. И все-

таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвел курок и положил ружье рядом. Спать!

Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадется. Он открыл глаза и замер: да, крадется! Шаг, второй, шорох, вздох... Кто-то медленно и осторожно идет по моху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалеку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится.

Мальчик напряженно вглядывается и пачипает различать вздетые к небу не то руки, не то лапы. Васютка не дышит: «Что это?» В глазах от напряжения рябит, нет больше сил сдерживать дыхание. Он вскакивает, направляет ружье на это темное:

— Кто такой? А ну, подходи, не то садану картечью!

В ответ — ни звука. Васютка еще некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружье и облизывает пересохшие губы. «В самом деле, что там может быть?» — мучается он и еще раз кричит:

— Я говорю, не прячься, а то хуже будет!

Тишина. Васютка рукавом утирает со лба пот и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета.

— Ох, окаянный! — облегченно вздыхает он, увидев перед собой огромный корень-выворотень. — Ну и трус же я! Чуть ума не лишился из-за этой чепухи.

Чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несет их к костру.

Коротка августовская ночь в Заполярье. Пока Васютка управился с дровами, густая, как смола, темешь начала редеть, прятаться в глубь леса. Не успела она еще совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз туман. Стало холоднее. Костер от сырости зашипел, защелкал, принялся чихать, словно сердился на волглую пелену, окутавшую все вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли. Ни дуновения, ни шороха.

Все замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук — неизвестно. Может быть, робкий свист пичужки или легкий шум ветра в вершинах бородатых елей и корявых лиственниц, может быть, застучит по дереву дятел или протрубит дикий олень. Что-то должно родиться из этой тишины, кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка зябко поежился, придвинулся ближе к костру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки.

Солнце было уже высоко. Туман рососою пал на деревья, на землю, мелкая пыль искрилась всюду.

«Где это я?» — изумленно подумал Васиютка и, окончательно проснувшись, услышал ожившую тайгу.

По всему лесу озадаченно кричали кедровки на манер базарных торговки. Где-то по-детски заплакала желна. Над головой Васиютки, хлопотливо попискивая, потрошили синички старое дерево. Васиютка встал, потянулся и вспугнул кормившуюся белку. Она, исположенно цокая, пропеслась вверх по стволу ели, села на сучок и, не переставая цокать, устала на Васиютку.

— Ну, чего смотришь? Не узнала? — с улыбкой обратился к ней Васиютка.

Белка пошевелила пушистым хвостиком.

— А я вот заблудился. Понесся сдуру за глухарем и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут, мамка ревет... Не понимаешь ты ничего, толкуй с тобой! А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная! — Он помолчал и махнул рукой: — Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!

Васиютка вскинул ружье и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив ее взглядом, Васиютка выстрелил еще раз и долго ждал ответа. Тайга не откликнулась. По-прежнему надоедливо, вразнобой горланнели кедровки, неподалеку гудел дятел да пощелкивали капли росы, осыпаясь с деревьев.

Патронов осталось десять штук. Стрелять Васиютка больше не решил. Он снял телогрейку, бросил на нее кепку и, поплевав на руки, полез на дерево.

Тайга... Тайга... Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным, темным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, все ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дальше смотрел Васиютка, тем они делались гуще, и наконец голубые проемы исчезли совсем. Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них.

Долго Васиютка отыскивал глазами желтую полоску лиственника среди неподвижного зеленого моря (лиственный лес обычно тянется по берегам реки), но кругом темнел сплошной хвойник. Видно, Енисей и тот затерялся в глу-

хой, утримой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием:

— Э-э-й, мамка! Папка! Дедушка! Заблудился я!..

Голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо — кедровой шишкой в мох.

Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. Потом встряхнулся, отрезал мяса и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он набрал кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Руки делали свое дело, а в голове рещался вопрос, единственный вопрос: «Куда идти?» Вот уж и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо лямки приделан ремень, а вопрос все еще не решен. Наконец Васютка забросил мешок за плечо, постоял с минуту, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошел строго на север. Рассудил он просто: в южную сторону тайга тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеряешься, а если идти на север, то километров через сотню лес кончится, начнется тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру — это еще не спасение. Поселения там очень редки, и едва ли скоро наткнешься на людей. Но ему хотя бы выбраться из леса, который загораживает свет и давит своей утримостью.

Погода держалась все еще хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбухнет осень. По всем признакам ждать этого осталось недолго.

Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще, и уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался: трава растет обычно вблизи больших водоемов. «Неужто впереди Енисей?» — с наплывающей радостью думал Васютка. Заметив меж хвойных деревьев березки, осинки, а дальше — мелкий кустарник, он не сдержался, побежал и скоро ворвался в густые заросли черемушника, ползучего тальника, смородинника. Лицо и руки жалила высокая крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперед. Меж кустов мелькнул просвет.

Впереди берег... Вода! Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото! Болота чаще всего бывают у берегов озер! Губы Васютки задрожали: «Нет,

неправда! Бывают болота возле Енисея тоже». Несколько прыжков через чащу, крапиву, кусты — и вот он на берегу.

Нет, это не Енисей. Перед глазами Васиютки небольшое, унылое озеро, подернутое подле берега ряской.

Васиютка лег на живот, отгреб рукой зеленую кашицу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо и вдруг, вцепившись в нее зубами, навзрыд расплакался.

Заночевать решил Васиютка на берегу озера. Он выбрал посуше место, натаскал много дров, развел огонь. С огоньком всегда веселее, а в одиночестве — тем более. Обжарив в костре шишки, Васиютка одну за другой выкатил их из золы палочкой, как печеную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил: пока хватит терпения, не трогать хлеб, а питаться орехами, мясом, чем придется.

Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь со днем, кое-где с грустью тинькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И все-таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. Но здесь еще сохранилось много комаров. Они начали донимать Васиютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озере утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским побрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчета. Васиютка, прихватив ружье, отправился на мысок, вдававшийся в озеро, и сел на траву. Рядом с осокой, на гладкой поверхности воды, то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васиютка взглянул в воду и замер: около травы, плотно, одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васиютку взяло сомнение. «Водоросли, наверно?» Он потрогал траву палкой. Косяки рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками.

Столько рыбы Васиютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы: щуки, там, сороги или окуни. Нет, по широким спинам и белым бокам он узнал

пелядей, чиров, сигов. Это было удивительнее всего. В озере — белая рыба!

Васютка сдвинул свои густые брови, силясь что-то припомнить. Но в этот момент табун уток-связизей отвлек его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выцелил пару и выстрелил. Две нарядные связи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапами. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять пад водой носились табуны перепуганных птиц.

Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко.

— Ладно, завтра достану,— махнул рукой Васютка.

Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскаленную печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, они мигом испекутся, запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну, еще раз поглядел на озеро, на кровавистое небо и с тревогой проговорил:

— Ветер завтра будет. А вдруг еще с дождем?

Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лег на пихговые ветки и начал щелкать орехи.

Заря догорала. В потемневшем небе стлыли редкие, неподвижные облака. Начали прорезаться звезды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова бабушки: «Вызвездило — к холоду!» — и на душе у него сделалось еще тревожнее.

Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи.

Васютка дальше Енисея еще никогда не бывал и видел только один город — Игарку.

А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютке? Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, люди словно в другом мире: смотрят кино, едят хлеб... может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано: «Добро пожаловать!»

Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало, начало донимать раскаяние. Не слушал вот он на уроках и в перемену чуть не на голове ходил, покуривал тай-

ком. В школу съезжаются ребята со всей округи: тут и эвенки, и ненцы, и нганасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает. Особенно грешат этим малыши — первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Федоровна толковать такому ученику насчет вредности курева — он обижается; трубку отберут — ревет. Сам Васютка тоже покурил и им табачок давал.

— Эх, сейчас бы Ольгу Федоровну увидеть! — думал Васютка вслух. — Весь бы табак вытряхнул!..

Устал Васютка за день, но сон не шел. Он подбросил в костер дров, снова лег на спину. Облака исчезли. Далекие и таинственные, перемигивались звезды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила темное небо и тут же растаяла. «Погасла звездочка — значит, жизнь чья-то оборвалась», — вспомнил Васютка слова дедушки Афанасия.

Совсем горько стало Васютке.

«Может быть, увидели ее наши?» — подумал он, натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном.

Проснулся Васютка поздно от холода и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки: это играла и кормилась рыба. Васютка встал, поежился, раскопал уток, раздул угольки. Когда костер разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову: «Откуда в озере столько белой рыбы?» Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озерах будто бы водится белая рыба, но озера эти должны быть или были когда-то проточными. «А что, если!..»

Да, если озеро проточное и из него вытекает река, она в конце концов приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался: Енисей, Енисей! — а увидел шиш болотный. Не-ет, уж лучше не думать.

Покончив с уткой, Васютка еще полежал у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались. Но и сквозь тягучую, унылую дремоту пробивалось: «Откуда все же взялась в озере речная рыба?»

— Тьфу, нечистая сила! — выругался Васютка. — Привязалась как банный лист. «Откуда? Откуда?» Ну, может, птицы икру на лапах принесли, ну, может, и мальков, ну, может... А, к лешакам все! — Васютка вскочил и, сердито треща кустами, натыкаясь в тумане на валежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обнаружил, удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы.

Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера, но он ошибся. Там был лишь перешеек. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, малозаросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом — отголоском озера.

— Вот это да! — ахнул Васютка. — Вот где рыбищи-то, паверно... Уж здесь не пришлось бы зря сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. — И, подбадривая себя, он прибавил: — А что? И выйду! Вот пойду, пойду и...

Тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка, подошел ближе и увидел убитую утку. Он так и обомлел: «Неужто моя? Как же ее принесло сюда?!» Мальчик быстро выломал палку и подгрел птицу к себе. Да, это была утка-связь с окрашенной в вишневый цвет головкой.

— Моя! Моя! — в волнении забормотал Васютка, бросая утку в мешок. — Моя уточка! — Его даже лихорадить начало. — Раз ветра не было, а утку отнесло, значит, есть тягун, озеро проточное!

И радостно и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники, продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалеку. Васютка показал ему кукиш:

— А этого не хочешь? Провалиться мне, если я еще свяжусь с вашим братом!

Поднимался ветер.

Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заполошной стаей закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце, вокруг стало хмуро, неуютно.

Далеко впереди Васютка заметил уходящую в глубь тайги желтую бороздку лиственного леса. Значит, там

речка. От волнения у него пересохло в горле. «Опять какая-нибудь кишка озерная. Мерещится, и все», — засомневался Васютка, однако пошел быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить: что, если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки.

Пробежав с километр по едва приметному берегу, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, Васютка остановился и перевел дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие, обрывистые берега.

— Вот она речка! Теперь уж без обмана! — обрадовался Васютка.

Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро, но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, иначе... он обессилеет и пропадет. Вон, с чего-то уже тошнит...

Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздь красной смородины, совал их в рот вместе со стебельками. Рот сводило от кислоты и щипало язык, расцарапанный ореховой скорлупой.

Пошел дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось; полилось. Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залег под нее. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводил огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от черствой горбушки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось еще сильнее. Васютка выхватил краюшку из мешка, вцепился в нее зубами и, плохо разжевывая, съел всю.

Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютке холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжелые грузила, какие привязывают к рыболовным сетям.

Когда он очнулся, на лес уже спускалась темнота, смешанная с дождем. Было все так же тоскливо, сделалось еще холоднее.

— Ну и зарядил, окаянный! — обругал Васютка дождь.

Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжелым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дро-

ва. Осинник за ночь разделся почти донага. Будто тоненькие пластики свеклы, на земле лежали темно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла. Лесная жизнь при-молкла. Даже кедровки и те не подавали голоса.

Расправив полы ватника, Васютка защитил от ветра кучу вепок и лоскуток бересты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок, дал огоньку разгореться между ладонями и поднес к бересте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась. Потянулася хвостик черного дыма. Сучки, шишия и потрескивая, разгорались. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки. Ноги издрябли и сморщились от сырости. Он погрел их, высушил сапоги и портянки, оторвал от кальсон тесемки и подвязал ими державицу на трех гвоздях подошву правого сапога.

Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комариный писк и замер. Через секунду звук повторился, вначале протяжно, потом несколько раз коротко.

«Гудок! — догадался Васютка. — Пароход гудит! Но почему же он слышится оттуда, с озера? А-а, понятно».

Мальчик знал эти фокусы тайги: гудок всегда откликается на ближнем водоеме. Но гудит-то пароход на Енисее! В этом Васютка был уверен. Скорей, скорей бежать туда! Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход.

В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому за-жарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Осталось две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он мог бы отойти метров на двести — триста от речки. Там, по редколесью, было куда легче пробираться, но он боялся потерять речку из виду.

Мальчик брел, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился, открыв перед Васюткой отлогий берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило — так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперед, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлепать по ней руками, окунать в нее лицо.

— Енисеюшко! Славный, хороший... — шмыгал Васютка носом и размазывал грязным, пропахшим дымом рука-

вом слезы по лицу. От радости Васютка совсем очумел. Принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой.

Так же неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было, и он стал решать, куда идти: вверх или вниз по Енисею? Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не придумал. Обидно, конечно: может быть, дом близко, в нем мать, бабушка, отец, еды — сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь поплывет, а плавают в низовьях Енисея не часто.

Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок. Маленький, будто от папиросы. Дымок стаповится все больше и больше... Вот уже под ним обозначилась темная точка. Идет пароход. Долго еще ждать его? Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма, грязи и ветра брови стали у него еще темнее, а губы потрескались.

— Ну и дошел же ты, дружище! — покачал головой Васютка.

А что, если бы дольше пришлось бродить?

Пароход все приближался и приближался. Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись и, когда, наконец, это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух:

— «Серго Орджоникидзе».

На теплоходе маячили темные фигурки пассажиров. Васютка заметался по берегу.

— Эй-эй, пристаньте! Возьмите меня! Эй-эй!.. Слушайте...

Кто-то из пассажиров заметил его и помахал рукой. Растерянным взглядом проводил Васютка теплоход.

— Эх вы-ы, еще капитанами называетесь! «Серго Орджоникидзе», а человеку помочь не хотите...

Васютка понимал, конечно, что за долгий путь от Красноярска «капитаны» видели множество людей на берегу, около каждого не наостанавливаешься, — и все-таки было обидно. Он начал собирать дрова на ночь.

Эта ночь была особенно длинной и тревожной. Васютке все казалось, что кто-то плывет по Енисею. То он слышал шлепанье весел, то стук моторки, то пароходные гудки.

Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки: буг-буг-буг-буг... Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катера-бота.

— Неужели дождался? — Васютка вскочил, протер глаза и закричал: — Стучит! — И опять прислушался, и начал, приплясывая, напевать: — Бот стучит, стучит, стучит...

Тут же опомнился, схватил свои манатки и побежал по берегу навстречу боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костер все припасенные дрова: догадался, что у костра скорей его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец из предрассветной мглы выплыл высокий, неуклюжий силуэт бота.

Васютка отчаянно закричал:

— На боте! Э-эй, на боте! Остановитесь! Заблудился я. Э-эй! Дяденьки! Кто там живой? Э-эй, штурвальный!

Он вспомнил про ружье, схватил его и начал палить вверх: бах! бах! бах!

— Кто стреляет? — раздался гулкий, придавленный голос, будто человек говорил не разжимая губ. Это в рупор спрашивали с бота.

— Да это я, Васька! Заблудился я! Пристаньте, пожалуйста! Пристаньте скорее!

На боте послышались голоса, и мотор, будто ему сунули в горло паклю, заработал глуше. Раздался звонок, из выхлопной трубы вылетел клуб огня. Мотор затарахтел с прежней силой: бот подрабатывал к берегу.

Но Васютка никак не мог этому поверить и выпалил последний патрон.

— Дяденька, не уезжайте! — закричал он. — Возьмите меня! Возьмите!

От бота отошла шлюпка.

Васютка кинулся в воду, побрел навстречу, глотая слезы и приговаривая:

— За-заблудился я-а, совсем заблудился-а... — Потом, когда втоптали его в шлюпку, заторопился: — Скорее, дяденьки, плывите скорее, а то уйдет еще бот-то! Вон вчера пароход только мелькну-ул...

— Ты, мальй, що, сказывся! — послышался густой бас

с кормы шлюпки, и Васютка узнал по голосу и по смешному украинскому выговору старшину бота «Игарец».

— Дяденька Коляда! Это вы? А это я, Васька! — перестав плакать, заговорил мальчик.

— Який Васька?

— Да шадринский. Григория Шадрина, рыбного бригадира, знаете?

— Тю-у! А як ты сюды попав?

И когда в темном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вяленой осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях, Коляда хлопал себя по коленям и восклицал:

— Ай, скаженный хлопец! Та на що тобі той глухарь сдався? Во налякав ридну маты и батьку...

— Еще и дедушку...

Коляда затрясся от смеха:

— Ой, шоб тобі! Он и дида вспомнил! Ха-ха-ха! Ну и бисова душа! Да знаешь ли ты, де тебя вынесло?

— Не-е-е.

— Шестьдесят километров ниже вашего стану.

— Ну-у?!

— Оце тобі и ну! Лягай давай спать, горе ты мое гиркое.

Васютка уснул на койке старшины, закутанный в одеяло и в одежду, какая имелась в кубрике.

А Коляда глядел на него, разводил руками и бормотал:

— Во, герой глухариный, спит соби, а батько з маткой с глузду зъихалы.

Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал:

— На Песчаному острови и у Карасихи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину.

— Понятно, товарищ старшина, домчим хлопца мигом!

Подплывая к стоянке бригадира Шадрина, штурвальный покрутил ручку sireны. Над рекой понесся пронзительный вой. Но Васютка не слышал сигнала.

На берег спустился дедушка Афанасий и принял чалку с бота.

— Что это ты сегодня один-одинешенек? — спросил вахтенный матрос, сбрасывая трап.

— Не говори, паря,— уныло отозвался дед.— Беда у нас, ой беда! Васютка, внук-то мой, потерялся. Пятый день ищем. Ох-хо-хо, парнишка-то был какой, парнишка-то, шустрый, востроглазый!..

— Почему — был! Рано ты собрался его хоронить! Еще с правнуками поняпчишься! — И, довольный тем, что озадачил старика, матрос с улыбкой добавил: — Нашелся ващ пацан, в кубрике спит себе и в ус не дует.

— Чего это? — встрепенулся дед и выронил кисет, из которого зачерпывал трубкой табак. — Ты... ты, паря, над стариком не смейся. Откудова Васиютка мог на боте взяться?

— Правду говорю. На берегу мы его подобрали. Он там такую полуцдру устроил — все черти в болото спрятались!

— Да не треплись ты! Где Васиютка-то? Давай его скорей! Цел ли он?

— Цел. Старшина пошел его будить.

Дед Афанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменял наверх, к избушке:

— Анна! Анна! Нашелся пескаришка-то! Анна! Где ты там? Скорее беги! Отыскался он...

В цветастом переднике, со сбившимся набок платком показалась Васиюткина мать. Когда она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васиютку, ноги ее подкосились. Она со стоном осела на камни, протягивая руки навстречу сыну.

И вот Васиютка дома! В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стегаными одеялами, оленьей дохой да еще пуховой шалью повязали.

Лежит Васиютка на топчане разомлевший, а мать и деушка хлопчут около, простуду из него выгоняют. Мать патерла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь, корней и заставил пить это зелье.

— Может, еще что-нибудь покушаешь, Васенька? — нежно, как у больного, спрашивала мать.

— Да, мам, некуда уж.

— А если вареньица черничного? Ты ведь его любишь!

— Если черничного, ложки две, пожалуй, войдет.

— Ешь, ешь!

— Эх ты, Васюха, Васюха! — гладил его по голове дедушка. — Как же ты сплеховал? Раз уж такое дело, не падо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука — вперед наука. Да-а, глухаря-то, говоришь, завалил все-таки? Дело! Купим тебе новое ружье на будущий год. Ты еще медведя ухряпаешь! Помяни мое слово!

— Ни боже мой! — возмутилась мать. — Близко к избе

вас с ружьем не подпущу. Гармошку, патефон покупайте, а ружья чтобы и духу не было!

— Пошли бабьи разговоры,— махнул рукой дедушка.— Ну, поблукал маленько парень. Так что теперь, потвоему, и в лес не ходить?

Дед подмигнул Васютке, дескать, не обращай внимания, будет новое ружье — и весь сказ!

Мать хотела еще что-то сказать, но на улице залаял Дружок, и она выбежала из избушки.

Из леса, устало опустив плечи, в мокром дождевике, шел Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой, черной щетиной, было мрачно.

— Напрасно все,— отрешенно махнул он рукой.— Нету, пропал парень...

— Нашелся... дома он...

Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение:

— Ну, а зачем реветь? Нашелся — и хорошо. К чему мокрень-то разводить? Здоров он? — И, не дожидаясь ответа, направился к избушке.

Мать остановила его:

— Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лиха пертерпелся. Порассказывал, так мурашки по коже...

— Ладно, не учи!

Григорий Афанасьевич зашел в избушку, поставил в угол ружье, снял дождевик.

Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом.

Дед Афанасий, дымя трубкой, покашливал.

— Ну, где ты тут, бродяга? — повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка.

— Вот он я! — привскочил с топчана Васютка, заливаясь счастливым смехом.— Укутала меня мамка, как девочку, а я вовсе не простыл. Вот пощупай, пап,— он протянул руку отца к своему лбу.

Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине:

— Затараторил, варнак! У-у-у, лихорадка болотная! Наделал ты нам хлопот, испортил крови! Рассказывай, где тебя носило?

— Он все про озеро какое-то толкует,— заговорил дед Афанасий.— Рыбы, говорит, в нем видимо-невидимо.

— Рыбных озер мы и без него знаем много, да не вдруг на них попадешь.

— А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает.

— Речка, говоришь? — оживился Григорий Афанасьевич. — Интересно! Ну-ка, ну-ка, рассказывай, что ты там за озеро отыскал?

Через два дня Васютка, как заправский провожатый, шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним.

Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая за вершины деревьев; шумел и качался лес; в небе раздавались встревоженные крики птиц, тронувшихся на юг. Васютке теперь любая непогода была нипочем. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке, он держался рядом с отцом, принаравливаясь к его шагу, и наговаривал:

— Они, гуси-то, ка-ак взлетят сразу все, я кэ-эк дам! Два на месте упали, а один еще ковылял, ковылял и свалился в лесу, да я не пошел за ним: побоялся от речки отходить.

На Васюткины сапоги налипли комья грязи. Он устал, вспотел и нет-нет да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца.

— И ведь я их влет саданул, гусей-то...

Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал:

— А что? Влет еще лучше, оказывается, стрелять: сразу вон несколько ухлопал!

— Не хвались! — заметил отец и покачал головой. — И в кого ты такой хвастун растешь? Беда!

— Да я и не хвастаюсь: раз правда, так что мне хвалиться, — сконфуженно пробормотал Васютка и перевел разговор на другое. — А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох, и продрог я тогда!

— Зато сейчас, я вижу, весь сопрел. Ступай к дедушке в лодку и похвались насчет гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай!

Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бечевой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся катиться в лодке и тоже взялся за бечеву и стал помогать рыбакам.

Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал:

— Вот и озеро Васюткино...

С тех пор так и пошло: Васюткино озеро, Васюткино озеро.

Рыбы в нем оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре и еще одна колхозная бригада переключились на озерный лов.

Зимой у этого озера была построена избушка. По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел.

На районной карте появилось еще одно голубое пятнышко, с ноготь величиной, под словами «Васюткино оз.». На краевой карте это пятнышко, всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка.

Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек есть та, которую именуют Васюткиным озером.

ГИРМАНЧА НАХОДИТ ДРУЗЕЙ

Пароход гудел часто и жалобно. Он звал на помощь. Был он маленький, буксирный; волны накрывали его почти до самой трубы, и казалось: вот-вот он захлебнется, перестанет кричать. Однако прошел час, другой, а из трубы парохода все еще валил черный дым, ветер растеребливал его на клочки.

Но вот на пароходе что-то случилось: гудок оборвался. Огромная волна, словно торжествуя, вздыбилась возле судна, ударила в нос, перекатилась по палубе... Только капитанский мостик, часть трубы да мачта виднелись над водой.

— Ой-ей! — вскрикнула мать и заметалась по берегу.

— Пропал пароход... — вздохнул отец Гирманчи и поднялся с чурбака, на котором сидел до этого, глядя на разбушевавшуюся реку. — Бери весла, Чегрина, поплывем, — сказал он.

— Как поплывем? Большие волны, ветер дурной. Пропадем! — испуганно ответила мать.

— Бери весла, Чегрина!

Чегрина сходила к чуму, взяла весла и понесла их к лодке, которая предусмотрительно была вытащена на берег, подальше от воды.

Мать прыгнула в лодку, села за весла. Отец и Гирманча, уцепившись за корму, ждали большую волну. А она шла неторопливо, вздымаясь, накатываясь на берег. Все ближе и ближе грозный рокот, ярче и кипучей белый, взъерошенный гребень. Летят брызги, пена.

Вот волна хлынула на берег, лизнула нос лодки, легко подняла ее, и тогда отец крикнул, занося ногу за борт:

— Греби!

Чегрина ударила веслами. Лодка рванулась вперед, а Гирманча побрел следом за ней по воде.

— Куда ты, вернись! — закричала мать.

Но Гирманча не отставал, пытаясь ухватиться за борт и перевалиться в лодку.

— Вернись, Гирманча! — сказал отец и кивнул головой в сторону буксира: — Людей на пароходе много, места в лодке мало. Вернись!

Руки Гирманчи отцепились от борта. Подкатившаяся волна сбила его с ног и поволокла по песку. Когда Гирманча поднялся и посмотрел на реку, лодка была уже далеко от берега, за мутно-желтоватой полосой поднятого со дна песка и ила. Она быстро приближалась к судну.

Оттого, что пароход уже не кричал и не дымил, Гирманче казалось, что там нет никого живого. Вдруг у носа буксира взметнулся сноп воды, и до слуха Гирманчи донесся рокот: это отдали якоря, чтобы судно не выбросило на берег. Теперь пароход стало болтать еще сильнее, и волны то и дело накрывали его. А лодка все вскидывалась и вскидывалась на волнах. Она была уже совсем близко от парохода, как вдруг что-то случилось.

Отец неожиданно встал с места и протянул руку. Мать быстро подала ему весло. Гирманча догадался: у отца переломилось кормовое весло. Мальчик затаил дыхание: он-то отлично знал, какая грозит беда. Всего несколько секунд потерял отец, чтобы взять весло, и уже не может направить лодку навстречу волнам.

И вдруг все исчезло, словно провалилось в кипящую воду. Через минуту лодка всплыла на поверхность, но уже кверху килем. На палубе буксира заметались люди. Оттуда полетели в воду спасательные круги, какие-то продолговатые предметы. Но ни отца, ни матери не было видно.

Так осиротел Гирманча.

Пароходик все-таки продержался. К вечеру с верховьев реки пришел большой пароход с желтой трубой и угрюмым гудком. С силой расталкивая посом волны, он подошел к маленькому буксиру, коротко пробасил, подцепил полузатопленное суднышко и потащил его, как утенка, укрывая от волн своим высоким бортом.

Когда оба судна исчезли на горизонте, Гирманче стало совсем тоскливо. Правда он все еще надеялся, что мать

и отец вот-вот вынырнул из воды и тогда он, Гирманча, поплывет за ними на запасной лодке.

Солнце пришло туда, где было утром, и несколько минут, словно в нерешительности, висело над темными зубцами леса. Видимо, решив, что здесь, в суровом Заполярье, люди не осудят его за излишнее усердие, солнце опять покатилося от того берега к этому.

Начался новый день. Волнение на реке стихало, птицы плескались в воде, кричали в кустах, кружили в воздухе. Старый пес Турча раскапывал лапами мышиную нору за чумом. На далеком горизонте показались паруса рыбаков. Люди, переждав бурю, поплыли проверять ловушки.

Все живое было занято своим делом, и только Гирманча не знал, что ему делать: реветь или варить еду. А может быть, надо идти к чуму рыбака-соседа за тридцать километров и рассказать о случившемся?

Много, очень много передумал Гирманча, но с берега не уходил. Он боялся хоть на минуту отвести взгляд от реки. Вдруг выплывут мать и отец?! Гирманче даже почудилось однажды, что он слышит голос матери.

Очнувшись от дремоты, он увидел на реке тот самый маленький буксир, который вчера так жалобно гудел, взывая о помощи. Гирманча обрадовался, точно друга увидел.

Поравнявшись с чумом, пароходик громко прокричал, лихо развернулся, так что поднятая им волна чуть не докатилась до Гирманчи, и отдал якорь. От буксира отошла шлюпка с людьми и поплыла к берегу.

«Рыбу есть хотят», — решил Гирманча. Он помнил, как с проходящих пароходов к их чуму приставали на лодках люди, чтобы купить у отца свежей рыбы.

Гирманча знал мало русских слов. И потому, когда человек с большими усами, цветом похожими на лишайник, и в кителе с блестящими пуговицами вылез из шлюпки, подошел к нему и сказал: «Несчастье, брат, да... Грех-то какой случился...», — Гирманча, не поняв, ответил по-эвенски, что рыбы нет. Отец не смотрел сети. Ветер был. Если пароход подождет, Гирманча сам посмотрит сети и даст рыбы пароходным людям.

— Э-э, брат! — удивленно воскликнул усатый. — Да ты, я гляжу, и по-русски не понимаешь, совсем плохо. Что с тобой, друг, делать?

Гирманча знал слово «друг» и, услышав его, обрадовался.

— Друг! Друг! — радостно забормотал он.

Усатый прижал его к себе и, откашлявшись, заговорил:

— Эх ты, сирота! Я друг, они тоже други,— показал он на стоявших рядом матросов.— Ты, друг, не горюй. Что сделаешь — стихия!.. Мы не покинем тебя, так что будь спокоен. Да. Твой тятка с мамкой нас спасать бросились, да сами потопли. Ну, ничего, друг. Поедешь ты с нами в город, в детдом тебя сдадим. Знаешь, что такое город?

Гирманча города никогда не видел, но был однажды с отцом на пассажирском пароходе и смотрел там кинокартину, в которой показывали большие дома и много людей.

— Корот, кино, друг,— сказал он и с удовольствием повторил: — Корот, кино, друг...

— Во-во, кино! Это, брат, в городе каждый день хоть три сеанса подряд смотри. Ты парень смысленный, не пропадешь. Сразу понял, что к чему. Давай, дитенок, собирай свои пожитки, и ту-ту-у-у-у, поедем!

— Ту-ту-у-у-у! — радостно повторил Гирманча и, показав пальцем на кокарду, украшавшую фуражку седоугого добряка, спросил: — Капитан?

— Капитан, капитан,— оживился тот.— Вот ведь глазастый какой, узрел, догадался. Тебя-то как кличут, а? Тебя, тебя,— капитан постучал пальцем по груди мальчика,— как зовут?

— Я Гирманча, друг, ты — капитан, друг, парокот — друг, ту-ту-ту. Корот — друг.

— Ах ты парень, парень! — растроганно заговорил капитан.— Сиротой остался, а горя еще не сознаешь, рад, что в город поедешь. Мал еще. Но ничего, Гирманча,— добавил он,— не дадим тебя в обиду, не дадим!..

Город ошеломил Гирманчу. На рейде у пристаней гудели, свистели и отпыхивались пароходы и пароходики. Низко, так что отчетливо видны были на крыльях звезды, пронеслись с оглушающим ревом гидросамолеты. По улицам города одна за другой гнались автомашины и тоже гудели; мчались долговязые лесовозы; спешили куда-то люди, одетые в разные одежды.

Гирманча крепко держался за руку капитана и все жался к нему, а тот ободрял мальчика:

— Не робей, Гирманча! Это сначала в диковину, а по-

том привыкнешь. К городу легко привыкнуть, вот к чужим людям — это потруднее. Как твои дела по этой части пойдут, не знаю. Да-а... Ребягишки — народ задиристый, могут, конечно, и пообидеть. Главное — не поддаваться и, ежели что, сдачи давать. Это верно. Понял?

Гирманча многое из того, что говорил капитан, не понимал, но кивал головой своему новому другу. Видимо, мальчик думал, что седоусый добряк худого не скажет, и потому во всем соглашался с ним.

Они пришли к большому дореволюционному дому, возле которого прямыми аллеями тянулись малюпкие деревца. В доме слышался визг девчонок. Возле одного окна стоял мальчишка в красной майке и барабанил по стеклу.

Только речник с Гирманчой переступили порог, как навстречу им примчался здоровенный парень на трехколесном велосипеде. Он крикнул: «Привет!» — и повернул обратно. Велосипед скрипел и визжал от насады, а за ним следом голялся малыш и хныкал. Откуда-то доносился смех, тренькала балалайка, хриловато тараторил продырявленный меткими стрелками репродуктор, что висел на стене возле дверей. Капитан постоял, привыкая к этому содому, а Гирманча совсем оробел.

Покачал старый речник головой и, сжав покрепче руку Гирманчи, пошел с ним вперед. На одной двери была приклеена бумажка с какой-то надписью. Капитан постучал в дверь согнутым пальцем, и они вошли.

За столом сидел пожилой мужчина в очках и торопливо водил ручкой по бумаге. Видимо, потому, что глаза его были прикрыты очками, он показался Гирманче строгим и сердитым. Капитан пожал мужчине руку, что-то сказал. Тот снял очки и, держа их в руке, посмотрел на Гирманчу усталыми глазами.

Потом капитан рассказывал, а человек в очках слушал, время от времени поглядывая на Гирманчу. Наконец капитан поднялся, положил руку на плечо маленького эвенка и сказал:

— Ну вот, Гирманча, здесь будет твой дом. Слушайся, не дерись с ребятами-то. Вот так-то, друг. Да... — Капитан, как большому, пожал Гирманче руку, а другой рукой потрепал по щеке. — Ну вот, значит, определил я тебя. Живи, нас не забывай, заходи, когда пароход увидишь. А зимовать будем в затоне, вместе пойдем петли на куропаток ставить.

Гирманча потряхивал головой и улыбался сквозь сле-

зы. Он понимал, что старый капитан сейчас уйдет, а Гирманча останется среди ребят, которые с непонятными криками носились по коридору и время от времени заглядывали в приоткрытую дверь кабинета. Ах, если бы ему, Гирманче, снова попасть в свой чум, где остался старый Турча! Сейчас осень, корма для Турчи много. А чем будет пигаться пес зимой? Жалко собаку, пропадет. Как это слово звучит, которое говорил капитан? «Си-ро-та», — вспомнил Гирманча и потряс седоусого речника за рукав.

— Турча — си-ро-та, сдохнет Турча.

Капитан успокоил его, сказал, что завтра он зайдет проведать Гирманчу, а потом поплывет в низовья реки и обязательно возьмет к себе Турчу, кормить его станет. Гирманча может прибежать на пароход и повидаться с Турчей. Мальчик обрадовался тому, что капитан придет завтра и что Турча не будет сиротой. Он уже без слез проводил капитана и спокойно остался вдвоем с заведующим детдомом.

— Ну, давай знакомиться, — обратился тот к Гирманче. — Меня зовут Ефим Иванович.

— Фим Паныч, — повторил Гирманча, и заведующий с улыбкой подтвердил:

— Приблизительно так. Для начала ладно. А сейчас, Гирманча, пойдем со мной. Будем тебя мыть, кормить, переобмундировывать, знакомить с ребятами.

В коридоре Ефим Иванович велел Гирманче подождать его, а сам пошел в одну из комнат.

К Гирманче стали подходить ребята. Они с любопытством рассматривали его парку, расшитую бисером. Некоторые заговаривали с ним, но Гирманча мало что понимал и настороженно следил за окружающими его детьми, готовый, если потребуется, постоять за себя.

— Ребята, глянь! — заговорил один из мальчишек, у которого волосы были почти как у песка, белые. — Новенький какой черномазый, будто его в трубу протасили! И не говорит ничего — немой, поди. Эй ты, кала-бала! — подразнил белобрысый.

Ребята захохотали. Гирманче это показалось обидным. Он сжал кулаки и посмотрел исподлобья на белобрысого.

— Ох ты, кляча, еще и с кулаками! — удивился мальчишка и взял Гирманчу за грудь так, что от его одежды крупной посыпался бисер. — Может, подражаться хочешь?

Глаза у белобрысого были прищурены, губы вызыва-

юще сжаты. Гирманча сердито отшиб его руку от своей груди и обиженно заговорил на родном языке:

— Зачем трогаешь? Я — гость! Гостя надо чаем поить, рыбой кормить! Почему не уважаешь обычай?

Гирманча говорил быстро, размахивал руками, и ребятам показалось, что он ругается. Они прижали его к стене, и белобрысый снова — правда, уже осторожно, начал наседать на него.

Лицо задиры не предвещало ничего доброго. Гирманча втянул голову в плечи. Когда белобрысый снова взял его за грудь, он тоже схватился за мальчишкину куртку.

— Дай ему, Кочан, дай! — подзадоривали своего дружка детдомовцы. Кочаном они, видимо, его прозвали за белую вихрастую голову.

— Через себя фугани, чтобы он ногами сбрыкал! — посоветовал кто-то из мальчишек.

Кочан попятился, сделал вид, будто падает, и, когда Гирманча навалился на него, быстро и ловко упал на спину. В воздухе мелькнули расшитые бисером бакари, и Гирманча, перелетев через Кочана, плюхнулся на пол.

Белобрысый навалился на него, совсем не давая пошевелиться.

Если бы Гирманча понимал, что кричали перед этим ребята, он бы поостерегся и не дал так ловко себя обмануть.

Лицо его побледнело от обиды и ярости. Он неожиданно издал гортанный крик, рванулся и через секунду был на ногах. Прямо перед собой он увидел удивленное и растерянное лицо Кочана и, уже ничего не соображая, вцепился в это лицо, как когтистый зверь, повалил противника на пол.

Эвенки — народ смирный, гостеприимный, вывести из себя их трудно. Ловкие на охоте, драться с людьми они не умеют. Но страшны они в своем редком гневе. Кочан не сразу, но понял это, а поняв, испуганно забормотал:

— Ну, в расчете, в расчете! — и вдруг завопил: — Лежачего не бьют!

— Что здесь происходит? — послышался голос заведующего детдомом. Он растащил дерущихся и гневно обернулся к «зрителям»: — Похохатываете! Весело вам!

Ребята сконфуженно опустили глаза, замялись.

Оглядев с ног до головы поцарапанного, перетрусившего Кочана, Ефим Иванович с укоризной и досадой сказал:

— Всегда ты с новенькими в драку лезешь, да еще с теми, кто слабее тебя. Это ведь подло!

— Он сам полез,— пробубнил Кочан, глядя исподлобья.

— Врешь! Ты первый заедался,— слышалось отовсюду.

— Помолчите! — прикрикнул на ребят Ефим Иванович.— Глазели, науськивали, а теперь виноватого ищите? Все виноваты, все безобразники! Умойся и отправляйся в классную комнату, под замок! — приказал Кочану заведующий.— А вы тоже шагом марш по своим местам! Собирались сегодня на экскурсию к морпричалам — теперь будете сидеть дома.

Ребята с унылыми лицами разошлись по комнатам.

— Ну, а ты, Аника-воин, тоже хорош! — заговорил Ефим Иванович, глядя на Гирманчу, взъерошенного, расстрепанного и все еще трясущегося от злости.— Только что появился в детдоме — и сразу в драку! Кто бы мог подумать — сын мирного рыбака, малый, щуплый...

Заведующий, не переставая ворчать, отвел Гирманчу в комнату, где женщина в белом халате принялась стричь его, пощелкивая блестящей машинкой. Черные жесткие волосы Гирманчи клочьями повалились на пол. После стрижки велели снять одежду. Он заупрямился и, когда женщина попыталась сделать это сама, заревел. Но его все-таки раздели, посадили в посудину с водой. Название посуды очень походило на отчество заведующего детдомом: ванна.

Был уже вечер, когда Гирманча пришел в ту комнату, где недавно их вместе с капитаном принимал Ефим Иванович. Стриженная голова Гирманчи казалась синеватой, а на непривычно чистом лице стали особенно заметны яркие, черные глаза, немного осовевшие от еды и тепла. В кабинете директора на диване было раскинуто одеяло, из-под которого белели края простыни.

Ефим Иванович поднял на лоб очки, посмотрел на Гирманчу и мягко улыбнулся:

— Как новый гривенник ты сейчас, Аника-воин.

Гирманча уставился глазами в рот Ефима Ивановича, стараясь вникнуть в смысл его слов. Понял он лишь одно, что тот уже не сердится на него. Гирманча тоже улыбнулся благодарно, застенчиво. Заведующий, пользуясь больше знаками, чем словами, велел Гирманче раздеваться и ложиться спать.

Гирманча с сожалением снял новую одежду, лег на

диван и тут же отпрянул в испуге: под ним что-то зазвенело, заскрипело, задзинькало. Пришлось Ефиму Ивановичу поднять диванную подушку и показать маленькому эвенку пружины, перепутанные веревками. Гирманча рассмеялся, покачал головой. «Чудные люди: нет чтобы сесть прямо на землю или на чурбак, — тратят веревки и проводочки, из которых можно сделать много хороших поводков и крючков к переметам».

На следующий день в детдом ненадолго заглянул старый речник. Суденышко, которым он командовал, уже было пазначено в рейс — вести баржу с продуктами в один из северных станков (так северяне называют свои деревушки). Капитан торопился. Он, как мог, объяснил это Гирманче и обещал скоро вернуться. Но Гирманча уцепился за рукав своего доброго друга и не отпускал его. В глазах маленького эвенка стояли слезы.

— Обидели тебя сорванцы-то? — спросил капитан у Гирманчи.

Поняв по лицу речника, что тот ему сочувствует, мальчик жалостно затряс головой.

— Его не вдруг обидишь! — послышался от дверей кабинета голос Ефима Ивановича.

Он крепко пожал руку капитану и рассказал о вчерашнем сражении новичка с Кочаном. Старый речник пришел в неистовый восторг. Он хохотал от души, хлопал Гирманчу по спине и громко одобрял его действия:

— Молодец, Гирманча! Так и дальше держи!

Гирманча сначала с недоумением поглядывал на капитана и на заведующего детдомом, а потом тоже развеселился и, стучая своего друга по колену, стал выкрикивать что-то.

Нахохотавшись, старый речник вдруг задумался, потом поднялся и обратился к заведующему:

— Разреши, Ефим Иванович, поговорить с твоей са-лажной.

Получив одобрительный ответ, он взял Гирманчу за руку и повел в комнату, где предстояло жить маленькому эвенку.

Их встретили с нескрываемым любопытством. Многие ребяташки замороженными глазами глядели на форменную фуражку капитана с золотой «капустой» и якорем в середине.

— Вот что, орлы: обновили Гирманчу — и довольно. Он тоже доказал, что сумеет жить в коллективе, и потому

должен спать здесь, а не в кабинете. Пока кровати ему не поставили, поспит с кем-нибудь.— Капитан помолчал и с чувством добавил: — Должны, я думаю, понимать: ему труднее обживаться, чем вам.

Ребята молча переглянулись, и один из них спросил:

— А как новенького зовут?

— Ну и комики! — удивился капитан.— Подраться успели, а вот имя у человека спросить не догадались. Зовут его Гирманча.

— А если мы его Геркой звать будем, можно?

— Это уж вы у него спрашивайте, — заявил капитан и, надев фуражку, стал прощаться со всеми за руку, как с настоящими мужчинами. Последнему он пожал руку Гирманче и, подмигнув ему, сказал так, чтобы все слышали: — Будь здоров, парень, не обижай здешний народ!

Проводив капитана, ребяташки некоторое время молчали, внимательно разглядывая маленького эвенка. Может быть, им вспомнилось, как они сами пришли сюда, тоже грязные, голодные, и ужасно боялись детдомовских корешков, а может, дружба настоящего капитана с Гирманчей или то, что Гирманча не струсил перед задирой Кочаном, вызывали в них чувство уважения к нему. Наконец один из детдомовцев, высокий голубоглазый паренек со значком на куртке, протолкался вперед и с видом знатока всевозможных языков сказал единственное эвенское слово, которое ему было известно.

— Бойе, не бойся. Мы тоже — бойе, — сказал и с улыбкой протянул руку.

Гирманча обрадовался, услышав родное слово, означавшее по-русски — друг, но руку из предосторожности все же не подал.

Тогда паренек схватил его за руку, подтащил к своей кровати и сказал, приложив ладонь к щеке:

— Ты — бойе, я — бойе, хр-р-р. Спать. Вместе спать будем. Рядом. Вот на этой кровати. Понятно?

— Хр-р-р, понятно, — робко повторил Гирманча.

Все ребята заулыбались.

— Ишь какой, сразу понял, о чем разговор, — примирительно ввернул словцо Кочан.

— Если к человеку по-доброму, так он хоть что поймет, — послышались голоса. — Это ты все с наскаку делаешь.

А паренек, предложивший Гирманче вместе спать, все больше и больше нравился маленькому эвенку.

— Гера, это все наши ребята, школьники, — стал показывать он. — Ты тоже будешь ходить в школу. Школа. Понимаешь?

В кармане у Гирманчи лежали искусно вырезанные из дерева собака и трубка. Их вырезал отец в длинные зимние ночи под завывание северной пурги и под собственную песню, длинную, как зима. Гирманче очень захотелось отдать эти самые дорогие для него вещи голубоглазому пареньку. Он вдруг решительно выхватил из кармана трубку и собаку.

— Тебе это, — пробормотал он, сунув подарки новому знакомому. — Турча и трубка, отец делал, долго делал!

Ребята загалдели, окружили паренька с подарками.

— Здорово! — сказал один из мальчишек. — Хвост у собаки, как у заправдашней, кренделем!

Детдомовцы начали расспрашивать у Гирманчи, кто и чем вырезал эти штуковины. И маленький эвенк, пользуясь звуками, жестами, известными ему немногими русскими словами, начал трудный рассказ о своей небольшой жизни. Из этого рассказа детдомовцы узнали, что у Гирманчи были родители рыбаки, хорошие рыбаки, что жил с ними Гирманча долго-долго. Отец научил Гирманчу вырезать из дерева рыбку и плавать в лодке-веточке, а мать сшила ему бакари, которые Фим Паныч убрал в кладовку...

Не так уж много узнали ребята из рассказа Гирманчи, но все-таки поняли, что парень он ничего — в друзья годится.

ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

Валерий сидит на берегу и уныло смотрит на удочки, а Нинка пытается вырезать из ивового прута свистульку. Свистулька не получается, потому что орудовать складным ножиком — не девчоночье дело. Возле Нинкиных ног валяется уже куча обрезков, но она все равно продолжает стругать.

— Лесу-то сколько извела! — хмыкает Валерий. — Давай-ка я подсоблю.

— Лови уж своих тайменей! — отмахивается Нинка. — Я как-нибудь сама справлюсь. Обещал ухой угостить, а тут рыбой и не пахнет.

Снисходительный тон и насмешливое лицо Нинки бесят Валерия. Если бы на ее месте был парень, он бы уже отведал Валеркиных кулаков. А с этой свяжись, так не рад будешь: орать начнет, царапаться.

И бывает же так! Ну хоть бы какая-нибудь полудохлая рыбешка клюнула! Вон в прошлое воскресенье только пришел, раз — и, пожалуйста, окуня на килограмм вытянул. Ну, килограмма-то, может, и не будет, но все-таки порядочный был окунишка. А сегодня не везет, хоть тресни. Видно, не зря говорят старые рыбаки — они все приметы знают, — что женщину с собой брать — плохое дело. Правда, Нинка не женщина, а девчонка, но вот поди ж ты! Видать, есть в ней что-то такое. Неспроста же рыба нюхать крючок не хочет, не то чтобы клевать.

Но вдруг лицо мальчика застывает в напряжении, губы вытягиваются, рука шарит по траве, нащупывает конец

удилища. Поплавок то ныряет, то ложится набок, то, мелко подпрыгивая, плывет в сторону. «Пора! Пора!»

Валерий с силой дергает удилище, но не чувствует знакомых толчков, похожих на биение пульса, какие бывают, когда на крючке мечется рыба. «Сорвалась!» — холодея, думает он. Нет, над водой мелькнуло что-то похожее на продолговатый ивовый листок. Малявка!

— Выворотил? — слышит он позади себя ехидный голос. — Может, тебе помочь?

— Замри лучше! — кричит Валерка и с силой кидает в воду снятую с крючка малявку.

Рыбка некоторое время плавает на боку, кругами, потом, вяло пошевеливая хвостиком, исчезает в глубине.

— Ушел таймень... — со вздохом говорит Нинка.

— И ушел! А тебе-то что?

— Да мне-то ничего. Ушел и ушел. Пусть себе плавают. А вот ты — вральман!

— Кто вральман? Я?!

— Конечно, ты! Зимой хвастался про рыбалку. На словах чуть ли не китов вытаскивал. «Удилище в дугу! Леска трещит!» Эх ты! Еще и меня сговорил. Пойдем, мол, сама увидишь. Ну и увидела. Вон какое чудовище вытащила. Смех! Все вы, рыбаки, — вральманы!

Валерий сражен.

— Клева сегодня нет, — уныло оправдывается он. — Может, к вечеру начнется...

— А ну тебя! — машет рукой Нинка. — Пойду лучше цветы собирать, а ты сиди, колдуй, если не надоело, авось лягушка клюнет!

Напевая, Нинка бежит от берега по нескошенному лугу. О ее спину бьются две светлые прядки, похожие на древесную стружку. На бегу трепещет подол красного в горошек платья.

Проводив ее взглядом, Валерий поднимает с земли складной нож, кладет в карман. Потом, повертев в руках неумело обструганную палочку, швыряет в воду, целясь в поплавок.

— Ну и уходи! — сердито бурчит он. — Подумаешь, горе какое! Еще вральманом обзывает... А я виноват, что ли, раз рыба не клюет!

Валерий расстроен. Ему хочется махнуть рукой на эту самую рыбалку и побежать за Нинкой, но он робеет: «Опять просмеивать начнеш. Ей только на язык попадись. Ну ее!»

Он ложится на спину и смотрит в небо. Рыбалка ему опротивела. Глаза сами собой смыкаются. Сквозь дремоту он чувствует, что по лицу кто-то ползает. Валерий морщится, шевелит губами, но назойливая козявка не отстает. Он с досадой открывает глаза: рядом сидит Нинка и с видом заговорщика водит стебельком ромашки по его лицу.

— Баламутка ты! — сердито отмахнувшись, говорит Валерий.

Нинка прыгает на одной ноге, хохочет от восторга, но вдруг неожиданно умолкает.

— Валерка! — горячо шепчет она. — Валерка! Клоует!

— Отчепись!

— Валер! Правда, клоует! Не вру!

— Ну и вытаскивай, если не врешь.

— Вот еще! — подергивает Нинка плечом. И вдруг резко подается вперед. — Во! И у другой удочки клюнуло.

Валерий не отзывается.

Тогда Нинка, откинув в сторону букет, подскакивает к удочке. Она вытаскивает ее не так, как это делают настоящие рыбаки, а пятится вместе с удилищем назад. Возле самого берега бьется на крючке сорога.

— Поймала! Поймала! — вопит Нинка и волочит удочку по траве, подальше от воды. — Валерка, гляди, рыбку поймала! Беленькая, с красными плавниками! Ох и красивенькая! Валерочка, сними ее, пожалуйста, с крючка, она прыгает.

— Поймала, сама и управляйся, — бубнит Валерка, поднимаясь с земли и берясь за другую удочку.

Через секунду он снимает с крючка небольшого подъязка. Потом наживляет червяка и закидывает удочку снова.

Приближается вечер.

Рыба пачинает клевать. Валерий не спускает глаз с поплавка.

— Валер! — слышится позади заискивающий голос Нинки. — Надень на крючок червячка, а?

— Хочешь удить, паживляй сама, — хмурится Валерий.

— Чтоб я до такой гадости дотронулась?! Ни за что!

— Тогда не приставай!

Нинка умолкает. Запустив руку в ведро, она вытаскивает свою сорожку и любит ее. На носу и в волосах Нинки поблескивают рыбки чешуйки, похожие на черемуховые лепестки.

Валерий подряд выкидывает на берег двух ельцов, и

Нинка не выдерживает. С брезгливой гримасой берет она в руки червяка и пытается нацепить его на крючок. Червяк извивается и, вывернувшись из Нинкиных рук, поспешно уползает в землю. Нинка берет другого и цепляет его за середину.

Валерий исподтишка наблюдает за ней.

— Девчонка ты и есть девчонка! Дай-ка сюда! — снисходительно говорит он. — Тоже мне, рыбак сыскался.

— Не задавайся, пожалуйста. Если хочешь знать, у меня и так клюет.

— Как же, клюнет! Жди! Что, думаешь, у рыбы ума нет? У ней ума будь здоров сколько, — поучающим тоном говорит Валерий. — Вот, гляди: надо крепко держать червяка и продевать ему крючок в утолщенное место — это у него вроде головы... Ну, ловись рыбка большая и маленькая! — Валерка с чувством плюет на скорчившегося червяка и закидывает удочку. — Рыбачь давай. Самый клев начинается.

Минут через пять Нинка выбрасывает на траву вторую сорожку. Ей удивительно везет на сорогу. Нинку охватывает рыбацкий азарт. Чтобы подразнить свою напарницу, Валерий начинает мурлыкать песню.

— Замолчи, несчастный! — шипит Нинка.

Валерий ухмыляется и замолкает.

«Нет, что ни говори, может, там какие приметы и есть, — никто не спорит, а с Нинкой стоило идти на рыбалку. Есть в ней что-то такое и этакое», — одобрительно думает Валерий.

Не прошло и часу с тех пор, как начался клев, а они уже наловили полное ведро. И по количеству пойманной рыбы Нинка всего на какую-то малость отстала от Валерия.

Он продолжал настроженно следить за поплавком. А Нинка в напряженной позе стояла рядом. Платье ее было перепачкано глиной, волосы растрепались.

Погода стала меняться.

Из-за гор выплыли густые облака, белые и пузыристые, словно мыльная пена. Вначале плыли светлые облака, вслед за ними поползли серые, потом — совсем темные. Солнце, клонившееся к закату, нырнуло в тучи раз, другой, мелькнуло в голубом разрыве и скрылось. Стало тихо и сумрачно. Налетел откуда-то ветер, зашумел кустами, понес длинные паутины, сухие листья, бросил их на

воду и погнал по реке, как стайку утят. Поплавки закачались.

— Нинка, сматывай удочки, дождь будет!

— Посидим еще, Валер. Маленько посидим, а?

— Как хочешь. Вообще-то, перед дождем самый клев бывает.

— Тогда посидим. Дождь-то теплый. Лето ведь.

— Ладно. В случае чего в ледорез спрячемся. Вот, пониже, ледорезы на реке стоят. Там сверху железо, не промокнем.

Рыба и правда стала лучше клевать. Но теперь ветер дул беспрерывно, и трудно было уследить за поплавками. Валерий еще кое-как различал клев и вовремя подсекал рыбу, а Нинка дергала леску наудачу и злилась: ловиться у нее стало хуже.

Ветер налетел с новой силой, сморщил гладь реки, приземлил кружившихся ворон. Потом на несколько минут наступила тишина. Казалось, все живое кругом притаилось, ожидая чего-то. Но вот в кустах зашуршало, на воде появились мелкие кружки от первых капель. И вдруг разом, сплошной полосой хлестнул дождь. Река мигом покрылась лопающимися пузырьками.

— Бежим, Нинка! — с каким-то радостным возбуждением закричал Валерий и вскочил с места.

— Бежи-им! — послышался приглушенный дождем голос, и рядом с Валерием очутилась девочка, мало чем похожая на прежнюю Нинку. Платье плотно прильнуло к ее телу, отчего Нинка казалась очень тоненькой. Мокрые волосы прилипли ко лбу, шее, вискам, глаза сияли озорством.

Валерий вырвал у Нинки удочку, схватил ее за руку, и они помчались по мокрой траве.

— Стой! — скомандовал наконец Валерий. — Побре-ли!

Они спустились в воду. Нинка охнула и тотчас же, перекрывая шум дождя, скороговоркой запела:

Дождик, дождик, пуще,
Дам тебе гущи!
Дождик, дождик, припусти,
А мы спрячемся в кусты...

Валерий помог Нинке забраться в ледорез, передал ей удочки и ведро с рыбой.

— Пригнись, а то шишку посадишь, — предостерег он,

влезая в убежище и усаживаясь рядом с Нинкой на толстое бревно крестовины.

Сидели они долго. Дождь не переставал. Он стучал по железной обшивке ледореза, и казалось, что там, наверху, сотни голодных кур торопливо клюют овес.

Нинка поежилась, зябко передернула плечами. Валерий потянул ее за мокрый рукав платья:

— Подвинься ближе, а то совсем замерзнешь.

— Вот еще! Сам не замерзни!

— Двигайся, говорю, нечего нос задирать! — грубовато добавил Валерий, и Нинка, будто нехотя, подседа ближе.

Смеркалось. В убежище было таинственно и тихо. Ребята сидели молча. Глаза Нинки затуманились, начали закрываться, а голова склонилась на плечо Валерия. Она задремала. Валерий сидел, неловко подвернув ноги и сдерживая подступивший кашель. Рука, которой он опирался о крестовину, занемела, но он терпел, не двигался. Лицо его горело, вид был растерянный...

А дождь все шумел и шумел.

ОГОНЬКИ

Я с папой и мамой пять лет назад уехал в город, потому что настала мне пора учиться. А дедушка не захотел уезжать. Конечно, какой ему интерес в городе, если он всю жизнь проработал бакенщиком у Караульного перекага, знает там каждый камешек и реку любит? Вот я — это другой разговор. Мне в городе интересно, да и то больше зимой, когда в школе учусь. А летом меня всегда тянет к дедушке, в белую избушку на берегу реки. Там я родился и жил до семи лет, туда и теперь уезжаю в летние каникулы.

Нынешним летом я решил взять с собою и Андрюшку. Он мне сродни приходится. Не знаю уж кем, шурином или зятем — неважно я разбираюсь в этой самой родне. Словом, его мать — племянница папиной матери, моей бабушки, которая давно умерла, и я ее не помню. Андрюшка паренек тихий и хилый, оттого что мало ест. Аппетита, говорят, у него нету.

Ну, папа и сказал мне:

— Возьми-ка ты, Серега, с собой Андрюшку. На природе у него сразу аппетит появится. Пусть только дедушка ему почаще весла в руки дает.

И я взял Андрюшку с собой. Мне еще лучше, веселей. Единственное, что умеет делать Андрюшка, — это песни петь. Здорово поет. Затянет что-нибудь, голос у него дрожит, точь-в-точь как у артиста. По вечерам мы с дедушкой любили слушать его песни. Голос Андрюшки разносится далеко-далеко над рекой, а на той стороне, в горах,

немного тише откликается другой Андриюшка. Наш уже перестанет петь, а тот будто убегает и все еще поет. Дедушка ласково гладит Андриюшку по голове и говорит:

— Славно, Ондрюха, славно. Спой-ка еще про бурлаков-то.

Хорошо нам жилось. У Андриюшки и аппетит стал появляться. Дома капризничал, даже пряники есть не хотел, а тут картошку в мундире и уху так наворачивал, что, как говорил дедушка, «только за ушами пицало».

И вдруг дедушка заболел. Мы даже сначала не поверили. Он такой крепкий, совсем непохожий на других дедушек: высокий, сильный, одной рукой на берег лодку вытаскивал. Он и сам не верил, что заболел, только сказал:

— Что-то знобит меня, ребята...

Потом заглянул в старый ящик, весь перепоясанный для прочности жестяными лентами, достал бутылочку, поболтал ее и налил чего-то мутного в стакан. Осушив его до дна, громко крикнул, понюхал корку хлеба, убрал бутылочку в ящик и залез на печь.

— Вот пропотею — и все ладно будет.

Пропотеть-то пропотел, да толку мало. Попробовал дедушка угром спуститься с печки, и чуть не упал.

— Гляди-ка ты, на самом деле вроде захворал, — пробормотал он.

Мы струсили, особенно Андриюшка.

— Ой, Серега, вдруг дедушка умрет, что мы тогда одни...

— Типун тебе на язык! — зашипел я на Андриюшку, и он примолк.

К вечеру дедушка попробовал подняться еще раз. Мы помогали ему. Но у него сразу закружилась голова, и он сел на пол возле печки.

— Дедушка, деда, что с тобой? — обнял я его за костлявые плечи.

— Захворал я, брат, Серега... разохся... стало быть, года...

Он облизал пересохшие губы и вяло махнул рукой. Тогда я зачерпнул из кадушки воды и подал ему. Дедушка отпил из ковша, отдышался и проговорил:

— Беда, ребята, ночь скоро... бакена...

Меня даже в жар бросило. Про бакены-то я забыл! С кем же их зажигать? С Андриюшкой? Грести он едва умеет. Здесь только научился. Тоже — растет человек! Мать

его близко к реке не подпускала до нынешнего года. Но дедушку я все-таки успокоил:

— Мы зажжем, дедушка, не волнуйся.

— Как-нибудь сплавайте, осторожней... лампы заправьте.

— Не беспокойся, деда, все будет в порядке.

Позвал я Андриюшку на улицу и приказываю:

— Давай бери весла, иди в лодку и тренируйся грести, пока я лампы заправляю. Гляди, как следует тренируйся!

Обычно дедушка выплывал к бакенам в то время, когда солнце скрывалось за горы и от Шумихинского утеса ложилась тень почти через всю гору. Я решил плыть раньше: Андриюшка — не дедушка.

И вот мы поплыли. Андриюшка гребет, а я направляю лодку кормовым веслом и учу его:

— Можно еще и из-под лодки веслом орудовать — это скорее. Вот так. Ну-ка садись на руль.

Андриюшка пересел на корму. Но не успели мы проплыть и десяти метров, как лодку повернуло и понесло вниз по реке, хотя Андриюшка из всех сил старался направить ее против течения. Больше я не давал ему кормовое весло. Да он и не просил.

До верхнего бакена, который стоял в самом начале Караульного переката, надо было подниматься километра полтора. Потом зажечь на нем сигнальную лампу и спускаться к остальным четырем бакенам. Я не раз плавал туда с дедушкой и отцом и знал, до какого места надо подниматься и как держать лодку, чтобы угодить на верхний бакен. С трудом миновали мы Шумихинский утес, возле которого вода бурлила, крутилась и рокотала. Андриюшка вспотел, но не жаловался. У седого камня, похожего на склонившуюся над водой старушку, мы задержались. Я начал выплескивать веслом из лодки воду и сказал Андриюшке:

— Отдохни малость. Дальше сильно грести придется, чтоб не снесло.

Андриюшка сперва греб бойко, и лодка шла хорошо. Берег удалялся. Камень-старушка превратился уже в темный бугор. Но вот весла стали подниматься тяжелее и медленнее, бить по воде, брызгать. Я взглянул на маленькую пирамидку, которая покачивалась на легких волнах, и крикнул, работая изо всех сил кормовым веслом:

— Не мажь! Проворней греби!

Но бакен спокойно покачивался и проносился мимо

нас. Я отбросил кормовое весло, подскочил к Андриюшке и стал толчками помогать ему грести. Но было уже поздно. Мы очутились в нескольких метрах ниже бакена, и волнистая струя воды от его треугольной крестовины подхватила нас, понесла.

— Размазия! — заорал я на Андриюшку. — Это тебе не песни петь.

Андриюшка виновато опустил голову. А мне стало неловко. Насчет песен я зря его укорил. Не надо было. Да сторяча и не такое сорвется. Не глядя на него, я сказал:

— Ладно, греби, а то еще и мимо другого бакена пронесет. Надо было выше подниматься, тогда и не промазали бы.

— А как тот бакен? — робко спросил Андриюшка.

— Как, как! — снова разозлился я. — Черт его знает как! Свяжешься с таким, как ты, наживешь горя. Ловись хоть за этот хорошенько. Да не прозевай!

Я подправил лодку боком к бакену. Андриюшка так старался не прозевать, что, хватаясь за крестовину, почти весь подался из лодки. Она накренилась и зачерпнула бортом. Загремел шест, забрякали лампы. Я обмер, но быстро опомнился, успел выровнять крен и закричал:

— Тише, ты! Чуть не утопил!

Андриюшка цепко держался за бакен и ничего не отвечал. И даже после того, как я зажег лампу, он все еще не отпускаясь.

— Брось держаться — примерзнешь, — проворчал я.

Зажечь лампу и вставить ее в фонарь — дело пустяковое. Но не светятся еще три бакена, и один из них — вверху. Его надо все равно как-то зажигать. Бакен стоит в самом опасном месте.

— Ну, передохнул?

— Ага.

— Берись за весла, начнем биться против течения.

Андриюшка поплевал на руки, подумал и снял с себя рубашку. Я сделал то же самое.

— Понеслась! — скомандовал я и принялся грести своим веслом.

Андриюшка уперся широко расставленными ногами в поперечину, работал изо всей мочи.

Хлопали весла, плескалась и шумела за бортами вода, в которой, словно раскаленные пружинки, сжимались и разбегались последние отблески заката. Где-то вверху по реке, у скал, тоскливо закрикала утка. Ей никто не от-

кликнулся. Она крикнула еще раз и умолкла. Зажженный бакен удалялся от нас очень медленно. Руки у меня начали слабеть, делаться непослушными. А каково-то было Андриюшке! Но, к моему удивлению и радости, он греб все еще крепко.

— Немного уж до бакена, совсем маленько, — приободрял я его и еще сильнее и чаще опускал свое весло в воду.

Но вот я почувствовал, что лодка замедлила ход — Андриюшкины весла стали бить вразнойбой. Выдохся Андриюшка.

— Давай, друг! Давай, Андриюш! — просил я его. — Ну, раз! Раз! Раз! Совсем чуточку осталось.

— Серж... не мо... не могу... силы... уже...

— Андриюшечка, милый, нажми! Дружочек, капельку! Вот он, бакен... Дедушка...

Андриюшка как-то всхлипнул и ударил еще несколько раз по воде веслами. Нос лодки медленно приближался к белому бакену.

Я из последних сил приналег и крикнул:

— Ловись! Быстро!

Трясущимися руками Андриюшка ухватился за крестовину. Я перебрался на нос лодки и привязал ее к бакену цепью.

— Ф-фу! — разом вырвалось у нас.

Долго сидели неподвижно.

...Была уже поздняя ночь, когда мы приплыли к избушке. Убирая запасные лампы в чулан, я услышал из окна дедушкин голос:

— Это ты, Серега?

— Я, дедушка. Все в порядке. Лежи спокойно. Мы сейчас костер разведем, картошки сварим. Будешь есть?

— Буду, буду. Полегчало мне вроде. А где Ондриюхато? Умыкался, поди, с непривычки, горюн.

Когда мы зашли в избушку, дедушка в валенках и старенькой ватной тужурке сидел у окна.

— Гляжу, нету и нету вас, — сказал он. — Река ведь, до беды недалеко. Слез с печки-то, а на улицу сил не хватило выйти, так вот у окна и сторожу.

Дедушка достал из стола цветастый мешочек, вытряхнул из него на свою широкую ладонь все леденцы, сколько их там было, разделил пополам и отдал нам.

— Пососите с устатку, пока картошка варится. Завтра лампы гасить и зажигать вам же, наверное, придется. Кто

его знает, когда я поправлюсь. Ну, да теперь душа у меня спокойна — помощники вон какие приехали...

Мы сидим на высоком берегу, сосем и хрумкаем леденцы. Рядом, над костром, бормочет котелок с картошкой. На реке, будто далекие звездочки, мерцают огоньки бакенов, и мне почему-то кажется, что они хитро перемигиваются между собой: дескать, досталось братцам.

В темноте появился зеленый огонек и красный. А потом показалось сразу много огней, как в городском доме. И вдруг рывкнул гудок. Не стало слышно, как шумит перекат, и ночная тишина сразу пропала. Только доносится с реки: хлоп-хлоп-хлоп — плицы пароходного колеса об воду шлепают.

— Андрюшка, Андрюшка! «Короленко» идет! — кричу я.

Но Андрюшка не откликается. Он уже спит. Так сидя и спит. В кулаке у него крепко зажаты дедушкины слипшиеся леденцы.

СОЛДАТ И МАТЬ

Что мягче пуха? — Сердце матери.
Что тверже камня? — Сердце матери.

Старинное присловье

Женщина запускала руку в ведро, доставала горсть овса и процеживала его меж пальцев ручейками. Вокруг женщины снежным вихрем метались куры. Они хлопали крыльями, кудахтали, успевали долбануть одна другую.

Хотя видно мне было только руку да спину, на которой топорщился новый казенный халат, чувствовалось, что женщина в больших годах. Рука у нее будто высечена из гранита и высечена столь тщательно, что видны каждая жилка и жилочка. Кажется, тряхни птичница рукой — и пальцы застучат. Удивительно, как могли эти руки делать такие плавные, как бы певучие движения!

Птичница вытряхнула на ладонь остатки овса, широким взмахом старого сеятеля бросила его впереди себя. Меня что-то встревожило. Я где-то видел такую же руку...

Птичница поправила на голове домашний цветастый платок, который она, по-видимому, носила наперекор инструкциям, и стала рассказывать посетителям выставки о курах, которые торопливо работали клювами, рассыпая дробящийся перестук.

— Из какой области, мамаша? — спросил я, когда птичница выговорила.

— Калужской. Бывали?

— Доводилось. Воевал в ваших краях. Может, и деревню вашу у немцев отбивал?

Опа назвала деревню. Нет, не приходилось мне бывать в этой деревне. Но я отчетливо вспомнил такое же лицо в сухих морщинах, с глубоко сидящими глазами ва-

силькового цвета. И я сказал птичнице те самые слова, которые должны были прийти первыми, если бы мне довелось когда-нибудь встретить ту женщину:

— Перемололось, значит, все?

Она истолковала мой вопрос по-своему.

— А как же! Все перемололось, на выставку вот с курыми попала, — пегромко и напевно отозвалась она, — хлеба тоже поболее получаем теперь.

И было в ее коротком ответе столько спокойствия, что за этими скупыми словами угадывался другой, более глубокий смысл: а иначе, мол, и быть не могло. Сколько войн, пожаров польхало на Руси, а она трудами народными стояла и стоит.

Птичница снова занялась своими делами, а я смотрел и смотрел на нее, на эту женщину с выцветшими глазами, в глубине которых еще различался васильковый цвет.

А думал я о той женщине, которую тяжелое железное колесо войны переехало по самому сердцу...

Я был тогда совсем молодым. Помнится, незадолго до встречи, о которой хочу рассказать, первый раз побрила меня госпитальная парикмахерша. Побрила, как впоследствии выяснилось, из особой ко мне симпатии. В ту пору на моем лице еще волосинка за волосинкой бегала с дубинкой. Но, видно, у парикмахерши была легкая рука. После того, как покудесничала она, пошла растительность буйствовать на моем лице, и ныне, если с неделю не побреюсь, родные дети не узнают.

Помню, побритый, сытый и обласканный, уходил я из госпиталя. Держу курс на передовую да вспоминаю парикмахершу, хохотушку с грустными глазами, и житье свое беззаботное в госпитале вспоминаю. От чехла чуть слышно доносится буряковой самогонкой. Время от времени я ругаюсь, желая всяких напастей тому, кто придумал стеклянные фляги для военного человека. Ведь на последние гроши купила моя «симпатия» самогонки для согрева, а я, не отведав ни капли, умудрился разбить эту распроклятую флягу! И погодка, как на грех, такая, что без поддержки духа солдату, привыкшему к госпитальным порядкам и немало разленившемуся, совсем невмоготу.

Серое небо чуть не касалось пилотки. Сыплется, трясется какая-то пудь сверху. Уж полило, так полило бы! В такую погоду не грязь месить по чужим дорогам, а сидеть бы дома, книжку почитывать, на худой конец покуривать

в блиндаже с накатом, ругать, как душе желательно, старшину, который черт-те где застревает всякий раз, лишь только ударит непогода. А потом, когда прибудет оказия (так мы называли хоззводовскую повозку и кухню), рубануть котелочек-другой гороху с тушенкой и задать храпака.

Э-э-эх, далекомько же наши ушли! Шагаю, шагаю, а все орудий не слышно. Хоть бы скорей на шоссе выбраться — голосовать начну...

Налипла грязь на ботинки. Ногам сделалось сыро. Ботинки старые, бэу — бывшие в употреблении. И все на мне бэу, и этот мутный, тягучий, как еловая сера, день — тоже.

На войне хмурых дней больше, чем в обычное мирное время, и, паверное, потому так сильно давило меня волглое, низкое небо.

Мне явственно представилось, как бредут по непролазной грязи мои окопные друзья. Винтовки, а у кого и «пэтээры» на плечах, на поясах подсумки, мятые котелки, лопатки и прочая благодать, а под поясами, как всегда в дрянную погоду, пусто. Идут они и не знают: поедят сегодня или нет, высушатся или мокрые лягут спать, да и придется ли поспать, доведется ли дожить до погожего дня? Уцелеть в такую войну — мудреное дело! Ох, мудреное! Меня вон уже два раза зацепило, госпиталем отделался.

Отделаюсь ли в третий? Три — роковой счет у солдата, а до Германии еще далеко, до победы — и того дальше. Между прочим, навоевался я, кажется, досыта и имею, так сказать, моральное право быть в тылу. Для этого нужно сделать малость: повернуться «кряхом!», как любил командовать наш сержант Рустэм. Дело в том, что я признаю нестроевиком. Могу податься на ближайший пересылочный пункт, предъявить справку, написанную на оберточной бумаге, — и направят меня на завод или в дорожную часть. Может, и в родной город попаду, там заводов много...

Чудно же, ей-богу, свет устроен! В тот раз из госпиталя уходил, все было честь по чести: обмундирование, ботинки новые, ремень, пусть ниточный, как лошадиная подпруга, а все равно новый. И вот пальнул какой-то ариец зловредный из винтовки, и нег, чтобы в мякоть угодить — перебил кость, сделал меня нестроевиком. Иди теперь кирпичики таскай, либо мыло вари, и поскольку

ты уже второстепенный боец, то можешь от подштанников и до пилотки одеваться в бэу. Даже справку тебе и ту написали на такой бумаге, в какую до войны селедку постыдились бы завернуть в магазине. И флягу стеклянную дали, и паек всего на один день. Иди, топай до пересылки, и этого пайка тебе хватит, и фляга железная тебе ни к чему...

До полного накала дошел я от таких мыслей и шлепал по грязи напрапалую. Со зла на госпитальное начальство перекинулся, ну а потом, само собой,— на Гитлера, чтоб ему ни дна ни покрывки!

Вдали мигнул огонек и тут же сгинул. Я разом очнулся и невольно огляделся по сторонам. Но кругом не было ни души, и огонек тоже не появлялся. Сделалось совсем тоскливо и тревожно. Я до боли в глазах смотрел вперед, готовый вскрикнуть от радости, если огонек появится еще раз. Где огонек — там люди. А на людях отстанут, обязательно отстанут эти навязчивые думы, это обжигающее душу зло. Скорей, скорей к людям! Я пошел быстро, почти побежал и, когда очутился на окраине тихой деревушки, перевел дух и утер испарину со лба. Чего, собственно, распахивался? Устал, видно, от войны устал. Все устали от войны. Тяжелая штука — война!

Вдоль этой деревни тоже прошла война. Иные избы были разрушены, иные спалены дотла. Многие деревья поломаны, огороды изрыты воронками и окопами. Однако в некоторых избах, судя по полоскам света, струившимся из-за ставен и дерюжек, обитали люди. Они еще не отвыкли жить с закрытыми окнами и рано зажигали свет. Должно быть, кто-то приподнимал дерюжку, и я увидел издали мелькнувший огонек.

На самом краю деревни из-за густого орешника и трех кривых груш бодливо выглядывала избушка. Время придавило ее к земле, затянуло крышу мохом. Я тронул сколоченную из жердочек калитку, но она тут же упала, потому что не было петель. Пока я пристраивал створку на прежнее место, из дома вышла женщина и остановилась на крыльце.

— Чего падо? — недружелюбно и настороженно спросила она, разглядывая меня глубоко ввалившимися глазами.

Должно быть, моя куцая шинеленка, замызганные обмотки и чехол из-под фляги не внушали хозяйке доверия.

— Я из госпиталя... Мне бы переночевать...

— У меня почевать не останавливаются,— глухо сказала женщина и отвела глаза в сторону,— не то место.

— Да не стесню ведь,— настаивал я, исходя из солдатского опыта и принципа: быть в таких случаях настырным.

— Иди вон на тот конец, там изба чище.

— Да уж ноги не идут, тетенька.

— Дойдут, молодой еще.

— Солдата раненого гоните, эх вы!..

Эти слова подействовали на женщину.

— Ну как знаешь,— обронила она и отодвинулась в сторону, пропуская меня в избу.

Я вошел в переднюю, вытер ноги о старые ватные брюки, лежавшие у порога, и, как полагается, произнес:

— Здравствуйте, люди добрые!

Мне никто не ответил. Это было странно. Обыкновенно в прифронтовых деревнях не хватало жилья, и в каждой избе ютилось по две или по три семьи. Я стянул шинель, пережившую не одного солдата, и пристроился на скамье под божницей, на которой не было икон. На их месте светлели квадратные пятна.

Вошла хозяйка.

— Народу много осталось в деревне?

— Много. А целых изб — с полдюжины. Забиты люди, прямо сказать, доверху.

— А у вас почему нет?

— А у меня нету,— отрезала она с раздражением и принялась чистить картошку. По тому, как она чистила картошку, нетрудно было догадаться: эта женщина знала цену человеческому труду и умела экономить. Стружка из-под ножа вилась сплошной ленточкой. Казалось, что пожик и картофелина не двигались. Доносилось только едва слышное поскрипывание — настолько ловки привычные к работе руки.

Нас было девять гавриков в семье, и мать чистила картошку так же споро, но только еще тоньше...

Мать!.. Мама!.. Я закрыл глаза, и вот она передо мной, с узкой грудью, с большим, надсаженным животом, вечно занятая, вечно озабоченная. Каково-то ей без нас? Я пятым ушел из дому, а девки давно замужем. На троих из пяти уже пришли похоронные, и лежат они у матери под подушкой, вместе с хлебными карточками. Может, и четвертая уже там: на войне каждый день убивают. Может,

и пятая — это уж на меня — очутится под подушкой. Станет и без того жесткая подушка тверже железа и будет жечь щеку матери пуще березовых углей.

Хозяйка с грохотом вывалила картошку в чугунок. Я встрепенулся и полез в карман за кисетом.

Когда по избе поплыл забористый дух махорки, женщина вдруг потянула носом, и на секунду безжизненно повисли ее жилистые руки с трещинками. Эти трещинки снова напомнили мне мать, и я поспешил завести разговор:

— Родных тоже, значит, нет? — А сам думал о том, как обрадуются дома, если нагрянуть неожиданно, да к тому же несильно изувеченным.

— Ты знаешь что, пришел ночевать, так ложись! — С этими словами хозяйка схватила ведра и быстро вышла.

Я проводил ее взглядом и повернулся к окну. Навстречу моей хозяйке ковыляла старуха. Она остановилась, приложила к глазам руку козырьком, затем неожиданно плонула и перешла на другую сторону улицы.

Тут что-то было!

Я насторожился и еще раз, но уже внимательней, осмотрел жильё.

Все запущено. Все покрылось пылью, подгнило, перекопилось. Над никелированной кроватью, которая как-то не вязалась со всем окружающим, висели два портрета. На одном был изображен бравый мужчина, на другом — женщина, в которой я с трудом узнал хозяйку. Висели они далеко друг от друга, и между ними на белой стенке тоже проступало пятно. На этом месте, должно быть, когда-то был третий портрет.

Вернулась хозяйка с водой. Я присмотрелся к ней повнимательней. На вид ей было под пятьдесят. Широкая костью, рослая, худая. Линялый, застиранный платок, на котором едва угадывались цветочки, нависал до самых бровей. Казалось, будто она что-то потеряла и все время силится вспомнить: где и когда.

Женщина взяла топор и пошла на улицу. Я догнал ее в сенцах:

— Секундочку, мамаша! Дайте я разомнусь...

— Ну что тебе надо? Пришел спать, так спи...

— Давайте, давайте, мамаша! Солдат должен помогать гражданскому населению.

— Вот ведь надоедный какой...

Она все-таки отдала мне топор и возвратилась в избу.

За мазанным сараем, стены которого продырявили пули и осколки, я обнаружил несколько сухих яблонек да обломанную снарядом вишню. Никакой живности нигде не было. О ней напоминали только мокрые перья да куриная голова с пустыми глазницами, валявшаяся в крапиве.

Тупая, но все еще не остывшая злость снова начала накатывать на меня. Я схватил топор и принялся торопливо рубить дрова. Рубил, рубил, секира сорвалась с топорща да чуть не в лоб мне.

— Вот так хозяйство!

Позади меня кто-то захихикал. Я обернулся. За низким плетнем стоял голенастый, как петух, парнишка в живописно залатанной рубахе. Ноги у него были до того вымазаны грязью, что казались обутыми в ичиги.

— Ты чего тут подглядываешь? — спросил я. — Вот попало бы топором в котелок-то, и загремел бы к Богу в рай.

Мальчишка шмыгнул носом, почесал ногу об ногу:

— Не больно пужай, не из пужливых!

— Смотри, какой отчаянный!

В ответ на это мальчишка выпалил:

— Ты зачем тута на ночь встал? Тута фашистиха живет!

— Постой, постой, — опешил я. — Как — фашистиха?

— Так, фашистиха! Не знаешь, так не лезь, куда не полагается.

Выражение на моем лице, видно, было такое, что мальчишка посчитал нужным пояснить:

— Ейный сын с фронта смылся и в полицаи наладил. Его наши стукнули во-он тама, — махнул мальчишка в поле.

Я наконец уразумел, в чем дело, и мне стало не по себе. Но я был уже битый солдат и потому как можно спокойней сказал:

— Ты вот что, малыш, чем болтать, принес бы лучше топоршко какой-нибудь.

Парнишка озадаченно глянул на меня и исчез. Я невольно дотронулся до брючного карманчика-пистона, где лежала нестроевая справка, но тут снова появился парнишка и протянул мне аккуратненький топорик.

— Только не поломай. Он дедкин, — пробормотал мальчишка и почему-то посмотрел на мои руки.

— Ладно, не зажило, — буркнул я и принялся вытесывать клинышки для хозяйского топора.

Было время, когда я любил изображать жонглера и не

раз являлся к матери с раскрытыми ладонями. И прошло-то каких-нибудь два-три года с тех пор, как мать перевязывала мою руку, а потом накладывала мне по зашивке. Но какими недостижимо дорогими и далекими казались в этот день из этой деревушки те времена! Я мотнул головой, чтобы отогнать воспоминания. Они всегда наступают меня в самое неподходящее время. Плюнул на ладони, подбросил оба топора несколько раз и поймал их за топорища.

— Ясно!

— Пор-рядок! — восхищенно прошептал мальчишка и, видимо, от избытка чувств снова почесал ногу об ногу. — Дядь, а дядь, айдате к нам ночевать, а? У нас на полатях теплы-ынь! И яблочки моченые есть. Айдате, а?

— Не заманивай, малый, не пойду, — ответил я и принялся тюкать изуродованный ствол вишенки.

Угрюмый день незаметно смешался с сумерками, когда мы поужинали и стали готовиться ко сну. Ни за столом, ни после хозяйка не проронила ни слова. Я больше не донимал ее расспросами, а свернул сигарку и вышел на улицу. Мне, пожалуй, надо было уйти из этого дома. У того же мальчишки меня приняли бы куда лучше и ласковей. Но я не мог этого сделать. На душе у меня было погано. Что-то давило и угнетало, и я не знал, как мне быть, о чем разговаривать с хозяйкой. И все-таки я должен был остаться здесь. Почему? Зачем? Этого я не смог бы объяснить. Я был молод и умел только чувствовать, но не объяснять.

Я курил, трудно думал. Дремотно было крутом, душно и в то же время как-то очень уж томительно-тревожно. Я сделал шаг под дождик — он по-мышьиному шуршал в палисаднике. Мелкая пыль защекотала мне лицо, несколько не остужая его. С крыши четко, одна за другой, дробинками скатывались капли. Они твердо шлепались на опавшие листья, и чудилось мне, что где-то совсем недалеко шагают и шагают чужеземные солдаты в подкованной обуви.

В деревне ни звука, ни огонька. Даже собачьего лая не слышно. Неужто и собак война не пощадила?

Хозяйка приоткрыла дверь и не то приказала, не то попросила:

— Ты кури в помещении! — Она тут же торопливо захлопнула дверь, будто чего испугалась.

Постель она мне приготовила на кровати, а сама забралась на печь.

Я никогда не страдал бессонницей, даже в госпитале ничего спотворного не пил, но в ту ночь долго лежал с открытыми глазами и не ворочался — боялся потревожить хозяйку. И почему-то из этой тишины, из кромешной темноты опять отчетливо, как днем, появилась мать. Маленькая, суровая. Доставалось мне от нее. Я был последним в семье. А последнего больше балуют и больше лупят. Отец работал конюхом в подсобном хозяйстве, любил выпить, покушал нам пряники и никогда не обижал.

Я льнул к отцу, а мать недолюбливал. Молоденький все же был в ту пору, очень молоденький. До войны я даже костюма не нашивал и, чего скрывать, только на фронте попробовал колбасу, сыр, яблоки. Небогато жила наша громадная семья, стараниями матери жила.

А я вот не смыслил ничего и обидел мать. Она лежала хвора, когда я уходил из дому на войну. Она не плакала, не целовала меня, она ругалась: «Ты беспутную голову свою зря там под бомбы не подставляй!» — наказывала она. А я улыбался. И вдруг мать жалко всхлипнула, схватила меня, прижала к себе: «Хоть бы ты не уходил!»

Я еще никогда не видел ее в такой слабости и оттого растерялся. Мне сделалось неловко, и я накричал на мать: «За кого ты меня считаешь?»

Мать как-то до обидного снисходительно покачала головой и с протяжным вздохом молвила: «Ну-ну, не сердись, не сердись, тебе лучше знать, что делать, ты — грамотный...» И больше не прибавила ни слова. И поныне я вижу ее такой же, как при прощании, с такой печалью в глазах, какой я еще никогда и ни у кого не видел.

— Мать!.. Мама! — шептал я в ту давнюю ночь. — Охота увидеть тебя, сейчас охота! Приснись хоть во сне, поговори со мной или взгляни...

Стыдно солдату, да еще дважды раненному, да еще с медалью, так блажить. Но что поделаешь? Что было, то было. Блажил, звал, тосковал, кручинился. Сейчас можно в этом признаться. Годы прошли, люди не осудят. Они научились кое в чем разбираться, кое-что друг другу прощать. Замечаю я: добрее сделались наши люди, отмякли, как апрельская пашня. А в войну злы мы были: горе, обиды, утраты сделали нас такими.

Уже не помню, как забылся я тогда. В детстве я спал под отцовским тулупом, пропахшим конским потом, и, когда уснул, ко мне со всех сторон поплыл этот запах, смешанный с духовитым сеном. Мне, очевидно, снился наш дом, но я все заспал и ничего не мог вспомнить, потому что, потревоженный пристальным взглядом, дернулся и открыл глаза.

На столе, привернутая, горела лампа. Около нее, будто окаменелая, сидела хозяйка с шерстяной шалью на плечах. Она смотрела на меня. В глубине ее глаз махоньким ядрышком отражался огонек лампы. А может быть, лампа осветила далеко упрятанное, затвердевшее, как алмазное зернышко, горе. Этакое певянущее, но и непрорастающее зернышко.

— Вы что не спите?

Хозяйка вздрогнула, подхватила свалившуюся с плеча шаль и сказала, закручивая пальцами кисточку:

— Не спится. Нетути мне сна.

Было невыносимо тягостно смотреть на нее. Но еще тяжелее молчать. Я кивнул головой на портрет, с которого, еле заметный, глядел в сумрачную избу мужчина, и спросил:

— Муж, да?

— Мой. Данила. Садовником был, за год до войны помер.— И, отвечая на мой немой вопрос, она добавила: — А я птичницей работала, на выставку как-то ездила. Давно это было...

У меня уже вертелся вопрос насчет сына, однако я вовремя спохватился и заменил его первым попавшимся:

— Теперь в саду вместо мужа?

— Не-е... Я с колхоза вышла...

— Чего так?

— Бабы проходу не дают.

Я заметил, что хозяйка изо всех сил старается говорить спокойно и потому произносит слова осторожно, медленно, будто удерживает то, что может зазвенеть и ненароком разбиться.

— Сам-то женатый? Детки есть?

— Нет еще. Не успел жениться...

— А-а,— с сочувствием и, как мне показалось, даже с сожалением протянула она и раздумчиво продолжала: — Придет время, женишься, детки пойдут...

— Это еще на воде вилами...

Хозяйка быстро взглянула на меня, потом перевела глаза на квадрат между портретами, и складки у ее рта сразу сделались строже.

— Иной раз и живой человек, а мертвому завидует. Вот у меня сынок был,— выдавила она.— Он покойный, а я за него казнь от людей принимаю.— Женщина задумалась, глядя мимо, за окно, по которому неслышными червячками сползали головастые дождинки.

Порыв ветра налетел на избушку, полоснул по ней, что заряд бекасиной дроби. Червячки заскользили проворней. Но ветка груши качнулась и размазала плакучие струйки по стеклу.

— Ветер начинается, разнесет тучи с дождем, легче тебе идти будет,— тихо произнесла она.

— Да-а, может, и легче,— неопределенно протянул я. И снова хозяйка быстро и пристально взглянула на меня.

— И затяжная непогода проходит,— заторопился я.— У вас тоже все пройдет. Ваша-то вина какая?

— Мир понапрасну не судит! — Женщина запахла шаль на груди, будто ей разом сделалось зябко, однако вскоре расслабленно уронила руки и закрыла глаза.— Говорят, гадюка когда родит, то пожирает гадят, если они не расплзутся. А я вот вроде бы и не змея, а тоже...

Видно, у хозяйки перехватило горло или сдавило сердце. Она заученным движением человека, которому никто ничего не подает, нащупала на столе кружку, отпила глоток и продолжала почти неслышно:

— Одно дите — свет в окошке, так в народе говорят. А мое дите мне весь свет застило. Чуть чего бывало нашкодит, я сг(р, как курица-парунья, под крылышко. Школу бросил — под крыло, пить взялся — обратно туда же. Девушку-невесту избидел — шито-крыто сделала, и все это мне шалостями ребячьими представлялось. Только уж когда он товарищей в черные дни спокинул, когда чужеземцу в услужение нанялся, я очнулась и вижу: ничего-то он не любит — ни родную деревню, ни мать... Ему бы, как таракану, в щель какую засунуться. Да только спутал он дом родной со щелью. Выковырнула я его, просила, молила, чтобы свою часть настигал. Послушался вроде бы, пошел, да не туда пошел. От меня потом все прятался. Видно, чувствовал: зарублю я его. Другие люди упокоили его, уберегли меня от этого тяжкого дела...

Хозяйка опять поднесла кружку ко рту. Посудина сту-

чала о зубы. Должно быть, вода показалась хозяйке студеной, и она принялась греть кружку руками.

— Э-эх, кабы прежние годы вернуть, кабы сызнова все начать... — без всякого перехода снова заговорила она, и тут до меня дошло: это она по привычке беседует сама с собой.

Внезапно хозяйка умолкла. Как бы пробуждаясь от обморочного сна, огляделась кругом и дунула на огонек.

Изба разом провалилась в темноту. Шум ветра словно бы усилился. Стало слышно, как скребется в окно по-кошачьи ветка груши и где-то наподобие коростеля скрипит незапертая калитка.

— Ты с госпиталья на фронт или как? — донесся через некоторое время голос женщины с печи.

Вопрос был таким неожиданным, так он меня ужалил, что я, сам того не замечая, подскочил и оскорбленно, грубо бухнул:

— А куда же я могу еще?

— Да мало ли куда? Свет велик. Ох-хо-хо, война! Многим она очи позакрывала, но многим и открыла... Ну, спи, спи, мешаю я, а путь долог...

Хозяйка ворочалась и вздыхала, а я переживал, когда она уснет, и пытался представить, как она провожала сына на фронт: голосила, поди, наказывала, чтобы он был не хуже людей, не позорил бы себя и родителей своих...

Захотелось курить. Я сел и принялся торопливо искать бумагу для курева. Рука моя нащупала справку. Ага, ее-то мне и надо! Насыпал я в хрусткую бумагу махорки и, уже не боясь потревожить хозяйку, свирепо рубанул по «катуше». Фитиль затлел. Я раскурил сигарку и откинулся на подушку.

— Ты чего такую душную бумагу куришь? Газеты нет, что ли?

— Нету...

Снова тишина. Перестал шуршать дождь за стеной, ослабел и ветер, даже слышно, как трещит сигарка, вспыхивающая при каждой затяжке.

Вот уж и губы обжигает. Все! Я кинул окурыш к порогу, и он, описав кривую, зашипел в лохани.

— Ну, теперя спи с Богом, — тихо и, как мне показалось, с облегчением вымолвила хозяйка.

Я выгнулся, закрыл глаза, и сейчас же меня прикры-

ла ночь, мягкая, теплая, ровно отцовский тулуп, так славно пахнувший домом.

Проснулся я поздно. Сквозь затейливо изогнутые ветви груш, на которых сиротливо висели неснятые плоды, в избушку пробивались вялые солнечные лучи. Дождь иссяк, выдохся. Я быстро собрался в путь. Но хозяйка велела мне сесть за стол и достала с печи закутанный в шаль горшок с толченой картошкой.

Я ел. Она со скрещенными на груди руками стояла возле печи и, сколько я ни упрашивал ее поесть вместе со мной, за стол не садилась. Она смотрела на меня жадно, с большой и доброй печалью. Потом помогла мне надеть на плечи вещмешок, мимоходом застегнула крючок шинели и проводила до калитки.

Я протянул ей руку. Она удивленно уставилась на меня своими до дна выплуканными глазами. Глаза эти все еще сохраняли васильковый цвет. И яркие же они были когда-то, раз уж соленые слезы не отъели всю голубизну, не смыли ее начисто.

Хозяйка осторожно подала мне руку, ровно боялась, как бы тут не было какого-нибудь подвоха.

— Ничего, мать, все перемелется, — сказал я и никак не мог подобрать других нужных слов. Я помолчал, еще раз тряхнул ее руку и тверже повторил: — Перемелется. Отойдут наши люди сердцем и простят тех, кто прощения заслуживает, — незлопамятные...

— Этим и живу, — ответила женщина, глядя в сторону.

Уже за околицей я оглянулся и посмотрел на приземистую избушку.

Над давно не стриженным орешником покачивалась худая рука, будто хозяйка бросала вслед мне щепотью зерна. Не понять было: машет ли она или, по старому обычаю, — благословляет. Если то было благословение, пришлось оно в час добрый: не дрогнув прошел я сквозь все военные страсти, победителем вернулся домой.

Вот какой случай напомнила мне птичница, которую я встретил прошлым летом на сельскохозяйственной выставке.

Прежде чем уйти от женщины, делавшей свою маленькую, хлопотливую работу, я, как тогда, в войну, поклонился и сказал:

— До свиданья, мамаша!

Она взглянула на меня. Редкие ресницы ее, полусмеженные от усталости или привычно скрывающие что-то, распахнулись на мгновение, показали мутные глаза с тихой, едва заметной синевой.

— Доброго пути, милый сын!— молвила она и занесла руку словно бы для прощального привета, но лишь поправила халат на груди.

Я шел и все время чувствовал на себе ее взгляд.

1954—1959

В СТРАДНУЮ ПОРУ

Машины, надсадно завывая, вползли на гору. Открылись колхозные поля, упирающиеся с одной стороны в желтый лес, с другой — подступившие к реке.

За машинами потянулись серые хвосты пыли. Николаю и Зине повезло — они попали на переднюю машину вместе с большой группой работников горкомхоза и от пыли не страдали. Зато идущей следом машины почти не было видно. Оттуда доносилась сбиваемая на ухабах песня.

На передней машине тоже подхватили песню. Николай совсем близко услышал голос Зины, но сам он не пел, а, вытянув шею, жадно глядел через головы людей вперед.

Вдали показалась деревня, растянувшаяся вдоль реки. За деревней широкий лог. Он подковой огибает избы с сараями, банями и огородами на задворках. В половодье по этому логу заходит вода. Сюда плывут нересгиться щуки. Они трутся до крови о прошлогоднюю траву животами, выдавливают икру. Потом вода уходит. Остается небольшое озерко, полное шальной рыбьей мелкоты. Вода в озерке согревается, ее затягивает ряской. Постепенно озерко засыпает под густой зеленой. Подросшие щурята с носами, похожими на долото, гоняют здесь чудом уцелевших рыбешек. Неумоимо несутся по воде сторожкие коньки с паучьими ножками.

В эту пору ребятишки оставляют озерко. Они боятся какого-то страшного волоса. По старым поверьям, он «еже-

ли в тело вопьется да до сердца дойдет, тогда непоборимая смерть человеку».

Лодки, удочки, купанье в жаркие и нежаркие дни, штаны и рубахи, порванные на частоколах чужих огородов,— вот оно потрясающе драгоценное и далекое-далекое время, которое с такой сладкой грустью сейчас заново переживает Николай.

— Моя, Сычевка! — показывает он Зине.

— Как ты сказал?

— Сычевка. Ну, от слова «сыч». Птица такая есть. А во-он видишь, здание, кирпичное, пу да ближе церковки. Это управление МТС, где я работал. А в церкви-то мастерские.— Он помолчал немного и задумчиво прибавил так, что Зина его почти не расслышала:

— Стосковался.

Она удивленно пожала плечами и крикнула:

— Глухота! Недаром отсюда люди бегут!..

До деревни они не доехали. На дороге их встретил человек, поднял руку, затем стянул с головы фуражку и замахал перед собой кругами, как подают на железной дороге сигнал остановки.

По этому сигналу Николай сразу узнал эмтээсовского бригадира Пасынкова. Тот когда-то служил стрелочником на станции.

— Слезай! Приехали! — послышался шепелявый голос Пасынкова. Николай легко соскочил с борта машины и, очутившись перед Пасынковым, подал ему руку:

— Здорово, кум Гаврила!

От неожиданности или такого необычного приветствия, которым Николай хотел замаскировать свою неловкость, Пасынков немного растерялся, удивленно поморгал и протянул:

— Хо-о, кого я вижу! С какого кладбища?

— Запарились вы тут,— ухмыльнулся Николай,— вот и решил вместе со всеми нашими на прорыв.

— Ну-ну, поупражняйся. С городских харчей полезно поразмяться,— сказал Пасынков и, обращаясь к столпившимся у машин горожанам, добавил: — Стало быть, товарищи, у кого лопаты есть, прямо от дороги и начинайте. А человек восемь-десять пусть со мной идут за картофелекопалкой картошку собирать. Ну ты, городской интеллигент,— обратился он к Николаю,— как желаешь: лопатой или с помощью техники? — Узенькие глаза Пасынкова

щурились, и в них виднелись чуть заметные искорки смеха. Но Николай сделал вид, что не понял издевки.

— Давай к технике. Сам знаешь, душа она моя.— Он помялся и неловко добавил: — Со мной пойдет вот эта гражданочка.

— А-а, эта самая? — переспросил Пасынков, бесцеремонно разглядывая Зину. Зина сердито фыркнула и пошла впереди.

— Значит, уже перестроился? Смекнул, что сейчас в колхозе выгодней? — ехидно сказал Николай.

Пасынков уклончиво ответил:

— Перестроился не перестроился, а мимо своего колхоза не проехал.— И тут же прибавил, сворачивая с дороги на картофельное поле, где стоял трактор: — Вот мы и прибыли.

Возле трактора копошился парень с белыми волосами, выщипывая на висках, как у девчонки. Что-то памятное для Николая было во всей нескладной фигуре этого парня.

— Тимоха, а, Тимоха! — крикнул ему Пасынков.— Гляди, кого я приволок, дизентёра! — Пасынков нарочно искажал это и без того разящее слово.

Николай хотел обругать Пасынкова, который все так же улыбался, щупая его хитрыми глазами, но Тимоша быстро оглянулся и, постояв с открытым ртом, как луна-тик, двинулся от трактора.

— О-о, Никола! — Он хотел еще что-то сказать, да заметил Зину, покраснел, застеснялся, начал оглядывать свою промасленную робу и пошел обратно к трактору.

Тимоша несколько лет проезжал помощником на тракторе с Николаем и никак не решался самостоятельно сесть за управление. Трактор Тимоша знал хорошо, но Николай был уверен, что сейчас, при посторонних, он станет делать не то, что надо, потеряет до зарезу нужный ключ или гайку.

— Ну, командуй, кум Гаврила,— покровительственно заговорил Николай.— Привел — давай работу.

— С полным удовольствием,— подхватил Пасынков.— Работы у нас вагон и маленькая тележка. Стало быть, товарищи, вот где проехал трактор, собирайте картошку и в кучу. Работенка не пыльная, но денежная.

— Что платить будешь? — засмеялись приезжие.

— Тридцать дней на месяц, харчи ваши, стол казенный,— отшутился бригадир и, когда горкомхозовцы ото-

шли от трактора, сказал Николаю: — Помоги Тимоше, а то твоя краля навела на него такое затмение, что ему до вечера не опамятоваться.

Не дожидаясь возражений Николая, Пасынков затрусил прочь, шаркая голенищами больших стоптанных сапог.

— Ох и ушлый! — покачал головой Николай, глядя вслед Пасынкову, и направился к Тимоше. — Ну, чего у тебя?

— Да вот с горючим что-то, засоряется, должно.

— А свечи-то зачем вывернул?

— Свечи? Думал, на них нагар.

— В карбюраторе ковырялся?

— Разбирал.

— Жиклеры продул?

— Жиклеры-то? Нет, не продувал. А что, думаешь, в них причина?

— Я ничего не думаю, сам говоришь, с подачей неладно. А ну, дай карбюраторный ключик.

Тимоша пошарил в траве, нашел ключик, подал его Николаю и застыл в ожидании приказаний. Все! Теперь он слуга покорный. Делать будет только то, что ему скажут.

Николай покосился на него, улыбнулся и, весело зашвистев, принялся разбирать карбюратор. Он прочистил жиклеры, подул в трубку подачи и, почувствовав на языке обжигающий вкус бензина, смачно сплюнул на землю. Потом ввернул свечи, проверил искру и весело крикнул:

— Тимош, крутни!

Тимоша изогнулся вопросительным знаком, налег на ручку, трактор хокнул раз, другой и, постреливая, бухая богатой смесью, затарахтел, вздрагивая всем корпусом. Над радиатором показалось улыбающееся лицо Тимоши.

— Уходи! — махнул ему рукой Николай и включил скорость.

Трактор дернулся, выбросил из трубы кольца дыма и вперевалочку пополз по полю. За ним широкой полосой тянулась переверошенная земля, на которой выводками лежали шершавые картофелины.

В прежние времена, сидя за рулем трактора, Николай любил петь что-нибудь бесшабашное, громкое, лишь бы слышать свой голос. Он и сейчас затынул:

Бывали дни веселые,
Я по три дня не ел,
Не то, чтоб денег не было,
А просто не хотел...

Потом он обернулся и увидел примостившегося на месте прицеппщика Тимошу, который, все еще улыбался. Николай сбросил газ, выключил скорость и, когда трактор остановился, с сожалением сказал:

— Давай, Тимош, садись на свое место.

— Да нет, что ты, Никола, езди, езди, — торопливо замахал руками Тимоша. Николай понял: парню неловко оттого, что Николай, его учитель, станет собирать за трактором картошку.

— Я поем маленько, а ты поезди.

Знал Николай, что это всего лишь предлог, но обрадованно согласился.

Он повернул трактор от межи обратно и, поравнявшись с людьми, собиравшими картошку, весело помахал Зине. Она разогнулась, поглядела на него и что-то крикнула, показывая на грудь. Николай глянул на себя и почесал затылок. Сатиновую косоворотку он уже успел вымазать.

Руки его делали свое дело, уши улавливали привычное тарактенье, а глаза забегали вперед, туда, за картофельное поле, за щегинистый перелесок, к Сычевке. Там, около озера, точно разбросанные клочки бумаги, белели стаи домашних гусей, паслось стадо коров, возле школы сутились шустрые фигурки ребятишек.

Сентябрь! Бабье лето! Время, полное забот, трудов и осенних радостей, время уборки урожая. Солидная, ясная тишина кругом, в которую привычно и уверенно врывается шум тракторов, заглушая прощальные крики перелетных птиц. Люба эта пора сердцу деревенского жителя, особенно если он долго не был в поле, давно не вдыхал густой, чуть пыльный воздух осенней пашни.

Спохватился Николай после того, как заметил солнце на маковке церквушки. По его давней примете это означало четвертый час. Он остановил трактор и, с удовольствием разминая затекшие ноги, зашагал к опушке леса, где у костра возился Тимоша.

— Во друг, видали его! — рассмеялся Николай, хлопнув Тимошу по узкой спине. — Спихнул трактор — и горя мало.

Тимоша потер и без того вымазанный лоб черной рукой, дружески улыбнулся, кивая на жарко пыхающие угли: — Я тут соображаю насчет картошки дров поджарить. — Печенки? — Угу, — радостно зажмурился Тимоша. — Я ведь знаю, как ты их уважаешь. В городе-то никто печенками не угостит. Там, небось, только интеллигентные блюда: курица в соку и веник в чесноку...

Остричь Тимоша не умел, но когда он это пытался делать, не улыбнуться было нельзя. Николай присел на порожневшую траву и почему-то со вздохом сказал:

— А ты, Тима, все такой же, мировой парень!

Даже сквозь слой мазута было видно, как вспыхнуло лицо Тимоши, и он бестолково засуетился у костра, выкапывая картофелины.

— Ешь, Никола, пока горячие.

— Давай одну. А вообще-то, я налаживаюсь домой сходить. — Николай начал обдирать кожуру с обугленной на одном боку картофелины. Он дул на нее, перебрасывал из руки в руку. Наконец, обжигаясь, принялся есть рассыпчатую картошку и как бы между прочим поинтересовался: — Как там крестная поживает? И вообще расскажи, чего нового у вас? Как мой приятель Чепуштанов поживает? Никто ему голову еще не проломил? — Голос Николая сделался злым, широкие ломаные брови замкнули переносье.

Тимоша сдул с картофелины золу, помял ее на траве:

— Тетя Васса живет, как всегда, тихо-мирно, прихворнула тут немного, с ногой что-то опять.

— Болела, говоришь? — встревожился Николай и, вспомнив, что за целый год не догадался ни черкнуть крестной, ни попроведать ее, невнятно пробормотал: — Чего же это она и не сообщит даже?..

Тимоша быстро взглянул на Николая, и он опустил глаза.

— Эмтээс, сам знаешь, аннулировали, — тем же тоном продолжал Тимоша. — Ну и я оттуда тоже аннулировался. Оно и лучше — урожай свой и машины свои. А Чепуштанов отбыл в город. Оно и лучше — шуму меньше...

— Не дождался, значит, когда я с ним рассчитаюсь! — усмехнулся Николай.

— Чего тебе с ним считаться? — пожал плечами Тимоша. — От навоза — подальше. Ну, а как ты устроился? — Тимоша доверчиво придвинулся. — Вижу, не совсем?

Да, перед Тимошей Николай не умел кривить душой.

— Какой там, не совсем,— махнул рукой Николай.— Работаю коновозчиком в горкомхозе, обещают на трактор посадить. Ждут со дня на день трактор-то. Зарботок хороший обещают, да мне радости мало. Мне поля эти чудятся, покоя нет. Не поверишь — крестная да дом свой последнее время снятся. Нарочно долго брожу, чтобы крепко спать, а только глаза закрою — все то же.

— Почему не поверить? — сказал Тимоша и со вздохом прибавил: — Эх, Никола, зря ты, пожалуй, тогда расчет потребовал, принц своего рода показал. Потерпел бы.

— А если не терпелось уже, тогда как, по-твоему? Ну, ладно, Тима, пойду я домой схожу, со мной еще барышня тут.

— Уж обзавелся?

— Как видишь, успел, — ответил Николай и зашагал от огонька к рабочим, рассыпавшимся по полю.

— Слушай, Никола! — окликнул его Тимоша. — Ты бы вертался, на кой тебе нужна какая-то шарашкина контора?

— Что? Захотел опять на прицеп? — со смехом погрозил пальцем Николай.

До разговора с Тимошей Николаю удавалось как-то убедить себя в том, что причина его ухода из МТС была веской: не повезло с механиком, и «контры» между ними дошли до того, что в позапрошлую весну Чепуштанов стал его посылать в колхоз на неисправном тракторе. Ему лишь бы отрядить технику в колхоз, а как она там работает — дело шестнадцатое. Но Николай-то был вчерашний колхозник. Он-то знал, что на поле нужна не мертвая, а рабочая машина, и потому отказался. Механик оформил на него дело в суд. Николай «в пузырь полез», не буду, мол, с таким механиком работать, и потребовал расчет с уверенностью, что ему откажут. Но расчет ему дали, и это всего больше обидело тракториста. «Ничего, я без вас проживу! Вы без меня попробуйте!» — разгорячившись, решил он.

Время остудило его, начали донимать сомнения. «В самом деле, что это я? Показал свой «принц», как Тима говорит, покуражился, легко и просто распорядился собой, выбрал место в жизни. А то ли место? То! То! Трактор в горкомхоз скоро придет, зарабатывать хорошие деньги буду, жить в городе. С Зиной отношения налаживаются, семьей обзаведусь. Правда, жить в Зинином доме будет

нелегко. Дома, у крестной, всегда сам себе голова был, а там... Меняется все. Вон технику в колхоз передали, и люди к ней позарез нужны. Опять же, вернешься — зубоскалить начнут, подтрунивать. Косолапый Пасынков уже сейчас «дизентёром» обзывает, а что будет тогда? «Ну, началось! Мозги распухнут скоро», — замотал головой тракторист.

Как славно жилось ему на земле до прошлого года! Не так-то просто, оказывается, быть самостоятельным и распоряжаться самим собой.

Зина встретила Николая раздраженно:

— Ушел и ушел, с типом каким-то связался, перемазался весь, будто дитя. Кушать хочется, все уже давно поели.

— Ладно, Зин, не ворчи, а забирай свой узелок и пойдем к крестной, там и пообедаем.

Заметив, что Зина недовольно поморщилась, он более твердо добавил:

— Это у меня единственная родня на свете, с десяти лет воспитывался у нее. Она, говорят, прихворнула. У нее одна нога в колене парусена.

Зина повязалась косынкой и озабоченно сказала:

— Да я ничего, раз нужно, так нужно. Только чтобы на машину успеть.

Прошли немного молча, и Зина снова заговорила:

— Я все забываю у тебя спросить, что с твоими родителями случилось? Если неприятно, можешь не рассказывать, — торопливо поправилась она, заметив, как грустной тенью подернулось лицо Николая.

— Нет, отчего же, все равно надо будет рассказывать когда-то, — вздохнул Николай и, сорвав колосок, стал мять его в ладонях. — Осиротел я разом. Отец с матерью весной переходили реку, отчаянные, видно, были. Шли уже после подвижки, с базара. Ну, дошли до середины реки, лед и тронулся. Я сам-то не видел, мне крестная рассказывала.

— Надо же так случиться!

— В жизни всякое бывает, — думая о чем-то своем, отозвался Николай и высыпал зерна в рот.

Они спустились на берег реки, стали умываться. Ветер подхватил подол штапельного Зининого платья, она поймала его, не стыдясь Николая, подоткнула подол и забрела в воду. А Николая отчего-то покорибила эта ее неторопливость и бесцеремонность. «Вырядилась! Картош-

ку в модном платье приехала убирать. Перед деревенскими девками фасон держать решила», — думал он раздраженно, зная, что на свой огород она ходит в заграпезной материнной кофте и вообще бережлива до скупости.

Дружба Зины и Николая была очень ровная, без ссор, тревог и волнений. Приходил Николай после работы к Зине домой, звал в кино. Она без разговоров собиралась, надевала тщательно отутюженное платье, не очень крикливое, по модное. Николай в своем поношенном костюме выглядел несколько тускло рядом с ней. И вообще он был менее развит. Зинина мать как-то за перегородкой прошипела на дочь.

— Чего ты с ним спуталась? Ты — булгахтер!

Зина ответила суровой отповедью насчет того, что пора классовых предрассудков миновала и пусть, мол, любезная мамаша не сует свой нос куда не следует.

Такое поведение Зины понравилось Николаю. Ему нравилось в ней многое: она аккуратна, начитанна, бережлива, неветрена.

Мать с Зиной как-то незаметно и прочно приручили Николая. Он копал картошку на их участке, подвозил дрова, и его кормили на кухне, покамест как постороннего работника. Затеяли Зина с матерью дом строить на окраине, благо в горкомхозе стройматериалы можно достать за бесценок. Николай подвозил цемент, кирпич, доски. И на эту работу ему не выписывались наряды. Он подозревал, что на материалы вообще никаких нарядов не выписывается. Уж больно лебезит начальник горкомхоза перед своим бухгалтером. Не по душе было Николаю все это. Не правилась ему и Зинина запосчивость. Она несколько свысока взирала на окружающий мир. Причиной тому, возможно, было ее раннее выдвижение на ответственную должность или несколько уединенный и самостоятельный образ жизни. К немногочисленному конторскому аппарату Зина относилась деспотично и строго. Вечерует, например, Зина — и весь конторский штат сидит вместе с ней, хотя днем она, бухгалтер, может ходить по магазинам, делая вид, что контролирует парикмахерские, сапожные мастерские и баню. В конторе есть кормящая мать, кассирша и другой занятой народ. Все они дружно поглядывают на часы, намекаяюще вздыхают, дескать, вечер-то наступил, домой пора. Наконец кто-нибудь не выдержит и пойдет к начальнику горкомхоза. Тот выслушает и виповато разведет руками:

— Ничего не могу поделывать, отчетность поджигает. Обратитесь к Зинаиде Федоровне...

К Зинаиде Федоровне обращаться не любили, и все шло своим чередом: вечеровал бухгалтер — вечеровала вся контора, а начальник ходил на цыпочках и обращался к своему бухгалтеру с заискивающей улыбкой: видно, был он кое в чем зависим от Зинаиды Федоровны. Начальник уже поставил дом, а теперь вот бухгалтер собирается, хотя дом ей вроде бы и ни к чему — детей нет, мужа нет.

Николай заглянул сбоку на Зину. Шла она с таким видом, точно хотела сказать: убирать картофель приехала только потому, что так нужно, и к тетке Николая иду тоже потому, что так нужно. Зине уже под тридцать. В таком возрасте приходится считаться кое с чем.

Разглядывая мелкие морщинки у ее скучных глаз, поскребишиеся от завивки волосы, он неожиданно решил, что слухи насчет того, будто Зина уже с кем-то жила не зарегистрировавшись, наверное, не пустые слухи. Избегает же она почему-то разговаривать на эту тему.

Николай расстегнул верхние пуговицы косоворотки, скомкал в руках кепку. Ветер ласково трепал его чуть волнистые волосы, забирался под рубаху, надувал ее на спине пузырем. Глаза Николая щурились, на душе было томительно. Он нарочно подставил лицо и грудь ветру, но легче от этого не делалось.

В доме никого не оказалось, и Зина просияла. Николай приподнял доску на завалинке, взял ключ.

— Во, порядок! — весело помахал он им. — Крестная по привычке оставляет.

В сенцах на полу лежали ветки папоротника. Тетка Васса любит устилать ими пол после мытья. Волшебный запах папоротника мешался с грибным духом, ползущим от полусгнивших бревен старой избы. Николай долго вытирал ботинки о ветви папоротника, свернувшиеся на вершинках, как улитки, затем потянул на себя дверь, которая висела вверху на кожанке, внизу — на ржавом шарнире. Не раз Николай собирался заменить эту кожанку, в которую тетка Васса вколотила уже не меньше фунта гвоздей. В кухне у порога лежал истертый обувью тряпичный круг. Николай опять начал вытирать ноги, а Зина, все время молча наблюдавшая за ним, усмехнулась и сердито поджала тонкие, чуть подкрашенные губы.

В передней, где раньше жил Николай, все было так же, как и до его отъезда. Деревянная кровать с облупив-

шейся рыжей краской заправлена байковым одеялом, на стене — выдавшая виды переломка. От спускового крючка переломки тянулась к дряхленькому коврику паутина. Николай снял ружье, дунул на него, с трудом переломил, заглянул в ствол и задумчиво сказал:

— Заржавело.

Услышав свой голос, он как бы опомнился, взглянул на Зину, присевшую у окна, и торопливо повесил ружье.

— Будем есть или крестную подождем? — Он виновато помялся и решил: — Подождем уж...

Зина не отозвалась. Она чувствовала себя здесь чужой, ей было неловко и скучно. Николай искал глазами вокруг и кивнул на полочку, где на пожелтевшей газете стояло в ряд с десяток потрепанных книжек:

— Может, почитать пока желаешь? Там есть и художественные штуки три.

— Не хочу, устала я, — нехотя ответила Зина и тем же безразличным тоном прибавила, взглянув в окно: — Вон какая-то женщина похрамывает, не твоя тетка, случайно?

Николай быстро подошел и, поглядев через Зинино плечо, выдохнул:

— Она.

Тетка Васса шла так же, как и раньше ходила, — медленно, припадая на правую ногу. Показалось Николаю только, что прихрамывает она больше обыкновенного, а на ее спокойном и немного суровом лице прибавилось что-то незнакомое. Ах, да, мешки под глазами, темные, дрябловатые мешки, которых раньше Николай не примечал. «Не досыпает крестная или сдала так?» — грустно подумал он и, поймав на себе насмешливый взгляд Зины, отошел от окна.

У тетки Вассы в переднике было завязано несколько белобоких огурцов и до стеклянного блеска налитых помидоров. Она высыпала их на стол, отвязала передник и, поправив выбившиеся из-под платка жесткие волосы, заглянула в комнату:

— Ты чего, Коля, не обедаешь? Здравствуйте!

— Вот знакомься, — Николай смущенно кивнул на Зину.

Девушка торопливо поднялась и, чуть раскланявшись, церемонно сказала:

— Зинаида... — Хотела что-то прибавить, но смешалась под пристальным взглядом тетки Вассы.

— Чего же, и знакомую свою кормил бы обедом, —

заговорила тетка Васса. — Правда, обед наш деревенский: шти да каша утрешние в печи, может, и не поглянутя.

— Что вы, что вы, — робко запротестовала Зина. — Я ко всему привыкла, в войну и каша деликатесом считалась.

Зина посмотрела на руки тетки Вассы. Они были только что мыты, но зелень на пальцах и земля под ногтями остались. Очевидно, тетка Васса убирала овощи в колхозном огороде.

— Ну, коли так, милости просим. Я сейчас соберу на стол, — сказала тетка Васса и заковыляла в сенки. Старая выгоревшая кофточка приклеилась по желобку ее спины, на шее припотела пыль.

Когда тетка Васса вышла, Зинаида вполголоса проговорила:

— Ой и взгляд у нее! Она старая дева, да? Все они такие...

В голосе ее прорвалась невольная неприязнь. Зина спохватилась, заметив, как пахмурился Николай. Он хотел что-то сказать и вдруг ясно понял, что Зина уже составила свое мнение о тете Вассе и что она не только не поверит тому, что он может рассказать о самом близком ему человеке, но и не поймет, пожалуй.

А вот он хорошо знает, что скрывается под тяжелым взглядом тетки.

Война. По деревне бродят эвакуированные и выменивают на картошку вещи. В дом тети Вассы заворачивают девочка и мальчик, очевидно, посланные в деревню с расчетом, что им при обмене больше дадут. В руках у мальчика модельные туфли молочного цвета, а у девочки — пуховая шаль. Сама же она в какой-то куцей, сверхмодной фетровой шляпочке. На улице мороз. Дети греются у печки, рассказывают про Ленинград. Тетя Васса, пригорюнившись, слушает их, и выражение на ее мужиковатом лице с массивным подбородком такое, что Кольке зареветь хочется.

Накормив детей, тетя Васса взваливает на себя мешок с картошкой и отправляется в город. Туфли она уносит в котомке, а шалью повязывает девочку.

Сколько сил и тепла отдала она ему, Николаю. «А я год не появлялся и вестей не подавал». И вдруг мысль, которую он так настойчиво отгонял от себя все последнее

время, одолела его: «Останусь, возьму вернусь, и все. Снова на трактор, на свой, на колхозный трактор! И в поле!»

— А что, и останусь! — повторил он вслух. — Вот возьму и...

Зина сердито взглянула на него, начала нервно чистить ногти и хотела заговорить, но услышала голос тетки Вассы из кухни:

— Дожили! Некому на машинах-то работать. Эмтээсовские трактористы вон норовят урвать побольше или в город определиться. — Тетка Васса чем-то громыхнула. — И что за моду взяли нынче молодые — чуть чего так и в город, так и на казенный хлеб! А кто же его, хлеб-то, должен добывать?

Николай не отвечал. Спустя некоторое время тетка Васса позвала:

— Айдайте за стол.

Николай сразу поднялся, Зина медлила. Тетка Васса обратилась к ней:

— Не знаю, как вас приглашать — как знакомую или как родную?

— Приглашай как родную! — широко улыбнулся Николай и ободряюще поглядел на Зину.

Зина сощурилась и чуть побледнела:

— Нет! — резко ответила она и, заметив растерянность на лице Николая, еще раз крикнула, топнув ногой: — Нет!

Хлопнув дверью, она прогремела каблуками по ступенькам.

— Гляди-ка ты, обиделась на что-то? — с недоумением сказала тетка Васса. Она виновато поглядела на свои второпях мытые руки, одернула короткую кофту. — Меня испугалась либо жизни деревенской нашей. Чего ж ты сидишь-то? Бабочка, видать, манерная, поди, уговори.

— Не стоит, — махнул рукой Николай, обиженный и обескураженный. — Подумаешь, цаца! — Он пренебрежительно фыркнул, задетый за живое поведением Зины и тем, что она унизила тетку Вассу. Однако тетка Васса властно взяла его за руку и легонько подтолкнула к дверям:

— Тебе со мной не вековать.

Николай догнал Зину уже за деревней. Стараясь придать своему голосу беззаботность, крикнул:

— Алё, Зин, тебя какая муха укусила?

Она не ответила и прибавила шагу. Николай догнал ее и, натянуто улыбаясь, тронул за рукав.

— Отстань! — передернула она плечами, и губы ее непримиримо сомкнулись.

— Верно, что с тобой? — уж совсем серьезно и несколько растерянно спросил Николай.

— Что со мной? Что со мной? — зазвеневшим голосом выкрикнула Зина. — Закрутил мозги да еще спрашиваешь! Я ведь все вижу. Что, думаешь, слепая?

— Чего ты видишь?

— То и вижу, что душонка твоя прилипла к дряхлой халупе да к крестне этой, хромоногой.

— Ты это... крестную не задевай, — нахохлился парень. — Я твою мать ни одним словом не обидел...

— Чего-о? Мою маму! Ха-ха, попробовал бы тронуть! — презрительно сощурилась Зина. — Ты тетушкой своей покомандуй! — зло и вызывающе продолжала она и неожиданно запричитала: — Все вы — паразиты, обманщики, а я-то, дура, надеялась!

— Слушай, Зина, в чем я тебя обманул? Чего ты наговариваешь?

— Наговариваю? Не ты ли говорил насчет женитьбы, а? Вспомни-ка!

— Ну, говорил, и сейчас от своих слов не отказываюсь. Пойдем к крестной, и я повторю при ней.

— К крестной, в деревню? Вот ты куда меня тянешь! Что же ты мне, друг любезный, прикажешь бросить место в городе, размотать все барахлишко, мать побоку — и все это ради старой избенки да тетушки твоей?

— Просчиталась, значит?

Зина осеклась, поглядела на его непривычно холодное лицо и вдруг с отчаянием крикнула:

— Ты не просчитайся! Я из тебя хотела человека сделать!

— Ишь ты человекоделатель какой сыскался, — хмыкнул Николай. И тут же рассердился: — Вам с мамашей не человека, а работника надо в дом — дровишек напилить, поросенка заколоть. Ну, а я на это не гожд. Я на самом деле прирос душой к этой деревушке и, может, сейчас только понял это. Ты помогла — и на том спасибо. — Он говорил уже почти спокойно: — Давай спеши. Вон машины пришли...

— И поспешу!

Зина, не прощаясь, побежала в гору, повторяя на ходу:

— И поспешу, нечего мне здесь делать...

— Это так.

Николай остановился. Вдали призывно сигналили машины. Фигура Зины в сиреновом платье удалялась и удалялась. Вот ветер сорвал косынку с Зининой головы. Она наклонилась, подняла косынку, выпрямилась и стояла несколько секунд в нерешительности, глядя на неподвижного Николая. Потом она сорвалась и еще быстрее побежала по колючей стерне. Из-под ног ее выбивалась пыль и стреляли верткие кузнечики.

По коноплянику, качавшемуся под ветром, перепархивали щеглы. С поля к реке спускался трактор, кренясь на правый бок. «Тимошин трактор», — узнал Николай.

Ветер ударил в лицо, Николай протер глаза рукавом косоворотки, а когда оглянулся, машин уже не было, только перекопанное поле с островками картофельных куч виднелось вдали. Трещал трактор уже за яром на косе, радио выплескивало музыку на притихшую деревню.

Солнце садилось за гору. Оно еще не заосенилось, это страдное солнце, и припекало днями, помогая людям собрать с полей плоды трудов своих.

1955—1958

АРИЯ КАВАРАДОССИ

Весной сорок четвертого года наша часть после успешного наступления заняла оборону. Мы окопались на давно не паханном поле. Выдолбили ячейку для стереотрубы и вывели траншею в ближний лог, где еще лежал серый как пепел снег и росла верба.

Чуть влево раскинулась небольшая деревня. Население из нее эвакуировалось в тыл. Когда расцвели сады, эта деревня, облитая яблоневым и вишневым цветом, выглядела особенно пустынно и печально. Деревня без пугливых криков, без мычания коров, без босоногих мальчишек, без песен и громкого говора, даже без единого дымка и вся в белом цвету — такое можно увидеть только на войне. Лишь ветер хозяйничал на пустынных улицах и во дворах.

Он приносил к нам такие запахи, от которых мы впадали в грусть или в отчаянное веселье и напропалую врали друг другу о своих любовных приключениях. Выходило так, что у каждого из нас их было не меньше, чем мохнатых шишечек на той вербе, что распустилась в логу. Многие бойцы нашего взвода попали на фронт прямо со школьной скамьи или из ремесленного училища и, конечно, желали любить и быть любимыми хотя бы в мечтах. Должно быть, потому-то старшие товарищи никогда не уличали нас в этой, если так можно выразиться, святой лжи! Они-то знали, что некоторым из нас и не доведется изведать невыдуманной любви.

А весна все плотнее окружала нас, звала куда-то, чего-

то требовала. Ночами лежали мы с открытыми глазами и смотрели в небо. Там медленно проплывали зеленые огоньки самолетов и помигивали такие же бессонные, как и мы, звезды. Притаилась война в темноте, залегла. Даже слышно, как быстро и слитно работают в дикой, реденькой ржи кузнечики, а в логу, должно быть на вербе, неутомная пичужка, будто капельки воды из клюва, роняет: «Ти-ти, ти-ти». И похоже это на: «Спи-те, спи-те». Да какой уж тут сон, когда в душе сплошное беспокойство, оттого что сады цветут, когда бесчисленные кузнечики, будто надолго заведенные часики, отсчитывают минуты и целые весенние вечера, уходящие безвозвратно.

Пальба на передовой была лишь в первые дни, а потом как-то сама собой утасла, и только изредка поднималась заполошенная перестрелка или хлопал одинокий выстрел, вспугивая внешний перезвон птиц. Солдаты отоспались и теперь с утра до вечера строчили письма, смотрели затуманенными глазами туда, где нет окопов и траншей — дальше войны.

Иногда на передовой появлялась агитмашина и, когда опускалось солнце, над окопами разносился голос сдавшегося в плен арийца. С усердием уцелевшего на войне человека он призывал своих братьев последовать его примеру. Не знаю, как фашисты, а мы со страшной досадой слушали эту агитацию. Длинно говорил немец, а мы считали, что лучший оратор тот, который укладывает свою речь в два слова:

«Гитлер — капут!»

Немцы тоже вывозили на передовую свою агитмашину. Теперь уже пленный, Иван, в глаза которого всегда хотелось взглянуть в эти минуты, конфузливо спотыкаясь, пространно уверял нас в том, что на немецкой стороне не житье, а рай, и что неудачи их, дескать, временные, и что Гитлер уже двинул на восток «новое» секретное оружие...

Потом немцы крутили пластинки. Проиграв для заправки два-три победных фюреровских марша, они переходили на наши песни. Впоследствии мы узнали, что на этом участке в обороне было много итальянцев, которые уже не воспламенялись при звуках бравой музыки «райха», а своих, неаполитанских, должно быть, при себе не было. Вот они и заводили наши: «Катюшу», «Ноченьку», «Когда я уходил в поход». Играли они и старые русские

романсы: «О, эти черные глаза, кто вас полюбит», «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды».

А уже подходил к концу май. На одичавшем ржаном поле широко открыли яркие рты маки, засветились голубые огоньки незабудок и васильков. От сурепки и лютиков желто кругом.

Пчелы, майские жуки, божьи коровки летали до позднего часа, обивали пыльцу с цветов; на вербе требовательно запищали птенцы, и маленькая мама со смешным хохолком на макушке хлопотала целый день, добывая пропитание своему голосистому семейству. Вишни и черешни побурели. Завязи на яблонях окрепли, в налив пошли. Травы стояли по пояс. Пошлют солдата охапку травы нашить для маскировки — он целую поляну выпластает — забудется человек. Природа, невзирая на войну, продолжала цвести, рожать и плодоносить.

Стоишь, бывало, на посту или у стереотрубы, дежуришь, и такое раздумье возьмет насчет войны, насчет дома и всего такого прочего, что природу начинаешь чувствовать и понимать совсем не так, как раньше. Ну что для меня прежде могли значить эта верба, эта желтогрудая пичуга? Я бы и не заметил их.

Сижу я однажды у стереотрубы, размышляю, тоскую и смены жду. А смена будет среди ночи. Время тянется медленно. Вот зорька дотлела. Последние жаворонки оттрепетали в небе, камешками пали в траву, затаились до утра. Только перепела перестукивались, да из окопов слышался солдатский смех, звон железа и шарканье пилы. Солдаты — народ мастеровой. Сейчас всяк своим ремеслом удивить хочет.

Темненько уже стало, трава влагой покрылась, прохладой из лога потянуло. Свалился я на землю и вдруг слышу: впереди, в пехотной траншее, кто-то запел:

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают...

Я еще никогда не слышал этой песни. Новые песни ведь медленно на передовую пробирались. Но все, что в ней было, все о чем она рассказывала, я уже знал, переживал, выстрадал, и думалось мне: «Как же это я сам не догадался спеть эту песню! Ведь про себя-то я пел ее, дышал ею».

Мне не хотелось шевелиться, я даже дышать громко боялся. Но я не мог слушать один, не мог не поделиться с товарищами тем, что переполняло меня. И я уже хотел бежать и разбудить их. Но они сами почувствовали песню, сидели на бровках окопов и, когда я подбежал к ним, зашикали на меня: «Слушай!»

И я слушал.

Смерть не страшна...

Чепуха это! Смерть не страшна только дуракам. Но он все-таки молодчага, этот поэт. Он сказал: «Ты меня ждешь!» — и мы простили ему всё, потому что сразу сделались добрей, лучше. Нам хотелось сообщить друг другу о том, что вот мы услышали то, чего хотели, что наши сомнения и тревоги напрасны. Нас ждали и ждут.

— Кто ее сочинил, эту песню? Кто слова-то такие душевные составил? — спрашивали солдаты.

«Да не все ли равно! — думалось мне. — Скорей всего наш брат, фронтовик. Никому другому не под силу было бы заглянуть так глубоко в наше нутро и зачерпнуть там пригоршни скопившихся дум-мелодий».

Как мы жалели, что и у этой песни тоже есть конец и что певец из пехотного окопа замолк, обрадовав и расстрожив нас.

Солдаты стали расходиться. А мне хотелось еще услышать песню, и я сидел, ждал. Те солдаты, что помоложе, топтались, курили и тоже ждали чего-то.

— Еще давай! — закричал один из них неожиданно в темноту, но никто не отозвался.

А я, да и, наверное, не только я, молча требовал, просил, чтобы песня была повторена. С губ были готовы сорваться такие слова, какие в другое время мы посчитали бы «бабьими».

И он словно бы услышал нас. Он откликнулся. Оттуда же, из пехотного окопа, тихо и печально раздалось:

Горели звезды...

Опять звезды! Но это была какая-то совсем другая песня. Она звучала еще печальней первой. В тихой природе сделалось еще тише, даже по ту сторону фронта вроде бы все замерло.

...О, сладкие воспоминанья... —

с тревогой, в которой угадывалось что-то роковое, вымолвил певец; и нам стало жаль его, себя, тех, кто не дошел до этого поля, заросшего дурманом, не слышал этой песни, и тех, кто остался там, в сибирских и уральских деревушках, преодолевая в трудах и горестях тяжкие дни войны.

— «Тоска!» — прошептал сидящий рядом со мной боец. Но тогда я не знал, что это название оперы, и понял его как русское слово «тоска», и согласился.

Не знаю, артист ли пел в окопе. Скорей всего простой любитель пения. Голос его не был совершенным. Но хотел бы я увидеть профессионального певца, который хоть раз в жизни удостоился бы такого внимания, такой любви, с какой мы слушали этого неведомого нам молодого парня. А в том, что он был молод, мы не сомневались. Иначе не смог бы человек так тосковать, так взвизгивать до самой высокой выси и тревожить своим пением не только нас, но, кажется, и звезды далекие. Как ему хотелось жить, любить, видеть весну, узнать счастье! И нам тоже хотелось, и потому мы слились воедино. Он замирал — и мы замирали! Он боролся — и мы боролись! Но певец все ближе и ближе подводил нас к чему-то, и в груди у каждого становилось тесно. Куда это он нас? Зачем? Не надо! Не желаем! Но мы были уже подвластны ему. Он мог вести нас за собой в огонь, в воду, на край света!

...Но час настал,
И должен я погибнуть,
И должен я погибнуть,
Но никогда я так не жаждал жизни!..

Я уже потом узнал эти слова. А тогда я расслышал только великую боль, отчаяние и неистребимую, всепобеждающую жажду жизни!

Лицо мое сделалось мокрым, и я отвернулся от товарищей.

И вдруг по ту сторону фронта послышались крики, непонятные слова: «Русс — bravo! Италиана — viva! Пуччини — Каварадосси — Тоска — viva!..»

Неожиданно в окопах противника щелкнул выстрел. Он прозвучал как пощечина. В ответ на этот выстрел рванул спаренный пулемет из траншеи итальянцев, хлопнула граната. Нити трассирующих пуль частой строчкой начали прошивать почву, пальба разрасталась, ширилась, земля дрогнула от взрывов.

Мимо меня промчались люди; кто-то из них крепко, по-русски, ругался и повторял: «Не трожь песню, гад! Не трожь!..» Я не помню, как очутился среди этих людей и помчался навстречу выстрелам. Я тоже что-то кричал и строчил из автомата. Впереди послышались голоса: «Мины! Мины!» Но уже ничто не могло удержать разъяренных людей. Они хлынули вперед, перемахнули нейтральную полосу, смяли боевые охранения, ракетчиков, заполнили передовые траншеи противника и с руганью ринулись на высоту, которую мы не смогли отбить у фашистов ранней весной.

Здесь уже затихла схватка. Навстречу нам высыпала большая группа людей и побросала оружие.

Потом сделалось тихо-тихо. Даже ракеты в небо не взвивались.

Помаленьку обстановка прояснилась. Оказывается, между немецкой «прослойкой», оставленной для «укрепления», и их союзниками-итальянцами произошло столкновение. Италиянцы перебили фашистов из заградотряда и сами сдались в плен.

Утром мы перемещали наблюдательный пункт на отбитую высоту. Я тянул линию, шагал по ржи, заросшей маками, татарником, лебедой. За моей спиной трещала катушка.

Перепрыгнув через глубокую траншею, я увидел убитых в ночном бою солдат.

Ближе других лежал чернокудрый парень в черном мундире; изо рта его тянулась густая струйка крови. Спал чужой солдат сном вечным, не смаргивая мух, воровато обшаривающих его запавшие глаза. «Уж не он ли это первый крикнул «Вива!», услышав музыку родной земли?» — подумалось мне.

А совсем близко от итальянца, широко раскинув руки, лежал и глядел открытыми глазами в небо русский солдат. Казалось, он ловил солнце, падающее с небес ржащим снопом. Усики только чуть почерпили его верхнюю губу. Он был совсем-совсем молод. «Возможно, этот парень, этот солдат и пел ночью?» Я задумался, а потом смежил пальцами холодные веки солдата.

Похоронили мы его и итальянца под вербой. Хохлатая пичужка с опаской глядела на свежий холмик и не решалась подлететь к гнезду. Но вскоре пообвыкла и снова захлопотала, зачиликала.

...Это было давно, в войну. Но где бы и когда бы я ни слышал арию Каварадосси, мне видится весенняя ночь, темноту которой вспарывают огненные полосы, притихшая война и слышится молодой, может, и не совсем правильный, но сильный голос, напоминающий людям о том, что они люди, лучше агитаторов сказавший о том, что жизнь — это прекрасно и что мир создан для радости и любви!

ЖИВАЯ ДУША

Живут в лесном поселке два друга.

Один из них высоченный, широкоплечий, с круглым лицом, в которое, казалось, вlepили зарядом картечи, но картечь только сделала вмятины на твердой коже и отскочила.

Другой — низенький, кривоногий, с картавеньким говорком и до невозможности курчавой головой.

Первого лесозаготовители слышали только в дни полочки. Выпив литр водки, свою минимальную дозу, он затыгивал: «Там в мешках были зашиты трупы славных моряков» — и при этом так печально смотрел куда-то мимо людей, что уборщица тетка Секлетинья начинала сморкаться в передник.

Другой же беспрестанно тараторил, сыпал прибаутками, побасенками.

Один из них работал трактористом, другой — чоке-ровщиком. Верховодить должен был старший и по возрасту и по работе, но отчего-то главенствовал второй. Он звал своего тракториста игриво — Жорой, а тот его добродушно — Петрухой.

Никто не смел потревожить Жору, когда он в горестном оцепенении тянул глухим, простуженным голосом песню. Лишь Петруха смело подсаживался на его кровать, обнимал друга за могучие плечи и тенорком подтыгивал: «Море знало, волны знали...»

Голос Жоры медленно угасал. Жора кренился на плечо своего помощника, и Петруха терпеливо ждал, когда

тот отойдет ко сну. Осторожно свалив друга на подушку, Петруха подолгу растирал онемевшее плечо.

Во сне Жора скрежетал зубами. Люди в общежитии, проходя мимо, сожалеюще вздыхали, а тетка Секлетинья разувала Жору и подолгу сидела возле него, скорбно подпервшись руками.

Был Жора в войну моряком. Корабль, на котором он плывал, немцы потопили в Балтийском море. Жору ранили, и он попал в плен. Его подлечили и показали человеку, который похлопал Жору по спине, как ломового коня, а потом удовлетворенно прищелкнул пальцами, и Жора оказался на руднике. Может быть, виделось Жоре во сне, как плюгавенький пемчик подпрыгивал, чтобы дотянуться кулачишком до его лица. Может быть, снился ему весенний день, гул самолетов — своих самолетов! Заслышав его, Жора рванулся наверх, а навстречу ему надсмотрщик, плюгавенький, золотушный, воробьиной грудью дорогу преграждает, лопочет сердито. Хватил Жора куском породы по башке этого фашистского холуя, перешагнул через него и вместе с толпой пленных выбежал из рудника на солнышко, чтобы пережить радость победы. Но пережил самую горькую обиду в жизни. Его заподозрили в измене Родине, и не по своей воле оказался он на Урале, в далеком леспромхозе.

Прошло несколько лет, пока обнаружилось недоразумение и Жору восстановили в правах, дозволили именоваться советским гражданином.

Замкнутый от природы, Жора сделался еще более нелицеприимным. Один раз попробовали расспрашивать Жору лесорубы, оторвали от печального созерцания чего-то, известного только ему. Моряк, вместо того чтобы разговаривать, вдруг разбушевался. Общежитие было разгромлено, население его спасалось бегством в близлежащий лес.

Три дня ходил после этого случая Жора как обваренный. Виногато глядел на людей, глазами молил их простить его, а говорить ничего не говорил. Ребята больше к нему не приставали. Девушки же всегда его сторонились, а теперь и подавно.

Вечером Жора сидел неподвижно в углу барака, смотрел, как люди варили картошку, рубились в домино, жарили до красноты печку, писали письма. Писать ему было некуда и некому.

Но вот однажды в бараке появился новый парень, а

может, и мужичок — возраст его определить было трудно. Из видавшего виды солдатского вещмешка он вынул домашние калачи, лук, горбыль сала и рядом со всем этим добром с пристуком поставил пол-литра, приговаривая:

— Живем не скудно, получаем хлеб попудно. Душу не морим, — ничего не варим!.. А ну, герои-лесорубы, навались! Распатроним это хозяйство в честь знакомства. Меня Петрухой зовут. Я — мужик вятской, из той самой губернии, где народ хватской и догадливый. Если, к примеру, трава на бане вырастет, мы ее не косим, а корову на баню волоком, чтобы съела.

Наговаривая, Петруха пододвинул к столу, похожему на нары, скамейки, собрал по тумбочкам кружки. Со словом: «Минуточку!» — взял из рук одного парня складной ножик, подмигнул тетке Секлетинье и первой ей поднес угощение — пару глотков на две кружки. Тетка Секлетинья начала церемонно отказываться, говорить, что грех это, но Петруха уломал-таки старуху, и она оскоромилась, глотнувши зелья. Замахала тетка Секлетинья руками, как ворона крыльями, глаза ее из орбит подались. Петруха на кончике складника, с соблюдением вежливости, сунул ей в беспомощно открытый рот кубик сала. Уборщица повалила в буззубом рту сальце и с испугом спросила:

— Это что же за вино такое, аж надвое душу перешибает?

— Самодельное, бабка, самодельное. У меня все самодельное. И сам я самодельный...

— А подь ты к лешему! — беззлобно отмахнулась от него тетка Секлетинья.

Ребята тяпулись на Петрухин говор, как верующие на колокольный звон.

Конечно, на такую ораву Петрухиной поллитровки не хватило. Нарядили тетку Секлетинью посыльной к продавцу, поскольку магазин уже был закрыт. Она, как всегда, поворчала, побранилась и пошла уламывать продавца, выговоривши при этом условие, что в общежитии ничего не будет «поломано» и не получится никакого озорства. Ребята, как всегда, дружно клялись «сохранить вверенное ей хозяйство в норме».

Из того же рюкзака Петруха вынул завернутую в домашний рушник двухрядку, и пошло веселье. Петруха так вывернул у гармони меха, такие штуки начал выделывать кривыми ногами, что парни лезли целовать его от восхищения.

И вдруг Петруха заметил одинокого человека, который с тоской и досадой косился на гуляющую публику.

Бросил гармонь Петруха, вылил из чьей-то поллитровки водку, как из своей собственной, и к Жоре с кружкой:

— А ну, даври! Размочи соль на душе!

— Не хочется.

— Ну-у? — понарошке удивился Петруха. — Вот так конфуз, а я тебя за морячка принял. Гляжу: тельник, грудь — все в ажуре. Звиняюсь... — Бесенята в глазах Петрухи так и подпрыгивали, так и метались.

— Ну ты и парень! — покачал головой Жора. — У нас матрос один, вроде тебя, служил. Бывало, на камбузе травить начнет — стон стоит... Убили...

— Так помянем же героическую личность...

С этого началась дружба.

И с тех пор, как появился в общежитии Петруха, моряк больше не превращал казенный инвентарь в утильсырье и реже стал во сне скрежетать зубами. Сумел Петруха проникнуть в непостижимо сложное нутро моряка. Жора смотрел на друга влюбленными глазами. А в поселке все чаще и чаще слышался хвастливый голос Петрухи: «Мы с Жорой», «я и Жора», и «у нас с Жорой».

Однажды Петруха затеял драку в клубе, разбил нос киномеханику, но никто за парня заступиться не решился. Это понравилось Петрухе, и он стал еще чаще хорохориться.

Долго терпели поселковые парни от него обиды, но однажды не выдержали и отбили бы Петрухе печенки, да откуда-то взялся Жора, расшвырял дерущихся, как щенят. С этих пор он везде и всюду сопровождал своего помощника грозным стражем.

Лишь деловые вопросы Петруха решал сам, без участия Жоры. Он скандалил в конторе насчет нарядов, доставал где-то зимнюю смазку, новые запчасти, ключи. Зарабатывали они больше всех трелевщиков. Многим думалось — заработки эти от силушки и стараний Жориных. Петруха не рассеивал в людях этого заблуждения и даже другу не рассказывал о том, как «жмет масло» из начальства.

Если по нарядам выходил небольшой заработок, Петруха со скучающим видом говорил так, чтобы слышал начальник, старый, слабовольный человек, что надо ему с Жорой брать расчет и подаваться из этой шарашкиной конторы туда, где умеют по-настоящему ценить работяг.

Слово «работяга» Петруха употреблял часто и произносил его с особым нажимом и значением. Жорой на участке дорожили и упрасивали Петруху не говорить моряку ничего о расчете, обещали найти незаписанную древесину и «находили».

В дни получек Петруха переводил по почте деньги. Он объяснял Жоре, что у него в деревне живут жена, малые дети и престарелая мать, живут неважно. Вот он и подался из колхоза на заработки.

Ходили по поселку слухи, что Петруха вовсе и не женат и что он изъездил по вербовке всю страну. Однако никакие наветы не мешали дружбе тракториста и помощника. Жора тащился за Петрухой на почту, с благоговением и нежностью смотрел, как тот усердно заполнял переводный бланк, и настойчиво совал ему в руку скомканные полусотенки. Петруха отталкивал Жорину руку, отказываясь изо всех сил от его денег, а Жора умоляюще бубнил:

— Ну возьми же. Пусть там от меня гостинцев ребятишкам купят...

Но, как ни ловчился Петруха, язык все-таки подвел его.

— Намудрили опять с нашими нарядами в конторе, — сообщил он однажды Жоре и, подмигнув, похвалился: — Да я все раскопал, даже пяток кубометров за вчерашний день лишних сыскал.

Жора пристально глянул на него, собрался что-то сказать, но раздумал. Лишь после смены он остановил трактор возле приемщицы и обронил:

— Пять кубов нам сегодня не записывай.

— Почему?

— Петруха еще вчера их оформил.

— По ошибке, что ли?

— Скрохоборничал.

Жора с силой нажал на рычаг скорости, и удивленная приемщица исчезла с глаз. Петруха, сидя рядом с Жорой, снисходительно улыбался, но глаза его при этом были растерянные.

Теперь Петруха все чаще стал ловить на себе внимательные взгляды друга. Чувствовал он себя под этими взглядами беспокойно, начинал слишком уж весело похохотывать, покровительственно хлопать Жору по плечу.

Как раз в это время появился на участке новый технорук, этакий вчерашний студент, в клетчатой рубашке,

материя которой, по мнению Петрухи, годилась на бабью юбку, но отнюдь не на мужскую одежду.

Фасонистая рубашка на техноруке быстро выцвела, припачкалась смолой, и сам он почернел на солнце, и нос у него облупился. Удивительно въедливым, настырным и веселым оказался этот студент. Он быстро и, как показалось Петрухе, безо всяких усилий затмил его, наипервейшего балагура, и, мало того, не позволял «жать из себя масло».

Петруха тихо и накрепко возненавидел студентика, подковыривал его при всяком удобном случае. Жора не обращал на технорука никакого внимания, работал, как прежде, в полную силу, без грома и шума.

Зато технорук все внимательней присматривался к моряку.

На участке строился детсад. Рабочих не хватало, и комсомольцы после смены стали помогать строителям. Однажды технорук пришел в общежитие и позвал Жору.

— Я не комсомолец, — буркнул Жора и завалился на кровать.

— Выкушали? — прищурился Петруха. — Рекомендую кваском запить, потому как водку вам нельзя, водку могут употреблять без ущерба для здоровья только беспартийные, вроде меня и Жоры.

С этими словами Петруха вынул из тумбочки початую бутылку, эффектно наполнил два стакана и один протянул другу. Но Жора отстранил стакан. Петруха укоризненно покачал головой, глядя на технорука:

— Вот, видите, испортили хорошему человеку аппетит и настроение.

— Хороший человек с дрянью не водится.

— Вы это о ком? — вежливо поинтересовался Петруха, приподнимаясь с табуретки.

— Все о том же.

— А все-таки?

— Хотя бы о вас.

Петруха смерил некрупную, еще по-юношески угловатую фигуру технорука презрительным взглядом и, покладному прищепгывая, выдавил:

— Выйдем, юноша, отседа, чтобы в общежитии пыль не поднимать. Культура — залог здоровья...

— Драться?

— Да нет. Какая может быть драка? Я вам просто дам по шее разок и отпущу с Богом.

Технорук закусил губу, огляделся. Ребята в общежитии молча и с интересом наблюдали за ним. Встретившись с его взглядом, они опускали глаза. На этих надеяться нельзя, никто из них даже из барака не выйдет.

Жора как будто дремал. Его глаза чуть светились сквозь прямые, негнувшиеся ресницы.

Губы технорука тронула усмешка, он решительно направился к выходу.

Петруха сделал несколько торопливых глотков прямо из бутылки и, вытирая губы рукавом, весело заявил:

— Сейчас наш начальничек маму кричать будет. Потеха!

Из угла раздалось тихо, но так, что ребята на соседних койках расслышали:

— Больше заступаться не стану...

Что было после этого на улице — неизвестно. Только принесли Петруху связанного и бросили, как мешок, на кровать. Бессильно рыдая, он вопил:

— Где есть правда? — Подняв голову, Петруха смотрел в затылок Жоре и просил: — Дру-уг, развяжи!

Но Жора спал до того крепко, что Петруха не мог его добудиться. Петруха искусал всю подушку и успокоился поздно, с перьями во рту.

Назавтра технорук встретил тракториста с помощником как ни в чем не бывало. Только глаза его шурились чуть лукаво и губы нет-нет да трогала легонькая усмешка.

Вечером он снова пришел в общежитие и снова позвал Жору на строительство.

— Ну что ты пристал к нам? — бешено заорал Петруха. — Мы смену проишачили. Кубики дали — и отшейся! — Он уже не обращался к начальству на «вы».

Ни тракторист, ни помощник на стройку не пошли. Однако на другой день Жора прямо из столовой двинулся к детсаду. Петруха остервенело прошипел ему вслед:

— Жванина!

Технорук совершенно спокойно встретил Жору и велел ему прибавить лучинки к стенам для штукатурки. Жора поглядел на мелкие гвоздики в банке, на хрупкую drankу и с улыбкой сказал:

— Неподходяще.

Ему предложили копать ямы под столбы. Жора согласился.

А весной начальник утащил Жору на охоту, после чего сам моряк обзавелся ружьем и бродил по лесу один. Дичи

он почти не приносил, но все свободное время пропадал в горах и пить перестал даже в дни получек.

Петруха вовсе помрачнел, прекратил разговоры с Жорой и даже намекнул ему, что уйдет в помощники к другому трактористу. Но Жора очень долго не замечал демонстративного молчания своего помощника и намеку его как будто не придавал никакого значения. Тогда Петруха запил, а напившись, тянул все одну и ту же песню: «Море в ярости стонало...», чем, видимо, и пронял душу Жоры. Моряк начал униженно выслуживаться перед своим помощником, а тот так куражился над ним, что люди плевались от досады и огорчения за бывалого человека.

Так продолжалось до самого лета. А в жаркий июньский день в лесу у Жоры с Петрухой произошел разрыв, и окончательный. И случилось это из-за цыплят рябчихи. Из-за крохотных головастых цыплят.

Рябчиха выскочила из-под сваленной ели, к которой Петруха прикреплял чокер — трос, и побежала. За ней посыпались бескрылые, пуховые цыплята. Мать в панике завлекла детенышей в муравейник, и на них напали хозяйева-муравьи. Цыплята беспомощно бились в муравейнике, с писком открывали желтенькие клювики, а мать металась вокруг, хлопала крыльями, совершенно потеряв голову и забыв о предосторожности. Иначе она увидела бы, что к ней с раздувающимися от азарта поздрями подкрадывался Петруха. Он уже размахнулся, чтобы сразить птицу палкой, но за кисть его схватила железная рука.

— Рехнулся! — донесся до Петрухи дрожащий от ужаса или от гнева голос Жоры. — У нее малыши, а ты...

Жора бросил Петруху в сторону и вытер руку о штаны с таким видом, будто держал в ней склизкого лягушонка. Затем он с непостижимым для него проворством подскочил к муравейнику и начал выгребать оттуда рябчат. Моряк брал беспомощного цыпленка нежно, как хрупкую елочную игрушку, и своими громадными пальцами отрывал от него муравьев.

— Экая ты зверская букашка! — гудел он беззлобно. — Ребенку в глаз впился, тебе бы эдак, идолу! У цыпушки ведь тоже живая душа.

Жора собрал цыплят в фуражку и, что-то наговаривая, пошел в кусты. Перелетая с сучка на сучок, за ним двинулась мать. Мимо Петрухи Жора прошел с таким видом, будто перед ним был пень.

Когда Жора появился из леса, Петруха с натянутой улыбкой, но как можно небрежней сказал:

— Во, охотник! Птичку пожалел! А сам, говорят, немцу каменюкой башку размозжил и...

Петруха осекся, заметив, как перекосила большое доброе лицо Жоры страшная судорога. Моряк стиснул зубы, двинулся на тщедушного Петруху с таким видом, словно собирался его растоптать:

— Поленницы из мертвых не видел? А я видел! Убил? Не человека я убил! — Жора остановился, закрыл глаза. — Сотни! Нет, тыщи! Без домовин, нагие, в чужой земле... — Моряк тяжело поник, медленно разжал кулаки, посмотрел зачем-то па узловатые руки в ссадинах и мазуте, а затем убрал их за спину и устало закончил: — Уходи! Ровно букашка ты, в глаз впился... кабы худо не вышло.

* * *

Утром следующего дня, получив наряд, Жора взял ручку, обмакнул перо в чернильницу и резко вычеркнул из наряда фамилию Петрухи. Технорук, молча наблюдавший за Жорой, сощурился и спросил:

— Не сработались, значит?

— Нет.

— Давай сюда наряд.

Технорук, не обдумывая, вписал на место Петрухи другую фамилию и придавил наряд пресс-папье так, что у Жоры пропала охота возражать. Он медленно складывал вчетверо наряд, засовывал его в карман комбинезона, а молоденький технорук с облупленным носом как будто ждал чего-то, и тракторист как будто собирался заговорить, но лишь сказал: «Добро» — и ушел, привычно наклонившись в дверях, — они для него были низки.

Возле трактора Жору поджидала Софья Проскурякова — солдатская вдова, мать троих детишек, его новая помощница.

А насчет рябчиных цыплят так в поселке никто ничего и не узнал, да и, прямо сказать, лесорубы особенно не старались узнать, почему расстроилась дружба у Жоры с Петрухой. Иной раз люди как будто затем и сходятся, чтобы разойтись.

ГЛУХАЯ ПРОСЕКА

Иван Терехов любил ходить на работу просекой. Просека эта похожа на морщинку, ровно черкнувшую по доброму, немного угрюмому лицу тайги. Уныло тянулась просека между тихими елями, пихтами и местами вовсе заглухала, скрывалась в лесу.

Тайга нехотя и спсходительно раздвигалась, высвобождала ей путь, и она текла, текла...

На забытой просеке покой. Следы людей давно затаило мохом в сырых местах, бурьяном и шиповником — в сухих. Кое-где на обочинах просеки стенкой выстроился тонкий рябинник. Осенью просека походила на праздничную улицу. Стаи сварливых дроздов слетались сюда на кормежку, а на утренней зорьке из ельника выпархивали горькие рябчики. Жил здесь и старый бородатый глухарь. Он срывался почти из-под самых ног с таким шумом, что у Ивана сбивалось дыхание и он, вздрогнув, останавливался.

Когда Иван подружился с Галиной, они стали ходить по просеке вместе. Однако лесная щель скоро надоела девушке, и она потянула Ивана на растерзанную, но многолюдную дорогу. Иван долго упирался, пробовал ходить по просеке снова один, но одному уже было скучно, да и зима подошла — завалило просеку рыхлым снегом. На пучках мерзлых ягод пристроились белые комочки, одавили гибкие ветви рябины. Густо завесилась просека белыми фонариками, под которыми ярко горела мерзлая ягода — рябина.

Старого глухаря Иван все-таки подкараулил, застрелил, и делать здесь стало вовсе нечего.

Утро. Иван ждет Галину. Она в избу заходить стесняется и робко стучит в кухонное окно. Мать, не поворачивая головы, басит:

— Шмара твоя ломится. Не слышишь, что ли?

Иван слышит не только стук, но даже скрип валенок, приближающийся к дому. Парень суетится. Хочется ему проворно выскочить на улицу, но в кухонных дверях стоит широкобедрая мать с ухмылкой. Эта ухмылка, взгляд суровых глаз закаленного в кухонных битвах бойца как бы говорят: «И это есть Терехов? Мой сын? Тряпка!» Под взглядом матери внутри Ивана все леденеет, движения его становятся угловатыми, деревянными. На крыльцо он выходит не спеша, вразвалку, с хмурым и чуть надменным выражением на лице. Мать одобрительно щурит левый глаз, и усагая верхняя губа ее начинает сдвигаться вбок, меняя ухмылку на торжествующую улыбку.

На улице Иван перевел дух и, приветливо улыбнувшись свегловолосой, худенькой девушке, сунул ей бутылку с молоком и небольшой сверток с хлебом. Галина осторожно опустила бутылку в сетку и хотела уже завязать ее, но парень подал еще один сверток. В темной тряпице, сквозь которую проступили рыжие пятна, было что-то тяжелое.

— Прихватил это самое... тоже еда... — ответил на ее вопросительный взгляд Иван и поспешно перевел разговор на другую тему. Хотел он взять девушку под руку, да оглянулся на окна своей избы и торопливо пошел немного впереди Галины.

Сразу от крайнего дома начинался лес. Собственно, то, что росло вокруг поселка, уже нельзя было назвать лесом. Остались редкие, чудом уцелевшие деревья. Возле крыльца крайнего дома распустила махровые от мороза ветви старая береза. На ее вершине вертелась и стрекотала сорока. Где-то раздраженно требовала к себе внимания коза... Над поселком стояли длинные, почти неподвижные дымки.

На лесосеке механик разогревал электростанцию. Она уросливо, с перерывами, редела, тревожа сонный лес треском и громкими хлопками.

— Жениху и невесте! — крикнул механик и приветственно помахал рваной варежкой. Галина опустила глаза, залилась краской, а спутник ее чуть усмехнулся, легко

бросил приготовленную электропилу на плечо и зашагал по глубокому снегу в лес. За ним черным ужом бежал и извивался гладкий кабель.

— Покури, Иван, куда торопишься? — снова крикнул механик, перекрывая шум. — До начала смены еще полчаса.

— Надо на приданое зарабатывать, — не оглядываясь, громко бросил Терехов и с улыбкой посмотрел на Галину.

Девушка не ответила на его улыбку. Ее задумчивые зеленоватые глаза прикрылась закуржавевшими ресницами.

— Да ты не стесняйся, дуреха. Привыкнуть уж пора, — грубовато сказал Иван и прижал свободной рукой голову девушки к себе. Он поцеловал ее в раздурянившиеся щеки, а потом в полуоткрытые холодные губы.

Галина осторожно высвободилась из его крепких рук и смущенно проговорила:

— Нашел место! — Она затянула потуже пестренький платок вокруг шеи, повесила сетку с провизией на сучок и тихо обронила: — Давай работать, раз уж пришли.

— Ты чего сегодня? — поинтересовался Иван.

Девушка не отозвалась. Она утоптала снег вокруг небольшой ели, подставила вилку. В тихое утро вонзился острый визг пилы. Ель чуть заметно качнулась и, ломая ветви на других деревьях, рухнула в снег. Еще не осело снежное облако вокруг, еще не успокоились потревоженные шумом синички, дремавшие в лапках пихтача, а рядом с поваленным деревом уже легло другое. Иван работал уверенно, ловко. Рукавицы у него заткнуты за пояс, шапка сдвинута на затылок, телогрейка настежь.

Галина исподтишка любовалась им. Нравился ей вот такой Иван, чубатый, хваткий в деле. Но она не считала себя его невестой. Слишком мало знали они друг друга. И тем не менее людская молва сделала свое дело. Любители даровой выпивки уже напрашивались на свадьбу. Иван сначала отшучивался, а потом как-то незаметно вошел в роль жениха. Несколько раз Галина пыгалась поговорить с ним, сделать так, чтобы унялись разговоры, но Иван, не дослушав ее, начинал посмеиваться. Страшный он, этот Иван. На работе один, в клубе — другой, дома — третий. Никак не может Галина попристальней разглядеть этих трех Иванов, ускользают они от ее ненаметанного глаза. А дни идут, валяются, как деревья под пилой Ивана, и исчезают, оставляя лишь какие-то клочки воспоминаний, то

мягкие и ласковые, как пихтовые ветки, то острые и хрупкие, как нижние сучки старых елей. Такая ли она, любовь?

Галина тряхнула головой, заслышав голоса.

Мимо них тянул кабель электропилищик Закир Хабибуллин. Он приветствовал Ивана и Галину широкой, дружеской улыбкой. Галина помахала ему вслед, а Иван сделал вид, будто не заметил электропилищика. Лишь минут через десять нехотя спросил:

— Ну, как там дела у передовика?

— Вчера ты сравнялся с ним.

— Вот видишь! — обрадовался Иван. — Я ж тебе говорил.

— У Закира плохая цепь, — заметила Галина, — иначе тебе не догнать бы его.

— Э-э, брось! — махнул рукой Иван. — При чем тут цепь? Пороху у него мало, вот что я скажу. Погоди, товарищ помогайло, мы его еще обставим! — добавил Иван и хлопнул Галину по плечу.

Осенью на лесоучасток приехала большая группа рабочих, среди которых был и старый, опытный лесозаготовитель Закир. Он скоро обогнал передового электропилищика Ивана Терехова. Иван потемнел, замкнулся, на время затих его громкий окаяющий говор.

Долго пришлось биться Ивану, немало пролить поту и попортить крови, пока он догнал Закира. А теперь он обгонит его, непременно обгонит. Докажет этой русалке в ватных брюках, на что он годен, и матери докажет. Мать насмехается каждый день, говорит, мол, на запятках у «татарвы» сын лесоруба Терехова стал ходить. А покойный Терехов гремел по всей округе, в мастера вышел, орден получил.

Все яростней звенела в руках Ивана электропила. Работал он без перекуров, стиснув зубы. Когда Галина ненадолго отлучилась, он свалил несколько деревьев друг на друга, комлями в разные стороны.

— Приемщик ведь может забраковать, — несмело заметила Галина.

— Ладно, помалкивай, — сморщился Иван.

Галина обиженно смолкла. Иван между делом косил на нее черные глаза.

— Ну, чего скисла? — примирительно спросил он. — Устала? Отдохни.

— Не устала я, — тихо произнесла Галина и, помол-

чав, добавила: — Переменчивый ты какой-то, Ваня, непонятный...

— Вот, опять за рыбу деньги! — с досадой хмыкнул Иван и, потрепав ее по голове, рассмеялся: — Трудно тебе, Галька, будет с моей матерью.

— А я и... — начала Галина, но в это время оборвался голос пилы на соседней делянке, точно лопнула струна на высокой ноте.

— Закир кончился! — подпрыгнул Иван и, не дослушав девушку, загоготал: — Пор-рядок! — Он хлопнул рукавицами о пенек, сбросил телогрейку и остался в одном свитере. Пила затрепетала в его руках.

Вскоре, проваливаясь в снег, появился низенький, узколицый Закир. В руке он нес порванную цепь.

— Вот, — показал он обрывки цепи Ивану, — пропал сэп, бригада сидит, участок план не даст, получка маленький будет. — И, помолчав, сокрушенно вздохнул: — Берег, берег сэп... Лопнула... Старая...

Галина пристально глядела на Ивана. А он, пряча от нее глаза, перебирал в руках цепь Закира, как монашеские четки, и сочувственно качал головой:

— Да-а, Закирка, позагораешь ты теперь: цепей-то на складе нету. На, закури с горя.

Закир взял папироску, размял ее, наладился было прикурить от папиросы Ивана, но быстро взглянул на него и заговорил, глядя парня по рукаву:

— Иван, тибя ведь есть сэп. Мастер говорил, много сэп был, старый пильщики тащили! Бригада сидит...

— Да ты что?! — придавая лицу грозное выражение, отодвинулся от Закира Иван. Галина не спускала с него глаз. Лицо ее посуровело и как будто осунулось, а широкие глаза, в которые смотреть иной раз жутко, сделались холодными. Иван смешался, но тут же справился с собой и скучным голосом закончил, отворачиваясь от Закира:

— Кто стащил, к тем и топай, а мне нахаловку не пришивай...

Закир отдернул руку от Ивана, сокрушенно зачмокал губами. И тогда Галина, не говоря ни слова, подошла к дереву, сняла с сучка сетку, выгатила сверток в темной тряпиче и подала его старому электропильщику:

— Ступай работай, Закир.

Хабибуллин развернул тряпку и возликовал:

— Сэп! Ай, спасибо, девушка, бригадой спасибо.

Он пошел от них, но повернулся. Его морщинистое лицо было строго. Тронув Галину за плечо, Закир с расстановкой, веско произнес, показывая на Ивана:

— Жалей своя жизнь, девушка.

И побрел прочь...

Иван крушил руками сухую ветку, а Галина утаптывала снег под густой пихтой. Вот уже валенки коснулись ребристых корней, между которыми желтела осенняя трава, а она все так же механически перебирала ногами.

— Довольно танцевать! Клуб для этого есть! — донесся до Галины окрик Ивана. Она вздрогнула. Он отстранил ее, сам подставил вилку под дерево и, включив пилу, ожег девушку злым взглядом: — В добрые попала!

Галина попятилась от него — и ухнула в снег почти по пояс. Иван выключил пилу и протянул ей руку. Галина отстранила руку, выбралась из снега сама. До вечера работали в напряженном молчании, а по дороге в поселок Галина предложила:

— Давай отложим свадьбу.

— Ты в уме? — уставился на нее Иван. — Все знают, что в Новый год наша свадьба, мама семь ведер браги поставила.

— В вашем доме брага не пропадет.

— Жмотами считаешь?.. — пачал Иван, думая, что она торопливо начнет отрицать это. Но девушка молчала, и тогда Иван взорвался: — И чего из себя изображаешь? А тут еще татарва эта...

— Не обзывай человека! — строго оборвала его Галина и с укоризной добавила: — Ты ведь меня даже не спросил, а уже брагу заказал.

Иван поник. Из последних сил он старался убрать с лица жалкую улыбку.

— Я думал, ты без всяких яких. — И тут же его голос взвился до фальцета: — Да кто ты такая? Чего ты ломаешься, как копеешный пряник? Да за меня любая, стоит только глазом мигнуть. Мы — Тереховы!

— Не знаю. Не знаю. Может быть, — медленно молвила девушка и, подумав, закончила: — Есть, конечно, люди, которые меряют жизнь и твоей меркой...

Они опять надолго замолчали. Иван жевал незажженную папиросу. Возле тереховского дома Галина скороговоркой бросила: «Всего доброго» — и прибавила шагу, направляясь к общежитию.

Иван протянул было руку, хотел остановить тоненькую даже в телогрейке девушку, которая, как русалка, без колебаний заходила в студеную предвечернюю синеву, будто в призрачное море, переливающееся гасучими снежными звездочками. Но во дворе мать звякнула подойником, и парень побрел домой.

КОРШУН

Отыскав удобное место на обрывистом берегу, я расположился под толстым осокорем, подмытым течением, и достал из рюкзака еду. Вода прибывала. Охота была закончена. Я решил немного передохнуть — и домой. Могучий осокорь мелко дрожал, и солнечные блики металась по его стволу, путались в набухших ветках. Птичий гомон несся из травы, с осокоря, с неба. Им было переполнено все вокруг.

И вдруг это веселое разноголосье разом утасло. Трясогузка с черной ермолкой на голове вспорхнула с нижнего сука осокоря и затаилась в мокром тальнике. С острова медленно поднимался коршун. Он неторопливо, с хозяйской степенностью закружился над рекой, подобрав когтистые лапы. Я попытался поймать его на мушку, но хищник, почувствовав ружье, свалился на левое крыло, пошел было вниз, а потом стремительно взмыл над островом, мелькнул на солнце грязным пятном и постепенно растворился в синеватой дымке за горой.

Я бросил нарядного чирка под дерево и, привалившись к осокорю, задремал.

— Э-э, мил человек, приехали! — услышал я голос и встряхнулся. Вода поднялась еще выше и с шипением кружилась возле моих ног. Я отодвинулся и повернулся к человеку, который с насмешкой поглядывал на меня.

— Спать надо у места, — с укором сказал он. Затем, нагнувшись, снял с плеча мокрый мешок, взвесил на ладони моего чирка и прибавил: — Фунт, не боле.

Он пренебрежительно отбросил чирка, вытер о голенище кирзового сапога ладонь и спросил:

— Папироска найдется?

Аппетитно затянувшись дымком, незнакомец, как бы оправдываясь, заговорил:

— Курево-то у меня есть, самосад, через колесо ломаный. Надоел. — Он вздохнул, сокрушенно почмокал губами и протянул: — Н-нда-а, живем — не люди и помрем — те покойники. Вы вот папиросочки покуриваете, с ружьишком развлекаетесь — все сорок удовольствий... Я это не в укор лично вам. Я это себе в укор, потому как своевременно не сообразил, где будет жизнь настоящая. Рассуждал так, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним женихом в городе, и вот...

Одет он был бедно. Телогрейка в заплатках, штаны — тоже. Старый сукошный картуз прожжен на затылке, и в дыру, сливаясь с подпалиной, высовывался клочок рыжих волос. Только сапоги новые. К этому наряду очень не шло обличье незнакомца. Он плотный, коренастый, с красным, немпого лоснящимся лицом. На лице этом нет ничего выдающегося — все под один цвет. Лишь глаза несколько выделялись: маленькие, выпуклые, они напоминали пятнышки плесени на сдобном, но залежавшемся каравае. Странное свойство имели эти глаза. Когда они смотрели на меня, в них было что-то простодушное, но, как только глаза эти начинали глядеть в сторону, в них сразу появлялась настороженность, они темнели, на лице появлялось выражение сомнительности.

Пока я разглядывал собеседника, в мешке его что-то зашлепало, и он, торопливо вскочив, сел на мешок. «Уж не рыба ли?» — подумал я, вспомнив, что почти во всех протоках и ручьях входы перегорожены и поставлены морды. Сейчас рыба нерестится, в заливы на траву валом валит.

Мужичок пазвался Сергеем Поликарповичем Ковыршиным. Я сказал, что фамилия его мне знакома. Он изумился, но, когда узнал, что я работаю в газете, удивление его сменилось радостью.

— Мать моя! На ловца зверь! Да мне дозарезу надо поговорить с представителем печати, а в город вырваться не могу, горячая пора наступила.

Последние слова он сказал как-то двусмысленно, и мне снова подумалось, что у него в мешке — рыба. Предуп-

реждая мое замечание, что в горячую пору надо быть в поле, Ковырзин заявил, взваливая мешок на плечо:

— Я минюм трудодней еще зимой выработал. Пошли, что ли? — И, больше не оборачиваясь, он зашагал к деревне, расположившейся на склоне горы. Я постоял в пережительности и двинулся за Ковырзиным. Очень заинтересовал меня этот человек. А молодому газетчику, как известно, противиться любопытству трудно.

Заслышав мои шаги, Ковырзин сбавил ходу и, как бы продолжая начатый разговор, заторопился:

— Про такое дело я вам, мил человек, поведаю, что зубы запоют. Статью либо филлетон напишете. Будет вам приятное с полезным. Чирок по суху не любит плавать! — Он подмигнул мне и деликатно рассмеялся.

Изда Ковырзина, обнесенная почерневшим от времени забором из половинника, стояла на самом пригорке. Из подворотни навстречу нам выкатилась лохматая дворняжка. Вместо того чтобы залаять, она принялась истоиво лебезить перед хозяином, будто век его не видала.

Во дворе строгий порядок — прибрано, подметено. Охорашиваясь, разгуливали по двору куры. У забора в тени благодушно похрюкивал поросенок.

В доме тоже приятная чистота. Пахло свежееиспеченным хлебом и чуть-чуть доносило угаром из русской печи. От всего этого дошло чем-то далеким, полузабытым. Но предагься сладостным воспоминаниям мне помешала хозяйка. Она попросила меня «пожаловать в комнату». Хозяйка была сухая, сморщенная, и я сначала принял ее за мать Ковырзина. Я начал отказываться, ссылаясь на грязную обувь, но хозяйка повторила свою просьбу с робкой настойчивостью.

Хозяева о чем-то вполголоса переговаривались в кухне. До меня донеслись лишь последние слова хозяина:

— Да пошевеливайся, кляча!..

Я огляделся. Первое, что бросилось в глаза, — это газеты. На столе — несколько номеров центральных, областных и нашей городской. Я подумал, что хозяин приобрел их где-то оптом на раскур, но на угловике, рядом с патефоном, лежали старые, аккуратно сделанные подшивки. Кое-где на газетах виднелись отметки красным карандашом.

Горница была убрана на городской манер: полочка с книгами, большое зеркало с трещинкой, как паутина,

флаконы из-под духов, несколько репродукций с хороших картин, кровать с горой пышных подушек.

Над кроватью висели три портрета. Какой-то угодливый фотоделега так старательно сглаживал несправедливости природы, что на портретах я с трудом узнал облик хозяев. Сергей Поликарпович выглядел поджарым молодцом, и толстая его шея, видимо, не удостоенная вниманием ретушера как маловажная деталь, оказалась шире лица. Значительно «улучшена» была и хозяйка. Не удалось «мастеру» лишь заретушировать какое-то горестное оцепенение и затравленность в глазах ее. С третьего портрета подозрительно смотрела на свет белый дородная деваха с крушными бусами на бугристой груди.

— Октябрина — дочка моя, — пояснил незаметно появившийся хозяин. — На следователя учится. Я пустил ее по этой линии, потому как нег для человека благородней дела, чем следить за порядком на земле.

Закурив предложенную мной папиросу, он прошелся по комнате с заложенными за спину руками и закончил:

— Пишет теперь письма, а сначала уросила.

— Отчего же?

— Известно, дело молодое, неразумность, не в укор вам будь сказано. Круто я распорядился, вот с того и началось. — Он присел на стул и помотал головой: — Ой-ой, мокра было! — Помолчав, Ковырзин доверительно сообщил: — Давиться хотела. Ага, давиться. Да меня, брат, спектаклем не проймешь, не-ег. Замуж засобиралась за здешнего одного. Ну, какой замуж, ежели человек еще не на своей линии, ежели он сделал неравноценный выбор? Я полагаю — неразумность эта от излишнего бушевания крови. Вот выучится, найдет себе образованную пару и еще меня благодарить будет...

Появилась хозяйка с кришкой. Ковырзин смолк, нетерпеливо пережидая, когда хозяйка нальет молока и уберется. Я начал отказываться, но хозяин сам пододвинул мне стакан:

— Не брезгуйте, пейте, самуё-то я по всем правилам санитарным заставляю обращаться с продукцией, руки мыть перед дойкой. Лукерья! А ну покаж гостю руки! — крикнул он.

Из кухни послышались торопливые шаги. Я схватился за стакан, и Ковырзин кивнул хозяйке:

— Иди, не требуется.

Пока я пил холодное молоко, Ковырзин повествовал

мне о колхозных делах. Нового он почти ничего не сказал. Дела в колхозе были не блестящи — это я знал. Несколько фактов о махинациях колхозного кладовщика Ковырзин заставил-таки меня записать в блокнот, и, пока я этого не сделал, он не успокоился.

— Вы его в филлетончике, в филлетончике протяните, — подсказывал он. — За факты ручаюсь, никакой подтасовки. Я сам селькор с тысяча девятьсот тридцатого года...

Я допил молоко и, положив три рубля на стол, начал собираться. Хозяин засуетился:

— Вам ведь сдачу надо? — Он пошарил по карманам, сокрушенно пожал плечами: — Вот грех-то! Лукерья! Нет ли у тебя денег на сдачу? — Он сбегал на кухню и мгновенно вернулся, разведя руками: — Нету. Живем — не люди и помер — не покойники. Ну, надеюсь, не в последний раз видимся, заходите, разотчемся...

Ковырзин как в воду глядел, когда говорил, что мы видимся не в последний раз. Зимой пришло в редакцию письмо от него. Подробно, со ссылкой на разные законы и постановления, он изобличал нового председателя колхоза. Были факты, и главный из них, на который делался упор, довольно серьезный. «Новый председатель колхоза товарищ Замухин, еще не обжившись в колхозе, показал свой интеллигентский нрав и при распределении аванса на трудодни взял себе центнер пшеницы, тогда как все остальные труженики нашей артели авансировались рожью».

Есть над чем подумать!

С одной стороны — письмо в редакцию, а с другой — Павел Замухин, тот самый Паша, который скрывал на фронте обнаружившуюся желудочную болезнь, чтобы его не отослали в тыл. Тот самый Паша, с которым мне довелось тянуть телефонную линию через Днепр, а потом мерзнуть и голодовать на плацдарме. Собственно, нашему брату голод был не так страшен. Мы резали куски от убитого коня, варили их в укромном местечке и жевали без соли. И рыбой глушеной не брезговали, ее там полно было. Помнится, не выдержав, больной Паша поел копилки и потом корчился в грязной щели, кусая до крови губы.

Меня на этом плацдарме ранило, а Паша умудрился дотянуть свою линию до Берлина.

Летом я его встретил на вокзале в областном городе. В числе других добровольцев он ехал в наш район работать председателем колхоза. Паша торопился, и поговорить нам не удалось. Мы только условились как-нибудь встретиться в колхозе.

И вот встреча наша должна состояться.

Пожалуй, надо пойти к редактору и отказаться от поездки в колхоз. Не с жалобой же в кармане должны встретиться друзья-фронттовики! Но я уже успел немножко изучить нашего редактора. Узнав о моей старой дружбе с Замухиным, он непременно пошлет меня с этим письмом, чтобы проверить «качество» молодого газетчика на таком щекотливом деле...

Павел встретил меня просто. Лишь долго не выпускал он мою руку из своей и все тянул куда-то, пытаюсь усадить меня рядом с собой на один стул. Он забрасывал меня вопросами, не дожидаясь ответа, рассказывал сам. Потом спохватился:

— Ты чего помалкиваешь? Я болтаю, болтаю...

— Я ведь к тебе по делу, Павел.

— К дьяволу дела! — сказал он и сунул какие-то бумаги в стол. — У меня ведь, братуха, сегодня сплошные радости: семья приехала, ты нагрязнул! Пойдем мы сейчас пообедаем и даже выпьем по такому случаю. Ты чего глаза вытаращил? А-а, старую историю вспомнил, насчет моего желудка беспокоишься? Курсак, братуха, теперь в порядке. Один профессор все мои язвы аннулировал. Так что теперь не рассчитывай на две порции! — Павел рассмеялся: — А много же ты за меня водки выпил, ой, много! Посчитай: весь сорок второй да по октябрь сорок третьего. Да ладно уж, не буду взыскивать, пользуйся моей добротой...

Павел балагурил, смеялся. Я старался отвечать на его искреннюю радость, как умел, но ничего у меня не получалось. Обедать с Павлом я отказался.

— Почему? — удивился Павел.

Я сказал ему прямо обо всем, сохранив, как полагается, фамилию автора письма в тайне.

Павел сидел несколько минут, растерянно глядя на меня. Радостное выражение исчезло с его лица, у губ легли складки обиды, брови насупились, и он сделался еще бледней. Неожиданно он вскочил и грохнул по столу. Мелкой рыбешкой брызнули в разные стороны карандаши, ручки, скрепки.

— Серега! Кр-ровосос! Его работа! — закричал Павел и, схватившись по старой привычке за переносицу, опустился на место. — Сил больше нет, братуха! Убью я его! Честное слово, угроблю! На душу грех возьму! Пусть судят!

Вот как может измениться человек! Где тот мягкосердечный, спокойный Павел Замухин, которого я знал прежде?

— Ведь он двух председателей отсюда выжил, — жаловался мне Павел, — семерых кладовщиков — итого, девять! Ты понял, десятерых живьем съел?! Теперь меня доедает, за каждым шагом следит, гнида! Ну, подметил бы какую ошибку, припел бы, так нет, он чик-чирик жалобишку. Вот они, полюбуйся. Это мне начальству ответ давать... — Павел выбросил из стола ворох бумаг с сопроводительными бланками. — От такой работы меня скоро родимчик хватит! — Павел надел шапку, снял полушубок с вешалки и, придавив подбородком шарф, с усталой раздраженностью закончил: — И сунуло меня выписать эту пшеницу!

— Ты действительно?..

Павел, уже одетый, встал возле стола, забарабанил пальцами по стеклу.

— Да, братуха. Понимаешь, нельзя мне было после операции черный хлеб есть. Я сначала все в город заказывал, а потом с деньгами замишка вышла, семью перевозить надо было, ну, правленцы знают о моей хворобе, уговорили, постановили. Раздобрились они на радостях. Первый раз за последние годы хороший урожай взяли. И я тоже уши развесил. Теперь мне этот центнер пшеницы что бревно в глазу. Опять же, не согласись я взять эту несчастную пшеницу, он меня на другом деле подсадил бы. Так обедать не пойдешь? Правильно делаешь. А то и на тебя жалобу нагвоздит.

...

Лишь к вечеру я закончил обход изб. Время я потратил почти без пользы. Колхозники встречали меня приветливо, но, как только заходила речь о Ковырзине, они отвечали на вопросы неохотно, а то и вовсе отмалчивались.

— Да что, на самом деле, боитесь Ковырзина, что ли? — не выдержав, спросил я у доярок на молочной ферме.

Доярки долго переминались, глядели мимо меня. Наконец пожилая женщина в шахтерских калошах поднялась и, развязывая тесемки халата, призналась:

— Боимся, скрывать нечего. Почитай, все мы не одинока бывали в суде свидетелями или ответчиками, а без суда сколько лиха перетерпели от него, супостата! Ты послушаешь нас да и отбудешь, а он вынюхает, что мы тебе жалобились.— Доярка повесила халат на деревянный крюк и подседа к столу, где женщина-бригадир заполняла табель и внимательно прислушивалась к нашему разговору.— Он ведь, Серега-то, себе на уме,— продолжала разговор пожилая доярка.— Молчит до поры до времени, а потом ушибет, да так, что и свегу не взвидишь. Вот со мной был случай. Приехал ко мне сын из армии в кратковременный отпуск. Пальнул из орудья на учениях как следует, и ему, стало быть, отпуску десять дней вышло — как награждение. А дома-то прихворнул от переутомленья сил. Гуляпки, девчата, то, се. Ну я к фершалу. Христом Богом вымолила у него справку.— Доярка рассмеялась, и все вокруг тоже заулыбались.— Словом, «поправили» и отправили артиллериста. Да вот возьми и отчисти я Серегу на собрании. И закрутилась машина: Серега в часть письмо насчет того, что сын мой болел из-за чрезмерного распития. В райздрав жалобу. Ну, фершалу выговор, сына на губахту...

В разговор втянулись и другие доярки. Сначала они все оглядывались на двери и углы, точно боялись, что там кто-то сидит и подслушивает, а потом перестали остерегаться.

И услышал я много любопытного. Все чаще и чаще в разговорах мелькало слово «колдун». Оказывается, за Ковырзинным давно укоренилось это прозвище, и он его, как я понял, не опровергал. По деревне шли слухи о том, что Серега может посадить килу, сглазить малолетнего ребенка, скотину или жениха от невесты отвадить. Намажет скобу в доме невесты каким-то зельем — и баста, жених к другой переметнется. У Сереги и отец колдун был. Еще в давние времена Серегин отец одну свадьбу испортил. Положил на дорогу метлу, плюнул три раза, шепнул что-то, и готово дело — доехал свадебный поезд до метлы, пляшут кони, а с места ни шагу!

— Это из-за того, что приглашеньем обошли,— пояснила все та же словоохотливая женщина.

Молодые доярки взвизгивали от смеха, слушая эту небывальщину, и начисто отрицали колдовство.

Завязался спор. В конце концов все пришли к выводу, что Серегу надо бы прогнать из колхоза. А как это сделать? Минимум трудодней Серега вырабатывает. Осенью на рынке в артельном ларьке овощами торгует, а то инструменты кузнечные в пользование даст, чтобы ему точки вписали. Пробовали не брать у него инструмент, так он на птичник к Лукерье прилачился. Спит там, похрапывает, а Лукерья работает и записывает на двоих трудодни. Так вот он и наскребает минимум. Благо минимум этот одинаков для такого битюга, как Серега, и для старухи.

Конечно, Серега не всегда вредничал. Был в колхозе председатель Куркин, сплюхался с Ковырзиным, поставил его кладовщиком — и притих Серега. Да Куркину-то по шапке дали и Сереге тоже. Даже из колхоза его турнули. Но Серега обжаловал постановление общего собрания перед районным начальством. Оттуда бумага с печатями пришла: «Нет никакого основания исключать товарища Ковырзина».

После того еще больше озлобился на однопосельчан Серега. Если, к примеру, его сейчас снова кладовщиком поставить или депутатом в поссовет выбрать, он успокоится. Очень охота быть Сереге депутатом, чтобы на интеллигента походить, страсть высказываться любит. Сыплет, как по газете, заслушаешься. В конце каждой речи Серега зычно каркает: «Мир и пролетарьят восторжествуют во всем мире!»

Но депутатом Серегу все равно не выбирают...

На заседаниях правления, где решались важные артельные вопросы, Ковырзина тоже не обошли разговором. Он был словно чирей на холке, на которую, как ни остерегайся, все равно сядешь.

Один правленец разгорячился и заявил:

— Отлуплю я его под пьяную руку! Честное слово! Ведь жилы из всех вытянул!

— Ну и попадешь в тюрьму, — сказал пожилой колхозник.

Утром я встретился с Ковырзиным в том самом доме, куда меня уже не манило после первого разговора с хозяином. Но служба есть служба!

Ковырзин приветствовал меня с подчеркнутой строгостью и вежливостью. Теперь я был для него не случайный встречный, а человек, уполномоченный проверять жалобы. Я попросил Ковырзина показать мне ответы на его жалобы.

— Все? — поинтересовался он.

— Давайте все.

Он подал мне объемистую папку с бумагами. Чего тут только не было: вежливые ответы на солидных бланках из Верховного Совета лежали сверху, а под ними странные ответы обкомовских и райкомовских комиссий. Еще ниже — торопливые и не всегда ясные ответы из газет. Дальше — бумаги из прокуратуры, судов, сельсоветов.

Заглядывая через мое плечо, обладатель этих «сокровищ» бросал короткие комментарии:

— Это с Москвы! Это из области насчет председателя Анкудинова. Знали его? Спекся милый. Подловил я его на одном дельце. А это вот, — голос Ковырзина как-то сладко задрожал, и он даже перестал сопеть мне в ухо, — это письмо самим всесоюзным старостой, покойничком Михайлой Ивановичем подписано.

Даже опытному газетчику трудно говорить с такими людьми, как Ковырзин, а мне оказалось это вовсе не по силам. Я сорвался на первых словах:

— Это же черт знает что! — тряхнул я бумагами: — Это ж... Вы ж людям жизнь отравляете! Работать надо, а не писать!

Ковырзин властно высвободил из моей руки бумаги, разгладил их ладонью и, завязывая папку, спокойно заявил:

— Молоды учить меня. Молоды! А писать я имею право по Конституции страны социализма, потому как должен кто-то следить за порядком. Неужто вам с Замухиным это дело доверить, а? — Он хитровато и многозначительно прищурился: — Вот, к примеру, насчет пшеницы. Равноправье? Равноправье! Так почему я, честный труженик сельского хозяйства, организатор Советской власти, активист коллективизации, селькор с тридцатого года, должен жрать аржанипу, а какой-то выскочка из интеллигентов — белецкий хлебец? Что записано в Конституции, нашем золотом законе?..

— Слушай, — потеряв всякое терпение, оборвал я ораторствующего собеседника. — Да понимаешь ли ты, что

такое наша Конституция? — Я сделал ударение на слове «наша», но Ковырзин не уловил моей иронии. — Не будь этой Конституции, так односельчане давно бы тебя распотрошили.

Ковырзин ошарашенно уставился на меня:

— Да ты что, запугивать?! Ты кто, представитель советской печати или кто?! А-а, вон что! Председатель-то твой старинный дружок. Так, так, так! Я вас еще колупну, колупну-у. Честного труженика, организатора Советской власти под ноготь... Я-а вас...

Совсем недавно я встретил Ковырзина еще раз в несколько необычном месте.

Моясь в городской бане, я заметил, как из парилки, точно ошпаренные, выскакивали люди. Они плевались, кого-то нещадно кляли. Я спросил у парня с татуировкой на груди:

— Чего шумим?

— Да залез какой-то толстомясый на полок и газует пар, дышать нечем. Всех выжил, один парится.

Я уже одевался, когда из парилки появился человек. Весь он был облеплен темными листьями и не совсем ладно прикрывался исхлестанным веником. С трудом достигнув скамейки, он плюхнулся на нее.

Это был Ковырзин.

— Дошел! — покачал головой парень с наколкой на груди. — Вот она, жадность-то...

Глаза Ковырзина были закрыты, грудь тяжело вздымалась. Казалось, он уже заснул. Но спустя несколько секунд он подал слабый голос:

— Вот ты, мил человек, шумишь, а почему шумишь? Я, может, имею законное право попариться всласть раз в год!..

— Не городи ерунду! — послышались отовсюду разные голоса.

— Как это ерунду? — рассердился Ковырзин и даже попытался приподняться на скамейке, но руки его подломились, и он опять сник. — Чтобы нашу баню истопить, надо кубометру дров спалить, да ведер пятнадцать из-под угору воды принести, да вовремя скугать баню, да плескать на каменку. И все это делать старухе. А старуха-то одна и хлипкая сделалась, плеснет разок и лежит на поро-

ге, голову наружу. Раньше на каменку дочка сдавала, а потом из возраста вышла, пыпче здесь робит следовательно. Я вот в гости к ней приеду — и в баньку. Благодать! За полтора целковых хлещись, сколь душа желает, и воды без нормы...

На следующий день я позвонил в колхоз и услышал ликующий голос Павла:

— Выгнали, выгнали мы Серегу!

— Каким образом?

— А самым обыкновенным. Только получил народ газеты с постановлением пасчет Устава артели и сразу ко мне. «Собирай собрание, будем гнать единоличников из колхоза. Первого Серегу выдавим, как чирей!» Я говорю: «Дорогие товарищи, больно вы уж круто, потолковать бы еще с ним». — «Никаких толкований — гнать!» Ну и все: «спекся, мил человек».

Вон оно что! То-то я заметил, что за последнее время тематика писем Ковырзина заметно расширилась. Он все чаще и чаще пишет на городские темы, не оставляя пока в покос и деревенских. Три разоблачительных заметки он написал о завхозе «Горпищекомбината».

Утратил Ковырзин надежду выбиться «в люди» в деревне, пробует это сделать в городе.

ДЯДЯ КУЗЯ — КУРИНЫЙ НАЧАЛЬНИК

ЗНАКОМСТВО С ДЯДЕЙ КУЗЕЙ

Село дворов на пятьдесят рассыпалось по берегу реки. От села на лед стекает санная дорога, а к прорубям простроены тропинки.

Над селом дымы стоят, каждая труба густо курится. На окраине села, потонувшая в снежных сугробах, стоит птицеферма. Снег свисает с ее прогнутой крыши валами. Снег завалил до половины продолговатые, испачканные изнутри стекла.

За птицефермой, шагах в ста, лес начинается. Лес тоже занесло снегом. Стоит он неподвижно, завязив лапы в сугробах. Тишина и сон в нем таятся.

Одна сль отбилась от семьи лесной, маячит среди поляны, обдугая ветрами, без снежной шубы, голая, зябкая. Прилетит на нее ворона, сядет на вершину и, по-старушечьи нахохлившись, задумается. Думает, думает и заорет на всю округу, но никто ей не откликается, и она смолкает, недовольная жизнью, тягучей зимой, и смотрит на птичник, мечтая о том времени, когда его откроют и можно будет возле кур едой поживиться да подразнить смешного волосатого старичонку — хозяина птичника.

Хозяин этот, дядя Кузя, шагает рядом со мной в подшитых валенках и оступается на узкой, плохо натоптанной дорожке. Он в полушубке, туго-натуго перетянутым солдатским ремнем. Дядя Кузя немного косолапит, и валенки его стоптаны вовнутрь. Лицо у дяди Кузи кругленькое, морщинистое, и потому, должно быть, кажутся огромными усы, подкуренные трубкой. На узенькие, но зор-

кие глаза его напознала мохнатая рыжая шапка, неизвестно из какого зверя сшитая. Из-под шапки, под стать меху, рыжие вихры заползают и на висках вьются, образуя шикарные бакенбарды, которые вызвали бы зависть у молодых франтов, что ходят с гитарами по улицам городов. Но дяде Кузе эти бакенбарды совсем ни к чему.

Тем более что при всей такой буйной растительности под шапкой у дяди Кузи не растет ничего — лысина там. И смех и грех — разбрелся дурной волос где не надо, а голова — как куриное яйцо.

Но деревенские остряки давно уже загупили языки об эту лысину и оставили в покое дядю Кузю. Возраст его уже не тот, чтобы смеяться над ним. Старость на селе все еще почитается, да и трудом вечным заслужил дядя Кузя почтение. Он пенсию уже заслужил и покой, но без работы не может. «Засохну,— говорит,— как корень без земли». Вот и прибился к птичнику.

Сыновья и дочери у дяди Кузи разлеглись по свету. Старуха померла в позапрошлом году, и дядя Кузя вовсе на птичник перебрался из пустой, онемелой избы.

В то время птицеферма размещалась в стареньком полуразвалившемся телятнике. Как дядя Кузя ездил в город, требовал, ругался, писал жалобы вплоть до Москвы — долго рассказывать. Своего он таки добился. Колхозные куры теперь живут в довольстве и тепле. Живут и не подозревают, что дядя Кузя из-за них испортил кровь не одному начальнику.

Вот и птицеферма. Дядя Кузя обметает голиком валенки, открывает передо мной дверь.

Служебное помещение, иначе говоря, кормокухня, куда мы вошли, была в середине дома. На кухне горит электричество, стены побелены, по углам стоят бочки и ящики с овсом, картофелем, речной галькой, жженными костями и мелом. Посредине просторной комнаты широкая плита, а за ней, в углу, кровать, заправленная одеялом. Рядом с кроватью стол. К ножкам его приколочены тоненькие планки. Приколочены с таким расчетом, чтобы куры могли просовывать головы в щели.

В этом сооружении дремали три курицы. Одна из них бессильно уронила голову. Дядя Кузя тронул ее пальцем.

— Ну, как ты тут, болезная? — спросил он и пояснил: — Госпиталь под столом-то. — Старик сокрушенно покачал головой. — Более-птица, каждую зиму болеет. Нет

того корму, что по науке полагается. Придется мне опять за удочку браться, витамин добывать.

Я с недоумением взглянул на дядю Кузю: при чем тут удочки?

— Вы раздевайтесь, раздевайтесь. У нас тепло. Я чайничко поставлю. А насчет удочек? Не говорили на селе, что и умом тронулся? Нет? Тут, брат, целая история... — Старик шевельнул усами, улыбаясь, вынул из-за печки ведро. — Иду свою публику кормить. Ежели интересуется, милости прошу.

Он зачерпнул из бочки полное ведро овса и шагнул из кормокухни в левую половину птичника. Что там поднялось! Со всех сторон с громким кудахтаньем полетели куры. Одна курица, с темным кольцом на шее, уселась на плечо дяди Кузи.

Старик горстью разбрасывал вокруг себя овес, и куры кружились белым водоворотом.

Шум, шлепанье крыльев, властные крики петухов.

Дядя Кузя вытряхнул из ведра остаток овса, отошел в сторону, и по полу рассыпался drobный перестук. Птицы успокоились и сосредоточенно работали клювами. Только курица с темным колечком на шее не слетала с плеча дяди Кузи. Она даже умудрялась дремать, поджав лапки.

Пока я привыкал к шуму, дядя Кузя успел заглянуть в ящики, прибитые к стенам, и набрал с десятков яиц.

— Начинают пестись курчонки, — с радостью отметил он. — Сей год пораньше начинают. Вот мы эти первые-то яички — в детсад, ребятишкам. Ешь глазунью, сорванцы, наводи тело!

Мы вернулись на кормокухню. Курица, сидевшая на плече дяди Кузи, ловко слетела в бочку с овсом. Там она неторопливо ощипалась и начала с выбором клевать овес.

— Скажи на милость, какая фифа-единоличница! — удивился я.

— О-о, эта курица с ба-альшим характером! — протянул дядя Кузя.

Он опустил четыре вымытых яйца в котелок и поставил на огонь. Будто прислушиваясь к нашему разговору, курица перестала клевать и склонила голову набок.

— Про тебя, про тебя говорю, Касатушка, — кивнул ей головой дядя Кузя и, повернувшись ко мне, добавил: — Между прочим, она льготами пользуется не зазря — несет усердно и балобана помогла победить. Мы его артелью одолели. Да, да, вот эта самая курица заполонила

ворюгу балобана, а я его уж доконал. Вижу, не верите. Я вам расскажу потом про такое... Вы думаете, ферма — это курочки да яички. Не-ет! Здесь, кроме всего прочего, приключений множество и, ежели хотите, есть даже борьба!

Дядя Кузя многозначительно поднял палец и хотел уже продолжать, но откуда-то из-за бочек и мешков вышел черный кот с покусапным ухом, зелеными глазами и, аппетитно зевнув, потянулся.

— Взять хотя бы этого кота. Думаете, так себе, обыкновенный кот, ухо драное, морда сонная. А он, может, на тыщу рублей колхозного добра спас и несет службу, как пограничник. Удивляетесь?— перехватил мой взгляд дядя Кузя.— Вокруг птичника и в самом птичнике, скажу я вам, столько разного ворья! Ястребы тебе, хорьки, крысы, лиса опять же. Куры летом будто сквозь землю проваливаются. Зевни только — и готово дело...

Касатка выпрыгнула из бочки, оставив на золотистом овсе крупное продолговатое яичко. Не торопясь подошла к двери птичника и остановилась, выжидая.

Дядя Кузя открыл дверь и, выпуская Касатку к другим курам, добавил:

— Как я лису обманул, не слышали? О-о, было делов! Ладно, я старый солдат-партизан и обучен военным хитростям, она бы, змея рыжая, до се кур со двора таскала. Словом, подвигайтесь к столу, попотчую я вас чем Бог послал, и тогда поговорим. Я люблю разговор. С курами разговариваю, да что с ними наговоришь, ко-ко-ко да ко-ко-ко — и весь тебе ответ и привет...

АРТЕЛЬ ПОБЕЖДАЕТ БАЛОБАНА

Был солнечный весенний день. На свежей травке возле крайнего деревенского дома кормились куры. Они рыли землю лапами, червей, личинок клевали, а иные куры сидели просто так в пыли, млея от тепла и сытости. Вдруг с неба камнем упал балобан и бросился за дородной курицей с темным колечком на шее и золотистыми перьями в хвосте. Хохлатка юркнула в подворотню. Но балобан настиг ее, вцепился в спину. Половина курицы оказалась по ту сторону ворот, половина — по эту.

Как раз в это время мимо дома шел дядя Кузя. Ахнул дядя Кузя от изумления: балобан курицу когтит! Балобаны, сколь известно было дяде Кузе, питаются грызунами.

Дядя Кузя подбежал к воротам и пнул балобана так, что тот тряпичным мячом отлетел в сторону. Глаза хищника сверкали, клюв в крови, в когтях яркие перья, выдранные из хвоста курицы.

Дядя Кузя погнался за балобаном, но тот медленно, будто нехотя, взмахнул почти полумертвыми крыльями и поднялся с земли.

И тут дядя Кузя заметил, что одна нога у балобана торчит в сторону.

— Ах ты, ворюга! — закричал старик. — Бандит ты! Колчаковец! Тебе уж ногу за кур переломили, все одно нейма... — И вдруг он шлепнул себя ладонью по лбу. — Стоп! Он и моих кур небось жрет?! Ну, погоди! Ну, погоди!..

«Ну, погоди!» дядя Кузя повторял много раз, сначала грозно, потом задумчиво, а под конец вяло и растерянно.

Что он мог сделать с балобаном, который отведаль курятинки, понял, что она вкуснее каких-то там сусликов и мышей?

Ружья у дяди Кузи не было. Вольеру — забор из проволочной сетки — возле птичника не сделали. Куры-дуры разбредались в разные стороны и не успевали добежать до фермы, если на них бросался коршун или другой какой хищник.

Дядя Кузя зашел в крайний двор и попросил раненую курицу у хозяйки:

— Может, выхожу ее, а то будет маяться.

— Бери, — махнула рукой хозяйка. — Все равно пропадет. Спасенья нет от этого бандюги. Третье лето разбойничает, проклятый, возле нашего двора. Я уж его как-то косою подрубил.

«Вон, оказывается, отчего у балобана лапа-то клюкой сделалась», — думал дядя Кузя и, поглаживая курицу, наговаривал:

— Касатка, Касатушка... Обидел тебя враг, поранил. Ну, погоди, попадетс я на!

Вернувшись на ферму, дядя Кузя вытащил из ранок птицы пух, изломанные перья и смазал ранки жиром.

На «госпитальном положении» Касатка пробыла месяц и выздоровела. За это время она успела прижиться на птичнике и так привязалась к старику, что пришла к нему обратно после того, как дядя Кузя вернул ее хозяйке.

Старик вел с курицей «душевные разговоры», кормил

и холил ее. Из-за особых забот и догляду дяди Кузи Касатка сделалась грузной, степенной и красивой птицей.

Может быть, поэтому, а может, потому, что Касатка была приметной, балобан снова выследил ее, бросился ловить. Она отлетела в сторону и помчалась в открытую дверь птицефермы. Белый вихрь кур метнулся за ней.

Балобан оказался не только злым, но и упрямым хищником. Он влетел в дверь, промелькнул мимо опешившего дяди Кузи. Загрывленная Касатка бегала по просторному птичнику, спасаясь от гибели.

С криком и брашью кинулся дядя Кузя на балобана.

Тот издал тревожный крик и легкой тенью выскользнул в распахнутую дверь. Дядя Кузя за ним. Да разве птицу догонишь!

— Чтоб тебе ни дна ни крыши! — грозил дядя Кузя балобану кулаком. — Чтоб тебе кость куричья поперек горла стала, чтоб ты окошел! — Огругав балобана, дядя Кузя напустился на себя: — А ты, плешивый олух, чего думал? С метелочкой побежал... Размахался! Дверь-то запирает кто будет? Вот тебе, полоротый! — При этом дядя Кузя сложил дулю и поднес к своему же носу.

Касатка больше не решалась отходить далеко от птичника. Но и здесь, у самой птицефермы, в третий раз рассмотрел ее настырный балобан.

Дядя Кузя был в это время у речки. Заслышав шум в птичнике, он схватил черемуховую палку и побежал что есть духу. На этот раз он уже не забыл захлопнуть дверь. Кривоногий балобан кричал пронзительно и гонялся за Касаткой.

— Лиходей! — гаркнул дядя Кузя и топнул ногою. (Балобан вильнул вправо, влево, ринулся за печь, к дверям.) — Попа-ал-ся-а! — лютовал дядя Кузя. — Я те угощу! Я те попотчую курятинкой!

Голос старика прерывался. А куры, охваченные паникой, летали, кудахтали, хлопали крыльями, бились об окна, стены. Одна из них подвернулась на пути осатаневшего балобана и потащила за собой кровавый след; хищник успел рвануть ее когтями.

— Уконтромлю! Изничтожу! — закричал дядя Кузя и швырнул палку.

Палка хоть и не задела балобана, но оказалась страшнее грозных криков. Балобан сложил крылья и тугим клином ударился в окошко, да угодил не в стекло, а в

перешлет рамы. Резиновым мячом отскочил он, упал вниз, очумело загряс головой и застучал клювом.

Дядя Кузя схватил палку и начал молотить хищника так, что перья кругом полетели.

Уработался старик, выдохся. Присел на ящик с песком. Куры сбились в угол птичника, кудахтали, а петухи кричали. Когда сердце унялось, перестало сильно стучать, дядя Кузя дрожащими руками взял мертвого балобана за крыло, отнес к реке и повесил на черемуху — для остротки, чтобы и другим разбойникам неповадно было за курами охотиться.

КАК ДЯДЯ КУЗЯ ЛИСУ ПЕРЕХИТРИЛ

Лиса-плутовка повадилась таскать курочек еще от старой птицефермы: старая птицеферма стояла ближе к лесу и речке.

Дядя Кузя долго ничего не подозревал. Летом пересчитать кур невозможно: некоторые из них ночевать оставались на улице.

Однажды старик отправился в лес наломать вешик. Под пихтой он увидел белые перья, свежую кровь и лапку курицы, а на сучке валежины заметил клочок шерсти, рыжей, с проседью. Взял старик шерстку в руки, помял в пальцах.

— Так-так, значит, кумушка здесь промышляет, — и вздохнул. — Ну, эту мудрено изловить, это тебе не балобан. Хитрущая, старая лиса прикормилась...

Дядя Кузя не ошибся. Лиса и в самом деле охотилась очень осторожно. К капканам, поставленным дядей Кузей, она не подходила. Лишь иногда рано утром дядя Кузя замечал лису на опушке леса или на поляне, возле стога сена, приметанного к ели.

Речка вытекала из леса. Она заросла черемушником, ольховником, кустами смородины и тальника. Лучшего подхода для лисы к птицеферме нельзя было и придумать. Лиса бесшумной змейкой подкрадывалась к крупным молодкам и брала тех, которые отбивались от стаи.

Зимой началось строительство нового здания. Лиса боялась стука топоров, голосов людей и не подходила к птичнику. За это время исчезло несколько кур из дворов колхозников. Но попробуй узнай, кто их стащил, если вокруг деревни живет, кроме лисы, множество всяких других хищников, любящих курятнику.

К весне новое здание птицефермы было готово, старое разломали, и вскоре на его месте выросла лебеда, крапива, лопухи. Молодые куры неслись в густых и уютных, с куриной точки зрения, зарослях. Дядя Кузя проклинал все на свете, с кряхтением собирал яйца в колючем бурьяне.

Зато молодки перестали ходить к лесу. Им правилось сидеть в бурьяне, хлопать крыльями, разгребать лапами рыхлую землю. Словом, наступило для лисы голодное время.

Томилась кумушка, томилась, да и выбралась из поймы речки: видно, изголодалась вконец. Охотиться она стала нахально, отбросив всякие свои лисьи увертки. От бурьяна к речке тянулась уже не одна полоска белых перьев.

Как-то раз на глазах у дяди Кузи лиса схватила петуха, спустившегося к речке напиться, и унесла в кусты.

Дядя Кузя хлопал себя по бедрам, ругался, плевался, грозил кулаком вслед лисице и в сторону правления колхоза, которое не построило вольеру из проволоки. Правленцы заявили: не все, мол, сразу; пусть дядя Кузя будет доволен пока и тем, что новый птичник соорудили.

Дядя Кузя отводил душу, ругая лису.

— Поймаю — шапку сошью из тебя, ведьма рыжая!

Вот прошло лето, потом осень, наступила зима, и куры стали, по выражению дяди Кузи, жить дома, а лиса, целая и невредимая, бродила на воле, кружилась возле птичника по мягкому снегу. Манил кумушку запах курятинки. Но, как говорится, видит кошка молоко, да рыльце коротко!

Лиса даже тивкала — от досады должно быть — и с тоской глядела на птичник.

Дядя Кузя, наблюдая за рыжей гостью, с ехидцей кричал в окошко:

— Ну что, облизываешься? Облизывайся, облизывайся, голубушка, пока на воле! Все равно скоро на моей голове будешь!

Старик кричал так для успокоения души. Он уже испробовал все ловушки, взял даже ружье в деревне, но подстрелить лису не мог.

Вот она, шапка, прыгает возле столба, мышей ловит, а попробуй надень ее на голову!

Зимой на птицеферме заболели две курицы. Дядя Кузя напоил их рыбьим жиром, но было уже поздно. Однажды ночью обе курицы околели. Ветеринар вскрыл желудки

птиц, и дядя Кузя вытаращил глаза: в желудке одной курицы оказалось два гвоздя длиной почти с безымянный палец, а у другой — тоже гвоздь и копейечная монета.

— Обратите внимание, — ветеринар поправил очки на приплюснутом носу, — монетка-то старая, из красной меди, откопали куры где-то и в спешке проглотили. Известно, как они бросаются на каждый предмет, напоминая червяка...

— Ну, ржавый гвоздь можно принять за червяка, а копейку?

— Жадность! Какое же, однако, горло у птицы и какой мощный желудок! Обратите внимание: у монетки сработана резьба, чуть заметна цифра, а у гвоздей отсутствуют шляпки. Однако и у куриного желудка не хватило сил переработать ржавчину и медную окись. М-да, причина смерти ясна, но...

Ветеринар был молодой парень. Его в селе уважали как толкового работника. Но ветеринар мечтал о научных открытиях и свои мысли, выводы, теории высказывал всем, кто подвернется. Из-за этого старая вдова Федулиха, у которой квартировал ветеринар, называла его чумным. Ветеринар со страстью высказывал свои соображения дяде Кузе по поводу гибели кур. Старик сначала слушал ученого человека с глубоким вниманием, а потом сморил его сон, и он попросил ветеринара закругляться.

Ветеринар составил акт, приказал закопать птиц подальше от птицефермы и ушел. Дядя Кузя облегченно перевел дух, завернул гвозди и монетку в тряпицу, чтобы завтра ошеломить деревенских жителей такими находками. Потом он пил чай и рассуждал сам с собой насчет науки, которая способна свернуть человеку мозги набекрень.

Рано утром дядя Кузя дал корму птицам, открыл окна, чтобы проветрить помещение, и увидел лису. Она сидела возле столба и слышала, как бойко постукивают клювами куры.

— Сидишь? — спросил дядя Кузя. — Ну, посиди, поглотай слюнки. Врешь, ведь не выдержишь, когда-нибудь поближе подойдешь... Стоп! — вскрикнул вдруг дядя Кузя так, что лиса обеспокоенно отскочила к речке. Смекнул чего-то дядя Кузя, довольнехонько потер руки и рассмеялся с ликованием: — Охмурю я тебя, охмурю! Будешь ты на шапке, кумушка-голубушка!..

Эту шапку старик видел и во сне и наяву. Он даже

иногда ощущал ее на голове, мягкую, теплую, рыжую и, самое главное, из той самой лисы, которая, по заверениям дяди Кузи, «выпила из него всю кровь, отпила полжизни и выудила из колхозной кассы миллион рублей».

Дядя Кузя побежал в деревню, обошел почти все дома. Наконец в одной избе он отыскал моток рыбацкой жилки, выпросил ее у хозяйина.

Люди разводили руками, посмеивались над дядей Кузей. Чего, мол, это вздумалось человеку рыбачить на старости лет, да еще зимой. Дядя Кузя никому ничего не объяснял, только возбужденно наговаривал, привязывая жилку к лапке одной из мертвых кур:

— И буду рыбачить, да еще как рыбачить! Шапку поймаю — во!

Мертвых кур дядя Кузя отнес к столбу, положил в сухой, погрескивающий на ветру репейник. Жилку он размотал и один конец протянул в окно птичника.

Лиса, видимо, почуяла что-то неладное и дня два совсем не показывалась.

Но вот следы человека засыпало снегом, и дядя Кузя увидел кумушку. Она бойко бегала у ручья, водила носом, однако приблизиться к столбу не решалась. На следующий день лиса снова выбежала на полянку: играла лапками, помахивала хвостом, прыгала, зарывалась носом в снег, вынимала оттуда мышек. Но что значит мышка или даже десяток мышей для такой старой, прожорливой лисы. Вон как у ней живот подвело!

— Подойде-ошь, подойде-ошь, не втерпишь! — дрожа от нетерпения, шептал дядя Кузя, наблюдая за лисицей.

И все-таки лисе удалось незаметно стащить мертвую курицу — ту, что лежала чуть подалеже от столба. Но старик не особенно досадовал на это, скорее даже обрадовался.

— Ага, клюнула! Попробовала, кумушка, курятинки! Идет дело. Скоро будет у меня шапка! — С этими словами дядя Кузя взял жилку и подтянул вторую курицу метра на четыре поближе к птицеферме.

Лиса, очевидно, заподозрила что-то, затаилась в кустах, смотрела, принюхивалась. Человеческих следов нет, как же тогда курица переместилась с одного места на другое? Что за оказия?

А ветер пошевеливал перья курицы, и это раздражало лису. Она не могла долго выдержать, стала приближаться

к мертвой птице. Она кружила по поляне, шныряла в мышиные норки, убежала в кусты и снова появлялась.

Прошло уже четыре дня с тех пор, как дядя Кузя положил приманку. Близко она лежала, дразнила лисицу. Кумушка беспокойно шныряла по бурьяну, репьев в шерсть понацепляла, не успевала зубами их вынимать.

Снова явилась на полянку. Подкралась к столбу и опрореметью обратно. Так целое утро, словно забавляясь, прыгала туда-сюда лисица, хитрила. Дядя Кузя наблюдал этот спектакль, посмеивался, бегая от окна к окну.

Ночью подтянул приманку еще ближе.

Лиса нервничала и беспокоилась все заметней. Она даже перестала мышковать вблизи птицефермы. Дядя Кузя вел ее как привязанную, вел на питочке. Вот уже метров на семьдесят подвел. Но глаз у дяди Кузи немолодой, ружьишко худенькое, из него надо бить близко и наверняка.

Прошел еще день. Лиса измучилась, да и дядя Кузя выглядел неважно. Он мало спал ночами, совсем лишился аппетита.

Можно было только дивиться, откуда взялось у такого суетливого старика столько терпения! Шапка, должно быть, шапка была всему причиной. Наконец-то подтянул дядя Кузя мертвую птицу метров на сорок и оставил.

Заряженное ружье стоит в углу. Из рамы вынуто одно звено стекла. Дядя Кузя между делом наблюдает за крадущейся лисой.

Плотно приныкая к снегу, прячась за буторки, выползла наконец она из бурьяна, огляделась, а потом подбежала к мертвой курице, цап ее — и назад. Но щелкнул в морозном воздухе выстрел, и сунулась лисица седым носом в снег, будто за мышкой. Подергала ногами, вытянулась, затихла.

А от птичника торопился дядя Кузя в одной рубашке, без шапки. Он черпал снег голенищами валенок и прерывающимся голосом выкрикивал:

— Ага-а-а! Попала-ась! Которая куса-алась! Сколько вор ни ворует... Попила кровушки! Шапка! Шапочка! Зря говорить не стану!..

Так дядя Кузя перехитрил лису, а я узнал, откуда у старика рыжая шапка. Сшил он ее собственноручно.

Шапка получилась не очень модная, но все-таки дороже всех шапок она старику: мех-то для нее он сам добыл.

При знакомстве дядя Кузя заявил, что на ферме случается множество приключений. Однако не из одних же приключений жизнь состоит.

Главное-то в жизни не приключения, а труд. А уж чего-чего, но работы у дяди Кузи хватало и хватает.

Сколько хлопот, к примеру, было, когда новый птичник в колхозе сооружали!

Строила новое здание бродячая артель плотников. Вроде бы дядя Кузя тут ни при чем, но ему до всего дело, за всем он должен уследить, потому как человек он непоседливый. А тут еще и плотники подрядились непутевые.

За три недели они сделали сруб, расчистили площадку и наладились уже помещение «на мох ставить». А «на мох ставить» — это значит собирать заготовленный дом.

Пришел однажды дядя Кузя к срубам, долго оглядывал его со всех сторон и вдруг зашумел:

— Вы что же это, мошенники, делаете, а?

— Чего обзываешься, старик?

— Обзываюсь?! Да я лупить вас скоро начну за такую работу! — гремел дядя Кузя, наступая на бригадира.

— Кто ты такой? Что за указчик?

— Не указчик, а заведующий фермой, — отчеканил дядя Кузя, — этой самой фермой, которую вы ладите и которую я у вас не приму!

— Ну-ну, эти шутки ты брось! Видали мы таких! Ишь, на бабью должность затесался и еще задается.

— Я-а-а! На бабью!.. — задохнулся дядя Кузя. — Я-а, на бабью!..

И пошел старик честить плотников, и пошел. Плотники сперва только посмеивались, но когда дядя Кузя пригрозил пожаловаться товарищу Красногрибову, струсили. Товарищ Красногрибов — районный финансовый инспектор — был грозой всех спекулянтов и разных там любителей даровых денег.

— Ладно, ладно, переделаем, все переделаем: и пазы углубим у бревен, и стойки другие поставим, и моху еще подвезем.

С этого дня плотники стали делать все так, как хотел и как велел старик. Были они с ним очень обходительны, любезны и лстиво называли его десятником.

Придут, бывало, утром на работу, сядут покурить и скажут:

— А где же это десятник-то наш? Неужто проспал?

— Здесь я, здесь,— отзывался дядя Кузя из сруба и вылезал в окно, весь в стружках и клочьях моха: это он раньше всех явился и все проверил.

— Как работа? — спросят, бывало, плотники.

— А чего — как? — невозмутимо ответит дядя Кузя. — Коли цемпожко получше, так и было бы в самый раз. Глаз да глаз за вами нужен.

И так вот до самой весны, покуда не было закончено строительство, ходил дядя Кузя в должности десятника, но зато уж помещение птицефермы получилось на славу: теплое, светлое, просторное. А плотники, получая расчет за работу, жаловались председателю:

— Ну, брат, давненько мы такого тяжелого строительства не производили, давненько...

Дядя Кузя паходился в это время здесь же, в бухгалтерии колхоза, и только кашлянул и хитровато переглянулся с председателем, как бы говоря: «Ну, этих мы маленько поучили честно работать».

Но застрял, как заноза, в мозгу дяди Кузи упрек в том, что он бабью работу исполняет. Прямо за самое нутро задело это старика. Начнет дядя Кузя топором орудовать, ну, там корытце повое сколотит, или подправит ящики, или дрова колоть возьмется, и приговаривает:

— Вот те и бабья! Вот те и бабья! Пусть какая баба так изладит.

Но все это не успокаивало дядю Кузю. И тут пришло ему в голову такое, чему вся деревня поразилась.

Яйца дядя Кузя собирал в ведро. На других фермах, где в основном работали женщины, яйца тоже собирали в ведра, и шикого это особенно не беспокоило — было бы что собирать.

Однако дядя Кузя решил это дело механизировать и припаялся соорудить автотранспортный агрегат. Он сыскал в кузнице четыре небольших железных колеса, приделал к ним оси, а затем связал их рамой. На рамы поставил два квадратных ящика и разбил их на ячейки так, что ящики стали походить на пчелиные соты. В каждый такой сот, по расчету и умыслу дяди Кузи, нужно было класть яйцо.

Куры в птичнике сначала испуганно разлетались при виде агрегата, который скрипел, позвякивал и трещал на ходу, но дядя Кузя смазал свое сооружение дегтем, и куры скоро привыкли, перестали шарохаться.

Приходили люди глазеть, хвалили старика.

Дядя Кузя, млея от гордости и удовольствия, набивался с одним и тем же вопросом:

— Ну, скажи ты, добрый человек, какая женщина может такую штуку смастерить либо выдумать?

Потакая честолюбию старика, люди говорили:

— Да где там женщина, и мужику-то не всякому подильно такое. Тут должна мысль работать в особом направлении.

— Вот то-то и оно,— удовлетворенно подхватывал дядя Кузя. — А иные люди говорят...

Но кто эти иные и что они говорят, дядя Кузя не разъяснял.

В последнее время дядя Кузя занялся рыбалкой. Никогда однопосельчане не замечали за ним пристрастия к рыбной ловле, а тут на тебе — все свободное время пропадает старик на льду и подергивает коротенькую, ровно бы игрушечную, удочку.

— В детство вдарился старик,— заключил председатель колхоза, узнав об этом.— Надо будет замену ему отыскать, а то он всю птицеферму проудит.

Зря говорил председатель такое, зря. Из-за птицефермы и сделался дядя Кузя рыбаком. Услышал он однажды по радио совет столичного знатока сельского хозяйства: скармливать больным курам сырое мясо или рыбу.

— Хорошо вам, сидя в Москве, рассуждать, кому и что скармливать,— буркнул дядя Кузя. — А где я рыбу-то возьму?

Но все-таки запали старику эти советы.

Однажды спустился он на реку. Там каждое воскресенье собирались городские рыболовы. Ни мороз, ни пурга им нипочем. Сидят себе на ящичках возле лунок, ровню колдуны. У ног их валяются растопыренные от холода окунишки с побелевшими глазами, плотвички и подлещики. И до того рыбаки заочепели, что руками уж плохо владеют.

— Это что же, братцы милые, заставляет вас такую кару переносить? — посочувствовал дядя Кузя.

— А ты попробуй порыбачь и узнаешь,— посоветовали ему рыбаки.

«Нет,— подумал дядя Кузя, — такие страдания на себя ни за что не приму».

И все-таки попробовал.

В ту зиму куры сильно болели авитаминозом, и «гос-

питаль» у дяди Кузи под столом был все время переполнен.

Старик выхаживал больших кур, как детей родных, и часто сокрушался, глядя на них:

— И что это за оказия в природе? Откуда эти болезни берутся? Кура — самая безвредная птица — и та очень страдает.

И решил дядя Кузя, что уж лучше самому страдать, чем смотреть, как мучаются беззащитные птицы.

Жилка у него осталась еще от охоты на лисицу. Палочку он вырезал в лесу, а блесенок ему дали городские рыбаки. И пошла работа. Каждый свободный часок дядя Кузя выбегал на лед. Вывернет десяток-другой рыбешек — и на ферму. Куры их моментом склюют и тянут головы из-за планок стола — еще просят. На глазах поправлялись и веселели большие куры, некоторые стали даже ходить; прихрамывая, правда, но все-таки ходили.

Как-то раз пришел председатель и не застал на месте дядю Кузю. Глянул в окно — старик на реке.

— Ну и ну, ослабоумел, видно, старик. Рыбку удит!

Придирчиво осмотрел председатель птичье хозяйство. Никакого запустения нет, все как будто в порядке. Но председатель решил все-таки дождаться старика и сделать ему внушение. Куда это годится: старый человек, при должности, и на тебе — пустяками занялся.

Но когда узнал председатель, зачем мерзнет на льду дядя Кузя, отпала у него охота совестить старика. И только глянул на дядю Кузю и сказал:

— Радегель ты колхозного добра, Кузьма Варфоломеевич, большой радегель. Вот если бы все такие были, так наш колхоз давно из прорухи вышел бы и миллионером сделался.

Дядя Кузя сконфузился от таких слов, засуетился, а председатель задумался и прибавил:

— Однако рыбу удить тебе не след. Простудишься, захвораешь. Завтра выпишу со склада мясо для твоего госпиталя. А удочку брось.

С тех пор выдают на птичник сырое мясо и даже тресковое филе в магазине как-то закупали. Куры на птицеферме теперь болеют меньше. Раньше болели десятками, а теперь одна-две за зиму. Но рыбалку дядя Кузя забросить уже не в силах. Тайком-тишком, конфузливо озираясь, рапенко утром или поближе к вечеру спустится он на реку, продолбит лупочку и сидит, сидит.

Городские рыбаки иной раз посмеиваются над ним:

— Ну как, Кузьма Варфоломеевич, узнал, что такое рыбалка?

— Узнал, узнал, чтоб вам ни дна ни покрывки, откуда вы взялись на мою голову! — ворчал дядя Кузя, а сам не спускал глаз с кончика удочки, ежился от холода и потряхивал, потряхивал блесенку.

Говорят, охота пуще неволи. Как видите, рыбалка — тоже.

МИЛАХА И КОТ ГРОМИЛО

Свирепее, прожорливее и коварнее всех вредителей на птицеферме была крыса с желтоватой, будто подпаленной шерстью на спине и с коротким хвостом. Должно быть, еще во времена разгульной молодости она лишилась половины хвоста — может быть, оторвали его крысы в драке, а может быть, в капкане оставила.

Эта крыса держала в страхе всех обитателей птичника. Мыши разбегались по сторонам, когда появлялась среди них толстая мордатая особа. Она была грозной владычицей темного царства, которое наперекор всем законам существовало под полом, дядя Кузя слышал иногда шум, возню под половицами. Шум этот перекрывался властным визгливым голосом. После драки по углам долго и жалобно скулили крысы.

Куцехвостую крысу дядя Кузя прозвал Милахой.

Со стороны могло показаться, что отношения дяди Кузи и Милахи самые любезные и мирные. Но это лишь со стороны. На самом же деле они люто ненавидели друг друга. Милаха ненавидела дядю Кузю за то, что он подрывал ее авторитет в крысином коллективе. А дядя Кузя ненавидел грозную атаманицу за то, что вот уже много лет она вместе со своей шайкой безнаказанно грабила колхоз. Шайка с каждым днем увеличивалась, а сама Милаха становилась наглей и развязней.

Отраву крысы не трогали. Видимо, их предводительница знала, что значит эта коричневая, с виду аппетитная масса. В капканы попадали только глупые мышки. Дядя Кузя понимал, что вся беда в Милахе. Стоит лишить банду главаря, в ней начнутся разлады, и она неминуемо погибнет.

Когда дядя Кузя приходил кормить кур, вся крысиная

и мышьяная семья рассыпалась по углам, шмыгала в норы и затихала. Но Милаха спокойно бегала по птичнику, ела из корытцев, не обращая ни малейшего внимания на старика.

— Кушаешь? — сдавленным голосом спрашивал дядя Кузя. — Ну-ну, кушай, гуляй, может, и подавишься.

Милаха переставала есть, поворачивала голову на голос и злобно ощеривалась.

Старик принимался собирать яйца из ящичков и как будто пенароком подвигался с автотягесборочным агрегатом к Милахе. Но тактика эта была настолько стара и примитивна, что крыса даже не торопилась исчезать. Когда расстояние между нею и дядей Кузей сокращалось шагов до пяти, она не спеша, нахально повиливая толстым задом, уходила в нору. Там сию минуту раздавался жалобный писк. Милаха срывала злобу на «подчиненных» и для остротки или по каким другим соображениям кусала их.

А дядя Кузя, ударив об пол шапчонку, топал ногами, плевался, воздевал руки к потолку, призывая Бога, боже-пят и всю «небесную канцелярию» или его успокоить смертью христианской, или покарать смертью «нечистую силу».

Но вот перебрался дядя Кузя со своей беспокойной «публикой», как он называл кур и петухов, в новое здание птицефермы и облегченно вздохнул. Все! Ушел от прожорливой банды. Однако дядя Кузя поспешил успокоиться. Уже через три дня он услышал под полом беготню и резкий и, как показалось старику, озабоченный голос Милахи. Дядя Кузя чуть не заплакал от бессильной ярости.

А ночью по всему птичнику разносился треск, шорох, скрежет. Это многочисленные хищники, возглавляемые Милахой, грызли пол, копали норы, устраивались в новом помещении со всеми удобствами. Они сильно изголодались за последние дни, да и работа оказалась тяжелая: пришлось грызть крепкие половицы и бревна. Ворвавшись в новый птичник, мыши источили овес в бочках и ящичках, оставив вместо него мякину. Крысы загрызли насмерть несколько больных кур. А в скором времени обнаружилось, что они губят не только птицу.

Как-то вечером ходил дядя Кузя в баню, попарился и, усталый, разомлевший, побрел к себе на птичник.

Здесь он подстриг усы ножницами и причесал вихры

перед кругленьким зеркальцем, выключил радио, прилег на кровать и задремал.

Разбудил его какой-то подозрительный шорох. Дядя Кузя подумал, что это по стенам бегают мыши. Они любят из щелей выдергивать мох и делать там потайные ходы и лазейки. Но вместо мышей дядя Кузя увидел Милаху. Она торопливо забралась по стене в нижний ящик, один из тех, куда дядя Кузя складывал яйца из агрегата, перед тем как сдать в кладовую колхоза. Милаха обглодала яйца и, ухватив одно из них лапами, потащила к краю.

Дядя Кузя притворился спящим: прикрыл глаза и стал даже похрапывать. Милаха осмотрелась, пошевелила седыми усами, прикинула расстояние до пола и вдруг, повернувшись, упала на спину. Удержать яйцо она не сумела и выпустила его из лап. Яйцо треснуло и разбилось.

Дядя Кузя думал, что это только и нужно крысе, но ошибся. Она что-то посоображала и проворно юркнула под пол. Через минуту атаманша появилась в сопровождении трех «подчиненных». Они легли на спины в ряд, а Милаха забралась в ящик, подкатила к краю яйцо, прицелилась и сбросила его на мягкие животы крыс. Те вскочили и моментально укатили яйцо в подпол.

Вскоре они вернулись, и все повторилось сначала. Дядя Кузя не выдержал:

— Ловко в чаю плавают веревка!

Крысы бросились врассыпную, оставив на полу яйцо.

Дядя Кузя взял его в руки, осмотрел и задумался. Он давно подозревал, что крысы таскают яйца, но как они это делают, ни разу не видел. Утром дядя Кузя пошел в правление колхоза, чтобы рассказать о проделках крыс. Здесь любили слушать о происшествиях на птицеферме и часто спрашивали старика:

— Ну как там Милаха твоя поживает?

Тот всегда со смехом отвечал:

— Живет, колхозный хлеб жует, что ей?

Но в этот раз дядя Кузя был хмур и на обычный веселый вопрос отозвался без смеха:

— Она живет и не один хлеб жует.

Сообщению многие не поверили. Однако нашлись люди, которые начали рассказывать о крысах еще более занятные истории, например, о том, как в одном магазине крысы через соломинку выпили красное вино из бочки, а милиция обвинила в этом завмагом... Словом, разго-

вор пошел интересный, но дядя Кузя, к удивлению всех, не поддержал его, а даже резко оборвал:

— Надо подумать, как колхозное добро сохранить, а вы сказками занимаетесь.

— Ну, это не по совести, тебе врать не мешали, — обиделись рассказчики.

Тогда дядя Кузя взорвался: раз так, больше он на этот проклятый птичник не пойдет, а пусть туда отправляется председатель. Милаха со своей компанией быстро доведет его до припадков. Уж на что он, дядя Кузя, железный человек, а нервы и у него до того расшатались, что он за себя порой не ручается. В подтверждение этого дядя Кузя так хватил дверь, что со стола бухгалтера упала чернильница.

Днем на птичник заглянул председатель колхоза. Дядя Кузя показал ему разбитое яйцо, испорченный пол, множество нор. Под конец пожаловался, что свои харчишки выпущен уносить на улицу и есть мерзлый хлеб. А с его зубами и свежий не разжуешь. Председатель первый раз слышал от дяди Кузи жалобу на «личное» и поэтому изумился:

— Да это и в самом деле беда! — И, подумав, предложил: — Слушай, возьми хоть на время нашу Муську, она, правда, ленивая, но, говорят, крысы, а особенно мыши, кошачьего запаха боятся.

Председателева кошка Муська оказалась не только ленивой, но и трусливой. Она не выдержала на птичнике и одной ночи.

Сначала она припихивалась, хвостом помахивала. Но вот стемнело, подняли крысы возню под полом, завизжали, забегали.

Муська — под кровать.

Однако и там ей показалось жутковато. Она прыгнула к дяде Кузе на постель, но была с презрением вышвырнута оттуда.

Дядя Кузя ругал ее последними словами, а председателя нещадно срамил за то, что тот держит в доме такую бесполезную скотину и вырастил на колхозных хлебах буржуйскую барыню.

Утром Муська подошла к двери и замыкала: отпусти-те, мол, ради Бога, тут пропадешь! Дядя Кузя открыл дверь, пнул напоследок гладкую кошку и плюнул ей с остервенением вдогонку.

Вскоре дядя Кузя поехал в город на рынок и увидел

там бездомного тощего кота, с одним ухом и дикими глазами.

Кот шлялся по рынку, учинял дерзкие налеты на мясные ряды и на глазах у публики схватил воробья, дремавшего под крышей молочного павильона.

Люди махали руками, топали, пытались устроить бродягу.

Кот устроился на перекладине, и оттуда на головы базарных торговков полетели перья.

Съев птичку, кот утерся лапой и занялся дальнейшим промыслом, а дядя Кузя, хватая соседей за руки, с восторгом кричал:

— Вот это ко-от! Это громи-ило! Мне бы такого на ферму.

— Так возьми, кто тебе не велит? Весь рынок из-за него горько плачет.

— Где ж такого поймашь? — с уважением сказал дядя Кузя. — Он небось столько бит, что людей пуще огня боится.

Но все же дядя Кузя отыскал на рынке мальчишек и пообещал им рубль за доставку кота. Через полчаса мальчишки принесли дяде Кузе базарного пирата и, показывая исцарапанные в кровь руки, потребовали:

— Добавляй, дедушка, еще монетку, чать, пострадали.

Дядя Кузя добавил монетку — двадцать копеек.

Так бездомный кот очутился на ферме и получил с легкой руки дяди Кузи грозное имя — Громило.

Коту на птицеферме понравилось. Он огляделся, для зачища стянул со стола кусок сала, умял его тайком и завалился спать в бочку с овсом.

Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным бродягой, старался размягчить его ожесточенную душу лаской и заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку старика. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, чтобы кот прижился на ферме.

Выспавшись, Громило полакал воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль. Шея укоротилась. Он сжался, напружинился и сделал неожиданный бросок в угол, к бочкам. Раздался писк, и через минуту Громило появился с мышью в зубах.

Глаза его горели беспощадным зеленым огнем!

Нет, он не играл с пойманной мышью. Этому суровому бойцу не было известно, что в мире существуют развлечения. Зато Громило хорошо знал, что такое голод. Не успел он распорядиться добычей, как снова насторожился и снова сделал прыжок.

Дядя Кузя тихо ликовал:

— Все! Пропала банда! Кранты!

Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громило с подозрительно раздувшимся животом дремал на плите, утомленный ночной работой.

Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Он схватил бутылку и бесшумно выскочил из птичника.

Через час старик вернулся из деревни с молоком. За это время все колхозники успели узнать, что в здешних краях появился кот Громило, который наведет порядок не только на ферме, но и во всей деревне.

Дядя Кузя налил в консервную банку молока и, когда кот проснулся, робко спросил:

— Попил бы молочишка на верхосыгтку.

Громило не заставил себя упрашивать, вылакал все молоко и забрался в бочку с овсом — досыпать.

Ночью он снова промышлял.

Затихли визги под полом, прекратилась шумная возня и беготня.

Крысы и мыши попали в осаду, воровали редко, жили в постоянном страхе, вскрикивали по ночам. Наверное, явилась им во сне светящаяся жуткими зелеными огнями морда кота Громилы.

Порой уходил Громило с дядей Кузей в птичник, где не совсем равнодушно поглядывал на кур. Дядя Кузя однажды укорил кота:

— А что, брат, Милаху-то не берет твой зуб? Мышками да крысятами развлекаешься. Ты вот излови ее, анафему, тогда будешь соответствовать целиком и полностью своему имени.

Но враг ушел в подполье, не принимал открытого боя. Тогда дядя Кузя зацементировал все дыры в обеих половинах птичника и оставил всего одну, в кормокухне. Это значительно облегчило работу коту Громиле.

Всякое в жизни бывает. Работал дядя Кузя на птичнике, кур разводил, с врагами разными боролся, и — на тебе! — пришлось ему агитацией заниматься.

Прошлая осень на Урале была очень... вот так и напрашивается слово «капризная». Но какой уж тут каприз! Каприз — это когда человек не хочет манную кашу есть, или шаньгу с творогом, или утром вставать в школу, или... да мало ли какие капризы бывают.

Но когда в сентябре, в так пазываемое бабье лето, начинает валить густой, рыхлый снег, валить среди бела дня на неубранные хлеба, на картошку, на свеклу и морковь — это уже не каприз, это бедствие.

Урожай убирать трудно. Коров на пастбище не погонишь, значит, питаться они должны теми кормами, которые на зиму заготовлены.

Казалось бы, какое отношение все это имеет к птичнику? Оказывается, самое прямое и пренеприятное. Вместо того чтобы бродить на воле, рыться в ворохе листьев, на огородах, где так много корма бывает после уборки в добрую осень, куры жмутся под навесом. Сидят куры нахохлившись, упрятав головы под крыло: дремота, леность одолевают их. А раз курица ленится, не работает — значит, и нестись не будет, это уж точно.

Вот в такой-то слякотный день дядя Кузя вышел из птичника, глянул на небо и почтительно помянул «небесную канцелярию», потом на хохлаток взглянул. Затаились хохлатки, прижались одна к другой: вместе теплее. Одна курица до того заспалась, что с завалины свалилась. Захлопала она крыльями, возмущенно закудаhtала, да так вниз и присела — неохота ей снова на завалинку взлетать. Петух глянул на нее сверху, приоткрыв один глаз, и как-то знобко, старческим горлом проскрипел: «У-ух, кура-дура, вовсе обленилась...» — и сам тут же сомлел, засыпая.

Привык дядя Кузя к шуму и беспокойству на птичнике. До того привык, что тошно ему стало смотреть на всю эту картину.

— Дрыхните, окаянные, дрыхните! — рывкнул он. — А чем я вас кормить буду?

Куры в ответ только слегка колыхнулись. Плюнул дядя Кузя с досады и пошел к председателю — требовать корм птицам.

Председателя он отыскал на дальнем поле возле тракторов. Несмотря на непогоду, трактористы работали, таская машинами прицепы.

Выслушал председатель дядю Кузю, на пенек присел и задумался. Потом поднял усталые глаза:

— Ты слышал про человека, у которого голова пухнет?

— Ну, слышал.

— Так это я. Голова у меня, как перезревшая тыква, скоро развалится.

— Ну и что из того? — возразил дядя Кузя. — Твоя голова за все в ответе. Оставишь без корма птицу — еще шишек тебе на голову посадят.

— Посадят, — уныло согласился председатель, — и не одну. А все-таки ты от меня отвяжись. У меня не только твои куры на уме. У меня хозяйство...

— Кура — тоже хозяйство.

— Слушай, Кузьма Варфоломеевич, добром тебя прошу — исчезни! Отдадим половине кур на мясозаготовки — и все дела.

— Чего-о? Чего-о? — насторожился дядя Кузя. — Я все лето цыплят чуть ли не в шапке выпашивал, а вы их на мясозаготовки?! Да я тебя самого вместе с правлением отправлю на мясозаготовки!

Председатель бросил с досады окурок и пошел от дяди Кузи прочь. А тот семенил за ним и бушевал. Председатель не выдержал, остановился и сказал, подняв глаза к небу:

— Ну, мокропогодь свалилась, ну, снег... Ну, все выдержу, но только не старика этого! Извел, нечистый дух! Начисто извел! Я уже сам скоро по-петушиному закукарекаю. — С мольбой к дяде Кузе: — Кузьма Варфоломеевич, окаянная ты душа, выходи из положения сам, ты же старый партизан, придумай чего-нибудь...

И дядя Кузя придумал. Он заявился среди урока в школу, протиснулся в класс и, робко стащив с головы шапку, кашлянул, чтобы обратить на себя внимание учителя.

— Вам чего, Кузьма Варфоломеевич?

У дяди Кузи сразу перехватило горло.

— Хочу речь сказать...

Учитель улыбнулся, ребята в классе зашевелились и выжидательно замолкли. Они знали потешного старика и любили его слушать. А дядя Кузя отгеснил в сторону учи-

теля и достал из кармана яйцо. Свеженькое, чистенькое яйцо, чуть розовеющее изнутри.

Он поднял высоко над головой это самое яйцо и спросил:

— Что есть это?

— Яичко,— ответили ребятишки, делая по-уральски ударение на букву «я».

— Правильно, в точку! — ответил дядя Кузя.— А что требуется для того, чтобы его курица снесла? Что наиглавнейшее требуется птице?

— Пища,— нашелся кто-то из ребят.

— Во! — обрадовался дядя Кузя.— В самую точку! А какая пища? Откуда и зачем?

И тут дядя Кузя произнес ту речь, о которой до сих пор помнят на селе. Дядя Кузя колотил себя в грудь кулаком, бил шапкой об пол, призывая молодое поколение «пройти на прорыв и спасти кур, а они на заботу ответят делом».

На другой день, после уроков, к птичнику привалила целая ватага ребятишек, и пошла работа. Ребята копали на поле морковь, свеклу, картошку и засыпали ее в колхозный подвал. Там дядя Кузя отгородил два больших отсека специально в «фонд птичника». Затем ребятишки сушили и веяли овес, утепляли здание птицефермы. И когда уже казалось, что вся работа сделана, дядя Кузя отыскал им новое хлопотное дело — собрать по всей округе кости и завозить с реки гальки и песку.

— Нет привередливой скотины на свете, чем курица,— терпеливо разъяснял ребятам дядя Кузя. — Она требует полного рациона. Вот смотрите сюда,— тащил он ребятишек в птичник и показывал печь, издолбленную клювами кур.— Почему курица клюет кирпич, залетевши почти под потолок? Может, озорует, как вы в школе? Нисколько. Брюхо у ней с запросами. Брюхо ее, куричье, требует всяких разносолов: известку, овес, овощ, даже мясо сырое или рыбу. И вот из этих-то... — дядя Кузя мучительно наморщился, вспоминая ученое слово, слышанное по радио,— вот из этих-то компонентов образуется яйцо.

Спал ли в те дни дядя Кузя — никому не известно. Если спал, то час-два в сутки. Он старался всюду успеть. Подбодрить словом «молодое поколение», поглядеть, чтобы ребята не озорничали на птичнике, чтобы сыпали куда надо гальку, песок да не подпалили бы птичник, сжигая кости.

С этими костями получился непредвиденный конфуз. В деревне и в округе их оказалось мало, а норму дядя Кузя установил на каждого ученика не меньше трех кило. Некоторые ребяташки даже костяные бабки принесли и сдали. Иные вовсе ничего собрать не сумели. А старик взял каждого на учет и требовал выполнения нормы.

Котьке Печугину не повезло: он не сумел сдать ни одного килограмма. Ребята подсмеивались над ним, а дядя Кузя, хитровато щурясь, говорил:

— Ничего, ничего, Котька — парень глазастый, он еще всем на диво кость сыщет.

И Котька действительно приволок такую кость, что у самого дяди Кузи глаза на лоб полезли. Кость была в столб толщиной, коричневая, как орех, с черными пятнами. Дядя Кузя сначала принял ее за гнилую корягу, но кость гудела при ударе и не рассыпалась.

Стали расспрашивать Котьку, где он добыл эту такую диковину.

Котька помялся и рассказал.

В пяти километрах от села, возле той самой речки, к которой жалась птицеферма, летом работал экскаватор, добывал глину для кирпичного завода. И раскопал кости мамонта. Часть костей отправили в музей, а часть или не успели отвезти, или забыли.

Вот Котька и привез на тележке пудовую кость, чтобы уже сразу рекорд установить.

Дядя Кузя был ввергнут в смятение и не знал, как ему поступить с этойкой находкой.

— В какие же времена эта животная на земле обитала? — осторожно расспрашивал он у ребят и, когда те сказали, заключил: — Вот видите, значит, еще задолго до того, как я партизанил и беляков крушил. И выходит что? Выходит, мы не знаем, были во времена мамонтов куры или нет. И если были, то кто кого ел. Опять же кость в земле лежала и... — дядя Кузя пощелкал в воздухе пальцами, — и какие питательные компоненты ее, мы не знаем. А может, в кости этой больше вреда, чем пользы? Может быть? Запросто.

И порешили ребята совместно с дядей Кузей отвезти кость мамонта в школу и организовать там исторический уголок.

Милаха не показывалась. Но в том, что она жила и действовала, не было никакого сомнения. Иногда под полом

возникла борьба и снова слышался резкий, как скрип пилы, голос старой атаманши.

Громило уже знал этот голос. Он пастораживался, шел к норе, шевелил хвостом и дежурил. Иногда у норы поднимался визг, крик, шум, и Громило отгаскивал к плите мертвую крысу.

Дядя Кузя бежал посмотреть, но это оказывались всего лишь «подчипенные» Милахи, которых она, видать, высылала на разведку.

Кот Громило отъелся настолько, что его можно было, хотя и под сомнением, пускать одного к курам. Дядя Кузя однажды закрыл кота в птичнике.

Среди ночи в той половине, где был оставлен Громило, поднялся переполох. Куры хлестали крыльями, петухи орали. Дядя Кузя сунул ноги в валенки и поспешил туда.

В полутемном углу птичника, под ящиками несущек, он обнаружил искусанного, окровавленного кота Громилу. Кот старательно зализывал раны. Поодаль от него валялась растерзанной головой Милаха.

Громило даже не глядел на нее.

Дядя Кузя склонился над израненным котом. Не решаясь поглядить или приласкать его, старик лишь словами выражал свое восхищение:

— Громилушка! Воин ты великий! Изничтожил ты гадавредителя!.. Тыщи ты колхозные спас, и полагается тебе за это большая премия в виде молока и рыбы. Дают же премии пограничным собакам за верную службу? Дают. Так вот и я для тебя стребую. Если не стребую, значит, я не старый красный партизан, и пусть меня тогда прогонят с должности заведующего фермой в шею.

Премию Громило получил. Слух о героическом коте облетел все окрестные деревни. Люди приходили дивиться на кота Громилу, целым классом прибывали школьники. Учитель написал о коте Громиле поэму, но ее забраковали в районной газете, ответили, что газета отражает героические дела людей, а не животных. Из-за этого районная газета потеряла еще одного читателя: дядя Кузя перестал подписываться на нее.

— А взамен этой мамонтовой кости вы мне, ребята, потом пуд мелких насобираете, вот мы и будем квиты.

Ох и хитер дядя Кузя! Выкрутился той осенью. Кур обеспечил всеми «компонентами» и колхозу крепко помог. На отчетном собрании хвалил председатель дядю Кузю, и премию ему вырешили — электроутог.

НЕ СПИТ КУРИНЫЙ НАЧАЛЬНИК

На деревню спустилась ночь.

Мы вышли с дядей Кузей из дома на улицу, за дровами.

Над избами все так же стояли пухлые белые дымы. Они поднимались в высь, густо усыпанную звездами.

Снег искрился, перемигивался бесконечно.

— Вызвездило как,— сказал дядя Кузя, задрав голову и придерживая шапку.— Должен налим ход быть. Надо завтра на реку сбегать — глядишь, добуду себе на уху и хворым курицам на поправку.

Гудела печка, и малипились, наливались жаром ее бока. Видно было, как на стеклах вспыхивали студеные искры. Но вот от жара начал оплывать на окнах ледок и гасить эти искры одну за другой.

В углу возле бочек зашуршало, и сейчас же возник откуда-то кот Громилко, направился к бочкам неслышными шагами. Хвост его загулял из стороны в сторону, не предвещая ничего доброго колхозным вредителям.

Но скоро кот успокоился, развалился подле жаркой печи. Тревога была напрасной. Это из щелястого бочонка посыпалась на пол молотая кость.

Дядя Кузя долго перемигался. Ясно видел я, что он хочет о чем-то спросить и не решается. Наконец он начал окольно толковать о том, что у нас еще много бесхозяйственности, что вот весной вместе с ледоходом бревноход получится, а дрова надо покупать втридорога. Потом ругал правление колхоза, которое не позаботилось вовремя о ремонте овощехранилища, и много картофеля замерзло в полях.

Но я чувствовал: подъезжает дядя Кузя к чему-то и не эти дела его занимают.

— Весна вот скоро,— неожиданно вздохнул дядя Кузя,— забот у меня сызнова будет, забот! Опять коршулье кур начнет таскать, цыплят безмозглых. Да и чего их не таскать,— подумав, заключил старик. — Будь я коршуном, и то таскал бы. Вольеры нет? Нет. Вот и знай на здоровье курятинку кушай.

Он замолчал. Я жду, что дальше будет.

— Но вольеру-то бы и нетрудно сделать,— снова пустился в рассуждения старик. — Рабочую силу я сыщу — вои у меня вся школа в помощниках ходит. Клики только, палят галчата и все сделают. Стали школьников тоже

к труду приучать. Хорошо это. Баре нам не нужны. Но вот беда — проволоки нету. Есть, правда, у меня на примете...

И тут наконец дядя Кузя добрался до сути дела.

Оказывается, он давным-давно уже обнаружил в лесу старую телефонную линию. Был когда-то здесь леспромхоз. Провели эту линию лесозаготовители, но, когда вырубали лесосеки, забросили ее и проволоку не сняли. А дядя Кузя побаивался эту проволоку взять: а ну как влетит за это?

— Не влетит! — заверил я его. — Мобилизуй ребят. Снимай эту самую проволоку и делай вольеру. Леспромхоз тот уже в другую область переехал.

— Ну! — обрадовался дядя Кузя и потер руки. — Все! Подземную ораву Громилу истребил, теперь бы коршунье пресечь — и станут курицы жить себе поживать и добро колхозное наживать.

Долго не мог я уснуть в ту ночь. Лежал и все думал о дяде Кузе, хлопотливом курином начальнике.

Ни болеть, ни умирать ему некогда. Живет дядя Кузя, работает и не знает, что такими, как он, земля держится.

ШИНЕЛЬ БЕЗ ХЛЯСТИКА

Была вечеринка. Мать хлопотала возле стола и танцевала с сыном, который только что окончил десятилетку и пригласил к себе первых в жизни гостей: парней и девушек, таких же, как он, вчерашних школьников.

Мать раздумянулась, повеселела, и седина, пропахавшая ее голову большими бороздами, стала особенно заметной. Может быть, оттого, что проглянуло в глазах, в улыбке матери что-то такое девчоночье, юное, безвозвратно ушедшее или навсегда спрятавшееся.

И сын вдруг подумал: а мать-то у него еще довольно молодая.

Она же весь вечер дотрагивалась до него рукой, точно в чем-то удостоверивалась:

— Ну вот, ты у меня уже взрослый.

Перед сном она, как обычно, зашла к сыну в комнату. Она подумала: поцеловать его на ночь, поправить подушку, одеяло и успокоенно уйти. Но она не поцеловала его и не поправила подушку. Она села на его кровать, и сын заметил, что румянца на ее щеках уже нет и что у нее очень тревожный взгляд, и она беспрестанно поправляет волосы.

— Что ты, мама? — спросил он.

Мать ничего не ответила и долго сидела потупившись. Потом провела рукой по глазам, будто стерла с них что-то и потребовала:

— Слушай. Ты уже взрослый, — она на минуту смолкла, задумалась. — Есть на моей душе груз, который долго

пригибал меня к земле, впрочем, он пригибает и сейчас тех матерей, которые растят детей без отцов... — она говорила, как в университете, в аудитории, где работала преподавателем.

Он знал, что так, скованно, она будет говорить минуты две-три, а потом освободится от застенчивости и появится в ее глазах, в ее голосе та задумчивость и теплота, которая покоряла людей, слушавших ее. Но сегодня в ее голосе была грусть, только грусть, потому что она рассказывала очень грустную историю.

Она рассказывала о том, как приехала с фронта, без медалей и орденов, с одним свертком на руках. В этом свертке, укутанный в бязевые портянки, пицал он, ее сынишка.

У нее не было ничего: ни дома, ни работы, ни денег. Был только сын, и она стала жить для него. Она поступила в университет, и они вдвоем с сыном жили на стипендию и на те пайки, которыми время от времени их подкармливали профсоюзный и комсомольский комитеты.

Они жили на частных квартирах, и им все время отказывали, потому что сын был болезненный и крикливый. Кроме того, она не могла хорошо платить за квартиру. А еще ей отказывали потому, что хозяйки вечно ревновали к ней своих мужей и следили за квартиранткой, как шпионы.

Мужики наперебой ластились к ней. Она их прогоняла. А те за это грубо обзывали ее.

Сначала она плакала, давала тому или иному прилипа-ле по морде, а больше терпела и постепенно свыклась со своей бедой, и уже не лила слез, не дралась и научилась делать невозмутимый вид. Вот только сердце у нее рано начало сдавать, может быть, потому она осталась на всю жизнь худенькой, заморенной.

Университет она закончила с отличием, стала работать. Все образовалось и даже как-то перекипело, сохлось. Она ни в чем не раскаивается и ни о чем не жалеет.

Впрочем, нет. Об одной вещи жалеет. Она жалеет свою солдатскую шинель. В этой шинели она ползала по передовой и вынесла на ней того, кто стал отцом ее единственного сына. Под этой шинелью она спала, любила и родила своего ребенка.

Однажды ей стало нечем кормить сына, не на что было выкупить горячее питание из детской кухни. На дворе был март, и она решила, что холода уже кончились, от-

несла шинель на рынок и отдала за бесценок, потому что в ту пору и на рынке продавалось много шинелей, почти новых и с хлястиками.

Ну вот и все.

Что же касается того, кто был его отцом, пусть он не думает о нем, как другие, плохо. Она твердо верит: если бы он остался жив, нашел бы их.

— Вот и все, — со вздохом повторила она и опять поправила волосы. Потом опустила худые руки на колени. — Теперь тебе станет тяжелее, а мне легче, — она тряхнула головой. — Ничего не поделаешь, так положено в жизни — делить все пополам.

Она ушла к себе, первый раз в жизни не поцеловав на ночь сына. Она только пожала ему руку, как это делают настоящие друзья, и ушла.

А он лежал в темноте и думал о том, что первая седина у матери, наверное, появилась в тот день, когда она продала шинель. И еще он думал о том, что ему надо прожить очень большую жизнь и страшно много сделать, чтобы сполна оплатить ту солдатскую шинель без хлястика.

КАВКАЗЕЦ

М. А. Ожговой

Магомед-Оглы умирал. Он лежал на прогнутой койке в углу, и глаза его стекленели в палатных сумерках. Он не стонал и ничего не просил. Умирал молча. Каждое утро к его койке ковылял единственный ходячий в палате человек, солдат Банников, и сообщал:

— Живой еще.

— Живой?! — удивлялись раненые. — Вот это корень! Упрямый так упрямый.

В разговор включалась вся палата.

— И умирает через упрямство. Кровь чужую в себя не допускает.

— По ихней вере это не положено. Узнают в ауле, что кровь иноверную влили, все одно утробят.

— А ты откуда знаешь?

— А вот знаю.

— Гляди, какой пережиток! Умри, но не колебайся.

— И что у них там, с сознательностью ничего не сдвинулось, что ли? Неужто не поймут селяне его? На войне человек в крайность попал, в конце концов можно и не говорить ничего. Кровь-то у всех красная.

— Ну, будя трепаться, — покрикивал, как старший, на товарищей по палате солдат Банников, хотя лежали здесь сержанты, ефрейторы и даже старшина. — Человеку и без того тошно, а вы? — и спрашивал Магомеда-Оглы, показывая на еду, стоявшую возле кровати на табуретке: — Поешь чего-нито?

Магомед-Оглы поворачивал черную голову на белой

подушке из стороны в сторону и закрывал на секунду глаза. Это означало — нет.

— Ах ты, горюн, горюн, — сочувственно говорил Банников и принимался делить паек Магомеда-Оглы поровну между лежавшими в палате ранеными.

Поначалу бойцы стеснялись брать еду, но потом решили, уж чем ее отдавать, так лучше самим съесть, глядишь, скорее кто-нибудь поправится.

Как-то ночью Магомед-Оглы первый раз застонал. Банников уже спал и ничего не слышал. Старшина Сусекин взял костыль и ткнул им в Банникова:

— Трофим!

— А? — Банников вскочил и завертел головой, как филин. — Чего ты, старшина?

— Отходит, видно, кавказец-то.

Банников метнулся в угол, взмахнув халатом, как нелепая птица хвостом. С тумбочки упало и разбилось зеркальце.

— К покойнику, — вздохнул кто-то в темноте. — Может, дежурную сестру позвать?

— Погодь, что Банников скажет.

Оказалось, стон Магомеда-Оглы уловили все, а можно было подумать, будто раненые спали. Это было время, когда обитатели палаты сумерничали. Лежа под вытертым байковым одеялом, каждый думал о своем, коротя в душной госпитальной тишине час грустного покоя перед сном.

— Ну что там? — приподнялся и забелел в темноте один из раненых.

— Кажись, спит, — чуть слышно отозвался Банников. — Это он во сне застонал. Так-то он сдюжил бы. Кремень-мужик!

— Они, кавказцы, такие, — подхватил сосед старшины, явно набивающийся на разговор и уже готовый что-то поведать по такому случаю, но старшина Сусекин пресек эту попытку:

— Ша, ребята, пусть спит. А ты, Банников, уж посиди возле кавказца, дело такое. Он, как-никак, все же не в родной стороне.

— Да ладно агитировать-то, — буркнул Банников.

Стихло все в палате. Сосед старшины, не получив возможности поболтать, попытался было добыть огня кресалом и закурить. Сусекин молча вырвал у него изо рта

цигарку и кинул ее в плевательницу. Сосед обиженно посопел носом и вскоре уснул.

Уснули и остальные бойцы. А Банников сидел на табуретке и клевал. Перед ним на белой подушке чернел бородатый, взлохмаченный Магомед-Оглы. Сколько было ему лет, никто не знал. В палате всегда знали, кто куда и как ранен, а вот сколько кому годов, не знали. Магомед-Оглы был ранен осколком бомбы в бок. Он потерял много крови и ему в первый же день назначили вливание.

— Нэт! — решительно сказал Магомед-Оглы и прогнал сестру.

Тогда пришла Агния Васильевна, главный врач госпиталя, и сказала, что, если он откажется от переливания крови, она не ручается за исход лечения. Магомед-Оглы долго молчал, потом губы его дрогнули, и он выдал:

— Нэт!

Агния Васильевна повернулась и ушла. И теперь каждый день при обходе, увидев ее, Магомед-Оглы виновато закрывал глаза и послушно делал все, что она велела, даже сам оголялся ниже пояса, как все прочие, но не соглашался принять чужую кровь.

Однажды Агния Васильевна пришла одна, села возле Магомеда-Оглы, взяла его руку, привычно сосчитала пульс и сказала:

— Голубчик, нельзя же так упрячиться. Ведь ты умрешь.

Магомед-Оглы долго смотрел на эту вечно занятую докторшу с усталым лицом, с седыми волосами и черными, как у кавказских девушек, бровями. Что-то близкое было в ее русском обличье с чуть приплюснутым носом ему, кавказцу, что-то тянуло его к ней и хотелось довериться вот этой пожилой женщине, как матери. Но он через силу произнес:

— Нэ магу... Пажалста, прастите.

Магомеду-Оглы нужно было делать операцию, но при той потере крови, какая была у него, операция не могла состояться.

Агния Васильевна принялась выхаживать больного. Она назначала ему процедуры, новейшие лекарства, сама появлялась в палате раза по три на день. Но ничего не помогало. Магомед-Оглы умирал...

— Батюшки-светы! Каких только людей на свете нет, — прошептал Банников, зевая, и обнаружил, что в упор на него смотрят два огромных глаза, святающихся в лун-

ном свете зеленоватым, почти неподвижным огнем. Банников отшатнулся и уронил грелку с водой. Она шлепнулась, как рыбина, на пол, Банников прижал ее погой, робно боялся, что она брыкнется.

— Трафим! — услышал он слабый голос Магомед-Оглы. — Трафим.

— А? Чего? — изумился Банников. Изумился потому, что кавказец заговорил, что кавказец знал его, Банникова, имя.

— Трафим, иди, пажалста, спать, — попросил Магомед-Оглы. — Пажалста...

— Да нет, чего же, посижу, — ерзнул на табуретке Банников. — Не тяжело, высплюсь еще. Только и работы — есть да спать. А тебе полегчало, что ль?

Магомед-Оглы не ответил, и Банников некоторое время раздумывал, разговаривать ему еще с ним или не следует. Решил, что не следует, молчком дотронулся до лба кавказца и покачал головой:

— Ну и жар у тебя. Лоб-то прямо что кирпич каленый.

Подумав еще, Банников сходил к своей койке, взял полотенце и вылил на него полграфина воды. Полотенце, намоченное водой, — это было, с точки зрения Банникова, наипервейшее средство от всех болезней: с похмелья ли, с простуды ли, — всегда поможет. Почувствовав, как вздрогнул и обмяк от холодного компресса пылающий Магомед-Оглы, Банников тихо заговорил:

— Слышь, Магомедка, не супротивничай! Слышь, не ерешелься, впусти в себя кровь. Твоя-то кровь ведь вместе с нашей на одну землю пролилась.

— Нэ магу, Трафим, — почти стоном откликнулся Магомед-Оглы и облизал губы. — Прости, пажалста.

— Да чего прощать-то? Прости да прости. Вишь, как родители тебя к почтенью приучили. Хорошо это. А вот что ограждение в твоей башке из проволоки устроили, это, как хошь, никуда не годится. Никуда, брат, обижайся, не обижайся. Тебе сколько лет-то?

— Двадцать первый вчера пошел, — прошептал Магомед-Оглы и, подышав, добавил: — Дома вина пьют мое здоровье.

При упоминании о вине Банников слотнул слюну и мечтательно выдохнул:

— Э-эх, хорошо, именины-то! Подарки, вино, когда я на почте служил ямщиком, — и тут же спохватился: —

Да, брат, там за твое здоровье вино пьют, а здоровье-то у тебя — табак.

Утром Банников, ничего не говоря, уплел свою еду, потом весь завтрак Магомеда-Оглы и еще добавки попросил. Добавки ему не дали.

Раненые в палате решили, что еду без дележа Банников употребил как вознаграждение за ночное дежурство. Но он и на другой день, и на третий поступил так же, и тогда старшина Сусекин сокрушенно покачал головой:

— Не знал, что ты такой крохобор и злыдень!

Банников сник, залез под одеяло, долго ворочался, но вечером снова ел за двоих. А на следующий день, как только пришла Агния Васильевна, Банников стянул с себя рубаху и сказал:

— Тычьте!

На койках начали приподниматься раненые.

— Чего?

— Иглу, говорю, тычьте! — шевельнул нетерпеливо плечом Банников.

— Зачем? — нашлась, наконец, Агния Васильевна.

— Кровь Магомеду хочу перекачать.

Агния Васильевна удивленно глядела на Банникова и стучала трубочкой по своей ладони.

— А ну, немедленно надень рубашку, — приказала она и даже притопила ногой. — Немедленно, говорю!

— Что хотите, доктор, делайте, а только пельзя, чтобы человек зазря умирал, — потя от собственной смелости, возразил Банников, и вовсе уже тихо добавил: — Ему днями вот двадцать сполнилось, это он только из-за волосьев старовидный.

Агния Васильевна напятила на упирающегося Банникова рубаху, хлопнула его по спине и мягко сказала:

— Рыцарь! У тебя же другая группа крови. Соображаешь?

— Да как же другая? — растерялся Банников. — Все одно ведь красная, — и потащился за Агнией Васильевой. — Может, из-за исключительности момента? На войне всякое бывает, какие уж там группы, есть когда разбираться...

— Банников, не мешай работать и не мели чепуху! — прервала солдата Агния Васильевна. — И отправляйся на свою кровать. Что ты, как тень, за мной бродишь?

— Как же это? — вконец убитый бормотал Банников.

— Какая же тут чепуха? Я его харчи один молотил, чтобы крови подкопить. А вы — чепуха!

— Что-о? — вскинулась Агния Васильевна.

— Харчи, говорю, употреблял! — чуть не заревел Банников. Он стоял, как провинившийся солдат перед генералом, а докторша опять стучала себя по ладони трубочкой и вдруг схватила его за рукав и быстро потянула к койке Магомеда-Оглы:

— Если бы он предложил тебе свою кровь, ты бы согласилась?

Магомед-Оглы поглядел на виновато потупившегося, конопатого Банникова, перевел взгляд на Агнию Васильевну. Что-то боролось в нем, переламывалось, в глазах, переполненных болью, стояли слезы и мука. Но он не сломился, а, стиснув зубы, отвернулся.

— Вот ведь змееныш, — единым возгласом пропеслось по палате. — Хоровод вокруг него водят, стараются спасти, а он?!

Агния Васильевна сощурилась, точно взяла на прицел черный затылок Магомеда-Оглы, потом наклонилась к нему и доверительно спросила:

— А если мою кровь?

— Вашу?! — резко повернулся и округлил глаза Магомед-Оглы. Треснутые губы его, обрамленные черной бордой, замерли в вопросе.

— Да, мою.

— Вашу?! — еще раз переспросил Магомед-Оглы. Он закрыл глаза. Темные ресницы его задрожали часто-часто, будто стряхивали слезы, которых там никогда не было. Магомед-Оглы трудно приподнял руку, провел ею по лицу, словно стирая что-то с глаз и потряхнул лохматой головой.

Это означало — да.

— Банников, шагом марш за сестрой, — спокойно махнула рукой Агния Васильевна. — Помогите ей принести аппарат для переливания крови.

Но Банников уже не слушал докторшу. Он уже прыгко ковылял из палаты, смахивая с попутных тумбочек халатом разные предметы, и бурчал недовольно:

— И чего объясняет?! Будто сам не знаю, какой тут аппарат нужен...

...Пятнадцать лет спустя среди множества телеграмм и писем, полученных Агнией Васильевной по случаю ее шестидесятилетия, она обнаружила небольшое, застенчивое письмо, которое начиналось так:

«Здравствуй, родная мама! Это письмо посылает тебе Магомед-Оглы...» И дальше шло обычное извинение за долгое молчание, потому что он, Магомед-Оглы, не умеет и не любит писать письма. Но если будет нужна его жизнь, он придет и отдаст эту жизнь ей, своей второй матери.

1958

ПОСЛЕДНИЙ КУСОК ХЛЕБА

Вахтерша вошла в цех, чтобы позвать на обед. Она дагнула ручку гудка, забрызганную суриком. Гудок, спи-санный с «кукушки», пшикнул и гнусаво засвистел. Пока он свистел, вахтерша аппетитно зевала и отпустила ручку только после того, как у нее закрылся рот.

Лешка затворил инструменталку, взял алюминиевую тросточку, которую он называл «предметом симуляции» и, петляя кривой, изуродованной погой, отправился на обед.

В конце железнодорожного тупика, чуть в стороне, стоял дряхлый, сунувшийся коньком крыши под горы, флигель. Этот флигель они снимали с женой Леной за сто рублей и были довольны отдельным жильем и еще тем, что подле флигелька был огородишко и не надо было сажать картошку за городом.

Лена на работу уходила к девяти, как интеллигент, а Лешка даже не к восьми, как рабочие, а на час раньше, потому что должен был все инструменты припрятть из мастерской и своевременно подготовить их к приходу ремонтников...

Жена намыла чугунок картошки и дров принесла. Оставалось только сварить картошку и съесть.

Лешка затапливал старую и дырявую, как сам флигель, плиту и ругал крысу, которая прижилась в избушке. Сейчас только запустил он в крысу замком, но промахнулся.

— Чего ты, нечистая сила, к нам привязалась, на са-

мом деле? — ворчал Лешка. — Подавалась бы к теще, у нее кормежка лучше.

Крыса высунула усатую морду меж половиц в углу и слушала. Лешка кинул в нее поленом, и она снова скрылась.

В тупике прокричал, а потом стукнул вагонами паровоз, да так, что с потолка флигеля посыпалась земля.

Дрова, наконец, занялись. Лешка выглянул в окно и увидел, что из теплушек, воткнутых в тупик, выскакивают люди с котелками. Одеты они наполовину в пашу старую военную форму и наполовину в немецкую.

— Арийцы до дому едут, — заключил Лешка и оторвал листок от календаря за семнадцатое сентября тысяча девятьсот сорок седьмого года. Оторвал и потряс кудлатой головой. — Ха, здорово же устроено! Побили все, порушили, — заговорил сам с собой Лешка, — и теперь нах хаус, до дому. Небось, если бы наоборот было, они бы нас всех в гроб загнали, пока бы мы им камень на камень не сложили.

В дверь раздался робкий стук, и Лешка тем же сердитым голосом, каким только что рассуждал, крикнул:

— Кто там? Врывайся, если совести нет.

Но в дверь не ворвался, а медленно и несмело просунулся человек в огромных, ботинках, в лаганных галифе и стянул пилотку со стриженной головы, на которой грибом темнел шрам.

— Легок на помине, — буркнул Лешка и спросил: — Чего тебе?

Военнопленный протянул мятый котелок:

— Воды.

— Воды, — передразнил пленного Лешка и повторил: — Воды! Кого надуть хочешь? Я сам к этакой дипломатии совсем недавно прибежал, — Лешка вдруг сделал умильное, постное лицо и завел: — Нельзя ли у вас, хозяйюшка, воды напиться, а то так жрать хочется, аж ночевать негде. Вот. А ты — воды. Ну, чего стоишь? Садись. Сейчас картошка сварится, порубаем, — он ловко подsunул ногой табуретку, и пленный сел, тяжело опустив на колени руки с раздувшимися, красными суставами.

— Чего с руками-то? — кивнул Лешка.

Пленный потупился, но сказал без уверток, что плен — это плен, и советский плен тоже не есть рай, и что он работал в мокром забое, здесь, на Урале, и везет домой ревматизм.

На плите шипела и уже начинала бормотать в чугушке картошка. Два бывших солдата молчали, задумавшись. Потом Лешка встряхнулся и сказал:

— Ну, что ж, бараболя-то скоро упреег. Давай, подвигайся к столу.

На столе, под опрокинутой кастрюлей, придавленной сверху кирпичом, чтобы не добралась до харчей крыса, был спрятан кусок хлеба. В нем — не больше килограмма. Лешка отрезал ломоть и положил его обратно под кастрюлю, а остальной хлеб разделил пополам. Пленный неотрывно смотрел на кусок и от напряжения сжал распухшие в суставах пальцы в кулак. Лешка вывалил разваренные картофелины в чашку и насыпал на стол две щепотки соли: одну себе, другую пленному. Огляделся и пробормотал:

— Вот. Чем богаты...

Пленный взял картофелину и принялся ее чистить.

— Я знаю, — проговорил он задумчиво, — я знаю, вашему фронтовику сейчас трудно, нечего дать.

— Да-а, трудновато, — подтвердил Лешка, — и все через совесть нашу. Я вон слышал от кореша одного, что у вас, в вашей ФРГ, сейчас кушают лучше, чем у нас, а ведь могли бы мы...

— Да, да, — подхватил пленный, и лицо его покраснело, и он перестал чистить картошку.

— Ну, ты это, не робей, — подбодрил его Лешка. — Разговор делу не помеха. Ешь картошку, наводи тело, да помни: у меня обед не три часа.

— Да, да, — опять подхватил пленный и попытался взять со стола щепотку соли, но пальцы у него не сгибались, и он макнул картошку в кучку соли и, обжигаясь, принялся перекачивать ее во рту.

Лешка дул на розовую, треснувшую картофелину, сдирал с нее кожуру и благодушно рассуждал:

— Интересно же!

Пленный глянул на него и перестал есть.

— Интересно же, говорю, — повторил Лешка. — Вот сошлись два вчерашних врага и едят за одним столом картошку, — он вдруг повернулся к пленному и, пораженный только что пришедшей в голову мыслью, воскликнул: — А может, это ты мне лупанул в колено из винтовки?

Пленный опустил голову, но потом поднял ее и грустно глянул Лешке прямо в глаза:

— Вполне может быть. Я много стрелял и не скрываю

этого, как мои товарищи по плену. Иные из них говорят, что вовсе не стреляли и сразу сдались в плен. Это неправда. Если бы они не стреляли и все сдавались, война кончилась бы гораздо раньше. В том все и дело, что мы много стреляли, — он подобрал крошку со стола, помял ее пальцами, бросил в рот. — От этого нам много трудно, много трудно.

— Ладно, хватит скулить-то, — махнул рукой Лешка после продолжительного молчания. — Семья-то есть? Ждет кто-нибудь?

— Я, я! Да, да, — охотно закивал головой пленный и полез за пазуху, где у него хранилась фотография, вставленная в грубо сделанную деревянную рамку. — Вот Эльза — жена моя, вот дочка, — и вдруг прижал карточку к груди. — Неужели скоро увижду?

— Увидишь, увидишь, запросто, — хлопнул его по плечу Лешка, — ты давай доседай картошку-то. Я вот Ленке штуки три оставляю, а остальную добивай.

Потом они закурили, и пленный был рад, что смог угостить Лешку хорошим табаком. Пленный темного осоловел от горячей еды, устроился поудобней на табуртке возле плиты и спросил:

— А у вас ешчо нет? Детей ешчо нет?

— Нет покудова, но будут, не сомневайся. Фундамент уже заложет, — беспечно ответил Лешка и выпустил огромный клуб дыма.

— Трудно будет вам с ребенком. Чем кормить? — посочувствовал пленный.

— Прокормим, — успокоил его Лешка. — Мы эти все трудности побоку. Я учусь в школе, и десяти лет не пройдет, как стану техником, а то и инженером. А десять лет для нас, молодых, пустяк. Зима да лето, лето да зима, как цыган говорил, — и готово дело. Еще вот возьму когда-нибудь да на своей машине этаким фертом к тебе в гости прикачу. А что?

— Веселый вы человек, — грустно покачал головой пленный. — Таким легче жить. Да и видно вам впереди. А как-то нас примут? Что-то нас ждет?

— Все будет нормалью, — заверил пленного Лешка и посмотрел на часы. — О-о, милые, заговорились. Ты вот что, давай-ка сюда котелок-то, — потребовал Лешка, — давай, давай — не отыму. Нужен он мне большо. У нас своих два. Лешка-то у меня тоже в солдатах ходила и тоже котелок да медаль привезла, — наговаривая, Лешка бро-

сил в котелок оставшиеся картофелины, достал из-под кастрюли кусок хлеба и сунул его туда же.

— Не пужно,— запротестовал пленный. — Это же последний...

— Ничего, ничего, — заявил Лешка. — Мы дома, мы обойдемся, — прикрикнул на пленного, не пришивавшего котелок. — Есть время тебя упрашивать! Бери, да не забывай, что ухо падо остро держать, и нашему брату крепко следить требуется за тем, чтобы шикто и ни у кого не посмел бы больше отнимать последний кусок хлеба. Ясно?

Уже привыкший было к шугливому тону Лешки, пленный вдруг понял, что тот не только умеет колоколить. Он подтянулся и твердо произнес:

— Ясно.

...Лешка уже выдавал инструменты шумящим паровозникам, когда мимо депо простучал колесами состав с военнопленными. Лешка приподнялся на здоровой ноге и проводил поезд взглядом сквозь запыленное окно цеха до самой реки.

КРОВЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Он заметил этого парня сразу, как только вошел в магазин. Парень ничем особенным не выделялся среди покупателей. Одет, как многие молодые люди сейчас одеваются, в серую спортивную куртку и лыжные брюки. Только волосы у него чуть длиннее, чем у других парней, и замок на куртке развернут чуть подальше, чем это делается обычно.

И все-таки Сергей Дмитриевич понял: парень этот — жулик. Подчеркнутое безразличие ко всему, высокомерный прищур, за которым скрывалась настороженность, и особенно руки, засунутые в карманы куртки, — выдавали его. Никто не прячет руки так тщательно, как карманник.

Сергей Дмитриевич занял очередь в гастрономическом отделе. Он перебрасывался словами с покупателями, изучая цены на сыр, селедку, вино, и в то же время следил за тем, что делал парень в спортивной куртке.

Вор работал грубо. Лез в карманы направо, и было в его работе больше нахальства, чем ловкости. «Сейчас я его куплю», — пришла Сергею Дмитриевичу озорная мысль. Он вынул деньги — их было полсотни, — отсчитал двенадцать рублей, остальные сунул в брючный карман — и тотчас превратился в покупателя-ротозея, который не потому ротозей, что слишком небрежен, а потому, что уж больно осторожен.

Сергей Дмитриевич нарочно стиснул в кулаке деньги и оттопырил карман, наперед зная, что вот сейчас он подойдет к весам, начнет рассчитываться с продавцом, укла-

дывать покупки в сетку, и вор непременно в этот момент полезет к нему в карман.

Нервно скомканная трешка просунулась через плечо Сергея Дмитриевича. На шее он ощутил горячее дыхание. Сейчас парень еще плотнее навалится на него, попросит не слишком громко и не очень тихо пачку «Беломора», а продавщица потребует с него мелочь. Начнется недолгое препирательство. А в это время...

Вот оно — робкое, почти нежное прикосновение к бедру. Ползут, ползут в карман затвердевшие и в то же время невероятно чуткие пальцы. Парень перестал дышать, и Сергей Дмитриевич затылком чувствовал, как расширились у карманщика глаза, как ушли из них сила, ум, совесть — все, что дала ему от рождения мать, — все ушло и повисло на кончиках пальцев.

Сергей Дмитриевич поймал руку вора за локоть, и она сразу ослабела, потом напряглась, рванулась.

— Отойдем в сторону, — вполголоса сказал Сергей Дмитриевич.

И вор покорно последовал за ним с мгновенно осунувшимся лицом.

— Не получилось наколки? — усмехнулся Сергей Дмитриевич и, выходя из магазина, предупредил: — Не вздумай мотануть — хуже будет. — Жулик смирился. Сергей Дмитриевич вывел его на улицу и сказал: — Не умеешь работать, корешок. Не годишься для такой тонкой работы. Да и ни к чему она тебе. Вон какой битюг. Лес валить ступай.

И пошел прочь. На углу обернулся. Пришибленный парень стоял все на том же месте и растерянно смотрел вслед Сергею Дмитриевичу.

* * *

На окраине городка, вытянувшегося вдоль горной реки, стоит старый деревянный дом. Черемухи и рябины как будто подпирают его, не давая упасть с косягора. Осыпистый овраг, называемый здесь логом, углом врезался в гору. По дну его сочится вялый светленький ключ, местами совсем скрытый вывалившимся из горы плитняком.

У домика, испуганно притулившегося на косягоре, весной подмыло половину изгороди. Каждое утро, спускаясь к ключу по воду, Сергей Дмитриевич трогал подпорки,

поддерживающие прясло под обрывом, и недовольно хмурился. И теперь, прежде чем открыть ворота, он привычно глянул на лог, в который осыпались земля и мелкие камешки, но задерживаться не стал. Не хотелось портить себе хорошего настроения, с которым он сейчас шел по всему городу, возвращаясь из магазина.

Он жил в этом городе давно, знал его вдоль и поперек, по каждый день открывал в нем что-то новое. На месте недостроенного собора начали воздвигать Дом культуры. Хорошо это, давно пора. Один кинотеатр на весь город, да и кинотеатр такой, что в нем к концу сеанса мухи мрут от духоты. Здание детсада возле железнодорожной линии зеленой краской выкрасили; мухоморов деревянных на детсадовской площадке, как в густом ельнике, и цветов столько, что в глазах рябит. А на площадке ребятишки. «Мордастые все какие и, небось, озорные, стервецы!» — подумал Сергей Дмитриевич, проходя мимо. Он замечает, что за последние годы в этом прокопченном рабочем городе вообще стало много ребятишек и цветов. Всяких мастей цветы и фасонов разных. Перед домами, в палисадниках, во дворах, в скверах, на стадионе — всюду цветы...

Захваченный «цветочной стихией», Сергей Дмитриевич и сам попытался посадить около дома георгины. Купил на базаре георгинную картошку, закопал под черемухой. Выросла дудка с тремя листьями, даже шишечка набухла, но не расцвела.

— Не по нам, значит, такое деликатное дело, — сказал ему сын Юрий, поцарапав затылок.

— Да, знать, это бабье запятие, — сокрушенно вздохнул Сергей Дмитриевич и сделал вид, что отступился. Растут в палисаднике сами по себе поготки, чемерица, куриная слепота — и ладно. Тоже цветки. Но тайком от сына сходил все же к соседу и выспросил, как и где сажают георгины и какое удобрение им требуется.

— Будут у нас и георгины эти самые, — хитро усмехался он, поднимаясь на крылечко и открывая дверь.

Юрий пришел с ночной смены и спал в чулане. Сергей Дмитриевич осторожно приоткрыл дверь в чулан, поглядел на сына. Голова юноши скатилась с подушки. Щеки были чисты, но под глазами осталась копоть. «Торопился, видно, добраться до постели вальцовщик и умыться не успел как следует. Трудна ночная смена», — вздохнул отец.

Грудь Юрия ровно подымалась, и русалка со щучьим

лицом то выныривала из-под синей майки, то исчезала под ней. Русалку эту Юрий наколол тайком, подражая отцу, когда учился еще в пятом классе, и долго этим гордился. Сам Сергей Дмитриевич был до того разрисован всевозможными зверьми, стрелами, пронзающими червонных тузов, якорями и разными другими штуками, что на старости лет стал стесняться ходить в общую баню и срубил на огороде свою.

Сергей Дмитриевич завесил окно в чулане, чтобы солнце не пекло Юрия, положил сетку с продуктами в кухне на стол, не спеша сходил в огород, выдернул гнездо лука. Включил плитку, выложил на сковородку ветчину, поджарил. Так же неторопливо спустился к ключу, поставил под струю чайник, вымыл руки. Подымаясь на крыльцо, на минуту задержался возле чулана, подумал и тихо позвал:

— Эй, работник, вставать пора, проспичь все царство небесное!

Юрий открыл глаза, утер губы ладошью, вытянул за ремешок часы из-под подушки и сладко, как мальчишка, потянулся.

— Люблю поработать, особенно поспать. — И улыбнулся с зевком: — Чем, батя, кормить будешь?

— Умывайся дома, — отозвался отец уже из кухни: — в ключе вода нынче шибко студеная. Дашь дуба.

Сергей Дмитриевич любил употреблять стародавние и даже блатные слова. За этим скрывалась неистребимая привычка чуть гордиться тем, что был он когда-то беспризорником и вором, немало хлопот людям доставил, а вот сумел-таки на ноги встать, честно хлеб зарабатывать — и пенсию заслужил. Последние годы работал он на заводе по плотницкой части.

Юрий сбежал к ключу, поставил спину под струю, падающую с осклизлого, подернутого зеленью желоба, и дуриным голосом заорал ту самую песню, какую всегда пел при этой процедуре:

Нам полезней
Солнце, воздух и вода,
От всех болезней
Помогают нам всегда...

Сергей Дмитриевич распахнул окно в кухне и снова пообещал:

— Дашь дуба, дашь, дохорохоришься!

Юрий потрянул мокрой головой и улыбнулся отцу — он знал, что тот любит его и маскирует это грубоватыми шутками.

Они ели со сковородки поджаренную ветчину, и отец будто не парокком перебрасывал вилкой на «Юркин край» пежирные куски, потому что сын жирное не любил. Потом Сергей Дмитриевич налил себе густого чаю, а Юрий нацедил из пузатой банки «гриба», залпом выпил кружку и с удовольствием крикнул:

— Хорош! Настоялся...

Юрка приучен был к грибу матерью, которая глубоко верила, что настойка из этого неведомого гриба, неизвестно откуда взявшегося в маленьком уральском городке, способствует здоровью человека, и уверяла, что ее сын мало болеет в детстве только потому, что постоянно употребляет такое диковинное питье.

Отец с сыном вдруг погрузились. Нет матери — умерла в позапрошлом году. Не помог гриб. Остались в старом деревянном домике одни мужики. О матери они почти не говорили. Даже в вербное воскресенье на кладбище — у ее могилы — не проронили ни слова, а посидели, убрали обвешалый венок, навесили на перекладину креста свежий, пихтовый, и ушли.

Сергей Дмитриевич хозяйствовал в доме сам. Он мыл, варил, копался в огороде, постоянно добавлял кипяченую воду в банку с грибом и бросал туда сахару больше, чем бывало, жена.

Дел в доме оказывалось много, однако Сергей Дмитриевич управлялся с ними довольно быстро и начинал ждать сына. Он ждал его с работы, с комсомольского собрания, с вечеринки, из кино — и притворялся спящим, когда Юрий, наконец, возвращался. Вскрикивал, правда, сразу, как только сын брался за щеколду ворот, всовывал ноги в старые шлепанцы жены, но затем ждал, пока Юрка забарабанит в ворота петерпеливо, и только тогда шел открывать. И всякий раз ворчал:

— Так ходуном халупа-то и ходит... Эк тебе приспичило!

— Ну и здоров ты спать, — удивлялся Юрий.

— А чего мне не спать? — хмурился отец: — Я свое отработал и отгулял, могу теперь и поспать.

— Верно, — соглашался сын и откровенно признавался: — А я сейчас до того спать хочу, что, пожалуй, и ужинать не буду.

— Ну, это ты брось! — сердился отец и потом, наблюдая, как Юрий в угоду ему через силу жует холодное мясо, грозился: — Я вот твою Ритку поймаю и скажу ей, чтоб она не доводила тебя до полного истребления! Еле ноги волочишь. Дойдет дело до свадьбы, отцу придется тебя на закукорках к невесте тащить. Во-о картина будет! — Он подтрунивал над сыном постоянно. Юрий отшучивался. Убрал посуду, отец садился на крыльцо, сын рядом с ним, и они закуривали.

Сидели молча, смотрели на завод. Даже ночью он виден был с горы, только труб обозначалось меньше и кауперы домен, силуэты огромных цехов уходили в тень заречной горы, сливались с нею. Ночью завод слышнее, и шум его более мерный, слитный и торжественный.

Иногда на отвале вспыхивало зарево — там выливали шлак, а то из бессемера с гулом вылетал густой ворох искр, и темный клуб дыма поднимался к низким облакам.

Наступала тишина.

И заводской шум, и крики маневрушек, и лай собак, и урчание экскаваторов на реке были привычны, словно бы и не нарушали ночной покой, не тревожили сна.

— Ну, я пойду, — говорил Юрий и еще с минуту сидел, ожидая, когда отец встряхнется и скажет:

— Ну что ж, давай — жми. А я еще посижу маленько.

— Папиросы на тумбочке! — уже с кровати кричал сын и немедленно засыпал.

— А-а, папиросы, добре...

Сергей Дмитриевич оставался вдвоем с ночью, немного печальный, но успокоенный тем, что сын Юрий тут, рядом. Сын был рядом, и отец думал о нем меньше. Когда же Юрий бродил где-то по городу, занятый своими необходимыми делами: слушал лекции, смотрел кинокартины, танцевал, провожал девчонок и, небось, тискал их, — Сергей Дмитриевич постоянно тревожился о нем, как мать, бывало.

В темную, заполненную ровным шумом ночь Сергей Дмитриевич невольно начинал сравнивать свою жизнь с жизнью сына.

Вспоминалась Сергею Дмитриевичу хаза — заведение великого вора Эммануила Карловича Луковицкого. Это был интеллигентный мужчина с белыми благородными волосами, с брюшком, с дорогими перстнями на толстых пальцах. Ходил он всегда в накрахмаленной сорочке, с тросточкой и играл на виолончели в оперном театре.

Эммануил Карлович имел маленький особнячок, в котором был великолепно оборудованный подвал: здесь жила небольшая стайка молодых воров, умело отобранная и с высоким профессиональным мастерством вышколенная Луковицким. Беспризорники-подростки, дошедшие с голоду, с отчаяния до мелких краж у рыночных торговков, попав в заведение Луковицкого, жили в полном довольстве.

О, это была пастоящая школа, и «работали» там только счастливчики. Ни одного из тех, кто не хотел ужиться с Луковицким или пытался «работать на себя», Сергей Дмитриевич никогда и нигде уже не встречал больше.

Обучал новичков сам Эммануил Карлович — и тут он оказывался истинным артистом, непревзойденным виртуозом. Зеленых, неподготовленных парней Эммануил Карлович никогда не выпускал «на дело». Многими приемами владел «преподаватель» Луковицкий, но вершиной его мастерства были три из них.

Шест с маленькой крестовинкой. На шесте — пиджак. В боковом кармане пиджака — туго набитый бумажник, нужно вынуть бумажник, не уронив шеста. Затем тот же шест, тот же пиджак, тот же бумажник, но уже с колокольчиком: надо украсть бумажник, или, по-блатному, «лопатник», и не потревожить чуткий колокольчик. И, наконец, последнее, самое трудное и самое страшное испытание: вытащить какую-либо вещь из кармана «самого!» «Учителя» нужно было выслеживать неделю, две и уловить момент, который затем давал вору право именоваться достойным сыном Луковицкого.

Если воспитанник не выдерживал экзамена и попался, Эммануил Карлович голосом базарной торговли кричал: «Вора поймал! Бей!» И тогда били неудачника смертно, как быют на толкучке. Сам Эммануил Карлович не трогал учеников — жалел свои бесценные пальцы, хазу Луковицкого долго не могли нащупать, но все-таки однажды накрыли. Сергей был уже почти взрослым парнем и ненавидел своего хозяина так, как можно ненавидеть только самого лютого врага. Ненавидел за «чуткость», за «воспитанность», за тощую жестокость, а главное, за то, что ради него, хозяина, Сергей обобрал сотни людей и, отработывая «сладкий хлеб», отдал хозяину множество золотых часов, цепочек, браслетов, денег.

Когда милиция ворвалась в хазу и Луковицкий стал отстреливаться, Сергей ударил его по голове тем самым

«испытательным» шестом, который для устойчивости был начинен свинцом, как бильярдный кий.

Давно это было. И было ли? Может, приснилась хаза Луковицкого? Может, это кого-то другого обучали потом в трудовой колонии жить и работать, может, это кто-нибудь другой стоял на границе дальневосточной тайги, а в войну был заряжающим тяжелой гаубицы и громил фашистов? И другой — и все же он самый. Знакомый — и незнакомый. Велика жизнь, сложна жизнь.

К утру на землю опускался реденький стылый туман. От сырости трещали провода высоковольтной линии. Постепенно серел край неба и оком желтел, накалялся, подпалывая зубцы дальних лесов. Яркую зарю перечеркивала темная полоска той же высоковольтной передачи, которая перехлестывала наискось город и усадьбу Сергея Дмитриевича. Выходило солнце, провода высыхали, треск прекращался. Старик еще прислушивался, ждал чего-то, а сам думал — будить или не будить Юрия? Пусть соберется хоть раз на работу не спеша, по-человечески, а то вскочит, кусок в зубы — и чешет во все лопатки к проходной. «Сегодня он вроде пасовсем свободен. Тогда пусть еще поспит, пусть поспит. Сон у него глубокий. Я в юности не спал так. Вор не может спать спокойно».

И сидит на крыльце Сергей Дмитриевич и думает, думает.

После завтрака Юрий начал собираться, надел чистую рубашку, выглаженные штаны. Отец спросил, скрывая недовольство:

— Новая краля?

— Вот еще! — фыркнул Юрий. — Дежурство сегодня у меня.

— Какое еще дежурство?

— На стадионе.

— Да-а, — протянул отец. — Я и забыл, что ты стукачом заделался. Ну-ну, давай лови жулье! Развелось его у нас в городе. Я вон сегодня одного в кармане заякорил.

— Отвел?

— Не-е, зачем у вас, бригадмилцев, хлеб отбивать? — шутил отец. — Я своим методом вора быю — срамлю.

Юрий рассердился, сунул расческу в карман так, что выломился зуб.

— Ну, знаешь, ты или не понимаешь, что вредишь, или...

— Чего-о? — нахмурился Сергей Дмитриевич. — Ты язык-то попридержи.

— Чего мне придерживать язык, когда ты ведешь себя как либерал.

— Кто? Кто? — мелко засмеялся отец.

— Либерал, говорю. Значит — не очень полезный обществу человек.

— Вспомнил бы ты поговорку про яйца, что курицу собираются учить. Ли-бе-рал. Хэх, скажет же, грамотей! Не зря я десять лет тебя учил, не зря за худые отметки ремнем драл. Вон ты слово какое выучил, его, не поемши, и не выговоришь.

Юрий насупилась. Между темными бровями его сразу образовалась складка, точь-в-точь как у отца, только еще мальчишеская, минутная.

— Слушай, отец, ты не подумай, будто я тебе мораль хочу читать или что. Поговорим-ка по-мужицки...

— Валяй, — сказал отец и поудобнее устроился на крыльце, готовясь к беседе.

— А! — поморщился опять Юрий. — Вечно ты так, с шуточкой. А жулик на твой юмор чихает и очистит сегодня еще десяток людей.

— Не очистит. Ухватка не та. Дровокол из него может получиться, а вор — ни в коем разе.

Юрий знал, что если отец впал в этот шутливый тон, серьезной беседы не получится.

— Эх, батя, батя... Одиноко, скучно тебе, вот ты и фокусничаешь. Шел бы ты к нам в бригаду.

Сергей Дмитриевич прикурил от папиросы Юрия, закашлялся.

— Жуликов ловить?

— А что? Ты видишь их за три километра. С твоей помощью мы быстро очистили бы город от этого общественного хлама...

— Кудряво говоришь, сынок, — усмехнулся отец. — Карманы очистит, город очистим... — И вдруг ударил сына тяжелой рукой по колену. — Может, у нас с тобой, сын, мораль разная? У меня — старая, у тебя — новая...

— А жизнь одна.

— Жизнь? Что ты еще смыслишь в жизни? Ну, хватит, — поднялся старик. — Пойду картошку копать — это корень всей жизни.

Юрий сердито затоптал папиросу.

— Вот еще с этой картошкой тоже — зачем она тебе?

Есть огород, хватит нам его. А ты аж за мост ползешь, мешки таскаешь на себе! Можно сказать, перед лицом ответственности меня срамишь. Это тоже метод?

Отец, сворачивая в трубочку мешок, утрировано произнес:

— Ключ за косяк положи. Денег надо — в кармане моего пиджака пошарь... — И пошел со двора, сутулый, со сморщенной шеей, круго выпирающими из-под рубахи лопатками.

Юрий проводил его взглядом до лога.

— Тоскует старик...

Он подумал о маленьком участке земли за рекой, еще в войну раскорчеванном матерью. До участка от дома километра четыре. Мать с отцом ходили туда вместе. Возвращались усталые, с тяжелой ношей, но вместе, вдвоем. А теперь вот отец ходит туда один.

* * *

Команда волейболистов прокатного цеха проигрывала каменщикам. Юрий бился, не жалея коверкотовых штанов, шелковой рубашки, повредил пальцы, но прокатчики все равно проиграли.

— Харчиться надо лучше, — сказал капитан команды доменщиков и дал Юрию закурить. — Рыбу почаще употреблять, особенно щуку, тогда реакция появится.

Солнце садилось в заводской дым, расплывшийся по реке и над горами. С гор тянуло предвечерним холодком, и цветы на клумбах, запыленные, быстро вянущие цветы рабочего города, стали робко расправляться и слегка отпотели.

На теннисной площадке играла Рита со своим тренером и поклонником Вадимом Кирюшиным. Вадим был лыс, толстоват, а Рита работала так старательно, что от лысины тренера шел пар.

— Подбрось жару, Риточка! — подбодрил девушку доменщик. — Вадик уже концы отдаст.

— Рита, ты ему чаще в правый угол давай, — закричал Юрий. — Слух есть — у него на правом глазу бельмо обозначается, он сам еще об этом не знает пока, а ты пользуйся!

Рита улыбнулась Юрию и подняла ракетку.

— Вадик, сдаюсь!

— Ну то-то же, — сказал насмешливо Кирюшин и пошел с площадки, подбрасывая ракеткой белый мячик.

Юрий подождал, пока Рита приведет себя в порядок. Доменчики ушли, измываясь над прокатчиками; Вадим тоже удалился.

Рита пригладила стриженные волосы, набросила на плечи жакет. Была она в узеньких серых брючках. Юрий многозначительно хмыкнул:

— Нд-а, если батя увидит тебя — до костей просмеет.

— Твой батя — добрый человек, по-моему, но чудной какой-то.

— Чудной ли — не знаю, но уж с характером.

— Это так, — согласилась Рита и поскорей перевела разговор на другое. Ей хотелось рассказать Юрию про сегодняшнюю встречу с Сергеем Дмитриевичем, но она почему-то не решалась. Впрочем, особенно и не о чем было рассказывать. Встреча была коротенькой.

Рита заметила Сергея Дмитриевича еще издали. Он шел с мешком под мышкой, насунув на лоб старенькую кепку Юрия с коротким козырьком. Кепка придавала ему озороватый вид. Девушка замедлила шаги, чтобы не догнать старика.

Когда Рита еще училась в школе, в одном классе с Юрием, она заходила к нему домой часто и запросто, а теперь вот не может, хотя иной раз очень хочется зайти. Как они живут, одни мужики, она не знала: Юрий не любил об этом говорить.

Она тихо шла следом за Сергеем Дмитриевичем, то приотставая, то почти нагоняя его. Вдруг он обернулся:

— Ну-ка, подойди, гражданочка во штанах!

Рита с деланным удивлением воскликнула:

— Дядя Сергей, а я вас...

— Не узнала? — подхватил Сергей Дмитриевич, и все лицо его залучилось морщинками. — Значит, богатым сделаюсь. — Но тут же насунился так, что глыбистые надбровья почти скрыли глаза. — Ты вот что, гражданочка, скажи, пошто Юрку голодом моришь? Пошто выспаться ему не даешь?

Рита вспыхнула и даже остановилась, не зная, шутит ли старик или всерьез корит ее.

— А я что? Я ничего...

— Да я знаю, что ты ничего, давно знаю... Только волосы-то вот зря обкарнала. — И старик словно ненароком дотронулся до ее головы. Рита ощутила легкое при-

косповение грубоватых и в то же время ласковых пальцев и пригihла. Сергей Дмитриевич смутился.

— Эка мода пошла. Под кобыльи хвосты волосья ладят. Срубила заграпица русскую косу. — Помолчав, тихо вздохнула: — У моей жены в молодости косища-то была во-о! Во всю спину...

Должно быть, старику хотелось поговорить, но они уже дошли до стадиона, и Рита простилась:

— До свидания, дядя Сергей.

— Доброго здоровья, — приподнял кепчонку Сергей Дмитриевич. — Шарик идешь бросать?

— Да.

— Ну-ну, и то занятие. Каждому свос. Я вот тоже по шарик иду, — тряхнул старик мешком и бросил на ходу: — Захаживай когда!

— Спасибо, зайду, — несмело пообещала Рита и свернула к воротам стадиона.

И все время, пока она играла в теннис с Вадимом, не шел у нее из головы Сергей Дмитриевич, и что-то смущало ее, и что-то холодило в груди.

Она украдкой взглянула на Юрия и порывисто прижалась к нему.

— Ох, Юрка, беспокойно мне что-то...

— Фантазии, — буркнул Юрий и отвернулся. — Ты теперь куда?

— Да никуда. Здесь еще поболтаюсь, мне на работу с двенадцати. — И, не умея скрывать, призналась: — Хочу с тобой побыть, ты ведь сегодня дежуришь. — Что-то вспомнив, она тревожно добавила: — Слушай, Юра, тот тип здесь шляется со своими шестерками, или как вы их называете.

— Какой тип?

— Да Яшка Поплоухин.

— А-а, — протянул Юрий и сжал зубы. — Дошляется.

Яшка Поплоухин — бывший футболист, а нынче, как говорится в газетных заметках, человек без определенных занятий. Два года назад он подкараулил Юрия у выхода из городского парка и предупредил:

— Фрайер! Наколюшку схлопочешь, попомни, подлюга, — и удалился, напевая:

Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила морду мне, часы сняла-а...

Бригадмилыцы догадывались, что Яшка и есть тот са-

мый «резидент», возле которого группируется городская шпана и ворье, но никак не могли поймать его с поличным. Увертлив Яшка. Юрий с комсомольско-молодежной бригадой прокатчиков, которая взялась помогать милиции, вот уже с неделю выслеживал Яшку, и тот, очевидно, заметив это, пытался припугнуть ребят. «На слабые нервы рассчитывает, нахрапистый гад! Все равно попадетсЯ. Может, даже сегодня попадетсЯ», — подумал Юрий.

Рита тронула его за рукав и попросила подождать минутку, пока она отнесет ракетку в спортзал. Юрий закурил и остановился около круглого киоска, возле которого была устроена полумесяцем клумбочка с цветами. Он ждал Риту и своих ребят-бригадмильцев, которые по уговору должны были собраться здесь.

За киоском слышалась возня. Юрий бросился туда и увидел двух парней, взявшихся за грудки. Почему-то они дрались молчком. Это было странно — не в характере русских людей драться без шума. Четыре парня, прикрыв глаза кепками, наблюдали за дракой. Шевельнулось подозрение, но раздумывать было некогда.

Юрий встал между дерущимися, расцепил их руки...

Чуть согнувшись, Сергей Дмитриевич брел с огорода, утомленный и потный. Мешок, разделенный веревкой посредине, давил равно на спину и грудь. Возле стадиона старик свалил мешок на скамью и достал папиросу. Тут он увидел Риту — она мчалась куда-то со всех ног.

— Гражданочка... — насмешливо завел было Сергей Дмитриевич.

Рита подскочила к нему, и старик увидел побелевшее лицо и широко раскрытые глаза.

— Дядя Сергей! — закричала она на всю улицу. — Дядя Сергей!.. Юра...

Сергей Дмитриевич забросил мешок на плечо, побежал, опомнился, тряхнул плечом — мешок свалился, ударился о бетонную тумбу, треснул по швам, картошка покатилась во все стороны. Рита стала ее собирать, но тут же опомнилась, охнула и побежала к зданию милиции с картофелиной в руке.

А Сергей Дмитриевич уже ворвался на стадион, растолкал людей.

И вдруг увидел цветочную клумбу возле киоска. Цветы на клумбе были растоптаны, беленые кирпичи вывернуты из земли. На кирпичах, на белых астрах, на пышных георгинах — брызги крови. Клумба поплыла в сторону, кирпичи поплыли, рассыпались, кровавые пятна заслонили глаза...

...Его отпаивали фруктовой водой из бутылки. Вода была красная, и старик не мог ее проглотить, она хлынула обратно изо рта на рубаху и пиджак.

Из уборной выскочил парень в серой спортивной куртке. Старик увидел его, узнал, схватил кирпич.

— Размозжу-у!

И так грозен был этот крик, что парень споткнулся, упал, прикрыв голову руками.

— Дяденька, это не я!.. Я только за руки держал...

* * *

Он сидел неподвижно на скамье в больничном скверике, и никто его не прогонял, никто не беспокоил, не пытался утешать. Сергей Дмитриевич как-то сразу сдал, еще больше ссутулился и весь обмяк. В опущенной руке он вяло держал ниточную сетку, с которой постоянно ходил в магазин. Из сетки торчали старые щелепанцы, виднелись стеклянная банка с ягодами.

К Юрию его не пускали. Вышел человек в халате. Изпод халата виднелись кальсоны без тесемок, с больничным штемпелем на штанине. Большой начал говорить про хулиганов, увязывая этот вопрос с текущей политикой, и сообщил, что привезли парня-прокатчика, и у него прокололо насквозь легкое, и весь он исколот.

Бросив окурок, больной свирепо выругался:

— В спину били, длинным шилом били. За нож они знают, что присудят. Так они вон какое оружие придумали, чтобы не покарали, значит. Теперь у него воздух под кожу идет...

Сергей Дмитриевич встал со скамейки и в коридоре больницы остановился перед дежурной. Он не просился.

Он только смотрел на дежурную, за спиной которой на стенке висел плакат; на нем изображено растение и написано: «Собирайте спорынья!»

Ни плаката, ни спорыньи, ни дежурной Сергей Дмитриевич не видел. К дежурной подошла седая женщина в

белом халате, со вздохом глянула в сторону Сергея Дмитриевича и что-то тихо сказала. Сергей Дмитриевич сделал шаг за барьерчик, отвел рукой седую женщину в белом халате и дежурную.

— Куда? — слышалось ему вслед...

Никто не показывал Сергею Дмитриевичу ту палату, где лежал Юрий, однако старик сразу нашел ее и вошел именно в нее. Только вот в палате он не смог разом сыскать сына.

Больные почему-то не охали, не стонали. Сергей Дмитриевич остановился — и сердце его остановилось.

Одна кровать, другая.

Сергея Дмитриевича качнуло. Он схватился за спинку ближней кровати и услышал:

— Там... У окна...

Он посмотрел туда, куда ему показывали. Изголовье крайней кровати было приподнято на подоконник. На кровати, обложенный подушками, почти стоял на ногах человек. Лицо его было вздуто, шея сделалась толстой, слилась с подбородком, грудь — бугром. И на этой груди, будто на ленивой волпе, покачивалась огромная русалка.

Лицо у нее стало не щучьим, а налимым, и грудки, наколотые в виде конских подковок, пошевеливались, как плавники.

Натыкаясь на тумбочки, койки, Сергей Дмитриевич подошел к окну и, боясь приблизиться к сыну, остановился. Тяжелые, как у отца, надбровья нависли низко, закрыли глаза Юрию — он не мог поднять веки. Только распухшие губы его медленно расклеились и едва прошелестело:

— Это ты?

Сергей Дмитриевич не отвечал. Он стоял с беспомощно открытым ртом, рывками, по-рыбьи, сглатывал воздух.

— Сядь, — глухо, будто рот у него полон ваты, произнес Юрий, и от этого простого домовитого слова Сергей Дмитриевич очнулся.

— Я сяду-сяду, — заторопился он и осторожно опустился на край стула у кровати. — Я тебе вот шлепанцы материны принес, казенные-то, небось, жесткие... И бруснички принес... Брусника при любой болезни и с похмелья — первое средство...

— Тяжело мне, папа...

Сергей Дмитриевич дернулся к сыну, но, страшась коснуться его, добавить ему боли, схватился не за руку, а за ножку кровати.

— Ты чего? — встревоженно спросил Юрий и пошевелил пальцами, пытаясь поднять руку. Сделав усилие, он поднял ее к лицу, отвел вздущиеся веко. Отец потрясенно смотрел в узенькую щелочку, открытую толстым пальцем. Из этой щелочки чуть светился измученный темно-карий глаз сына, и столько боли таилось в нем, что Сергей Дмитриевич не выдержал, схватил его руку. И эта рука опустилась на голову отца, придавила ее к кровати.

— Ты чего так ослаб? Ты ведь у меня мужественный старикан... — с трудом вымолвил Юрий, и что-то похожее на улыбку искривило его губы.

— Какой я мужественный! Какой я мужественный!.. — закричал отец. — Убить меня мало!.. — Он почувствовал, что его берут под руки, уводят. — Нет, я здесь буду... Я тихо буду... Честное слово, тихо, — лепетал старик, сопротивляясь.

И опять Юрий еле слышно сказал:

— Держись, отец! Мы еще поборемся... держись...

Сергей Дмитриевич не помнил, как вывели его во двор больницы, как посадили на скамью. Он остался один. Неизвестно, сколько времени он пробыл здесь. Его тронули за рукав, и он поднял голову и долго не мог различить, кто перед ним стоит, только цветы сразу увидел. Маленький букет астр. Сергей Дмитриевич наконец узнал Риту, ткнулся в ее остренькую грудь.

— Ох, дочка! Как же нам теперь быть-то?..

Она притиснула голову старика обеими руками и растерянно твердила:

— Дядя Сергей, что вы? Дядя Сергей, что вы?!

Он быстро ослаб, обессилел и с укоризной сказал:

— Красных цветков нарвала. Других никаких не нашлось, что ли?

Рита испуганно взглянула на белые астры и незаметно отбросила их за спину.

— Вам надо отдохнуть, дядя Сергей, отдохнуть...

Сергей Дмитриевич, как бы просыпаясь, огляделся кругом, глаза его остановились на белом букете, упавшем в траву:

— Блазнится... Ничего... Будем держаться...

Рита помогла ему встать. Он долго шел, ни о чем не спрашивая, не упираясь, и уже в городе пошевелил рас-трескавшимися губами:

— Куда ты меня?

— Домой... Я... Я с вами буду... Вместе. И потом, когда Юра вернется... Ну... тоже вместе...

— Вместе? Вместе хорошо. — Сергей Дмитриевич стиснул руку девушки.

Они шли к домику, что стоял на косогоре, возле светлого ключа.

Навстречу им попадались люди. Они о чем-то судачили, куда-то спешили с кошелками, с сумками, с портфелями. Это покорило старика. Кровь пролилась! Родная кровь, а они ходят спокойнехонько, как пи в чем не бывало.

А после, когда до него постепенно дошло, что кровь пролилась ради спокойствия этих вот людей, спешащих с работы и на работу, по своим неотложным делам, — протяжно вздохнул и подумал: «А жизнь одна, едина у всех. Ах ты, Юрка, Юрка, сын ты мой, паренек ненаглядный...»

Старик трудно волочил ноги. Голова его медленно клонилась, пригибала к земле и ласковые, непривычно нежные слова, каких он еще никогда не говорил сыну, так и колотились в голове, так и просились наружу, какие-то бабьи и в то же время единственно нужные сейчас слова. Их непременно надо сказать завтра сыну и кровь на переливание предложить. Своя кровь — она горячее и живучести в ней больше.

Вспомнив про кровь, старик сразу уверовал в чудо, приподнял голову.

По улице все так же спешили люди, о чем-то говорили, смеялись, брали шоферов и кондукторов, штурмуя автобусы; пили квас из единственной в городе новой тележки с никелированными оглоблями; стояли длинной очередью у кинотеатра. Жизнь шла своим чередом, шла без остановки.

И как в прежние дни, вдоль тротуара, возле детских садов, на стадионе, в палисадниках и даже на балконах домов в узеньких ящичках росли цветы.

Всюду росли цветы.

ТАЈОТ СЕГА

—

РОМАН

•

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



**В КОНЦЕ
ОСЕНИ**



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бегут и бегут с севера тучи. Стелюгся, клубятся над горами, как дым от пожара — слоистый, лохматый. А земля в самом деле вся в пожаре. В тихом, осеннем пожаре. Деревья объята пламенем. Листья искрами сыплотся на землю. Небо низкое, расплневшее, с тяжелой одышкой. Трудно представить, что совсем недавно оно было чистым-чистым и тихим. Лишь кое-где его пятнали беззаботные облака. К осени эти облака сделались грудастыми, раздались в теле и нарождали другие облака, а те оперились в мягкое, но темное перо — и началось. Однажды, как всегда неожиданно, ветер подхватил их, помчал куда-то.

Бегут и бегут они торопливо, молча. Ни грома, ни молнии. Тишина.

Лишь птицы кричат тоскливо, пытаясь угнаться за косматыми тучами. Покидают птицы обжитые края, улетают в теплые дали, замыкая свой ежегодный великий путь. Иной раз в разрыв туч выглядывает солнце, посветит нехотя, мелькнет раз-другой — и снова его нет.

И снова полумрак... Снова трусит неторопливо, с деловитым спокойствием дождь, то мелкий, как пыль, то такой прямой и с такими тугими струями, что по ним, кажется, перебираться можно и наверх влезть. Никнут под дождем перестойные овсы, раскисают дороги. Шоферы, воровато оглядываясь, сворачивают на пашню, газуют по хлебам. Дорога, ведущая из города в Сосновоборскую МТС, становится шире, извилистей. Жидкой ржавчиной заливает она края пашен.

Лежат перестойные хлеба, лежат — причесанные ветром, прибитые дождем — прядями в разные стороны. Полоски мелкого березника и осинника широкими ножами врезаются в сочные ломти пашен. Из овсов удивленно выглядывают редкие кусты, словно детишки, забредшие сюда по младенческой глупости.

Тихая, но тревожная пора на земле.

По разъезженной дороге идет женщина с большим чемоданом. За ней бредет мальчик. Женщина выбирает места посуше, а мальчишка шагает направо. Она иногда останавливается и усталым голосом говорит:

— Ты, пожалуйста, смотри под ноги. Выпачкался, как поросенок.

— Я смотрю. Я смотрю,— твердит уныло мальчишка в ритм шагов.

— Плохо смотришь.

— Откуда знаешь? — приостанавливается мальчишка.
— Ты впереди идешь, видеть меня не можешь.

— Ну, начинается, — с досадой оборачивается женщина, — пожалуйста, не хитри и не зли меня. Умный ты у меня парень, Серьга, но и надоедливый.

Женщине лет под тридцать, а может, и поменьше. Выглядит она явно старше своих лет. Может быть, причиной тому хмурая погода, которая всегда угнетающе действует на людей, а может быть, две глубокие преждевременные складки на лбу и какая-то застоявшаяся усталость в глазах. Но есть в ее внешности и такое, по чему можно судить: если стряхнуть с этой женщины этот угнетенный вид, эту усталость, так не идущую к ее лицу, она непременно помолодеет. Сразу-то и не догадаешься, почему это. Может быть, потому, что голову она держит чуть набок, по-детски, словно прислушивается к чему, может быть, походка ее, то порывистая, то вялая, словно человек то вспоминает, что ему спешить надо, то забывает об этом. Словом, та походка, какая бывает у людей с еще неустоявшимся характером.

Мальчик — ее сын, но похож он на мать только глазами. Они большие, серые. На подбородке у него ямочка. У женщины такой ямочки нет. Лоб у него широкий и выпуклый. У женщины лоб чуть покатый. Волосы у него черные, почти жесткие. У нее они русые, заплетенные в две косы, из которых пушицею выбиваются мягкие вьющиеся пряди.

Мальчик отстал от матери, бредет уныло, но не жалу-

ется. Она глядит на полегшие хлеба, от них доносит мертвящим запахом плесени.

— Безобразие! Какое безобразие! — возмущенно качает она головой и, поставив на землю чемодан, со строгим видом поджидает сына. — Чего ты, в самом деле, плетешься, как опоенный. Мужчина ты или нет? Говори, мужчина?

— Мужчина, — уныло отзывается мальчишка и садится на чемодан, — и вовсе не опоенный, а вовсе недопоеенный...

— Ты что это, с намеками? Пить, да? В сырую погоду пить! Только тебе это и может взбрести в голову! Терпи. Раз мужчина — терпи! На вот платок, вытри нос и пошли дальше.

— Маленько посидим, мама, а?

— Ох, боже ж ты мой! — поморщилась мать. — Рассидишься ведь ты, Серьга.

— Маленько, мама Тася, — тянет Сережка.

Мальчик называет по имени свою мать в тех случаях, когда надо что-нибудь выпросить. Может быть, на этот раз его прозрачная, детская хитрость не возымела бы действия, по вид у него и в самом деле был очень усталый, и Тася уступила:

— Ладно, посидим немножко.

Мальчик устроился поудобней и смиренно сложил руки на коленях.

— А скоро речка, мама? — спросил он через некоторое время. — Ты давно говорила про речку, пить охота.

— Речка? — Тася помолчала и, думая о чем-то своем, продолжала: — Скоро, скоро, и не речка, а целая река.

— Как Кама?

— До Камы ей, положим, далеко, по она, говорят, очень красивая и быстрая. В деревне, может быть, и пруд есть, на пем угки, гусята плавают, крыльями машут, гогочут... Ты ведь никогда не видел пруд?

Мальчик не отозвался. Голова его склонилась на грудь, и сам он раскачивался из стороны в сторону.

— Бедняжка, — нежно промолвила мать и, обняв его, протянула: — Сыно-ок, ты чего это?

Открыв замутившиеся глаза и часто моргая, мальчик попытался прилечь на колени матери:

— Как Серега спать хочет, — пробормотал он, — мама, я маленько, маленько подремаю.

— Нет, нет, сынуля, пойдем. Разоспишься, потом тебя

хоть на руках неси, — заговорила Тася и упрекнула себя за то, что не позвонила со станции в МТС насчет машины. Они, правда, долго ехали с попутной подводой и у поворота возница, ссаживая их, сказал, что идти пустяк, километра три с гаком, но как-то уж очень длинный получился.

— А ну, подъем! Раз! Два! Три! — скомандовала Тася.

Команда подействовала на мальчика. Он потер кулачками глаза, подтянул штаны и засеменял впереди матери, надоедая ей расспросами:

— Мама, а почему на небе большая птица стоит на месте и махает крыльями? Это она мыша подкарауливает, да?

Не успевала Тася ответить на один вопрос, как выслушивала десяток новых:

— А почему колоски такие усаые? Чтобы птички не клевали, да? А зачем сипие цветочки растут? Их тоже посадили, да?

— Ну тебя, Серега, падоел. Лучше смотри, во-он, на горке, трактор ползает. Видишь?

— Вижу. Как жук.

— Правильно, как жук. Скоро мы подойдем к нему. Дяденька тракторист даст тебе попить, а там уж и до МТС, глядишь, скоро доберемся.

Но долго они еще шли среди желтых хлебов, потом среди свежей пахоты, перепутанной прожилками перерезанных корешков, пока поравнялись с трактором, который с тарактеньем полз от опушки леса к дороге.

Заглушенная рокотом мотора, до Таси доносилась песня. Когда трактор приблизился, она разобрала слова:

...Шла она, к забору пр-рн-нжи-малася,

И спина скользила по гвоздя-ам...

Это была старая блатная песня с переименованными словами. По тому, как пел ее тракторист, с надрывом, украински выговаривая букву «г», Тася поняла, что песенник или старый блатяга, или подражатель, каких немало еще среди молодежи. Она насторожилась. Возле дороги тракторист убавил газ, остановил машину и, разминая папироску грязными пальцами, приблизился к ним.

— Приветствую на нашей грешной земле добрых страпников, — с улыбкой сказал он и добавил, показывая на ладони: — Руки не подаю, грязна.

Тасе не понравилась и его улыбка одним углом губ, и

как держался этот человек: подчеркнуто разухабисто. Но она успела заметить: в то время, когда тракторист улыбался, темные глаза его оставались пасмурными.

— Мальчик очень пить хочет,— сказала она, — если бы... если у вас есть глоточек воды?

— Воды? Зачем вода? Найдём кое-что поизящней, — отозвался тракторист и, забравшись на трактор, совсем прикрыл газ.

Мотор чихнул, пмыгнул и захлебнулся. Тихонько напевая, тракторист открыл багажник и вытащил две бутылки: одну с молоком, другую с водкой.

— Не желаете? — поболтав бутылку с водкой, обратился он к Тасе.

— Спасибо.

— Тогда ваше здоровье! — Он запрокинул голову и начал пить из горлышка. — Эх, крепка, зараза! — оторвавшись от бутылки, он весь покривился, бросил посудину через плечо, похлопал себя по карману, достал папиросу, закурил и, прыгнув с трактора, подал бутылку с молоком Сережке.

— На, малый, пользуйся. Дядя такой штуки не употребляет. Берет с собой конспирации для...

Все, что он делал, выглядело как-то неестественно, все с каким-то вывертом. И Тася с едва скрытой неприязнью сказала:

— Пашете вы скверно. Зато пьете эффектно, как на сцене.

— Скажи на милость, — скрывая легкое замешательство, всплеснул руками тракторист, — это же святое совпадение. Вы понимаете, час назад здесь был наш бригадир и говорил то же самое. — Тракторист вдруг смолк и быстро повернулся к Тасе: — Простите... вы, собственно, это о пахоте-то почему?

— Да так, интересуюсь.

— Ой-ой, с вами не шутя! — в деланном испуге округлил глаза тракторист. — Я-то с простоты душевной принял вас за странников, а вы, надо полагать, из самого министерства? Но почему же на одиннадцатом номере?

— Надежней по здешним дорогам.

— Тоже верно. Уж вы не агроном ли?

— Он самый.

— Их, пропала моя голова! А этот колорадский жучок, ном. агронома, что ли?

— Я не жучок, — заявил мальчик. — Я — Серега!

— Оч-чень приятно! — приложил руку к сердцу уже заметно захмелевший тракторист. — А меня зовут Василий, Василий Лихачев — это по тугаментам, а так, запросто, Васькой кличут. Иногда филоном еще пазывают. Ага, филоном. Что на обиходном языке обозначает — лодырь. Ничего себе титул, а? Ты давай, Серега, молоко допивай, а то рот открыл. Меня не переслушаешь, я мужик разговорчивый.

Тася, пропуская мимо ушей болтовню тракториста, внимательно присматривалась к нему. И чем больше она на него глядела, тем сильнее разгорались ее любопытство и удивление.

На вид Лихачеву можно было дать не больше тридцати лет. Но когда он снял кепку и начал вытирать подкладкой лицо, среди смолистых, чуть выющихся волос Тася заметила полосы седины. Лоб у него бледный, с большими залысинами. Лицо тракториста красиво, с мягкими правильными чертами. Пальцы рук длинные, подвижные. Папироску тракторист держит небрежно, как карандашик, между пальцев. И вообще в его движениях, ленивых, парочито небрежных, много неестественного, свойственного людям, которые еще в детстве пытаются усваивать «хорошие манеры». Нетрудно было догадаться, что человек этот в деревне — залетная птица.

— Узнаете? Так пристально смотрите? — поинтересовался Лихачев.

Тася немного смешалась.

— Да нет, просто смотрю. Что ж, мне в землю глядеть, что ли?

— Если просто — не взыщу. Серега, что же, ваш сын?

— Сын.

— Тэ-эк-с... — Лихачев хотел еще о чем-то спросить, но, заметив, что Тася сомкнула строго губы и чуть нахмурилась, добавил: — Славный пацан, с характером, должно быть.

— Еще с каким, — облегченно отозвалась Тася и поднялась с чемодана. — Ну, мы пойдем. Спасибо вам, спасли человека. Большое спасибо.

— Не стоит спасибо. Человеков спасать — это даже очень приятное занятие. Другой раз вот так бы кого-нибудь и спас, ан нету под руками. Н-да, человек, — потрепал он Сережку по загривку. — Вы вот что, посидите-ка еще маленько, скоро эмтээсовский грузовик из города пойдет — определю.

— Да нет уж, мы доберемся потихоньку.

— Как желаете, дело ваше, — угрюмо отозвался Лихачев и направился к трактору. — Я это к тому, что человек-то ваш устал, — обернулся он.

Тася заметила, что чем больше хмелел Василий, тем мрачнее становилось его лицо. Он поставил одну ногу на гусеницу, взялся за скобку дверцы и, не глядя, спросил:

— Что ж, добровольно в деревню, по призыву партии, или как?

— Добровольно.

— Патриот, значит? Очень это благородно быть патриотом в наше время. А где жили и работали, если не секрет?

— В городе Лысогорске, медсестрой.

— Далеко-о. Н-да, патриот! Жили, паверное, более или менее спокойно, сносно, а здесь всякое может быть. Деревня! Человеку вон вашему, — ткнул он в сторону Сережки, — спать хочется, есть хочется, а вы его... патриот!

— Это не ваше дело.

— Оно так. Оно так, панове, — усмехнулся Лихачев и, снова впадая в игривый тон, помахал рукой: — Ну ладно, будьте здоровы, живите богато и так далее, а я двину вперед, поднимать, так сказать, пласты светлого будущего. Салют, панове!

Лихачев с силой крутнул заводную ручку, трактор хокнул, выбросил дымное кольцо и затрещал прерывисто. Лихачев убавил газ, крикнул:

— Эй вы, как вас там! — Он помахал Тасе, послал воздушный поцелуй. Зубы его сверкнули в улыбке. — Не сердитесь, если можете. Я вообще-то ничего парень, но только с пережитками. Я их в труде искуплю, понятно? — Он хлопнул рукой по кабине и сделал страшные глаза. — Клянусь!

Трактор дернулся, и Василий упал на сиденье.

Тася покачала головой.

— Ну и паяц!

Сережка смеялся, весело кричал что-то, подпрыгивал. Тася прикрикнула на него и громко повторила:

— Ну и паяц! И откуда здесь такой взялся?

«Сейчас доедет до леса и завалится спать», — решила Тася. А машина уже вперевалку ползла к лесу, оставляя позади темные валы земли, на которых судорожно извивались перерезанные дождевые черви. Может быть, Ли-

хачев снова затянул какую-нибудь песню, да из-за шума трактора голоса его не было слышно.

Тася с Сережкой успели пройти километра два, когда их догнала автомашина. Мать с сыном посторонились. Машина резко остановилась возле них, и шофер, открыв дверцу кабины, пробасил:

— Лезьте в кузов! — Он поглядел на разбитые ботинки мальчика и переменял распоряжение: — Садитесь в кабину, а чемодан в кузов бросьте. Лихачев насчет вас хлопотал. Довези, говорит, не растрясси, чтобы ни мурмур.

Язык у шофера тоже заплетался, и Тася поняла, что Лихачев не только похлопотал, но и добавил вместе с шофером.

Директора машинно-тракторной станции в кабинете не оказалось. Тася с Сережей долго сидели в приемной. Сережа начал клевать носом. Заметив это, неразговорчивая горбатенькая секретарша положила на железную кассу пузатую папку с бумагами и буркнула:

— Ложите мальчишку, чего мучаете?

— Спасибо, — робко ответила Тася и бросила на кассу свой жакет. — Сережа, Сереженька, подремли вот здесь, малыш.

Сережа, не размыкая век, свернулся на старинной огромной, как ларь, кассе, а Тася вышла в коридор.

Откуда-то доносились звуки радио. Из-за двери с разбитым стеклом слышался сердитый голос:

— Ты мне арапа не заправляй! Ясно? Ты мне просто скажи: погасишь задолженность или я тебя в суд поволоку? Ясно?

При каждом слове «ясно» говоривший, словно подбивая итог, щелкал костяшками счетов.

Тася пошла на звуки музыки, летевшие из конца коридора, и очутилась перед раскрытыми дверями красного уголка. Там была хорошая мебель: диваны, полумягкие стулья, имелись небольшой бильярд, приемник, запыленное пианино. Посредине стоял стол, накрытый красным сатином. На нем так и сяк лежали газеты, обтрепанные журналы. Все стояло небрежно, все было захватано грязными руками. Тася постояла у раскрытых дверей, понаблюдала за игрой двух шахматистов, которые сидели в облаках дыма, послушала музыку, доносившуюся из приемника, попыталась угадать, чья она, не угадала и пошла обратно. Секретарша сказала:

— Директор приехал. Я сейчас доложу. А мальчика мне пришлось побеспокоить.

Секретарша с пачкой каких-то бумаг скрылась в кабинете. Тася присела рядом с Сережей на стул и погладила его по ершистым волосам.

— Не дали тебе поспать?

— А я и не хочу спать, — с зевком заявил Сережка и добавил: — А дяденька пачальник — высокий такой, сердитый и чудной. Спрашивает меня: «А ты зачем, Митя, сюда пришел?» А я говорю: «Я не Митя, я Серега». Он на меня поглядел, а потом сердитый сделался и ушел.

А у него, мама, на правой руке только один палец, смешной такой, как крючок.

— Один палец? — почему-то обеспокоенно спросила Тася и уже обычным голосом заключила: — Мало ли дяденок с одним пальцем, а то и совсем без пальцев. Война ведь, сынок, прошла.

Дверь кабинета полуоткрылась и, отвечая что-то директору, секретарша на ходу, скороговоркой бросила:

— Хорошо-хорошо, я сейчас схожу. Нет-нет, не забуду, — и, выйдя из кабинета, обратилась к Тасе: — Пожалуйста, к директору.

Тася надела жакет, застегнула на пуговицы, торопливо поправила прическу, достала из сумочки документы.

— Будь умницей, Серега, я скоро, — волнуясь, наказала она сыну и пошла к директору.

Кабинет был узенький и длинный. В дальнем его конце, поперек, почти от стены до стены, размещался большой письменный стол. Вдоль стен по обе стороны стояли разномастные стулья.

Директор что-то доставал из правого ящика стола, и Тася вначале увидела только профиль его с хрящеватым носом, с круто вздернутым подбородком. Что-то мучительно знакомое было в этом лице.

— Здравствуйте, — немного постояв, тихо сказала Тася.

— Здравствуйте, здравствуйте, садитесь, пожалуйста, — не поднимая головы, ответил директор и начал с силой задвигать ящик стола. Толкнув его несколько раз, он буркнул: — А, черт! — повернулся к Тасе да так и застыл. К лицу его вначале прилила кровь, потом оно побледнело. Ямка на подбородке, похожая на большую вмятину, сделалась особенно заметной; вздрогнул и заплясал на столе единственный палец правой руки. А Тася отступила на шаг и подняла сумочку так, будто пыталась загорodиться

ею. Потом спохватилась и медленно, как-то неуверенно села на стул.

— Ты-ы! — протянул директор, и они долго сидели, не говоря ни слова, глядя друг на друга.

— Я, — наконец молвила Тася с какой-то жалкой, вымученной улыбкой и еще более растерянно повторила: — Да, я-а... — Говорила медленно, вристяжку, а в голове металось: «Да что же это такое! Как же это так? Да неужели? Неужели? Да это же самое худшее, что могло случиться!.. Уйти! Убежать от этого наваждения!»

Она быстро вскочила, пошла к дверям.

— Куда ты, погоди! — услышала она и заспешила еще больше, но никак не могла найти ручку двери, а нащупав ее, рванула так, что дверь ударила ее.

Секретарши в приемной не было. Сережа обрадованно встретил мать:

— Ты уже поступила, мама, на работу? Сейчас мы на лошадке поедем, да?

— Пойдем, сынок, пойдем, я поступила на работу, — тянула его Тася из приемной. — Где же сумочка? Мы пешком, педалеко, а потом на поезде... куда же я засунула документы?.. Мы на поезде... сынок.. ты не видел?..

— Сумочка осталась на стуле, — сказал появившийся в дверях директор. — Ты что, бежать? Погоди... поговорить надо... решить...

— Решить? Чего же решать?. А-а, да-да, решить необходимо. У меня ведь направление обкома, направление... — Она вдруг замолкла, огляделась по сторонам и, до хруста стиснув пальцы, уже спокойнее добавила: — Да, да нужно и в самом деле решать... решать, решать, решать... Сколько же можно решать! — вскрикнула она, и спазма захлестнула ей горло. Но она пересилила себя и тихо, уже упавшим голосом закончила: — Ну что ж, будем решать!...

Сережка смотрел на мать с недоумением, собирался что-то спросить, но в это время вошла секретарша и удивленно приподняла брови.

— Уже? Быстро управились. Надеюсь, все в порядке?

— Маленькая закавыка получилась, — холодно отрубил Тася и снова пошла в кабинет.

Директор ждал, стоя у стола. Он читал ее диплом. При появлении Таси нашарил папироску в портсигаре и закурил. Несколько яростных затяжек окутали лицо его дымом, и, отгородившись этой ненадежной завесой, он заговорил торопливо, словно боялся, что его прервут:

— Вот ведь гора с горой... неожиданно, понимаешь... Мне звали из обкома, а я думал, совпадение фамилий... да ты сядь... конечно, такое дело оглоушит, но убежать-то зачем?

У Таси была давняя спасительная привычка: в трудные минуты читать что подвернется на глаза и складывать буквы попарно. Пока директор лепетал торопливо и бессвязно, она успела пробежать заголовки газет, лежавших на столе, и несколько справиться с собой.

— Хорошо, если вы так и будете думать, что здесь простое совпадение фамилий, — голос ее начал пресекаться, и директор перебил ее, изо всех сил стараясь удержать с лица натянутую улыбку:

— Я ведь... Все же интересно, как ты в нашу эмтээ попала... я думал... все-таки... ты вот на агронома выучилась? Специальность... Ничего, нужная специальность. Нам вот нужны агрономы...

Было до странности неловко смотреть, как этот немало грузный, по виду степенный человек с открытым лицом заикается, не зная, что говорить. Должно быть, смятение, в котором потонули и его обычное добродушие, и прямота, помогли Тасе совсем преодолеть растерянность. Она заставила себя говорить почти твердо:

— Попрошу скорее проделать все формальности и направить в колхоз, бежать мне действительно не следует. Есть на свете такое, от чего, по-видимому, не убежишь.

Директор сидел не поднимая глаз. Деловой тон Таси подействовал на него. И все-таки по вздрагивающему веку, по этому непрерывному прыганью изувеченной руки можно было догадаться, что творится в его душе. После продолжительного молчания он прямо взглянул на нее.

— Я конечно, не имею права советовать вам, тем более учить, но это касается в большей мере вас, чем меня. Вы не думаете, что нам будет не совсем... э-э...удобно в одной эмтээс... может быть, стоит подумать о переназначении. Я бы мог в соседнюю...

— Не заботьтесь о моих удобствах, — перебила его Тася и, презрительно усмехнувшись, добавила: — Поскольку назначение сделано, я менять его не собираюсь. Хватит с меня. — Она покусала губу и закончила: — О своем благополучии не беспокойтесь, я не мстительная...

— Да не в этом дело, — поморщился директор. — Ваше право судить обо мне как угодно и поступать со мной как

вам заблагорассудится. Но, концы-концов, я сейчас меньше всего думаю о своей персоне.

— Я приехала работать, у меня ребенок, — повышая голос, отрубилась Тася, будто не слыша его слов. — Будьте добры определить меня на место, большего я не требую.

— Это ваш мальчик там, в приемной?

— Мой.

— Замуж выходили?

— Где уж нам уж выйти замуж! — первою, с глухой болью рассмеялась Тася. — Без замужа сумела, своим умом дошла...

— Вы очень изменились, погрубели...

— Разве? Удивительно! Как это я умудрилась огрубеть?! — опять рассмеялась Тася, и в голосе ее зазвенели слезы. И, снова резко перескочив с дурашливого тона на серьезный, точно размышляя вслух, выдохнула: — Да-а, глупенькой, беззаботной девочки на свете уже нет. Она умерла восемь лет назад, восемь лет! — Тася покачала головой и снова закусила губу, чтобы не разреветься.

Директор снова полез за папироской и, громко кашлянув, взял в руки ее диплом.

— В Лысогорске учились?

— Да.

— Каким образом туда попали?

— Долго рассказывать.

— Угу... Ну вот что: завтра поедете в колхоз «Уральский партизан». Колхоз крупный, работы много. Тяжелый колхоз. Но больше никуда направить не могу. Везде агрономы уже есть. — Директор помолчал и прибавил, уткнувшись взглядом в стол: — Не подумайте, будто я нарочно туда спроваживаю.

— Далеко колхоз?

— Нет, в двух километрах.

— Тогда я постараюсь сегодня же уйти туда. Попрошу дать команду, чтобы без задержек оформили. И денег дали, аванс, что ли. Мы поиздержались в пути.

— Сегодня так сегодня, — виновато буркнул директор, — только у нас транспорт в разъездах, подождали бы... — Он замолк на полуслове и больше не заговаривал.

«Это самое подходящее время, чтобы уйти», — подумала Тася и поднялась. Уже от дверей она обернулась:

— Скажите, Николай Дементьевич, вы в партию вступили?

Директора так и передернуло.

— Вступил, — глухо промолвил он и испуганно ждал еще чего-то. «Вот оно, начинается!» — холодея, подумал он, но Тася больше ничего не спросила, а, бросив на ходу что-то похожее на «всего доброго», вышла в приемную.

Сережи там не оказалось. Тася отыскиала его в красном уголке, принесла сюда чемодан и достала мальчику бутерброд.

— А ты? — спросил он у матери.

— Я? Я не хочу, Сережик... сыта. — И мальчику показалось, что она вот-вот заревет. Тогда он решительно сунул ей бутерброд обратно и заявил:

— Не буду я один есть.

Пришлось Тасе отломить кусочек и жевать, жевать хлеб, который сразу стал тугим и горьким. В горле стоял твердый, как железо, комок, и она никак не могла проглотить хлеб.

Часа через три Тася Голубева с Сережкой вышли из котторы МТС. Они направились вдоль берега реки Кременной к деревне Корзиновке, где находилось правление колхоза «Уральский партизан».

Стояла все такая же тихая и сырая погода. По реке плыли и покачивались пестрые листья. Местами течение загоняло их табунками в заливчики, и они колыхались у берега, обсыхали на камнях, свертывались, чернели. Мыс острова, который начинался неподалеку от деревни Соновый Бор, тоже скрывался под настилом листьев. На той стороне протоки маячил стог сена. Из него торчала жердь, и на ней окаменел, подстерегая добычу, ястребкашук. Тишина кругом. Даже было слышно, как в заречной деревушке что-то рубили, а может, колотили вальком белье на реке.

Тася с Сережкой спустились к ручейку, запустившемуся в прибрежном кустарнике. Чуть повыше дороги в ручей был вставлен долбленный из осины желоб. Сережка жадно припал к нему, глотнул студеной воды и начал баловаться, дуя на падающую с желоба струю.

— Бур-р-р-ль!

— Довольно, Сережа, не шали, вода холодная, — устало сказала Тася и, легко отстранив сына, напилась сама. Она утерла губы краем белого шерстяного шарфика, накинула его на голову, огляделась по сторонам и села на ворох листьев под старой липой.

Сережа гонялся за вяло порхающей живучей осенней

бабочкой, поймал ее, с воплем бросился к матери, держа руку над головой. У ручья он запнулся и шлепнулся животом в воду.

— Так я и знала, что ты натворишь чего-нибудь, — сказала Тася и сердито прикрикнула: — Чего носом шмыгаешь? Иди, я рубашонку отожду.

Сережа медленно приблизился к матери, не выпуская бабочку из руки. Тася закрутила жгутом подол его рубашки, отжала, шлепнула мальчишку по мягкому месту и приказала:

— Сиди и не прыгай!

Сережа покорно сел. Тася расстелила на коленях шарфик, положила на него голову мальчика и, перебирая пальцами жесткие волосы, пезно и грустно вымолвила:

— Полежи немного... Дай покой...

Сережа закрыл глаза и задремал, убаюканный шорохом падающих листьев. А эти последние листья опадали совсем уж лениво. Каждый лист, перед тем как упасть, из последних сил держался за ветку и, когда его все-таки отрывало, долго плавал в воздухе, рисуя прощальные письма.

Вот качнулся на ольхе бледно-желтый лист величиной с детскую рукавичку, сорвался с ветки, пошел косо к земле, но тут же зацепился за другую. Повисел на ней и, как полураскрывшийся парашют, упал вниз. Вслед за ним посыпалась целая стайка продолговатых листочков с ивы. Эти похожи на мелких рыбешек — и мечутся в воздухе бестолково, как испуганные малявки. Осиповые листья, точно яркие пластики свеклы, уже валяются на земле. День-два — и они утратят свою причудливую окраску.

Но Тася не замечала ничего этого, никакой осенней красоты не замечала. Она смотрела поверх кустарников и беззвучно плакала.

Тихо вздыхала стонущая земля, на которой кое-где качались тронутые инеем блеклые цветы.

Еще ниже опустилось небо. Сверху катились и катились мелкие слезы, будто пасильно выжимали их из неопятных, грязных облаков.

По земле брела осень...

Где-то в горах высекались из камней светлые ключи. Падая вниз со скалы, они превращались в ручей. Студеный, легкий, болтливый, он суетился между камней, кустарников и зеленых папоротников с древним, таинственным запахом. Там, между кочек и густых зарослей, он отыскивал и обвораживал чуть слышным говорком студеные ключи, хлопотливые речушки и соблазнял их в далекий поход, за темные горы.

Так он мчался дальше и дальше, наполнялся водой, становился яростней и круче нравом, превращаясь в реку.

Труден путь реки Кременной. Куда ни повернется она, всюду скалы, скалы. Как только они не именуются! Тут и кряжи, и мысы, и седловины, и столбы, и быки, и просто безымянные. Каждую такую преграду нужно было подточить, обрушить. Иногда Кременной приходится отступать, делать «крендельки» километров по десять. Обозлится она, зашумит, заплещет так, что пена ключьями летит. Ричется бешено на мрачные, невозмутимо спокойные скалы и, удовлетворенно затихнув, потечет дальше.

Возле деревни Корзиновки Кременная ведет себя в межень тихо, подобно рекам средней полосы России. Здесь реке и реке горы купают свое подножье в реке. Отступились они от нее, неумной и своенравной. По обеим сторонам реки заливные луга; дальше тянутся деревушка за деревушкой, одна выше, другая ниже, одна больше, другая меньше, но все очень схожие. В каждой из них дома из круглого леса, поставленные преимущественно окнами к реке. Под окнами, разукрашенными причудливыми наличниками, — черемухи, изрезанные пожаром скамейки у ворот, и неизменная речушка посредине деревни. Возле речушки ютятся ломаные-переломанные, но удивительно живучие кусты тальника, черемушника и шахучего смородинника.

На краю Корзиновки стоит церковь, которую давно уже никто не белит, но она все равно белая. С какой бы стороны ни подходил к Корзиновке человек, он обязательно сначала замечал церковь. В церкви кладовая, а кладовщиком Миша Сыроежкин. Когда он бывал выпивши, затягивал свою любимую песню:

...Я вор-р—р-р, я балдиг,
Я преступник всего мир-ра...

Голос его гудел под высокими сводами церкви так, что мирно дремавшие там воробьи поднимали панику.

Еще до войны за дебош, учиненный в городской пивнушке, Миша побывал в милиции. После того считает себя Миша отчаянным человеком и поет исключительно «каторжанские» песни. Никогда Миша не убивал себя трудами, но кое в чем колхозу помогал. Перед войной он сделался даже бригадиром, и односельчане пророчили: «Скоро ты, Миша, в председатели махнешь!» На это Миша неизменно отвечал: «А что ж, ежели курсы закончить...»

Но этим пророчествам не суждено было осуществиться. Имелась у Миши пагубная привычка — любил он выпить. И это бы пичего, но, напившись, он буянил.

Никто в деревне Миши не боялся. Однако дома он пугал детей и жену Августу. Однажды Миша перебил всю посуду, переломал ухваты и одним из обломков вытянул жену вдоль спины. Ребятишки, спрятавшись па кухне, заревели. Тогда Миша зверским взглядом обвел избу и, заметив висячую лампу, заорал:

— Моя шея горит! — И трахнул по лампе кулаком. — Все пр-приломаю! — неистовствовал он в темноте.

— Небось, кринку с самогоном не ломаешь. Перед посом твоим большущим стоит, — сказала Августа, не находя в печурке коробку со спичками.

— Чего? — зловеще спросил Миша и чергом пошел на огонек, зажженный женой. — Огрызаться?!

И тут эта крепкая, работающая женщина, на которой, по существу, держалось все хозяйство, не выдержала:

— Да что, на самом деле, тебе старый режим, что ли?! — И, схватив его в беремя, потащила к реке. — Хватит, кровь всю мою выпил... уж ни кровиночки не осталось.

Хмель моментом вылетел из Мишиной головы.

— Августа! Ты чего? Пусти! Мужики увидют! Гусанька, жена моя... Слышишь?! Туды твою... Ай-яй! Караул!

Августа бросила его в холодную воду.

С тех пор перестал Миша буйствовать дома, только па стороне он позволял себе ипогда встряхнуться, за что и побывал в милиции.

Церковь стояла у дороги. Миша первый увидел жещину и мальчика, одетого в коротенькое пальтишко и обутого в стоиптанные ботинки.

Поравнявшись с церковью, женщина остановилась, перехватила чемодан из одной руки в другую и, заметив Мишу, направилась к нему. Туфли ее на массивном кау-

чуковом каблуке чуть запачкались; немного выющиеся на виске волосы были припорошены дождевой пылью и свисали легкой прядкой на глаза. Тася досадливо подобрала волосы под шарфик, но прядка снова выпала.

— Это что за пассажиры?! — удивленно пробормотал Миша и торопливо поднялся навстречу женщине и мальчику, стгряхивая табачные крошки с подола рубахи.

— Скажите, пожалуйста, как найти правление колхоза?

— Правление? Правление покажем, ежели интересуетесь. Вот, стало быть, пойдете напрямиком, там будет речка, можно сказать, даже ручеек, Корзиновка называется... А вы кто будете? Я, конечно, в порядке простого любопытства, — немного рисуясь и приосаниваясь, употребляя «городские» слова, торопился Миша.

— Агроном я, в ваш колхоз...

— Агроно-ом?! Я сейчас, сейчас провожу! Агроном! Видишь ты! Стало быть, председателю бабу под задницу мешалкой, — забыв о деликатных выражениях, наговаривал он, гремя старинным церковным запором из толстой железной полосы и навешивая современный замок с буквами «ЛЗ». — Позвольте чемоданчик, — учтиво предложил Миша. — Насчет похищенцев не беспокойтесь.

— Да что вы, что вы!

Тася отдала чемодан и не сразу смогла поднять отянутую руку и выровнять плечо.

— Парнишка-то ваш будет? — спросил Миша, посмотрел на поцарапанные коленки Сережи и одобрительно улыбнулся: — Атаман!

— Не говорите.

— Люблю отчаянных... Я сам такой... — Миша чуть не завернул крепкое словцо в подкрепление, но вовремя спохватился и продолжал: — Поправится вам в Корзиновке. Старинное село. Председатель только... — Миша плюнул в сторону и махнул рукой. — Стало быть, агроном? Н-да, хорошие дела. Человек со специальностью, с грамотешкой, а его, значит, пехом? Иди, тащись, а председательша вон по гостям на рысаке ездит. Порядки тут... — Миша закусил язык.

Тася, одуревшая от усталости, вначале невнимательно слушала своего спутника, но по мере того, как он расходился, все больше заинтересовывалась им, и, почувствовав к нему симпатию, с улыбкой разглядывала его. В этом человеке, с рыжими, колючими волосами, с лицом не злым, но хорохористым, было что-то располагающее к нему.

— А с мужиком-то что, расхождение получилось?
Даже на такой вопрос ему было легче ответить, чем другим.

— И не расхождение даже, а ерунда получилась.

— Есть поне пугаников-то, нашего брата. Заерундят ребенка бабе и лыжи смажут, — сочувственно проговорил Миша и неизвестно почему вздохнул: — Ох-хо-хо, жигуха! Звать-то вас как? Таисья? Это хорошо, наше имя, простое. А я думал, Клара или Эльвира. Ноне мода на такие культурные имена. Есть у нас тут Клара...

Если бы Миша и не показал, Тася все равно догадалась бы, что правление колхоза располагается в большом бревенчатом доме с полинялыми наличниками, со старинными изувеченными воротами, возле которых преждевременно умирали обломанные черемухи и сухой тополь с одной зеленой веткой.

Тася бывала несколько раз в колхозах Лысогорского района на хлебоуборке, и там правления колхозов размещались в самых добротных и больших домах. Но запущены они, замызганы так, что приезжий человек лишь по вывеске и может отыскать правление. Правда, в одном из лысогорских колхозов Тасе очень понравилось. Там было все крепко, начиная от правления и кончая надворными постройками колхозников. И люди жили степенно, зажиточно, как настоящие хозяева.

Именно в таком колхозе хотелось пожить и поработать молодым специалистам. А если в отстающий попадут, то превратить его с помощью своих трудов в образцовый. Вместе со всеми мечтала об этом и Тася.

И вот она, так сказать, на пороге своей мечты. Как-то пачнется ее новая жизнь?

Они приблизились к дому на горе. Земля у ворот правления была плотно притоптана, даже трава не росла, среди грязи, размещанной скотом, лениво текла Корзиновка, разделяя деревню пополам. Течение ее чем дальше, тем медленнее. У самой протоки она набегала на препятствие и падала отвесно в широкую яму, вымытую ее упругой струей. С правой стороны, почти на самом углу яра, стояла, отдельно от них, севшая на середине изба. Половина окоп в ней заколочена крест-накрест досками. Из-за досок пустыми глазницами мрачно глядели окна.

Тася на секунду задержалась взглядом на этой избе и шагнула вслед за Мишей в ворота правления. В крытом дворе валялось много разного хлама. Стоял зачем-то ста-

рый плуг, половина телеги, ржавая железная печка, и старый коричневый лапоть валялся тут же. Веника на крыльце не было. Тася оскоблила подошвы о ребро ступеньки и вошла в правление. Прямо перед ней оказалась заборка из пестроевых досок. В щели плыл дымок, пахло махоркой. Слева — створчатая дверь, в которой когда-то имелись стекла. За нею два парня в телогрейках и фуражках, насупившись, играли в шашки, половину которых заменили пуговицы и обломки спичечных коробков. Дальше — другая дверь, на ней клочок бумаги. На клочке кривые буквы: «Бухгалтерия».

— Вот, значит, наши главные апартаменты, — смущенно, словно извиняясь, проговорил Миша и открыл дверь, ведущую за перегородку.

— Сам Миша свет Сыроежкин! — засмеялся кто-то, увидев входившего кладовщика, но осекся при появлении Таси и мальчика.

— Вот и мы, прямо с Пензы в Корзиновку! — засмеялся Миша. — Привел я агрономшу новую. Во — она, — показал он, — молоденькая дамочка, а это ее помощник, — потрепал Миша по голове Сережку.

— Здравствуйте, — сказала Тася краснея. — Где я могу увидеть председателя?

— Подождать придется. На нашем председателе колокольчика нет, не вдруг сыщешь, — лениво отозвался пожилой мужчина, одетый в пиджак с протертыми локтями. «Бухгалтер», — решила Тася и, отыскав глазами табуретку, присаживаясь, сказала:

— Подождать так подождать. Ух, утомились мы. Далеко, оказывается.

Тася явно старалась завязать разговор, но ее никто не поддержал. Только Миша Сыроежкин через некоторое время протянул:

— Да-а, не близко, — и засобирался. — Ну я пошел.

— Спасибо вам.

— За что спасибо-то? Устройтесь, к нам заходите, рады будем.

Миша ушел. Бухгалтер курил «Ракету», и дым сложился по комнате, временами вовсе скрывая его седую голову с массивным лбом.

В помещении было застойно, душно. В одном конце комнаты, где виднелась дверь с надписью «Председатель», молодая красивая жепщина, похожая на разбитную цыганку, читала «Пионерскую правду» и исподтишка раз-

глядывала Тасю. Здесь же стояли еще два стола, но за ними никто не сидел. В углу шкаф, и на нем, подпирая потолок, лежали толстые затрепанные книги. На их корешках выведено: «Тысяча девятьсот...» Среди комнаты в деревянном ящике с песком лежала безногая буржуйка, вокруг которой валялся слой разнообразнейших окурков. От трубы, выведенной в окно, тянулась паутина, цепляясь тончайшими нитями за пыльные книги.

Единственным предметом, на котором задерживался и отдыхал глаз Тасти, был горшок с геранью. Из-за того, что ее не поливали и совали в горшок много окурков, герань захирела, но все еще цвела из последних сил каким-то неестественно ярким цветом, похожим на истлевающий уголь. По давно не мытым стеклам ползали мухи и ошорокидывались на подоконник сверху лапами. Одна из них набралась сил и полетела по комнате, бестолково кружась. Она скоро угодила в паутину. Из-за шкафа проворно выполз паук. Он цапнул муху и исчез с ней в пыльных дебрях толстых книг.

Долго сидеть так было невозможно, и Тася робко заговорила, не обращая ни к кому, в надежде, что кто-нибудь да ответит:

— Трудитесь, значит, итоги подводите?

Бухгалтер, не отрывая глаз от бумаг, почесал линейкой выразительный кадык и вздохнул:

— Тут неизвестно, кто кого подводит: мы итоги или они нас. — Он записывал какую-то цифру в журнал с рябыми корочками, затянулся последний раз от тощей папироски, натренированным жестом швырнул ее к печке и глянул на Тасю из-под лохматых бровей маленькими, очень пронизательными глазами.

— Вы вот что, Таисья, как вас там, Петровна, кажется, идите и определяйтесь на квартиру. Председателя едва ли сегодня изловите. Директор эмтээс звонил насчет вас, председатель знает и велел в случае чего направить вас ко вдове Макарихе. У нее одна половина избы свободна, так что можете оккупировать. Только едва ли понравится. Разрушено там все. Ну, впрочем, сходите, сами увидите.

— Спасибо. А как мне найти эту вдову Макариху?

— О, очень просто. Четвертый дом от правления, в устье Корзиновки, на самом крутояре. Да любого встречного спросите, он вам укажет дом Макарихи. Бабенка популярная.

Тася без расспросов нашла Макарихин дом. Это ока-

залась та самая изба, что, словно напоказ, выскочила из улицы на крутой яр и одним краем висела над распадком речки Корзиновки, а другим почти касалась края обрыва над Каменной. Она напоминала старый, разбитый барак. Да это, видимо, барак и был, сплавленный по дешевке с верховьев Кременной из заброшенных поселков. Еще до сих пор считается очень выгодным делом покупать дома в верховьях, сплавать их и собирать на месте. А прежде для бедноты это был единственный способ обзавестись своим углом. Разбираться не приходилось: барак или какая другая халупа. Пятистенок и в верховьях имел цену.

Створка ворот открылась, и Тася с сыном вошли в чисто подметенный крытый двор, в дальнем конце которого виднелась поленница. Рядом стояли козлы для распиловки дров, а в старых опилках копошились куры. На крашеном крылечке лежал веник из пихты, на стене висела, поблескивая острыми зубьями, пила. Все было прибрано, приколочено, сделано не бабьими руками. «Даже не похоже, что вдова здесь живет», — подумала Тася и постучала в дверь.

Открыл подросток лет пятнадцати и удивленно уставился на нее темно-кариими глазами.

— Скажите, мальчик, а ввв... ммм... вдова, по фамилии Макарова, здесь живет?

— Н-нет.

— Как же нет? А мне в правлении сказали, что четвертый дом... на яру...

— Так вам как сказали? Макариха или Макарова?

— Сказали: Макариха.

— Так бы и говорили. Макариха — это мама, а Макаровой у нас вовсе в деревне нет. Проходите, пожалуйста. Вы что, новый агроном? Да? А это ваш сын, да?

— Как это вам стало все известно?

— Деревенское радио.

Тася хмыкнула и вошла в избу. Пахло свежим хлебом, известкой и какой-то травой. В избе было чисто, но деревенски просто и бедновато. На полу лежали старые половики. На них местами, словно листья кувшинок на озере, виднелись плетеные круги. На окнах висели много раз чиненные тюлевые занавески. В углу, где в прежнее время располагалась божница, висел плакат с нарисованными на нем бидонами и комолой коровой. Угол плаката оборван. Чуть повыше плаката в деревянных рамках несколько похвальных грамот за учебу и, как обычно, мно-

жество фотокарточек, маленьких и больших, потускневших от времени, и новых, не утративших свежести.

Из передней виделся край кровати, заправленной одеялом из лоскутков, и огромный, под потолок, фикус, стол, покрытый вязаной скатертью, зеркало с паутинообразной трещиной. С чисто выбеленной печки, приподняв ситцевую занавеску, на Тасю и Сережку уставились три пары таких же темпо-карих глаз, как у мальчика, открывшего дверь.

Тася улыбнулась, стягивая шарфик:

— Ну, здравствуйте, молодые люди. А где ваша мама?

— Она на ферме, — отозвались голоса с печки.

— Тогда давайте знакомиться, — сказала Тася и подала старшему руку. — Меня зовут Таисья Петровна. Можно просто тетя Тася.

— Юрий, — сказал старший и смущенно высвободил руку. — Вы проходите, ставьте чемодан. Скоро мама придет и будем обедать. Сына вашего как зовут? Сережей?

— Ты вот что, Сережа, полезай к малышам, да не бойся, не бойся, чего за маму уцепился? Эй, Галька, Костя, Васюха, приглашайте Сережу к себе.

С печки спустилась лет двенадцати девочка, за ней Костя и толстый, краснощекий бутуз — Васюха. Все они были здоровы, румяпы и, видимо, очень озорны. Васюха сунул палец в рот и, раскачиваясь из стороны в сторону, сказал:

— Айда, Сележа, к нам иглать во двол.

— Беги, беги, сыпок, — подтолкнула Тася Сережу, — будь смелый. Видишь, какие ребята славные, они тебя не обидят. Минутку, ребята, одну минутку. — Тася быстро открыла чемодан и сунула в руки Сереже пакет с конфетами. — На, угощай.

Ребята шумной ватагой выскользнули из дому, а Тася и Юрий некоторое время сидели молча.

— Учишься, Юрий?

— Да, нынче в седьмом.

— Отец погиб?

— Нет, он умер от ранения. Его уже в сорок пятом ранили, в Германии. — И, как всегда бывает в таких случаях, они горестно помолчали на этом месте.

— Мама кем работает на ферме?

— Бригадиром. А вот и она, — радостно встрепенулся Юрий, услышав, как звякнула щеколда у ворот. — У нас

мама хорошая, — как что-то сокровенное, тихо сообщил Юрий и смугился.

Дверь в избу осталась приоткрытой, и Тася услышала спокойный, немного усталый голос:

— А это чей же такой худышка? Агрономши-и, вон ка-ак! Славный мальчик. Ну, играйте, играйте, потом есть вас позову.

Тася почему-то оробела и вся подобралась, ожидая эту «популярную бабенку». Дверь открылась. Через порог ступила высокая, полногрудая, повязанная полутшалком женщина. Она скользнула по Тасе большими, чуть подернутыми усталостью глазами и молча разделась. Затем медленню подошла к Тасе и подала руку.

— Лидия Николаевна, попросту — Макариха. Это моего мужа Макаром звали. — Рука у Лидии Николаевны была теплая, но жесткая, а рукопожатие порывистое и сильное.

Тася тихо назвала себя и робко прибавила:

— Новый агроном, к вам на постой, в ту половину, а она еще заколочена...

— Вот и хорошо, что сюда зашли. Я сегодня скажу Якову, чтобы он там окна уделал, двери, печь в порядок привел. Потом мы вместе все приберем, побелим и будем соседями.

Лидия Николаевна сказала это обиденным голосом, как давно намеченное и само собой разумеющееся, а затем с задумчивой улыбкой прибавила:

— Не робейте и не бойтесь ничего. Правление вас, паверное, напугало, да ведь правление это еще не колхоз. Ох, что это я? — спохватилась она. — Соловья баснями не кормят. Давайте собирать на стол.

Она повязалась ситцевым платком, надела передник и сразу сделалась ближе и проще. Доставая из печки объемистый чугунок с отбитым краем, усмехнулась:

— Ишь, дома-то у нас сегодня, как праздник, чисто, благодать. А то ведь у меня ребята смирные: придешь иной раз домой, даже русская печка на месте стоит.

Разговаривая так, Лидия Николаевна ловко орудовала ухватом.

Тася молча следила за ее сильными неторопливыми движениями.

— Юрий, ну-ка сбегай в погреб за огурчиками, — сказала Лидия Николаевна и с чисто женской горечью добавила: — Худо жить стали мы, и гостя по-доброму попотче-

вать нечем. Это уж из-за войны навалилась на нас нужда. Раньше нас рукой было не достать. Соседи мои, в той половине дома, не выдержали, в город сбежали, а семья работающая. И многие так-то. Живут сейчас в городе, тоску по родному углу в сердце носят. — Лидия Николаевна покачала головой и вытерла о передник руки. — Ну, ничего, будет лучше, добьемся. Расшевелило новое постановление людей и в городе, и в деревне. Вот новый специалист к нам прибыл помогать, — улыбнулась Лидия Николаевна, глядя на Тасю, и пригласила: — Подвигайся, Тасюшка, к столу, уж чем богаты.

— Да какой я гость?!

Лидия Николаевна молча посмотрела на нее и вышла во двор.

— Ребята-а! — услышала ее голос Тася. — Есть ступайте! — Поверпувшись, она рассмеялась: — Уже подружились, удочки снаряжают. Берегитесь, пескари!

На стол поставили вареную картошку, огурцы, капусту, свежий ржаной хлеб — и работа пачалась. Черноглазые ребятки молотили так, что над столом только ложки мелькали да слышалось шмыганье носами. Сережа старался от ребят не отставать, обжигался горячей картошкой, и, когда она застревала у него в горле, Васюха молча и деловито колотил его по спине кулаком.

Лидия Николаевна поглядывала на них, неторопливо ела и, накладывая из чугуна картошку на тарелку, задумчиво говорила:

— В нашем доме не совсем уютно, но все же за Сережей догляд будет, да и нам, двоим бабам, повеселей.

Тася поглядела на эту статную женщину с кое-где подернутыми сединой волосами, на полное застолье ребятшек с вспотевшими носами и вдруг облегченно вздохнула. Напряжение с души свалилось. Она поняла, что у нее появился друг. Первый и, кажется, большой.

Окна, обращенные к реке, начали темнеть. По стеклам постукивали, как малые птенцы, капли дождя. На деревню спускался дождливый, осенний вечер. А в доме многолюдно и, может быть, оттого тепло.

В этот же непогожий вечер Николай Дементьевич сидел у себя дома и делал вид, что читает. Перед ним лежала раскрытая книга, и он временами, спохватившись, пере-

листывал страницу-другую, но мысли его были далеко. В жизнь его, распахнув настежь дверь, ворвалось прошлое.

Все уже почти затушеввалось: и вешний яркий День Победы, и паившая сероглазая девушка, и даже та записка в несколько слов с подленькими, хотя и честными, с точки зрения некоторых людей, словами. Николай Дементьевич всегда хотел, чтобы автором этой записки был не он, ну хотя бы в мыслях. Правда, сделать такое не удавалось. Гаденькое чувство настойчиво проникало в сердце, когда он думал о том, как бесцеремонно обманул молоденькую девушку, почти дитя, воспользовавшись ее доверчивостью. Однако время сделало свое дело. Прошлое вспоминалось реже и реже. И вот!

Тайся Голубева — агроном и та — юная, госпитальная сиделка... Что в них общего? Почти ничего. «А я-то думал, что от совести укрыться можно, — усмехнулся Чудинов. — Грешок — как соль на губах. Сколько ни остерегайся, все равно в рот попадет. Но как же теперь жить?»

Чудинов еще давеча, при встрече с Тасей, понял, что она не сказала ему самого главного. Он сам догадывался об этом и боялся своей догадки. В тот момент, когда Тася была в красном уголке, Николай Дементьевич попал впро�ак. Он принял Сережу за своего младшего сынишку. Да и мудро было не приять. Сходство разительное. Митя, правда, поплотнее и повыше, да глаза у него темные, а в остальном копия. Даже хохолок на крутом затылке у приезжего мальчика так же воинственно торчал, как у Мити.

После того как Тася с сыном отправилась в Корзиновку, Чудинов метался по кабинету так же быстро и поворачивался так же круто, как мысли в голове. Он вспомнил все до подробностей. Ведь она говорила ему тогда, в госпитале, но говорила как-то обиженными, сконфуженно, видимо, сама еще толком не знала, что с ней происходит. И как можно было предположить, что у такого милого, веселого создания может быть ребенок.

«Ах как подло все это! — тряс головой Чудинов. — Мимолетное приключение! Анекдотец военного времени! Ведь были же, были вояки, которые морализировали на эту тему потрясающе просто: «Рви от жизни все, что можно, все равно война!» Осуждал в глубине души таких людей Чудинов и поступил точно так же, как они.

Когда на деревню вместе с дождем опустилась темнота, Чудинов устало подумал: «А ведь надо идти домой». И

в первый раз за послевоенные годы ему не захотелось идти домой. Не то чтобы боязно, а просто очеь уж неловко. Надо ведь смотреть в глаза жене, детишкам, что-то говорить, делать. «Ну а до сегодняшнего вечера ходил же домой, не стеснялся, мерзавец! Сколько людей обманывал, еще и еще надо обманывать, и конца этому не видно. Гадко, все гадко! Вот приду сейчас и все расскажу жене, все выложу, а там будь что будет!»

Это решение немножко ободрило его, и он, крепко шленая сапогами по грязи, отправился домой.

Но как только он ступил на порог своего дома, решительность начала покидать его. Жена готовила на кухне ужин. Пахло тестом и жареным мясом. Очевидно, она стряпала его любимые беляши. Митя играл с сестренкой в пароход. Сестренка была на три года моложе Мити. Она сидела на опрокинутой вверх ножками скамье и отчаянно гудела. «Пароход» поехал прямо на Николая Дементьевича, и маленькая капитанша закричала:

— Папу палоход залезит!

Но отец не подхватил ее на руки, как всегда, не пощекотал под мягким подбородком, а молча разделся и пошел в переднюю комнату. Старший сын еще не пришел из школы.

Николай Дементьевич взял с полки книгу. И вот он сидит за ней часа три. Уж и дочка утомилась, и Митя уснул, а он все сидит и сидит. Старший сын выполнил уроки и свалился на диван с книгой. Николай Дементьевич раздраженно буркнул:

— Экий барон, на диване с книжкой разлегся!

— А что?

— А то! — повысил голос Николай Дементьевич и уже тише закончил: — Зрение от этого портится, вот что!

Сын поднялся с дивана, пожал плечами и, выходя из комнаты, хмыкнул:

— И чего тебе вдруг вздумалось о моем зрении беспокоиться?

Николай Дементьевич хотел остановить этого долговязого подростка, который чем старше становился, тем чаще распускал язык, но он лишь нахмурился и сына не остановил. Жена еще не спала и слышала эту короткую перебранку.

— Ты чего огрызаешься? — сердито ворчала она. — Отец с работы пришел, усталый, не в себе, возможно,

неприятности по службе. Он ужинать даже отказался, а ты зубы выставляешь...

Она еще долго отчитывала сына, а тот смиренно помалкивал, лишь один раз донесся его недовольный шепот:

— Да ладно, довольно, не мешай читать, не буду больше, сказал.

«Эх, напиток бы сейчас, вдрызг напиток!» — подумал Чудинов и сжал голову руками. В голове шумело, а в ушах завели пудный перезвон тоненькие колокольцы. Старая, тяжелая коптузия. Ему запрещено волноваться. Но одно дело выслушать наказ врачей, и совсем другое дело — выполнить его. Ведь на все случаи жизни рецептов не напасешься.

Поздней ночью в комнату вошла жена в дешевеньком, но опрятном халате, забрала у него папиросы и строго приказала:

— Отправляйся спать! Надо не только о работе думать, но и о себе. С твоим ли здоровьем сидеть по ночам и глотать табачище. Ступай, ступай, я тебе там компресс на голову приготовила и лекарство хорошее.

«Добрый, славный человек! Не лечить бы тебе меня, а лупить!» — с болью морщился Чудинов, шагая за женой в спальню. Там он послушно выполнил все процедуры и даже сделал вид, что уснул.

Но, как он ни старался, так ему и не удалось в ту ночь забыться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тася проснулась поздно, и ее удивила тишина в доме. Она не торопясь встала и, прихватив рубашку на груди, выглянула на кухню. Ребят не было, и Сережки тоже. Тогда она блаженно потянулась, громко зевнула, прикрыв ладонью рот, и, чему-то улыбаясь, начала одеваться. Сквозь густые заросли кустарника в палисаднике и буйно разросшиеся цветы на окнах в комнату с трудом проникали солнечные лучи. Тася заправила постель, умылась и вышла на улицу.

От дождя все кругом блестело и железную крышу на церковке будто наново оливой смазали. Ветви черемухи и молоденькой яблоньки, опившись влагой, вяло свисали за оградой палисадника. Лес за деревней переливался рос-

сыпью искр. Это солнечные лучи зажигали их, но тучи уже надвигались на солнце со всех сторон.

Тася поискала ребяташек в ограде, за воротами. На скамейке у ворот она заметила недоеденные морковки и пошла к яру. В устье Корзиновки вода была почти неподвижной и глубокой. В ней по кругу плавали щепки, мусор. Ребята сидели у этой ямки с удочками. Сережка делал новое черемуховое удилище. Васюха дернул свою удочку, и в воздухе, оцетинившись, мелькнула рыбешка.

Сережка с завистью смотрел на Васюху. Он еще не умел так ловко подсекать рыбу.

— Ребята, посматривайте за избой! — крикнула Тася. — Я ухожу, там не закрыто.

— Идите, идите, — махнула рукой Галька, — мы никуда не убежим.

Сережка даже не оглянулся. Тася взяла комок земли, бросила в воду на Сережкин поплавок. Мальчик схватился за удилище, потом оглянулся, но наверху уже никого не было.

Председатель колхоза Птахин поздоровался с ней и, для формальности задав несколько вопросов, гнусавым голосом сказал:

— Разъяснить вам много нечего, вы — агроном, человек ученый, сами должны понимать что к чему. Идите в бригады, знакомьтесь, а потом, глядишь, и пас уму-разуму научите. Ведь пынче вашему брату почет и доверие.

Уловив ехидство в его голосе, Тася прямо посмотрела ему в глаза и хотела спросить: «Вы, кажется, недовольны, что я назначена на место вашей жены?», — но раздумала и сказала другое:

— Вы, я вижу, недовольны, что вам дали нового агронома, да еще женщину? Но в этом нет моей вины.

Птахин не торопясь подписал бумаги, которые молча листал перед ним бухгалтер, и, завертывая ручку, начал говорить негромко, как бы жалея слова, о том, что свято место не бывает пусто. И если бы не ее, так кого-то другого прислали бы. Потом Птахин разговорился, вялость из его голоса постепенно исчезла. Он рассказал Тасе о том, как сам начинал здесь работать, какие времена тогда трудные были. Он все время подчеркивал в разговоре, что ему было легче начинать. Он — мужчина, да и народ колхозный тогда еще не относился наплевательски к труду, верил в свое хозяйство.

— Учтите! Я сюда прибыл. — продолжал разговор председатель, — когда люди не чесались до обеда на печке и не уходили с поля после обеда. Кроме того, я был в штате колхоза, а не в штате энтээс. Меня считали своим человеком. Понимаете, своим! За это и ярмо председательское на меня одели. Я лично не одобряю того, что агрономов передали в энтээс, не одобряю на основании своего опыта. Тут агроном получается как представитель или наблюдатель организации, заинтересованный в том, чтобы соблюдать ее интересы. А агроном должен быть хозяином в колхозе наравне с председателем и блюсти прежде всего интересы артельного хозяйства. Впрочем, чего это я? У вас и так небось кошки скребут? Походите, посмотрите, поработайте. На вас ведь еще обязанности зоотехника возлагаются, пока его нет. Пожалуй, с этого и начните, с животноводства. А вообще работы тут столько, что, как говорится, невпроворот.

— И это все, что вы можете мне сказать?

— Пока да, — ответил председатель и, увидев, что она нахмурилась, смешался. Что-то виноватое мелькнуло на его лице, и он уже мягче закончил: — Побывайте в бригадах, может, возникнут вопросы — милости прошу. С супругой моей можете не советоваться, она в агрономии понимает столько же, сколько я в портняжном деле, — он кивнул головой на висевший плащ, у которого карман был подхвачен через край суровыми лентками.

«Зачем же вы тогда работали с таким агрономом?» — хотела спросить Тася, но сдержалась и проговорила:

— Хорошо, побываю в бригадах, но я все-таки надеюсь на вашу помощь.

Председатель пробурчал что-то невнятное в ответ, а потом, провожая ее, вздохнул:

— По совести, скажу вам, Таисья Петровна, очень вам будет трудно здесь, очень. Не мне бы хулу наводить на свое хозяйство, по... лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так, кажется, говорится? Здесь, уважаемая Таисья Петровна, есть поля, на которых по двадцати лет навоза не бывало, а без навоза, сами знаете, что получается на подзолистых почвах. — Птахип, виновато усмехаясь, развел руками. — Вот опять пугать вас начал. Я сейчас могу вам дать один старый, но нужный совет: постарайтесь сделать так, чтобы люди приняли вас как своего человека, иначе вам нечего здесь делать. — Он прошел с ней до двери и опять вздохнул: — Трудно здесь, страшно трудно.

«Ему надо хозяйство поднимать, в народ уверенность вселять, а он руки опустил, — раздраженно думала Тася. — И в самом деле с таким будет трудно».

Птахин хотел было проводить Тасю до свинарника, но его снова задержал бухгалтер. Откровенно говоря, Тася еще не знала, как будет выглядеть при первой встрече с колхозниками, и поэтому даже порадовалась тому, что Птахин не пошел с ней.

Только бы смешной не выглядеть. Страсть ненавидит она снисходительные улыбочки людей. Этих улыбочек она достаточно видела и в прошлые годы. Быть бы ей такой, как Лидия Николаевна, высокой и сильной, властной и обаятельной, доброй и простой. Глянули бы люди — и сразу догадались, что этот человек достоин уважения. Ну, а раз ростом не вышла, видом не взяла, значит, надо добывать уважение трудом.

От свинофермы за полкилометра доносился пороссячий визг. Тася открыла ворота свинарника. Ее обдало зловонием, разноголосыми воплями, визгом, хрюканьем. Она даже оробела вначале. За загородками волновались и требовали к себе внимания волосатые и грязные свиньи. Особенно голосисто папоминал о себе молодняк. Корыто мало походило на посудину, предназначенную для корма. Истерзанные зубами, грязные, бесформенные чурки вместо корыт, и свиньи такие, что оплошай, так сожрут.

Заметив человека, свиньи прибавили голосу, высунули головы из-за перегородок. Тася, пугливо шарахаясь из стороны в сторону, кое-как добралась до ворот, открыла их и очутилась в служебном помещении. Три свинарки — две молодые и одна пожилая — о чем-то увлеченно судачили, паваливая в баки картошку. Из баков вопочими клубами валил пар, и Тасю заметили не сразу. Лишь когда она поздоровалась вторично, свинарки обернулись.

Тасе не пришлось объяснять, кто она. Свинарки уже знали о ее приезде. Они с любопытством оглядели ее и начали дружно жаловаться на колхозные порядки. Вот в прошлые годы свиней держали меньше, а людей на свинарнике было больше, но потом ввели механизацию, оставили трех человек, а механизм-то ни один не работает. Только кормозапарники на ходу, да и то воду приходится таскать на себе.

Тася внимательно осмотрела стапки. Это были хорошие вещи, предназначенные для того, чтобы облегчить труд свинарок. Тут и механическая мойка картофеля, ово-

щей, тут и картофелерезка, тут и насос для накачивания воды и многое другое, за что, очевидно, заплачены немалые деньги из колхозной кассы. Но к каждому станку чего-нибудь не хватало: у насоса не было ремня, от ножа утерьяна какая-то деталь, клубнемойка не работала из-за отсутствия электромотора.

Тася выслушала жалобы колхозниц с большим вниманием и, хотя не знала еще, чем она сможет помочь им, радовалась тому, что они вот доверяют ей, рассказывают обо всем. Откуда ей было знать, что свиноводки жаловались каждому встречному и поперечному на такую работу и каждый день грозилась наплевать на все, податься куда глаза глядят. Тася пообещала свиноводкам что-нибудь «придумать», и женщины немощно успокоились. Тася нагнулась к широкому ящику, взяла было двумя пальцами грязную картофелину, но тут же опомнилась и запустила всю руку в ослизлую картошку.

— А картофель уже гнилой, — удивленно сказала она. — Неужели всю зиму таким кормите?

— Всю как есть. Еще заморозят картошку-то, мерзлую даем, — отозвалась старшая свиноводка, которую напарницы называли теткой Марьей.

— А дома-то как, тоже мерзлой кормите? — заинтересовалась Тася, задетая за живое спокойным тоном свиноводки. «Как о таком можно говорить равнодушно?» Молодые свиноводки прыснули в рукава. Тетка Марья сердито глянула на них.

— Какой же хозяин пустой картофелью скотину кормить станет? Ему, хозяину-то, интересней побольше мяса занеметь да сала. Губа-то у него не дура, знает, что щи с мясом вкуснее пустых. Он и обиходит корм-го, холит свою свинью, потому как она своя. А у нас, матушка, покамест свое и колхозное до-олгая верста отделяет.

— Тетка Марья... вы извините, что и я так называю.

— Да ничего, ничего, попросту-то лучше.

— Тетка Марья, вот вы так правильно рассуждаете и все понимаете, так что же вы не требуете с правления, с председателя, чтобы они позаботились о свиноводке?

— И-и, милая, я уж требовала, требовала и дотребовалась до того, что от меня, как от трясухой лихоманки, пачальство-то прячется. Скажу тебе, матушка, без хвастовства, что если наши свиньи еще живы, так потому, что я здесь. Давно бы им карачун пришел.

Все помолчали некоторое время. Потом Тася подня-

лась, сбросила с себя новую телогрейку, попросила халат и обратилась к свиаркам:

— Тетка Марья, девушки, давайте вымоем хоть этот картофель. Ведь нельзя же грязный давать, правда?

— С грязной только понос у скотины, да ведь, матушка, воды много падо. У нас уж плечи в коростах, и у меня вот поженьки от сырости болят, — пожаловалась тетка Марья.

— Ну, вы тут распоряжайтесь, а мы с девушками по воду. Вы согласны, девушки?

— Да мы что, мы не против. Только лучше насосом-то. Похлопочать бы.

— И похлопочем. Вместе будем хлопотать. Договорились?

— Ладно уж, пойдемте.

Они натаскали воды, перемыли картошку, запарили ее, измяли. Тетка Марья предостерегала Тасю:

— Ты, матушка, не суетись, не суетись. Платице-то побереги, чай, не дюжица у тебя их.

А когда они закончили работу, накормили свиней, тетка Марья потеплевшим голосом произнесла:

— Ты, видать, из простых, не боишься руки замарать. Была у нас тут одна зоотехником, мы ее столетней звали. Придет, вон там в сторонке встанет и молчит, молчит, а если разговаривает с нами, нос в сторону держит — вонь-ко ей, видишь, в свиарнике-то.

Они разговорились. Тася немножко рассказала о себе. Потом решали, что можно сделать для улучшения работы на свиноферме.

— Добиться бы, чтобы кормили свиней картошкой вперемежку с отрубями, комбикормов бы достать. Это уж надо председателя и правление трясти.

На прощанье тетка Марья еще раз сказала:

— Особенно, матушка, за подвалами посмотри. У нас ведь так заведено: сначала заморозить овощ, а потом скотине отдать. С некоторых полей картошку даже не увозят, так в буртах и оставляют. Пешнями долбят зимой. Срамота, бесхозяйность!

Тася отправилась на молочную ферму, к Лидии Николаевне. Настроение ее поднялось. «Нет, жить и работать все-таки можно будет. Второй день живу в колхозе, и уже двух хороших людей встретила. Это немало», — размышляла Тася, настраивая себя на бодрый лад.

На молочной ферме все было иначе. Порядок, чисто-

та, спокойная, размеренная жизнь. Скот справный, солидный. Во всем чувствуется крепкая рука. Молочные бидоны начищены до блеска; коровы мирно дремлют, переваливая во рту жвачку. Лидия Николаевна сидит за столом, накрытым беленькой больничной клеенкой, и что-то записывает в толстую тетрадь.

— Хорошо у вас, уютно, — сказала Тася, обойдя всю ферму. — Так бы и не уходила отсюда, даже коровы какие-то ласковые.

— Корова, Тасюшка, вообще животное очень уж, как бы это тебе сказать, душевное, что ли. Люди считают собаку самым близким другом человека, но это не правильно. Корова и вскармливает нас своим молоком, как мать, а потому и человек должен относиться к ней с любовью, как относятся к близкому, родному существу. Вот она ему за заботу и ласку добром ответит. Да ты поговори каки-нибудь об этом с нашим пастухом Осмоловым. — Лидия Николаевна положила тетрадь в деревянный шкафчик, висевший над столом, и повернулась снова к Тасе. — А что понравилось тебе у нас — лестно нам. Однако осенью ферма всегда выглядит лучше. Вот весной...

Лидия Николаевна не договорила, пошла зачем-то в коровник и, возвратившись оттуда, записала цифры какие-то в график, висевший на стене, и, как бы продолжая разговор, протянула:

— Да, а весной, о весне мы уж привыкли думать как о бедствии. Бескормица, бескормица... — Лидия Николаевна разговорилась.

Было время, когда колхозное начальство без зазрения совести пользовалось всем, что только можно было взять с фермы. Выпишут, к примеру, пять литров молока через контору, а выносят пятьдесят. О кормах же заботиться никому неохота. Скотина требует к себе внимания каждый день. Внимание же это уделялось полеводству. Дело дошло до того, что Корзиновская ферма стала самой худалой в райоше. Коровы в ней телились поздно. Осталась на ферме одна-единственная племенная корова. В это время выбрали председателем Птахина, и первое, что он сделал, так направил бригадиром на ферму Лидию Николаевну. До того времени она овощеводом в Корзиновской бригаде работала.

Лидия Николаевна круто развернулась на ферме. Набрала себе новых доярок; ходить за даровым молоком шарод отвадила, настояла на том, чтобы молоко с фермы

давалось большесемейным колхозникам. Пролазы нашли другой ход и стали появляться с записками от Птахина. Раз отпустила Лидия Николаевна молоко по записке, другой, а потом пришла к председателю и заявила, что ферма не хитрая лавочка и доить ее довольно. Перестал писать записки председатель, но и на ферму махнул рукой. Работайте, мол, как знаете, раз вы сами большие и малепькие.

— А самая главная беда, Таисьюшка, в том, что Птахин не один во главе колхоза. Крутится возле него разное отребье, жужжат ему на ухо, подхалимничают, навеличивают его, а он и нос задрал. Исподтишка мстят они мне, через коров мстят: то силос сгноят, то сено увезут на рынок, то еще чего придумают. Хитрые, ловкие барышнички у нас появились. Так что я здесь, на ферме вроде милиционера, — улыбнулась Лидия Николаевна и, надевая чистый халат, закончила: — Ну, наговорила я тебе семь верст до небес и все лесом. Трудно, конечно, да теперь полегче станет, после постановления попрерждем кое-кому хвосты. Пора, давно пора.

Лидия Николаевна сказала, что у них еще будет время наговориться обо всем и решить кое-что, а пока велела ей пойти домой, поесть да ребят попровеждать.

Перед вечером пришел Яков Григорьевич. Он поздоровался с Тасей, вышел во двор, взял там топор, ножовку, доски и понес все в другую половину избы. Был он могуч, без единого седого волоса, краснощекий, со спокойным взглядом голубоватых глаз.

— Он что, вам родной? — спросила Тася у Юрия.

Юрий смутился и долго не отвечал.

— Он папин товарищ, — наконец выдавил Юрий и, повременив, торопливо заговорил: — Вам, тетя Тася, будут говорить разные сплетни насчет дяди Якова и мамы, так вы не верьте, неправда это.

Яков Григорьевич работал неторопливо, но очень ладно. Синяя сатиновая косоворотка была ему коротка и узка. Когда он отрывал доски, Тасе показалось, что сейчас эта рубашка треснет по всем швам.

Изба осела от времени, и оконные подушки почти касались земли. Яков Григорьевич рванул доски топором. Заскрипели ржавые гвозди, рассыпались доски. Он шагнул в темное окно, огляделся в избе, тихонько побурчал и, выглянув, распорядился:

— Юрий, а ну мобилизуй всю армию уборку делать.

Армия, в числе которой был и Сережка, пришла со старыми ведрами, корзинами, и работа началась.

Уже стемнело, когда прекратился стук в нежилой половине.

Возле умывальника получилась давка. Кто-то брызнул Сережке за воротник холодной воды, он завизжал; Васюхе начало есть мылом глаза, он вначале кричал, промывал, а потом взвыл.

Смех и шум прекратились только за столом. Лидия Николаевна не успевала разливать щи и резать хлеб. Яков Григорьевич с доброй задумчивостью посматривал на всех. После ужина он еще посидел на пороге, покурил и нехотя начал собираться. Уже открыв дверь, бросил:

— Я завтра печку-то подремонтирую, и можно белить. Дело за стеклом. Ты, Лида, попроси у председателя.

— Ладно. Чего ребята перестали ходить?

— А-а,— досадливо махнул рукой Яков Григорьевич и вышел.

Лидия Николаевна посидела и вздохнула:

— Ну, труженики, давайте на боковую. Ты, Сережа, с мамой ляжешь?

— Нет, с ребятами.

— Вот тебе и раз! Маму-то что, в отставку?

— В отставку.

— Ишь, прыткий какой,— со смехом проговорила Лидия Николаевна и щекотнула Сережку за живот.

Он взвизгнул, началась возня.

Тася в этот вечер не спускала глаз с Лидии Николаевны. Раздеваясь в передней комнате, Лидия Николаевна спросила:

— Устала, Тасюшка?

— Лидия Николаевна, вы меня извините, конечно, а Яков Григорьевич, кто он?

Лидия Николаевна на секунду смешалась и уткнулась взглядом в эмалированный таз, в котором перемывала посуду. Тася поняла, что вопрос ее — неладный вопрос, и выругала себя за оплошность.

— Яков-то Григорьевич, — заговорила Лидия Николаевна, — для нас самая близкая родня. Ты ложись, Тасюшка, я потом тебе как-нибудь все расскажу. Не ломай зря голову.

Лидия Николаевна вытерла руки, потрепала ее по волосам, помогла расплести косы. Руки у нее были быстрые

и ласковые. Пахло от них парным молоком, мылом и еще чем-то родным, до боли близким.

— Вы, как моя бабушка, — прошептала Тася.

— Хорошая у тебя была бабушка?

— Замечательная. Хотите, я вам расскажу про нее?

Говорила Тася долго и рассказала все не только о бабушке, но и о себе.

Бабушка умерла без слов и стонов. Она лежала на столе с поджатыми губами, худенькая, тихая. Деревяшку, которая долго служила ей вместо правой ноги, отвязали, и бабушка под белой простынью казалась совсем маленькой. Тасин отец, Петр Захарович, повертел старую, отлакированную в вырезе деревяшку и сунул ее в печку.

— Отходила нога свой век! — И со вздохом прибавил: — Да, жизнь у старухи была не совсем чтобы очень.

— Сама виновата, — скептически заметила мачеха. — Больно горда была. Умерла у Бога ни разу не помянула: не причастилась, не перекрестилась. Так и отошла.

— С Богом у нее, видно, счеты какие-то были, — вымолвил Петр Захарович. — Она в молодости веровала, в церкву ходила, а потом, стало быть, дружба врозь.

Да, у бабушки Ефросиньи были кое-какие расхожденья с Богом. Расхожденья эти получились потому, что Бог часто наказывал бабушку Ефросинью ни за что ни про что. Первый раз Он ее наказал будто бы и нечаянно — она родилась последней в огромной крестьянской семье, да еще к тому же не выговаривала букву «р». А «заскребыш», да еще картавый — это уж беда. Но Бог делал кое-какие списхожденья для бабушки Ефросиньи: по Его милости она стала очень красивой девушкой. Впрочем, это не пошло ей на пользу. Из-за красоты она попала в богатый дом, где ее превратили в батрачку. А от красоты ее после того, как родила троих ребятишек, не осталось ничего. Казалось бы, чего еще надо было Богу — цемпожко дал и то отобрал.

Нет! Он нашел у нее еще кое-какие излишки. Властелин-свекрушко жаден был. В работе не щадил никого. На покосе он обычно косцов пускал впереди себя, наступал на пятки тому, кто отставал. Как-то свекор резким взмахом косы пересек затаившуюся в траве гадюку. Он взял ее за хвост и, глядя на онемевших от ужаса брезгливых невесток, хмыкнул:

— Раз-зьява! Эдак всякому может доспеть, кто под косу попадет. Шевелиться надо! — свекор отшвырнул безголо-

вую змею в сторону, и она еще долго извивалась, шурша скошенной травой. А он вытер руку о штаны и криво усмехнулся: — Не брезгуйте: ко мне зараза не пристанет. Я на святой пятнице причастился, а в молодости попадью обнимал. Святой почти. Х-хы!

— Кобель старый! — буркнула младшая невестка, которой не раз уже приходилось спасаться от свекра. Руки хоть бы помыл, из одной ведь посуды едим.

— Поговори! — окрысился свекор и снова оголил желтые крепкие зубы. — Вои, говорят, азиаты змей варят, а вам, толстоляхим, баранину да говядину подавай.

Однажды свекор наступил на пятки невестке Ефросинье, а она на сносях была четвертым ребенком, и «печаянно» подкосил ее. Молодую женщину долго не везли в больницу, прятали от людей, и у нее получилось заражение крови.

Угрюмый, забитый Захар решился на отчаянный поступок: выкрал жену из дому, тайком доставил в уездную больницу, и там успели спасти ей жизнь, но ногу отняли.

Свекор отделил их. Пришла в дом к Захару большая нужда, но настала и относительно спокойная жизнь. Захар жалел супругу, не обижал ребят, и Ефросинья неожиданно-негаданно полюбила его. Но поняла она это не сразу, поняла, когда получила затрепанное письмо, в котором окопные страдальцы сообщили, что муж ее «пал за веру, царя и отечество, бясь с германским врагом».

И тогда бабушка взбунтовалась. Она приковыляла к углу, где на деревянной божнице под потолком стояли иконы с закопченными ликами, и, не разжимая зубов, спросила:

— Куда смотрели? Чего шары-то свои на меня выпялили? А? Мало вам одной души?! Возьмите мою! Карайте! Натё! Кровь выпейте! — Ефросинья рванула ворот старой кофты. Обнажились ее дряблые, полузасохшие груди с оттянутыми сосками и крест на засаленном шнурке. Она рванула этот крест и швырнула в иконы.

Боги все так же невозмутимо таращили на нее свои невинные голубые глаза.

— А-а, молчите?

Ефросинья вскочила и дернула угловик. На пол вместе с досками повалились иконы, за которыми в паутине копошились пауки. По стене врассыпную кинулись тараканы. На печи в один голос завывали ребяткишки.

Четверо ребяткишек, а на них всего две рабочие руки и

одна нога. Нищенствовать бы Ефросинье вместе с ребятами, да революция подоспела. Нелегкой была жизнь у Ефросиньи и при Советской власти, но она все-таки сумела воспитать детей. «определить» их.

Жить на старости лет она осталась с сыном Петром. Стала нянчить лупоглазую внучку Тасю. В жизни бабушки Ефросиньи наступили хорошие дни, да мало их было.

Умерла мать Таси. Отец сосватал другую женщину с тонкими бесцветными губами и сказал, что это новая мама. Новая мама оказалась набожной, скупой женщиной. Отца она скрутила, спелепала так, что он пикнуть боялся, Тасю невзлюбила, а вместе с ней и бабушку Ефросинью.

Бабушка отказалась от общего стола и зарабатывала кусок хлеба вязапьем. У нее были проворные руки и зоркие глаза, до смерти не знавшие очков. Когда Тася удивлялась, глядя на ее руки, бабушка раздумчиво говорила:

— Как же, Тасюшка, иначе-то? Волка ноги кормят, а меня руки да глаза. Учись вот, ремесло без пользы не пропадет.

Мачеха не выносила нахлебников вообще, а когда началась война — и подавно. Потребность в кружевах и красивых шарфиках, которые искусно плела мастерица-бабушка, исчезла. На бабушкину долю выдали карточку и на Тасю тоже.

Мачеха поступила на работу. Ей дали пятисотграммовую карточку, то есть столько, сколько давали бабушке и Тасе вместе. Мачеха стала делить хлеб по пайкам. Тасе было пятнадцать лет, она росла, пайка ей не хватало. Хорошо, что была бабушка. Она где-то брала куски хлеба и подкармливала внучку. А потом бабушка умерла, ее схоронили. Мачеха перерыла все в бабушкином сундуке и зло сказала:

— Все проела безногая кикимора, да тебе скормила, — сверкнула он глазами на Тасю. — Грешница она была, карал ее Бог за это. Голодом себя морила ради внученьки, пигалицы такой...

— Не смейте так говорить о бабушке! Она была добрая! Она самая лучшая была! Она лучше вас, вот!

— Ой-ей-ей, расходилась как! — покачала головой мачеха. — Вся в покойницу, гордяка да зубастая. Ласковый теленок две матки сосет, а грубый — ни одной! Попомнишь ты эти слова!

— И попомню, и что?

— Погоди, отец придет! Он тебе задаст баню с предбанником!

Вечером отец отстегал Тасю ремнем.

Горек корявый хлеб. Не зря так не любила его бабушка Ефросинья.

Как только Тасе исполнилось шестнадцать лет, она поступила на работу. Пыгалась устроиться раньше — не принимали. В ту пору школьники считали своим долгом заботиться о раненых, помогать им. Они шефствовали над палатами и, конечно, если удавалось, поступали на работу в госпиталь.

Тасю приняли санитаркой.

Должность самая тяжелая, беспокойная. Никто за войну не получил столько благодарностей и матюков, сколько их получили санитарки да сестры.

Удивительным, а подчас и непонятым был тот мир, в который вошла Тася. Вначале она с ужасом смотрела на окровавленные бинты, закрывала глаза во время перевязок. Но время шло. Раны на человеческом теле зарастали, вместо них оставались рубцы самых разных форм и размеров; лица раненых округлялись; в глазах появлялось озорство.

Некоторые солдатики начинали мимоходом пощипывать сестер и санитарок. Разговоры велись преимущественно на любовные темы. По вечерам выздоравливающие, переодевшись в уборной в заранее припрятанное обмундирование, а то и прямо в госпитальных халатах, исчезали куда-то. Возвращались они подвыпившие, довольные. Лежачие больные с жадностью слушали их рассказы о «хождениях в парод».

Нравились эти люди Тасе. Все они были для нее — герои. Она только делила их на тяжелых и выздоравливающих. Тяжелые — это беспомощные и капризные, как дети. С ними надо быть аккуратной, вежливой, и если обругают — не обижаться, стерпеть. Может быть, и она, Тася, взвыла и облаялась бы, если бы неловко повернули раненую ногу или трякнули забинтованную голову.

А выздоравливающие — те чудаки. Будь они молодые или пожилые, все равно говорят: «не женаты». Многие из них «заводят любовь», сидят с какими-то дамочками в скверике, пишут записки, ухмыляются, держат грудь колесом. А когда их выпишут — трогательно прощаются со всеми. Тасе жмут руку так, что косточки трещат, но она терпит, улыбается и желает повоевать им до победы. Есть

и такие, которые просят, чтобы она им писала. Адреса своего не знают, а просят. Смешные и хорошие вояки!

Тася из подростка превращалась в девушку. Пополнела и округлилась ее фигура, темно-русые косы отяжелели, глаза ее, большие, серые, бабушкины глаза, смотрели на всех чуть удивленно.

Потом в госпитале появился Николай Дементьевич Чудинов. Он был тяжело контужен, правая рука у него оказалась разбитой. Сиротливо торчал среди темного мезива какой-то палец, должно быть безымянный.

Пока в палате было много тяжелых, Тася обращала внимания на Чудинова столько же, сколько и на остальных. Но потом в палате остался из тяжелых только он один, и каждый считал своим долгом прислужить ему, выполнить любое его желание.

Медленно возвращались к Чудинову слух и дар речи. Вначале он сильно заикался. К весне несколько оправился. Рука у него зажила, говорил он почти правильно, только когда волновался, речь его немного спотыкалась. Он оказался общительным, но в то же время сдержанным человеком. О своих боевых делах Чудинов распространяться не любил. Когда ему было тяжело — страдания переносил мужественно.

Тасе всегда казалось, что у этого человека есть на уме такое, что он не всякому расскажет. Она уважала его за сдержанность, за трезвость суждений, за то, что он ничем не кичился и не гордился. Тасю называл он не дочкой, а Тасюшкой, так же, как называла ее бабушка, и это невольно располагало к нему.

Однажды Чудинову привезли в госпиталь два ордена — Красного Знамени и Отечественной войны. Тася была в палате, когда ему их вручали. Ей очень понравилось, как он вел себя. Он не сунул небрежно ордена под подушку, как это делали некоторые: дескать, у меня их уже полпуда. Но и не растерялся, не залепетал разную чепуху. Он принял в левую руку коробочки, положил их на тумбочку, крепко пожал генералу руку, и только когда заговорил, Тася поняла, как Чудинов волновался.

— Сп-ппп-паси-б-бо з-за п-п-награ-аду! — с трудом выговорил он.

Когда все разошлись, Тася со слезами умиления сказала:

— Поздравляю тебя, Николай Дементьевич!

— Спасибо, Тасюшка, сп-пасибо, — взволнованно от-

ветил он и, крепко сжав ее руку в запястье, добавил: — А меня, Тасюшка, не обязательно величать. Мне ведь только двадцать восемь.

Чудинов стал ухаживать за Тасей. А так как за ней еще никто никогда не ухаживал, то Тасе это понравилось. Да и Николай Дементьевич тихий, обходительный, глупостей никогда не позволял.

Потом был яркий, весенний день. День Победы! Все смешалось, закипело, забушевало. Тася и Чудинов уехали на загородную прогулку, выпили за победу, потом еще и еще. В этот день пили все и отказываться было нельзя. И тогда-то между ними возникла связь, которую они пытались скрыть от зорких солдатских глаз. Кончилось все это коротким письмом, посланным Чудиновым с дороги: «Тася! То, что произошло между нами, конечно, глупость. Я не сумел сдержаться и каюсь в этом. Мне непростительно это еще и потому, что я многое скрыл от тебя. Я ведь женат и ребенка имею. Так что, видишь, дело-то какое. Нехорошо я поступил, но, как говорил какой-то философ: «Чувство побеждает разум!»

Вот и все. Чувство побеждает разум. К ужасу своему, Тася обнаружила, что никаких чувств у нее к Чудинову и нет. Тайное любопытство, игра в любовь, желание иметь кавалера — вот что было. Кроме того, время с Чудиновым шло интересней, жизнь текла веселей. Дома ей все опостылело — и ехидная мачеха, и угнетенный отец. Да и откуда ей было знать, что именно в эти годы, когда душа жаждет необыкновенного, романтики, молодые люди совершают большинство ошибок.

Через три месяца после отъезда Чудинова мачеха с сарказмом бросила отцу:

— С прибылью тебя, Петр Захарыч!

— С какой?

— Внука скоро Бог даст.

— Вну-ука!? Откуда?

— Все оттуда же. Неужели шары-то у тебя заволокло и ты не видишь ничего?

— Айда-ко с худого-то места, — испуганно огрубил отец.

— Придет, приглядишь. Не от пайки же она так раздобрела.

Вечером отец избил Тасю и выгнал из дому. Мачеха, выбрасывая ее пожитки на улицу, кричала:

— Срам! Стыд! Опузателя с бабушкиных-то кусков!

А отец гремел поленом по столу и кричал на мачеху:
— Ты хотела этого, стер-рва! Радуешься! Уходите обе с глаз моих! Зашибу!

— Тише, тише ори-то. Тронь попробуй, в тюрьме сгною.

Разбитая, уничтоженная Тася брела на станцию. Она ничего не понимала и не чувствовала. У переезда она прислонилась к телеграфному столбу и стала ждать поезда. Когда электровоз загремел совсем близко, она выбежала вперед и легла на рельсу.

Поезд пшикнул, судорожно дернулся, захрохотал и начал наезжать на Тасю. В это время какой-то молодой парень, рискуя жизнью, выдернул Тасю почти из-под самых колес. Она была без сознания.

Через три дня Тася вышла на работу, но ее точно подменили. Она таила свою беременность, боялась смотреть больным в глаза, сделалась замкнутой, пугливой.

Мучительными были роды, но еще мучительнее оказались взгляды женщин, их едкие реплики:

— Такая молоденькая...

— Сладок был грех, да горько похмелье...

— И ведь паразит какой-то и глаз не кажет...

— Сделал свое дело и в сторону. Все они сейчас такие, разбаловались за войну. Вот я тоже...

— Куда она такая с ребенком? Родных-то, видно, нету. Никто не приходит...

Слушала Тася эти разговоры и жалела, что ее вытащили из-под поезда.

Она решила уехать из областного центра. Здесь хоть и не часто, но встречались знакомые, а главное — есть те, которым она прислуживала в госпитале. Как-то шла она по городу, а навстречу ей, будто из-под земли, парень, чубатый, веселый, руку трясет. «Не узнали, значит?» — спрашивает. Оказывается, один из бывших больных. В кино приглашает. Спрашивает. «Может, дров надо подбросить?»

Стоял февраль. Начались первые оттепели. Над карнизами госпитального здания повисли первые, хиленькие сосульки. Крыша была шиферная, и плаксивые сосульки свисали из желобков через равные промежутки, словно их аккуратно начертили.

Тася сидела на скамейке в скверике и смотрела на окно своей палаты. Раненых осталось мало. Госпиталь скоро должен расформироваться. Но Тася не думала об этом. Она смотрела туда, где впервые увидела огромные

человеческие страдания и радость возвращения к жизни. Туда, где заработала свой первый, трудный хлеб. Жаль было расставаться с этим старым кирпичным домом. Жаль, несмотря на ту беду, которую она здесь нажила.

По палате, в которой она еще так недавно хозяйничала, приковыляла на привязанных костылях раненый. Он отвязал костыли, установил их возле кровати, подпрыгнул на одной ноге к окну, поглядел на городские огни. Глаза его задумчивы и печальны. Тася знала, о чем думает, о чем грустит раненый сержант. Думы его самые прозаические: как начинать жизнь без руки и без ноги? Как примет жена? Сможет быть полезным семье и колхозу?

Ей хотелось подойти успокоить сержанта, сказать что-нибудь такое, отчего лицо его стало бы веселым, усы затопорщились бы от смеха, как прежде. Но больной для нее сейчас далек и недоступен. Точно давая ей это понять, он понурился и медленно задернул марлевые занавески, на уголках которых Тасиными руками были вышиты две кошачьи мордочки.

Тася встала со скамейки и только теперь почувствовала, как у нее зашлись ноги в низких резиновых ботинках. Она удобней подхватила Сережку, наглухо завернутого в старое байковое одеяло, и засемила с госпитального двора.

— Ну что, дочка, попрощалась со всеми? — спросил ее старик, дежуривший в проходной.

— Прощалась, дедушка, — ответила Тася, и в груди у нее стало больно-больно, — прощайте и вы, дедушка, — торопливо бросила она уже на ходу.

Всю ночь Тася просидела на вокзале. Устала от шума, сутолоки. К утру у нее разболелась голова, ее стало знобить. Она взяла билет на первый попавшийся поезд и, ни о чем не думая, поехала куда глаза глядят.

В Лысогорске ее сняли с поезда. У нее оказалось двустороннее воспаление легких. Сережку от нее изолировали. Щупая рядом с собой похудевшей рукой, Тася звала его, плакала в беспомощности до тех пор, пока сердобольная санитарка не подсунула ей сверток из простыни. Тася крепко прижала к себе сверток и в жарком бреду металась по кровати, то вскрикивая, то чуть слышно шепча невнятным голосом ласковые слова. Даже к беспомощной не приходило успокоение.

Выздоровливая Тася медленно. Только через месяц она стала подниматься. На улице уже была весна. Когда

молодая женщина первый раз вышла на крыльцо, у нее захватило дух и она заплакала, порадовавшись тому, что осталась жива. Сережка уже улыбался, ворковал сам с собой и решительно не желал ее признавать.

Или из ее бредового говора работники больницы что-то узнали, или умели угадывать сердцем чужое горе, или просто так, из хорошего человеческого чувства проявили необходимую заботу о ней и о Сережке. У нее всегда ломилась тумбочка от разной снеди, ей припосили интересные книги, достали нитки и кусочки материала: Тася вышивала на память добрым людям разные безделушки. Особенно правился Тасе старенький, полный и так же, как бабушка, не выговаривавший букву «р» главный врач Федор Федорович.

Федор Федорович и его жена, Агния Владимировна, принадлежали к числу тех супругов, которые всю жизнь мечтали иметь детей, но им не повезло. Бездетные супруги очень привязались к Тасе и ее сынишке. Когда Тася выздоровела, ее устроили на работу здесь же, в больнице. Навык у нее уже был, и с помощью главврача она выучилась на медсестру. Зарплата прибавилась, жить стало легче. Вскоре Сережка начал делать первые шаги.

В Лысогорске одно-единственное учебное заведение — сельскохозяйственный техникум. Сережка подрастал, и сама Тася возмужала: стала повыше ростом, голос ее уже не щелкал, как прежде, игриво, а на лбу навечно поселились две морщинки. Она была очень довольна тем, что все как-то устроилось. Долго не замечала Тася того, что люди всячески старались, чтобы у нее было меньше свободного времени. Особенную изобретательность проявляли супруги — Федор Федорович с Агнией Владимировной. Это они сделали так, что Тася очутилась на вечернем отделении техникума. Начала учиться на агронома. Вначале неуверенно, в полсилы, потом втянулась.

Тася уже заканчивала второй курс, когда Федор Федорович с женой переехали в областной город. Она только тогда до конца осознала, как много делали для нее эти люди.

В техникуме сразу Тася не сказала о Сережке, а позднее уже сказать стеснялась. Ей казалось, что она не будет ровней студентам, что они не станут с ней обходиться запросто, если узнают о Сережке.

Утром она вела его в детский сад и мчалась в больницу. Под вечер, наскоро поев, она спешила в техникум.

Поздно вечером забирала Сережку из садика и, уже не торонясь, шла домой.

Она совсем мало видела сына, а он рос, декламировал стихи про Деда Мороза, рисовал дома с кривой трубой и с дымом, вырастал шалуном.

Учиться становилось невмоготу: зарплаты не хватало, одежонка доизносилась, Сережке требовалось все больше и больше. Пришлось хлопотать о пособии — как матери-одиночке.

Мать-одиночка. Всю горечь двух этих совершенно разных слов, соединенных вместе чепухами жизни, Тасе предстояло испытать. Еще много впереди унижений, оскорблений, мытарств. Еще неизбежно когда-то надо встретиться с пастойчивым взглядом подростка-сына и ответить, почему он уже в день своего рождения был полусиротой и кто повинен в том, что его с детства зачислили в «самоделки».

Пока еще Тасе некогда было задуматься о судьбе своего ребенка, пока еще добрые люди оберегали ее и Сережку от лишних ушибов. Но Тася уже научилась смотреть на жизнь открытыми глазами, знала — рано или поздно ее окатят грязью, и хотела только одного: чтобы грязь окатила ее, чтобы ни одна капля не упала на Сережку. Он-то ведь ни в чем не повинен. Да, она готовилась, всегда была настороже, а все произошло неожиданно, не там, где она предполагала.

Пришла она на почту за пособием. Стала в очередь с необщительными, нахмуренными женщинами. «Это все такие же, как я», — подумала Тася, покраснев.

К соседнему окошку подплыла пышная дама в беличьей дохе, с картинно приподнятой левой бровью. Она выбрала взглядом женщину, одетую поприличней, и обратилась к ней:

— Вы не скажете, где можно получить перевод?

— Нет.

— А это куда же очередь?

— Пособие получают матери-одиночки.

— Ах, это на инкубаторских ребятишек? Смотрите, и среди них такая молоденькая, симпатичная...

— Да, они погуливают, а государство раскошеляйся.

Тася вспыхнула, опустила голову, затем осторожно выбралась из очереди и почти бегом кинулась из почты.

Больше за пособием она не ходила. Бросила занятия в

техникуме и начала прирабатывать вышивкой и вязаньем. Бабушкино ремесло пригодилось.

Лысогорск — маленький городишко. Тут много знают друг о друге. Но Тася по наивности полагала, что ее никто не знает, кроме тех людей, с которыми она встречается на работе.

Каково же было ее удивление, когда в комнатушку, отведенную ей в старом доме на территории больницы, ввалилась целая компания студентов.

Студенты сконфуженно потоптались у двери. Она пригласила их пройти. Они начали несмело передвигаться к столу, чтобы чего-нибудь не уронить.

— Мы пришли узнать, что с вами? — после неловких взаимных шуток и малозначительных реплик заговорил один из студентов в клетчатой рубашке с закатанными рукавами. — Узнать, почему вы занятия забросили? Может, вам помочь надо? Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, — говорил парень, а сам пытался перебороть смущение, и ничего у него не получалось.

Тася сразу не нашлась, что ответить. Как бы давая ей передышку, девчата-студентки окружили Сережкину кроватку, Тася побледнела.

— У тебя ребенок! — обрадовались девушки, как будто для них это было неожиданностью.

— Ага, — чуть слышно подтвердила Тася.

— Трудно тебе, Тася?

— Трудно, ребята.

— А мы ведь давно знаем, что у тебя сын и что Сережкой его зовут, — заговорил все тот же парень в ковбойке. Девушки сделали страшные глаза, приложили пальцы к губам. Парень замолк на мгновение и отмахнулся от них: — Конечно, давно знаем. Только ты ничего не говорила, и мы думали, неудобно об этом, а теперь вот решили. Ты уж извиняй, что вломились.

— Да что вы, ребята! — забормотала Тася и, услышав, что на плите закипел чайник, всполошилась: — Ой, чайник убежал! — Она кипулась, обожгла руку, по-детски сунула палец в рот, но тут же спохватилась, затрясла рукой в воздухе и, будто оправдываясь, проговорила: — Такой чайник психопаточный. Давайте, ребята, чай пить. — И вдруг отважно предложила: — У меня даже печенье есть, Сережкино, правда, но ничего, ради гостей жертвуем. Он у меня парень не прижимистый...

И Тася вернулась в техникум. У нее появилось много

друзей. Как-то незаметно на день рождения и еще по поводу разных событий Сережке надарили одежонки, самой ей нет-нет да и подбрасывали немного денег.

Техникум Тася закончила в 1952 году, но сразу у нее не хватило смелости покинуть обжитое место, привычную работу: «Как же я с ребенком, в деревню? Ни знакомых, ни родных».

Правда, ей очень часто становилось не по себе оттого, что она чувствовала себя не на месте. Ведь люди так много сделали для нее и для сына. Они ее поставили на ноги, помогли получить образование, специальность, вырастить в трудные годы ребенка...

А что она сделала? Очень мало. Ей казалось, если она горы своротит, то и этого не хватит расплатиться за доброту людскую. И когда после сентябрьского Пленума ее вызвали в горком комсомола и заговорили о долге молодого специалиста, она не дослушала до конца и спросила:

— Где можно получить путевку?

Она собрала свои пожитки. В больнице, кроме зарплаты, получила подъемные. В горком комсомола ей подарили красивые настольные часы. Она приехала в областной центр, быстро получила назначение в Чагинский район и пошла ночевать к Федору Федоровичу.

Вечером выпили немножко за ее «блестящее будущее», как выразился Федор Федорович.

Назавтра Федор Федорович и Агния Владимировна отвезли Тасю и Сережку на вокзал в легковой машине. После того как Тася дала обещание останавливаться только у них, привезти летом Сережку на месяц и непременно писать каждый день, добрые супруги распрощались с ней. А когда она зашла в вагон и выглянула в окно, Федор Федорович сказал:

— В жизни, Тасенька, случается всякое, так вот, если вам будет очень трудно, знайте, есть люди, которые о вас помнят и всегда готовы помочь.

— Спасибо, спасибо, дорогие мои, — дрогнувшим голосом ответила Тася.

Только дорогой она вспомнила, что не побывала у отца, но не пожалела об этом.

...В палисаднике шумел ветер, из кухни доносилось сонное бормотанье ребятишек и слабое тиканье ходиков. Под одеялом было тепло и уютно. Лидия Николаевна прижимала Тасю к себе, как девочку.

— Рановато взяла тебя жизнь в оборот, рановато, — спустя немного времени заговорила Лидия Николаевна. Да ведь не одну тебя. Весь народ наш пережил такое тяжкое время, а уж о ребятишках, что в войну возмужали, и говорить нечего.

— Ой, тетя Лида, я сама не смогла бы ничего, меня люди, как слепую, в жизнь-то ввели, все время за руку. Вот теперь и не знаю, как я здесь сумею в деревне, одна...

— Как это одна? Здесь ведь те же люди, что и всюду. Они тоже по труду ценят человека. И я по труду ценю. Смотрю вот иногда в городе на расфуфыренных бездельниц и не зло, а жалость меня разбирает. Ведь они несчастные, они не ели своего хлеба, не держали в руках самой ценной вещи, что сделана своими руками, не познали тяжести и счастья материнства. Живут тряпичными радостями. А тебе бояться нечего. Будешь работать, и люди тебя душой примут. — Лидия Николаевна погладила в темноте Тасю, как маленькую, и закончила: — А сейчас давай спать. Завтра побывай в бригадах. О избе не заботься и о сыне тоже. Сколько падо, столько и пробудь там. Приедешь, я тебе еще кое-что расскажу и покажу, и Яков тоже расскажет. Он бригадир-полевод, да еще коммунист к тому же. Он тебе во многом поможет. Завтра в первую очередь в Дымную, там у нас лучший бригадир-овощевод, па весь район известный. В колхозе он с первого дня. Мужик умный, грамотный. Хватил горя человек через край. Ну, спи, спи, и мне спать пора. Утром рано вставать.

Они обе закрыли глаза. Тася плотнее прижалась к Лидии Николаевне. Совсем близко, ровно и спокойно стучало ее сердце.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дымная — небольшая, дворов на тридцать, деревушка. Когда-то на месте полей и перелесков, раскинувшихся по горам вокруг Дымной, был труднопроходимый лес. Лес этот заводчики приспособили к делу — начали выжигать из него уголь в земляных кучах, которые местные жители называют буртами или печами. Вначале здесь появились землянки углежогов, а потом и избы хлебопашцев. Еще и поныне в Дымной говорят: «Ягоды брала у печей», «На горе, возле печек, покос никудышный», «Опят возле печек уйма бывает...»

Павел Степанович родился и крестился в Дымной. За свою пятидесятилетнюю жизнь он дважды удалялся из родной деревни: первый раз на полугодовые курсы овощеводов, второй раз — на войну.

Букреев небольшого роста. У него тихий голос, который он, насколько помнят дымновцы, никогда не повышал. С войны Павел Степанович вернулся без ноги и без руки. Остро очерченные лопатки под гимнастеркой, тонкая шея с глубоким желобком посередине, пустой рукав, заткнутый за пояс. Поглядишь на него, и жалость возьмет — до чего изувечили человека... Но это первое впечатление бесследно исчезает, как только ближе узнаешь Павла Степановича. Односельчане рассказывают о нем много такого, что никак не вяжется с его малоприметной наружностью.

В первые годы коллективизации кулаки убили двух председателей. На их место никто идти не согласился, кроме молодого парня Павла Букреева. В него тоже стреляли, повредили левую руку, ту самую, что потом оторвало на войне. Павел Степанович шутил: «Все улики против кулаков фашисты аннулировали, заодно работали».

По сей день помнит Павел Степанович, да и до конца жизни не забудет, как он явился домой из госпиталя, а потом на поле. Женщины, пригорюнившись, глядели на него, расспрашивали про войну.

Он пошутил:

— Сначала ничего. Потом — батюшки мои, родители родные! Потом опять ничего...

Женщины вымученно улыбнулись этой шутке. Чтобы не сбиться с бодрого тона, Павел Степанович как можно веселей продолжал:

— Ну, примете, бабы, в свою компанию?

Женщины прятали глаза от него, с обидной сострадательностью вздыхали.

— Вы, может, думаете, обузой буду, не справлюсь?

— Да мы-то что, мы и вовсе ничего такого, сам-то, сам-то как ты будешь?

— Передохнул бы, оклемался. Насчет харчишек подсобим уж кто чем...

— Словом, договорились, — прервал разговоры Букреев и сквозь стиснутые зубы цедил, идя к конным граблям: — Харчишками помогут! Покруче! Бабы! Я еще покажу, что меня в утиль рано списывать!

Он хотел быстро, по-молодецки вскочить на круглое

сиденье граблей, но деревяшка задела оглоблю, и он чуть было не свалился под ноги лошади. Женщины, паученные горем уважать чужую беду, сделали вид, будто ничего не заметили. Павел Степанович погнал лошадей, испуганно думая о том, как он будет одной рукой сбрасывать с граблей вал сена и в то же время править лошадей.

Но все обошлось. Сначала вожжи брал в зубы, а потом приспособился их между колен зажимать, благо колесо у ампутированной ноги осталось.

Так вот с этого дня, с конных граблей, на которых обычно мальчишки управляют, и началась его послевоенная жизнь. Женщины признали его за мужика и стали обращаться к нему за помощью и советом. А он незаметно для себя сделался в деревне вроде бригадира. Так что, когда правление предложило ему занять эту должность в Дымной, он только рассмеялся:

— Да мои бабы давно уж меня утвердили...

Дымная в трех километрах от Корзиновки. Тася шла сюда по дороге, обозначенной, как вехами, телеграфными столбами. На полях третьей бригады много неубранного картофеля и почти совсем не тронута капуста. Было сыро и холодно. Ветер все гнал и гнал тучи.

Тася плотнее закуталась в шаль, которую ей дала Лидия Николаевна, и прибавила шаг.

— Где мне найти бригадира? — спросила Тася у женщины, ехавшей на телеге ей навстречу.

Женщина натянула вожжи, поправила мокрый платок, сползший почти на брови, и внимательно посмотрела на Тасю. У нее было скуластое лицо, открытый взгляд и крепкие, мужицкие руки.

— Бригадира? — переспросила она и чему-то усмехнулась. — Найти его не так просто, да вам повезло, он аккурат сейчас обедает. Мужик ведь это мой. Беда, девонька, когда мужик в начальниках ходит. — По тону женщины нельзя было понять: осуждает она своего мужа или довольна им. — Завернула бы я с вами домой, да боюсь, достанется от начальника. Послал меня за землей к речке Корзиновке, горшки собираются зимой лепить для рассады. А найти нашу избу просто. Во-он, видите, большая изба в синий цвет выкрашена? В ней никто не живет. Так три дома отсчитайте и напротив колодца увидите старую избу, у ворот еще большущая липа растет, вот

туда и ступайте. Женщина стегнула лошадь вожжами и, обернувшись, крикнула: — Слух был про нового агронома, знать то вы?

Тася кивнула головой и пошла разыскивать дом Букреева. В большой избе, выкрашенной в сипий цвет, оказался временный овощной склад. Тася завернула туда.

А в это время Павел Степанович хлебал горячие щи со сметаной. Теща его, Глафира Тимофеевна, хлопотала в кухне и жаловалась на внуков, выглядывавших с печки из-за трубы.

— Со старшим, Пашенька, я уж не в силах совладать. Проворный больно и плут. Кол ему, значит, вкатили по письму, а он его резинкой цирк-цирк — и нету кола. А я спрашиваю, пошто дыра на тетрадке? А он говорит: «Клякса была». И в кого такой мошенник? У нас таких не бывало, и у вас вроде бы не примечалось. С младшим-то, Пашенька, тоже беда: он все поровит крутить у радева разные колесики. Оно как заревет, магушки мои! А то как в воду каплет и начнет разными голосами: и по-кошачьи, и по-всякому выть. Чисто леший на болоте. Лупила я уж его — неймегся. Как выйду, так он к радиве к этой, проклятой. Ты ешь, ешь, Пашенька, отощал вовсе. Шутка ли, эстоль не евши. Тебя тоже лупить бы, да некому.

Павел Степанович слушал Глафиру Тимофеевну, ел и тихошкo посмеивался. Теща наконец-то дождалась человека, который терпеливо слушал ее. Заодно она жаловалась и на жену, то есть на свою дочь:

— А та, потатчица, пег чтобы малых приструинить, сама зубы скалит. Ты уж, Пашенька, батюшко, побудь сегодня дома, натрудил поженьку-то увечную.

Голос у Глафиры Тимофеевны становился жалобным и пежным. Она очень любит жалеть людей. Павел Степанович морщился.

— Эй, ударники! Где вы там? А ну, слазь с печки отчет держать!

Сначала младший, Валерка, а за ним и старший, Афонька, медленно спускаются с печки и предстают перед отцом. У старшего до пупа разорвана рубаха. «Опять за голубыми по крышам лазал», — подумал Павел Степанович и спросил:

— Как же ты, Афонька, кол-то добыл?

— По письму.

— Да мне бабушка уж сообщила, что по письму. Год только пачался, а ты с колями являешься. Может, попро-

силь учительницу, чтобы она тебя обратно в первый класс перевела, не может, мол, слабак оказался.

— У-у, слабак! Если захочу, так...

— Значит, осталось только захотеть? Тогда не беда. Хотенье — это, брат, дело наживное. А ну, давай сюда тетрадки, посмотрим, что там у тебя.

Афонька потупился.

— Чего, совестно глазищам-то стало? Тащи, тащи давай дырявые тетрадки, — заворчала Глафира Тимофеевна.

— И притащу!

— И притащи! Ы-ы, лихорадка, зубастый какой. Вот с ним и совладай, с пролетарьей!

Афонька глянул на бабушку исподлобья и пошел за тетрадками. Глафира Тимофеевна принялась убирать со стола. Скрипнула дверь, и от порога послышалось:

— Здравствуйте. Где я могу увидеть бригадира?

Павел Степанович использовал каждую свободную минуту, чтобы дать отдохнуть культге, и при всяком удобном случае отгвизывал деревяшку. Сейчас он, опершись рукой о стол, привстал, начал глазами отыскивать деревяшку. Заметив это, Глафира Тимофеевна сказала:

— Да я сушить ее положила.

— Ну вот, подхвати! тебя не вовремя. Проходите, пожалуйста, проходите. Сейчас я ногу прилажу. Вы откуда будете?

— Я — новый агроном.

Павел Степанович быстро вскинул голову, внимательно и долго разглядывал Тасю, пристраивая в то же время деревяшку.

— Ну, здравствуйте, товарищ новый агроном! — Он ковыльнул ей навстречу. — К столу милости просим.

Букреев подождал, пока Тася снимет телогрейку, сам пристроил ее на вешалку и провел гостью в переднюю.

Здесь Павел Степанович заметил наконец, что теща скептически поджала губы и подозрительно наблюдает за ними.

— Мама! А ну, что у тебя есть в печи и в погребе — все подавай на стол! Вы уж располагайтесь сами, как дома. Мы гостям всегда рады, — обернулся он к Тасе и тут же распорядился: — Афонька, айда к Чащихе и скажи, чтобы она вместо меня там покомандовала!

Тася несколько оправилась от смущения и сказала:

— Вы знаете, в госпитале, где я работала, лежал сержант. Очень вы его напоминаете.

— Вы работали в госпитале? — быстро спросил Павел Степанович. А Глафира Тимофеевна всплеснула руками и затараторила:

— И-и, голубушка ты милая. Да куда пям тебя посадить, сердешную, и чем же тебя попотчевать за труды твои святые и тяжкие. Вои ведь каких выхаживала, — кивнула она головой на Букреева, — легко ли это?

— Не я, бабушка, таких спасала, а врачи.

— Знамо, не одна ты, знамо. А все-таки велик труд воскрешать людей, не всякому под силу.

— Мама! — напомнил ей Павел Степанович.

— Иду, Пашенька, бегу, милушка...

— Да вы напрасно беспокоитесь, я ничего не хочу, — смущенно запротестовала Тася. — Я просто пришла познаться с вами и с вашими делами.

— Вот и хорошо, что сразу в бригады пошли, правильно сделали. А от обеда отказываться нельзя. В нашей деревне обычай уральские: человек пришел — обогрей, накорми его. А обычай, как вам известно, уважать надо. — Павел Степанович чуть заметно улыбнулся, глядя на Тасю небольшими, цепкими глазами, — если они не дикие, конечно...

Минут через двадцать все сидели за столом. Откуда-то из подполья Глафира Тимофеевна выгащила бутылку настоек, которую, по ее словам, она хранила «на всякий случай» еще с Троицы. Она вытерла бутылку передником и с видом щедрого человека пристукнула ею по столу: знай, мол, наших!

Как Тася ни упиралась, ее все-таки заставили «пригубить» подрюмочки. Хотела Глафира Тимофеевна еще «приневолить» гостеньку, но Павел Степанович заступился, сказав, что человек находится при исполнении служебных обязанностей. Такой довод подействовал на старуху, и она унесла свою бутылку в подполье.

Разговор шел сам собой, без всяких понуждений. Тася чувствовала себя здесь просто. «И чего только в городе не болтали мне насчет того, что не найду общего языка с деревенскими жителями. Да до иного деревенского, как я погляжу, еще тянуться да и тянуться надо», — думала Тася, слушая Павла Степановича.

А он детально, с толком рассказывал ей о делах брига-

ды, о людях колхоза, о том, почему у них так плохо дело с уборкой овощей.

Несмотря на засушливое лето, бригада Букреева вырастила хороший урожай. Но людей на уборке очень мало. Председатель же, как всегда, надеется, что Букреев как-нибудь выкрутится, урожай уберет, а не уберет — с него спросить проще — он коммунист, поэтому Птахин и управляет людей, прибывших на уборку, в другие бригады.

— А правление куда же смотрит? — возмутилась Тася.

— Правление — это Птахин, его жена да заместитель председателя Карасев. Что они скажут — так и будет. Вокруг них кумовья, сваты, тести и зятя. Прикормились возле руководства, им не выгодно с начальством спорить. Осмолов, пастух наш, спорит, да один в поле не воин. Вы с пастухом нашим познакомились?

— Слышала о нем, но познакомиться еще не успела.

— Обязательно познакомьтесь. Умный старик. Да, нас Бог не обидел умными-то людьми. Разбрелись только они, махнули на все рукой.

— А вы, Павел Степанович, как с семьей живете? Пенсию получаете?

— Получаю, и приличную. На скромное житье моей семье хватило бы. Но я работаю не за один кусок хлеба.

Получилось это немножко громко, и Павел Степанович зарделся.

— Вот сказалу то же, как на собрании. Ну, что ж, товарищ агроном, — поднялся Павел Степанович, — пойдемте поглядим кое-что, а потом и на поле завернем.

Павел Степанович провел ее в переднюю комнату. Жена бригадира была любительница цветов: на окошках, на столе, на полу — всюду стояли горшки, ящики, банки с разнообразными цветами. На одном окне, между цветами, лежали горкой красные сморщенные помидоры.

— Вот, — взяв в руку один, сказал Павел Степанович, и в голосе послышались нотки гордости, — моя работа!

Тася с недоумением посмотрела на помидор. Особенного в нем ничего не было. Чем тут хвастаться?

— Обыкновенный, правда?

— Самый обыкновенный.

— Кому как. Рассада этого помидора нынешней весной выдержала шестиградусный заморозок.

— Да что вы? Шесть градусов?! Даже не верится.

— Эх, мать моя! Поволновался я из-за них. Да и не я один. Мне помогают, — Павел Степанович положил по-

мидор и достал с полочки, на которой рядками стояли книги, пачку писем. — из научно-исследовательского института. Там у них имеется специальная семеноводческая лаборатория. Они меня наставили на путь истинный. По их советам и принялся делать закалку семян. Когда заморозки начались, так в институте, кажется, еще больше меня переживали. Я им каждый день письма писал. И несколько помидор послал на разживу. — Павел Степанович махнул рукой и кинул письма на полку. — Опять расхвастался, рад свежему человеку. А хвалиться-то рано еще, мало кустов устояло в мороз. Однако сдвиги есть. В нашем колхозе да и во всем районе с помощью закали сейчас помидоры уже выдерживают четыре градуса, а иной им и вовсе нипочем.

Они отправились на поля. На завалинках под навесами домов, наохлившись, дремали куры и петух не хохорился, как в былые времена, а тоже сидел тихо и мирно. На дороге в протертых колях холодно поблескивала грязная вода. Во многих местах глубокие ржавые выбоины были завалены осклизлой ботвой и соломой. Березовые листья, плавающие в лужах, были похожи на старинные, потускневшие медяки. В поле, прихваченные первыми заморозками, темными тряпками повисли картофельные кусты. Только брюхатые капустные кочаны вольно развалились в темно-зеленой распахнутой одежде.

— Вот, — вздохнул Павел Степанович, — если так будем убирать, многое уйдет под снег. В прошлом году больше семи гектар картошки не выкопали, да и ту, что убрали, только считается — убрали. Половина осталась в земле, половину в овощехранилище заморозили. Весной на семена картошку занимали по всему району.

— А как у вас нынче с овощехранилищами?

— Нынче? — Павел Степанович прошел несколько шагов молча. — Нынче я плюнул на распоряжения нашего руководства и решил хранить картофель в бригадном овощехранилище. Будет мне за это.

— Почему?

— Велено свозить картофель, как и в прошлом году, в общеколхозное овощехранилище, а мы не решаемся. Как бы снова не зареветь весной.

Впереди, на картофельном поле, работали люди. Было их человек пятнадцать: ребяташки и женщины.

— Вот мои кадры, — проговорил Павел Степанович, — есть еще на свиноферме, на птицеферме и вон там, у

реки, морковь убирают человек десять. А когда-то народу было полно. Все потихошкы разъехались.

Тася невесело покачала головой и поздоровалась с женщинами, гревшими озябшие руки у огонька, разведенного на меже.

— Это паш новый агроном, — представил Букреев Тасю.

Женщины, особенно девчата-подростки, с любопытством уставились на нее.

— Выходит, председательшу-то турнули? — спросила женщина, обутая в глубокие шахтерские галоши.

— Да, убрали.

— Самого бы еще выдворить, — сказала другая колхозница, выкатывая печеную картошку из золы. — Это что же, Павел Степанович, опять овощ зимовать останется? Ходили, ходили, чуть не дышали па каждый кустик — и все замерзнет?

— Ничего, не волнуйтесь. Я утром сегодня по леспрохозовскому телефону звонил в райисполком и к шефам нашим. Обещали помочь. Завтра как раз воскресенье, нагрянет много народу. Картошку, свеклу, морковь помогут убрать. А капусту мы и сами как-нибудь вырубим.

— Дал бы Бог. Душа ноет, столь добра пропадет, — заговорили женщины разом уже повеселее.

— Нет, нынче прошлогодняя картина не повторится. Правительство постановление выпустило, подшевелило кой-кого. Будем просить, стучать, кричать. Неправда, добьемся своего.

— Ой, спасибо тебе, Павел Степанович, ты прямо как душеспаситель. Поговоришь, и вроде на сердце легче делается.

— А пу вас, — смутился бригадир и махнул рукой, — идите копайте. Воп, кажется, Карасев едет.

От леса, по дороге, разбрасывая комья грязи, быстро мчалась сытая и красивая лошадь, запряженная во франтоватую рессорную двуколку.

— Чисто представитель какой раскатывает, — мрачно обронил Павел Степанович.

Двуколка, поравнявшись, остановилась. Из нее, помахивая витым хлыстом, вылез упитанный мужчина со свежим лицом, на котором резко выделялся большой мясистый рот. Не здороваясь, он сказал Букрееву:

— Ты чего тут самоуправничаешь, а? Ты чего тут свои

порядки наводишь? Кто тебе разрешил подвал ремонтировать?

— Моя теща. Говорит, чтоб не получилось, как в прошлом году. Понадеешься на Карасева и сложишь зубы на полку, а весной караул будешь кричать без семян.

— Вон ты как?! Придется тебе, дорогой товарищ, на собрании отчет держать за разбазаривание трудовой и за самоуправство. Было постановление правления свозить картофель и овощи в колхозное овощехранилище?

Неожиданно для всех Букреев вспылал:

— Филькина грамота — это ваше постановление. Вы хранилище-то подготовили? Людей на вывозку дали? Хотите, чтобы я снова, как в прошлом году, ждал вас? Спасибо! На собрании вопрос поставят! Я сам думаю этот вопрос давно поставить. И поставлю. И посмотрю, какое выражение на лицах пачальства будет.

Видимо, много накипело на душе у бригадира. Карасев растерянно моргал, ошарашенный этой вспышкой всегда уравновешенного человека. Но он был не из таких, чтобы уступить.

— Та-ак. Хвост начал поднимать, — прищурился он на Букреева. — Услышал, наверное, что в райисполкоме повые люди появились? И они поддержат, так? Воин, бригадир, новатор! Помидорки на морозе вырастил, арбузы принялся садить... Как не поддержать такого? Авторитет! А про овощи забыл, да? Гляди, что у тебя в поле! Заморозишь — под суд пойдешь! Вот и весь сказ.

Павел Степанович уже успел овладеть собой и спокойно произнес:

— Слушай, уматывай ты отсюда. Бренчишь языком, как балалайкой. Судить людей у тебя еще нос не дорос. — И заковылял на своей деревяшке к огню, помахивая рукавом, выдернувшимся из-за пояса.

Женщины, сгрудившиеся вокруг двуколки, ругаясь и шумя, тоже стали расходиться. Осталась одна Тася. Карасев повернулся к ней. И выражение его лица, и взгляд как будто говорили: «Вот и поработай с такими вот... И руководи соответственно...» Возмущение, постепенно нараставшее в Тассе, внезапно прорвалось:

— Нечего сказать, распорядились! Задали трезвону! Да как у вас язык поворачивается кричать на такого человека? — Чувствуя, что в ней все дрожит от негодования и что сейчас она окончательно выйдет из себя, Тася повернулась, пошла следом за Букреевым.

— Это еще что за чин? — слышался ей вслед голос Карасева. — А-а, агрономша Голубева. Н-ну, подожди, поганка!

— Вот это руководитель! Вот это деятель! — негодовала Тася, догнав Павла Степановича.

Букреев сумрачным взглядом проводил двуколку Карасева и, словно продолжая начатый разговор, произнес:

— Крепко засел он в нашем колхозе. А нынче все! Он это чувствует, вот и шеборшит. Пусть пошеборшит, а потом копытами оземь стукнет — свалим.

Весь остаток дня Тася ходила по владениям бригады. Когда осмотрела конный двор, фермы, познакомилась со всеми работниками, призналась:

— Я ожидала увидеть худшее.

— За такой отзыв я вас, товарищ агроном, угощу собственноручно выращенными арбузами. Идемте, — полусутя сказал Букреев и уже серьезно добавил: — Было лучше. Я здесь с первого дня в колхозе-то. Капелька по капельке собирали добро, хозяйство ладили. Государству в кармап не залезали. Но недоглядели — и заскрипело хозяйство. Виноваты в этом не только наши липовые руководители. Но и мы. И я тоже. Вот он орет, глаза таращит, как налим, Карасев-то. А кто его сюда звал? Кто ему колхоз доверил? Мы. Начальство прислало, мы голосуем — и делу конец. Провернули мероприятие. И я тоже, видел ведь по морде, по ухваткам видел, что это за фрукт, но руку поднял. Безразличие какое-то, что ли, появилось, червяк этот, душеед...

— Вы наговариваете на себя.

— Наговариваю? Кабы не наговаривал! — Букреев замолчал, призадумался. Лицо сделалось грустным, у губ легли складки, которые еще больше оттеняли худобу ввалившихся щек. Потом он медленно заговорил и тихим своим голосом поведал о том, что не давало ему покоя, томило и тревожило.

Себя он винил во многих колхозных бедах. Избавился вот от обязанностей члена правления и окопался в своей бригаде. Нашлось немало таких, как он. Отошли в сторону от ответственности, позволили хапугам прибрать колхоз к рукам. Год от года меньше и меньше стали выдавать па трудодень хлеба и денег, а о таких вещах, как сено, мясо, мед и прочее, — даже и говорить перестали. Будто так и полагается: жить колхознику в деревне и покупать молоко для ребятешек. Не всегда так было. Пока

не пачалась война, колхозники «Уральского партизана» жили как полагается. Дома у них не валились, и никто не прятался за минимум, который очень удобен для лодырей. Двести трудодней — вот она, эта шаблонная цифра, одинаковая для старухи и для здорового мужчины. Выработал человек минимум трудодней и считает — он свое дело сделал, можно ехать на базар в горячую пору, работать на своем огороде. А на колхозных полях трудятся городские люди, зачастую ничего не разумеющие в сельском хозяйстве, а иной раз и равнодушные к тому, что им поручено делать.

Во время уборки овощей наезжает в колхозы много школьников, студентов, ремесленников. Народ веселый, любит работать с песнями, но обрывает только те картофелины, которые вытаскиваются па корнях. Нет того чтобы поглубже копнуть. Все, что есть в земле, их не интересует. Они поехали в колхоз на одно воскресенье, лишились законного выходного. Они возмущаются, глядя, как в это же время колхозники копаются на своих огородах или просто бездельничают, справляют именины.

— Вот взять вояк-фронтовиков, — говорил Павел Степанович. — Они ведь сначала горячо взялись за дело. А толку что? Человек ведь должен за что-то работать. Не одним воздухом он сыт. А тут, глядишь, была пара солдатского обмундирования и та развалилась. Помочь бы фронтовику на первых порах закрепиться в деревне, денег вырешить, дом подремонтировать, а кому и коровенку выделить, лишней раз лошадь дать на рынок съездить. Ведь пообносились, шибко пообносились мы за войну. Сплошь и рядом у нас и ребятишки, и бабы ходят в перешитых гимнастерках, и мужики еще в солдатском, в латаных галифе. В городе уж давно списали эту одежду, а у нас ходят. А ведь люди-то не слепые, видят. Воевал, к примеру, я вместе с Вапкой Зарубиным. Он вернулся, на завод устроился. Сначала чернорабочим, а сейчас уже машинист крана, мостового. Я как-то зашел к нему, гляжу: у него и радиола, и ребятишки в папачках, и жена в шелковом платье, в театры хоть не часто, да ходят. Почему? Может, он больше меня работает? Может, ума у него больше, сноровки?

Букреев вдруг замолк и, помолчав, сказал:

— Я про себя вот так думаю: если мы народ не соберем в кучу, не заинтересуем его трудоднями, не создадим

ему возможностей жить по-человечески — пропадут такие колхозы, как наш, уйдут из него люди, вовсе уйдут.

Павел Степанович с трудом выдергивал деревяшку из грязи и начал сильно припадать на увечную ногу.

— Хватит, Павел Степанович, со мной прогуливаться, идите домой, вам надо отдохнуть, — осторожно предложила Тася.

— Я привычен, — махнул рукой Павел Степанович. — Значит, у нас в бригаде, говоришь, еще терпимо?

— По-моему, вы приbedняeтeсь. Скоро вот новые машины будут созданы и для наших гористых мест. — Тася поймала себя на том, что уже колхозные поля называет нашими. Отметил это про себя и Букреев.

— Да кабы дело в одной моей бригаде было — это бы поправили, — сказал он. — За все душа болит, за все. В умиление приходили наши большие и маленькие начальники от успехов передовых колхозов, упивались. Их на показ вытаскивали. Я вот был с делегацией передовиков в знаменитом колхозе в Кировской области. Что тебе сказать? Там почти коммунизм. Труд культурный, отдых — тоже. Есть свой санаторий, Дворец культуры, гостиница, столовые, баня похлеще городской и все такое. Женщины даже обед дома не готовят, огородов своих и в помине нет. Песня, не жизнь! Там одних экскурсантов, может, сотни каждый день бывает, а что писателей, артистов наезжает — и не перечесть. Однако я человек любопытный и по дороге на станцию попросил завезти нас в другие колхозы. И что вы думаете? Я там увидел заколоченные избы, а с тех, что не заколочены, солома скоту скормлена. — Павел Степанович сердито сдернул фуражку, хлопнул по деревяшке и, сворачивая в проулок, закончил:

— Вот и смотри. Земля одна и та же, а работают и живут по-разному. Можно, значит, своими руками поднять колхоз. Ведь такие же люди это сделали, как и мы с тобой. Только хозяин нужен. Чтобы каждый себя чувствовал хозяином. А мы?..

— Вам хорошо, Павел Степанович, вы знаете, что и как делать. А вот с чего начинать мне? — неожиданно высказала Тася мучившие ее мысли. Она нагнулась, сорвала прихваченную ином кисть пырея и принялась тереть ее, соря семенами. — Сложно здесь все! Мне представлялось проще.

— Э-э, товарищ агроном, я, кажется, вас запугал, — засмеялся Павел Степанович и, прикуривая, спросил: —

А может, Карасев холоду напустил? Погодите горевать. Мы еще поработаем. — И он легонько похлопал единственной рукой по ее намокшему рукаву.

В избах зажигали огни, и свет тускло пробивался сквозь сырой, тягучий мрак. На улице фыркнула лошадь, таща телегу с картофелем. В дальнем конце Дымной, у пруда, лаяли собаки. Сверху из темноты сыпала мелкая пыльца. Сколь ни гляди вокруг, ничего не увидишь, только звуки, приглушенные дождем, доносятся до слуха, и по ним можно угадать, что деревенская жизнь только замерла, притаилась до поры до времени. Ненастье бывает затяжное, но оно все равно сменяется ведром. Это уж так. Это было и будет.

На острове покосы. Павел Степанович собрался плыть туда, проверить, не разломал ли скот изгороди возле стогов. На острове располагалась четвертая бригада. И если коровы колхозников заберутся в остожья, хозяйки могут сделать вид, что и не заметили этого.

Хозяйки эти вообще народ дотошный — из ничего делают чего. Держат коров, свиней, кур, некоторые — коз. Заберутся козы на колхозную капусту, они часа два их оттуда прогоняют; такие у них козы непослушные, такие прыткие. Капусту колхозную любят до страсти. Все вилки на поле погрызли, а вот в своих огородах ничего, все цело. Козы тоже понимают, где капуста слаще.

Коровы же толкутся осенью у стогов колхозных, обдергивают их, сено топчут. Не поставишь же у каждого стога сторожа. Коровы это понимают и пользуются, несознательные.

А куры — те глупее, те лезут куда попало, особенно к вейлкам. Клюют зерно, проклятые. Особенно нравится им семенное зерно. Глупая вроде птица, а тоже знает, что сытнее.

Интересная скотина пошла, непослушная, никакого сладу с ней нет. Вот и рвут они колхозное добро, где сена клоч, где капусты вилок, а где и зернышко, а хозяйкам доходишко от этого какой ни на есть. Хозяйки своему скоту не чужие, хозяйки шибко дотошные.

Тася слушала о хозяйках с грустной улыбкой и, проведив Букреева, шла на леспромхозовский склад и все думала об этих хозяйках, думала и сокрушенно покачивала головой.

Склад ниже по реке, километрах в двух от Дымной. Здесь заканчивался остров и в устье протоки резко шу-

мел перекат. Вдоль берега высились штабеля леса. На узкоколейной дороге, что подходила к самой реке, стояли платформочки с лесом. Автокраны быстро их разгружали. Где-то в лесу голосисто покрикивал паровозик.

Тася дозвонилась до МТС, попросила к телефону Чудинова.

— Слушаю, — спокойно откликнулся Чудинов и с кем-то заговорил там вполголоса. Тася медлила, и Чудинов уже нетерпеливо повторил: — Ну, слушаю, кто там? Чудинов у телефона.

Узнав голос Таси, он сначала что-то промычал, потом прокашлялся и с готовностью заговорил:

— Да, да, я слушаю. Что вы хотели?

Тася как можно спокойнее объяснила ему положение в третьей бригаде и попросила прислать на выходной день если не два, то хотя бы один трактор с картофелекопалкой, так как ожидается приезд большой группы людей и нужно поднагнать на уборку картошки, иначе замерзнет.

Чудинов на секунду задумался.

— Один трактор мы пришлем обязательно, — через минуту сказал он, — а второго пока обещать не могу, посоветуемся, подумаем и, если сумеем выкроить, обязательно пришлем. Пусть Букреев сильно не убивается. На днях загоним к нему еще два трактора. Картошку уберем обязательно. Я, откровенно говоря, думал, что у него дела с уборкой обстоят лучше. Меня насчет его бригады успокоили колхозные начальники.

— Напрасно вы их послушали, это брехня.

— Разберемся. А вы как, осваиваетесь, вижу, за дело беретесь? Позванивайте сюда из других бригад, информируйте о ходе уборки. — Чудинов старался говорить просто, как всегда, но получалось у него как-то все неестественно, полуофициально.

Тася поспешила закончить разговор, повесила трубку.

Несколько минут она стояла неподвижно, безжизненно опустив руки. Потом побрела в деревню, думая о том, что вот так все время придется играть в прятки, обманывать себя и окружающих, быть взаимно вежливой. Остается одно средство — избегать Чудинова, как можно реже встречаться и разговаривать с ним.

Однако Тася отлично сознавала, что избегать Чудинова будет трудно. Работа есть работа.

Так размышляла Тася, шагая к Дымной. Было тоскливо брести по безлюдной деревенской улице. Почему-то

Тасе вспомнился тракторист Лихачев с темными и печальными глазами. Захотелось увидеть его и поговорить.

В тот раз, на поле, разговор получился мимолетный, бестолковый какой-то и она почти ничего толком не узнала о трактористе.

Ему, возможно, тоже одиноко в этот вечер? Но тут же Тася забыла о Лихачеве. Слишком уж много мыслей нахлынуло на нее. Мыслей о будущем житье, о работе.

А кругом шуршал и шуршал дождь. Хоть бы к утру перестал. Истомил он уже и землю, и людей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Рано утром Букреев с Тасей позавтракали и отправились на поля. Дождь ночью действительно перестал, и ударил небольшой заморозок. Тася, утянув голову в плечи, поеживалась. Вчера они очень поздно легли спать — проговорили почти до двух часов. Тася не выспалась. Вид у нее был вялый. А Павел Степанович выглядел бодро. Он, очевидно, уже привык спать по два-три часа в сутки. Еще более прибодрился бригадир, когда из МТС пришли два трактора с картофелекопалками.

— Теперь дело за народом, — довольно потирая рукой щеку, проговорил он и тут же сделался мрачным. — Будь вот свои люди — и сразу дело пошло бы, а то жди, гадай: приедут или нет? И приедут, так мороки с ними целый воз. Значит, ты мне, Петровна, сегодня поможешь. Я, пожалуй, тебя отправлю с нашими, а сам с приезжими останусь.

— Может быть, надо встретить людей?

— На этот счет мне беспокоиться не приходится. Наш председатель обычно сам встречает и распределяет приезжих по полям, — усмехнулся Букреев и, приложив руку козырьком к глазам, посмотрел в сторону Корзиновки.

— Сам? Странно. Он что, бригадирам не доверяет?

— Кто его знает?! У него, видишь ли, политика своего рода. Целую неделю не показывается на полях, зудит по телефону в райком: жалуется, ноет, людей выпрашивает, а потом сам их встретит, всячески выкорит тем, что мы, мол, тут за всех ковыряемся, ну и городские-то со злом работают. Знай подводы подавай. Словом, хитрит. И до того дохитрился, что садить и убирать овощи стали в ос-

новном люди приезжие, а в колхозе народу — пшик один остался. И собаки его знают, где он набрался этой мудрости, из каких таких отраслей науки? Да я уж тебе говорил обо всем этом и снова принялся. Большое-то место, как ни остерегайся, все равно заденешь. Так вот, Петровна, ты, значит, валяй с одним трактором и прямо от реки начинайте заезжать. Там картошка добрая и се убирать лучше своими силами. Глядишь, с нашими работницами ближе сойдешься.

Тася начала понимать, почему так настойчиво бригадир отправляет ее работать с колхозниками, хотя она выразила желание поработать с приезжими. Она благодарно посмотрела на бригадира и заторопилась:

— Так я побежала, Павел Степанович!

— Про себя не забывай!

— Ничего. Мы картошки напечем, — уже на ходу отозвалась Тася. Она вынула руки из карманов, приподняла шаль со лба, чтобы выглядеть бодрой. Как-никак ей сегодня нужно будет руководить людьми, руководить впервые. Это что-нибудь да значило!

За рекой лениво вставало солнце. Кругом начипало парить, и диск солнца проглядывал сквозь пелену тумана тусклым пятном.

День обещал быть погожим. Впрочем, осенью угадать погоду очень трудно. Она может измениться несколько раз в течение дня.

«Необходимо сегодня убрать как можно больше, теперь уж трудно рассчитывать на добрую погоду». — Тася бежала, перепрыгивая через лужи, замерзшие по краям.

Птахин приехал в Дымную с первой машиной. Он выскочил из кабины прямо в грязь и подал руку Букрееву:

— Здорово живем, бригадир!

— Здравствуй, председатель!

— Вот привез к тебе на прорыв металлургов, — кивнул он головой на машину, где тесно сидели мужчины и женщины. — Пусть поклоняются родной земле, вспомнят, как она пахнет, забыли, наверное.

— Мы не забыли, — ворчали приезжие, соскакивая с машины. — Вот вы тут, пожалуй, забудете вовсе, как картошку копают. Зато на базаре мастера торговать, втридорога с нас драть.

— Сдерешь с вас! — огрызнулся председатель. — Вы в магазин явитесь: подай вам горбушку, и никаких гвоздей. А в колхозе раз в неделю появитесь и то шумите: «Ох,

тяжело! Ох, мокро! Ох, пропади она пропадом!» Небось не в Питерах выросли, а из деревни умотали. А у меня народу раз-два — и обчелся, потрудитесь с ним, соберите хороший урожай.

— Плохо руководишь, вот и разбежались люди. От добра добра не ищут, из путных колхозов не уезжают. А нас ты не кори. Мы свое дело делаем — первосортную сталь даем.

— И мы свое делаем, как умеем.

— То-то что не умеете.

— Поменяемся! Я к мартену пойду, а вы сюда!

— Жарко там, начальник, а ты с прохладцей работать привык.

Птахин хлебнул воздух, не зная, что ответить, щеки его порозовели.

— Брось комедию представлять, — тихо сказал председателю Букреев и добавил: — Распределять надо людей на работу, время идет.

— Вот правильно, Павел Степанович, давно за дело пора, — сказала пожилая женщина в клетчатом платке...

— А этого не переслушаешь, — взглянула она на Птахина, — он уж совсем отвык без горла обходиться. Каркает, каркает, как ворона перед непогодой, и думает, что людям приятно слушать его.

— Мастера критиковать-то, — зло отозвался Птахин. — Увидим, каковы на деле.

— Не беспокойся! Metallурги не подкачают, они привыкли живо работать.

— Погляжу.

— Вот-вот, глядеть-то ты и годен только. Погодите, Иван Андреевич сгонит с вас дремоту.

— Какой еще Иван Андреевич?

— Улапов. Наш парторг. Его секретарем по зоне эмтэ-эс назначили. Скоро познакомитесь!

В это время с другой стороны деревни подошла еще машина с людьми. На ней было шумно и весело. Вместе со всеми пел и пытался дирижировать одной рукой директор леспромхоза, белобрысый и удивительно подвижный человек с узенькими лукавыми глазками. Он легко, как мячик, прыгнул через борт машины на дорогу, поздоровался со всеми и потребовал:

— Фронт работы моим лесорубам обеспечить!

— Да хоть три фронта, милый человек! — весело отозвался Павел Степанович.

Птахин сумрачно стоял в стороне. Потоптавшись для порядка, приказал:

— Ну, ты тут, Букреев, жми, чтобы сегодня картошку выкопали. А я пошел к Разумееву.

— Давай иди, — облегченно выдохнул Букреев и начал распределять людей по полям.

С леспромхозовскими он послал высокую и сердитую старуху Чащиху в качестве своего заместителя. Директор леспромхоза любезно подхватил ее под руку и, что-то живо наговаривая, пошел впереди рабочих в поле. К удивлению Павла Степановича, Чащиха не выдернула у директора руку, а шагала рядом и сквозь смех наговаривала:

— Ох, леший! Не одной же девке ты смолоду мозги вывихнул.

Птахин не пошел к Разумееву, овощеводу из шестой бригады. Он вышел на берег протоки.

Совсем недалеко от него тарахтел трактор. Он полз от реки на косогор, оставляя за собой переворошенную землю, на которой выводками и вразброс валялись картофелины. Следом за трактором шагали женщины с ведрами, корзинами и лопатами. Они то и дело сворачивали на межу, опрокидывали ведра. Куча картофеля росла.

До Птахины донеслась песня. Он удивился. Давно люди не работали с песнями, тем более осенью. Весной — другое дело. Песня была старая, здешняя, про разлюбленную девушку, которая уезжает в далекие края, не вынеся душевных мук.

Вот тронулся поезд
В далекую сторонку,
Кондуктор, нажми на тормоза!
С последним поклоном
Я маменьке родной
Хочу показаться на глаза...

Вместе со всеми пела и Тася. Слов она не знала, но к мелодии быстро привыкла и подтягивала. Птахин заметил ее, заметил, что она поет. «Пожалуй, сойдется со здешними, гляди, работой не пренебрегает, не то, что моя преподавательница супруга. А может быть, для вида, приспособиться к людям охота, в доверие втереться?»

Птахин поймал себя на том, что он обо всех стал думать как-то нехорошо, с желчью. Вот совершенно новый человек, ничего ему худого не сделал, а он уж поносит его про себя. «И что это случилось с тобой, Зиновий Констан-

тинович, чего ты злишься и зло ехидством да чванством прикрываешь?» — невесело подумал он.

Был колхоз «Уральский партизан» средним в районе. Люди захотели, чтобы он стал первым, выбрали председателем Птахина — агронома. С его помощью колхоз сделался худшим. На словах, в отчетах председатель может придумать множество причин, свалить вину на кого угодно, а себя-то не обманешь. Не сумел быть председателем, плохим оказался хозяином. Надо было вовремя признаться — не сделал этого, теперь казись.

Может быть, поступил бы Птахин честно, ушел бы обратно в агрономы, загладил бы свою вину перед колхозниками, по «опекуны» из райсельхозотдела не давали ему об этом даже и заикнуться.

Хлопотное дело — менять председателя в полуразваленном колхозе. Надо подбирать в такое хозяйство человека крепкого и с образованием. А ну как из обкома дадут указание: «Вот вы, уважаемый начальник райсельхозотдела Матанин, и принимайте «Партизана». Развалить хозяйство сумели, сумеете его и на ноги поставить».

Матанин из молодых, а ранний. Уберечь себя от лишних беспокойств умеет. Ветер только в обкомовском скверике тополя зашевелит, а он уже здесь, в районе, этот шорох слышит. С таким нюхом человек сумел за несколько лет добраться до поста второго секретаря райкома.

После сентябрьского Пленума Матанин стал частенько наведываться в колхозы, околачиваться днями в МТС, распоряжаться, показывать. По слухам, на него были возложены обязанности секретаря райкома по зоне МТС. Он скромно уклонялся от разговоров на эту тему, присматривался, слегка шумел и, видимо, окончательно убедился, что должность зонального секретаря ничего доброго не сулит. Результат его глубокой разведки палицо. Секретарем по зоне МТС избран парторг мартеновского цеха Уланов, который, по всей вероятности, хлеб видел в основном печеный, а картошку вареную.

Злило Птахина, что люди, повинные в отставании сельского хозяйства, занимавшиеся болтовней, потихоньку увиливают от ответственности, предпочитают оставаться в тени. В глубине души Птахин был доволен, что вместо разных Матаниных появятся другие люди. Они по-иному будут работать, перетрясут все — новая метла чисто метет. Вполне может быть, что и его выметут.

«Да и черт с ними. Скорее бы уж!» — думал председа-

тель, с остервенением жуя погасшую папироску. И тут же в нем заговорило противоречивое чувство: «Рад избавиться! Нагадил и в сторону, как Матанин. Пусть, мол, другие вяпаются да уберут. Совесть-то есть еще или нет?»

Видно, совесть у Птахина еще была. Он чуть не полдня просидел на стволе старого осокоря, и от тревожных дум осунулось его лицо, начали нервно подрагивать веки над тоскливыми глазами.

На следующий день Тася перекочевала в четвертую бригаду. Павел Степанович переправил ее в лодке через протоку на остров. Погода была не дождливая, но промозгая, сырость брала до самых костей. Тася сидела на скамейке посредине лодки, куталась в большой дождевик, который на нее почти насильно надела сердобольная Глафира Тимофеевна. Ворчливая и мягкосердечная старуха долго не отпускала ее, лишь только ссылками на петлужные дела в других бригадах Тася и Павел Степанович воздействовали на нее. В карманы плаща Глафиры Тимофеевны натолкала капустных широгов, вареных яиц. Провожала она Тасю до самого берега, что-то по привычке наказывала ей, и, когда лодка отчалила, долго стояла, пригорюнившись, на берегу.

Тасю до глубины души растрогала неподдельная, чистосердечная ласка Глафиры Тимофеевны. Старушка пыталась хоть в малой доле отблагодарить за спасение от верной смерти любимого зятя всех сряду, кто хоть какое-нибудь отношение имел к госпиталю. Она, как старая мать, лучше других знала, что родить человека — святое дело, а вернуть его к жизни — величайший подвиг.

По обмелевшей за лето протоке густо плыла пена — верный признак затяжного ненастья. Стояла тишина, плотная, тяжелая. Шест, которым ловко орудовал, хотя и одной рукой, Павел Степанович, лязгал кованым наконечником о камни. Дальний лес и горы закрывал серый мрак. В воду роняли свои продолговатые листья прибрежные тальники. Птичьих голосов не слышалось.

Перелетные птицы уже миновали Урал, а те, что остались зимовать, сидели где-то в сухих местах, дремали чутко, затянув глаза тонкими пленками. Покой нарушался только однообразным треском высоковольтной линии. Костлявые опоры шагали через старицу на остров, через заречную деревню по прямой широкой просеке к городу.

Разговаривать не было желания. Плыли молча. Когда лодка ткнулась в берег, Тася нехотя поднялась.

— Вот мы и прибыли, — с трудом сдерживая зевок, сказала она. — Ты, Павел Степанович, не провожай меня, я сама тут все сыщу.

Букреев оттолкнул лодку, отплыл на некоторое расстояние и, приподняв шест, крикнул:

— Так ты посмекай насчет расширения овощных полей на острове...

— Плыви, плыви, Павел Степанович, я все помню! — откликнулась Тася и начала пробираться сквозь придорожные заросли к полям четвертой бригады.

С кустов тальника и черемушника на Тасю посыпались капли воды. Дождевик намок и задубел. Тася приподняла полы дождевика, чтобы легче было идти. С протоки доносилось размеренное пощелкивание шеста о каменное дно.

«Вот и еще одного хорошего человека встретила, — прислушиваясь к замирающему стуку шеста, подумала Тася. — И одного ли?»

Тасе вспомнилось, как она вчера шла по полю с ведром, собирая картофель. Приходилось часто кланяться. Уже к обеду начала отпиматься поясница. Но она изо всех сил старалась, чтобы ее усталости не заметили женщины и девушки. И напрасно старалась.

Женщины сначала убирали картофель молча, сердитые оттого, что недоспали. Они с нескрываемой иронией поглядывали на городскую дамочку, прытко бегавшую по полю с ведром. Но вот солнце поднялось выше, обогрело немножко. Колхозницы спяли с себя лишнюю одежду, рукам сделалось теплей, начались разговоры, а затем и песни.

Прошел час, второй, третий. И вот уже у приезжей дамочки руки по локоть в земле и под носом вымазано. И волосы она убирает, как все, тыльной стороной руки, и вовсе не гордая она.

В полдень обедали на меже. Выкатывали из золы картошку, мяли ее на жухлой траве и, обжигаясь, уписывали за обе щеки.

Тася покраснелась у огня. Картошка с солью казалась ей очень вкусной. Правда, Тася не догадалась прихватить с собой хлеба. Одна из колхозниц разломилла пополам свою горбушку и, положив кусок рядом с Тасей, грубовато сказала:

— С хлебом ешьте печенки, иначе тошнить будет.

Девушка в мужицкой кожаной шапке потянула Тасю за рукав и поставила рядом с ней бутылку.

— Давайте вместе припивать молоком, — зардевшись, предложила она. И Тася поняла, что дымновские женщины принимают ее за своего человека, иначе они никогда не стали бы пить молоко с ней из одной посуды...

После обеда она уже совсем освоилась: шутила, смеялась. Женщины покрикивали на нее:

— Да ты не больно прыгай. Знаем ведь, какво с непривычки. Спина не своя будет.

Поясница действительно побаливала. Но что это могло значить в сравнении с необычным подъемом, который охватил Тасю после вчерашнего дня. Да, вчера она окончательно поняла: место ее здесь, среди этих суровых, но простых и добрых людей. С такими можно сработать, а их в деревне большинство. Надо отшвырнуть в сторону все эти так называемые сердечные муки, Чудинова этого, всю эту историю. Ничто не должно заслонять собой главное — ту дорогу, по которой она идет. Сильнее всех страдают бездельники.

Вдруг из-под ноги Таси что-то метнулось. Она вскрикнула и бросилась в сторону. А через секунду уже смеялась, провожая взглядом зайца. Шкурка у него уже почти вся белая. Спит он крепко, вот и подпустил человека так близко. Долго еще белое пятно мелькало среди кустов. Видно, снова залег под колодину косой. Залег и не дышит, думая, должно быть, о том, суждено ему дожить в такой заметной шубе до снега или нет.

— Доживем, длинноухий, доживем обязательно до снега. И до весны доживем! — прошептала Тася, прибавляя шаг.

На ходу она сломала ивовый прут и, как мальчишка, сшибала им последние листочки с кустов. Дорога вывела ее на широкую поляну. Среди поля стоял огороженный жердями стог сена.

Под ногами у Таси похрустывала густая щетина отавы. Даже при беглом взгляде было видно, что поле это когда-то пахали, а потом его превратили в покос. «Половину земельных угодий на острове запустили. А это самые лучшие земли в нашем колхозе. На них нужно прежде всего ориентироваться при планировании будущих посадок овощей», — вспомнила Тася слова Букреева и обошла поле кругом.

Возвышаясь над кустарниками, дальше виднелся еще стог сена, за ним еще и еще. Словно сказочные избушки без окон и дверей возникли и утвердились на острове. Стоят они среди полян сиротливо, полные пряных запахов и затаившегося шума. Только изредка посетит остожье коршуна или ворона. Посидят молчком на вершине, подумают о чем-то своем, почистят клюв о жердь и улетят куда хочется.

Часа через два добралась Тася и до овощных полей четвертой бригады. Поля были пустынные и унылы. Сиротливо торчали из земли капустные кочерыжки, где с одним листом, где с двумя. То там, то тут среди поля возвышались кучи из тугих капустных вилок. Дальше виднелись кучи пониже, кое-как забросанные картофельной ботвой или соломой. Возле одной кучи стояла лошадь с телегой. Несколько жещин грузили лопатами картофель в ящик, который стоял на телеге. Одна жещина о чем-то рассказывала, и остальные громко смеялись. Тася поздоровалась.

— Здравствуйте, коль не шутите, — отозвалась за всех жещина, которая рассказывала что-то веселое.

Тася спросила, где бригадир.

Жещины начали спрашивать, зачем он ей понадобился.

Пришлось объяснить. Жещины искренне удивились, что новый агроном уже добрался до них. Обступили, стали спрашивать: откуда прибыла, здешняя ли? Задавали немало вопросов, интересных с женской точки зрения. Они объявили, что бригадир у них болеет, а замещает его молодой паренек, Осип Ральников. Паренек обходительный, по дошлый и настойчивый до невозможности.

Жещины на острове оказались болтливой, чем в Дымной. Позднее Тася и причину тому отыскала. На острове всего восемь домов. Колхозники живут одной семьей, отлично знают друг друга. Посторонние заглядывают сюда редко. Вот и рады жещины с острова поговорить со свежим человеком. А мужиков тут почти нет.

Как потом выяснилось, и жили «островитяне» зажиточней других колхозников. Не потому, что они работали лучше. Были они дружны, умели попользоваться без шума колхозным добром.

Бригадиром здесь много лет бессменно работала Федосья Ральникова — жещина крепкая, работающая, но и хитровая. Вырастив без мужа троих детей и «опреде-

лив» их, она младшего, Осипа, оставила при себе. Когда Осип полностью вошел в курс бригадных дел, Федосья все чаще и чаще стала «болеть». Она сделалась большой любительницей погулять, попеть, и отсюда все ее «болезни». Она, по ее выражению, свое сделала, ребят подняла и имела полное право на отдых. Почти все соседки называли ее кумой, называли не напрасно. В редком доме у Федосьи не было крестников.

Тася нашла Осипа в теплице. Там он мастерил водопровод. Осип — семнадцатилетний застенчивый парень. У него румяное и чуть рябоватое лицо. С виду неуклюж, из одежки заметно вырос. Рукава пиджака ему чуть не по локоть, верхние пуговицы у рубашки не застегнуты, брюки узенькими трубочками спускаются в голенища сапог. Но у него удивительно проворные и ловкие руки, глаза умные, но какие-то отсутствующие. «Определенно, этого парня в младших классах называли девчонкой, а в старших — профессором кислых щей», — подумала Тася, здороваясь за руку со смутившимся парнем.

Не надо было обладать проницательностью, чтобы догадаться, с чего начинать разговор. Тася сразу спросила Осипа насчет водопровода: как он устроен и откуда пойдет вода? Обстоятельно, с увлечением Осип рассказывал о своей работе, которую он, как потом Тася выяснила, делал из любви к мастерству, без всякого расчета на оплату.

Выяснилось, что Осип выполняет множество других работ, абсолютно не интересуясь, начислит ему мать за это трудовые или нет. Заботами Осипа давно уже держится небольшая теплица, введена механизация на свиноферме и в коровнике. Кроме того, каждую зиму все свободное время Осип убивает на ремонт и остекление парниковых рам. Это был тот парень-универсал, которому все интересно и которому все хочется знать, сделать своими руками.

«Нет, не на острове надо жить этому паренюку. Ему простор нужен и учиться необходимо», — решила про себя Тася. Точно подслушав ее мысли, Осип со вздохом заявил:

— Не нравится мне здесь. Мне учиться хотелось. Я бы все равно сюда же вернулся после учебы. — Он надолго замолк и опустил глаза. А Тася напряженно соображала: «Будет здорово, если вот такой парень попадет в штат МТС. Для начала хотя бы на должность ученика механи-

затора. Такой быстро выучится. Говорят, что в МТС есть человек, обязанный заниматься артельной механизацией, но он пьянствует и в колхозы глаз не показывает». Тася поглядела на Осипа, подумала еще и заговорила:

— А что, если тебе, Осип, попробовать в эмтээс поступить? Ты бы смог без отрыва от производства в институте учиться.

— Думал я об этом, да знаю, что мать взбеленится. «Для того, что ли, я вас выкормила, чтобы на старости одинокие годы мыкать?» Вот чего она говорит все время.

— Есть должность в эмтээс — разъездной механик. — Тася нарочно употребила это слово, более звучное, вместо неопределенного «механизатор». — Он может жить у себя дома, но разъезжать по колхозам, что там нужно — отремонтировать, установить, наладить.

Глаза у Осипа загорелись. Он схватил Тасю за руку и тут же, опомнившись, отдернул руку.

— Поговорите с мамой, а? Поговорите. Вас она послушает. Я бы вот все делал, хорошо бы делал, на совесть.

— Обязательно поговорю. А сейчас вот что, Осип. Не сможешь ли ты часиков на несколько отлучиться в Корзиповку и наладить механизмы в свиарнике? Главное — насос пустить, но у него нет ремня.

— Это мы запросто, — успокоил ее Осип. — У меня есть кусок пожарного рукава, пока его поставлю, а потом, глядишь, и ремень добудем. Только вы поговорите с мамой, Таисья Петровна. Скучно мне здесь, спасу нет. — Он помялся и выложил ей все, что камнем лежало на душе: — Брагу тут пьют, не пьют, а хлещут, можно сказать. Мать женить меня хочет, чтобы к себе привязать, а я комсомолец, привык к коллективу в школе, а здесь же все один.

«Как-то у меня там Сережка один? — озабоченно подумала Тася. — Устроили его ребята в школу, как обещали, или нет? Сумеет ли он догнать остальных учеников? Сумеет. Он уже бойко читает и пишет, научили в детском саду. Только он парень бедовый, трудно учительнице будет. Как вернусь в деревню, обязательно в школу схожу».

Она отправила с Осипом записку, в которой наказывала Сереже не шалить, а ребят Макарихиных просила следить за ним лучше и одергивать при случае.

Разговор с Федосьей Ральниковой закончился не скоро. Федосья себе на уме, поддакивает, соглашается, а сама свою линию гнет.

— Боюсь я отпустить от себя младшего, боюсь. Смирный он у меня, доверчивый. Обойдут его без меня, окрутят.

Легли спать поздно вечером, переговорили о многом, а вопрос об Осипе так и не решили. Парень вернулся из Корзиновки, послушал, послушал и сумрачный залез на печь. Долго ворочался, вздыхал он там. Федосья не выдержала и среди ночи сердито закричала из другой комнаты:

— Перестань кряхтеть, как домовой. Пойдешь завтра куда надо. Эк тебе мать-то надоела. Враг она тебе, враг?! — Федосья всхлипнула и высморкалась.

Осип обрадовался, затих. Утром он проводил Тасю в шестую бригаду, а сам с ее запиской убежал в МТС к главному механику.

В шестой бригаде агронома встретили неприветливо. Бригадир — бывший председатель, человек ущемленный и потому злой на всякое начальство. Особенно на то начальство, которое докучает расспросами и пытается что-то советовать или, еще тошнее того, берется приказывать.

Первая стычка у Таси была с овощеводом шестой бригады Разумеевым. Она осмотрела подвал, куда ссыпали картофель, и от негодования у нее дух запылся. Сруб подвала сгнил, во многих местах обвалился, сверху протекало. Сушеки были отгорожены на скорую руку. В дальнем углу подвала лежала куча прошлогоднего картофеля с болезненно-бледными ростками, папоминающими водоросли. Ссыпать сюда картофель можно было только на гибель. Тася остановила женщин, таскавших неотсортированный картофель, мокрый и грязный.

— Товарищи, что вы делаете? Здесь картошка замерзнет. Здесь она не сохранится.

— Пропадет, — подтвердили женщины и, опрокинув носилки с картофелем, пошли из подвала. Тася догнала их, стала сбивчиво убеждать в том, что этот труд бессмысленный и даже вредный.

Возле телеги столпились другие женщины. Слушали, слушали, и одна сочувственно сказала:

— Шли бы вы, милая бабонька, к начальству да ему бы все эти речи обсказывали. А мы что, люди малые...

Тася хотела сказать, что все в их руках, они хозяева и могут добиться чего захотят, но присмотрелась к унылым, равнодушным лицам колхозниц и поняла: ее разговоры — пустые разговоры. Обескураженная равнодушием колхозниц, она шла и от бессилия кусала губы.

Разумеев — высокий, костлявый мужчина с огромной сигаркой во рту, выслушав ее, согласно покачал головой.

— Безобразия, конечно. Я бы сказал, даже головотяпство. Однако яму ремонтировать некому да и средств не выделяют.

— При желании все можно сделать.

Разумеев смерил ее насмешливым взглядом:

— Вот ежели имеете желание, возьмитесь отремонтируйте, а нам покудова недосуг. — Он выплюнул сигарку в лужу и пошел от Таси прочь, покачиваясь из стороны в сторону, будто под той и другой ногой у него прогибались доски.

Тася догнала его и сказала, что она запрещает засыпку картофеля. Разумеев подумал и согласился:

— Ладно, я баб отпущу. Только отвечать за это вы будете.

— Хорошо, отвечу.

После этого она схватилась с бригадиром. Если до сих пор все, кого она встречала в шестой бригаде, говорили с ней вяло, нехотя, то бригадир кричал, бесновался, бегал по избе:

— Много вас тут указчиков! Поработали бы, не послали бы... — И все в таком роде. Слушать его было не интересно.

— Почему вы не возите картофель в Корзиновку? Ведь было же решение правления? — Перебила она визгливого бригадира.

— Какое постановление? Пятый год постанавливают подвал отремонтировать, да до сих пор ремонтируют. Нам велено здесь засыпать, вот и засыпаем. Начальства много, ему видней.

«Любопытню, почему же тогда они так пристают к Павлу Степановичу? У него овощехранилища подготовлены, и ему приказывают возить картофель, а здесь все развально и велют засыпать? — недоумевала Тася. — Надо будет завтра в Корзиновку возвращаться и выяснить. В заречные бригады позднее поеду».

Встреча Таси с бригадиром закончилась более мирно, чем можно было ожидать. Тася заявила, что, если завтра не приступят к ремонту подвала, она немедленно вызовет комиссию из МТС.

Утром рано визгливый голос бригадира уже разносился на краю деревни возле овощехранилища. Он пушил все начальство, которого, по его мнению, больше, чем кар-

тошек в подвале, грозил кулаком мужикам и женщинам, отремонтировавшим подвал. Залатают дыры, выбросят гнилье, и только. Настоящим ремонтом заниматься поздно. Это Тася отлично понимала. Но хорошо, что она хоть в малом добилась своего, не уступила.

Поздно вечером Тася с попутной машиной возвратилась домой.

На следующий день Тася пошла в правление. Там ее поджидала жена председателя. Та самая красивая женщина, похожая на цыганку, которая читала «Пионерскую правду» при первом появлении Таси. Она поздоровалась с Тасей за руку, прощупала ее через полуопущенные ресницы своими темно-карими глазами с лукавинкой.

— Что же это вы не изволите принять агрохозяйство? Обходите своего предшественника? Нехорошо так, нехорошо. Опытгом старших товарищей пренебрегать нельзя.

— Каким? — спросила Тася, оглядывая женщину, о которой уже успела слышать. Не понравилась она Тасе и деланным радушием, и жеманством, скрывавшим что-то, должно быть, презрение ко всем на свете.

— Практическим, — насмешливо ответила Клара. — Теория без практики, как вам известно...

— Позвольте ключи от лаборатории, — попросила Тася, пытаясь скорее закончить колкий разговор.

— Ключ? Пожалуйста. Между прочим, там единственная ценность — замок на дверях. Остальное все растащено и перебито еще до меня.

— Так что мне опыт перенимать не на чем? — так же насмешливо поинтересовалась Тася.

— Рутинка осталась, попробуйте ее, — задумчиво предложила Клара.

— Спасибо за совет.

— Не стоит благодарности. — Клара Птахина послушав мизинец, разгладила им брови, глядясь в кругленькое зеркальце, и полюбопытствовала: — Вас проводить до лаборатории?

— Я знаю, где она. Лучше объясните мне, пожалуйста, такую вещь: почему правление настаивает на том, чтобы из бригад свозить картофель и овощи в Корзиновку. Овощехранилища здесь, как я убедилась, далеко не лучше бригадных.

Клара стрельнула глазами по сторонам. Во взгляде ее отразилось мгновенное замешательство, но уже через секунду на этом красивом лице снова застыла ироническая усмешка.

— О, милая моя, вы делаете успехи! Уже познакомились с бригадами? Похвально, похвально! Однако со всеми претензиями советую обращаться к товарищу Птахину. Надеюсь, он вас выслушает внимательней, нежели меня. За сим разрешите откланяться.

На какую-то долю секунды глаза Клары блеснули из-под густых ресниц, и Тася увидела в них застывшую ненависть. «О-о, эта кошка когтистая. Не напрасно о ней так много слухов в селе», — отметила про себя Тася.

Лаборатория и в самом деле имела убогий вид. Большая комната, пристроенная к клубу. В комнате о двух окнах стояли стол, железная печка и скамья. Под скамьей и в печке порожние бутылки, на полу — конфетные бумажки, на столе пол-литровая банка из-под консервов. В ней на доннышке остатки красного вина. Лабораторию кто-то посещал совсем недавно. Все «лабораторные» приборы, к которым относились стеклянные консервные банки, малейшие аптечные весы да несколько пробирок с отбитыми краями, уместились на окне.

Тася покачала головой, сходила домой, переделалась и взялась за дело. Сначала она затошила печку, потом принесла воды, согрела ее и принялась мыть пол. Стол и полочки она отскабливала старым ржавым ножом. Привлеченные шумом, в заброшенную лабораторию стали заглядывать люди.

— Охота тебе возиться, руки пачкать, — ворчала какая-то женщина, остановившись в дверях. — Ее, как построили, с тех пор не мыли. Сломать этот притон надо, а не обихаживать. Сколько тут грязных дел содеяно, сколько блуду сотворено...

Тася слушала и продолжала заниматься своим делом.

Пришел Осип, довольный, улыбающийся, и заявил, что он «с ног до головы оборудует лабораторию», поскольку это сейчас входит в его прямые обязанности. Парень летал как на крыльях и все старался чем-нибудь отблагодарить Тасю за то, что она освободила его от материнского гнева.

После Осипа прибежали девушки. Эти сразу зашумели, принесли воды, показали, куда что поставить, и единодушно постановили не пускать в лабораторию парней.

Рая Кудымова, Тася Стрельцова, Зина Головатских и еще девчата, имена которых Тася не успела узнать, сидели вокруг гудящей печки, строили планы на будущее.

Почти все они комсомолки, но их комсомольская организация существует только формально, вся их деятельность комсомольская закончилась, как только они закончили школу. Некоторые даже взносов не платили. Собрать их в кучу, привлечь к какому-нибудь общему делу, пробудить молодой задор — и получится коллектив.

Тася была из числа тех, кого всегда привлекают в коллектив, а не из тех, кто привлекает. Но сейчас положение менялось. С ней разговаривали как со старшим товарищем. Да и как могло быть иначе? Она — молодой специалист, грамотный человек. Кому, как не ей, возглавить деревенскую молодежь?

Девушки так прямо и говорили, что они уже давно ждут, чтобы прислали человека, который расшевелит бы молодой народ. Хотела Тася возражать и не решилась. Она понимала, что ехала сюда не для того, чтобы вести уединенный образ жизни. Ее здесь ждали как организатора. А учить — это, прежде всего, работать, работать вместе со всеми и больше всех.

На Тасю нахлынуло чувство радости от сознания, что она необходима, нужна вот этим девчатам. Тася тут же развила перед ними планы будущей работы: агрозоотехнические курсы, практическая подготовка на снегу к посадке картофеля и кукурузы квадратно-гнездовым способом и так далее.

Девушки заскучили. Рая Кудымова разочарованно протянула:

— А мы думали, вы насчет самодеятельности поможете.

Тася осеклась, посмотрела на пригорюнившихся девушек и обняла их.

— Напугала я вас. Конечно, прежде всего нам нужно организовать молодежь, из углов вытащить, а потом уж о деле. У нас еще ничего нет. Даже секретарь не выбран, а мы уж размечтались. Впрочем, наши мечты не так уж несбыточны. Стоит только пожелать. Правда, девчата?

До самых сумерек судачили девушки в лаборатории о делах колхозных, потом пели песни. Народу в лабораторию набралось много. Заявились и парни. Несмотря на «постановление», их не изгнали. Пол снова затоптали. Девушки решили мыть его поочередно и собираться здесь чаще. Рая Кудымова попросила Тасю прийти завтра на

ток, в бригаду Якова Григорьевича. В этой бригаде работало несколько «механически» выбывших из комсомола. С ними нужно было поговорить, да и со всей бригадой Якова Григорьевича Качалова новому агроному не вредно было познакомиться.

Есть в крестьянстве трудная, но увлекательная работа — молотьба. Даже в старые времена, когда молотили цепями, молотьба была самой радостной работой хлебопашца. Да и как ему не радоваться, когда хлеб, собранный с пашни, вот он, льется струей из заскорузлых, натруженных рук.

И хотя молотьба на корзиновском току была не совсем своевременной, работа все равно шла дружно. На молотьбе, как на копвейере, любая замипка влечет за собой простой всей бригады.

Снопы в молотилку подавал Яков Григорьевич. В очках, в рукавицах-верхонках и расстегнутой косоворотке стоял он у молотилки, широкоплечий, сильный. С обеих сторон женщины подавали снопы на стол, или, как чаще говорят, на шесток. Яков Григорьевич единым движением раскатывал на шестке сноп и плавно подавал его в молотилку. Сноп за снопом исчезали в утробе машины. Случались моменты, когда подавальщицы не успевали за Яковом Григорьевичем, и тогда молотилка стучала громче, а Яков Григорьевич, положив руки на шесток, терпеливо ждал. Он ни разу никого не укорил, но по всей его напряженной позе, по нахмуренным бровям было видно, что он недоволен. Подавальщицы начинали бегать проворней. Яков Григорьевич, подвигая вперед снопы, иногда чуть заметно улыбался, глядя на них. Если попадал сырой сноп, молотилка взвизгивала и ремень, идущий от движка к молотилке, начинал пробуксовывать. Тогда переносье бригадира пронзала морщина, словно не молотилке, а ему было тяжело.

Тасе вначале непонятно было, как это Яков Григорьевич не мерзнет в одной рубашке, а теперь она и сама сбросила с себя телогрейку. Пока сбрасывала, куча соломы прибыла. Быстро ее граблями в сторону, к скирде. Только отгребли, а там уже опять ворох. Тася вначале глядела на работу со стороны, но Райка Кудымова супула ей грабли в руки и оголила белые зубы:

— На молотьбе лишних не бывает.

И верно.

Прошел час, другой. Солома струилась непрерывным потоком, и не было ему конца.

Тася отгоняла мысли про обед, но они неотвязны, как эта самая солома, что волнами катилась из молотилки. Хлеб ты, хлеб, как тяжело достается людям! Наконец молотилка перестала взывать, пошла вхолостую.

Яков Григорьевич поднял очки на лоб, смел рукавицей сор с шестка.

Тишина. Такая удивительная тишина — в ушах звенит.

Тася упала на шуршащую шелковистую солому. Лежала, не способная двинуть ни рукой, ни ногой. Девчата тоже свалились на солому, но они тотчас же начали хихикать и возиться. Одна из подавальщиц сняла платок с потной головы, хлопнула его о бедро и заявила:

— Ну, Яков, давала я закаину не ходить с тобой на молотьбу, и вот мое последнее слово: больше — ни боже мой, золотом осыпь, замуж выдать пообещай, не пойду...

Другая подавальщица поддержала свою напарницу:

— Ему что? Он чисто конь здоровущий, валит и валит, язви его, без передыху...

Яков Григорьевич не обращал на них внимания. Он сидел на чурбаке, неподалеку от молотилки и медленно свертывал сигарку. Пальцы у него дрожали, и крошки табака сыпались на подол рубахи. Одна из подавальщиц набросила ему на плечи телогрейку.

— Остынешь ведь, оглашенный. Последнего мужика решимся...

Яков Григорьевич прикурил и сердито пробубнил двум парням, которые дымили, лежа на соломе:

— Охота вовсе без хлеба парод оставить? И так не лишка получим.

Парни спрятали папироски в рукава и исчезли с глаз. Яков Григорьевич объявил:

— Болтать кончайте. Шагом марш по домам. На обед час, ждать никого не стану.

На этом все распоряжения окончены. Яков Григорьевич показал мехнику пальцем на ток. Это значило: механик должен поглядывать за всем, а сам бригадир пошел в деревню позади шумливых молотильщиков.

Кажется, никогда еще Тася не обедала с таким аппетитом, как сегодня. Две тарелки супу, тарелка тыквенной каши с молоком, чуть не полбулки хлеба и кружка чаю.

Куда только влезло? Удивительно! Блаженно растянувшись на скамейке, Тася тут же задремала. Ребята подсунули ей под голову подушку. Пришла Лидия Николаевна, глянула на нее и захохотала.

— Утешил тебя Яков-го!

Тася потянулась так, что захрустели суставы.

— Он и не таких, как я, способен утешить. Это он от труда такой, от работы. Здоровый у вас труд, тетя Лида. Тяжелый, но здоровый.

— Труд вполонину легче, когда он в радость. Мы за такой труд и боремся. Слышала новость?

— Какую?

— При райкоме создана группа по зоне эмтээс, и возглавлять ее будет Уланов, парторг мартеновского цеха.

— Мельком слышала в третьей бригаде. Это ведь хорошо по-моему, тетя Лида, если непосредственно райком будет руководить эмтээс и колхозами.

— Если по-деловому, то хорошо. А пустоплясы, вроде Матанина, нам уже надоели. Настоящие бы люди за колхозные дела взялись. А ты вот что, голубушка, не расслаживайся. Яков аккуратность во всем любит.

— Ой, правда! — ахнула Тася, взглянула на часы и заторопилась.

— К людям, к людям лучше присматривайся, — наказывала Лидия Николаевна, — тебе с ними не только солому отгрести придется. Солома что...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



НА КРУТОЯРЬЕ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Будто ощупью пробираясь в потемках, над городом вначале неуверенно, потом громко проплыл заводской гудок. Час ночи.

Уланов возвращался из райкома. Там его только что «сватали», как выразился замещающий первого секретаря Матанин. Иными словами, Уланову предложили возглавить зональную группу МТС. Предложение это ошеломило Уланова. Можно ли посылать для руководства сельским хозяйством человека, который имеет весьма и весьма смутное понятие о нем! Оказалось — можно. Матанин, поминутно вскакивая с кожаного кресла первого секретаря, бегал по кабинету, заложив руку за борт пиджака и, точно диктуя на машинку, громко говорил:

— Тут дело такое, Уланов. Партия требует, чтобы в село были посланы самые лучшие, самые боеспособные товарищи...

Хотя Уланов старше Матанина на несколько лет, тот разговаривал с ним по-отечески снисходительно. Чем больше он ораторствовал, тем сильнее вскипало в Уланове чувство протеста и гнева. «От имени партии говорит, словами такими сыплет — и не вслушивается в них. Машина какая-то говорящая!» Между Матаниным и Улановым стол. Но не только стол разделяет их.

Уланов — член Пленума. Уланов известен не только на заводе, но и во всем городе. К его голосу прислушиваются, его слова ценят. И не было еще ни одного выступления, в котором он не зацепил бы Матанина. Сколько

неприятностей перенес из-за этого тихого с виду человека Матанина. Не будь у Матанина покровителя в области, прогнали бы его, пожалуй, давно из райкома. Он притих было после сентябрьского Пленума, а потом увидел, что вообще-то для него лично это событие даже выгодно. Расчищая дорогу себе, Матанин почти никогда не спал и тем более не съедал начисто. Он содействовал всячески выдвиганию таких людей даже на более высокие посты. Вот он сделал все, что от него зависело, чтобы Уланова назначили секретарем по зоне МТС. Уланов в сельском хозяйстве ни шиша не понимает, авось в здепных колхозах лоб себе расшибет. Если не расшибет, палатит дело, в чем Матанин не без оснований сомневался, — значит, не ошиблись товарищи из райкома, выдвигая его на эту должность. Допускал Матанин и такую мысль, что Уланов не согласится, начнет отказываться. Тоже не худо: «Уклошлся товарищ Уланов от ответственного партийного поручения!» А если этим аргументом с толком воспользоваться, потом шум будет, и немалый. Хочется Матанину «сосватать» Уланова, очень хочется, и он плетет словесную паутину, колесит, как лошадь с бельмами на глазах по полю кругами.

Чувствует Уланов фальшь в словах Матанина, но ему даже в голову не приходит, что такое огромное государственное дело можно превратить в интрижку. У него уже зреет решение. Уланов понимает, что доказывать Матанину свою непригодность к повой ответственной должности бесполезно, убеждать в чем-то бессмысленно. А потому, когда Матанин наговорился, Уланов поднялся и твердо произнес:

— Хорошо, я подумаю. Только я желал бы предварительно согласовать этот вопрос с обкомом. Хочется мне побывать там самому.

— Да, пожалуйста, сделай милость, поезжай хоть завтра. Кстати, кое-кто в обкоме уже поставлен в известность, я сам советовался в отношении тебя. Одобряют. Не скрою. Да и как не одобрить? Лучшую кандидатуру нам трудно сыскать. — В голосе Матанина сквозила явная двусмысленность.

Уланов чуть заметно усмехнулся и начал прощаться. Матанин проводил его до дверей.

— Поезжай, согласуй, но помни при этом: речь идет о твоём росте и о партийном долге, — давал он на ходу наставление. — Так, теперь вот что: не задерживайся там,

надо, чтобы до отчетно-выборных собраний ты сумел ознакомиться с положением дел.

«А он разговаривает со мной, как о деле решенном, — отметил про себя Уланов. — Н-ну и хват!»

Пока Уланов шел по спокойным улицам города, раздражение несколько поулеглось и в душе стала зарождаться смутная тревога: правильно ли он делает, намереваясь отказаться от нового назначения?

Иван Андреевич задумался, глядя с пригорка на раскинувшийся внизу город.

Завод отсюда виден лучше, чем с главной улицы. На фоне неподвижного облачного неба растопыренными перстами маячили трубы, а ниже их — громады домен. За рекой вспыхнуло зарево, заняло полнеба. Это опрокинули ковши с жидким шлаком на отвале. На корпусах домен обозначилось множество разных лестниц, площадок, труб. В маргеновском цехе, где окон было особенно много, стекла блестели неостывшими кусками окалины. Зарево за рекой медленно угасало. Город снова погружался в сонную темноту. Город мирно спал. Не спал лишь завод.

«И конечно же, правильно я поступлю, если откажусь от новой должности. Моя жизнь — завод», — размышлял Уланов.

Молодым парнем попал он на строительство Магнитогорского комбината. На всю жизнь запомнились ему тяжелые и кипучие дни строительства. Потом в цехах, которые ему довелось воздвигать, Уланов трудился у маргеновских печей. А после с такими же, как он, парнями поступил в институт. Вечерами со своими товарищами бегал на станцию, сгружал уголь, руду, лес, что попадет, чтобы приработать к стипендии.

Во время учебы он познакомился с белокурой смешливой девушкой Надей, которая училась в медицинском институте. После окончания учебы они решили пожениться. Но ничего не получилось. Любовь Нади оказалась недолговечной, и она вышла замуж за другого человека. Потом началась война. Большие события заслонили свое, личное, вытеснили обиду и боль из его души. Но до сих пор в нем таилось сожаление о прошедшей любви, о том, что его обобрали в дни молодости, унесли самое дорогое, светлое из жизни. Из-за этого и по сей день настороженно относился Иван Андреевич к женщинам. Но холостяцкая жизнь все больше и больше тяготила его.

С великим трудом перетащил он к себе на жительство

отца, который работал в Сибири и не желал ни от кого зависеть. Отец его, Андрей Семенович — старый большевик. За участие в революции девятьсот пятого года был выслан в Сибирь. Там, в ссылке, он занимался самообразованием, не прекращал подпольной работы. После революции Андрей Семенович осел в Сибири. Трудился на новостройках плотником. Из детей у него сохранился один Иван, остальные умирали малепькими. А педавно он схоронил и жену свою. Андрей Семенович — человек горячий, ершистый. Жизнь в пустой квартире сына ему скоро надоела.

Иван Андреевич нажал кнопку звонка. За дверями послышался стук — это отец идет, опираясь на сучковатую палку, привезешую из Сибири. Палку эту он не без юмора называет тростью. У отца больные ноги, без палки он плохой ходок.

Иван Андреевич переоделся, вымыл руки. Тем временем отец собирал на кухне ужин. Кухня общая, на три квартиры. Отец старался не особенно греметь посудой, но это ему не удавалось. Иван Андреевич принялся за ужин, а отец пристроился у дверки плиты со своей стародавней трубкой. Он пальцем выгреб уголь, положил его в трубку. Спички лежали рядом, но он ими пренебрег. По его заверениям выходит, что раскуривать трубку от угля лучше — вкус у табака совсем другой.

Когда трубка разгорелась и начала уютно посвистывать, отец поднамерился сплюнуть, не сходя с места, но вспомнил, что тут не строительная площадка, проглотил горькую слюну. Руки отца лежали на коленях. Небольшие эти руки, но необыкновенные, быстрые, с крючковатыми пальцами. Они не привыкли быть без дела и поэтому долго на коленях не задержались, а начали искать что-то. Вот они наткнулись на трость и на время успокоились. Тоскливо отцу.

Иван Андреевич жевал жесткое, пережаренное мясо с хрустящей картошкой и не торопясь выкладывал отцу новости. Старик слушал его внимательно. Лицо его по-прежнему задумчиво.

— Засохло мясо-го? Я давно его поставил в духовку, думал, ты раньше придешь. — Старик с кряхтением поднялся со стула, выколотил трубку в консервную банку и как бы мимоходом спросил:

— Ты в обком-то решил поехать не только затем, чтобы того пройдоху вывернуть наизнанку?

— Нет. Я попытаюсь доказать, что посылать меня на село более чем неразумно.

— Та-ак, значит, более чем неразумно. Красиво сказано. Красиво, да неумно. Ты видел, как строят у нас некоторые мудрецы дома? Красоты в них много, а жить негде.

Иван Андреевич ничего не ответил. Губы его тропула чуть заметная усмешка. Раз отец упомянул про строительство, да еще про плохое, значит, будет сыну головомойка.

— Да ты не смейся улыбаться. Я тебе сейчас испорчу веселое настроение.

— Не очень-то оно у меня веселое, папа.

Но отец не принял эту реплику во внимание. Он сначала спокойно, а потом с горячностью стал говорить о том, что присматривался к жизни своего сына, а также к жизни его друзей, и ему горько делалось. Больно уж много людей развелось, которые ищут спокойной жизни. Многие даже так и считают: получили, мол, высшее образование, чтобы осесть на месте, зажить сытно, без волнений и тревог.

— Вот, к примеру, ты, — старик махнул в сторону сына мундштуком трубки, — инженер, коммунист. За хорошую работу, за душевное отношение к людям они тебя выбрали парторгом. Цех ваш работает хорошо. Люди у вас крепкие, дела партийные налажены. Ты уже всего добился. И можно благодушеествовать, так, что ли? Значит, тебе безразлично, что люди еще нуждаются в твоей помощи. И вот если вдруг вместо тебя поседет какой-нибудь деляга на манер Матаннипа, насолит деревенским людям, которым и без того солоно, — это тебя не тревожит? То ж сельское хозяйство — не твой участок!. Нет, любезный мой. Старые коммунисты считали и считают — их участок там, где они всего нужней.

Иван Андреевич сначала еще пытался улыбаться. Потом он все ниже и ниже опускал голову. Отец снова набил свою трубку, пошарил уголек в плите, но его там не оказалось; он, так и не закурив, продолжал разносить сына, даже назвал его «баринном-коммунистом». Старик разошелся до того, что заявил:

— Если ты откажешься поехать на село, поеду я. Ничего, рядовым рабочим в энтээс возьмут. У меня еще никакой инструмент из рук не выпадет. Буду строительному делу людей учить: там профессия строительная сейчас очень необходима.

Зная, что отец попусту словами разбрасываться не лю-

бит, Иван Андреевич понял: отец уже давно все обдумал и решение уехать в деревню у него созрело не сейчас.

— Не живется тебе в тепле и покое! — с досадой уронил Иван Андреевич.

— Да на черта мне твой покой сдался! — вскипел старик. — Мне он как рыба кость в горле. — Отец вспомнил про трубку, раскурил ее от спички и первно застучал своей тростью, расхаживая по кухне. — Кисни здесь!

— Ты напрасно горячишься. Лучше подумай, как бы вместо пользы вреда не вышло. Ведь ничего я не смыслю в сельском хозяйстве.

— А в людях смыслишь? — горячо перебил отец. — Тебя посылают людьми руководить. Ты людям можешь, они тебе. Запомни, что ты прежде всего — коммунист, а потом уж инженер. И еще запомни, коли народу пужно, коли партия требует, ты сделаешься воином, землекопом, золотарем, секретарем по зоне, кем угодно, и при этом постоянно обязан заботиться о том, чтобы людям жилось лучше! Словом, делать то, ради чего ты назвался коммунистом. Только после того, как людям жизнь наладишь, можешь о себе думать, а пока.. — Отец помолчал и сердито закончил: — Может быть, мои суждения устарели? Но мы в молодости покоя не искали и думали всегда наперед о людях, о тех, кому взяли служить. Мы — добровольные слуги народа! — Он стряхнул искру со штанов и насунился, сомкнул брови. — И чего я слова трачу? Как это у Короленко-го? «Толкуй большой с подлекарем!» Наседки, черт вас задери! Пошли спать!

Молча прошли в комнату. Молча разделись. Старик покряхтел в постели и уже другим тоном добавил:

— Живешь, дьявол тебя задери, бобылем. Может, в деревне хоть женишься!

— Ну да, я женюсь, ты дом срубишь. Будет свое теплое гнездышко, а ты и не любишь, значит, снова переезжать, — усмехнулся Иван Андреевич.

— Экий ведь говорун. На слове ловит! Будто не понял, о чем я толковал. Я за уют, да не за такой, как в этой комнате. Мне еще в ссылке неживое жилье надоело. А что касается дома, так с полным моим удовольствием. Срублю пятистенок, женись только да насчет внука позаботься.

— Отдыхай давай, агитатор! — проговорил Иван Андреевич, щелкая выключателем. Он положил очки на тумбочку, лег на диван, закинул руки за голову и после про-

должительного молчания вздохнул: — Задал ты мне задачу, батя.

Старик не откликнулся, сделал вид, что заснул. Пусть сын подумает наедине. Старик не сомневался, что сын найдет верное решение, иначе какой же он Уланов, чему же он тогда научился? А жизнь-то у него шла не по бархатной дорожке с узорчиками. Это старик знает.

Через два дня Уланов уехал в обком партии. Когда вернулся, сразу домой не зашел, а позвонил отцу с завода. Андрей Семенович помрачнел, сердито сомкнул губы. Сына встретил молча, испытующе поглядывал на него, по ни о чем не спрашивал. Иван Андреевич смотрел, смотрел на отца и наконец заговорил:

— Ты прав, отец! Наше место там, где мы нужнее. Собирайся, переезжать будем.

— Голому собраться — только подпоясаться, — не скрывая удовлетворения, пошутил отец.

Тася спешила из Корзиновки в МТС. Шла в резиновых полусапожках. Лидия Николаевна велела ей падеть валенки Юрия, но Тася отказалась. Очень уж эти валенки старые, неуклюжие. «Дрожи, а фасон держи!» — вспомнила она поговорку и прибавила шагу. Лидия Николаевна и Тася успели сильно привязаться друг к другу. Тася ничего не тайла от Лидии Николаевны. А Сережка, тот все обжился у хозяйки.

Тася улыбнулась застывшими губами, вспомнив про Сережку, и упрятала лицо в шаль. Ноги заоченели, пальцы пощипывало, дышать было трудно.

Со дня приезда в колхоз Тася всего несколько раз бывала в МТС, познакомилась с главным агрономом, получила зарплату, брошюры и учебники. В колхоз эмтээсовские приезжали часто. Только Чудинов избегал заезжать в Корзиновку. «От совести своей спрятаться хочет», — подумала Тася.

А вчера Чудинов неожиданно вызвал ее к телефону и официально сказал:

— Почему вы не являетесь на собрания и совещания? Они что, для вас необязательны? Завтра в шесть чтобы были в эмтээс. Приедет зональный секретарь.

Последние полкилометра Тася бежала и пулей влетела на второй этаж, громко стуча по ступенькам заостренными полусапожками.

— Ух, морозище! — запыхавшись, сказала она горбатенькой секретарше, прижимая руки к степке печки-голландки.

— Да-а, нажимает, — посмотрев на улицу, ответила секретарша и, перелистывая какие-то документы, посоветовала: — Разуйся и погрей ноги, зашлись ведь.

Тася придвинула стул, разулась и приставила ноги ступнями к печке. Минуты через две она по-детски запричитала:

— У-ю-юй как щиплет!

— Тогда убирай скорее от горячего. Собрание позже начнется, займись чем-нибудь.

— Пойду в красный уголок, прочитаю. Там тепло?

— Тошили сегодня.

Она вышла в коридор. Из красного уголка доносилась задумчивая музыка. Кто-то играл на пианино. Тася, боясь потревожить музыканта, на цыпочках подошла к двери, тихонько ее открыла и застыла в изумлении: на пианино играл Васька Лихачев. Лицо Лихачева было грустное, глаза полузакрыты. Тонкие и гибкие пальцы его с черными заусеницами, осторожно скользили по клавишам. Тасе подумалось, что она ошиблась. Это был совсем другой человек. Не тот чумазый, разухабистый тракторист, которого она повстречала тогда в поле.

Будто почувствовав на себе пристальный взгляд, Лихачев повернулся. На лицо его медленно напозала усмешка.

— А-а, агрономша! Ну как, поднимаете сельское хозяйство?

— Как вы хорошо играли. Это что? «Соловьи-соловьи»? Седого, да?

— Прелюд Рахмапинова, — ответил Лихачев и, подняв левую бровь, улыбнулся уголками губ: — Они очень схожи, снугать легко.

«Какой противный, — подумала Тася, — воображает, ломается. Такие вот любят балаболить где-нибудь в компании: «Музыки пынце нет, пьесы нет, на экрапе — белиберда! Порядочной оперы нашим не написать! Авторы вымирают. В прошлые времена было настоящее искусство!» Тася с иронией протянула:

— Ну, разумеется... Нашему брату лишь частушки под силу.

Лихачев уставился на нее и неожиданно громко рассмеялся.

— О-о, у вас язычок — бритва!

— Какой есть. Не обрежьтесь...

Теперь Лихачев смотрел на нее с нескрываемым интересом.

— Слушайте, — сказал он, все еще не меняя насмешливого тона. — Несдержанность характерна для женщины, но она вредит. Так-то. — И уже просто, без усмешки добавил: — А вы тогда, в нашу первую встречу, поспокойней были. Нервность в вас появилась. Это от чистого сельского воздуха, да?

— Какая была, такая и есть. Это вы умеете на глазах меняться. И в тот раз вы были, мягко выражаясь, приподнято настроены.

— Ха-ха-ха! Занятно! Сошлись люди и спешат наговорить друг другу дерзостей. Пардон, пардон, Таисья Петровна. Я сегодня лирически настроен и не хочу ни с кем ссориться.

— А я и не собиралась ссориться. Откуда вы это взяли? — пожала плечами Тася и направилась к столу. — Я хочу почитать. Если не надоело, играйте эти самые преюды или как их там.

Тася досадовала на себя. Взяла схватилась с человеком. Зачем? К чему? Откуда это ребяческое раздражение? Ну, увидела тогда в поле веселого забудыгу. Почему-то появлялось желание встретиться с ним, словно со старым знакомым. Вот встретила, а он совсем другой: жеманный, красивый, похожий на тех, избалованных жизнью и талантами, молодых людей, которые живут под крылышком богатеньких пап и мам. Ну и хорошо, а сй-то какое до этого дело? Пусть ломается. «А в общем, я дура из дур. Нечего сказать, выдержка!..» Чтобы нарушить неловкое молчание, она оторвалась от журнала:

— Играйте, играйте. Надо — я уйду!

— Нет, нет, вы мне не мешаете, да и не хочется больше играть. — Он помолчал и улыбнулся. — Между прочим, Таисья Петровна, я не советую вам портить со мной отношения. Меня ведь на зиму посылают в ваш колхоз — возить удобрения и корма. — Он хитро прищурился. — И, кажется, по настоянию агронома, а?

Тася в первый момент смешалась, но тут же овладела собой и откровенно заявила:

— Да, я просила, чтобы нам прислали трактор, и буду просить, но не имела вас в виду. Можете мне поверить, я

всегда стараюсь говорить только правду. Лучше будет, если нам приплот доброго тракториста.

По лицу Лихачева пробежала тень, но он продолжал говорить так же непринужденно:

— Добрый работник — это я! И мы с вами поладим. Мы, по-моему, сродни: помнится, ваша бабушка и моя — были женщины.

— Если вы трактором так же владеете, как языком, работник из вас в самом деле получится добрый, — ответила Тася и, отложив журнал, направилась к двери.

— А я что говорил! — крикнул ей вслед Лихачев и бросил пальцы на клавиши пианино.

Загремело пианино, а потом, словно сбывающаяся вода, музыка становилась тише, ясней и только время от времени в нее врывались какие-то буйные приливы. Тася послушала музыку, прежде чем открыть дверь в приемную. «А он все же ничего играет, неплохо, — подумала она. — Впрочем, мне до него нет никакого дела...»

В приемной уже было много народу. Из кабинета директора слышался говор и плыл табачный дым. С бумагами и папками в обнимку бегала туда и сюда секретарша.

Тася незаметно проскользнула в угол кабинета. Там она устроилась на старом гнущем стуле с круглым сиденьем. Стул стоял возле печки. Спицу пригревало. Тася незаметно придвинулась еще ближе к печи и подумала: «Повезло!»

Чтобы не встретиться глазами с Чудиновым, который побагровел, заметив ее, она воспользовалась испытанным средством. Еще в детстве, на скучных уроках, она привыкла читать все, что попадало на глаза, и составлять буквы в пары. Если на вывеске или лозунге в конце оставалась непарная, она, махнув рукой на все правила грамматики, приставляла к одинокой букве восклицательный знак или точку.

В кабинете директора висели два портрета и два плаката. Тася не любила читать надписи под портретами. У нее было такое чувство, словно эти, в упор глядящие на нее, серьезные люди, могли изобличить ее в легкомыслии. Плакаты же висели в простенках, дальше за столом, и на них надо было смотреть через голову Чудинова и другого, худощавого, в очках, очевидно, нового зонального секретаря.

Оставалось одно: читать малоавторитетные слова, выведенные чернилами на пожелтевшей от времени бумаге:

«Не курить», «Не сорить». Да и знала Тася заранее, что буквы в этих словах парные. Она высоко пронесла взгляд над Чудиновым, коснулась им лысины нового агронома и опустила глаза на секретаря. Точно почувствовав ее взгляд, новый секретарь порывисто повернул голову, на мгновение задержал глаза на Тасе, затем снял очки, еще раз посмотрел в ее сторону и пачал развинчивать авторучку.

— Ну что ж, пожалуй, начнем. Командуйте, Николай Дементьевич, — произнес он, перелистывая откидной блокнот.

Улыбка, с какой говорил зональный секретарь, понравилась Тасе. За этой улыбкой скрывалось смущение нового человека и некоторая неловкость.

«Интересно, знакомился он с моей докладной запиской или нет?» — подумала Тася. Эту докладную она написала после того, как вошла в курс колхозных дел, разобралась в нуждах хозяйства. Сначала это была обыкновенная записка в виде отчета. Но после того, как Тася прочла ее Букрееву, Лидии Николаевне и Якову Григорьевичу, они сделали дополнения к записке — и получился целый доклад о колхозной жизни.

Там говорилось и об изменении планирования посевов, о перебазировке овощных площадей на остров, о пересмотре размеров личных приусадебных участков, об изменении минимума трудодней, о плохом руководстве колхозом и о многом другом, что тревожило умы и сердца честных колхозников, мешало им жить.

В этой же записке Тася просила, чтобы в нынешнюю зиму в колхоз «Уральский партизан» были выделены механизмы и трактора. Пока никакого ответа из МТС она не получила, и удобрения на поля вывозились только колхозными лошадьми.

Николай Дементьевич подождал, пока утихнет шум, обвел глазами комнату и кивнул головой:

— Откройте дверь, а то накурили, хоть топор вешай. Так вот, товарищи, концы-концов, появился у нас новый секретарь...

Тася невольно улыбнулась, услышав эти слова. Чудинова в госпитале так и звали: «Концы-концов». Она даже дразнила его слышанной в детстве песенкой:

Я послал туда батальон бойцов —
И победил, концы-концов...

«Так, кажется, или нет? Боже мой, когда это было? Давно-давно. Слушать же надо».

— ...О задачах толковать нечего. И так много переливали из пустого в порожнее. Задачи ясны, а кому нет, пусть лишний раз прочтут постановление Пленума, — говорил Чудинов.

— Сегодня будет или, наверное, должен быть разговор о том, как мы думаем вести посевную. Да, да, не смотрите на меня во все глаза. О посевной! Это я говорю своим старым соратникам. Мы тут привыкли о посевной говорить весной, вот некоторым и удивительно. Концы-концов, нас заставили и правильно сделали, готовить сани летом, а телегу зимой. Хотелось бы послушать агрономов в первую очередь. Начнем хотя бы... ну, с кого начнем? — глаза Чудинова прощались по сидящим и остановились на Тасе, хитроватые, упрямые глаза.

— Ну хотя бы с товарищ Голубевой. — Чудинов кашлянул, зацепил крючком правой руки стул, пододвинул его и сел, приготовившись слушать.

Тася вспыхнула и уставилась поверх головы Чудинова на плакат: «Новый заем...», «Но-вый за-ем...» Но тут же спохватилась, выругала себя за легкомыслие. «С чего же пачать? А скажу о том же, что и в докладной писала», — решила она. Но начать было не так просто. Все, что она увидела в колхозе и передумала, вдруг смешалось в голове. Да, высказать свои мысли сложнее, чем разложить чужие слова по слогам. А люди ждут, смотрят на нее, кто выжидательно, кто с интересом, кто сочувственно...

— Мое знакомство с колхозом «Уральский партизан» началось с лучшей, третьей бригады...

— Это где Букреев бригадиром? — заглянул в блокнот секретарь.

— Да, Букреев. — Тася замолчала. Ощущение у нее сейчас было такое, будто она сдавала экзамен. — Так вот, о третьей бригаде. Она, как известно, вырастила нынче, да и в прошлые годы выращивала, неплохой урожай... — Тася принялась крутить кончики шали, накинутой на хрупкие плечи.

Чудинов бегло посмотрел на нее, как бы ободряя взглядом, а новый секретарь поднял свои светлые брови.

— Ну, что ж вы, продолжайте.

— Сейчас я, — не переставая крутить шаль, тихо отозвалась Тася и смущенно улыбнулась. — Так много я увидела и услышала, что, право, не знаю, о чем и сказать.

— А обо всем, — сказал секретарь. — Мы специально вас собрали, чтобы познакомиться не только с вами, но и с вашими заключениями, а может быть, с планами.

— Хорошо, хорошо, — кивнула головой Тася, — я скажу тогда, все скажу, может быть, долго только.

И, поначалу сбиваясь, на ходу приводя в порядок свои мысли, Тася начала рассказывать. Постепенно она справилась с собой.

Перед глазами ее один за другим проходили те люди, которых она узнала в колхозе. Приходили со своими нуждами, бедами и надеждами.

Тася говорила долго, и, когда остановилась, на нее смотрели с нескрываемым интересом. Молодой парень в сером грубошерстном свитере, тоже новый агроном — из соседнего с «Уральским партизаном» колхоза, — задумчиво произнес:

— Да-а, оказывается, и в вашем колхозе те же болезни, что и у нас...

— А у нас, думаете, другие? — заговорила пожилая женщина в меховой шапке, из-под которой выбились прямые, коротко подстриженные волосы. — Те же земельные пятна, та же неразбериха в планировании, семенное хозяйство запущено, колхозники в основном надеются на свои огороды и на колхозный рынок, благо, что на него съезжаются покупатели со всего горнозаводского направления, и цены, по моим подсчетам, на рынке почти в пять раз выше государственных. Безобразие!

— Скажите, а вы давно в колхозе? — обратился к ней Уланов.

Женщина сказала, что всего третий год, до этого работала в райсельхозотделе.

— Выдавил меня оттуда Матанин, неуживчивой сделалась, — усмехнулась она. — И хорошо сделал. Я бы вплоть до сентябрьского Пленума сидела в кабинете и липовые сводки собирала.

— Руководство, руководство во многих колхозах окостенело, — заговорил главный агроном МТС. — И нашим агрономам приходится больше усилий тратить на борьбу с рутинной, чем прямым делом заниматься.

— Ну, не везде уж так, — сказал Чудинов. — Всех под одну гребенку не стригите.

— Не знаю, как где, — вмешалась в разговор Тася, — а у нас темная контора в колхозе. Так я скажу. Перестали там жить пущами колхоза, свои интересы ставят выше

народных. Это мнение не только мое, но и всех честных колхозников.

— Что вы предлагаете, Таисья Петровна? — в первый раз обратился к ней Чудинов. — Я так и не понял, при чем тут, концы-концов, эмтээс?

— А при том, концы-концов, — осеклась Тася, вспыхнула и заторопилась: — На глазах у эмтээсовских руководителей творилась бесхозяйственность, а их это не касалось. А надо, надо вплотную заняться нашим колхозом и постараться обословать овощеводство на острове. Там поля ровные и хорошо удобренные. В то же время нельзя сокращать посевов овощей и в третьей бригаде. Сразу остров не одолеть, особенно при нынешнем правлении.

— А как же быть с зерновыми? Ведь площади посева зерновых нам не сокращают, — вставил секретарь.

— Под зерновые можно разработать новые земли. Их много раскорчеванных, готовых.

— Вы имеете в виду покосы?

— Да.

— А вы знаете, что кормов в вашем колхозе ежегодно не хватает? — усмехнулся Чудинов. — Уже сейчас, небось, коровы с голоду орут?

— Пока не орут, но скоро начнут, — с запальчивостью отозвалась Тася. — По причинам, вам хорошо известным. Покосов много, даже слишком много для колхоза, но покосы запущены, розданы на сторону, трава на них скверно растет. Многие дуга вообще остаются нескошенными. Кроме того, пастбища организуются плохо. Не знаю, как это называется. Головоотяпство или еще что? Но в колхозе «Уральский партизан» трудится пастух Осмолов, опыт которого распространяется во многих районах нашей области и других областей, зато в Чагинском районе, даже в самом колхозе, об его опыте и попяття не имеют. Пасет, мол, он, пасет — дело немудрое. Дай кнут любому мальчишке, назови его пастухом, и все. Я считаю, что за счет улучшения лугов, вырубки кустарников можно намного увеличить сбор кормов и часть новых земель использовать под посева. Для этого, конечно, нужны машины и большая, не такая, как прежде, помощь эмтээс.

— Та-ак. Это надо обмозговать, — задумчиво проговорил Чудинов и рассмеялся: — Можно подумать, что вы не представитель эмтээс в колхозе, а наоборот!

— Да-а, вижу, пелегко начинать? — сочувственно сказал секретарь, обводя взглядом собравшихся.

Заговорили снова все разом, и, когда поутихли, секретарь снова обратился к Тасе:

— А как относятся к перемещению овощной базы остальные колхозники?

— Предложение старое, одобренное правлением, да война помешала осуществить его. После войны не те люди в правление попали, чтобы думать о будущем артели.

Совещание затянулось далеко за полночь.

Уланов попросил Тасю остаться после совещания, и она сидела ждала, когда он освободится.

— Давайте знакомиться, — предложил он, когда все вышли из кабинета, и подал руку. — Моя фамилия — Уланов, а имя — Иван, очень распространенное в России. Отчество — Андреевич. Не боитесь? — вдруг спросил он.

— Кого?

— Ну, тех руководителей колхоза, которых вы тут чesали во все веники.

— Почему я их должна бояться? Во-первых, там, в правлении, не все такие, а, во-вторых, есть очень сильный, правда — разрозненный, актив. После постановления люди восприимчивы духом. Им сейчас надо помочь, вовремя помочь, делом помочь.

— Вот что, Таисья Петровна, я обязательно на днях побываю у вас, хочется мне вникнуть во все эти дела. Видите ли, для меня это все совершенно ново. Я ведь прямо с завода и в эмтээс. Осматриваюсь, вживаюсь. Между прочим, я тут познакомился с вашей докладной запиской. Думаю, что кое-чем мы вам поможем. Все, что вы тут затребовали, дать трудно, пришлось бы эмтээсу переезжать в ваш колхоз. — Уланов глянул в сторону. — Но вы, видимо, действовали по принципу: проси больше, глядишь, хоть немного отвалят. И вот немного дадим: трактор на вывозку удобрений конструируется, точнее, уже находится в производстве — наш завод делает. Станки для изготовления торфоперегнойных горшочков тоже делает наш завод. Думаю, недельки через две станки будут в колхозе. Вот пока и все.

— И на том спасибо, Иван Андреевич. Вот только тракториста к нам назначили...

— Плохого?

— Не то чтобы... но со странностями. Будет ли из него толк?

— Я знаю, о ком вы говорите. Он в самом деле со странностями парень. Его посылали работать заведующим

районным Домом культуры — он ведь образованный, музыкант, — отказался. Я уже беседовал с ним. Есть у него что-то на душе. Да ведь туда не вдруг заглянешь. Кстати, он сам просился в ваш колхоз, и очень настойчиво.

— Са-ам?

Иван Андреевич пристально посмотрел на нее и ничего не сказал. В кабинет возвратился Чудинов. Тася поспешила распрощаться с Улановым. Переборов себя, подала руку Чудинову. Новый секретарь заметил какую-то перемену в Тасе, заметил, как она с усилием подала руку Чудинову и тут же выдернула ее. Немного даже удивился, но не придал этому значения. Не до того было. Слишком много и сразу свалилось забот на нового зонального секретаря.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда Тася вернулась из бригад, половина избы, предназначенная для нее, была уже побелена, печка истоплена. Яков Григорьевич сделал две скамейки, принес откуда-то старый стул, отремонтировал стол. На окна, на дверь, у шестка Тася повесила занавески, а на стены — две репродукции с шишкинских картин и плакат со спортсменами, который раздобыл Юрий. Он же вбил гвозди для одежды и надел на них катушки из-под ниток, чтобы не рвались вешалки. Потом она сама приколотила угловую полочку, поставила на нее часы, подаренные Лысогорским горкомом комсомола, складное зеркало, фотокарточки, бросила вышитые салфетки, дорожку, и в избе запахло «живым духом», как сказала Августа, жена Миши Сыроежкина, притащившая на новоселье цветок в деревянной кадучке. Спали Тася и Сережа на печке. Яков Григорьевич хотел сделать им топчан, но Тася запротестовала, надеясь, что в скором времени купит кровать. От первой полочки на кровать не сошлось. И они так и спали на просторной, как палуба баржи, русской печи.

Поздравить новоселов приходили многие, и все приносили подарки, ибо с пустыми руками по старому русскому обычаю к новоселам не ходят. Многие приносили цветы, как бы дарили новым жильцам кусочек утвердившейся жизни. Появился даже редкий житель в здешних местах — кактус, который корзиновцы просто именовали

«тещиным языком». На полу появились дорожка и плетенные из разноцветных тряпок деревенские круги.

Пожаловал на повоселье и еще один, совершенно неожиданный гость. Пришел он поздно вечером. Сережка уже спал. Тася тоже намеревалась юркнуть к нему под нагретое одеяло, но дверь со скрипом отворилась, и из облаков морозного пара возник Карасев. Был он навеселе. Глаза его лучились довольством и удалью.

— Приветствую с поселением новых жителей села Корзиновки, — провозгласил он и, не обмечая фетровых буюрок, прошел к столу. На ходу он вытаскивал из кармана бутылку.

— Ну, что-то, а пара стаканчиков, думаю, найдется? — подмигнул он Тасе и неизвестно чему ухмыльнулся.

Деревенские понятия о гостеприимстве несколько отличались от городских. Это Тася уже успела усвоить и потому не решилась прогонять Карасева. «Посидит и убежится», — подумала она, доставая стаканы.

Карасев снял меховую полудошку, шапку и уже мучился перед зеркалом, сияясь жиденьким пучком волос замаскировать пяточок на затылке.

— На-да-а, женщина — якорь семейного быта, — возгласил он и вытер расческу о штаны. Потом дунул на нее и, пихая в карманшек, продолжал рассуждать, приподнимая руку, закидывая вбок голову. — Вот вам, пожалуйста, еще один фактик. В запущенном, как говорится, Богом и людьми углу появилась женщина и вдохнула в него искру вечного очага и уюта.

Тася вначале недоумевала, а потом на нее папало озорство.

— И где это вы выучились деликатному разговору, Аверьян Герасимович!? — восхитилась она.

— Прокатывается? — огорченно приподнял подбритые бровки Карасев. — А я ведь от чистого сердца к вам, как к городской, развитой женщине. К кому же идти? К панним корзинковским аржапушкам? Мы с вами не совсем культурно поговорили тогда, в поле. Вы уж не обижайтесь... При общественном деле случаются всякие там нездоровые словечки.

Карасев захмелел, придвинулся поближе к Тасе и начал жалеть себя, холостого человека, поносить свою жизнь холостяцкую. Тася все еще с интересом и нарастающим чувством брезгливости слушала его, думая, когда его прогнать лучше — сейчас или немного погодя? А между тем

Карасев сокрушался и намек даже сделал, что не прочь бы жениться, да вот подходящей пары нет, в деревне сплошные «аржанушки», а годы-то идут.

— И так хочется иной раз жить по-людски, и детишек своих иметь, и свой угол... Я ведь всю жизнь по чужим углам, Таисья Петровна, всю жизнь с какими-то непутными людьми... от грубости устал, от нечисти устал, от всего устал... Жизни хочется, обыкновенной, почитаемой. — И вдруг вскинулся, поглядел на нее просяще. — Скажите, смогу я еще, ну, как все... честно... культурно...

— Шли бы вы, Аверьян Герасимович, спать, — сказала с какой-то пробуждающей жалостью Тася. — Выпили и ступайте. Разговоры ваши серьезные, и не сейчас надо об этом: поздно уже да и негрезвы вы.

Карасев слушал, слушал ее, и выражение его глаз начало меняться, появилось в них что-то хитренькое.

— Холодно одной-то спать? — подмигнул он.

— Мы вдвоем, — сдерживая себя, ответила Тася, как будто не заметив перемены в его голосе и взгляде.

— Так то дите, еще смысла не знает.

— Вы, по-моему, сейчас насчет смысла тоже не совсем, — усмехнулась Тася. — Начали вроде бы со смыслом, а кончаете чепухой.

— Я-то? Я — чепухой? Скажешь тоже. Я все знаю, все понимаю. Твое вдовье дело тоже понимаю. Мышь соломку точит, и то... хе-хе... — Он вдруг торопливо обнял ее и, ища мясистыми губами ее губы, невнятно бормотал: — Я знаю... мышь и то хочет... дело вдовье...

— Постой-ка! — сказала Тася таким деловым тоном, что Карасев ослабил объятия. Она встала, оттолкнула его руки и ударила его по щеке изо всей силы. Затем так же деловито сняла с вешалки его доху и шапку. — И быстрее! — приказала она, — а то я еще и поленом обогрею. Культуры... Обыкновенной жизни ему надо! Слизняк! Износился, истаскался... — Говоря так, Тася наступала на Карасева, а он ошарашенно пятился от нее к двери. Только на пороге он опомнился и начал матерно ругаться:

— Н-ну, погоди! — рычал он, натягивая доху, — погоди! Меня-а по морде!.. Я те... Ишь, недотрогу из себя строишь! Знаем мы вас, недотрог...

Тася погасила свет и, прижав к себе Сережку, тихонько всхлинула. Обидно! Случалось и раньше, пробовали ухаживать за ней мужчины, женатые обычно, но делали это не так бесцеремонно. Всегда становилось до того тяж-

ко на душе, хоть волком вой. И почему это так считается, что раз оступившаяся женщина потом только и делает, что без конца оступается и привечает каждого встречного и поперечного. Гадко! Ох как гадко! Сама, сама виновата! Терпи теперь. Еще не все оскорбления и обиды испытала, еще не все.

Спать не хотелось. Она вышла на улицу, прислонилась к дверному косяку спиной и, засунув руки в рукава телогрейки, долго глядела в хмурое зимнее небо. Ни одной звездочки на небе, ни одного огонька в деревне. Тихо вокруг и холодно. Как, в сущности, иногда человек бывает одиноким!

Утром Лидия Николаевна между делом спросила:

— Зачем это Карасев завернул к тебе ввечер?

Тася ответила сердито:

— Перепочевать.

— И как?

— Постель жесткой показалась.

— А-а, подался, значит, на остров, там лучше принимают. Блудит он тут, как кот. Раздолье ему — мужиков мало, а нашего брата много. И потому не женится, стервец! — Лидия Николаевна вынесла ведро на улицу и, вернувшись, добавила: — А он не впервые уходит отсюда не солоно хлебавши. Ко мне тоже как-то на огонек заворачивал.

— Да ну? — поразилась Тася. — Неужели и к вам осмелился?

— А что ж, я ведь тоже вдова, тоже баба, а не мерин, вот и желают иногда мужички, вроде Карасева, выручить!

Тася знала, что хозяйничает в колхозе в основном Карасев, а не правление и не председатель колхоза Зиновий Птахин. Безвольный он какой-то, этот Зиновий, будто мухами засиженный. Говорят, жена крутит им, как захочет, а Карасев, видимо, чем-то и в руках своих зажал. Поди-ка их разбери, что у них там?

Птахину было тридцать два года, а выглядел он, как старая, заезженная лошадь. Голос вялый, походка расслабленная. Делает он все пехотя, словно принудилровку отбывает. Последнее время даже на ругань колхозников перестал обращать внимание, хотя раньше он всякое выступление против себя помнил — и мстил. А еще раньше, когда прибыл в колхоз, был он хорошим парнем и дельным агрономом. Пока не жепился на Кларе Заухиной.

Вначале все шло хорошо. Ну, женился человек, взял городскую девушку. В этом ничего уж такого вроде бы и не было: человек с образованием, агроном, гнет березу по себе. Но потом пошло. Супруга его раздобыла справку, что училась и только из-за нездоровья недоучилась в сельскохозяйственном техникуме, а потому, когда Птахина избрали председателем, она перешла на должность агронома.

Но наступили другие времена. В МТС после сентябрьского Пленума появились новые люди, началась проверка агрономов, и Клару вежливо попросили освободить место.

И надо же было Тасе угодить именно на это место, в этот колхоз! А тут целый узел какой-то, крепко стянутый. Кто его развяжет, когда, как?

А пока в работе и заботах незаметно проходили дни. Все дольше и дольше задерживались парни и девушки в жарко натопленной комнате, которую по старой памяти все называли лабораторией, но которая сделалась скорее красным уголком. Тася читала здесь брошюры и книги, рассказывала о том, что знала сама. Переговорив и поспорив о многом, ребята и девушки пели голосистые деревенские песни.

Начались запытия в агрозоотехническом кружке. Нужно было непременно, еще зимой, начинать подготовку к посадке картофеля и кукурузы квадратногнездовым способом. Тренировки решили проводить прямо на снежном поле. Хватились, проволоки нет. И, как всегда, в затруднительную минуту на помощь Тасе пришел Осип.

— Таясь Петровна, я знаю, где достать проволоку.

— Расскажи, если знаешь.

Осип сообщил ей: в лесу есть старая телефонная линия. Она связывала раньше дальний лесоучасток с леспромпхозом. Лес там вырубил еще в войну, а линию не спяли. Ближние столбы спилили на дрова. Дальше линия почти вся висит на столбах и деревьях. Осип уже несколько лет пользуется алюминиевой проволокой от этой линии.

Тася посоветовалась с Яковом Григорьевичем. Он махнул рукой: дескать, все равно добро пропадает, пользуйтесь без всяких разговоров.

В воскресенье ребята и девушки направились в лес. Почти все были на лыжах. Вдоволь нахохотались ребята, пока немножко научили ее ходить по ровному месту, а с гор она и сама катилась, лихо, с хохотом и — в сугроб головой. Из леса возвращались усталые, но довольные.

— А ведь нам, ребята, пора создавать свою комсомольскую организацию, — сказала Тася, сбросив на остановке с плеча круг проволоки.

— Конечно, пора, — откликнулось сразу несколько голосов. — Что мы, хуже людей?!

— Давайте сначала так сделаем. Соберемся в клубе, всех комсомольцев созовем из бригад, поговорим, с чего начинать, выберем секретаря, а потом в райком комсомола заявимся, вот, мол, пожалуйста, сами пришли, помогите.

— Правильно. А то они пока соберутся к нам, вся молодежь состарится.

— Нужно, Таисья Петровна, из бригад собирать не только комсомольцев, а всю молодежь. Встряхнуть надо наш парод, скучно ребятам и девушкам в бригадах живет-ся, еще скучней, чем нам.

Эту поправку Тася приняла с большой охотой. Она предложила каждому корзинковскому комсомольцу выбрать себе бригаду, в которой он мог бы провести подготовку к собранию.

В колхоз прибыл трактор. Бойко развернув машину возле правления, Лихачев своротил салями старый телеграфный столб и, папая «Три танкиста выпили по триста, а начальник целых восемьсот...», вошел в дом. Его встретили приветливыми возгласами и рукопожатиями. Люди, подобные Лихачеву, обычно бывают почти со всеми знакомы.

Сморщившись от дыма, Лихачев обвел глазами запущенное помещение и покачал головой.

— Ну и учреждение! Чайную восточного стиля напоминает, бандуру бы еще. А ты чего, председатель, уныл, как бапая скамейка? — осведомился Васька, здороваясь с Птахиным.

— Здесь доведут, — буркнул Зиповий и, любезно протянув открытый портсигар, поинтересовался: — Надолго к нам?

Васька от папирос отказался и, не переставая греть руки у раскаленной буржуйки, сообщил:

— На зимний сезон. Имеем приказ навозец возить на поля, создать, так сказать, базу будущего урожая.

— Не Петровна ли потребовала трактор-то?

— Она, кажется.

— Та-ак. Значит, она самоуправничает. Интересно, куда ты думаешь ставить трактор на ночь?

— Право думать я предоставляю вам. Мое дело махонькое — лучше каши не доложь, но от печки не тревожь. — хохотнул Лихачев и повернулся к печке задом. — А вот и агроном Голубева, — кивнул он головой, увидев вошедшую Тасю. — Долгоныко вы, товарищ агроном, спите. Так можно проспать всех женихов.

— Вы трактор не проспите, — огрызнулась Тася и повернулась к Птахину. — Я не успела вам вчера сказать насчет трактора. Нам его из энтээс выделили на вывозку удобрений. Надо стоянку ему отвести. Заправляться трактор будет на складе энтээс.

— С Карасевым говорите насчет стоянки, а мне не до нес. Воп с годовым отчетом замучился. То не бьет, другое не бьет, третьего не достает...

Тася сердито нахмурилась, хотела посоветовать, чтобы он не спал на ходу, тогда сойдется, но сдержалась.

— Нет уж, будьте добры, сами решите этот вопрос, — спокойно отрезала она, — а я к Карасеву не пойду. У меня своих хлопот достаточно. — И вышла из правления.

— Ну, как? — спросил Лихачев. — Я вижу, вы тут ладите!

— Ладим. Мы все тут ладим, да сладу мало. — угрюмо отозвался председатель и, поднимаясь, сказал: — Ты не скаль, Васька, зубы, а давай гони трактор в кузнию, там в пристройке тоже когда-то трактор зимовал.

— Вот и решена задача. Действовать надо, мозгой шевелить, и поднимем мы на небывалую высоту вверенное нам хозяйство! — заключил Лихачев, натянул рукавицы и спросил: — Баян жив? Клуб топлён? Сегодня на танцы прошу, а то вы, я вижу, совсем осатанели от общественных дел и позабыли даже о том, что, кроме труда, существует еще искусство. Так-то!

В конторе захохотали. Даже бухгалтер поднял голову и, взглянув из-под навеса бровей, с улыбкой сказал:

— Ты, Васька, все такой же баламут!

Но Лихачев его уже не слышал, скатываясь по затоптанному крыльцу в новых валенках.

Вечером в клубе гремел баян. Со всех концов деревни тянулся народ к клубу.

Шли, поплясывая от мороза, в капроновых чулках девчата из дальних бригад, неизвестно откуда узнавшие о танцах. Появились даже заречные. У клуба толпились молодые парни, и, когда вышел на перекур Лихачев в коричневом, ловко сидевшем на нем костюме и шелковой рубашке, ребята наперебой начали предлагать ему папиросы.

Девчата танцевали не совсем правильно, но самозабвенно, с душой, наступая друг другу в тесноте на ноги. Из ребят танцевали немногие. То ли не умели, то ли делали вид, будто танцы — это занятие, недостойное мужчин.

Лихачев широко растянул баян, поглядывая на дверь. Показалась Тася, подвязанная белой шалью, в старой, но опрятной полудошке, и Лихачев радостно кивнул ей головой. Она проскользнула на сцену и вышла оттуда в нарядном шерстяном платье. Она немного смущалась тем, что впервые появилась на людях в праздничной одежде, и тем, видимо, что где-то внутри лишила себя права наряжаться и появляться на танцах. Это смущение и неловкость проскальзывали в ее улыбке, в торопливых движениях.

Радостное, теплое чувство подкатило к самому сердцу Василия. Он еще сильнее нажал на кнопки баяна и начал подпевать:

У меня есть сердце,
А у сердца песня...

Потом он громко спросил:

— Хлопцы! Может, кто-нибудь подменит меня? Изнемогаю.

На сцену поднялся смущенный паренек и заиграл единственный в его репертуаре вальс «Дунайские волны». Лихачев соскочил со сцены, приблизился к Тасе, которая все еще стояла, прижавшись к стене, и неожиданно робко попросил:

— Разрешите, Таисья Петровна, пригласить вас на вальс.

— С условием, что вы не будете паясничать. Хорошо? Он покраснел, заторопился, забормотал:

— Конечно, конечно.

И они закружились по старым, щелястым половицам. У Таси немножко перехватило дух. Она танцевала напряженно, боясь выбиться из ритма. Она так давно не танцевала, так давно не танцевала! Пожалуй, с выпускного вечера. Потом не до танцев было. И светлые огоньки заго-

релись вдаль, и едва слышались звуки музыки, сладкой, волнующей, теплой стружкой проникающей в сердце! Будили эти звуки полузабытые воспоминания, и виделась Тасе лупоглазая девочка с острыми плечиками, в светлом школьном зале. На спине у нее напряженная рука подроска, который изо всех сил старался не наступить ей на ноги и смотрел, смотрел на нее. Они, кажется, сидели на одной парте, обещали вечно дружить друг с другом, а она вот даже не помнит сейчас, как его звали — Коля? Толя? Ваня? Да не все ли равно? Главное, что был он, этот мальчик с пушком на верхней губе, был школьный зал с яркими огнями, была музыка, и купалась в ее мягких волнах лупоглазая девочка, и было ей так же славлю, как сейчас Тасе. И пусть всегда будет так, пусть никогда не затухает ощущение молодости и сладкой грусти, пусть звучит музыка.

...И звучала музыка до поздней ночи, а на улице потрескивали от мороза примолкшие избы и сквозь стынущий туман кое-где мигали огоньки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Спустя несколько дней после совещания в МТС в Корзиновку приехал Уланов.

Птахин с интересом присматривался к секретарю, оценивал его, взвешивал. Секретарь не произвел на него пужного впечатления. «Мелковат, нравом застенчив, а тут сейчас надо бы генерала-рубаку, чтобы цыкнул так, что у колхозников дух бы захватило».

Так думал Птахин и докладывал о положении дел в колхозе. Говорил он о колхозе как о безнадежном хозяйстве, явно давая понять: послужил он на посту председателя — и с него довольно. Уланов все больше и больше хмурился. Птахин спохватился и начал сдобривать свой унылый рассказ поправками:

— Конечно, не все у нас так уж плохо. Вот, к примеру, молочные фермы — образцовые, ничего не скажешь. Там Макариха орудует. Бабенка хозяйственная и настырная: из горла вырвет для своих коров.

— Как это для своих?

— Ну, я имею в виду ферменных. Для нее все равно, что свои. Может, с фермы и начнем осмотр пашего хозяйства? Я вам в экскурсоводы агрономшу дам.

— Я не на экскурсию приехал, товарищ Птахин. Агроному и без нас дела хватает.

Птахин нахлобучил шапку и, снимая с вешалки полушубок, пробурчал:

— Как же, дел много! Молодняк в кучу собирает, вечером песняка дерут на всю деревню, книжечки им почиtywает агрономша, шутейные квадраты на снегу делает. Развлекается, словом, как умеет, сглаживает серые деревенские будни.

— Сама не спит и другим не дает, да? — скосив глаз на Птахина, сказал Иван Андреевич.

— Пустозвонов да тех, кто спектакли умеет представлять, у нас и без нас хватало. Вот только работать некому. Пойдемте, я вас сам провожу.

На улице он открыл портсигар с двумя легавыми собаками на крышке, протянул его Уланову.

— Курите?

— Спасибо, я свои. — Прикуривая из лодочкой сложенных ладошей, Уланов искоса рассматривал лицо Птахина, на котором застыли равнодушие и сонливость.

— Вы что же, Зиновий Константинович, махнули, значит, на хозяйство рукой? — заговорил Уланов, шагая по усыпанной сеной трухой дорожке.

Птахин затаился, выпустил клуб дыма и проводил его взглядом в небеса.

— Это что же, на совещании меня так аттестовали?

— Нет, я сам вижу.

— Ах, сами! Тогда другое дело. Только первые впечатления часто обманывают.

— Разумеется, разумеется. Я конечных выводов не делаю.

— Когда человек с чинами делает конечные выводы, то у нашего брата жизнь печальная получается. Не дай Бог дожить до конечных выводов.

— Да-а, пожалуй, — заметил Уланов. — Не советую.

Дальше шли молча. Крутила поземка. Ветер в куделю растереблял дым над домиком, стоящим перед двумя длинными помещениями молочных ферм. Пока шли по открытому месту, от деревни до фермы, снег успел насыпаться за воротник и щекотно там покалывал.

Вошли в помещение. После несильного, но пронзительного ветра ферма показалась тихим, сонным царством. Секретарь ничего не видел сквозь затуманенные очки, но уже уловил давно забытые запахи перепревшего сена,

резко бьющий в нос аммиачный дух. Слышались сопенье и вздохи коров, слышалось, как они леживо переваливали во рту жвачку.

Уланова охватила какая-то тихая грусть, и, пока он вытирал очки, перед ним промелькнули давно забытые картины: изба на краю старинного сибирского села, крытая не то тесом, не то дранкой. Дранкой, наверное: где было достать тесу ссыльному отцу? Сзади избы стайка с подслеповатым окном. И в этой стайке был точно такой же запах, такие же задумчивые коровьи вздохи. В окошко железными вилами выбрасывал навоз удивительно знакомый мальчишка. Корова сторонилась, наблюдая за его торопливыми, не всегда удачными бросками. Мальчишка побаивался добродушной коровенки и, держа наготове черенок вил, покрикивал: «Бодни попробуй! Я те бодну!..»

Очки уже протерты, водворены на место. Вот на табличке написано: «Зойка». Из стойла выглядывала чернявая шустрая коровенка и норовила кривым рогом смахнуть жердь-затвор. «А как же ту тихую корову звали? Чалухой? Ну да, Чалухой». Помнится, отец партизанил, корову забрали белые и, когда ее уводили со двора, мать, глядя в замерзшее окно, на котором ребята отдышали пятпышко, по-деревенски, громко завывала: «Кормилица ты наша, Чалушенька... Теленочком, ведь теленочком я тебя, милую, взяла... Как жить-то без тебя, родная?..»

Иван Андреевич без надобности поправил очки, и видения исчезли. На него уставилась Зойка фиолетовым, как слива, глазом.

— Ну что, Зойка, как жизнь твоя молодая протекает? — с улыбкой спросил Уланов и погладил ее между рогами. Зойка доверчиво потянулась к нему, шумнодохнула в лицо. — Угощения требуешь? А я недогадлив. Плохо, видно, кормят тебя тут? Плохо, да? Считаю, что ты корова сознательная, без корму выдашь цистерну молока...

— Насчет кормов, оно, действительно, у нас полная прореха, — услышал Уланов и оглянулся.

За ним в подшитых валенках, в старинной барашковой папахе стоял старик с маленьким сморщенным лицом, на котором резко выделялись кругленькие светлые глаза.

— Пастух Осмолов, — представил его Птахин, — между прочим, лучший пастух в области. На разные совещания ездит и все такое.

— Слышал, слышал о вас, товарищ Осмолов. Рад познакомиться.

Осмолов ответил на рукопожатие своей сухой, цепкой рукой и пошел впереди.

— Так вот, — говорил он на ходу, — оно, конечно, неудобно при председателе критику паводить, но я скажу, пусть хоть разобидится, потому что хозяйство вести — не штанами трясти. Я летом холью коров, кормлю каждую чуть ли не с руки, а зимой их в могилу сгоняют, березовой да осиновой кашей кормят. Сами бы березу-то без ничего погрызли, а после этого их за дойки потягать. Какое выражение на лице будет?..

— Ладно, довольно, — насутился Птахин, — слышали все это не раз. Побереги запал до отчетного.

— А я и на собрании скажу, не заробею, и сейчас скажу, не только для тебя, а может, и для нового человека, товарища секретаря. Ну, чего, Туалета, глядишь на меня? Дочку ждешь? Милая, дочку! Эх ты! Жалко, язык у тебя мычать только умеет, а то бы ты сказала словечко, хоть и волк недалечко. На-ко вот, разговейся маленько, — и старик сунул ей в губы черную корочку хлеба.

Корочками и кусочками у него были набиты все карманы. Каждую корову он оделял этими корочками, с каждой вел разговоры, и в дальнем конце фермы коровы, высунувшись, поджидали его, некоторые жалобно мычали, словно жаловались.

— Иду, иду! — крикнул Осмолов и, повернувшись к Уланову, сказал: — Вот Туалета — гордость нашей фермы, умница наипервейшая. Мои разговоры до тонкости понимает. Словом, королева. Я ей и имя дал заграничной королевы.

— Это какой же?

— А бес ее знает. Впук читал книжку вслух, и больно мне приглянулось имя той Марьи Туалеты.

— Стой, дедушка, ты, очевидно, разговор ведешь про Марию Антуанетту, французскую королеву?

— Может, и французскую. Слышь, Туалета? Французское имя-то у тебя, оказывается. — И старик подмигнул белой корове с черными пятнами над усталыми глазами, с округло раздувшимся животом. — Ну, побереги себя, ложись, ложись. Я еще приду к тебе, приду.

Корова отступила назад, грузно потопталась и начала осторожно ложиться.

— Во-во, так, умница, не ушиби его, не ушиби теле-ночка-го.

Прибежала Лидия Николаевна, раскрасневшаяся от мороза. Птахин представил ее. Иван Андреевич протянул руку. Лидия Николаевна, прежде чем поздороваться, вытерла свою руку о передник, чем немало смутила секретаря, и проговорила:

— Вы уж извините, что не могла вас встретить. В поле ходили за соломой. Сено кончается, так теперь уже наполовину даем, а что будет к весне — уму непостижимо. Чего морщишься, председатель? Неприятно слушать?

— Привык уж ко всяким разговорам.

— Оно и видно. Только от твоих привычек колхозу пользы никакой.

— Вон как! С каких это пор?

— Тебе это лучше знать, подумай, если забыл, времени у тебя свободного много. А сейчас вот что объясни: почему не разрешаешь силосные ямы открывать? Почему кормозапарники до сих пор не подготовлены?

— У меня, кроме фермы, есть над чем голову ломать. Это раз! — обозлился Птахин. — И если по вашему разумью, сгравить сейчас коровам сено, силос, солому — весной повезем скот на живодерню? Это два!

— С осени надо о зиме-то думать, с осени, — ввернул Осмолов, — а когда промотаешь ворохами, трудно собирать крохами. Нечего на коровьем брюхе экономить. Скоро отел начнется. Не маленький, понимаешь, что это такое.

— Ладно, отложите критику до отчетного, еще раз говорю.

— Конечно, и там потолкуем, — сдвинула брови Лидия Николаевна. — Но и сейчас слушай, да не ворота нос-то, не ворота. Хвастать фермой вы с Карасевым любите, а у нас на плечах уже коросты от вязапок. Ветку на себе таскаем, солому тоже. Замучились от тяжелой работы. Ладно, еще девчата не разбегаются. Твою бы Клару сюда!

— Клара не по своей воле дома сидит, — вспыхнул Птахин и торопливо добавил: — Что-нибудь придумаем насчет подвозки кормов. Чего это Карасев делает? Кругом завал!

— Карасев твой по бабам таскается. Ему некогда о колхозе думать.

Уланов не проронил ни слова. Его, производственника, коробили такие разговоры. В цехе так никогда не по-

лучалось, чтобы люди работали, старались, а начальники не знали, что у них и как у них. Ходили бы себе где-то, выпивали, блудили, а потом вот так, явившись перед этой женщиной с усталым лицом, огрызались потихоньку. Все закипело у него внутри, и, едва сдерживаясь, чтобы не повысить голос, Уланов сурово сказал:

— Вот что, товарищ Птахин, не что-нибудь придумаем, а немедленно организуйте подвозку соломы и сена трактором, который вам прислан. Так? Прикажите открыть silosную яму и организуйте подвозку silosа прямо к ферме. Когда будет создан запас кормов у фермы, поставьте на постоянную подвозку веток и корма двух лошадей, в их числе и ту, на которой катается ваш заместитель Карасев. Это обязательно! Все! А вам, товарищ бригадир, я не рекомендую таскать вязанки и тем более заставлять это делать девушек. Как я понял, ваши непосильные труды лишь расхолаживают руководителей колхоза.

Лидия Николаевна вся подобралась, услышав такие, непривычные в колхозе, категорические приказания. Ответила она строго, с достоинством:

— Мы ведь не ради удовольствия вязанки таскаем. Конечно, это не спасение. Надолго ли нас хватит? Хорошо, если вы свои указания потом проверите. — Лидия Николаевна покосилась на Птахина. — А то ведь у нашего начальства память короткая.

— Я — производственник и привык, чтобы мои приказы выполнялись без проволочек. Я людям доверяю всегда и проверять их на каждом шагу не считаю нужным.

— Слышал, председатель?

— Слышал. Постараюсь оправдать доверие, — с кривой улыбкой ответил Птахин. Но в голосе его иронии не было.

— А ферму в самом деле можно сделать неплохой, — как бы сглаживая резкость, произнес Уланов. — Люди здесь хорошие, постоянные хозяева, и вы, Зиновий Константинович, напрасно руки опустили. Кто меня сегодня почевать пустит, товарищи?

— Милости прошу к нам, Иван Андреевич, в тесноте, да не в обиде, — пригласила Лидия Николаевна.

— К нам, пожалуйста, — неуверенно промямлил председатель.

Осмолов тоже позвал к себе, но Уланов отказался:

— Пойду я к бригадиру. Мне нужно о многом с Тасисей Петровной поговорить. Кстати, где она?

— Угнала Ваську Лихачева с трактором в заречные бригады и сама с ним уехала, удобрения повезли.

— Как у них дела?

— Покусывают друг друга, острозубы.

— Только у агрономши-то зубки вроде поострее, — улынулся пастух Осмолов.

— Это так, — мрачно подтвердил Птахин.

Уланов посмотрел на него и снова нахмурился.

В деревне уже зажигались огни. Лидия Николаевна и Осмолов больше не донимали председателя разговорами, а сам он в драку не лез. Птахин шел, попыхивая папироской. Чувствовал он себя отвратительно. Ждал нового секретаря, хотел с ним о многом переговорить, выложить все, что лежит грузом на душе, а получилось нескладно: улыбочки, усмешечки и все такое. «Откуда и лезет все это? Да и секретарь тоже силён. Появился первый раз в колхозе, а уж командует, как взводный. Впрочем, у нас сейчас так и падо. Распустились мы, расслодели. Трясти всех следует, покрепче, чтобы дремоту согнать».

Птахин обернулся, увидел, что Лидия Николаевна, Осмолов и Уланов о чем-то оживленно разговаривают. Одинокое ему сделалось, он свернул в переулок, бросив на ходу:

— До свидания. Спешу. Завтра увидимся.

— Всего доброго, — отозвался Уланов. Осмолов с Лидией Николаевной не сказали ничего.

Осмолов семенил, послежая за широко шагающей Лидией Николаевной, и что-то тихоночко наговаривал. Как только поравнялись со старым насулившимся домиком, стоящим чуть на отшибе, пастух начал прощаться:

— Вот и хибара моя. Прощевайте, товарищ новый секретарь. Может, скоро уедете, так прошу вас любезно, походатайствуйте насчет наших коровушек. Не пришлось бы шкуры с них снимать. Подсобите сенцом. Вам сподручней просить. Вы все ходы и выходы знаете, товарищ новый секретарь.

Старик усиленно пажимал на слова: «Товарищ новый секретарь». Уланов сразу уловил его хитрость — хочет сыграть на честолюбии и проиять этим. Иван Андреевич про себя улыбнулся и промолвил:

— Хорошо, дедушка, ты уж извини, что я тебя так.

— Ничего, ничего, так лучше, попросту-то, мы не крапцуского происхождения. — В голосе старика явно сквозило: хоть, мол, горшком пазови, только уважь.

И Уланов, погасив улыбку, серьезно ответил, сознавая, что слова его должны стать делом и что завтра же, если не сегодня, они станут известны всему селу:

— Так вот, дедушка, обещать быстро обеспечить ваш колхоз кормами я не могу, но падежа скота — не допустим, за это будь спокоен.

— И на добром слове спасибо. Нам бы только до травушки весенней их, сердешных, дотянуть, а там уж я выхожу... Ну, прощайте, заболтался я на морозе-то. И уже вдогонку крикнул: — Так, значит, Лидия, обскажи, как следует быть все, не забудь.

— Ладно, сват, не забуду. Ступай, ступай, холодно ведь.

Калитка хлопнула, и в ограде раза два твкнула собачонка, видимо, для того, чтобы напомнить о своем присутствии.

Ветер стих. Кругом потрескивало и что-то все время скрипело, словно шло по деревне множество лошадей с санями. Где-то пилили дрова. Вот пила попала на сучок и раздались такие звуки, которых зубы боятся. От реки, нарастая, доносился рокот трактора.

— Таисья едет, — кивнула головой Лидия Николаевна, — заколела, наверно? Валенок-то нет, а Юркины не надевает — страшны кажутся.

Уланов прислушался к шуму трактора и, засунув руки вместе с перчатками в боковые карманы полупальто, казавшегося сейчас тонковатым и коротковатым, спросил:

— Лидия Николаевна, а почему Осмолов живет в такой плохой избе? Неужели он лучшую не заработал?

— И не одну, — подтвердила Макариха. — Но в пустые избы не идет он, своя, говорит, ближе к сердцу, а новую выстроить не на что. Здесь деньги водятся у тех, кто в колхозе не работает, но колхозным добром умеет пользоваться. Вообще-то в жилье нужды у нас нет, хоть и не строим. Домов пустых сколько угодно: побросали люди, в город подались. Там в комнатухе ютятся, на квартирах, а назад придут, когда им калачей напекут.

— Неправда, начали возвращаться. Некоторые уже в своих деревнях работают.

— Но не наши. И рады бы иные, да при таком руководстве не вернутся.

— Хорошо, Лидия Николаевна, мы еще поговорим. А Осмолов заинтересовал меня очень.

— Вот наша с Таисьей изба. Вот вам веник.

Пока Иван Андреевич обметал валенки, а обметал он их очень тщательно, Лидия Николаевна рассказывала:

— Осмолов и фамилии своей не знает. Сирота он пришлый. Кто-то дал ему прозвище, по-видимому, кулак тот, у которого он в детстве коров пас. Видели, у него верхняя губа ровно пчелой укушена, вот по ней и прозвище — Губка — получил. С прозвищем дожил до колхоза. Вступить стал — мы ему фамилию всем колхозом придумали, пашу, уральскую. Больше двадцати лет он наших колхозных коров пасет. Из-за него, можно сказать, и стадо у нас было лучшее в районе. Хороший старик. Только Карасева да председателю жену ненавидит, а те его. К слову, правильно он делает: они только и норовят что-нибудь выбраковать для районного начальства... Вот сюда идите и пригнитесь, а то шишку посадите, тут низко.

Улапов шагнул в сенки, нашарил холодную, скользкую скобу и открыл дверь, обитую тряпками, обмерзшую и оттого тяжелую. Сначала он ничего не мог разглядеть, а когда протер очки, первое, что ему бросилось в глаза, — это множество ребят, и все черноглазые.

— Здравствуйте, народ честной! — сняв перчатки, с улыбкой сказал Улапов.

Недружный хор отозвался в ответ.

— У нас тут семейно! — рассмеялась Лидия Николаевна. — А ну, ребята, быстро наводите порядок в избе, и за дровами. Печку топить будем. Иван Андреевич, вы проходите, в ногах правды нет. Перешагивайте тут через корых.

Наговаривая так, Лидия Николаевна развязывала шаль, ногой поправила половики. Затем она поставила трубу на самовар, замела стружки в угол к печке.

«Честной народ» толкался возле нес. Юрий принес с улицы охапку дров и, сбросив галоши, тоже шмыгнул на печь.

— Стоп, старшой! — скомандовала Лидия Николаевна. — Натягивай валенки и шагом марш к Августе, сам знаешь зачем.

— Откуда у вас целая рота и которые ваши? — оглядевшись и попривыкнув к обстановке, спросил Уланов.

— Трое моих-то. Четвертый убежал только что. Его Юрием зовут. А эти вот Якова Качалина. Эти вот трое Августы Сыроежкиной. Та девочка доярки нашей — не с кем оставить дома. А этот вот, большеглазенький — Тасыйн. — Лидия Николаевна мимоходом прижала к себе

управшегося Сережку и на ходу продолжала: — И не болеет он, а все тощий. Вот она, интеллигентская-то кровь. Мои вон картошку с солью наворачивают, а кожи на них не хватает, коротка.

— Серьезно, ребята у вас здоровые, особенно этот вот, солидный человек. Тебя как звать?

— Васюхой. А твое как фамиль?

— Моя? Дядя Ваня.

— Это не фамиль, — пробасил Васюха и, заметив какие-то знаки с печки, спросил: — А раз ты начальник, то почему не на «победе» присхал и почему медалев нет?

— Матушки мои родимые! — вслеснула руками Лидия Николаевна. — Вот так грамотей стал! Медалев нет! Медали только такие, как Карасев, цепляют на что попало, а другие хранят до поры до времени. Поизитно тебе?

Васюха закивал головой, подтянул штаны и еще что-то хотел спросить, но в это время в избу молнией влетела Тася и, стукая ногой об ногу, начала раздеваться.

— Ой, тетя Лида, как я замерзла, вы бы знали... мочи нет...

Лидия Николаевна обернулась к Уланову, чуть заметно подмигнула и, неся самовар на стол, проговорила:

— На тракторе, да с таким трактористом, да в таких резиновых ботах мерзнуть?! Стыдилась бы говорить. Кто тебе поверит?

— Вы еще измываетесь надо мной? — запричитала Тася и, шагнув из-за печки на свет, вскрикнула: — Ой, Иван Андреевич, ой... извините. Не заметила. И Макариха помалкивает. Хоть бы шикнула...

— Да я уж паникалась.

— А ну вас, тетя Лида, вы всегда меня разыгрываете. Здравствуйте, Иван Андреевич, извините, что я босиком, правда, ноги очень замерзли.

— Да ничего, ничего, грейтесь вон у печки железной. Ребята крешко ее распевелили. Бушует, как мартен.

— Ох, благодать какая! — став близко к печке, выдохнула Тася и сморщилась. — Только пальчики щиплет очень.

— Вы их снегом, Таисья Петровна!

— Что вы, Иван Андреевич, подуматъ боязно о чем-нибудь холодном. Тетя Лида, у меня тепло или нет?

— Я днем прибежала, затошляла, да сейчас, поди, выстыло. Ночуйте здесь, а чтобы картошка не замерзла в подполье, я вон ребят царяжу еще раз протопить. Сама-

то не ходи: небось, все селезенки с мороза дрожат? Много удобрений перевезли?

— Одни сани известны, а навоз целый день развозили. Дорог нет, навоз смерзся. Васька Лихачев, оказывается, сообразительный. Видит, что женщинам тяжело долбить навоз, зацепит тросом кучу, ка-ак поперет! А то гусеницей мерзлое продавит, и скорее получается. Но мало пароду, ой мало, а работы, работы... Тетя Лида, не томи, налей чайку.

— Гостя-то постыдись. Кто же вперед гостя угощения просит?

— Он ничего, гость сознательный.

— Эх ты, хохлушка моя, — проходя мимо, ласково теребнула ее за завиток Лидия Николаевна и проворно исчезла в подполье. Ребята с печки единодушно проводили ее взглядом, и среди них началось оживление. Они видели, что Лидия Николаевна спустилась в подполье с вазой. Пустив клуб пара, в избе появился запыхавшийся Юрий.

— В подполье не упади! — предостерегли его с печки.

Он вытащил бумажный сверток, из которого торчали мокрые хвосты селедок.

— Вы такие хлопоты развели, — смутился Уланов. — Знал бы, в энтээс ночевать убрался, неудобно.

Вылезая из подполья, Лидия Николаевна певуче заговорила:

— Стесняться, Иван Андреевич, не следует. Таисья вон тоже пробовала сначала стесняться, да поняла, что это ни к чему. Если хотите знать, в деревне душевные-то разговоры за столом и начинаются. Пришел человек чужой, сел за один стол — и уже свой. У нас говорят: «Не дорого угощение, дорого приглашение». Так что уж чем богаты, милости прошу к столу.

— Что же, покоряюсь, — поднялся Уланов. — Только ребяташки куда уместятся?

— Об этом не горюйте. Ребята обижены не будут.

Но Лидия Николаевна говорила это только так, для проформы. Ребята ее были воспитаны в строгости и за один стол со взрослыми не лезли. Им накрыли на кухне.

Прибежала Августа Сыросжкина и, увидев, как ребяташки работают ложками за кухонным столом, принялась браниться:

— Лидия, зачем моих-то кормишь? Дома ничего не едят, а у тебя мнут, ровно мельницы. Картошка, что ли,

тут слаще? Гляди-ко, чего делается! Им ведро на всех-то надо, объедят они тебя.

Тут Августа шагнула в горницу, увидела гостя, сконфузилась, стала извиняться. Поотказывавшись для приличия, она тоже села за стол.

— Наша беда и выручка! — отрекомендовала ее Лидия Николаевна и с оттенком гордости прибавила: — Единственный в райпотребсоюзе продавец, проработавший двадцать лет за прилавком.

— Ну уж ты скажешь, — отмахнулась от нее Августа.

Двадцать лет назад появилась она в «потребилровке» робкой, неповоротливой девкой и, стараясь что-нибудь не уронить, прибирала за прилавком и в помещении. Миша Сыроежкин орудовал за прилавком, с карандашом за ухом, довольный, подвыпивший. Когда не было народу, он посвящал ее в мудрости торгового дела:

— Гляди, Гуска! — поучал ее он и виртуозно бегал пальцами по костяшкам счегов, словно баянист, играющий «барыню». — Примерно шикаладная конфетка стоит двадцать копеек. Ты взяла шикаладку за двадцать, так? Гляди теперь сюда! Двадцать по двадцать! Рупь двадцать! Папиросы брала? Нет. Сорок копеек, — прибавлял он четыре косточки на счетах. — Чай брала? Нет. Пятьдесят копеек и плюс червонец. Что у тебя в кармане лежит? Итого двадцать рублей с гривенником! — подытоживал Миша, довольнехонький тем, что ошарашил ее.

Когда Августа поняла, что своих «отменных» познаний Миша на практике не применяет, пренебрегая теми благами, которые могли сыпаться на него за счет корзиновских жителей, она прониклась к Мише глубокой симпатией. Миша, в свою очередь, почувствовал влечение души к тихой, не испорченной вниманием со стороны корзиновских царшей, уборщице. В один прекрасный момент он сказал, что ей пора замуж. Дальнейшие объяснения были очень отрывисты, невняты и за давностью лет забылись.

Августа скоро уяснила, что иметь мужа-продавца такого, как Миша Сыроежкин, нет никакого смысла. Свой заработок он расходовал без отрыва от производства, и иногда еще и ей приходилось расходовать свои маленькие сбережения, чтобы покрыть Мишины долги. Было целесообразнее удалить Мишу из магазина и самой занять эту столь искустительную для него должность.

И сколько в Корзиновке с тех пор произошло всячес-

ких событий, сколько людей перебивало на беспокойных должностях, Августа неизменно несла торговую службу.

Всегда эта женщина умела узнать о чужой нужде, помочь людям. Другой раз помощь ее и не велика, да оттого, что ко времени, особенно ценная. Одному она из продуктов что-нибудь в долг отпустит, у другого гость нечаянный, а попотчевать нечем. Поможет человеку, свои деньжонки вложит, но выручит односельчанина. В любое время дня и ночи Августу можно разбудить и попросить то-вару. Если случался Миша дома, то он клял такого человека и свою жену, ссылаясь на законы, которые-де попирались в Корзиновке самым беззастенчивым образом.

Люди за добро умели платить добром. Когда в войну случилась недостача, Августу не оставили в беде. При получении на базе товаров какой-то проходимец падул Августу. Правление колхоза, колхозники, все жители близлежащих деревень написали письмо прокурору, сами съездили и просили за нее, а когда прокурор разрешил покрыть недостачу без суда, всем миром собрали деньги, кто сколько мог.

К удивлению своему, Уланов чувствовал себя за столом, среди женщин, как дома. Простота, неподдельная искренность его собеседниц невольно располагали к ним. До сегодняшнего вечера он чувствовал себя стесненно в обществе женщин. Он умел легко и свободно держаться на производстве, с горожанами, особенно с мужчинами. Уланову казалось, что он не вдруг сможет найти общий язык с деревенскими жителями. Такое ощущение порождало отчуждение, и с болью в душе воспринимались намеки на то, что-де в селе он — залетная птица. А вот сейчас Иван Андреевич совсем ясно осознал, что его роднит с деревенскими жителями общность интересов, единое дело. И когда он понял, что работа его в селе — дело не временное, что от него многого ждут, от него многое зависит, когда он почувствовал себя частицей большого коллектива, земля под ногами стала казаться ему тверже.

Да, здесь не тот коллектив, который собирается в цехе. Колхозный народ разбросан по деревням, мало общается между собой, но все-таки коллектив есть. Его нужно собрать, заново сколотить. Народ здешний мало похож на цеховой. Есть люди, с которыми ему предстоит воевать, которых не сразу поймешь, проймешь и раскусишь. Но Уланову было уже и то отрадно, что вот эти три женщины готовы всегда прийти на помощь, взяться за любое дело,

пусть даже самое трудное. «Если такому народу вручить колхозные дела, можно будет работать и корчевать всякую нечисть, успевшую пустить корни в деревенскую жизнь», — размышлял Иван Андреевич.

За столом о многом переговорили. Уланов теперь почти ясно представлял себе положение, в котором паходился корзинковский колхоз. Тася больше слушала. Она лишь изредка вставляла свои замечания, иногда поддакивала Лидии Николаевне. Уланов ел с аппетитом и поглядывал на нее, как бы приглашая принять участие в разговоре.

— Я времени попусту не теряю, — сказала Тася и кивнула на чашку с картофелем, — и вам не советую особенно в рассуждения пускаться, тут народ проворный.

Разогревшись, она беспрестанно пымгала посом, часто доставала из-за рукава платок. Поужинали. Августа одела своих ребятишек и ушла. Уланов закурил.

— Что же это вы не бережете себя, Таисья Петровна? — с укором сказал он. — Если не можете из зарплаты выкроить денег на валенки, попросили бы ссуду. Нельзя же в морозы работать в этих скороходах.

— Я закаленная, — отшутилась Тася.

— Напрасно храбритесь, — упрекнул ее Уланов и в силу давней привычки зашагал по избе от стола до порога и обратно. — Ну, а как живется, работается? Вижу, мира у вас с председателем нет.

— Не говорите, — махнула рукой Тася. — Я начинаю у себя обнаруживать дурные черты в характере. Раньше как-то не приглядывалась к себе, а теперь приходится. Вот испортила отношения с колхозным начальством.

— Если только с начальством, то для агронома это еще полбеда. Может, я неправ?

— Если бы только с начальством, я бы и не чихала сейчас.

— Признаться, я всегда думал, что вы принадлежите к числу тех счастливых людей, которые могут вызвать сочувствие, возможно, снисходительность, но не злобливость.

— Именно снисходительность! Это сильнее всего за живое берет. Да и не это больше, а глухая стена какая-то. Хорошо иметь такого противника, которого сразу раскусишь и уже можно с ним побороться. А вот ехидная улыбочка, подковырка... и противника-го будто бы нет. Вон иные слушают меня, соглашаются, даже в гости приглашают, а делают все по-своему. В глаза называют: «Товарищ агрономша», а за глаза — «Кнопка».

— Трудно обжиться в деревне, трудно, — заключил Уланов, и Тася поняла, что он это не только о ней.

— Самое скверное, что чувствую я себя здесь между небом и землей, — продолжала она. — Я не колхозная — эмтээсовская. Поэтому ко мне относятся, как к разным докучливым уполномоченным. Агроном тогда агроном, когда правление с ним считается и через него осуществляет все полевые работы, согласует будущие планы. Чтобы он не был, как слепой котенок. Если председатель правления не самодур, подменяющий собой и правление, и агронома, тогда так и будет. А попробуйте с нашим договориться. Он все выслушает, внимательно выслушает, а у самого вид такой, будто он говорит: «Цыпа! Чего ты мельтешишь перед глазами? Получаешь зарплату — и ладно». Заговорила я с ним об укрупнении полей. Хочется к весне хоть частично ликвидировать эту лоскутную сетку, навести хотя бы относительный порядок в севооборотах. А он мне в ответ палеки бросает. Мол, все мы так горячились и мечтали произвести революцию в земледелии!

— Да, так и в самом деле можно себя лишним человеком почувствовать.

— Нет, не то чтобы лишним, а не необходимым. Вы понимаете, вот я работаю, бегаю, выискиваю себе дело и все кажется: это только мне и нужно. Понимаете? Очень уж больно сознавать, что и без меня при нужде могут обойтись. Я ведь мечтала, много возлагала надежд на эту мою первую, большую работу.

— Наговаривай на себя, наговаривай, — зашумела из горницы Лидия Николаевна. Она взбивала подушки и, очевидно, не пропускала ни одного слова. — Не слушайте вы ее, Иван Андреевич. Чисто девичья привычка прибедняться. Это она оттого, что гришует. Ну немного пусть, да уже успела сделать: сумела познакомиться с людьми, занятия с молодыми паладила, вывозку удобрения тоже, шефство леспромхоза над бригадами организовала. Разве же это не дело? Чего ты, в самом деле, хотела сразу переворот в Корзиновке произвести?

— Да нет, куда мне? Я просто не могу удовлетвориться тем, что делаю. Мало этого, очень мало.

— А ну тебя. Не хочу слушать и ругаться при госте. Эй, ребята, долой с печки на свое место, пусть там агрономша прогреется, а то у нее эта, как ее, мигрень от насморка.

Уланов рассмеялся:

— В самом деле, Таисья Петровна, вид у вас усталый. Кстати, раз уж вы были в леспромхозе, у меня к вам предложение.

— Пожалуйста.

— Директор леспромхоза — мой старый знакомый. Видел я его недавно, и он очень просил меня прислать Лихачева, чтобы тот помог организовать кружок художественной самодеятельности, и человека, который бы прочитал лекцию о выращивании овощей в уральских условиях. У них там много переселенцев приехало, они желают поучиться. Может быть, вы согласитесь?

— Что вы? Что вы, я никаких лекций не читала!

— Вот вам первая возможность. Подготовитесь и прочтете. Людей поучите и сами в аудитории держаться приучитесь. Агроному это тоже необходимо. Договорились?

Тася ответила не сразу. Она приложила пальцы к горящему виску, потеряла его.

— Знаете что, Иван Андреевич, я, пожалуй, поеду, но только дня через три-четыре. Надумали мы тут провести молодежное собрание. Мне на нем быть необходимо.

— Отлично. Такие вещи я от всей души приветствую и постараюсь обязательно на этом собрании быть.

Тася задумалась, потом подняла на Улапова глаза:

— Вы меня извините, Иван Андреевич, но на это собрание я попрошу вас не приезжать. Нам надо собраться одним, поговорить обо всем неофициально. Это даже не собрание будет, а скорее молодежный вечер. Наша задача создать коллектив, сгрудиться. Потом уж милости просим, а сейчас, извините, ребята засмущаются, будут чинно держаться...

— Хорошо, хорошо, соглашаюсь и на это. — Иван Андреевич прошелся по комнате, остановился против Таси. — Но, знаете, не удержусь, чтобы дать совет. Уж такая у меня привычка, — развел он руками. — Так вот, коллектив создается в труде, по своему опыту знаю. И вы поменьше заседайте, а побольше работайте, веселитесь. С вывозкой удобрений у вас дела обстоят неважно. Вот вам случай. Бросьте ключ: на воскресник!

Иван Андреевич зашагал по комнате, увлекся и заявил, что свяжется с секретарем комсомольской организации завода, чтобы заводская молодежь тоже приехала на воскресник. Таким образом начнется содружество сельской и городской молодежи, а это сейчас очень важно.

— Да, это было бы просто здорово, если бы нам уда-

лось сдружиться с городскими комсомольцами, — обрадовалась Тася.

— К следующему воскресенью готовьтесь. А пока проводите собрание — и в леспромхоз. Долго там не задерживайтесь. Кстати, я выкупаю своему другу подписные издания и новинки приобретаю. Вы не откажетесь их передать?

— Сделайте одолжение, присылайте. Передам с радостью. А сейчас спокойной ночи, Иван Андреевич.

— Спокойной ночи.

Тася забралась на печь. Лидия Николаевна дала ей какой-то порошок в пожелтевшей от времени бумажке.

Тася проглотила его и очумело замотала головой.

Порошок был до одури горький. Лидия Николаевна заботливо укутала ее одеялом, набросила полушубок.

— Не расхворайся, хохлушка моя, — потрепала она по голове Тасю, — грейся как следует и спи.

Лидия Николаевна осторожно спустилась с приступков, ушла в горницу. Тася слышала, как там еще долго разговаривали вполголоса. В разгоряченной голове ее быстро или медленно, как на тормозах, проплывали разные события и люди. Можно было подумать, что кто-то без разбора склеил разнообразные кадры в одну ленту и она разматывалась, показывая в хаотическом нагромождении немые и бессмысленные картины.

Тася открывала глаза, и видения исчезали. Но все чаще и чаще возникало перед ней одно и то же лицо с тонкими чертами, в которых таилась молчаливая печаль. Лихачев? Да, да, это он. Вот и папироска у него картинно торчит в уголке рта, и зубы сверкают на чумазом лице, и балагурит он беспрестанно. Бесшабашный парень! А глаза у него невеселые. Никак не распознаешь: что затаилось в этих глазах?

Уже много дней проработала Тася вместе с Лихачевым. Они по-прежнему острословят, будто находят в этом удовлетворение. А у Таси вовсе нет желания донимать его колкостями. Ей спросить хочется, что у него на душе, отчего он вдруг то озорной делается, то злой, то молчаливый и замкнутый.

И страшное дело. При всей своей неуравновешенности, Лихачев ни разу не позволил по отношению к Тасе какой-нибудь гадости. Наоборот, он с шутками и прибаутками умел незаметно услужить, вовремя прийти на помощь. С каждым днем Тася все больше проникалась к

нему уважением и доверием. А то плохое, что говорилось при ней о Лихачеве, она уже не могла принимать безоговорочно. Она ведь иной раз, пусть не всегда, уже различала за его поступками что-то скрытое от других. А скрывает он как раз то, что иные люди стремятся выложить напоказ, и щедро разбрасывается тем, чего другие не только показывать, но и признавать в себе не желают. «Интересные люди живут на свете, — уже в полусне размышляла Тася. — Они, как огромная тайга, в которой все деревья издали похожи друг на друга, а на самом деле разные, со своими корневищами, со своей сердцевинной».

И вот уже перед Тасей возникла тайга, огромная, неоглядная, зеленая. Качалось, ходило зеленое море тайги, ходили из стороны в сторону вершины елей и пихт, скрипели старые, окостенелые сухостойны.

А у ног Таси прилегли тихие сумерки. Хвоя рыжая и особенно заметная в этих сумерках, ох и горячая же она! Колет хвоя и жжет, кругом колет, всю колет. Надо бы подняться, перелечь на другое место, но хвоя горячая, а Тасе велели хорошо прогреться, она немножко простыла. Сверху к ней с тихим шорохом склоняется суковатая елка. Но тут же елка расползается, и на ее месте уже Васька Лихачев. На голове у него венок из хвойных веток. Он снимает его, церемонно раскланивается, прикладывая к груди уже не венок, а затрепанную кепчонку. Отовсюду у него торчат сучки. Тася тянется, хочет их обломать, но Лихачев болезненно морщится, а потом с хохотом убегает и, прислонившись к большому дереву, прячется за ним. Тася беззвучно зовет его: «Вася, Вася, не смейся, я ведь вижу, по глазам вижу — тебе не хочется смеяться». И тут же на Тасю с шумом и треском начинает валиться та самая ель, за которой спрягался Лихачев. Тася вздрагивает, пытается вскочить и просыпается.

Полушубок и одеяло, зацепив ворох лучины, свалились с печки. Тася бесшумно спустилась, подняла одежду и снова улеглась. В горнице все еще горел свет. «О чем это они так долго судачат?» — погружаясь в горячий сон, подумала Тася.

А Лидия Николаевна и Уланов переговорили о многом. Уланов больше слушал. Сегодня он узнал о том, как создавался колхоз «Уральский партизан» и как он захудал. И, пожалуй, только сейчас Уланов начал сознавать со всей полнотой, какая огромная работа предстоит в сельс-

ком хозяйстве. И вспомнил он отца, который почему-то лучше сына знал, как здесь трудно.

Лидия Николаевна просила подсоблять и сама давала совет, с чего начать, как подсоблять. Прежде всего надо было привести в порядок то, что имелось в хозяйстве, заставить трудиться всех, кто числится в колхозе, рассчитаться с долгами и создать фонд, из которого можно было бы авансировать колхозников хотя бы раз в квартал, сделать так, чтобы члены артели были заинтересованы в трудовом, падеались на него. До весны необходимо провести проверку приусадебных участков, забрать их у тех, кто не работает в колхозе, отрезать излишки у лодырей, изъять незаконно захваченные сенокосные угодья.

— Но самое главное сейчас — это сохранить скот, семена, вывезти удобрения на поля, распланировать как следует посевы и как-то людей в колхоз вернуть. Без людей ничего не сделать. Корма у нас уже кончаются. Если не принять срочные меры, падеж скота начнется раньше, чем в прошлом году.

— Что же вы подразумеваете, Лидия Николаевна, под срочными мерами?

Лидия Николаевна опустила глаза, помедлила:

— Я предлагаю замер сена во дворах колхозников и изъять в пользу колхоза излишки.

— Это как?

— А очень просто. Полагается человеку на трудовую семью семьсот граммов сена, а трудовой у него всего сто, вот и оставить ему семьдесят килограммов, а остальное с повести забрать.

— Х-м, вы уж слишком круто.

— Иначе нельзя, Иван Андреевич. Коров у добросовестных колхозников почти нет. Из-за налогов, из-за бескормницы и колхозных беспорядков лишились мы их. Смешно сказать — деревенские ребяташки ныне едят молока меньше городских. Честные люди от реквизиции не страдают. Мы будем забирать корма у тех, кто их украл у нас же, кто за спиной колхоза спрятался. Мне таких не жалко.

— Да-а, единоличников в колхозах развелось, как опять на грибом шне. Приспособились как-то, на глазах у всех приспособились!

— Сорняк, он приспособится, для него рыхлить почву не надо. Так вот этой мерой мы сможем обойтись пока и продержат скот. А дальше уж надежда на власти. Помо-

гайте хлопотать нам надежную ссуду и закупать корма в Сибири. — Лидия Николаевна усмехнулась, подперла лицо рукой. — Немыслимые вещи в колхозе начались — начальство ни мычит, ни телится, а нам приходится обо всем заботиться. Поделом! Не надо было руки опускать, поглядывать нужно было, вести как следует хозяйство. Понадеялись на Птахина, а он узнавать нас перестал. Ой, Иван Андреевич, — спохватилась Лидия Николаевна, — петухи ведь скоро запоют. Отдыхайте ложитесь.

Оставшись один, Уланов лег на кровать, но уснуть долго не мог. «Ох и трудно же будет в этом колхозе весной. Лидия Николаевна не все сказала. Старается поменьше меня запугивать». Иван Андреевич спохватился, что по привычке холостячкой лег на кровать в одежде, и начал раздеваться. Снимая блузу, к которой он так привык на заводе, темный галстук, Уланов продолжал размышлять: «А отец-то не напрасно горячился. Здесь в самом деле сейчас передний край или вроде того. Держись, Андреевич! Это тебе не завод. Там все было ясно, вся жизнь цеха проходила перед глазами. Здесь же идет подспудная борьба двух сил: новое и старое схватились насмерть».

Иван Андреевич сложил одежду на спинку стула, снял было очки, но тут же снова надел их и посмотрел на фотографию мужа Лидии Николаевны. С потрескавшейся фотографии на него глядел ясными, бесхитростными глазами сухощавый человек в буденовке со звездой и в кожаной тужурке. Чувство большого уважения, смешанного с целовкостью, испытывал Иван Андреевич, глядя в глаза этого незнакомого и чем-то близкого человека. Этот отдал людям все: молодость, здоровье, жизнь.

Иван Андреевич медленно засунул очки в футляр, повернул выключатель, и комната сразу же погрузилась во тьму, а окно посветлело. Уланов отодвинул шторку. За окном туманной полосой расстилался серебриющийся снег. Дальний край полосы пропадал в темной заречной стороне. Где-то в мутной дали мерцала звездочка-зарница, а может быть, и огонь в заречной деревушке. Иван Андреевич облокотился на подоконник и услышал, как гулко кашляет на печи Тася. «Простыла агропомша. Трудно живет ей. Хорошо хоть, не раскисает пока, рук не опускает, сердитая». Ему очень хотелось, чтобы Тася закрепилась в колхозе, чтобы сделалась близкой, необходимой людям. Уланов поймал себя на мысли: размышляет о Тасе и отпосится он к ней без того постоянного недоверия,

которое испытывал по отношению к другим женщинам. И еще он заподозрил себя в том, что вот она в деревне, он в деревне, так сказать, приезжие люди и уже этим родственные. И что Таисья Петровна не похожа на тех, кого он прежде встречал. Притворства в ней нет, но и полной открытости тоже. «Пережила немало, оттого и доверяется не каждому, — решил Уланов. — Сегодня вот все о работе да о работе говорила. А впрочем, что это я? О чем же она может еще со мной говорить?» — спохватился Иван Андреевич. И, как бы уличив себя в чем-то постыдном, он поспешно лег в кровать.

Было слышно, как в закутке захлопал крыльями петух и, видимо настроившись на рабочий лад, подал хрипловатый спросонья голос.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дежурный конюх, долговязый заспанный парень, прилаживал оглоблю к саням. Несколько раз он менял завертку, но сыромятина новая, грубая, и оглобля в завертке не держалась. Надо бы сыромятину размочить, но парню не хотелось тратить время. Он вынул оглоблю, углубил вырез на конце, убавил завертку, приладил и, критически оглядев свою работу, плюнул с досады. Оглобля, как зенитка, торчала в небо. Тогда парень рассердился и рубанул оглоблю с такой силой, что надгесанный конец ее с треском обломился, а комель, за который была привязана завертка, разлетелся в щепки.

Конюх швырнул топор, хотел крепко выругаться, но обомлел, завидев старика Осмолова. Тот молча прошел мимо дежурного конюха под павес, где стояли телеги, сани и разный инвентарь. Там он впрягся в оглобли кошевки, вытащил ее из-под павеса, поставил посреди двора. После этого он поднял топор и сунул его в руки конюха, который все еще был в столбняке.

— На, рушь и кошевку.

— Зачем? — жалко улыбнулся долговязый парень.

— Не своя ведь, колхозная, рушь, а я после починю. — Осмолов говорил спокойным, даже каким-то скучным голосом, и вид у него был при этом смиренный, простоватый.

Конюх отбросил в сторону топор, свирепо ухватился за оглобли кошевки.

— Люди умирают, а этот живет и живет! — чуть не плача, вопил конюх, убирая кошевку на место.

Старик удовлетворенно крякнул и засеменял в конюшню. Долговязый парень поспешил за ним с неожиданным проворством. На ходу он бубнил страдающим голосом:

— Да убрано там, убрано, почти что языком вылизал!

Вид у парня был злой и робкий. Он ревниво следил за Осмоловым, каждую секунду ожидая или подвоха с его стороны, или другой какой неприятности.

Пастух прошелся по конюшне, поговорил с лошадьми и мимоходом бросил парню:

— В стойлах порядок, по-хозяйски, ничего не скажешь.

Не успел еще парень облегченно передохнуть, как старик снова вверх его в смятение. Он обнаружил в кормушках для лошадей обьедки сена.

— Ай-я-яй, — сокрушался старик, обращаясь к лошади. — Вот ежели бы копоху-то во вчерашние щи проквашенные сегодняшних налить, поглянулось бы или нет? Как ты думаешь?

Лошадь тихопоко ржала в ответ на воркование старика, который выгребал из кормушки прикрытую сеном труху, а молодой парень стоял с раскрытым ртом в проходе, разбитый, уничтоженный. Бессильный гнев раздирали его, и он шепотом сыпал проклятья на голову въедливого старика.

Без животных Осмолов не мыслил жизни. Как только заканчивался пастбищный сезон, он пристраивался на конный двор. Дошлый старичонка не по нутру приходился некоторым молодым конюхам, потому что шухом чувствовал разные не порядки и, сделав скорбную мину, сам брался их устраивать. Неловко, конечно, чтобы старик работал, а молодые стояли в сторонке. Ругали они его вслух и втихомолку, обзывали старым прозвищем — Губка. Но все-таки брались за дело: чинили вместе с ним до поздней ночи сбрую, сани, телеги, паводили блеск в стойлах, добывали корм.

Осмолов умел отыскать работу. Может быть, поэтому и кони в Корзиновке были справные, несмотря на частую бескормицу. Раньше Осмолов был привязан к животным еще больше, чем к людям. Однажды, еще в молодости, хозяин сказал ему об этом. Пастух с явным намеком вымолвил:

— У животной душа тихая, добрая. Животное кормит человека, возит его, в беде выручает, в холоде обогревает.

Настоящий хозяин, ежели у него, конечно, не кирпич вместо сердца подвешен, должен любить скотину — своего лучшего друга, а не забижать.

Хозяин Осмолова был человек ехидный, к философии склонный. Зная, что пастух его тоже поразмыслить и порассуждать любит, он злил парня своими расспросами, вызывал на резкие откровения и, когда пастух в горячности доходил до крамолы, стращал его.

— А вот скажи, крокодил или тигра, по-твоему, тоже добрая животная? — спрашивал он у пасупившегося пастуха.

Парень задумывался, кусал прут, а хозяин не отставал, допытывался:

— Тоже добрая?

— Крокодилов я не видел, но, говорят, эта животная хищная. Стало быть, вроде тебя...

За такие ответы доставалось ему, пастуху, но он рос упрямым и, когда выпадал случай, снова подъяедал хозяйина.

С годами неприязнь к роду людскому, рожденная тяжелой жизнью и скотским обращением хозяина, прошла. Осмолов стал ближе сходитья с людьми и глубоко привязывался к тем, кто приходился ему по душе. А по душе ему приходились чаще те люди, которые пуждались в помощи или сочувствии. Особенной симпатией проникся старик к новому агроному. — Тасе Голубевой.

— Маленькая, да удаленькая! — говорил он про нее как-то раз в шорпой, когда от печего делать разомлевшие в тепле конюхи перемывали косточки односельчанам. — Глядите, как трудно ей. Ребенок на руках, в кармане — блоха на аркаше, а шони не распускает. Работает, ругается с начальством, ежели надо правду сказать — не побойтса. Поддерживать таких надо, подсоблять им, а вы вот, послушаю, зубы скалите насчет ее: дескать, брошенка и все такое. Кабы жизнь-то была как зеркало, чтобы глянул и наперед увидел, какие там кочки, тогда бы люди не спотыкались.

Парни, хоть и с ухмылками, слушали речи старика, и кое-что все же застревало в их беспутных головах.

Тася попросила Осмолова снарядить назавтра лошадь. Старик приготовил кошевку, вычистил лошадь и приветливо встретил Тасю.

— Сейчас, сейчас, мигом рысака заложим, — певуче наговаривал он, вытаскивая из-под навеса кошевку со связанными оглоблями. — Ты с кем в леспромхоз-то налаживаешься?

— С Лихачевым.

— Г-м, — промычал Осмолов.

Он вывел на улицу серую кобылицу с темной гривой, надел хомут и, заводя лошадь в оглобли, недовольно пробормотал:

— Не советовал бы я тебе ехать с этим ухарем.

— Почему?

— Да как бы глупостей не вышло. — И, заметив, что ломаные брови Таси поползли вверх, пояснил: — Нахальный он парень, а вы дамочка молодая.

Тася вспыхнула и резко ответила:

— Я, дедушка, научена по части глупостей.

— Оно так-то так, — неопределенно поддакнул старик и, обернувшись на скрип валенок, сказал: — А вот и он, легок на помине.

В стеганом зеленом ватнике и новых валенках, чуть опустив плечо, на котором висел чехол с баяном, Лихачев быстро шагал к конному двору. Бледное обычно лицо его на морозе раздурманилось, черные волнистые волосы, выбившиеся из-под шапки, заиндевели.

— Приветствую вас, добрые люди! — поднял руку в перчатке Лихачев. Не глядя на Тасю и явно стараясь загладить какую-то неловкость, он небрежно бросил: — А ты, старик, трудишься? На печке не сидится? Хочешь все работы переработать? Мой дед тоже, как ты, старался всю жизнь, да всех дел не одолел, так и окошел.

— Пустомеля ты, пустомеля, — покачал головой Осмолов. — Гляди за лошадыо как следует. Чтобы там парную ее не напоили. Да тебе ведь наказывать-то бесполезно. Тебе только бы на гармошке пилить да людей просмеивать.

— Брось, дед, брось критиковать, холодно. Критику надо в тепле и на сытый желудок, как десерт.

— Поезжай уж, звонарь!

Лихачев взял вожжи, шагнул в кошевку и, сделав широкий ямщицкий жест с насмешливым поклоном, пропел, делая ударение на «о»:

— Прошу пани агрономшу!

— Раньше бы вам надо родиться и не в России, — сердито фыркнула Тася, пристраивая впереди себя связ-

ку книг, которые просил передать директору леспромхоза Уланов. — Трогайте, пане ямщик!

Застоявшаяся кобыленка ходко взяла с места. Спустились на реку. Мимо промелькнула прорубь, вокруг которой стенкой стояли пихты и елки. Постепенно снижаясь, исчез за крутым заснеженным яром Макарихин дом. Лихачев шевельнул вожжами, удобней устроился на сиденье, покосился на Тасю.

— Так, значит, родиться мне следовало раньше и не в России?

— Ага. В Италии, лет сто тому назад. Из вас бы удивительный паяццо вышел.

Лихачев начал краснеть. Его так и подмывало на дерзость ответить дерзостью, но на сей раз он поборол соблазн, справился с собой и шутовски запел:

Смейся, паяц, над разбитой любовью...

У него был чуть застуженный, но приятный голос. Петь Лихачев умел. Это чувствовалось, несмотря на то, что он дурачился.

— Между прочим, це любимая ария моей матери, — заметил Лихачев, оборвав пение. Он подумал и прибавил: — Любила она очень еще арию герцога из «Риголетто». Вы что-то все молчите и молчите?

— Природой люблюсь, слушаю.

— Меня? Что ж, послушайте. У меня сегодня ясное, почти лирическое настроение. Со мной это редко бывает за последнее время. А природа в самом деле куда с добром! Снег искритса, елки задумались, в кустах заячьи тропы, на той стороне деревушка дымом исходит — бани народ топит, сегодня суббота. Париться колхозники пойдут после трудов великих. Картина.

Тася улыбнулась и пошевелила пальцами ног. Лидия Николаевна не отпустила ее в резиновых полусапожках, и она вынуждена была надеть валенки Юрия с затертыми глазками кожи на пятках и толстыми войлочными подошвами.

Ехали молча. Мягкий снег скрадывал звуки. Довольно пофыркивала заиндеветшая кобылка, скрипели полозья кошевки. Тася покосилась на Василия и долго следила за его лицом из-под полуопущенных ресниц. И снова Лихачев показался ей непонятным. Лицо его задумчиво, и видно, что мысли где-то далеко.

«Что он за человек? — уже в который раз спрашивала

себя Тася. — Сколько в нем этого, игрушечного? А дальше-то что? Неужто одни побрякушки?»

До позавчерашнего вечера она относилась к нему с любопытством и безобидной списходительностью. А позавчера произошла между ними стычка в клубе, после которой Тасю стали злить усмешки Лихачева. Его ужимочки, шуточки. «За дурака хочет сойти, с которого спрос малый, — с раздражением подумала Тася. — А может, считает себя умнее, тоньше всех и насмехается над всем и всеми».

Тася, как бы пытаясь подтвердить все эти мысли, еще раз глянула на Лихачева и прикрыла лицо рукавичкой — не хотелось, чтобы Лихачев видел, как она усмехнулась. А усмехнулась она певольно, вспомнив, как «усмирили» этого «Лихача-Васю».

Было так. Тася пошла по воду. Внезапно к ней, не разбирая дороги, скатился с горы Сережка, а потом Костя и Васюха.

— Ой, мам, мам, — захлебываясь, начал Сережка. И, не в состоянии вымолвить слово, показывал на гору. — Там дяденька пьяный всех из клуба вышиб... Колька Зарубин хотел его уговорить... а он как даст Кольке. Колька брык и в сугроб! Все побе-е-жа-али...

Тася с недоверием слушала Сережку. Она знала, что он большой сочинитель. Заметив, что мать не особенно взволновало его сообщение, Сережка обиделся и сказал, показывая на друзей:

— У них спроси, не веришь так.

— Пра, пра, тетя Тася. Сейчас, грит, я один буду, — подтвердил Васюха, — в клубе, грит, один буду, наслаждаться, грит, буду и представлять.

Тася поставила ведра на дорогу и, чтобы ребята не увязались за ней, приказала:

— Возьмите дома санки и на них отвезете ведра в гору.

На лицах ребят выразилось разочарование.

— Я говорил — посмотрим, — проворчал Костя, так нет, маме сказать надо, маме сказать надо, — передразнил он Сережку. — Теперь ведра везти, а там, может, драка будет.

Тася быстро бежала в гору. Из-под шали у нее выбились волосы. Она сжимала запотевшие в варежках руки и думала: «Кто это там опять фокусничает?! Что за народ, ей-богу! Стоит вместе собраться — сцепятся. Ну сейчас я

их отчитаю... скажу... скажу... я прямо скажу, что закостенели они по своим углам. Раз в год на собрание пришли и то не умеете себя вести. В общем, там соображу, что сказать... И подхватило меня по воду идти, надо было уж самой пораньше в клуб».

На это собрание она возлагала большие надежды. Комсомольцев в Корзиновке и других бригадах насчитывалось немного, всего двадцать человек. Из них половина уже по году не платила членских взносов. Были и такие комсомольцы, которые не пожелали объявиться.

Из своей небольшой житейской практики Тася знала, что в важном деле чаще всего нужно полагаться на молодежь. И вот часть этой молодежи удалось собрать в кучу и собрать прежде всего потому, что вместе было веселей. Немалую роль сыграл тут Лихачев со своим баяном. Он, хотя и с улыбкой поглядывал на этих «птенцов», однако играл охотно и не мешал народу развлекаться.

Каково же было удивление Таси, когда, распахнув двери клуба, она увидела стоявшего посреди зала пьяного Лихачева в расстегнутой телогрейке, в шапке набекрень.

Тася прижала руки к груди и, чтобы успокоиться, начала глазами отыскивать плакат.

— Ты подойди и дай ей в харю, раз она не желает, — донесся до Таси голос Лихачева. — И не стесняйся! В госпитале солдат один судно стеснялся просить, так и помер... Понял, пет!

Тася стиснула зубы и пошла мимо притихших ребят и девушек, прижавшихся к стенкам, навстречу Лихачеву, который держал за лацкан пиджака паренька и давал ему наставления.

— Отпустите человека! — резко сказала Тася.

Лихачев от неожиданности выпустил паренька, и тот поспешно исчез. Они остались посреди зала вдвоем.

— Сейчас он ей преподнесет, — раздался чей-то злорадный шепот.

— А-а, мадам агропомша, рад вас приветствовать в очаге культуры, — протягивая Тасе руку, заулыбался Лихачев.

— Я не даю руку таким вот оболтусам, — ответила Тася, вложив в эти слова всю обиду и бешенство, кипевшие в пей, и, сверкнув глазами на дверь, выпалила одним духом: — Здесь будет собрание, идите выпитесь. Возможно, потом поймете, что были свиньей.

Говорила Тася так, а самой хотелось зареветь от обиды. Ведь она понимала: Лихачев хулиганит не потому, что

ему это нравится. Что-то угнетает его, и он ищет средство забыться. А может быть, просто пооригинальничать желает, выделиться! Все может быть.

— Я прошу вас прекратить представление и уйти, — настойчиво повторила Тася.

— Никуда я не пойду!

— Мы выведем!

— Меня?

— Да.

— Сколько вас на фунт сушеных надо? И хотел бы я знать, кто посмеет дотронуться до меня рукой?

— Не ребята, конечно. Корзиновские ребята робкие, — усмехнулась Тася. — А девчата не побоятся. Вот будет здорово, когда вас выволокут девчата и спустят под гору. А ну, девчата, взяли дружно! — скомандовала Тася, и, раззадоренные ее храбростью, со всех сторон к ним двинулись сердитые девушки. Совсем неожиданно Тася заметила рядом с собой вспетушившегося Осипа. За ним, неловко подшучивая, потянулись парни.

Лихачев вдруг закрыл глаза, постоял секунду так, потом потер ладонью висок и, отстранив Тасю, направился к выходу. Он оттолкнул какого-то парня, зазевавшегося на полугу, и рывкнул:

— Изыдь! А то я из тебя двух сделаю!

И кто его знает отчего, может быть, именно оттого, что все это произошло перед самым собранием, оно было бурным: много ругались, спорили, разоблачали самих себя и не щадили друзей. Ребята весь вечер виновато выслуживались перед Тасей и перед девчатами.

Нашлись желающие вступить в комсомол. Осипа Ральникова выбрали секретарем комсомольской организации. Он растерянно смотрел на всех, порывался заговорить с Тасей. Но она делала вид, будто не замечает его. Поздней ночью со смехом и песнями провожали Тасю домой ребята и девушки.

Очувтившись одна в сенях, она долго стояла, прислушиваясь к удаляющимся голосам. Сосало под самой ложечкой, тоненько, больно посасывало, и было жаль чего-то. Прошла ее молодость, закатилась, не успев проясниться. Обидно. Быть бы ей такой же вольной, как эти девушки, и идти бы сейчас по селу, спуститься к реке и петь так звонко, как поется только беззаботному человеку, а главное — молодому. Петь так, чтобы голос летел до самых звезд, чтобы песню слышало то сердце, для которого она

поется. Но ничего не будет. Надо идти в выставившую за день избу с неоштукатуренными стенами, стирать и мыть, думать о том, что завтра оставить Сережке на обед, как быть с дровами. У Лидии Николаевны их уже мало, а у Птахина просить не хочется, не даст он подводы.

А голоса все удалялись и удалялись в ту сторону, где МТС. Может быть, Чудинов тоже слышит их? Может быть, они тоже растревожат его?

...Вспомнилось все это, и под скрип полозьев, среди зачарованного зимней спячкой леса, взгрустнулось, печально сделалось. Тася ту же затинула шаль, приподняла воротник и закрыла глаза. Отчего-то подумалось: смотрит на нее Лихачев или нет? А впрочем, это ей решительно все равно.

Тася приоткрыла глаза. Лихачев на нее не смотрел. Дорога повернула с реки в гору. Дальше по льду ехать пельзя. У подножья лобастых каменных быков лед словно источен червями. Вода в темных провалах отливала студеным, безжизненным блеском. От извилистых польней поднимался легкий парок.

— По-видимому, теплые источники имеются, — не то спросил, не то объяснил Лихачев.

Тася хотела что-то сказать, но в это время кошевка накренилась при спуске с очередного каменного бычка ударилась полозьями о пенек, скрытый под снегом, и Тася упала на Лихачева. Рукам сразу сделалось холодно. Глаза и нос залепило снегом. Она выпросгала руки, пачала протирать глаза, засмеялась и вдруг тревожно крикнула:

— Книги-то!

Пачка книг прокатилась дальше и, очевидно, свалилась бы с утеса в воду, но ее задержали заросли шиповника. Тася осторожно поползла. Лихачев отряхнулся, поставил на полозья лежавшую на боку кошевку. Кобылка стояла смиренно, мелко вздрагивая заиндевелой кожей, и опасно косилась вниз, на темные извилины на льду.

— Да помогите же! — слышался нетерпеливый голос Таси.

Лихачев обернулся и увидел, что лежит она, перевалившись через мысок, на глыбе снега и тянется руками к книгам.

— С ума сошла! — обмер Лихачев. — Что вы делаете? Сейчас в воду бухнетесь и под лед!..

— Да держите за ногу, не бойтесь!

Василий шагнул в снег, поймал ее за валепок.

— Крепче держите, а то валенок большой, сползет, — сказала Тася. Она потянулась вперед, пошарила нервными пальцами — рука не доставала. Она подалась еще чуточку вперед, и Василий тоже. Лево́й рукой Тася придерживалась за хрупкие от мороза кустики шиповника.

«Обвалится снег — и загремим мы, как милые, к Богу в рай!» — мелькнуло в голове Василия, и он еще крепче уперся ногами в снег. Тася все-таки дотянулась до связки с книгами.

— Вот и все, — выдохнула она, недовольно отряхнула рукавичкой книги и поправила юбку. На перепосе́е и на лбу у нее блестели капельки растаявшего снега. Вид был сердитый. Это, наверно, потому, что она переживала страх и думала, что Василий видел, как она трусила.

— Чудной вы человек, Таисья Петровна! — покачал он головой и с хитрецо́й добавил: — Из-за каких-то книжек под лед готовы нырнуть.

— Не из-за каких-то книг. Тут «Овод», «Американская трагедия», третий том Короленко, седьмой том Бальзака. Люди на каторгах за книги гибли, в том числе и за эти. — Тася размашисто закинула ногу в кошевку, села и, поставив связку книг на колени, повелительно бросила: — Трогайте!

Василий нахмурился, перебирая в руках вожжи. Тася отвернулась от него и, когда дорога снова спустилась на реку, проворчала:

— Есть люди, которым ничего не стоит снять с человека последнее платье, учинить скандал в общественном месте, пожом размахивать. Что им книга?! Бросовый товар...

— Слушайте, Таисья Петровна! — перебил ее Лихачев. — Есть такие вещи, которые даже меня оскорбляют.

— Не спорю. А разве это вас касается? — не поворачивая головы, поинтересовалась Тася.

— Знаете что, Таисья Петровна. Вы не злой человек. Это вы притворяетесь злой и поддразниваете меня. А мне почему-то хочется, чтобы вы думали обо мне немножко лучше. Уж не знаю почему. Хотя я и на самом деле несколько шумно повеселился в клубе, но не считаю себя уж вовсе свиньей. Мало ли кто как веселится, — ухмыльнулся Лихачев. — А знаете что, дорога длинная и погода хорошая, природа тоже. Все к разговору располагает. Расскажу-ка я вам историю одну, не очень веселую, но зело поучительную.

— О, какое многозначительное предисловие!

Лихачев серьезно, без обычной улыбки и как-то слишком уж грустно глянул на нее, и она осеклась. У нее пропала охота злословить. Она неловко подобралась, чувствуя, что в душе Василия происходит какая-то борьба.

А Лихачев молчал. Он как бы в нерешительности стоял перед дверью, за которой скрыты только ему известные вещи. Казалось бы, забыл совсем о Тасе, о кобылке, о вожжах, зажатых между коленями, обо всем на свете. Тася, затаив дыхание, следила за лицом Василия. Глаза его глядели куда-то в даль, подернутую колеблющейся паутиной, и видели что-то такое, чего ей было не отгадать.

— Представь себе очень молодого человека, нет, представь себе мальчика, — безо всякого предупреждения заговорил Лихачев и сразу перешел на «ты», видимо, давая этим понять, что он будет рассказывать ей не как простой попутчице, а скорее как товарищу. — Да, мальчика, кудрявенького, бледного, в шикарном костюмчике, пошитом по последним моделям из журналов мод. У этого мальчика не то чтобы кислый, а такой томный вид. Он плохо кушает, а если кушает, например, яблоки или овощи, то обязательно перемытые в трех водах. Мальчик этот, между прочим, не по возрасту развит. Он перечитал множество книг, смотрел почти все спектакли оперные и драматические. Учился он хорошо. Все его считали очень способным, а мама — гением. Да кто, по-вашему, была его мама? — Лихачев замолчал и с интересом уставился на Тасю. Вопрос застал врасплох.

Тася глубоко засунула руки в рукава, упрятала лицо в шаль.

— Ну-ну кто? Очевидно, какая-нибудь пышешняя барынька, раз она мальчика так нежила.

— Почти так, но не совсем. Мать у этого мальчика в молодости не была барынькой. Ее скорее можно было считать странным человеком. Хотя есть более точное определение. Здесь, в деревне, о такой бы сказали — порченная. Когда-то мама этого мальчика была еще не мамой, а простой красивой девушкой. Она работала в морском порту кассиршей и училась на рабфаке. Потом поступила в медицинский институт. Говорят, в те времена студенты увлекались поэзией. Пристрастилась и она с стихоплетству. К несчастью, на стихи или на нее самое, этого я не знаю, обратил внимание какой-то поэт с именем и сумел пристроить стихи в одном из журналов. Несколько сти-

хотворений она напечатала в газете. Это был зенит. Поэт охладел к ней, и после того она получала только ответы из редакций.

Но надежды не теряла. Ждала, когда муза повернется к ней зрячим местом. А пока суть да дело, она завела соответствующую прическу, ходила с полуопущенными глазами и обязательно с томиком стихов Сергея Есенина.

— Слушай, Лихачев, — тоже переходя на ты, перебила его Тася и с откровенным любопытством посмотрела на него. — Начал серьезно, так не озорничай.

— Да ты, оказывается, прощительный человек, — отшутился Лихачев и заторопился: — М-да, поэтический ли вид, молодость ли, красота ли помогли той девице обворожить одного из научных сотрудников медицинского института. Начал тот сотрудник сохнуть по ней, писать записки, даже в стихах пытался, да оказался по этой части не мастак. Словом, все это кончилось тем, что научный сотрудник предложил руку и сердце молодой поэтессе и та благоволила не отвергнуть ее. Так в Москве появилась еще одна супружеская чета. А у этой четы появился затем тот самый худенький, кудрявенький мальчик. Мама сама взялась за его воспитание, и когда отец пытался вмешиваться, получал сокрушительный отпор. «Хватит! — заявила она, — ты загубил мое дарование, так будь этим доволен! Мальчика я тебе не отдам! Я сама буду следить за развитием его таланта!» — «Какого?» — спрашивал отец, привыкший к чудачествам жены. «Музыкального, — отрезала мать. — Что ты, не понимаешь? Разве ты не замечал, как мальчик тонко улавливает любую мелодию, даже рахманиновскую! Где тебе заметить это? Ты даже до сих пор не позаботился, чтобы у ребенка был свой инструмент!»

Мальчик к той поре уже был водворен в музыкальную школу. В квартире скоро появился инструмент, причем в квартире уже не научного сотрудника, а кандидата, который все реже заглядывал домой, потому что встречи с женой каждый раз заканчивались истерикой. Она потрясала перед ним пожелтевшими вырезками: «Ты видишь, это не мираж, не сон! Я печаталась! Печаталась! Понимаешь ты? Я была на большой дороге, но ты стубил мой талант, стубил, сломал, срубил, как деревенский мужик срубает березку для обыкновенной оглобли!»

Время шло. Мальчик вырастал, становился умнее, пристрастился к машинам и возненавидел «инструмент».

Музыка для него сделалась бременем, мать — навязчивым существом, из-за которого он стеснялся приводить к себе товарищей. Все чаще и чаще долговязый подросток пропадал из дому. Мыл на Москве-реке машины ради того, чтобы ему позволили ручку крутить. Он лез на края, экскаваторы. Однажды пытался уплыть на пароходе в дальние страны. Это между прочим, многие мальчишки пытаются сделать, и по этому я сужу, что и он был мальчишкой, как и все. Но характер у него с годами становился резким, запосчивым. Ребята его били. Он сопротивлялся, сбивал нарочно пальцы, чем огорчал маму. Между прочим, мать дала ему звучное имя оперного персонажа — Роберто, и мальчик мирился, пока его звали Робкой, но когда подрос, имя это стало для него мукой.

...Лошадь шла в гору. Василий выскочил из кошевки и, держа в руках вожжи, посоветовал:

— Разомнись немножко, поги-то, пожалуй, затекут.

Тася выпрыгнула, почувствовала, как мелкими иголками пронзило подошвы ног.

— В самом деле, засиделась. — И, помолчав немного, тихо сказала: — Ей-богу, даже не верится. Ты, наверное, насочинял?

— Насочинял! Кабы насочинял. Вы не поверите, например, что к маме Роберто приходили дамы и приводили на шелковых ленточках каких-то плюгавеньких мопсов, стоявших бешеные деньги, что дамы эти два-три месяца в год лечатся на курортах и, как в старину, считают модным завести болванчика.

— Это еще что за чудо?

— Любовник. Помните, в романе «Демидовы» описан такой? Ну да, еще один из Демидовых спустил его с лестницы?

— А-а, помню. Неужели ты серьезно?

— Я сегодня все говорю серьезно. Здесь вот многие не поверят этому. Дескать, в книжках такие и остались только. Погляди, какая красота! — неожиданно прервал себя Лихачев и показал Тасе на взгорок, покрытый снегом. У подножья взгорка к огромной березе был приметап стог сена. На березе грузно висели черные тегерева. Выгнув шеи, они подозрительно вглядывались в приближающуюся подводу и на всякий случай предупреждали друг друга коротким кокотаньем, как это делают петухи, подзывая кур к корму.

— Эх, ружьишко бы! — вздохнул Лихачев. — Было бы

нам варево знатное! И ведь не взлетают, точно чувствуют, что без ружья.

Подпустив их совсем близко, косачи дружно снялись с березы и вскоре растаяли вдали, в морозном тумане.

— Так чем же все-таки заканчивается история кудрявенького мальчика? — заглядывая сбоку, спросила Тася. — Хочется дослушать. Леспромхоз уж недалеко.

— Что ж, буду краток, а то слишком жидко развел. Когда началась война, Роберто учился в консерватории. Матушка настояла на своем. Отец отправился на фронт, а сына и жену эвакуировали. Можно было, конечно, обойтись и без эвакуации, но мама так боялась за жизнь драгоценного сыночка! На отца она тонала погой: «Не смей возражать! Ты хочешь нашей гибели?» Она, по правности своей, полагала, что переезд в Сибирь не будет ничем отличаться от ежегодных поездок на южный берег Крыма. Вот мама и сынок с пессером и еще какими-то пустяками в руках очутились в Кемерово, ни к чему не приспособленные, никуда не пригодные. Пока была одежда — меняли ее на картошку. Потом люди помогали им просто так, как эвакуированным. Но в те времена в помощи нуждались многие. Мать не выдержала лишения, не сумела пайти дела, перестала следить за собой, опустилась. И хотя парень из всех сил старался поддерживать ее: выполнял мелкие работы на станции, пытался даже спекулировать ради того, чтобы добыть пропитание, — ничего сделать не мог. Слишком долго мать просидела в своей дурацкой скорлупе. На тяжелый военный мир она глядела с испугом и умерла, так и не поняв ничего.

Голос Лихачева упал до шепота, у губ легли горестные складки. Помолчав, он со вздохом добавил:

— Страшно это и тяжело, когда мать только жалко. Только жалко, и ничего больше.

Василий смолк. Совсем недалеко прокуковал паровозик, донесся лай собаки и то нарастающее, то затихающее тарактенье электростанции, мешающееся с визгом электропил.

— Леспромхоз, — кивнул головой Василий и быстро заговорил: — Тут пришлось тому пареньку. Если бы не добрые люди, прогинул бы он поги. Взяли его в армито, в офицерскую школу. Да какой из него офицер? В школе-то не мигдальничали с курсантами, делали из них настоящих офицеров. По десять часов в сутки гопяли. Не выдержал такой нагрузки, заболел, а после болезни попал в

танковую школу. Ну, рассказывать о том, как помяли бока тому парню на фронте, как воспитывали в нем чувство товарищества, как дошло до его сознания, что на свете куда больше нужных людей, чем таких, как он, и жизнь делают не праздные дамы, а простые люди — долго все это рассказывать. Хорошо было, когда он нашел настоящих друзей. Плохо сделалось, когда ему вручили документы, дали на дорогу продовольственные талоны и велели ехать домой. Какой дом? Он знал лишь тот дом, где стоял инструмент, глупые фигурки из фарфора и бронзы. В этот дом он уж теперь не мог вернуться. Надо было искать другой.

В тот послевоенный год все ехали домой, устраивались, брались за дело, только Роберто болтался, как полосатый шарик по бильярду, от борта к борту, не попадая в лузу. — Василий на секунду прервал свой рассказ и с выдохом заключил: — Впрочем, в лузу он все-таки попал — в Тулкухинскую исправительно-трудовую колонию.

— Как это он умудрился?

— А повстречал однажды своего двойника, какого-то «гения» с полными карманами папиных денег, кутили, разъезжали на легковой машине и однажды сбили на деревенской улице девочку. «Гений» прибавил газу, а Роберто запротестовал. «Гений» корячиться начал, был бит, и его отвезли в больницу. Ну а Роберто сюда, на Урал. Когда он отбыл срок, первое, что сделал, сменил имя и сделался Василием, Василием Лихачевым. — Он невесело улыбнулся. — Ваш покорный слуга.

— А я поняла это с самого начала.

— Я уже отметил твою жуткую проникательность! — сощурился Лихачев. — Впрочем, извини, я опять паясничать начинаю. Нехорошо, взрослый человек вроде уже, а так и подмывает пооригинальничать.

— Ты все рассказал?

— Пожалуй, все, остается только добавить, что, выйдя из колонии, повоявленный Василий пропился до нитки и пошел работать в первую попавшуюся организацию. Первой и самой ближней оказалась эмтээс. Как танкист-водитель я стал трактористом. Еще вопросы есть? — попытался свернуть дело на шутку Василий, но Тася не приняла его шутливого тона.

— Нет, но, очевидно, будут, — задумчиво ответила Тася.

«Мы, по-моему, сродни», — вспомнила она давние сло-

ва Лихачева. Тася перебрала быстро, как нитку с узелками, свою жизнь в памяти: мачеха, госпиталь, Лысогорск. Нет, не родня они. Ее жизнь не баловала. Еще в раннем возрасте пришлось добывать свой хлеб. А от своего хлеба человек делается костью прочней и рассудок у него трезвеет. «И все-таки есть, есть что-то общее, — размышляла Тася. — Предположим, наша несостоявшаяся молодость, наша, не утвердившаяся до сих пор, жизнь. А впрочем, все это пустяки! Ему пужно говорить суровую правду в глаза и не искать оправданий, или еще хуже — жизненного сходства с ним».

Василий сидел грустный, упрятав подбородок в шарф.

— Замерз я, однако. — Он встряхнулся и выпрыгнул из кошевки.

Тася занесла ногу за борт кошевки.

— Много у тебя было в жизни дрянного, но были ведь и порядочные друзья, и хорошие встречи? — Жизнь без порядочных людей и хороших встреч была бы никчемной штукой. Однако я коченею.

— Слушай, Василий, мне, разумеется, еще рано читать людям наставления, как говорят, мелко плаваю я для этого. — Она взглянула на шагавшего рядом с вожжами в руках Лихачева и закончила жестко: — Живи ты, как все. Шутство-то ведь признак маленькой души, а у тебя она, кажется, не такая уж мелкая.

— Спасибо за доброту, — буркнул Василий, закусив губу, пробежал вперед и стегнул лошадь, бросив на ходу: — Не получается у меня, как у всех.

Полозья саней срезались, кошевка накренилась. Он пагнул на отводины и, когда сани выправились, продолжал:

— Порченый я тоже, должно быть, с детства порченный.

— Да будет тебе чепуху-то городить, — поморщилась Тася, — возомнил о себе черт-те что и куролесишь.

Василий смахнул перчаткой клочок сена в ветки елки и, глядя в сторону, опять сердито буркнул:

— Ладно, хватит меня воспитывать, у меня уж волосы седые.

Получилось это очень резко, и, как бы испрашивая извинения, он осторожно взял за руку Тасю.

— Пройдись, закочелела ведь. — В голосе Василия уже была мягкость.

Тася соскочила в снег, высвободила руку и, поправляя шаль, взволнованно произнесла:

— Как хорошо в лесу! Все-таки жизнь лучше всякой выдумки. Не умеем мы замечать то, что нас окружает. Умели бы, так все выглядело бы ясней и красочней. Правду я говорю, пане ямщик? — хитровато и многозначительно спросила Тася, повернувшись с улыбкой к Василию.

Дорога поднималась в гору. Крепчал мороз, и светило солнце. Снег, как толченное стекло, переливался искорками. Все кругом притихло, смолкло, упряталось. Было трудно представить, что под снежным покровом, под остекленевшими следами полозьев и в маленькой норке, вырытой в снегу у подножья пихты, затаилась жизнь, которая терпеливо и настойчиво ждет тепла, весны. Лихачев огляделся вокруг, прислушался к чему-то и тихо ответил:

— Правду...

Поздней ночью Тася и Лихачев вернулись из леспромохоза, продрогшие и усталые. Лидия Николаевна напоила их горячим чаем. Василия уложила спать в горнице. Тася ушла к себе.

Рано утром Лидия Николаевна с трудом разбудила Тасю, отправляясь на ферму. Тася долго ежилась в выстывшей комнате, одеваясь, клевала носом. Она только согрелась, разоспалась, и уже надо было вставать. Сегодня воскресник и необходимо сделать как можно больше. Зима, воскресенье, свободный день. Когда еще такой случай подвернется. Тася умылась холодной водой, затопила печку, пачистила картофеля, поставила его варить. Затем сбегала на ферму, принесла молока, вскипятила для Сережки. Мальчик крепко спал, похрапывая под одеялом. Тася осторожно разбудила его:

— Ну ты, Сережик, домовничай, а я пойду. Меня не будет целый день. Не перевертывайте тут все вверх дном.

— Ой, мам, и в воскресенье ты все работаешь, а я все один, — потягиваясь, недовольно пробурчал заспавшийся мальчик. У Сережки давно выпали передние зубы и до сих пор еще не выросли. Он говорил смелно, со свистом. Тася прижала его к себе, заправила в трусики выбившуюся майку.

— Идги надо, хороший мой. Воскресник сегодня.

— А-а, — понимающе протянул Сережа и запрыгал к

умывальнику на одной ноге, — тогда ты иди, мам, только поскорее домой ворочайся, ну?

Возле кошного двора собралось много молодежи. Райка Кудымова уже успела вывалиться в снегу. Завидев Тасю, она стала убирать растрепанные волосы, отряхиваться.

— Обижают меня парни, — жаловалась она, хоть бы вы помогли, Таисья Петровна. — И тут же, улучив момент, Райка дала подножку зазевавшемуся пареньку. Тот свалился в снег и, выбираясь из сугроба, гудел:

— Обидишь тебя...

Наконец появилась машина с горожанами. Тася заметила среди приехавших Уланова. Ей понравилось, что Иван Андреевич приехал сам и не на своей машине, а вместе со всеми. Решено было разбиться на группы. На долю Таси выпало хлопотливое дело — она должна следить за работой во всех бригадах.

В этот день в Корзинове было шумно. Вот в переулке показалась подвода, нагруженная навозом. Лошадью управляла Райка Кудымова. Она крутила вожжами и озорно кричала:

— Но-но, милый, вези меня туда, где женихи похрабрей корзиновских.

Приподняв занавеску, в окно выглянул Птахин в одном белье. Заметив Тасю, он задернул занавеску. Конечно, не по себе человеку. Колхозные дела идут своим чередом, а он ведь все же голова хозяйства. Нехорошо, когда жизнь проходит мимо.

Многие колхозники отвыкли работать не только в воскресенье, но и в будние дни. Все они оповещены, что сегодня воскресник, но делают вид, будто их это не касается. Своей, дескать, работы по горло. Вот и шмыгают они воровато в двери при появлении агронома. Некоторые, наоборот, смотрят на нее вызывающе, ждут, что она начнет ругаться. Тут-то уж ее и положат на обе лопатки. Чего-чего, а огрызаться колхозные лодыри умеют.

Но Тася проходит, не замечая их. Достаточно того, что многим стыдно делается. По лицам видно. Железную бы руку в колхоз, чтобы она трянула лодырей. Привыкли чужими руками жар загребать. Все-то им стали делать приезжие люди, отучили их заботиться о колхозном хозяйстве. Вот даже навоз и тот городские возят. Приехали за десятки километров, лишив себя отдыха. В деревне же к вечеру запиликают гармошки, заревут пьяные голоса,

появятся два-три отъявленных нахала на улице, пойдут в обнимку и, завидев работающих горожан, закричат:

— А-а, комсомолия! Робь, ребята, поднимай паше социалистическое хозяйство! Ха-ха-ха!..

Успела Тася насмотреться за это время на деревенских бездельников, присосавшихся к артельному хозяйству, и возненавидела их. «Ничего, заставим мы вас жить и работать как нужно, царод заставит».

Но на воскресник, кроме молодежи, пришли все-таки несколько пожилых колхозников, а доярки с Лидией Николаевной явились все. Они накладывали вилами павоз на подводы. Лидия Николаевна, разгневываясь на морозе, работала молча, сильно. Ее ухватка в работе очень напоминала Тасе Якова Григорьевича — спокойные, рассчитанные, ловкие движения.

Тася высказала свои горькие размышления Лидии Николаевне. Та оперлась на черенок вил, постояла немного и, когда возле нее остановилась подвода, заговорила, орудуя вилами:

— Скробут кошки путро не у одного Птахина. За бортом остаются все правленцы. Думали, что без них мы шагнуть шагу не сумеем. В Корзиповке мало пароду вышло на воскресник, с оглядкой люди живут. Но в других бригадах, я уверена, половина людей на работе, а в третьей — все. Ты вот в бригады и спеши. Здесь мы управимся.

В третьей бригаде, в самом деле, вышли на воскресник все от мала до велика.

— Народ-то, гляди, рвет и мечет, — говорил довольный Букреев, поздоровавшись с Тасей. — Наши перед городскими не желают пасовать!

— Остыть трактору не дают, — деланно сокрушался Лихачев. — Только заглушу — «Заводи! — кричат, — поехали!»

Работа и в самом деле шла дружно, весело. Некоторые из городских девчат никогда еще не держали в руках вил. Деревенские, безобидно подшучивая, обучали их пехитрому делу.

В шестой бригаде Тася задержалась до вечера. Здесь работа шла вяло. Бригадир уехал в город. Заместитель бригадира, Разумеев, не явился, и работой никто не руководил. Тася сама разыскала бригадный инвентарь, заставила конюха запрячь лошадей и накладывать на сани павоз. Он поворчал маленько, но за вилы взялся.

К полудню сюда нагрянули ученики старших классов

из корзиновской школы вместе с учителями. Не хватало подвода. Тася поехала в МТС просить трактор с сапями. Чудинова в конторе не оказалось. Тася подумала и все-таки решила попросить уборщицу позвать директора.

Чудинов, встретив Тасю, неловко полез за папиросами. Она коротко сообщила ему о положении дел в шестой бригаде. Тут же, ни о чем больше ее не спрашивая, Чудинов распорядился спять трактор с вывозки леса и направить его в шестую бригаду.

Тася поспешила уехать из МТС. Каждая встреча с Чудиновым камнем ложилась на сердце. Она чувствовала: и Чудинову нелегко. Оттого он так торопится выполнить ее любую просьбу.

В заречных бригадах работа шла тоже хорошо. Здесь две деревни. Расположены они недалеко друг от друга. В одну деревню с комсомольцами поехал Иван Андреевич, а в другой оставили инструктора горкома комсомола. Часа через три Уланов пришел проверить, как идут дела у соседей, и видит: стоит инструктор возле огонька, руки греет. Тонколицый, щупленький паренек. Приехал он на воскресник в легоньком шарфике, в кожаных перчатках. Он уже сумел найти для себя легкую работу: ставил карандашом палочки в блокпоте, учитывая количество возов.

— Вы что же, на прогулку приехали? — неприязненно спросил Иван Андреевич. — А ну, берите кайлу в руки. Берите, берите, она не кусается!

Сам Уланов тоже взял из рук одной девушки кайлу и подошел к куче смерзшегося навоза.

— Делайте все следом за мной.

Иван Андреевич широко расставил ноги и начал со всего плеча долбить кайлой мерзлую кучу.

— Быстрее, сильнее бейте — и через десяток минут вам будет жарко.

Колхозники, не скрывая улыбок, следили за их работой. Торопливо и бестолково тюкал кайлой инструктор. Кайла гуляла из стороны в сторону, один раз попала в ногу. А Уланов, ахая в лад с ударами, бил кайлой так, что далеко в стороны отлетали глыбы смерзшегося навоза.

— Секретарь-то хоть и плюгавый с виду, а должно, бывала кайла у него в руках, — говорили колхозники. — Не то что этот хлюпик.

— Рабочий! Кайла ему не в диковинку.

Вечером участники воскресника собрались в жарко натопленном клубе. Пока Иван Андреевич вместе с Тасей

подводили итоги работы, заводские комсомольцы орудовали на сцене, готовились к концерту. Многие разошлись по домам — ужинать. Той еды, что захватили из дому, не хватило. Но почти каждый горожанин завел сегодня знакомых. Новые друзья вместе поужинали, девушки даже переодеться сумели.

Первое место в сегодняшнем воскреснике заняла группа комсомольцев, работавшая в третьей бригаде.

— Иначе и быть не могло, — небрежно заявил Лихачев. — Кто там трактористом был?!

Кругом засмеялись, захопали. Кто-то крикнул:

— Качать Лихачева!

— Братцы! Я только что поужинал, осторожно!..

Концерт понравился. Всем много аплодировали. Одна девушка, читая стихотворение, наполовину забыла его. Ей тоже хлопали, да еще сильнее, чем другим. Девушка вдохновилась и без запинки прочла до конца. После концерта начались танцы. Иван Андреевич пригласил Тасю на вальс. Он несколько раз наступил ей на ногу, но она и виду не показала.

Шум и смех царили в клубе до поздней ночи, потом горожане поехали домой. Их провожали с песнями, просили приезжать еще.

Из-за снежных сугробов настороженно, с отчуждением глядел темными окнами дом председателя. В некоторых домах еще слышались увядающие голоса опившихся брагой бездельников. Когда по улицам с шумом проносились машины, песни в избах как-то сами собой угасали.

Новое шло по деревне своей трудной дорогой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Перед каждым отчетно-выборным собранием Карасев недели по две не показывался в Корзиновке. А нынче ему предстояли еще более длительные отлучки. В кошевке, наполненной душистым сеном, он переключивался из бригады в бригаду, проверял работу и жизнь колхозников. Возле некоторых изб он под разными предлогами задерживался, толковал с хозяевами по душам, пил чай, а иногда и оставался ночевать. Разговор чаще всего начинался односложно, примерно так, как он начался у овощевода шестой бригады Кузьмы Разумеева.

— Ну и жмет морозище-то, беда! — крикнул, потирая руки, Карасев.

— Не говори, Аверьян Герасимович, так ведь и пробирает разные места и дыхало ровно паклей затыкает. А ты в этакой-то холодище мотаешься! — соболезнующе качал головой Разумев, помогая Карасеву стянуть тулуп.

— Служба! Знаешь, как в армии: солдат при любом удобном моменте — на боковую, а начальник без команды свыше сделать этого не мог. — Говорил он таким тоном, будто в армии он полжизни провел. И, разматывая шарф, озабоченно закончил: — Отчетное скоро, подготовиться надо, посмотреть, где, что и как. Руководитель, он только заботами и силен.

— Что и говорит! Ты, Аверьян Герасимович, проходи вот сюда, к печке, а мы сейчас чего-пито сморокуем, — угодливо процокаивал хозяин, придвигая к шестку русской печки табуретку. — Манька! Эй, Манька! Куда ты запропастилась? А ну, мигом в лавку!

Карасев проворно поворотился и сделал страшные глаза:

— Не смей! Капли в рот не возьму. Видишь, я при службе и подготовку провожу.

Белобрысая Манька в валенках на босую ногу и с пустой пол-литрой в руке нерешительно загопталась у порога, услышав такой энергичный протест со стороны гостя. Но отец свирепо и незаметно от гостя мотнул рукой у бедра, и она, сверкая голыми коленями, выскочила за дверь. Хозяин начал хлопотать вокруг стола.

— Самой-то цегу, — пояснил он, — на рынок уехала, поторговать маленько.

— Лошадей бригадир не отказывает? — деловито осведомился Карасев.

— Пока Бог милостив. Суперечит кой-когда, да я уж на тебя, Аверьян Герасимович, уповаю. Зам, мол, председателя велел.

— Правильно. Ты же знаешь, что я для труженика-колхозника душу не пожалею. — Как не знать. Твоей милостью и тянемся, а то б завязывай глаза и тикай отсюда.

— Тут, брат, моей милости нету. Я тоже человек маленький. А вот председатель дни и ночи хлопочет о вас, как бы помочь, чем бы помочь. Сам знаешь, какие урожаи наши: колосок от колоска не слышать голоска. А Птахиц отдувайся, голову ломай, как колхоз удержать, чем

людей и скот кормить. Быть председателем — не трень-брень! Им наш колхоз держится.

— Известно дело...

— А ведь нашлись сукины дети, живьем готовы слопать его.

— Нашли-ись... Агропомшу новую знаешь?

— Была как-то, видел, — отозвался Разумеев и, уловив в тоне Карасева неприязнь к агроному, звернул, чтобы угодить гостю: — Плоговаенькая такая с виду, недоносок вроде.

— Во-во, недоносок! — обрадованно засмеялся Карасев. — Метко ты ее. Недоносок! Этот недоносок и мутит воду. Под Птахина яму роет, на его место норовит. Что тогда с колхозом будет, а? Понимаешь? — Голос Карасева упал до злобного шепота. — После Пленума брожение сделалось. Люди сами не ведают, что творят. Жили, жили, как следует быть, одной семьей, а теперь на Птахина волками смотрят. Темнота! Беспонятливость! Ну, сбросят Птахина, а дальше... дальше что?

— Не допустим! — грохнул кулаком по столу хозяин так, что из тарелки лягушатами прыгнули соленые грибы и зашлепались о клеенку. — Где это Манька запропастилась? — Собрав вилки, Разумеев заглянул под занавеску. — Бежит, — удовлетворенно молвил он и со скрежетом почесал поясницу. — Давай, Аверьян Герасимович, подвигайся. Уж извини, чем богаты... самой-то пету.

Карасев некоторое время боролся с самим собой, а потом встал, одернул толстовку.

— Только одну, и только ради тебя. Должен уважить хорошему человеку. У тебя как с покосишком-то?

— Сшибаю кое-где.

— Я с Птахиным потолкую насчет тебя, там, на острове, можно найти еще кусок. Не сто же гектаров тебе требуется.

— Аверьян Герасимович, да за такое дело! Ведь замутились. Ночами уж, грех сказать, украдкой, клочок по клочку собирали...

— Сделаем! Ты вот что, втолкуй тут насчет Птахина — поддержать человека надо. Сам знаешь, какая перспектива без него.

— Все исполню, не сумлевайтесь. Только народишко-то наш всякие разные мысли обсказывает. Как пропечатали это постановление, так и началось. Теперь, мол, пойдем в гору и тому подобное.

— В гору, — фыркнул Карасев, — в гору! Надо с кем-то в гору идти? — Он поклонился ближе к хозяину и понизил голос: — Ты на себя надейся, не плошай, понял?

— Как не понять?

— Вот и здешним людям втолкуй.

— Постараюсь все сделать. Ты, Аверьян Герасимович, насчет наших не сумлевайся...

— Поможешь, забыт не будешь! У тебя бригадир-то вроде родня?

— Дальняя. Седьмая вода на киселе...

— Это ничего, пусть хоть девятая. Поближе к нему держись. Ему доверия больше. В такое время надо кучней держаться.

И пока все это говорил Карасев, лицо Разумеева вязалось в тугие узлы, челюсти его затвердели, на висках пабрякли жилы, вспыхнули и уже не гасли отсутствующие, недобрые глаза.

— Не бреди душу! — решительно хлопнул он по столу и тут же заторопился, записил: — Может, переночуешь, Аверьян Герасимович? Я еще за одной пошлю! Эй, Манька! Где ты там? Поди сюда!

Карасев полез за бумажником, намереваясь достать свои деньги, но хозяин выдернул у него бумажник, сердито сунул обратно в карман гостю.

— Не обижай, Герасимович. Ты — гость мой дорогой и не смей кошельком трясти. Деньжонки у меня, брат, имеются, без капитала не живу оттого, что на Бога больше надеюсь.

— Ты мужик башковитый, люблю таких — хозяйственных, — уже чуть заплетаящимся языком хитровато молвил Карасев. — А благодаря чему имеешь капитал?

— Ясно дело почему! Благодаря руководству. Знаешь, как ты еще в войну втолковал мне насчет картошки?

— Чего-то не помню.

— Да ты говорил, чем, мол, меньше картошки на рынке, тем она дороже...

— Это факт, тут догадливости не надо!

— Как не надо? Надо! Выходит, следует иметь больше своей картошки, да поменьше колхозной. Только на картошке далеко нынче не уедешь. Я сейчас сажу больше лучишку, чесночишку. Вот еще, говорят, редиска — доходная штука. А картошка что, лишь весной да летом цену имеет. Я выкармливаю двух свиней на той самой картошке, мясо загоняю — и живу.

Карасев одобрительно посмотрел и подмигнул.

— Вот я и говорю — ты мужик с понятием!

— До тебя далеко, Аверьян Герасимович. Тебе бы в старое время жить, в большую бы птицу ты оформился!

Карасев насупился, откусил конец папиросы, изжевал его и замотал головой.

— Не-е, ты, Кузьма, политически близорукий. Хозяин ты толковый, а вот с политическим развитием того, приотстал.

— Ты меня с собой не пугай, — отодвинулся Разумеев от гостя. — Ты пролетарья по всем статьям, а я извечный грузеник — хозяин.

Карасев недобро скосился на хозяина и скривил губы:

— Ври, ври, может, и правду скажешь. Что, думаешь, я не знаю, за счет чего ты жил? — Карасев явно напрашивался на спор. Разумеев смекнул, что в пререкания ему вступать не следует. Будто не поняв последнего вопроса, он слезливо начал:

— Эй, Герасимович, как жили?! А? — Разумеев скосоротился. — Я рази б кланчил покос, когда у моего отца было двадцать десятин? Двадцать! Это понимать надо!..

Выпьем лучше! — Они чокнулись, выпили, мокро поцеловались.

— Червяк ты, Кузьма, червяк-короед. Сқырк-скурк дерево-то под корень, а? — с вызывающей пасмешкой глядя на хозяина, тянул Карасев. В его пьяном сознании все больше вскипало ненавистное чувство к Разумееву оттого, что он подлаживался под него, Разумеева, улещал, вместо того, чтобы дать ему раз в мясистую надбровницу. Рядом с Разумеевым Карасев чувствовал себя совсем отцепенцем и как бы яснее видел, до чего дошел, до каких подлостей и низостей. Кипит в нем глухая злоба, кипит, и потому разит он хозяина словами, злобно наслаждаясь своей откровенностью и его бессилием:

— Зло в тебе ужом свернулось! Короед — червь сурьезный, маленький, а рощу свести может! Это я про тебя, про тебя, а... Ну да хрен с тобой, живи! Докуда доживешь — дело не мое. Давай еще одну, а? Хрен с ней и со службой тоже. Служба не жена, разводиться не побежит! Ха-ха-ха, — раскатился Карасев, довольный тем, что ловко сострил.

Разумеев пьяненько подхихикнул ему...

Снова Манька, сердито нахмурив светлые бровки, проворно побежала за водкой. Разумеев тоненьким голоском

завел песню про злую долю. Карасев мигом накрыл беззубый рот собутыльника ладошью.

— Т-тс-с, ша! Припухни, пока меня здесь не засекали. Я ведь все-таки пролетарья! — передразнил он Разумеева.

Утром Карасев уехал. Не везде его встречали так же радушно, как у Разумеева, не везде он и откровенничал.

Однако Карасев не упускал случая чего-нибудь пообещать, похвалить Птахина, похаять кого-нибудь, а если надо — и припугнуть.

Карасев при этом ничего не добивался для себя и всю свою агитацию сводил к тому, чтобы защитить Птахина. Это обезоруживало людей, заставляло их удивленно настораживаться. «Мудрит что-то Карасев, мудрит, — думали колхозники и чесали затылки, — а бес его знает, может, он и прав. Птахин, конечно, разболтался, но он хоть дело знает. Его припереть к стенке, так он потянет колхоз. Агрономом работал вон как ретиво. А вдруг вместо него и в самом деле дадут кого-нибудь приезжего, возьмут и поставят? Вот и беспокоится Карасик. Но ведь в случае чего он и сам может стать председателем. Чудно! Ладно, до собрания доживем, увидим, что к чему».

Карасев мучился. Было время, он, как и все, учился в школе, потом работал в пассажирском пакгаузе весовщиком.

Здесь и началось. С пустяков началось. Проели как-то крысы мешок с семечками. Весовщик и грузчики через эту дыру ополовинили мешок. На утрату составили акт. Сошло: крысы остались виноваты. Потом уж и вовсе распоясались, заворовались, стали вскрывать багаж, даже вагоны.

Смекнув, что дело это может кончиться худо, Карасев уехал в другой город. Там он поработал немного в сапожной мастерской — не понравилось: на седухе не много добудешь.

Перешел Карасев в другую артель, где вырабатывали столярные, мочальные, скорняжные и другие изделия. Довольно быстро Карасев продвинулся по служебной лестнице, завел знакомства в горсовете и промсовете. Года два он был председателем артели, но одна крупная махинация сорвалась. Лично Карасев отделался испугом, пострадали начальник снабжения, кладовщик и еще кто-то, а Карасева перебросили в деревню на должность заместителя председателя. Он и здесь быстро смекнул, что за-

мом-то и лучше, пожалуй. «Кто ставит печать, тот и будет отвечать», — эту поговорку Карасев после работы в артели запомнил крепко.

Так вот и прижился Карасев в Корзиновке. Постепенно прибрал он к рукам Птахина, сблизился с его женой. Думал, что и с корзиновцами полный контакт у него, — не вышло. Зашевелились люди после постановления. Пожалуй, не настрой их на определенную липию — сомнут Птахина. А Птахин — надежный щит для Карасева. Его жена — откровенный сообщник. Она свои интересы соблюдает. Ей бы только побольше урвать, всласть пожить. Сколько вина па пару с ней выпито в лаборатории... Лопухий у нее муженек, лопухий. Такого и падо! При таком и жить только. Мысли Карасева мечутся, громоздятся одна на другую, будто в чехарду играют. Нет покоя. Одно зло, на себя зло, на людей, даже на лошадепку.

На раскате он вывалился из кошевки, по ухватился за вожжи, встал и чуть не по пояс увяз в снегу. Он оглянулся кругом, будто проснулся. Вдали ковыляли лошади с возами сена. Отсюда обоз казался игрушечным бесколесным поездом, двигающимся по невидимым рельсам. На той стороне, у выскочивших на бугор изб, буксовала машина, упрямо, как таракан, одолевала крутой подъем. Возле машины суетились люди, что-то сыпали лопатами. От крайнего дома, по самому крутику, друг за другом летели санки. Крайний дом — это школа; ребяташки, видимо, с пользой проводили перемену. Далеко отсюда, в леспромхозе, осипшими от мороза голосами перекликивались паровозики. Даже в оцепеневшем от мороза лесу ощущалось движение. Вот откуда-то появились две маленькие белощекие синички и так бойко принялись потрошить гнилой пень, что снег вокруг него моментально стал веснушчатым. Вон из-за деревни вылетела стая ворон и, накаркивая непогоду, закружилась над дорогой. Жизнь шла своим чередом, не обращая внимания на провалившегося в снег человека. А он тоскливо думал:

«Как же это я живу? Почему всю жизнь по щелям, как таракан? Почему? Почему? Почему все так? Годы ведь идут. А-а, к чертям, поздно раздумывать, поздно каяться. Сам запутал свою жизнь, сам и распугывай!»

Карасев прыгнул в кошевку и, ругаясь, начал стегать лошадепку. Срывавшиеся с ее копыт крошки льда до крови секли лицо. Он этого не замечал. Опомился после

того, как лошаденка, на глазах у восхищенных ребятешек, в несколько прыжков вынесла кошевку на гору.

Карасев остановился возле массивных ворот колхозника Варегина, постучал в окно избы. На лице его снова появилось приветливое, деловое выражение, но смятение и тоска в глазах остались.

За несколько дней до собрания в Корзиновку начал стекаться парод. Ожила деревня. То в одном, то в другом доме Корзиновки вспыхивали переборы гармошки. Кумовья, зятья, шурины, братья, сестры, тещи, свекрови и прочая родня, расселившаяся по разным деревням, съехалась в кучу, справляла свой ежегодный, никем не узаконенный праздник. На всякие уговоры, укоры и доводы подвыпившие родичи — а родичами оказывались почти все колхозники — доказывали, что и свинье бывает раз в году праздник, и на том основании работать не выходили.

По улице, захватив могучей рукой своего супруга под локоть, шла Августа Сыроежкина. Она сердито хмурилась. А Миша вовсе повис на ее руке. Мотнув плечом так, что Мишины ноги отделились от дороги, Августа приказала:

— Да переставляй ты хоть маленько ноги-то, ирод большеносый!

Миша, не поднимая головы, тянул: «Я вор, я бандит...»

Был он настолько пьян, что слова произносил неразборчиво. Слышалось только свирепое рычание.

— Все люди как люди, — бранилась Августа, — песни поют, как следует быть, а ты рычишь, ровно тигра лютая, да хвастаешься, от компании срамно. Ты рыжий, так не видно, чтоб краснел, — а мне какво?

Миша пытался изобразить что-то свирепое на лице, но брови его расползались в стороны, нижняя челюсть отвисла, и вообще вид у него был глуповатый.

— Р-р-разорву тебя, разор-р-рву, всех р-разоррву! — тянул он.

— Молчи уж, — мотнула еще раз Мишу Августа, и он вовсе сник и успокоился.

Наконец-то собрание началось. Зал колхозного клуба оказался заполненным до отказа.

Уланов сидел в президиуме. По застарелой привычке чертил геометрические фигурки в блокноте, соединяя их одну с другой. С трудом сдерживая раздражение, он слушал доклад Птахина. У председателя был природный

недостаток — он гнусавил. Когда Птахин злился, шумел, говорил на высокой ноте, гнусавость почти не улавливалась. Но стоило ему понизить голос, заговорить вяло, как сразу к голосу примешивалось осиное гудение.

Вот и сейчас оса гудела монотонно, падоедливо, сливая в отчете все в кучу: цифры, факты, плохое и хорошее.

Уланов видел, как сидевшие в зале колхозники с трудом сдерживали дремоту.

— Товарищ Птахин, — не выдержал Уланов, — можно немножко повеселей да погромче?

Когда смешок, прокатившийся волной по залу, смолк, Птахин, не оборачиваясь к президиуму, буркнул:

— Как умсю, так и читаю. В ораторах никогда не числился, — по доклад стал читать все же чуть погромче.

— Громче! Громче! — потребовали с задних рядов. — Ишь, бубнит себе под нос, ровню не ел. Не для тебя одного писано.

Птахин, не прерывая чтения, еще повысил голос, почти заорал. Впечатление было такое, точно у приемника неожиданно подкрутили усилитель.

Как ни усыплял своим голосом Птахин колхозников, они упорно и чутко улавливали все, что говорил председатель. Внешне почти никто не проявлял признаков недовольства, не грозил, не ругался. Но по усмешкам, по сердитым взглядам, по отдельным репликам, даже по тому, как сидели люди, можно было догадаться, что они сегодня молчать не станут.

Точно подтверждая догадки Уланова, умевшего чуть-ем старого производственника улавливать настроение людей, сидевшая за ним Лидия Николаевна наклонилась и вполголоса сказала:

— Сегодня будет делов.

Смолк Птахин лишь к вечеру, и все сразу облегченно вздохнули. Решено было пообедать.

Шумно разговаривая, размахивая руками, колхозники отправились в буфет или к родным и знакомым подкрепиться.

Карасев во время перерыва успел побывать в нескольких домах и поговорить еще раз со своими штатными ораторами, которые ежегодно начинали прения высказыванием благодарствий руководителям колхоза, в меру их критиковали — и дальше все катилось как по степной дороге.

Но пуганида началась с самого начала. Первому поче-

му-то предоставили слово Букрееву, который не выступал уже года три. Пока он ковылял на сцену, вытаскивал из кармана какие-то бумажки, в зале стоял гул недоумения.

— Неправильно! Не он первым выступать записался! — крикнули из зала.

Букреев, покрывая шум, заговорил не свойственным для него громким голосом, снижая его по мере того, как утихал шум:

— Сейчас поздно разбираться, кто первый, кто задний. Раз уж я добрался до трибуны, теперь меня отсюда и крапом не вынуть. — В зале засмеялись. Улыбнулся и Букреев, не переставая говорить: — Я, может, несколько лет до трибуны рвусь. Мне ведь тоже потолковать охота, а главное — есть о чем...

Так начав полусушительным тоном, Букреев завладел вниманием слушателей.

Он рассказал о делах в своей бригаде, похвалил многих женщин, которые даже не были упомянуты в докладе, и постепенно подбирался к самому главному. Было видно, что он дотошно готовился к этому выступлению. Под конец выступления Букреева некоторые из сидевших в зале не выдержали:

— Верно... У нас забрали половину покосов, для кого?

— Усадьбы по гектару «своим» нарезали...

— Картошку опять заморозили!

— В бригады глаз не кажут!

— Скот дохнет!

— Семена где, спрашиваю? Где семена?

— Крой их, Павел Степанович!

— Чьи бабы на базаре торгуют, рабочий люд обирают?

Яков Григорьевич, председатель собрания, стучал по графину карандашом, пытался навести порядок:

— Товарищи! Товарищи! Получите слово и говорите... Товарищи!

— Чего нам слово брать, не надо нам слово. Приспичило и говорим, — крикнула пожилая колхозница из третьей бригады и с чувством вытерла губы кончиком цветастого платка.

Букреев щурился, глядя в зал, и довольно улыбался. Лед тронулся! Этого он хотел. Собирая свои бумажки, он сделал вид, будто и половину не сказал. Но надо, мол, совесть знать. Он застучал деревяшкой со сцены.

— Пусть и другие душу отведут, — бросил он, отправ-

ляясь на свое место, и уже на ходу добавил: — Говорите, товарищи, хватит в молчанку играть. Домолчались, что захребетники чуть было колхоз вовсе не слопали.

Слова запросили сразу несколько человек. Особенно требовательными были женщины. Не дождавшись разрешения, вперед выскочила старуха Удалова. Она завопила надламывающимся голосом:

— Видите, в чем я?! — тронула старуха холщовую юбку, выкрашенную какой-то серо-черной краской. — Сменки белья не имею. А почему? — Она хотела еще что-то сказать, подняла сухой кулак, словно собиралась им ударить, и, вдруг расплакавшись, пошла на свое место. Ее худая спина, на которой резко обозначились широкие лопатки, судорожно вздрагивала.

Тут Птахин понял: все, участь его решена. Нет, не Букреев своей речью его убил.

Когда-то, еще будучи агрономом, Птахин жил в доме Удалихи. Здесь он и женился. Удалиха была строгая, прямая старуха. Ей сразу не понравилась запосчивая, хитрая жена квартиранта. Старуха сумела чутьем распознать ее нутро. Вскоре молодые супруги переселились в отдельный дом. Одинокая старуха начала терпеть притеснения со стороны своих бывших квартирантов. Удалиха — гордый человек. Она и без пенсии осталась из-за своей гордости. Начала пенсию хлопотать Удалиха, парвалась на чиновника, который заявил, что при ней имеется кормилец — сын. Она не стала разъяснять этому человеку, что сын ее женился на городской и живет сам как квартирант, а сердито бросила: «Леший с вами, я еще сама себе на кусок зароблю». И больше в собес не ходила, не обращалась.

Птахин поднял глаза, отыскал ими согнувшуюся, все еще вздрагивающую от плача старуху и быстро пошел за сцену, разминая папиросу.

Теперь выступления сделались вовсе непонятными и бурными. Всяк валил свое. Одни высказывали частные обиды, другие ругались просто так и больше махали руками. Часам к двенадцати ночи страсти стали утихать. Ошеломленный Уланов потирал обеими руками виски, словно хотел выдавить из головы боль, начавшуюся от шума и духоты.

Когда весь горластый парод перекипел, на сцену поднялся Разумеев. Он зачем-то падел очки, которых раньше

на нем никто не видел, откашлялся и начал мирным, укоризненным тоном:

— Чего шумим, а? К чему такая, я бы сказал, некультурность при исполнении важного дела, каким является наше собрание? Критиковать надо. Критика, я бы сказал, вроде мельничного колеса. Вот почему нельзя ее превращать в балаганное представление, а наш колхозный клуб — в тياتр.

Сделав такое внушительное вступление, Разумеев передохнул и, сдвинув брови, положил на край трибуны руку, словно боялся, что она упадет.

— Кое-чего тут совершенно верно говорилось по адресу товарища Птахина и всего правления, я бы сказал, даже дельно говорилось. Действительно, товарищ Птахин ослабил руль по части управления колхозом, я бы сказал, насовсем выпустил в последнее время. Но мы-то, мы куда смотрели? Сказали мы товарищу Птахину, поправили его свосвременшо? Нет! Почему? Да потому, что принижаем большевицкий дух. Один человек был забран в тюрьму и напуган по поводу этого. После выпуска из тюрьмы каждую свою речь, каждую резолюцию зачищал со слов: «Стоя на советской платформе, терпеть не могу ненормальностей!» Выписывает, допустим, пуд овса и сверху накладной строчит эти самые слова. А мы вот, стоя на платформе, терпим непормальности. А давайте посмотрим, один ли Птахин виноват?

Дальше Разумеев доказал, что виновны во всех упущениях и бедах прежде всего сами колхозники, которые не хотели критиковать председателя и правление, не подсказали ему вовремя, не поправили его. Голос Разумеева был умиротворяющим, сладким, доводы казались убедительными, да и сам он выглядел внушительно. Уловив тонким чутьем, что настроение в зале переломлено и что настал самый удобный момент обратиться с трибуны, Разумеев заключил:

— Кроме того, ежели вы добьетесь снятия товарища Птахина, вам направят на эту должность такую личность, которая, я бы сказал, не только наяву, а и во сне пашни не видела. Я извиняюсь, конечно, но скажу не в обиду нашей новой товарищ агрономше. Вот она приехала из города, и ей трудно с нами, и нам проку от нее никакого, потому как незнакомое дело. Извиняюсь, конечно, — увидев, как вспыхнула и опустила голову Тася, прибавил Разумеев. — Вот и добьемся, дадут нам липового председа-

теля. да агроном у нас, я бы сказал, аховый, пойдет все нараскаряку...

Разумеев смолк, поджал губы и, выразив сердитое сострадание на лице, отправился на свое место.

— Ах, поганец, — покачала головой Лидия Николаевна, — девку-то за что обидел?!

И все-таки выступление Разумеева сделало свое дело. Ошеломленные было подхалимы начали выползать на сцену, сокрушаться, критиковать правление и председателя, но все они убедительно доказывали, что, если уберут Птахина, колхозу совсем будет худо.

Птахин сидел, опустив голову, багровый, с болезненной гримасой. Он знал цену словам этих людей и с тоской, почти с болью ждал, чтобы сказал о нем доброе слово хоть один человек честный, не зависящий от него и от Карасева. Птахина очень обрадовало, когда осанистый, крижистый колхозник Варегин из Заречья, крепко поругав его, вспомнил при этом, как работал агрономом в первые годы Птахин, и заявил, что другого председателя им не требуется, а надо этого заставить работать.

Колесо повернулось. Один по одному поднимались люди и расхваливали председателя до тех пор, пока не раздался изумленный и сердитый голос Миши Сыроежкина:

— Во те раз! Сперва вымазали, а теперь облизывать принялись!

В зале грохнули. Миша вышел вперед, говорил о каких-то темных делах, стучал кулаком в грудь. Слушали его с веселым оживлением.

— А ну вас к лещему! — плюнул Миша и направился было на свое место, но его остановил Уланов.

— Товарищ Сыроежкин, минуточку! — Иван Андреевич укоризненно обратился в зал: — Ну, товарищи! Надо же быть посерьезнее!

Его упрек подействовал. Люди смолкли.

Уланов кивнул головой Мише.

— Продолжайте, товарищ Сыроежкин.

— Да чего продолжать-то? Я говорю, что председатель наш ровным счетом ничего не обозначает. Он, как ипостранцы говорят, марьянетка у своей бабы и у Карасева...

— Он пьяный! Это же паипервейший пьяница в деревне, — зашипел с места Карасев, и глаза его беспокойно уставились на Якова Григорьевича.

Карасев рассчитывал, что председатель не даст дальше говорить Мише, но Яков Григорьевич сидел и слушал.

— Нет, на сегодняшний день я не пьяный, товарищ Карасев. Так-то... — Миша смолк и с многозначительной улыбкой обвел взглядом зал. — Я уже сколько лет складом ведаю, а пропил хоть одно зернышко? Скажи мне, товарищ Карасев. Пропил?

— Кто тебя знает, — проворчал Карасев, — пьешь ведь на что-то.

— Во! Тут и начинается разговор! — оживился Миша. — Допустим, я худой человек, пьяница! А ты? Кто ты есть? — Миша повернулся к президиуму и уставился на Карасева. — Кто, я спрашиваю. Не отвечаешь? Мощенник! Вот ты кто! Ша! — махнул рукой Миша Сыроежкин на зашевелившихся в зале колхозников. — Молчишь? — снова обернулся Миша к Карасеву. — Ты помнишь, как в прошлом году я тебя отходил лопатой? Забыл?

Миша повернулся к сидящим в зале и подробно рассказал о том, как Карасев в прошлом году приходил к нему с литром водки в кладовую и подбивал отпустить центнера два семенной пшеницы на обмен в город. Миша сразу догадался, что это за «обмен». Водку вместе с Карасевым выпил, а потом отлупил его лопатой! История эта до собрания не была известна никому. В зале, слушая Мишу, стонали и исходили слезами люди. Перекрывая шум, Миша крикнул:

— Пусть молит Бога, что в руки мне не железная лопата попала, а то бы я его стукнул по совести!

— А в каком месте она, совесть-то? — крикнул кто-то из зала.

— Совесть? — переспросил Миша и, подумав, поступал себя перстом в рыжую голову. — У людей — здесь, а у Карасева... — Но из-за хохота так никто в зале и не услышал, где находится карасевская совесть.

Когда Миша сел на свое место, Августа сердито ткнула его под бок.

— Молчал бы уж, не срамился.

Миша ничего не ответил. Он и сам был недоволен своим выступлением. Ему хотелось рассказать о том, как разбазаривается колхозное добро, о том, что нынче по бумаге из района он вынужден был все-таки отпустить семенное зерно на обмен в райзаготзерно и до сих пор никаких вестей из города нет. Хотел еще сказать Миша, как не-

правильно распределяется страховой фонд, как начальство поощряет подхалимов, приписывая им трудовни, дотягивая число трудодней до минимума, и о многом, многом другом. Да так уж у него всегда получалось.

Корзиновцы не умели принимать Мишу всерьез, и сегодня ему впервые от этого стало не по себе.

Неизвестно, чем бы кончилось это собрание, если бы не попросил слово колхозный бухгалтер, еще ни разу не выступавший на собраниях.

Люди в недоумении перешептывались и жужжали, пока он сутулясь шел к сцене. Бухгалтер развязал тесемки у толстой синей папки, неторопливо вынул оттуда листы бумаги и поднял голову. Из-под седых, кустистых бровей на людей глянули умные, усталые глаза.

Он говорил тихо. Его спокойный, деловой тон, крупная фигура и умный взгляд подкупали слушателей. Люди певольно поддавались обаянию этого человека, присмирели, сделались серьезными.

Бухгалтер начал с того, чего не сумел сказать Миша. Он так и заявил, что только дополнит выступление предыдущего оратора несколькими данными, не оглашенными в отчетном докладе и, естественно, неизвестными как здесь сидящим, так и только что кончившему говорить оратору. При слове «оратор» по залу пробежал легкий смехок.

Что-то недоброе шевельнулось в груди Карасева, когда слово взял бухгалтер. Карасев даже приподнялся со стула. К безмолвию аккуратного, исполнительного бухгалтера, который имел огромную семью, во многом зависел от начальства, Карасев давно привык. Что может сказать этот сутулый, с белыми волосами человек? И Карасев, холодея, думал: знает бухгалтер гораздо больше, чем председатель колхоза.

Уже после первых слов бухгалтера Карасев понял: всему пришел конец! Он с ненавистью посмотрел на седой затылок бухгалтера, скользнул по воротнику вытертого пиджака и, скрипнув зубами, покинул президиум.

Карасев не ошибся. Бухгалтер разил наповал его, Птахина, Клару, правление. Разил за мошенничество, бесхозяйственность, воровство, ворошил давно забытые крупные и мелкие делишки. Очередь дошла до нынешних семян. Он достал из папки розовую бумажку и прочитал расписку Карасева, дапную им в кладовую колхоза.

— Заверю вас, товарищи, что семена эти не пужда-

лись в обмене, и, пока не поздно, нужно вернуть их в колхоз, ибо потеря своих семян равносильна удару ножом в спину.

После этих слов бухгалтер начал собирать бумаги в папку и чуть вздрагивающими пальцами завязал тесемки.

Птахин сидел бледный, ошарашенный.

— Почему же вы об этом молчали? — с удивлением спросил Уланов бухгалтера.

Бухгалтер поставил перед собой папку на трибуну, подумал и со вздохом ответил:

— Я пытался сигнализировать в райсельхозотдел, но там мне заявили, что я занимаюсь подсиживанием. — Бухгалтер повременил мгновение. — Кроме того, в доме у меня семь ртов... — и торопливо закончил: — Но это, разумеется, вину с меня не снимает. Я готов держать ответ наравне с другими нашими руководителями.

Он также сугулясь пошел со сцены. Люди смотрели на него так, будто видели его впервые.

Собрание прорвало, как плотину в половодье. Снова все зашумели, замахали руками. Никакие призывы осевшего от усталости Якова Григорьевича не действовали на колхозников. Они бушвали.

— А-а, заступаешься за председателя, подхалим!

— Мошенники!

— Нет, ты рожу мне, рожу свою покажи!

— Разорили колхоз!

— Я-то ее растворю, — не унимался кто-то на задних рядах.

— Бухгалтер — деляга! Кому верите?!

— Ворье кругом! Крохоборы! Честных людей оклеветали!

— Кто это говорит?

— Баба Птахина пасть дерет!

— О-о, у нее пасть, что у крокодила!

— Чтоб ее сожрал тот крокодил!

— Да крокодил-то, братцы, отравится, съевши ее.

— Ха-ха-ха, она сама крокодила враз сглотнет, как пельмень!

— Эй, довольно ржать! Тут грабительство, а вы хохочете!

— Почему Карасев смылся? Давай его сюда!

— Медвежья болезнь его с перепугухватила... Го-го-го.

— Пускай председатель выскажется...

— И чего вам смешно? Разъясни-то вас...

— Товарищи, товарищи! Помолчите немного!

— Молчали, хватит.

Уланов смотрел, смотрел на все это, покачал головой, подошел к осипшему от натуги Якову Григорьевичу и сердито крикнул, наклонившись к уху:

— Раз унять не можете, объявите перерыв. Пусть накал остынет.

Сделать перерыв было необходимо не потому, что шум не унимался. Настала необходимость связаться с райкомом. Уланов и Чудинов, который уехал на собрание в другой колхоз, заслышав о том, что на должность председателя колхоза «Уральский партизан» предлагают председателя райкома, решительно воспротивились этому. Уж лучше было оставить на старой должности Птахина, чем приобрести на его место еще одного летуна и пустозвона, намозолившего глаза райкомовцам в городе. Решили как следует Птахина тряхнуть, взять его деятельность под особый контроль парторганизации, но пока не убирать с занимаемой должности. Теперь же Уланову стало ясно: они поторопились делать выводы — Птахину председателем не быть.

Приехав в МТС на кургузом газике, Уланов сразу же связался с секретарем райкома. В этот ранний утренний час секретарь еще спал. Голос у него был хриплый со сна и недовольный. Пока Уланов рассказывал ему по порядку весь ход событий в корзинковском колхозе, тот невнятно подавал голос: «Так, угу, так-так, крепко...». Когда Уланов смолк, он откашлялся и сказал:

— Вот что, Уланов, подбирайте кандидатуру председателя на месте. Пусть сами колхозники решают этот вопрос. Хватит нарушать колхозную демократию и навязывать им в председатели приглянувшихся кому-то людей. Деревенский коммунист, если он коммунист подлинный, скорее наведет порядок в своем колхозе. Вот тебе мои соображения. Желаю успешно закончить собрание. Бывает хуже. Напрасно ты меня будил, мог самостоятельно решить. Привыкать пора. Такая твоя должность.

Уланов положил трубку. Даже неловко, что потревожил секретаря райкома. Видел он нового секретаря несколько раз, беседовал с ним, но не умел быстро разбираться в людях и не смог вывести о нем своего заключения. Запомнилась черная повязка вместо правого глаза, а больше на лице ничего примечательного не было: нос обыкновенный, целый глаз зеленоватый, волосы седые на вис-

ках. Только подбородок у него выдающийся, свидетельствующий о твердом характере. Руки сильные. Чувствовалось, эти руки умеют держать не только ручку с пером, но и лопату, и руль, и винтовку...

Днем Уланов вызвал Чудинова, обсудил с ним обстановку. Чудинов сказал:

— В колхозе три коммуниста: Букреев, Птахин и Качалин. Колхозу надо крепкого руководителя. Я со своей колокольни так смотрю: нужен коммунист, с него покрепче спросить можно.

— Птахин ведь коммунист.

— А гнать его надо в три шеи и меня за холку взять. Я рекомендацию ему давал.

— Так-так, ну об этом потом, — вздохнул Уланов и поднял глаза на Чудинова. — Ты ведь уже наметил кого-то, а виляешь! И вообще, почему ты избегаешь Корзиновки? Может быть, мне это кажется?

Чудинов поперхнулся дымом и, потупившись, пробормотал:

— Не одна Корзиновка у энтээс. Кошцы-концов, где-нибудь и не успеешь. Да-а, а наметить в самом деле наметил одного человека. Хочешь, скажу?

— Валяй, если не секрет.

— Качалин. Что скажешь?

Уланов снял очки, отвел в сторону глаза, прищурился, словно старался себе представить Качалина во весь рост.

— Не знаю, Николай Дементьевич, о нем я даже не подумал. Он мужик крупный, а какой-то незаметный. В колхозе нужна сейчас железная рука. Мне кажется... Сумеет ли он?

— Посмотрим. А рука у него ой-ей. Ты обратил внимание?

— Как не обратить — кувалда! Да я ведь о руке не в прямом смысле.

— А хоть в прямом, хоть в кривом. Я руку Якова Григорьевича знаю. За что она возьмется — не выпустит. М-да, концы-концов, мы предложим, а там дело колхозников. Пусть сами решают. Как секретарь сказал...

— А почему бы Букреева не предложить?

— Букреев? — Чудинов собрал бумаги со стола, сунул в ящик, положил ручку в карман пиджака и усмехнулся.

— Ты когда-нибудь пробовал ну хоть какой-нибудь пустяк сделать одной рукой?

— Нет. К чему это?

— А я пробовал и скажу тебе откровенно — плохо получается. Все в жизни приспособлено для двух рук и для двух ног. Все так рассчитано, что, если на человека навалить больше того, что он может нести, его задавит.

— Начинаю понимать.

— То-то и оно. Я бы не задумываясь назвал Букреева, и колхозники бы, знаю, за честь считали иметь его головой, но он нужен в другом месте. Ну так поехали, что ли?

— А ты в Корзиновку?

— Как видишь. Надо ж, концы-концов, рассеять твои предубеждения, — с грустью улыбнулся Чудинов и, застегивая у пальто пуговицы, со вздохом повторил: — Да, надо, от своей тени не скроешься...

— Что-что?

— Да так это я, по старой привычке бормочу.

— Не замечал я у тебя такой привычки.

Чудинов не отозвался. Они пошли в гараж, где их ждал шофер, дремавший за рулем газика.

Ехали, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Уланов заметно устал, а Чудинов был в неразговорчивом настроении. Шофер тоже был угрюм, сердито перекидывал рычаг скорости, бубнил что-то под нос насчет своей беспокойной жизни и в особенности насчет дороги, изуродованной лесозаготовителями, которые недавно начали вывозку хлыстов и выскребли ими снег до самой земли, наделали колдобин.

В Корзиновке они увидели людей, которые торопливо шли в клуб, громко говорили о чем-то, плевались и неохотно уступали дорогу машине.

Люди шли на собрание с сердитым ожиданием и настороженностью: как пойдет дальше дело?

После обеда собрание возобновилось. Отдохнувшие колхозники вели себя мирно. Они ожидали, что последует дальше. Чувствовалось, что они взвинчены до предела, а если что-то сделано будет не по ним — не потерпят.

Когда голосовали за исключение из членов артели Карасева, Пгахина и его жены, все, как бы еще не веря в свои силы, поглядывали друг на друга и редко кто решался поднять руку. Но вот вверх взмыла рука с бугорками мозолей на брюшках пальцев и застыла, будто преграждая кому-то путь. За ней другая, третья, еще и еще. Повертел, повертел из стороны в сторону ястребиной головой Разумеев и остороженненько высунул руку из-за спины сидящего впереди колхозника, а сам весь сжался, затаил-

ся. Там вон голосует, отвернувшись к окну и почесывая ухо другой рукой, с таким расчетом, чтобы одновременно заслонить лицо, Балаболка — захудалый колхозник.

Птахину сделалось душно, не хватало воздуха. «Ведь тварь, ничтожество! А туда же со своей лапой тянется. Его в правление ввели, передовиком сделали, хоть бы из чувства благодарности воздержался. Нет, поняла мразь, что сейчас выгодней проголосовать. Песня Птахина, мол, спета, а ему, Балаболке, в деревне оставаться, новому начальнику угождать».

Колхозники не сразу ухватились за кандидатуру Якова Григорьевича. Все ждали, да и слух о том прошел, что в председатели привезут какого-то городского. Некоторые даже фамилию называли. И оттого, что многие заранее ощетились, чтобы дать отпор привозной кандидатуре, предложение Чудинова: «Мы выдвигаем Качалина, по пичего не навязываем» — было встречено гробовым молчанием.

Потом заговорили разом. Один за другим, и снова начался базар.

Когда в деревне зажглись огни и за окнами на небо высыпали колючие звезды, собрание заканчивало свою работу. Растерянно мигавший, оглушенный всем происходившим, Яков Григорьевич все порывался что-то сказать. По всему было видно, что он рвется протестовать. Но Чудинов не обращал внимания на вспотевшего, обескураженного Якова Григорьевича, а Лидия Николаевна сзади шептала:

— Ничего, Яша, пичего, все правильно, не брыкайся ты. Успокойся. На вот платок, оботрись. Вспотел весь, чадушко.

Он и в самом деле успокоился. И когда колхозники потребовали: «Пусть Качалин говорит!» — он встал и прямо из-за стола ровным и твердым голосом произнес:

— Так вот, мужики, а значит, и женщины. В председатели я не напрашивался. Но я член партии, и раз мне народ поручает и доверяет — не отказываюсь, не смею отказываться. Но вот что, мужики и вы, женщины, не думайте, если вы выбрали своего, деревенского, так из него можно веревки вить... — Яков Григорьевич насупился, искал еще слов, но не нашел их, а протянул руку, сжал в кулак, закончил: — Рука у меня тяжелая, чтобы не обижались...

В зале раздался смех. Кто-то хлопнул в ладоши.

Яков Григорьевич с испугом посмотрел на свой кулак, сконфуженно сунул его под стол и сел на место. В зале заплодировали.

— Ну, а теперь, — расправил грудь Чудинов, — скамейки долой, Лихачев, на кон — веселиться! Довольно заседать, а то я вижу: тут уж некоторые с непривычки поувяли, — он подмигнул в сторону Уланова, который в самом деле имел измочаленный вид.

Молодые парни и девушки начали выносить и раздвигать скамейки. Открыли двери. В душный зал ворвалась свежая, холодная струя. Мужики, втихомолку перемигиваясь между собой, так, чтобы не заметили бдительные жены, потянулись в буфет.

Лихачев предупредительно пробежал пальцами по кнопкам и бросил к ногам колхозников любимую в Корзинковке «Сербиянку». Раздался топот, задрожали в окнах стекла. Озорные парни пытались вытолкать на середину Мишу Сыроежкина. Он упирался, с сердцем обматерил кого-то, порываясь уйти. Августа догнала его у дверей и сунула ему десятку.

— На, опохмелись, оратор!

— Провались! — рыкнул на нее Миша и, хлопнув дверью, ушел из клуба.

Августа растерянно замерла у дверей. Потом бросилась догонять его и уже у дома настигла сгорбившегося, грустного Мишу. Он, не оборачиваясь, тихо заговорил:

— Правду говорил, а меня, как придурка, на смех... Все это вино проклятое! — Больше в эту ночь Миша не сказал ни слова, только ворочался в постели и вздыхал.

Как ни избегал Чудинов Тасю, все-таки столкнулся с ней у дверей библиотеки. Она вспыхнула, ответив на его приветствие, и хотела пройти дальше.

— Как живешь? — стараясь скрыть смущение, грубовато спросил Чудинов.

— Живу и живу.

— Я слышал, тут обидели тебя, не обращай внимания.

— Вам-то что за нужда до этого? — сурово спросила Тася, стараясь изо всех сил удержать кипевшие в горле слезы. Все эти дни она почему-то не находила себе места, а тут еще Разумеев взял и хлестнул, да так, что и душу обожгло. Принародно хлестнул. Наверно, бросилась бы Тася на глазах у всех с кулаками на Чудинова — столь велика была в ней потребность разрядиться, но, к счастью, рядом очутилась Лидия Николаевна.

— А-а, начальник с подчиненной встретились, — певуче заговорила она. Чудинов протянул было ей руку, но, заметив, что Лидия Николаевна не замечает его руки, быстро отдернул. Холодея, он подумал, что Лидия Николаевна неспроста отвернулась от него.

— Ты чего, Тасюшка, не танцуешь? Веселись давай, не вечно же горевать тебе и маяться. — Лидия Николаевна ласково и настойчиво отводила ее от Чудинова.

Он постоял и направился к буфету. И тут у него впервые появилась мысль уехать куда-нибудь, избавиться от этого постоянного беспокойства, освободить человека, которому принес он так много бед, от тягостной обязанности встречаться и разговаривать с ним.

Тасю и Лидию Николаевну в кругу встретили приветливыми возгласами:

— Раздайся народ, Макариха плывет!

— Круг шире! Она первой плясуньей была!

— Я сейчас еще с любым кавалером возьмусь, — озорно блеснув глазами, сказала Лидия Николаевна.

Доставая из-за рукава платок, она вышла в круг.

Лихачев с хорошей улыбкой посмотрел на нее, склонил набок голову и чуть слышно сказал:

— Ну, тетя Лида, уж для вас-то я рвану!

Он прошупал пальцами пуговички и, пайдя, по-видимому, самую веселую, начал с нее.

Тем, кто не мог пробиться к кругу, сообщали:

— Макариха вышла. Сколько лет не плясала, а сейчас пошла.

— К тому есть причины! — хмыкнула какая-то женщина.

— Молчи ты, не брякай языком, — оборвал ее рядом стоявший колхозник, должно быть, муж, потому что она сразу смолкла. — Много вы знаете, да мало понимаете...

— Тише там!

— Да и так тихо. Эка важность, Макариха курдюком трясет. Чо мы, баб не видали! — хорохорился маленький мужичок.

К нему обернулся парень, рослый, со спортивным значком на борту пиджака и нахмурился.

— Ты, уважаемый, если выпил, так помалкивай, а то я тебе помогу очистить помещение.

— Все в порядке, все в норме, — испуганно залепетал пьяненький мужичок.

А голоса баяна перекликались между собой, трепета-

ли, то рассыпаясь звонкими переборами, то шли рядом, чуть слышно вздрагивая, набирая темп.

Подхватила веселая мелодия сердца людей, понесла их с собой, наполнив теплотой и удаью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лидия Николаевна шла вначале неуверенно, притопывая, словно прощупывая каблуками крепость половиц, прислушивалась к музыке, примеривалась к кругу. Бывают такие люди, которые хороши в любом наряде. К их числу принадлежала и Лидия Николаевна. В черном шелковом платье, сшитом еще по старой моде, с закрытым стоячим воротничком, в желтых с потертыми носками туфлях, высокая, грудастая, шла она по кругу. Ее темные, всегда задумчивые глаза сияли, и в мягком движении рук, и в чуть закинутой голове с двумя еще красивыми косами, и в полуоткрытых губах ее, и в изломе правой приподнятой брови — во всем этом была та особенная, непапуганая грация, которая приводит в восторженное изумление людей.

В русских людях, как и в природе, породившей их, нет ничего разящего глаз. В них все скромно. Нужно приглядеться к незатейливым цветам нашим, уловить их скупой, затаенный запах, услышать над головой шорох сосновых ветвей, попить ломящей зубы воды из горных ключей, посмотреть в вешнюю синь после долгой зимы. Вот тогда ближе и попятней станет наш немногословный, наш суровый и душеобильный человек! Русский человек! Дайте вы ему, как лесу нашему, умыться дождем после долгого зноя. А вы видели русский лес, после долгого зноя умытый, спокойный, причесанный? Если видели, никогда уже не забудете его. Не дрогнет ни одной веточки, ни одного листочка. Висят утихомиранные листья, и с каждого из них рыбьим глазом смотрит капля. Солнце пьет из листьев, как из мягких ладоней, настоящую воду. Лес не шевелится, но переливается телями, цветами. Мягко бродит по нему робкий ветерок и с шорохом осыпает капли наземь. А лес то ярко зазеленеет, то снова замрет, то будет испугаться того, что забыл он о скромности и выказал миру свою красоту...

А как красив делается наш русский человек, когда он

тоже отряхнет с себя будничные вид, улыбнется и все, что он не успел допеть, все веселье, которое он не успел растратить, выплеснет щедро, одарит людей радостью, напоминая всем, что мир-то создан для нее, для радости человеческой.

Переполненная вот этой редкой и оттого яркой радостью, Лидия Николаевна шла по кругу, и Тася, сама того не замечая, восторженно шептала: «Тетя Лида, милая, красивая, тетя Лида, тетя Лида...». И вдруг, словно услышав ее призывы, будто убедившись в том, что все взгляды теперь прикованы к ней, Лидия Николаевна ударила каблучками, взмахнула платочком, сверкнули молнией еще крепкие белые зубы ее.

Едва поспевая за ней, гнал переборы Лихачев. Кто-то покрикивал:

— Жми, дави, деревня близко!

— Эх, Лида! Завей горе веревочкой, — громко пропела одна из женщин позади Таси, — редко нам, вдовам, веселиться приходится. Плясунья она раньше была, ох, плясунья! Бей, Лида, крой, Лида! За всех за пас, вдов сиротливых!

Когда Лидия Николаевна поравнялась с говорливой женщиной, та не выдержала, бочком, мелким шажком тоже потрусилась в круг.

— Потаскуха! — разнесся истошный голос по клубу. — Перед чужими мужиками холкой виляешь!

Тася обмерла. Будто ее окатили из ведра ледяной водой.

Она следила за Лидией Николаевной и хотела только одного, чтобы та не услышала ничего, но по тому, как дрогнула, сломалась у виска бровь Лидии Николаевны, Тася поняла — услышала. Тася оглянулась и заметила у дверей женщину в пуховом платке, с высохшим, болезненным лицом, большеротую, желтую, злую.

— Как вам не стыдно! — задыхаясь, выпалила Тася, и стоявшие кругом люди начали оборачиваться. Стук каблучков прекратился. Баян смолк.

— Ты чего меня стыдишь? От горшка три вершка, а уж ребеночком обзавелась! Тоже какого-нибудь женатого охомутала? — Женщина говорила громко, была наотмашь, уверенно и властно.

Где-то захихикали. Лихачев рванул баян. Появившийся в дверях Чудинов стоял огорочен, с широко раскрытыми глазами.

— Пойдем отсюда, пойдем, — потянула за рукав Тасю Лидия Николаевна. — Не слушай ты ее, пойдем...

Голос у Лидии Николаевны был прежним. Только в глубине его угадывалась боль. Она настойчиво тянула Тасю к двери. Откуда-то вывернулся Яков Григорьевич и, нахмурившись, сказал все еще шумевшей женщине:

— Евдокия! Ты зачем здесь? Иди домой.

— А-а, я домой, издыхать, а ты тут будешь любовь крутить! В могилу меня сгоняешь! Специально-о-о!.. — громко закричала Евдокия.

Лидия Николаевна почти силой вытащила Тасю за дверь. Чудинов посторонился, пропуская их мимо себя. Он порывался побежать за ними, что-нибудь сказать им. Но что он мог сказать?

Женщины шли торопливо и молча по пустынной улице от клуба. У Таси спустился чулок, она нагнулась подтянуть его и вдруг разрыдалась. Все, что с таким трудом удерживала она долгое время, неудержимо прорвалось.

— Ой, ой, за что это она нас, а? Тетя Лида? Милочка, за что, а?

Лидия Николаевна обхватила Тасю за голову, прижала к себе и, вытирая ладонью ее глаза, растерянно успокаивала:

— Ты что, ты что, девочка моя? Не надо, не надо... ну брось. Если нашему брату всякую обиду в сердце пускать, так даже наше сердце, каменное, лопнет. Пойдем-ка домой, пойдем.

Она обняла Тасю, повела, как больную, придерживая рукой. Уже у самого дома, когда Тася заплакалась, она, как маленькой, концом шали вытерла ей нос.

— Эх ты, хохлушка моя! Такое ли еще бывает в жизни? Сядем-ка рядом да поговорим ладком. Охота мне сегодня поговорить, ох как охота.

Ребята спали. Пока Лидия Николаевна собирала на стол, Тася ушла в комнату, включила свет и уселась возле кровати, на которой спали Васюха и Сережка. Васюха спал крепко, приоткрыв рот и выпустив слюнки. Сережка спал вниз лицом, у стены, раскинув руки. Он заметно подрос. В желобке его худенькой шеи выросла косичка, которую Тася до сих пор не замечала. Она потрогала эту косичку, грустно улыбнулась, поцеловала Сережку в ухо и накрыла одеялом. Потом выключила свет, ушла на кухню. На столе между тарелками стояла бутылка вина. Тася изумилась.

— Наш праздник, Тасюшка, — молвила Лидия Николаевна, — и выпьем мы с тобой, и душеньку разговором отведем.

В голосе Лидии Николаевны послышалась глубокая тоска. Лицо ее было усталым. Та радость, что согревала его лишь полчаса назад, уже и не угадывалась даже. В клубе плясала какая-то другая Лидия Николаевна, на которую даже смотреть было немножко боязно, настолько она казалась красивой, гордой, недоступной. А сейчас за столом усаживалась та самая, привычная тетя Лида, только вроде бы разбитая, надсаженная. Ее глубокие глаза полуприкрыты ресницами, руки упали на колени.

— Давай пьянствовать, — встряхнулась она, и горькая усмешка тронула ее губы. — Давай пьянствовать, вдова соломенная. Давай заливать угощение Евдокии, жены Якова. Давай присуху размачивать.

— Какую? — с испугом уставилась на Лидию Николаевну Тася.

— Эх, Яков, Яков, золотой мужик! — не слушая Тасю, вздохнула Лидия Николаевна и налила в рюмки вина. Они чокнулись, и Лидия Николаевна с глубокой задумчивостью произнесла: — Нет, хохлушка, моя, не за это мы выпьем, а знаешь за что? За ребятишек! Пусть детишки наши не знают того, не ведают, чего нам досталось.

Они выпили и молча припились за еду. Лидия Николаевна взялась за бугылку, Тася схватила свою рюмку.

— Ой, что вы, тетя Лида! У меня уж в голове это самое, — она махнула рукой возле своей головы.

— А я выпью еще, не суди меня. — Она покосилась на Тасю. — Небось уж всякое подумала?

— Ничего и не думала, — ответила Тася.

— Ну, ну, да хоть и подумала бы, так ничего в этом особенного нет, — успокоила ее Лидия Николаевна. Неожиданно она добавила, как будто совсем не относящееся к разговору: — Чужую беду всяк рассудит, только в своей не разберется.

Лидия Николаевна выпила, поморщилась, сердито отпихнула рюмку. Потом подцепила вилкой кружок огурца и задумалась. Глаза ее сделались неподвижными, глядели куда-то мимо Таси, и она замерла.

— Славная пора у людей в жизни бывает — молодость! Молодость и у меня была хорошей, несмотря на голод и холод, — заговорила Лидия Николаевна, отвалившись на спинку стула и закрыв глаза. — Я, как тебе мол-

вить? Здоровая была и красотой, должно быть, не обижена. Парни-то приухлястывали за мной, а двое душой прилепились...

...Жили в Корзиновке два парня: Яков да Макар. Один из крепкой семьи, большой, неловкий, хмуроватый. Девчата чурались его, да напрасно. Он сам стеснялся девок, на вечерках сидел тихо, смирно. Стоило только одной девушке обратить на него внимание, и сердце Якова дрогнуло и распахнулось, выпуская ее надолго и бесповоротно.

На лужайке, за поскотиной появилась как-то Лидия Ключева. Застенчивая, связанная в движениях, с лентой в тяжелых косах, она была похожа на впервые распутившуюся в цвету черемуху, у которой мало кистей, но все они светлые и крупные.

Ребята корзиновские вдруг увидели, что эта девка из бедной семьи Степаниды Ключихи — под стать любому парню. А как под гармошку плясать пошла, сомлели ребята, шеи вытянули: «Откуда такая взялась? Да неужели эта паша, деревенская?» И каждый из парней старался хоть чем-нибудь выгородить себя, заметным сделаться.

Завистливо глядели девки на свою повую подругу, особенно Дуська Масленникова. Все у нее было: и паряды дорогие, и приданое. Разбогател отец ее от дикой удачи. Говорят, лучил он рыбу вместе с дочерью в реке и сундук с золотом нашел. По Кременной раньше заводское железо плавил в барках, вот и ухнул в воду с сундуком. А может, отец и пристукнул кого. Сторонились деревенские жители масленниковского дома. И сваты обходили его дочку, к которой, по-видимому, в наказание за темное дело отца, привязалась хворь какая-то, и она сохла на корню.

Злилась Дуська на всех красивых и здоровых. Злилась она и на повую товарку, дочку вдовы Степаниды. А та, краснея от смущения, сплясала и неожиданно раскланялась перед самым никудышним парнем — Яшкой. Захихикали девки, прищурились ребята, а Яшка вскочил и начал смущенно перебирать кисти шелкового пояса.

— Чего же ты? — подбадривала его Лида, чувствуя, что все ребята и девки внимательно смотрят на них и готовы потешиться над Яшкой. — Иди же!

Она еще раз притопнула каблуками, схватила его за руки и потащила в круг. Плясать Яшка не умел, но в угоду ей потоптался по-медвежьи в кругу.

Парни захохотали. Яшка сконфуженно скрылся. И тог-

да, чуть побледнев от волнения, Лидия подняла голову, поглядела вокруг и крикнула:

— Кто самый храбрый, выходи, спляшем!

Парни смолкли, пачали прятаться друг за друга. Только рыжий Мишка Сыроежкин в заплатанных штанах стоял возле гармониста и пасвистывал в два пальца, подбадривая заробевших парней. Девки пачали откровенно посмеиваться над Лидой. Одна из них церемонно раскланялась.

— Отбыли ваши кавалеры, а наши знать вас не желают!

Лидя уже готова была выскочить из круга и бежать домой, но в это время в круг вышел одетый по-городскому голубоглазый сын учителя — Макар. Он кивнул гармонисту, снял суконный пиджак, небрежно бросил его на траву и вдруг лихо пошел навстречу девушке. Где-то в конце лужайки они встретились, разошлись, снова встретились.

Сверкнула радость в их глазах. Ударил Макар в ладоши, подхватил Лиду за талию, и они закружились.

От большого счастья, от девичьей радости захватило дух у девушки. «Вот он какой, этот учителей сын. Веселый, оказывается, а все думают, что он гордый, не хочет с деревенскими знаться...»

Поздней ночью шли они из-за околицы домой. Макар вежливо вел ее под руку. Она впервые шла с парнем, да с каким! От этого было радостно и немного страшно. У поскоотины сорвалась с жердей и бесшумно метнулась в темноту сова. В кустах слышались шаги, замерли неподалеку.

— Ой, что это, Макар? — вскрикнула девушка и прикинула к нему.

— Где?

— Да в кустах.

— Чудится тебе, — шепотом ответил он и обнял девушку.

Так они стояли долго, обнявшись, не смея потревожить ночную тишину, не решаясь поцеловаться. За кустами чуть слышно шумела Кремешная, и по ту ее сторону, путаясь в вершинах темного леса, катилась луна, отражаясь блеклым пятном в реке. Силуэты прибрежных деревьев и кустов дробили это пятно на множество мелких лун, то ярких, то чуть заметных.

В кустах сочно тинькала пичужка, будто роняла из клюва капельки воды в тонкую посудину. Так и не посмев

поцеловаться, Макар с Лидой пошли дальше. Луна поднялась, и впереди них закачались большие дружные тени. Макар распахнул перед Лидой ворота поскотины, сделанные из жердей. Ворота скрипнули на намазанных петлях, и снова что-то хрустнуло в кустах. По дороге стлался свет луны, и девушке было боязно ступать на эту тонкую дрожащую полосу, которая напоминала ей подвенечную фату. Возле крайнего дома в палисаднике кто-то выводил под балалайку:

За лесом солнце зы-восняло,
Где черы-най ворон прок-рича-ал,
Пы-прошли часы, прошли минуты,
Ковы-да с девчо-онкой я гуу-уля-ал...

Песня шаталась, как на ходулях. Но вот к мужскому голосу присоединился высокий женский, и она зазвучала стройней и печальней:

Прощайте, все мои подруги,
Прощайте, все мои друзья...

В тоске и отчаянии бился голос молодого новобрацца, у которого кончались часы и минуты, счастливые, забываемые, и вот он уезжает в далекие края, так, может быть, и не поцеловав свою суженую.

— Тихо как, — сказала Лида чуть слышно.

Макар ничего не ответил, только сжал ей руку и так, не проронив ни слова больше, они подошли к Лидиному дому. Подошли и оба пожалели, что стоит он не в другом конце деревни.

— Придешь завтра, Лида?

— Приду, — одними губами ответила она и с закрытыми глазами стояла у ворот, прислушиваясь к его шагам.

Вдруг перед ней как из-под земли вырос большой человек. Тяжело дыша, он схватил ее за плечи, руки его вздрагивали.

— Лида, это я... не бойся меня... это я... Яшка... Лида... прости меня.. растерялся я давеча... не смел... Лида, иль ты подразнила меня? Я видел тебя с учительным сыном. Он вон какой! — Яков развел руками, опустил голову. — Холостяковать мне, верно.

— Что ты, Яша, — ласково проговорила Лида, — разве мало девушек в селе? Ты ведь славный. Найдется и твоя суженая.

— Я не хочу другую, — угрюмо ответил он, — я завтра к тебе сватов пришлю!..

— Что ты, что ты! — испугалась девушка. — Мне еще рано замуж, не желаю.

— За меня не желаешь, а за Макарку, если спосватается, пойдешь. Пойдешь ведь?

Она помолчала и честно призналась:

— За Макара пойду. Только он не посватается.

— Посватается. Как он не посватается. Ты вон какая! — Яшка, вероятно, поискал сравнения, но не нашел и, скрипнув зубами, исчез в темноте.

Еще было много вечеров и ночей, с луной и без луны, теплых и ненастных, но одинаково замечательных и всегда коротких. И где бы они ни были, за ними всюду следовал Яшка. Парень мучался, а на селе посмеивались над ним.

Потом настала разлука. Уехал Макар служить в Красную Армию, стал пограничником. Затосковала Лида. Ребята подначивали Якова:

— Ну, Яшка, не теряйся теперь. Учителишки пет, свернут ему япошки на границе голову...

Яков как умел ухаживал за Лидой. А умел он сидеть возле нее и не мешал ей думать. Думала она о Макаре. Он чувствовал это, вздыхал. Похудела Лида, лицо ее темного побледнело и оттого сделалось строгим и еще более привлекательным. Грусть, поселившаяся в ее больших глазах, придавала им неизмеримую, заманчивую глубину. Сделались они бархатными, мягкими.

Все чаще и чаще в доме Степаниды стали появляться сваты, но уходили они ни с чем. Больная Степанида журила дочь:

— Чего ты, Лидка, выкобениваешься? На что надеешься? Не пужна ты темная, неученая Макару. Не придет он к тебе. Гляди, подыхаю ведь я, чего одна-то делать будешь? А мне желательно взглянуть на зятя хоть одним глазком, узнать, с кем ты останешься на белом свете. Ради тебя тянула вдовью лямку, как же сиротой бесприютной тебя оставить?..

Не выдержала Лида, сказала Якову:

— Нет моей мочи больше. Изъела меня мама, не дожидаться, видно, мне Макара, не судьба, значит. Шли хоть ты сватов...

Яков обрадовался, но, встретившись с ее тоскливыми глазами, сел рядом с ней и долго молчал.

— Не надо мне, Лида, из милости. Жди Макара. Но если за кого другого — зарублю!

— Яша, Яша, что ты! — Девушка заплакала, прильнула к нему. — Я знала, что ты такой...

Степанида умерла, и девушка осталась одна в большой избе над крутиком. Яков заколотил окна в одной половине избы, и девушка перебралась в ту, где теперь жили Тася с Сережкой. Часто допоздна просиживал у нее Яков. По деревне ползли сплетни. За Лидой укрепились дурная слава.

Но никакие слухи, никакие сплетни и наговоры не помешали встретиться Макару и Лиде. Когда появился он в буденовке, в потертых кожаных галифе, Лида темного орбела. «Больно уж важный Макар-то. На меня и не взглянет, пожалуй».

Но Макар в первый же вечер пришел к ней да так и остался. На другой день его на улице остановил Яков и сказал:

— Будут тебе всякую печисть плести насчет Лидии и меня — не верь. Неправда это.

— А я знаю, что неправда, — беспечно ответил Макар.

— Знаешь?.. — глухо переспросил Яков и, опустив свои могучие плечи, побрел прочь.

— Яков, стой! — кипулся за ним Макар.

Яков остановился. Широкое, с крупными чертами лицо его осунулось, постарело.

— Я люблю ее, — чуть слышно выдавил Яков, — давно... — Хотел еще что-то сказать, но мотнул головой и, круто повернувшись, ушел.

В Корзиновке почти одновременно были две свадьбы. Первая из них шумная, с лентами, с бубенцами на дугах, с венчанием, с дружками и сватами, с приданным и большой гулянкой. Здесь Евдокию Масленникову выдавали за Якова, беспрекословно подчинившегося воле родителей. А им прежде всего хотелось породниться с богатыми. Масленниковы как-то сумели выкрутиться во время раскулачивания, жили единолично.

Вторая свадьба была тихой, малолюдной. Ни у жениха, ни у невесты уже к той поре не было родителей. На свадьбу к Лидии и Макару пришли две бедные вдовы, девка Августа, которую Макар недавно пристроил в лавку уборщицей, ее непосредственный начальник с ярким чубом — Миша Сыроежкин да пастух Осмолов, который привел в подарок мягкогубого телка, заработанного на летней пастьбе скота.

Нешумная это была свадьба, но какая-то уютная. Посокрушались было две вдовы насчет того, что молодые не обвенчались, но подвыпили, примирились с этим, и пастух изрек:

— Все по-новому, пусть будет и свадьба по-новому.

А когда он опьянел, все лез целоваться к Макару и, роняя на стол слезу, говорил:

— Как же это вы меня, пастуха, на свадьбу, а? Последнего человека! Эх, Макар, люблю я вас... Лида, милушка... Дай тебе Бог пу всего, что ни на есть... Эх вы, детки!

Поздней ночью у ворот зазвенел колоколец, остановилась тройка. Бледный, не в меру пьяный в избу вошел Яков. За ним несколько парней. Пощупав тоскливыми глазами из-под пасуленных бровей выжидательно застывшую компанию, Яков ухарски выкрикнул:

— Поздравить приехал! Вот! — Он выхватил у стоявшего сзади парня клубок красной шелковой ленты, и она змеей побежала к ногам Лиды. — Принимай от меня!

Макар встал из-за стола, смотал ленту на пальцы.

— За поздравление спасибо, Яков! Лида, — обернулся он к жене.

— Спасибо, Яша, — тихо сказала она и неуверенно кивнула на стол. — Может, за наше... счастье...

— За ваше? Что ж, ребята, выпьем! — повернулся он к своим друзьям.

Там кто-то услужливо стукнул по дну бутылки. Пробка шлепнулась в белую печку.

— Пожалста!

— Нет, нет, нет, — запротестовал Макар, — угощаем мы! Милости просим к столу.

Ничего не оставалось делать. Яков выпил рюмку, и вся удаль с него слетела. Он медленно поднялся, ухватился рукой за край стола так, что обозначились косточки на суставах.

— Желаю, значит, желаю... — И вдруг, закрыв лицо рукой, выбежал из избы...

...Лидия Николаевна смолкла. Взяла крошку хлеба, размяла ее, скатала в шарик, снова размяла. Потом поднялась, подошла к часам-ходикам, пристально, долго смотрела на них. Подтянула гирьку, качнула сникший было маятник и вернулась к столу. В бутылке еще оставалось вино.

Лидия Николаевна налила рюмки, приподняла за подбородок притихшую Тасю.

— Э-эй, чего пригорюнилась? Давай, раз уж взялись пить, и спать.

— Как у вас все было интересно, — вздохнула Тася, — а вот у меня: раз — и ничего не стало. Ни молодости, ни любви, ни доброй надежды. Живу — небо копчу. Только и смысла да радости, что Сережка. — Тася смолкла, постукала себя согнутым пальцем по зубам и грустно вымолвила: — Ну а что же потом? Вам не тяжело, тегя Лида, рассказывать? Если тяжело, то лучше не надо.

Лидия Николаевна помолчала и, глянув без улыбки на Тасю, снова заговорила:

— Любовь, знать-то, всегда вспоминать сердцу любо. Но бывает такой момент, когда и тяжелого хочется кому-то отделить. — Лидия Николаевна взяла в руки косу, принялась расплетать. — Потом, Тасюшка, все шло по порядку, как у добрых людей. Жили, работали, ребятами обзавелись. Макар учительствовал и меня грамоте научил. Я до войны-то много читала. Тебе интересно знать, конечно, что Яков? Яков после свадьбы дом срубил. Он ведь, Тасюшка, на все руки, и швец, и жнец, и на дуде игрец! Только у них с самого начала жизнь не склеилась с Евдокией. Другой, может, давно плюнул бы на все, а он не из таких. Да и то сказать, ребят двое появилось, не шуточное дело. Лечил жену Яков-то, помогал, как-никак свой человек, и не виновата она в том, что на нее хвороба навалилась. Однако Евдокия пазло делала всякие штуки: то лекарства выльет в поганое ведро, то орет, что со свету ее сживают. Ребята подросли, стали чураться своей матери, у нас днями околачивались. Яков тоже придет, бывало, вон туда у печки сядет, час сидит, два сидит, с Макаром иногда словом перебросится, а то и так уйдет. Евдокия все окна у нас как-то выхлестала. Нервный она человек, нездоровый. Так вот до войны и прожили. На войну Макара и Якова провожали разом. Яков перед отъездом все переминался, покашливал. Вижу, что сказать мне что-то хочет, а не осмелится. Я догадалась и говорю: «Воюй, Яков, и о детях не беспокойся, сколько сил хватит, столько и буду помогать».

Вредничала Евдокия-то, запрещала своим ребятам ходить к нам, лупила их чем попадя. Да ничего, сладила я. Времена трудные были, не до куражу ей стало. Правда, сама она ко мне не ходила и на улице при встрече отворачивалась. «Издохну, говорит, а Макарихе не поклонюсь и куска от нее не приму!» А ребят я, как могла, тянула.

Замордованные они у нее, хлипкие были. Я им, как умела, характер делала. Так вот и дотянулись мы до сорок пятого. А потом в госпиталь меня вызвали. Макару позвоночник изувечило. Лечила я его. Уж чего только ни пробовала. Поправляться он, ходить начал. Видишь, даже Костя с Васюхой на свет появились. Да он ведь беспокойный был. Ему бы дома посидеть с полгода, в корсете походить положенное время. Не послушал. «Дело, — говорит, — не в этой кожаной спецовке, а в силе человека».

Летом сорок пятого вернулся с войны Яков, не узнал ребятшек, а потом пришел к нам, кланяется, благодарит. Я растерялась. «Чего ты, говорю, выдумываешь!» А у него по щеке слезища, как бусина, одну у него видела за всю жизнь...

Лидия Николаевна снова смолкла, опустила руки, и расплетенная коса у нее на груди переливалась искорками седины. Лицо ее будто паутиной подернулось, а глаза прикрылись густыми, все еще бархатными ресницами. И снова она дошла до такого места в своей жизни, о котором ей было не под силу рассказывать.

Начала Лидия Николаевна хлопотать, чтобы Макара в Москву, в клинику поместили, а он ей сказал: «Не падо, Лида, не стоит. Есть еще во мне сила и дух, что помогает человеку смерть превозмогать. Помпишь, как у Теркина: «Уберите эту бабу, я солдат еще живой...»

Вот так Макар крепился, Теркина наизусть читал. Но однажды Макар позвал Якова, усадил его рядом. Жене велел выйти. Долго смотрел на старого друга и сказал:

— Только не перебивай меня и не возражай. Знаю я, что всю жизнь ты Лиду любил, и было мне от этого всегда не по себе, точно я обворовал тебя. Скоро, Яша, семья моя останется без меня. Не возражай... Я всегда детей своих и чужих учил смотреть правде в глаза. Моей семье государство будет помогать. Но только насадка умудряется в непогоду укрыть всех своих птенцов под крыльшком. Человек не цыпленок, ему больше нужно. В доме много дел, не посильных женщине. Надо их кому-то делать. Но самое главное — вовремя поддержать вдовью семью добрым словом. У нас полно еще людей, скупых на добрые слова. Ты понимаешь, Яша, к чему я?

Яков с обидой взглянул на друга: «Зачем говоришь?» — и стиснул бессильную руку Макара.

— Не надо, не мучайся... нехорошо заживо в могилу оформляться, не надо...

Лидия Николаевна тряхнула головой, провела рукой по глазам.

— Выьем по последней, Тасюшка, до дна...

Тася взяла рюмку, вышла из-за стола, обняла Лидию Николаевну и с дрожью в голосе произнесла:

— Молиться надо на таких-то людей!

— Ну, ну, ты скажешь! — с удивленной застенчивостью рассмеялась Лидия Николаевна. — У кого сердце есть, душа есть, понимают и без моления, что осколок германский мог попасть в другого человека и не я бы сделала вдовой. Но осколок угодил в Макара, и некоторые думают, что мне теперь уж не положено ни попеть, ни повеселиться. Плевать на то, что я тоже человек, а не гнилушка. И я порой хочу, чтоб кто-то пожалел, приласкал меня. Я должна работать и за себя, и за мужа. Я должна меньше спать, хуже есть, хуже одеваться, и я не смею взглянуть на мужчину, потому что меня тут же потаскухой обзовут. Закипит иногда в душе, как сера горячая, обида-то, да там и присохнет. Кому скажешь? Да и научилась я чихать на все наветы. Я не разменяла своей вдовой чести, не испачкала память мужа. Я могу прямо, как мать, глядеть своим ребятишкам в глаза. — Лидия Николаевна приостановилась, взглянула на Тасю и со вздохом закончила: — Давай-ка, хохлушка, поспим маленько, а то уж зорюшка в окно светит. Ты тоже голову не опускай. Тебя помоями обливают, а ты не гнишь, они и не прилипнут. В жизни нужно гордым быть и плакать не надо, слез не хватит. Мама-покойница говаривала раньше: «Сколько бы березонька вершиной ни качала — росой не залить огня».

На печке поднял голову Костя, сонно поглядел на них, на стол, снова улегся. Скопфуженные женки постелили себе на полу. Тася уснула почти сразу, прильнув к Лидии Николаевне.

Из клуба Евдокия еле волочила ноги. Болезнь, добытая в реке, когда она бродила в ледяной воде с отцом, доставая железный ящик, давала себя знать. Говорят, что ревматизм лижет суставы и гложет сердце. Так получилось и у нее. Много и долго лечили ее врачи и деревенские знахарки, но хворь брала свое. Злится Евдокия и зло свое срывает на ком только доведется. Отчистила вот

Макариху, теперь до дому. Постучала. Ей отворил Славка, а Зойка что-то поспешно заметала у печки — видно в приоткрытую дверь.

— Опять строгали? Оставить одних нельзя, — зашипела Евдокия. Ребята прижались к печке и — видно по глазам — ждут, когда она уйдет.

— У-у, змеи! Радайтесь! Вашего папашу выбрали председателем, начальство теперь! А вы нет чтобы за матерью присмотреть, так чуть чего — к Макарихе своей улизнете. Присушила она вас вместе с отцом.

Не переставая ворчать, Евдокия развязывала шаль и, придерживаясь за стенку худой, дрожащей рукой, пла в горницу.

— Воды принесите! — тихо приказала она.

Ребята не пошевелились, пережидая, кто первый пойдет.

— Воды, говорю, принесите. Не слышите, что ли?

Славка нахмурился, взял кружку и, нацедив из самовара воды, исчез в комнате. Евдокия отпила глоток и сердито сказала:

— Оставь кружку-то здесь, а то хоть сдохни, не дозвешься никого.

Она замолчала. Славка постоял и буркнул:

— Уходить, что ли?

— погоди. На-ко вот, — тихо сказала Евдокия и сунула в руку ему большой пакет. — Яблоки тут, в буфете продавали. Не пробовали ведь нынче яблочков-то, вот я и купила. С Зойкой поделись. Ну, ступай.

Поздно ночью пришел Яков Григорьевич. Подцепив полупальто на деревянную крашеную вешалку, он спросил:

— Как насчет поесть, ребята?

Зоя, ловко орудуя ухватом, вытащила из печки горшок, припудренный золой, и еще посудину, палила отцу щей и паложила гречневой каши.

Всю домашнюю работу Зоя со Славкой тянули одни. Были они не по возрасту рассудительны, умели многое делать, но иногда срывались. Евдокия кляла их за это пещадно. Яков Григорьевич заступался, и ему попадало за компанию. Так в доме образовались два лагеря: с одной стороны отец с ребятами, с другой — больная, рано состарившаяся мать. Всячески старался Яков Григорьевич изжить домашнюю междоусобицу, но ничего не получалось. Евдокия для ребят была обузой. Они подчинялись

ей, но с каким-то молчаливым и покорным упрямством. Это больше всего бесило Евдокию. Евдокия понимала, что она чужой человек в семье, но за всю свою жизнь не сделала ни шага, чтобы сблизиться, смягчить свою ожесточенную душу.

— Как там? — кивнул отец на дверь горницы, хлебая щи. — Попало вам?

— Шумела опять, — махнул рукой Славка. — Пап, а что, правда, тебя председателем выбрали?

— Правда, ребята, правда. Ну, матери мы мешать не будем. Здесь потихоньку давайте устраиваться, а то мне рано вставать.

Зоя бросила возле печи тулуп, полупальто и еще какую-то одежду. Направилась было в горницу за подушками, но Яков Григорьевич остановил ее:

— Ладно, Зоя, еще разбудишь.

Выключили свет, улеглись. Яков Григорьевич в темноте оцупал ребят, придвинул их теснее и вздохнул.

Ребята вскоре сладко засопели, а Яков Григорьевич лежал с открытыми глазами и, глядя в искривившееся от лунного света окно, думал — с чего начинать работу?

«Начну с самого необходимого. Завтра же примусь за здание правления. Сам инструмент в руки, всех столяров соберу, и приведем дом в порядок. Дорожки велю купить, чернильницы, столы и все такое. Само правление должно быть авторитетным, и дом колхозный должен содержаться в порядке. Как же быть с кормами? Где их брать? С семепами тоже дело неладно. Картошку в шестой бригаде заморозили. Ну это свиным на корм, — а садить что? Вот Пташка так Пташка, хозяйство же оставил! Да-а, Птахин и мужик-то вроде пугный. Правду говорили на собрании, и вот поди ж ты. Женушка его свихнула...»

Яков Григорьевич не заметил, как заснул и, казалось, через минуту проснулся.

Евдокии сделалось плохо. Шлепая босыми ногами из кухни в горницу со стаканом и мокрым полотенцем, бежали ребята, что-то опрокинули, отец шикнул на них. Он не знал, куда девать свои руки, и виновато бормотал:

— Говорил ведь я ей: не ходи, не психуй, так разве послушает.

Евдокия пришла в сознание. Она долго лежала с открытыми глазами, потом повелительно сказала:

— Уходите! — И мужу тихо: — Ты останься.

Ребята на цыпочках вышли, осторожно прикрыв дверь. Яков Григорьевич избегал встречаться с тоскливым взглядом Евдокии. В старой телогрееке, в трикотажных сиреневых кальсонах и в валенках с загнутыми голенищами выглядел он нелепо и смешно. Но Евдокия не обращала внимания на его вид.

— Ну, Яша, подходит мой час, — трудно выговаривая слова, начала она и зло усмехнулась: — Давно ты его ждешь!

Яков Григорьевич отшатнулся, телогреека спала с его плеч.

— Евдокия!..

Она оборвала его:

— Молчи! Я ведь чувствую. Знаю, что еще ноженьки мои не остынут, а ты уж к Макарихе уйдешь. Угадала? — Он хотел что-то возразить и, словно защищаясь, поднял свою большую руку, а она рвала, била: — Всю жизнь по ней сохнешь, всю жизнь я тебе постылой была, знаю. Все знаю!

— Чего ты знаешь, отдыхай лучше. Опять хуже сделается.

— Она не чета мне, Макариха-то, — не слушая Якова, продолжала Евдокия. — Пригожа, умна, добра, кругом хороша. Она и на постель-то тебя ни разу не пустила. Не пустила ведь? Так ходил, облизывался.

— Я и не просился, — посуровел Яков Григорьевич.

— А-а, я знаю. Я так, по злости бабьей наговаривала на нее. Болтала, потому что хуже ее была. Завидовала, а кому завидовала, дура! У Макарихи детишки, бедность. Сердцу ее не бабьему завидовала, душе ее доброй, и ненавижу, и тебя ненавижу-у... — вдруг исступленно захрипела Евдокия.

Ребята приоткрыли дверь. Яков Григорьевич махнул на них и поднялся, бледный, пришибленный. Евдокия рыдала:

— Уйди, уйди отсюда!

— Дуся, Дуся, что ты, успокойся. Ну к чему ты... К чему все это?

Она немного стихла.

— Сядь, слушай! Судьба, видно, быть вам вместе. Но ребят не обидь. Они и от меня обид много приняли!

— Ну зачем ты это, зачем?

Всем вам без меня будет лучше, всем... Лишняя я. Из-

вестно — больную птицу и в стае клюют. — Голос Евдокии опять задрожал, и по щекам покатились слезы. — Обидно-о! ох как обидно...

— Да не изводишься ты, Дуся. Что за блажь на тебя...

— Ох, Яша, почему это так бывает: кому в жизни счастье коробом валит, а кому и в спичечную коробку нечего положить?

Яков не ответил. Она шевельнулась, спросила:

— Чего молчишь-то?

— Добиваться надо счастья-то, — осторожно промолвил он. — А добыть его — не сундук из реки вынуть...

— А-а, про погибель мою опять вспомнил... С Макарихой сравниваешь?..

— Насчет ее счастья лучше помолчать. Да и не жалуется она на свою долю. Не слышал ни разу.

Евдокию передернуло от этих слов. Она прикрыла глаза, долго молчала и выдавила:

— Попить.

Яков Григорьевич подал ей стакан и обмер, коснувшись жены. Рука была холодная.

— Завтра я отвезу тебя в больницу.

— Не надо. Сколько можно меня по больницам возить? Довольно. Мне не такое лекарство от тебя нужно было.

С полчаса она молчала, казалось, уснула. Он выключил свет и хотел было выйти, она что-то забормотала. Яков Григорьевич наклонился к ней, услышал глубокий вздох и почувствовал, что она больше не дышит.

При бледном утреннем свете, проникавшем в окно, было видно непривычное спокойствие на лице Евдокии, какого ни разу не было при жизни. Только в складке около рта еще дрожала сиротливая слеза. Яков Григорьевич смахнул ее, сложил уже начавшие костенеть руки на груди Евдокии и медленно побрел в кухню.

Детишки прикорнули на тулупе. Яков Григорьевич разбудил их и срывающимся голосом сообщил:

— Ребята... мать... скончалась...

Славка и Зоя переглянулись между собой. Якова Григорьевича покорило. — на лицах ребят промелькнула радость. Тогда он взял и втокнул их в горницу. Устало волоча ноги, вышли они оттуда. Подбородки у обоих судорожно вздрагивали. Они уткнулись в широкую грудь отца, покаянно заплакали.

У Якова Григорьевича сдавило сердце, перехлестнуло горло. Чувствуя себя в чем-то непоправимо виноватым, он гладил и гладил своей большой рукой вздрагивающие спины ребятишек.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Встревожило Лидию Николаевну поведение Удалихи на собрании. Она с детства привыкла видеть свою крестную сердитой, шумливой, с мужиковатой ухваткой в деле. Казалось, Удалиха вечно будет такой же сухой и крепкой, как листовищичный корень. И время ничего не поделает с ней. Но вот сдала и Удалиха, похудела, окостявилась, даже заплакала на людях.

Жизнь сурово обошлась с Удалихой, и она, между прочим, так же сурово относилась к жизни. Во время коллективизации потеряла мужа и осталась с четырьмя сынами. Ни один еще к труду способен не был. Но никогда и никому не жаловалась старуха, ни перед кем не гнула, и, когда Лидии Николаевне сделалось чересчур трудно, она обязательно сравнивала свою жизнь и жизнь Удалихи — и сразу все беды блекли.

Есть такое поверье, что беда не ходит в одиночку. Если уж на кого посыплются беды, они будут сыпаться, будто тяжкие камни во время обвала. Пожалуй, по отношению к Удалихе это не было суесловием.

Только подняла своих сынов Удалиха, только дождалась помощников — грянула война. Три сына попали на флот, в одну береговую батарею. Лидия Николаевна до сих пор ясно представляет себе этих коренастых, сильных парней с серьезными, как у матери, лицами.

Три сына Удалихи погибли в одну минуту. Мать не получала скорбные вести по порциям. Ей принесли похоронную, в которой были вписаны сразу три имени. Редкому человеку по силам такой удар, но Удалиха устояла. Только года два после похорон никто не слышал голоса старухи на собраниях, не бунтовала она, как прежде, и у нее стали дрожать руки. В это время и попросила она дать ей работу на птичнике. Птахин тогда квартировал у нее и чем мог помогал Удалихе.

Здесь, на птичнике, Удалиха немного «отошла». Слова сделалась шумливой, гремела на заседаниях правления,

не давала житья лодырям и рвачам. С первых дней не поладила Удалиха с женой Птахица, Кларой Заухиной. Умела старуха распознать человека с гнильцой. Клара не мыслила себя иначе, как полновластной хозяйкой там, где она жила, и над теми, с кем жила. Но, как говорится, не на такую вою напаля. Удалиха в своем доме всегда была хорошей хозяйкой и потому скоро «отказала» квартирантам, сказав на прощанье: «Сопля тот мужик, которым баба командует!»

Этим самым навлекла старуха на себя «немилость» супругов Птахиных и немало притеснений от них претерпела. Птахин добился, чтобы ее удалили из членов правления. Попробовал убрать из птичника, но это оказалось выше его власти.

Младший сын Удалихи после войны домой не вернулся, а женился на городской и, как говорят в пароде, «вошел в дом». Вот потому-то, что он «вошел в дом», Удалиха и отказалась наотрез жить с ним. Так что, когда Птахин попытался сплавить ее к сыну, она заявила: «До Москвы дойду, но гнезда своего не кину», — да и колхозники подняли ропот. Пришлось Птахицу смириться, махнуть рукой на старуху, и она осталась на птичке.

Не раз забегала на птичник в прошлые годы Лидия Николаевна. Было приятно смотреть, как высокая старуха стояла посреди птичника, разбрасывая сыпучий корм плавным движением руки, а вокруг нее бушевала белая мегелица. Вечно хмурое лицо старухи делалось непривычно добрым в эти минуты, и голос звучал так, как, должно быть, звучал, когда она склонялась над люлькой: «Касагушки, касагушки, цып-цып-цып! Ешьте, милье, ешьте, белые». И казалось, куры понимали ее, выводили в ответ свое «ко-ко-ко-ко» — постараемся, мол, тоже с понятием.

Выкрав свободную минуту, Лидия Николаевна отправилась повестить Удалиху.

В избе Удалихи пустогато, тихо. Из рта Лидии Николаевны шел пар. Старуха лежала в горнице, под одеялом, старым тулупом и еще под каким-то тряпьем.

— Лежу вот, жду часу своего, а он не торопится, — поздоровавшись, грустно вымолвила Удалиха.

— Что ты, крестная, тебе ли говорить о смертном часе? Тебе еще жить да жить, — сказала Лидия Николаевна то, что принято говорить в таких случаях.

Сказала и пожалела: разговоры эти ни к чему. Такое говорят людям, которые вслух намаливают себе смерть, а

про себя страшатся ее. Удалиха же, судя по ее тоскливому, отсутствующему взгляду, ждет смерти всерьез. Устал, видно, и этот железный человек. Поэтому, когда Удалиха ответила на ее традиционное слово грустной фразой: «Нет, Лидия, я уж месту рада», — Лидия Николаевна не нашлась, что ответить. Они посидели молча целую тягостную минуту. Удалиха первая нарушила молчание:

— Как ребятишки-то?

— Да ничего, здоровые. Давай-ка я тебе, крестная, печку затоплю, сварю чего-нибудь, — сказала Лидия Николаевна и, не дождавшись разрешения, начала хлопотать в избе. Открыла ставни и ахнула: на окнах горшки, и в них торчали стельки обрезанных цветов. Лидия Николаевна бросилась во двор и там нашла несколько гнилых бревнышек, потюканных тупым топором. «Стайку разбирает на дрова», — догадалась Макариха и вздохнула: многие лишились скота и сожгли надворные постройки, теперь заново отстраиваться трудно будет.

Она в несколько взмахов развалила топором надвое бревнышко, потом каждую половину расколола по сердцевине и начала рубить на поленья. «Зачем же старая цветы-то обкарнала?» — с недоумением подумала Макариха и заторопилась в избу.

Смутная догадка пришла ей в голову. Она зажгла лучину и быстро спустилась в подполье. Очень уж просторным показалось ей старое подполье. Просторным оно было оттого, что в нем почти ничего не хранилось. Лишь в уголке одного сусека сиротливо лежала кучка картофеля. Лидия Николаевна опустила руку с тлеющей лучиной и чуть не заплакала: «Это ведь она курицам все скормила, зелень, морковь, картошку, свеклу, хлеб — все сплавил. Колхозным курам! Свое! На коленях она по своему огороду ползала; ей каждая картошка трудов великих стоит, а тут взяли обидели такого человека, обошли его всем, забыли!»

Уже погасла в руке Лидии Николаевны лучина, а она все стояла и думала о человеческой душе, такой необъятной и глубокой.

— Ты чего ж это, старая, вытворяешь? — укоризненно обратилась она к Удалихе, поднявшись из подполья с чугуном картошки.

— Хвораю, — насупилась старуха. По всему было видно: она уже догадалась, о чем будет идти речь, и постаралась замять разговор: — Ты, Лидия, водички мне согрей, голову помыть. Грех сказать, обовшивела я!

— Нагрею и воды. А ты мне вот что скажи: отчего у тебя подполье пустое и цветы срезаны?

Старуха заохала, схватилась за бок.

— Ой, ой, смертынька подходит, чисто весь бок скололо! — Но сквозь полузакрытые редкие ресницы она заметила, что Макариха в упор смотрит на нее и что хитрить бесполезно. Тогда она рассердилась, села на кровати и замасала костлявыми руками, как прежде на собрании.

— А чего же мне было делать, а? Ежели курицы с ног валяются, витаминиз на них от бескормицы навалился. Она, курица-го, пить, есть хочет или нет? То-то и оно, что хочет! А ты знаешь, когда начальство колхозное в последний раз на птичнике было? Знаешь, что неделями корму не выдавали? Это, стало быть, мои фантиранты на куричьем брюхе мстили. А при чем она, курица, ежели и вредный человек? Ни холеры ты не знаешь! Еще допрашивать меня взялась. Я те допрошу, разъязви тебя в душу и в печенки!

Лидия Николаевна поднялась и ушла затоплять печку, уверенная в том, что с этой минуты крестная пойдет на поправку. Рассердился человек, кровь в нем закипела. Вон он голос у нее какой сделался.

А Удалиха шумела и шумела. Уже и печка протопилась, уже усадила ее Лидия Николаевна в деревянное корыто с водой, намылила голову, а она все бушевала и грозилась.

Много обидного сказала Лидии Николаевне Удалиха, ой, много. И такого сказала, что Макариха не сразу разжевала. Больше всего Удалиха сердилась на свою крестницу за то, что та ушла из правления колхоза. Ну, ладно, се, Удалиху, отстранили от руководства, она старый человек, пора и отдохнуть. А почему она, Макариха, почему тот «хромоногий бес» Букреев да этот «толсторожий молчун» Качалин дозволили выгнать себя из правления? Боялись, чтобы их не завиноватили люди? В стороночку, в уголок спрятались, ворью да жулью вожжи препоручили. Вот она, Макариха, сознательный человек, хорошего мужа жена, пеленивая работница, почему она ушла из членов правления? Не ответит ли она на этот вопрос своей крестной? Не ответит, совестно. Тогда крестная за нее ответит: чтобы меньше спросу с Макарихи было! Так что же теперь получается?

И Удалиха нарисовала картину.

Было трудное время, когда начал организовываться

колхоз в Корзиновке. Одним из первых вошел в него красный партизан Максим Удалов. Он-то и придумал имя корзиновскому колхозу «Уральский партизан». А была у Максима Удалова и Парасковьи Удаловой как-никак коровенка, лошадь и пашня, хоть некорыстная, да своя. И был в семье Удаловых свой хлеб. Страшно было Парасковье Удаловой вести свою коровенку, свою лошадь в колхоз, жалко было лишаться пашни. Да ничего не поделаешь, ои, Максим-то, хозяином крутым оказался, гаркнет, бывало, — чихать смешаешься, и умницей он был большим, и потому верила Парасковья: раз Максим делает что — не к худу делает.

И правда, не к худу. Как работали дружно, как веселились на первых праздниках, сердце мело от радости. Было приятно сознать, вот не только в доме Удаловых хлеба досыта, а у вдовы Ключихи тоже. Да, да, про Макарихину мать идет речь. Не часто она до колхоза хлеба досыта едала.

Потом Максима темной ночешкой загубили злодеи. Ан не сдалась Парасковья Удалова, не убегла из колхоза, а вместо мужа в правление поступила, хорошую жизнь на земле ладила. И всю силушку положила Парасковья Удалова, сынов пустила из-под своего крыла: летите, соколы, бейтесь с врагом лютым ради счастья людского.

А что получилось из того? Сыновьи косточки истлели. Парасковью на отвал, как старую рухлядь! Никому она теперь не нужна, износилась, издержалась! В родной деревне, как на постылом погосте, дни доживает! Пусть-ка крестница обскажет, отчего это? Попутно сообщит, почему ее ребята бегают в рамках, а такие, как Клара Птахина, в шелках? Может, Клара робит больше Макарихи? Может, Птахин больше пользы сделал, чем Макар?

Только после того, как вымыла Лидия Николаевна и окатила теплой водой старуху, помогла ей лечь в чистую постель, Удалиха успокоилась и устало закрыла глаза.

— Ой, господи-батюшко, ровно гора с меня свалилась, — тихо промолвила она и, добавила: — Ты, Лидия, не обижайся на мои слова. На правду грех обижаться. Мне уж если суждено поправиться, так поработать бы еще. Я вроде крота — живу до тех пор, пока тружусь. Не смогу трудиться, тут же и окочурюсь. Берегите вы жизнь, не позволяйте крутить ею, как пьяные шофера баранку крутят. Мы вам ее, вашим детям эту жизнь добывали.

Лидия Николаевна не пошла сразу домой, а завернула в школу. Там, в кабинете заведующего, за старым письменным столом на месте Макара сейчас сидела приезжая женщина.

И стол, и комната, и все в комнате было, как прежде, почти ничего не изменилось. Стол с точечными ножками, на углах которого были когда-то деревянные апчелы. Их отломали после того, как перевезли громоздкий стол из кулацкого дома в школу. На окне старенький глобус, где уже стерлись границы многих стран, а иные мелкие острова и вовсе исчезли. У глобуса медная ножка. Ее приделал когда-то сам Макар. Пока он мастерил ножку, Юрка укатил глобус и прорезал на нем дырку, приспособив глобус под копилку. На этом месте и по сей день видна крепко приклеенная заплаточка.

Как много переменялось с тех пор! И на этом земном шаре, в который глубоко закопаны солдаты, многое переменялось. Они лежат там уже превратившиеся в прах, а память о них все живет и никак не истлевает во вдовьих сердцах, в детях, которым расти и шагать по этому старенькому, много раз чиненному шару.

Пусть они шагают по нему просто так, без оружия, пусть не оставляют вдов и сирот за собой!

Все, все в этой комнате было, как прежде, и только за старым столом сидел другой человек, и на столе этом не было того уютного беспорядка, какой бывает у мужчин вечно чем-то занятых, вечно что-то мастерищих.

Лидия Николаевна не любила заходить в этот кабинет. Однако сегодня она прошла туда и, не задерживаясь долго, договорилась с директором о том, чтобы учащиеся взяли шефство над птичником. Удалихе уже не под силу управляться там, а рабочих рук в колхозе недостает.

Дома она сказала Галке:

— Ты, Галина, будешь каждый день после уроков заходить ко мне на ферму и брать литр молока для бабушки Удалихи. Кроме того, будешь прибираться у нее в избе, мыть пол, носить воду, пилить с ребятишками дрова. Прогонять станет — не уходите. Ругать будет — молчите.

Но это не принесло успокоения Лидии Николаевне. Расшевелила ее старая птичница, бесцеремонно переломала те хрупкие перегородки, которыми Лидия Николаевна пыталась отгородиться от смутных дум. Нет, старуха не дала Лидии Николаевне замкнуться, и точно так же, как сама она давеча, спустилась с зажженной лучиной в

темное подполье, старуха заглянула в ее пугро с непотухшим огнем, осветила в душе крестницы все уголки, тронула, до боли тронула все там.

Вот уже несколько дней бушует свирепая метель. Во мраке исчезли засыпанные сугробами деревушки со своей нешумной сельской жизнью. Где-то в заречных бригадах застряла Тася. Метель не сегодня-завтра кончится, но перед тем, как затаяться в горах, среди дремлющего леса, она разлютовалась очень сильно.

Сегодня ночь особенно тревожна. Все крутится, завывает, стучит. Запаса кормов, подвезенных к ферме, не хватило. Пришлось дояркам снова брать в руки веревки и шагать в поле к стогу соломы.

Лидия Николаевна была в эти дни на редкость молчалива. Она вообще за последнее время все чаще и чаще задумывалась, хмурилась. Высокая, сильная в кирзовых сапогах, в куцей телогрейке и старом суконном полушалке, шла она впереди девушек. Шла сердито, не отворачиваясь от ветра. У стога навязывала соломы больше всех и, взвалив вязанку на плечи, так же молча, чуть согнувшись, шагала к ферме уже по заснеженной тропе.

Девчата с тревогой и молчаливым любопытством поглядывали на Лидию Николаевну, перешептывались между собой. Лишь один раз Лидия Николаевна прервала молчание. Она велела затопить печку в молочной и попросила одну девушку принести пригоршни сена помягче.

— Вы, девки, тоже положьте в обувь сенца да помните его — вот погам-то и теплее будет.

Лидия Николаевна по-мужицки закинула ногу на ногу, стала разуваться, и все слышали, как затрещали пристывшие к подошвам ее сапог портянки. Она поставила ногу в латаном чулке ближе к печке, пошевелила пальцами. Девчата торопливо принялись стягивать обувь. На многих были такие же сапоги, резиновые полусапожки, ботинки. Лишь несколько человек обуто, как принято на ферме, в валенки с калошами.

Немного отогрелись доярки и повеселели. Что-то вспомнили, засмеялись, подтолкнули одна другую, взвизгнули, но Лидия Николаевна не улыбалась, как обычно, по-матерински, поощрительно, а поднялась и строго обронила:

— Погрелись, хватит, — и первая шагнула за дверь, где метались кучи снега и куда так не хотелось уходить.

Поздно вечером Лидия Николаевна пришла домой.

Ребята спали. Она без аппетита поела хлеба с молоком и, не раздеваясь, прилегла.

Руки и ноги ломило от усталости. Знобило, сон не шел. Навалилась на Лидию Николаевну душевная смута. Началась она после того, как поругала ее Удалиха. Особенного будто ничего и не случилось. Ругали ее и прежде, да еще как! Ругали и по делу, и без дела. Сносила, иногда огрызалась и тоже ругала кого следует. Но не этим растревожила ее Удалиха. Мыслями своими перевернула она всю душу, жизнью своей. Почему так? Почему труженица Удалиха так тяжело доживает свой век? Кто за это ответственен, кто?

Взять такое дело. Засобирались ее соседи, Хопровы, в город уезжать — и уехали. А отчего уехали, она ведь толком не знает. Вот помнит, что сам Хопров пришел к ней попрощаться, а глаза у него растерянные, все шапку мял и бормотал что-то. Хопров, может быть, хватался за последнюю надежду, может быть, думал, что соседка станет убеждать его, докажет, что ему уезжать незачем из родной деревни, от родной земли, которая его вскормила и вспоила. А она ничего ему не сказала, попрощалась, пожелала счастливого пути и, проводив сторбленную фигуру мужика взглядом, сама пожалела, что не может уехать вслед за ним.

В то время, когда Лидия Николаевна лежала в тихой и темной избе, на ферме поднималась суматоха.

Где-то за полночь, в особенно таинственный и сонный час, начала телиться Туалета. Дежурила на ферме молодая девушка Поля. Еще в прошлую зиму она училась в школе, заканчивала седьмой класс, а нынче уже работница в доме, доярка колхозная. Девушке нравилось работать на ферме: строго здесь, чисто, жизнь идет спокойным чередом. Вот еще бы с кормами было нормально и тогда совсем хорошо бы работалось, а то от вязанок болят и спина, и плечи, а когда вернешься с холодного ветра, морит сон.

Голова Поля клонится к столу. Из ее проворных пальцев выскальзывает вязальный крючок, и девушка роняет голову на стол. Румяная щека девушки лежит на затасканном кружеве, на неполной катушке ниток. Блаженный покой окутывает Полю. Далеко-далеко, наверное, в некотором царстве, в некотором государстве сердито воет

баба-яга: у-у-у-у-у. Нет, не у-у, а му-у. Отчего му-у? Так кричать баба-яга не умеет. Она злая. А в этом голосе боль, жалость и призыв. Нет, это не колдунья! Это, что же это?

Поля рывком отрывает голову от стола. На ее щеке две глубокие вмятины от катушки. Поля бессмысленно озирается, и вдруг до нее доносится тихое мычание. Запихивая волосы под платок, она бежит в коровнике. Мычит Туалета. Мычание ее больше похоже на приглушенный стоп. Обычно добрые и кроткие глаза Туалеты чуть подались из орбит. В них огромная боль и мука. Мокрые бока коровы вздымаются и опускаются грузно, тяжело, как кузнечные мехи. С минуту девушка стоит в немом оцепенении, боясь приблизиться к страдающему животному. Потом она сорвалась с места, впорхнула в кухню и принялась быстро крутить ручку телефона.

— Алло! Алло! — с отчаянием кричала девушка в трубку. — Мне квартиру ветеринара, да, да, Егора Парфеныча. Не отвечает?! Ой, девушка, милая, позвоните еще, а?

И дежурная телефонистка звонила, звонила, а в трубке слышался только треск и шорох, напоминая о том, что на улице злая погода, под которую хорошо спится сытым и здоровым людям. Тогда Поля бросила трубку и побежала в ближайшую избу, к пастуху Осмолову. Когда бы и что бы ни случилось на ферме — бежать к Осмолову или Лидии Николаевне, они-то уж найдут выход из любого положения. За Лидией Николаевной бежать далеко, и Поля ринулась к старому пастуху.

Вскоре Осмолов в рыжем тулупе, падетом прямо на нижнее белье, и в валенках на босую ногу был уже возле коровы. Туалета, завидев Осмолова, подняла голову, лизнула влажным большим языком его руку и протяжно, как показалось Поле, облегченно замычала. Тревога все больше и больше охватывала девушку, потому что пальцы пастуха делались с каждой минутой суевливей, хотя голос старика не менялся, был по-прежнему умиротворяющим, ласковым.

— Ничего, матушка, все будет хорошо, — проворковал папоследок старик и только после того, как очутился в молочной кухне, спросил: — Ветеринара вызвала?

— Не могла дозвониться. А что, плохо?

— Хуже некуда. Недосмотрели, не уследили, теленок-то неправильно лежит.

— Я тетю Лиду позову, она велела в случае чего...

— Кого? Нечего тетю Лиду беспокоить, она и так уж

еле ноги таскает, пусть хоть немного отдохнет. Здесь упущение ветеринара, вот и дуй в деревню, да пошли за ним своих девок, быстро, а сама сюда. Ну, если что случится, сыграем ему «сени, мои сени»! Чего ты еще копаешься?

— Я сейчас, сейчас, дедушка Арсений, — заторопилась девушка.

Минут через десять Поля вернулась, а из Корзиновки в Сосновый Бор, ухая в сугробы, оступаясь, падая, торопились две доярки. Они что есть силы забарабанили в дом ветеринара и, не ограничившись этим, начали стучать в окно.

— Тише, тише, избу развалите, — послышался за дверью голос ветеринара. Крючок со скрежетом вылез из пегли, и перед глазами девушек предстал полный мужчина с заспанным и помятым лицом. Был он в одном белье, и, почесывая грудь, с насмешливой злостью спросил:

— Чего уставились? На смотрины, что ли, явились? Так я уж того, из жепиховского возраста вышел, со своей супружницей и то врозь сплю.

Одна из девушек протерла глаза, осмотрелась. Тикают где-то часы, капает вода из рукомойника, пахнет поднимающимся тестом, а на тумбочке лежит снятая с настенного телефона трубка.

— Ты чего же это на звонки не отвечаешь, мы, по твоему, обязаны бегать за тобой?

— А я что же, по-вашему, окаяпный, да? — разозлился ветеринар, и его обвислые руки задрожали. — Я, значит, как пес прибудный, должен в этакую дурнину идти куда-то на звонок? Я тоже имею право отдохнуть...

— Не больно изработался.

— Что? — заорал ветеринар. — Критику наводить? С коровенкой сладить не можете, а критиковать мастера. Я ведь знаю, что у вас на уме: растолстел, зажирел, морду с похмелья не обвалишь, бездельник, и этакий и сякой!

— Зажирел и есть! — отрезала одна доярка в легкой душегрейке и в старых, пискоро надетых валенках.

Ветеринар хлебнул ртом воздух, распахнул дверь и указал на улицу.

— Выметайтесь!

— Да ты не бесись, — спокойно сказала та же доярка. Она была постарше и побойчей своей подруги, стоящей рядом и робко прислушивавшейся к перепалке. — Никуда мы не уйдем!

— Нет, пойдём, пойдём, за тетей Лидой пойдём или за

Качалиным! — вдруг запальчиво вставила другая и так же неожиданно зашмыгала носом и начала вытирать глаза концом платка. — Ему нашего не жалко, все пропадай пропадом...

Ветеринар поморщился, подвернул кальсоны и, пытаясь удержаться на грозном тоне, ответил:

— А что ваша Лидия Николаевна! Подумаешь, важность, Макариха! Генерал! Тьфу на вашего генерала! — плюнул он и громче зыкнул на младшую доярку, притворяя дверь: — Перестань слезы лить, у меня своя мокрица есть! — Он еще раз плюнул и направился в горницу. — Вот проклятая служба! — Доносилось оттуда уже не столь сердито. — Ну, кому только досуг, тот и в дверь ломится. Штаны где? — вдруг рявкнул он на жену. — Лежишь, как колода, нет, чтобы встать, помочь собраться. Тоже разжи-рела! Я вот наведу тут порядок!..

Доярки не стали дальше слушать, хлопнули дверью и ушли. На краю деревни их догнал ветеринар. У него был фонарик, который бросал бледное пятнышко света на перемстившую дорогу. Ветеринар все еще ворчал, ругал свою службу, доярок, что не дали ему спать, и всех на свете.

Туалета уже не мычала, а только тяжело и прерывисто дышала, уронив голову на солому, которую еще вечером принесла и постелила под нее Лидия Николаевна. Осмол, вытирая мокрые бока коровы, все еще пытался разговаривать с ней ласково, но и он не выдержал, взглянув на Полю глазами, полными боли.

— Где этот толстомясый ветеринар?

Девушка в ответ беззвучно пошевелила губами, пытаясь что-то выговорить.

— Полюшка, беги, пожалуй, и за Лидией, — сказал пастух и опять склонился к Туалете.

Лидия Николаевна, услышав торопливый стук в дверь, подумала, что вернулась из Заречья Тася, и сказала:

— Не закрыго, входи, Таисья.

— Это я, тетя Лида! — Лидия Николаевна узнала голос дежурной с фермы и стала рукой искать на шершавой стене выключатель.

— Тетя Лида, пойдемте скорей на ферму, с Туалетой что-то неладно, — завывала тоненько Поля.

Лидия Николаевна включила свет, на секунду зажмурилась. Потом сняла с вешалки телогрейку, надела ее и,

обертывая полushалок вокруг головы, хмуро полюбопытствовала:

— Чего ревешь-то?

— Да как же... умирает Туалета, я ветеринару звонила, а он.

— Ну?

— А он не отвечает.

Лидия Николаевна прикрикнула на Полю, вытерла ее лицо полотенцем, висевшим возле умывальника, и окунулись они в метель и снег. Поля семенила за Лидией Николаевной и, поминутно проваливаясь, рассказывала торопливо и бессвязно о том, что произошло на ферме. Время от времени она подвывала ветру. Случалось не раз и прежде — неопытные доярки поднимали попусту папику, прибежали среди ночи, так же громыхали в дверь или окна, а потом и ревели и пытались оправдаться. Туалета — корова грузная, телится всегда тяжело, поэтому не особенно встревожили Лидию Николаевну слова Поли. Просто дежурная по молодости испугалась и паникует.

Но как только Лидия Николаевна вошла на ферму, что-то екнуло у нее внутри. Уж очень тихо на ферме: ни беготни, ни суеты, как всегда бывало в подобных случаях. Переборов желание скорее броситься в коровник, Лидия Николаевна заставила себя спокойно надеть халат, завязать на рукавах тесемки. Когда она шагнула в коровник, первым до ее слуха долетел заискивающий голос ветеринара — Егора Парфеновича Стерлягова:

— Ничего, ничего, мы его теплым молочком, с сосочки, он и оклемается, выживет без матери...

Сердце у Лидии Николаевны оборвалось. Она пошатнулась, ухватилась за перекладину стойла, потом медленно подошла к тому месту, где столпился народ. На соломенной подстилке лежала мертвая Туалета с провалившимися боками, а в вымя ей тыкался головастый, долговязый телок.

— Мы ему сосочку, сосочку... — залепетал и засуетился ветеринар, увидев Лидию Николаевну.

На него угрожающе и презрительно поглядывали люди. Лидия Николаевна остановилась. Боль и ярость сжали ей сердце. Она уже ясно понимала, что лучшая корова корзинового колхоза, гордость всего района, пала из-за недосмотра ветеринара. Казенный человек ветеринар и равнодушный к колхозному добру. Он даже ни разу не заинтересовался в нынешнем году, как протекает бере-

мешность у коровы-рекордистки. «Даже животным и тем человеческое равнодушие смертью оборачивается», — подумала Лидия Николаевна, а вслух сказала:

— Хватит глазеть. — И, выпрямившись, начала распорядиться: — Телка подсадите пока к другой корове. Туалету закройте соломой, а ты, начальник, — повернулась она к ветеринару, — идем со мной!

В кухне было полно народу. При появлении Лидии Николаевны и ветеринара все смолкли, насторожились.

— Подбросьте в печку дров, — сказала Лидия Николаевна, и кто-то заторопился выполнить ее распоряжение.

Девчата осторожно и выжидающе поглядывали на своего бригадира. Что-то должна была предпринять Лидия Николаевна, придумать наказание этому сытому человеку с бегающими глазками. Неужели опять все кончится руганью да разговорами, как в прошлые годы? Вполне может быть. Не первый раз дохнет скотина на колхозных фермах, а ветеринар, как жил, так и живет себе спокойно и благодушно, сваливая все грехи на бескормицу и колхозную неорганизованность.

Ветеринар и сейчас вел себя очень независимо. Он широко расселся за столом и пробовал закурить. Правда, ему никак не удавалось вставить в мундштук сигарету. Однако и эту несложную операцию он наконец проделал. Закурив, он обвел всех вызывающим и насмешливым взглядом. Только со взглядом Лидии Николаевны он не посмел встретиться. Лидия Николаевна посмотрела на своих насторожившихся девчат и как можно спокойней спросила:

— Вот, девчата, за столом сидит человек, который погубил нашу лучшую корову. Что с ним будем делать?

Ветеринар изумленно глянул на нее, затем перевел взгляд на доярок и попытался улыбнуться. Но улыбки не получилось. Что-то растерянное, жалкое тронуло складки губ его. Было ясно: только сейчас этот человек, под десятком суровых, осуждающих глаз, по-настоящему оробел. Туалету — не простят. Ветеринар понял сразу. Он тяжело поднялся, как перед судом, снял шапку и произнес:

— Я виноват. — Он помолчал и совсем тихо добавил: — Виноват я. — Он подождал, не заговорит ли кто, и, словно испугавшись этого тягостного молчания, заторопился: — Конечно, убыток, понятно, я обязуюсь уплатить.

— Дешево решил отделаться! — оборвала его Лидия Николаевна. Она сурово кивнула головой, чтобы он уби-

рался из-за стола. — Ну, девчата, давайте составлять акт. Поля, — обратилась она к дежурной, — будешь писать — у тебя почерк разборчивый.

Доярки плотнее придвинулись к столу, окружили Лидию Николаевну и Полю, а ветеринар остался в стороне. Ему сделалось невыносимо тяжело. Он хотел выскользнуть в дверь, немного проветриться, но только успел надеть шапку, услышал повелительный голос бригадира:

— Никуда не уходи, распишешься в акте, отныне невыпавших в колхозных убытках не будет. Хватит, похозяйничали, поели дармового мяса, пора за все расплачиваться.

Всем собравшимся в правлении стульев не хватило, и некоторые примостились на подоконниках. Стерлягов сидел, утопив ладони между коленями и опустив голову. Уланову понравилось, что он явился в правление побритым, опрятно одетым, а не взлохмаченным и обросшим, какими иные являются на мирской суд, дабы разжалобить окружающих своим видом. Вошла Лидия Николаевна, а за ней — раздумавшаяся от мороза Поля. Она пемножко оробела при виде молчаливого и серьезного парода, прижалась в уголок, но Лидия Николаевна показала на нее глазами и, скрывая улыбку, проговорила:

— Это, Иван Андреевич, представитель фермы. Ее, правда, не приглашали, но она пришла, так как она дежурила в эту ночь и считает себя виновницей.

— Ой да уж, тетя Лида, какие вы. И вовсе я ничего такого...

Стерлягов поглядел на нее с любопытством. Начал было закуривать, спохватился и, встав, спросил:

— Курить выходить или как?

Иван Андреевич больше всего сегодня избегал официальности, хотел, чтобы беседа проходила строго, но непринужденно.

— Курить разрешается всем, за исключением девушек, — с мягкой улыбкой сказал он. — Ругаться также можно всем, исключая их же, так как ругань у девушек на румянец влияет.

Люди зашевелились, с недоумением начали поглядывать на Уланова, и он понял, что шутка его, пожалуй, неуместна. Чуть сменившись, он уже серьезно продолжал:

— Я думаю, начнем, товарищи.

— Да, пожалуй, чего еще ждать? — слышалось со всех сторон. Однако во взглядах многих промелькнуло удивление: какое же это собрание — ни секретаря, ни председателя, даже протокол писать не собираются.

— Так вот, товарищи, — заговорил Уланов, — я пригласил вас сюда не на собрание, а только побеседовать. — Он скользнул взглядом по Стерлягову. — Побеседовать о наших хозяйских делах, о наших нуждах, о наболевших вопросах.

Стерлягов поднял голову и озадаченно посмотрел на Уланова.

— Разговор думаю начать с одного очень важного документа. «Мы, работницы молочной фермы колхоза «Уральский партизан», составили настоящий акт о том, что из-за плохой, можно сказать, предательской работы ветеринара пала наша лучшая корова...» — Уланов заметил, как начала отливать кровь от лица ветеринара. Окончив чтение акта, он отложил его в сторону, сделал паузу, снял очки и, протирая их платком, продолжал: — А теперь я, товарищи, сообщу вам и товарищу Стерлягову некоторые данные из его биографии. Думается мне, что он кое-что забыл. Так вот: Егор Парфенович Стерлягов родился в тысяча девятисотом году в селе Корзиновке, в семье батрака. Еще будучи не Егором Парфеновичем, а Егоркой, он тоже начал батрачить. Не под вашим началом ходил он в подпасках, Арсений Тимофеевич? — повернулся Уланов к Осмолову. Старик торопливо закивал головой:

— У меня, у меня...

— Значит, с вами батрачил? Ясно. Затем батрак Стерлягов был отправлен защищать веру, царя и отечество, но вместо того, чтобы защищать, проявил «несознательность» — повернул оружие против царских холоуев. Затем сделался красногвардейцем, громил Колчака, участвовал в походе Первой конной армии. Ушел на германскую войну Егоркой, а вернулся после гражданской войны Егором Парфеновичем. Вступил в колхоз, сделался ударником, был послан на колхозные деньги учиться. Приобрел специальность. Боролся всеми силами за увеличение поголовья колхозного скота. Говорят, ни метели, ни морозы его не сграшили, когда речь шла о деле. Вот коротенькая биография товарища Стерлягова. Да она, очевидно, всем вам известна. И теперь хочу я вас спросить: тот ли это

самый человек? Может быть, на бумаге одно, а в жизни другое? Бывает и так.

Стало очень тихо. Стерлягов огруз, руки его опустились, в лице не было ни кровинки. Из угла большими глазами глядела на него Поля. Во взгляде ее изумление. И как ей, молоденькой девушке, недавно покинувшей шумный класс, где ей семь лет подряд ставили в пример таких людей, как Стерлягов, было не изумляться. Молоденькая девушка всеми силами старалась понять и осмыслить все, что здесь происходит. Она знала, что это очень важно для ее жизни, которую она пока безоговорочно принимала такой, какая она есть.

Молчали все. Уланов не торопил. Люди думали. Лидия Николаевна, сцепив пальцы рук, ждала, кто первый заговорит. «Вот как секретарь дело повернул, — подумала она, — пожалуй, это разумней, чем мы решили сгоряча. Трясти, трясти надо наших людей — засиделись они. На свежий воздух вытаскивать пора. Правильно Иван Андреевич делает!»

Молчание затянулось. Уланов терпеливо ждал.

— Коли все молчат, позвольте мне сказать, — негромко произнес Стерлягов и поднялся, крепко стиснув в руках шапку. Он выглядел почти спокойным. Лишь по вздувшимся на висках жилам, по напряженному голосу можно было судить, какая борьба совершается в нем.

— Вы сидите, сидите, — сказал Уланов.

— Нет, разрешите стоять, — отозвался Стерлягов. — Поскольку решается моя судьба, я долго задерживать не буду. Я только скажу, товарищи, что замарал я свою биографию. Отделилось как-то прошлое от меня, забылось. Память, видно, дряхлеет. Надо бы почаще оглядываться на бывшее-то да напоминать друг другу о нем, тогда бы мы больше уважали друг друга и берегли бы добытое своими руками. А так чего же?! В самом деле все как-то утряслось, устоялось, катится жизнь и катится, а я вроде бы пристяжка у нее. А вообще-то чего я в беллетристику ударился. Не об этом сейчас рассуждать.

— Говорите, пожалуйста, мы слушаем.

— Нет, я уж заканчиваю. Я только прошу вас, дорогие мои земляки, позвольте мне поработать остатки лет среди вас, только чтоб вместе, а не на отшибе больше ни о чем не прошу. — Он огляделся вокруг, подбородок его неестественно выдавался вперед. Еще больше набухли жилы на висках. — Я вам в пояс поклонюсь каждому...

— Нечего нам клапяться! — сердито оборвал его Миша Сыроежкин. — Пусть тебе совесть твоя грехи отпустит, а мы не долгогривые такими делами заниматься. И не о тебе одном речь идет, а обо всех нас: о том, как дальше жить! Этак-то всяк сумеет: нашкодил — и бух! Поклонился какой-нибудь Фекле — и готово дело, живи спокойно, отрывай на ходу казенные подметки! Я так понимаю, что нам надо поговорить сегодня обо всей нашей жизни. Не один ты на отшибе, а многие врозь, в одном колхозе и врозь. Не годится так-то. Идти нам надо дальше рука об руку, как в тридцатом начинали.

Да, сегодня Миша Сыроежкин говорил очень серьезно, продуманно. Видно, немало поразмыслил после собрания над своей жизнью. Недаром в последнее время Миша сделался сдержаннее и очень болезненно переживал всякие шуточки и подковырки, на которые раньше не обращал внимания.

Одпосельчане знали, что за его придурковатостью скрываются доброта и честность. А Уланов только что распознал в Мише эти качества. Он с большим вниманием слушал выступление Сыроежкина. Перед ним открылся новый человек.

После Миши говорил Букреев. Начал издалека. Напомнил о том, как создавался корзиновский колхоз, перешел к сегодняшним делам, крепко покритиковал всех сидящих в кабинете и себя не забыл. Стерлягов томительно ждал, когда Букреев заговорит о нем. И тот не забыл про него.

— Что же, Егор Парфенович, тяжело по ночам-то подниматься? — сурово спросил он. Стерлягов сжался, забегал пальцами по карманам в поисках мундштука. — Вы вот вместе с Лидией Николаевной в колхоз вступали, и она до сих пор не научилась вставать среди ночи, до ломоты в костях работать. Ты не криви губы. Сам просил, чтобы поминали о прошлом почаще, вот и слушай. Между тем живет Лидия Николаевна куда беднее тебя. Правда, коновалу, или нынешнему ветеринару, само собой, лучше жить полагается: как-никак спец деревенский, шишка на ровном месте. Но ведь ему и работать надо, а не сидеть на чужом хребте. А ты чужеспишником стал!

Стерлягов со страхом глядел на него, хотел возразить, но Букреев разошелся не на шутку.

— На чужой спине свое сытое житье везешь! Считаешь, что Макариха и все мы батрачить на тебя и на дру-

гих деревенских лодырей обязаны! — Букреев сердито хватил шапкой о стул. — Я так считаю: Стерлягова следует спустить с обогретых пуховиков на землю, вклеить ему строгий выговор, стоимость коровы с него взыскать, дать ему задание — в два-три года восстановить племенное стадо в колхозе. Вот брюшко-то у него и опадет. Отлынивать примется — выгнать с должности и под суд отдать. — Букреев с грохотом подвинул стул и уже с места закончил: — Может, что не так сказал, погорячился, прошу извинить, больно уж накипело на сердце. Тверже камня будь — и то расколешься. Ведь такую корову сгубил! Ах ты, Егор Парфенович! Неужто ты совесть всю с квасом съел? Неужто наше горе — не твое горе, наши беды — не твои беды?

После совещания Уланов с Лидией Николаевной отправились на ферму. Лидия Николаевна предупредила:

— Трудный разговор будет. Девчата воинственно настроены.

— Надо полагать. Но пусть лучше воинственно, чем равнодушно. К тому же я на вашу помощь рассчитываю. Одному мне с девушками, пожалуй, не сладить.

Уланов решил не играть в прятки и без обиняков сообщил дояркам, что Стерлягова под суд не отдали. Объяснил, из каких соображений это сделано. Девчата переглянулись между собой, и одна из них язвительно заметила:

— Воспитывать решили! Что-то мы часто стали преступникам баюшки-баю петь, в ноги им кланяться, уговаривать. На базар придешь — и там милиционер перевоспитывает, вместо того, чтобы хулиганов ловить да со строгостью наказывать. А они ходят — руки в брюки. На рынке — как дома.

— Однако поднялась общественность на хулиганов, комсомолцы взялись вместе с милицией за дело, и всем безобразиям пришел конец. Не так ли? — обратился к девушкам Уланов.

— Так-то оно так...

— Конечно, в людях вся сила.

— И нам, если взяться за рвачей, так они заревут не баско.

— Ага, лекции им читать, беседы о вреде табака и браги проводить ежедневно...

— Да не ехидничай ты, Дуська тут серьезно...

— Правильно. Судить легче всего, а вот на путь поставить.

— Да ведь у нас отпетых-то голов раз-два и обчелся. Просто разболтались многие, — поддержала разговор Лидия Николаевна.

Уланов протер очки и стал пристально вглядываться в лица молодых доярок. Он был доволен. Жители села Корзиповки с сердцем брались за перестройку колхозной жизни и начали они вершу — с людей. А направить колхозников на верный путь было как раз тем ответственным делом, ради которого Уланов оставил привычное производство, обжитое место.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ТАЮТ
СНЕГА



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Минуло больше месяца. Зима начала сдавать. Появились первые подтайки. Под ярким солнцем отпотели края снежных шапок на крышах. Воробьи поднимали свару, дрались на дорогах. Днем, пока еще неподалеку от дворов, гуляли куры, подбирая то одну, то другую лапку.

Люди говорили: рано началась весна — на позднее наведет.

Произошли кое-какие перемены и в Корзиновке. Они тоже напоминали первые подтайки. Изменился облик правления колхоза. С новым крыльцом у парадного, прежде забитого хода, с повой трубой и даже флюгером на коньке, смотрел дом на Корзиновку с горы посветлевшими, чисто вымытыми стеклами. Прежде чем зайти в правление, колхозники подолгу обметали веником валешки, тщательно сморкались на сторону, делали последние, сладкие затяжки и сигарку, потушив, бросали. Не стало в правлении грязных, заляпанных перегородок. В большой комнате появились стулья, дорожки, чернильные приборы, на стенах красочные плакаты, надписи на которых Тася уже прочитала множество раз. Здесь же, в правлении, висел второй номер стенной газеты «Репей». На его коллочках были вздеты Федосья Ральникова со своими подвыпившими работницами, бригадир шестой бригады на куче мерзлой картошки и другие нарушители артельной дисциплины.

Люди стали ходить в правление охотно. На пол не плевали. Много говорили о колхозных делах и, хоть видели,

что дела эти не так уж важны, толковали о них без уныния, а с жаром, с шумом.

Конец февраля. До зеленой травы, если весна выдастся ранняя, еще месяца два, а корма уже кончаются. В двух бригадах замерз картофель. Картофель — большая поддержка скоту, по временная. Некоторые колхозники требуют расходовать картофель, хлеб — все бросить на выручку скота. Дескать, после такого постаповления, как сентябрьское, дадут все и без семян не оставят. Дадут! А кто даст? Под какие такие финансы?

И Яков Григорьевич, и Тася чувствовали, откуда дует этот ветерок. Надо было принимать срочные меры, чтобы обеспечить скот кормами и пресечь подобные разговоры.

Вот уже третий день отсутствует Яков Григорьевич.

По этому поводу суждения расходились. Одни говорили: зря, мол, Птахин это делает, другие желали ему скатертью дорожку.

Много забот и хлопот стало у Таси перед весной. Подработка семян, изготовление торфоперегнойных горшочков и еще многое другое. А тут, как всегда бывает в предвесеннюю пору, совещание за совещанием, то в МТС, то в городе. Отрывают только. Шефы сделали станок хороший. Его установили в помещении лаборатории. Можно бы начинать работать, не тут-то было. Многие колхозники считали возню с горшочками детской забавой. Поэтому с осени никто не позаботился о торфяной массе. Специально по этому вопросу собирали заседание правления. Решили добывать торфяную массу зимой. И вот за деревней, у речки, с раннего утра и до ночи теперь дымили костры. В помещении бывшей лаборатории жарко и парно. Здесь штампуют горшочки и замораживают.

Горшочками занимаются молодые колхозницы. Выручает молодежь Тасю. Те, что постарше, считают такого рода труд несерьезным делом. Им нужно обязательно посмотреть, что из этой затеи получится, убедиться — стоящее ли это дело, тогда они примут новшество. А пока многие колхозники просто подтрунивают над агрономом и ее помощниками.

— Может быть, вы моему сынишке урыльник слепите? Вам заодно уж горшки мастерить, а мне специально на рынок за ним ехать, — съехидничал Балаболка.

Райка Кудымова уперла руки в бока и ответила:

— Сынок-то, видать, в тебя удался: и умом и животом слаб!

Скрылся Балаболка под хохот и больше не появлялся в лаборатории.

Другая группа комсомольцев ремонтирует инвентарь. Здесь за главного Осип. Не узнать стало парня. Он посолднел, но его природная застенчивость все еще мешала парню развернуться в полную силу. Особенно повергнут в смущение бывает Осип в присутствии Райки Кудымовой. Наедине с ней он боится оставаться. Однако в работе всегда проворен и смекалист.

Недавно в колхоз приезжал корреспондент районной газеты и напечатал хвалебную заметку об Осипе. Три дня Осип скрывался на острове: стеснялся показываться людям на глаза. Тася вынуждена была идти уговаривать его.

Захваченная суетой и водоворотом колхозных дел, Тася поздно прибежала домой, иногда, даже не раздевшись, падала на кровать и засыпала. Сережка, еще сызмальства привыкший к чужим людям, не горевал. Он в глубине души даже считал, что так, пожалуй, лучше — меньше притеснений. Ребята и Лидия Николаевна были для него всем: и матерью, и отцом, и воспитателями. С их помощью он готовил уроки, приучился к домашним делам. Тася изредка заглядывала в его тетрадки и удивлялась. В них встречались даже пятерки.

— Ты, Серега, способный у меня, — говорила она сыну.

И Сережка согласно кивал головой, утаивая, как бьются с ним ребята Макарихи, перебарывают его непоседливость и рассеянность. Ему нравилось, что мать называет его способным. Ребята его так не называли.

Солнце тем временем все чаще и чаще проглядывало сквозь холодные груды облаков. На крышах появились маленькие, похожие на картофельные ростки, сосульки.

Птахина вызвали на партийное собрание в МТС, куда были прикреплены коммунисты колхоза «Уральский партизан». Разбор персонального дела Птахина был бурным, долгим. Только здесь Птахин по-настоящему понял, какую жалкую, а подчас и подлую роль выполнял он.

Собрание исключило его из партии.

Явился домой Птахин, лег вниз лицом на постель и так пролежал целые сутки. Клара ходила на цыпочках, но никакого беспокойства на лице ее вовсе не было. Она только немножко поразилась, когда увидела на следующий день лицо Птахина, осунувшееся, с ввалившимися щеками, с тусклым, ничего не выражающим взглядом. Он

проговорил медленно и таким тоном, каким никогда не смел разговаривать с ней:

— Приятель твой, Карасев, чтобы здесь больше не появлялся!

Клара по старой привычке хотела на это ответить достойной отповедью, после которой Птахин и пикнуть бы не посмел, но тут же почувствовала, что наступили другие времена. Ей лучше пока закусить язык. Впервые за совместную жизнь она со скрипом в душе уступила мужу и, сделав озлобленный вид, полобопытствовала:

— Исключили?

Муж ничего не ответил, встал с кровати, налил из графина квасу и так застыл, с пробкой от графина в одной руке, со стаканом в другой. Потом спохватился, сунул пробку в горлышко графина и снова лег. Клара подошла, властно взяла его за плечи и посадила на кровати.

— Сиди и слушай! — приказала она. — Ты чего раскис? Мямля! Умирать, что ли, собрался? Действовать надо! Решение собрания должно ведь утверждаться в райкоме?

— Допустим!..

— Собирайся в город! Возьми денег. Тысячу, две — не жалко для такого дела. Выпей там с кем нужно, поговори, сунь деньги — все сделают! Только не лежи, ради Бога, не изгибай заживо...

Птахин не мигая глядел на Клару, будто только что проснулся и увидел ее. Она соскочила с кровати...

— Чего уставился, как баран на новые ворота?

А Птахин сказал с усталой усмешкой:

— Какая ты все-таки.

Клару взбесили эти слова. Она сжала свои тонкие губы, сощурила цыганские глаза.

— Не такая жванина, как ты! Если бы была такая — сильная пара получилась бы! Мы бы оба давно подошли с голоду, нас бы в порошок стерли!

— Порошок? Да мы и на порошок-то не годны. На мыло разве. А насчет денег ты зря расщедрилась. Не все на деньги купишь! Ясно?

Но по выражению ее лица он понял, что ей ничего не ясно. Птахин снова лег на подушку.

Клара попыталась продолжить разговор.

— Слушай, прекрати. Ну тебя к аллаху! Если уж такая ты добрая — сходи в Сосновый Бор и возьми с книжки тыщонку. Съезжу-ка я, в самом деле, в город. Есть ведь у

меня там друзья. Они помогут мне пропить эту тыщонку. Жалко на пропой, а? Жалко?

— Что я, без понятия? — обиделась Клара и притворно надула губы.

Пусть Птахин говорит, что хочет, но поступает так, как ей угодно, — и все будет нормально.

В силу денег Клара верила твердо, непоколебимо.

Давно уверовала. Эту веру ей еще в детстве привила тетка. Походила эта тетка, как и многие старые девы, на плохо обглоданный мосол. Клару она взяла на воспитание из детского дома и все свои качества: зависть, жадность, неверие в людей и даже неприязнь к ним — привила своей воспитаннице. Оставляя все свои пороки людям в наследство, она словно мстила через Клару тому миру, который прошел мимо нее. Кроме этого, она оставила Кларе большую сумму денег. Была старая дева отличной швеей и изумительной сквалыгой. Она копила деньги всю жизнь.

Клара с трудом доучилась до восьмого класса, просидев перед этим по две зимы в четвертом, пятом и шестом. Потом поступила в сельскохозяйственный техникум. Го-пялись за пей в техникуме многие парни, но почти никто не нравился Кларе. Она была девица с разбором. Молчком и накрепко влюбился в нее Зинка Птахин, незаметный и, как считала Клара, самый бросовый парень в техникуме. Ни товару, ни красоты в нем не было. Птахин и сам понимал — до Клары ему далеко, а потому переносил свою любовь героически — мучился и молчал. Ребята посмеивались над ним, Клара тоже.

Потом дороги их разошлись. Клару отчислили из техникума — плохо училась. Встретились они уже несколько лет спустя, когда Птахин прочно осел в Корзиповке. За-чем-то его вызвали в облсельхозуправление, и здесь лицом к лицу он столкнулся с Кларой. Клара занимала должность секретаря в одном из отделов управления.

Она не процветала. Тетушкины деньги кончились, замужество не удалось. Попался какой-то хлюст поизворотливей, чем она, ободрал ее, как липку. — и был таков.

Птахин все это пропустил мимо ушей. До его рассудка, потрясенного встречей, не доходили злоключения Клары. Перед ним была та, которая приходила к нему в тревожных снах по почам, чей голос, низкий, насмешливый, слышался в говоре ручья, в звонком пенье жаворонка, в

шорохе травы, девушка, по которой он тосковал и с которой уже не надеялся встретиться.

Она все такая же, ослепительно красивая. Только глаза ее стали чаще прятаться в надменном, полупрезрительном прищуре, будто она долго перед этим глядела на солнце. Черные, до яркости черные глаза, с большими яркими белками. Ни у кого не видел таких глаз Зиновий.

Как и все тихие правом, немножко замкнутые люди, любил Птахин единожды и неизменно. И он готов был на все, потому что заранее принижал себя, припимал ответ как милость великую. А в таких случаях всегда бывает одно и то же: есть у жены совесть, значит, она будет злоупотреблять властью в меру, нег совести — она замордует, заездит мужа до того, что он однажды взревет, взбунтуется, как добрая крестьянская лошадь, брыкнется и сбросит с себя седока. Сбросит и удивится: оказывается, без седока-то значительно легче.

Что-то похожее на бунт заезженной лошади назревало и в душе Птахина. Сегодня Птахин уже пробовал брыкнуться, и это сразу озадачило Клару. Ей хотелось по привычке сделать ему укорот, но положение сложилось такое, что с мужем приходилось считаться. «Вот отчалим отсюда — и я подтяну узду!» — утешала она себя, шагая в Сосновый Бор. И все-таки Клара знала, что Птахин не станет употреблять деньги на спасение партийного билета, не такой он человек. Ему просто захотелось куда-нибудь уехать, напиться до обалдения, чтобы все забыть. «И пусть встряхнется, — сочувствовала Клара, — пусть. За один раз много не пропьет...»

Как только Птахин уехал в город, к Кларе заявился гость — Карасев. Он спял хрустящий реглан, по-хозяйски огляделся.

— Давненько не бывал у вас, давненько, — с легкой усмешкой, таившей что-то циничное, подмигнул он хозяйке дома.

— И хорошо делал! — лениво отозвалась Клара, перекладывая вещи из гардероба в чемодан.

Карасев остановился позади нее со сложенными за спиной руками.

— Собираешься?

— А чего ж? Пойдем искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Так, кажется, у Грибосдова?

— А черт его знает. Больно мне нужны твои Грибос-

довы. — Карасев нахмурился, отошел к комоду, взял в руки флакон замысловатой формы, повертел его в руках и, поставив на место, вздохнул: — Ты лучше скажи, как быть? Куда деваться? Нет ли каких соображений у твоего Грибоедова насчет этого?

Клара прикинула на груди кремовую кофточку, приосанилась, глянула в зеркало и, аккуратно сложив ее, безразличным голосом проговорила:

— Тебе горевать нечего. Ты не пропадешь, не то, что мое чудо. Ему все время поводыря нужно. Она присела на корточки возле чемодана, и одна пола китайского халата отогнулась, оголив ногу выше колена. Карасев опустился на пол рядом с Klarой и обнял ее. Она не противилась. Он жадно припал к ее губам.

— Сивухой от тебя вечно прет! — сморщилась Клара и несильно оттолкнула его. Карасев отдышался и сказал: — Его ведь в самом деле из партии выгонят.

— Выгонят? — Клара помедлила и сделала губы бантиком. — Ну и пусть. Мне-то что? Не надо на партвзносы денег давать. Между прочим, у него есть диплом, Карасик, а при дипломе партийный билет не обязателен. — И дурашливо, но больно Клара щелкнула Карасева ногтем по носу.

— Однако ты дала ему денег и послала в город, — поймав ее руку, сказал Карасев.

Клара покосилась, отняла руку и снисходительно хмыкнула:

— А как бы ты поступил на моем месте?

Карасев почесал подбородок одним пальцем и с нескрываемым восхищением произнес:

— Шельма же ты!

Клара расхохоталась. Карасев поднялся с полу и заходил по горнице. Он кусал губы. Ему вот хотелось пожить уютно, полакомиться жизненными благами, а в случае беды остаться в тени, в сторонке. Не вышло. Почему же? Отчего? Под следствие попал. А ну как ковырнут его прежние дела поглубже? Даже думать об этом жутко. Клара вон женщина, а оказалась поизворотливей. Исподволь, потихонечку обвела вокруг пальца своего любовника и вместе с ним супруга. Пожалуй, никто так не доволен случившимся, как она. А ведь Клара ходит по деревне, возмущается, доказывает, что с ними обошлись жестоко, что они добьются своего, — их восстановят в колхозе, мужа оставят в партии. Да, Клара-то знает, что она на земле чело-

век сезонный. Долго задерживаться ей на одном месте нельзя, народ становится все любопытней и пытается пристальней приглядеться к каждому, кто вместе с ним живет и работает. Далеко собирается этот народ идти, и пошугчики ему нужны надежные.

Карасев смотрит на красивую, нежную шею Клары, по которой рассыпались мелкие завитки кудрей, прислушивается к ее беззаботному мурлыканью и делает еще одно открытие: Клара специально не выкрала его прошлогодною расписку вместе со всеми документами на обмен семян. Да, да, направляя удар на Карасева, она отводила его от себя. Ведь исчезли же все заключения о «некодиционности» семян, справки, наряды, квитанции, а его расписка осталась. Надо же так чисто все обстряпать!

— Шельма! — еще раз зло, но с прежними потками восхищения сказал Карасев.

— Чего обзываешься? — плуговато скосила Клара улыбающиеся черные глазищи.

Карасев снова схватил ее за плечи.

— Слушай!.. Уедем со мной! Брось ты своего лопуха! Знаешь, чего мы сможем с тобой добиться?!

— Например?

— Ну, деньги, почет: все добудем!

— Нам с тобой исподручно, Карасик. — Она прищурилась, поджала губы: — Нет, ты хитер! — Глаза ее совсем исчезли в густых ресницах, и тонкие ноздри сделались бледными. — Я живу в достатке и воле. Муж меня любит. Я его уважаю. Чего ты ко мне пристаешь? Дура та баба, которая согласится связаться с таким, как ты. С тобой ведь запросто можно угодить в уголовку, в исправилровку. Ты понимаешь, что я не так создана, чтобы жрать тюремную пайку и копать вечную мерзлоту. Понимаешь? Тогда убери свои пемытые лапы! — Она передернула плечами, освобождаясь от Карасева.

Точно побитый пес, стоял он посреди комнаты.

— Гонишь?

— Конечно.

— Значит, гонишь?

— Конечно.

Он вдруг встрепенулся, обхватил руками ее шею и впились губами где-то возле уха.

— Ну, гони, только в последний раз... больше не придут... гнать не надо... слово... красивая ты... Краля моя!

— Пусти! — выкрикнула она, с силой разжимая его руки. Но он еще крепче сомкнул их. — Да пусти ты, оборот! — уже миролюбивей потребовала она.

Карасев выпустил ее, перевел дух. Потом отправился на кухню и, набрасывая крючок на петлю, скривился в усмешке:

— Вообще, конечно, зря советская власть не истребляет таких, как ты.

— О себе не забывай... — невозмутимо напомнила ему Клара.

Она вела себя в этот день вызывающе нагло, словно наслаждалась его бессилием и мстила напоследок за то, что он все еще использует неписаное право обнимать ее и домогаться ласки.

Впрочем, у Клары еще в детстве была привычка тискать руками что-нибудь живое, тискать так, чтобы это живое пищало. И так ли еще запищит Карасик, когда она в полную мощь возьмется за него. Так ли?..

Уланов с Чудиновым возвращались из леспромхоза. Чудинова подбрасывало на заднем сиденье, и он недовольно брюзжал:

— Нет уж, увольте меня ездить на таком драндулете. Я уж как-нибудь на лошадке. То ли дело, едешь посвистываешь, на природу любишься. А тут, мало того, что кишки все переболтает, так, концы-концов, где-нибудь под обрыв угодишь. — Машину тряхнуло на очередном ухабе. — Я-то что, не велика шишка, а вот секретарь утробится, будет слез...

Уланов тихо рассмеялся, но болтовни Чудинова не прервал. Он знал, что Николай Дементьевич мыслями своими сейчас далеко. Не так уж давно они знакомы, да успел Уланов привязаться к этому чудаковатому директору, привыкнуть к его грубоватой манере обходиться с людьми, за которой скрывались мужицкая хитринка и практический ум. Сначала он казался Уланову человеком, у которого душа параспашку. Однако это первое впечатление прошло, и до сих пор зональный секретарь не мог с уверенностью сказать, что хорошо знает директора, с которым успел не только сработаться, но и сдружиться.

Их взаимоотношения не всегда были гладки. Слишком разными людьми они были. Уланов и делает, и говорит без обиняков, прямо, открыто. А Чудинов ко всякому делу подходит сторонкой, со своим умыслом. И какая-то

недосказанность постоянно чувствуется в поведении директора. Даже трудно предположить, что у него на душе. Сейчас вот Уланов знал паверняка, о чем думает Чудинов и одновременно ворчит. Знал потому, что они думали об одном и том же.

Готовясь к решительному подъему в работе, колхозники изо всех сил старались не допускать новых потерь. Упущений и без того было много. Увы, старались не все. Часть колхозников все еще оставалась в хозяйстве свидетелями. Положение с кормами, посевными материалами обстояло неважно. И совсем уж плохо было в «Уральском партизане». Точно установлено, что под видом «обмена» Карасев заодно с работниками «Заготзерно» сумел славить большую партию семян пшеницы. Дело передано в прокуратуру, но от этого колхозу пока не легче. Особенно тяжело в «Уральском партизане» с кормами. Обмер сена, произведенный в сараях мнимых колхозников, принес большое облегчение. Излишков оказалось много. На некоторых сеновалах хранилось еще даже прошлогоднее сено. В район, в область, даже в Москву полетели жалобы на «незаконные» действия колхозных властей.

Сейчас Уланов ежедневно дает разъяснения, ответы на жалобы. Но сено, взятое у рвачей, поддерживало колхозный скот. Падежа скота пока нет. Наконец через обком партии они добились помощи колхозу деньгами и на эту ссуду, опять же через обком и министерство сельского хозяйства, закупили сено в лесостепных районах Сибири. Прессованное сено будет отгружено лишь в середине марта. Придет, значит, в конце месяца. А что делать до этого времени? В Корзиновке и еще в некоторых бригадах, кроме небольшого количества силоса, не осталось ничего.

Уланов отправил в район Якова Григорьевича и наказал ему не возвращаться до тех пор, пока не добудет сена. Когда-то Уланов — а ему уже казалось, что это было давным-давно, — ложился и вставал, думая о металле, шихте, руде и тому подобных вещах. Теперь для него самым значительным словом стало «сено». Он видел его во сне, еще живым, цветущим лугом, ощущал запах и шуршание и постоянно удивлялся тому, что раньше такое замечательное слово было для него совершенно безразличным.

Через колхозников Уланов узнал, что эмтээсовский шеф — леспромхоз — ежегодно заготавливает много сена

на колхозных лугах и что директор леспромхоза в течение последних лет распоряжается дальними колхозными покосами, как своими. Колхозное руководство смотрело на это сквозь пальцы. Пусть, дескать, пользуется. Для государства же берет, а мы и ближние-то луга скосить не успеваем.

Уланов обрадовался, узнав эту новость, и ринулся к Чудинову. Тот ухватил свой вмятый подбородок крючковатым пальцем и спросил:

— А ты директора того видывал когда-нибудь? Это тот тип! Ох и ти-ип! В этом тресте, к которому относится леспромхоз, управляющий — бывший генерал. Директор-ишек шерстит по-военному. Раз, два — и по шее! А наш сосед хоть бы что, спокойнехонько трудится и даже перед генералом не робест. — Чудинов наклонился к Уланову и доверчиво сообщил: — Он всех тут в округе обманул и меня тоже.

— Как это он сумел? — тая смех, поинтересовался Уланов.

— Урвал моментик. Менуюю мы тут с ним делали. Так он моим отчаянным механикам такой гроб подsunул вместо двигателя на автомашину, что хоть сейчас брось, хоть маленько погодя.

Чудинов говорил о своем соседе без всякого осуждения, и чувствовалось по голосу, что он и сам при случае, не моргнув глазом, надует директора леспромхоза. Такая уж, по-видимому, «деловая связь» у них установилась.

— Я вот еще повстречаюсь с ним, — погрозил Чудинов своей однопалой рукой в окошко в том направлении, где находился леспромхоз. — Ты чего ухмыляешься? — повернулся он к Уланову. — Доезжай-ка, он и тебя обжулит на чем-нибудь.

— Не посмеет! Это ж мой друг, старый друг! Мы с ним на Магнитке в одной комнатухе жили. Мне ли его не знать!

— О-о, тогда немедленно поехали! — обрадовался Чудинов. — Чего ж ты молчал? Однако друзья у тебя!

Директор леспромхоза встретил их радушно. Когда Чудинов принялся его корить, тот с невозмутимым видом поинтересовался:

— Ты, насколько мне помнится, в армии был, даже будто бы воевал маленько?

— Был, повоевал. И не маленько. Кое-чем фашистам досадил, — не без гордости ответил Чудинов.

— Это, между прочим, не только твоя слабость — доказывать, что без личного твоего подвига не видать бы людям светлого Дня Победы. Особенно рьяно лезут в герои те, кто на дезобане ездил, вшей солдатских выжаривал. Ты на дезобане не ездил — и то ладно. Одиннадцатую солдатскую заповедь еще не забыл?

— Не забыл.

— Что она гласит?

Чудинов почесал затылок и добродушно рассмеялся:

— Погоди. Я при случае напомню тебе, что она гласит.

Уланов улыбнулся, наблюдая за этими двумя солидными и плутоватыми мужичками, которые подковыривали друг друга, а в душе таили взаимную симпатию. В конце концов директор заявил обескураженному Чудинову, что двигатель послан списанный, а чтоб за добрым прислали, да не вислоухих людей.

— Утиль, значит, сбываешь под видом шефской помощи? — спросил Чудинов. — Благодетель!

После того как директора леспромхоза обвинили в незаконном захвате сенокосных угодий и пугнули законом он заявил:

— Давайте-ка не позорьтесь! За то, что я сохранил и очистил колхозные покосы, которые были загажены до безобразия, и трава-то на них не росла, мне еще премию присудят. Только не нужна мне премия. Забирайте покосы, а уж если не сумеете скосить, не обессудьте...

— Сдрейфил! — подмигнул Чудинов директору. — Прежде говорил, что близко не подпущу колхозников к этим лугам.

Директор помолчал и смиренно проговорил:

— Тут любой сдрейфит, вон какие постановления пошли, и все на пользу вам. Свяжись попробуй, так не рад будешь.

— Ага, приуныл, голубчик! То ли еще будет! Мы вас тут по-соседски еще во как прижмем! — И Чудинов изобразил в воздухе движение, каким пользовались в войну солдаты при осмотре белья.

— Не очень-то путай, соседи тоже ногтистые.

Так между взаимными перепалками и подковырками они сумели договориться насчет ремонтной бригады, которую директор обещал подбросить в МТС на недельку, а взамен «выцыганил» зимней смазки, лежавшей в МТС без пользы. Обещал директор помочь насчет какого-то

инструмента, запчастей. Чудинов довольнехопько хлопал соседа по плечу.

— К тебе можно в гости ездить! Любого оберешь донага и взамен онучу дашь — грех прикрыть. Да так эту онучу расхвалишь, что гостя умиление охватит!

— Ладно, остряки. Отобрали добро и еще просмеивают, — сказал директор и, прищурившись, добавил задумчиво: — Покормить вас, что ли, на дорожку, чтоб добрее были.

Директор леспромхоза накормил гостей обильным и вкусным обедом. Здесь и зашел разговор о самом главном. На этот раз слушателем был Чудинов. Он сидел с благодушным видом поднажившегося коммерсанта, поглядывая то на директора, то на Уланова. Директор леспромхоза с серьезным видом слушал Ивана Андреевича, потом отодвинул тарелки на середину стола.

— Убери-ка посуду, — бросил жепе и, помолчав, задумчиво выдавил: — М-да, Иван, попал ты, как я погляжу...

— Да я не о себе.

— Я понимаю! — выпятил нижнюю губу директор и, почмокав, решительно произнес: — Вот что, братцы, слышите! Сена я вам дам, но его не так просто достать. Сено в Талице.

— Креста на тебе нет! — возмутился Чудинов. — Это равносильно тому, что ничего вовсе не давать. Как мы его оттуда достанем?

— Да мое-то какое дело? — вспыхнул директор. — Может быть, еще его вам в Корзиновку привезти, в стойло заести? Спасибо! Я вам не пяпка! Я сам реву из-за сена. Сезонники из ваших же колхозов явились с лошадьми и ни соломинки не привезли. Все стравил. Из последнего делюсь, а они на-ка тебе, еще нос гнут! — Директор встал из-за стола и начал рубить рукой. — Снарядите трактор, народ побоевее — и сено будет на месте. Мы-то достаем!

— Чего ты шумишь? — пробурчал Чудинов. — Сено вы по Талице сплавяете осенью, когда вода подымается. Прошлой осенью паводка не было, сено осталось. Вот и все. А ты: достаем, достаем! И мы достаем, если на то пошло...

— Вот и доставайте, а под руками у меня, в самом деле, нет сена. Белую.

И хоть не отпускал их гостеприимный директор, Уланов и Чудинов после обеда выехали из леспромхоза. Сей-

час, по-видимому, Чудинов обдумывал, как организовать доставку сена в колхоз. Уланов не знал, где эта самая Талица и каким образом можно к ней пробраться.

— Хватит ворчать, — обернулся он к Чудинову. — Если что придумал, открывай.

— Заворчишь тут, — откликнулся с заднего сиденья Чудинов. — Протрясет до самого пупка, невольно заворчишь. Я так думаю: молодежь надо напустить на сено. И хоть не агрономское это дело — корма добывать для колхоза, послать туда, на Талицу, следует Таисью Петровну. За ней остальные потянутся. Она у молодежи авторитет, да и парням неудобно будет отставать! Женщина, мол, и то не побоялась, поехала...

— Опять хитришь, директор, — погрозил пальцем Чудинову секретарь. — Неисправимый ты человек! — И, подумав, Уланов добавил: — Пожалуй, так и сделаем. Личева пошлем.

— Пусть едет, мне-то что. Только чтоб не напился в путь-дорогу. С ним случается.

Газик круто повернул к Корзиновке. В устье реки вспучилась зеленватая наледь. Придорожные кусты торчали прямо изо льда, наползшего неровными пластами. Поверху его маслянисто блестела вода. Газик, разбрызгивая воду, проскользнул наледь и побежал по дороге. Неожиданно, откуда-то сверху, кубарем слетел парнишка и распластался у самой машины. Шофер тормознул так, что Чудинов подпрыгнул и ударился головой в фанерный потолок машины.

— Не задавили стервеныша? — испуганно спросил он, схватившись за голову и выскакивая из машины.

От машины что есть духу улетел мальчишка с ершистыми волосами. Лохматая шапка и лыжа остались на дороге. Чудинов в два прыжка догнал мальчишку и схватил за телогрейку. Мальчик сделал молчаливую попытку вырваться и, ничего не добившись, глянул исподлобья большими серыми глазами на Чудинова.

— Отпусти!

Чудинов шлепнул его по макушке и спросил:

— А если бы задавили тебя, тогда как?

— Тогда никак. Задавили бы — и все! — глядя в сторону, рассудил малыш.

Подошел Уланов. Он принес шапку и лыжи.

— Вы ему как следует, паразиту, дайте! — кричал от машины шофер.

— Ба! Да это мой старый знакомый, — удивился Уланов. — Ну, брат Серега, не ждал я от тебя. Что ж ты под машину прыгаешь?

— Я, что ли, виноват, раз лыжи понесли, — нахлобучивая шапку до самых глаз, пробубнил мальчишка. Он с трудом просунул носки валенок, похожих на палимьи головы, в ремешки, вытер рукавом нос. — Идти, что ли, можно?

— Иди. Да катайся осторожнее. А Васюха где? — поиггересовался Уланов.

— Он дома, греться убежал. Мы попеременно с ним катаемся. Одни у нас валенки и одни лыжи на двоих.

— Значит, по-братски! — сказал с чуть заметной улыбкой Уланов. — А мать где?

— Не знаю. Может, в правлении, — отозвался мальчишка и, довольный, что так дешево отделался, поспешил в гору.

Зная, что за ним следят, он попытался идти в гору елочкой, как пастоящий лыжник. Лыжи плохо слушались его. Он то и дело падал. Начерпал полные валенки снега, однако настойчиво продвигался вперед и вскоре исчез с глаз.

— Это неужели сынишка Голубевой? — проводив мальчика взглядом, изумленно спросил Чудинов.

— Ее, ее, — отозвался Уланов. — Деревенский воздух полезен оказался. Вырос, окреп, бойкий стал.

— Осенью видел — заморыш был. А теперь — не узнать, — тихо промолвил Чудинов и, сразу помрачнев, пошел к машине.

— Эх, хорошее это дело, иметь такого вот разбойника! — мечтательно начал Уланов, явно набиваясь на разговор. — Тебе по этой части повезло, Николай Дементьевич. Семьянин ты.

Чудипов не отозвался и молча сел в машину. На горе он велел шоферу остановиться и открыл дверцу.

— Знаешь что, Иван Андреевич, ты тут проверни пачет поездки с сеном, а я к себе пойду. Дел у меня много накопилось.

Уланов удивился, услышав в его голосе унылые нотки, и спросил:

— Чего у тебя настроение вдруг испортилось?

— Да так... нездоровится что-то, к непогоде, видно...

Уланов попрощался с Чудиновым и задумчивым взглядом проводил разом осевшую фигуру директора. Он брел

устало, загребая ногами снег, будто отработал две смены в горячем цехе.

И опять Уланова смутило поведение директора, опять что-то насторожило его.

ГЛАВА ВТОРАЯ

До речки Талицы двадцать пять километров. На двенадцатом километре проторенная дорога повернула в лес-промхоз. Впереди белой лентой извивалась наезженная дорога, которая вела на далекую речку Талицу. Трактор-натик бойко врезался в рыхлую снежную целину, таща за собой тупоносые тяжелые сани. На них лежали привязанная бочка с керосином, вилы, топоры, лопаты, пилы. Тут же расположились восемь корзиновок комсомольцев. Снег был глубокий. Лихачеву пришлось прибавить газ и перейти на вторую скорость. Почти смыкая ветви над узкой просекой, стоял дремотный лес. Неугомонный, тархтящий трактор будто нырнул в тоннель и никак не мог из него выбраться. Но и в этом мягком тоннеле, погруженном в печальную, полусонную тишину, были свои новости. Вот за поворотом норка в снегу, а к ней идут следы и исчезают под упавшим деревом. Вот молодая елочка высунула из-под снега пушистый носик, а на нем сидит красивая ронжа и с беспокойством смотрит на приближающуюся машину. Дальше видна осиновая рощица, поточенная зубами сторожких зайцев. Жизнь, всюду жизнь со своими заботами.

Василий внимательно прислушивался к надсадному тархтенью трактора. «Хватим мы лиха за эту поездку, ой, хватим!» Он оглянулся назад. На санях царило веселье. Ребята и девушки пели, смеялись, махали руками, Райка Кудымова пыталась даже притопывать на санях. Василий резко прибавил газ, сани дернулись — и Райка полетела в снег. Пока она поднялась, трактор успел отойти, и она, проваливаясь в снегу, догоняла сани. Ребята махали ей руками, протягивали концы веревок. Райка с маху упала на сани, и ее раскрасневшееся лицо расплылось в широкой улыбке. Лихачеву сделалось тоскливо одному в кабине. «Об извозчике, как всегда, забыли. Скоро вспомнят, не позднее как вечером», — подумал Василий.

Погода стояла сырая, теплая, пригревало солнце, тянул ветерок, роняя с ветвей отяжелевшую кухту. Вокруг

деревьев, особенно обочь дороги, гладкая поверхность осевшего снега была израна комьями. Пришла капризная пора. Весна оживала днем и затихала к вечеру. Порой еще выдавались такие крутые утренники, что все кругом трещало от мороза. Василий хоть и был на войне тапкис-том, имел, говоря отвлеченно, непромокаемую крышу над головой, все-таки знал, как тяжела эта предвесенняя, неустойчивая пора для человека, лишенного крова. Помнил он, как намокает, бывало, солдатская шинель за день, а к вечеру ее коробит морозцем. Корчится солдат, кроет всех, кто под руку подвернется, печем ему, сердяге, согреться, кроме матюка да сигарки.

Грустная улыбка тронула лицо Лихачева. Он вздохнул, еще раз оглянулся на сани и, увидев, что там началась потасовка, остановил трактор. Ребята и девчата завозились на снегу.

— Вы вот что, молодые люди, — строго заговорил он, — если не желаете поморозиться, перестаньте мочить одежду.

— Слушаем приказ, пока при вас! — озорно крикнула Райка и неуклюже приложила руку к растрепанной голове.

Василий засмеялся, достал ведро и сказал:

— А ну, кто-нибудь за водой слетайте, радиатор парит.

Двое парней, с ними Райка Кудымова, побрели вниз по косогору, проваливаясь в снегу. Василий проводил их взглядом и отозвал Тасю в сторону:

— В самом деле, ребята не понимают, что делают. Сейчас озорничают, а ночью реветь будут. Втолкуй им, что они на серьезное дело посланы.

— Да они это сами понимают. Но я скажу им, обязательно скажу. — Она пристально посмотрела на него и спросила:

— А у тебя опять меланхолия? Хватил на дорожку, да?

— Для тепла.

— Я тоже думаю, что не для холода. Больше-то хоть не добавляй. Толкуешь о серьезности дела, а спустишь нас где-нибудь с обрыва.

— Будь спокойна, привезу — не растрясусь.

За бурливой горной речкой дорога пошла в гору. Темная речушка, ведя пререкания со снегом и холодом, который всю зиму пытался заковать ее, скрылась за кудреватым ольховником. Трактор с ревом вгрызался в косогор, выбрасывая гусеницами кучи волглою снега. Не успели

одолеть один подъем, как впереди оказался другой, еще круче прежнего. Лес становился гуще, мрачней. Дорога сделалась еще уже, снег глубже.

«Ничего, зато обратно будет путь!» — успокаивал себя Василий. Они одолели еще несколько перевалов. В одном месте долго буксовали. Пришлось свалить несколько деревьев, выложить их под гусеницы. А уже совсем недалеко от Талицы они наткнулись на обвал. Огромные глыбы камней оторвались от утеса, нависшего над распадком речки, и засыпали широкой полосой дорогу, повалили деревья. Из-под снега торчали холодные валуны, изуродованные лесницы. Пришлось комсомольцам взяться за топоры, прорубить просеку для объезда. Натик упорно преодолевал перевал за перевалом, продвигался вперед. Вот он спустился к речке и, дыша жаром, замер возле густой опушки леса, окружавшей широкую поляну. Где-то над головой, словно пробуя свои силы, ветер начал пошевеливать вершины деревьев.

Найти один из стогов оказалось делом нетрудным. Он стоял среди белого поля, испещренного заячьими следами. Огромная шапка снега прикрыла стог.

Решили сразу приступить к делу, а потом уже поесть.

— Правильно! — поддержал Василий. — Поесть можно и на ходу. Важно — засветло погрузиться.

Ребята забрались на стог и начали спускать глыбы снега. Они норовили угадать комом снега в девчат. Хохота и веселья было хоть отбавляй. Работа спорилась. Василий взял топорик и побрел к ершистой сухостоине, загребая валенками снег.

— Глядите-ка, водитель решил дрова заготавливать, — закричал кто-то из девчат. Райка громко позвала:

— Греться к нам иди, на зарод! Тут что твоя баня!

Василий не откликнулся. Свалил сухое дерево, разрубил на несколько частей и вытащил на поляну, где заранее утоптал место для костра.

Стог был уже очищен от снега. Василий подогнал трактор, установил сани ближе к сену — и погрузка началась. Воздух вокруг наполнился терпким запахом травы, цветов, листвы. С веселым шумом падали на сани слезавшиеся пласты зеленого сена, в котором золотыми искорками мелькали засохшие ягоды земляники. Сено лесное, мелкое, Девчата, утаптывавшие воз, тонули в нем по пояс, как в пуху. Ветер совсем проснулся, спустился с гор к речке. Порывы его выхватывали отдельные былинки, лис-

точки, а то и клочки сена, сорили по снегу или бросали шуршащую траву на деревья.

Как ни старались комсомольцы, управились только к сумеркам. Солнце скрылось. Лишь много времени спустя облака раздвинулись, точно бетонные плиты, в щель выглянул огромный кровавый зрачок солнца. Он глядел с подозрительной враждебностью, не предвещая ничего доброго. Тяжелые облака снова сдвинулись, как крепостные ворота, и в лесу сделалось еще темней, тревожней. Ветер усилился, стало подмораживать. Топко звенел на речке Талице схватывающийся ледок. Под ногами захрустел быстро образовавшийся наст. В лесу снег не успел подтаять, настом его не схватило, оттуда на полянку налетели, извиваясь, белые змейки.

— Давай, Вася, быстренько заводи свой вездеход, — потребовали комсомольцы, как только воз был нагружен и закреплен.

— Нет, прежде поешьте, пообсушитесь и тогда тронемся.

— Да ты что, сдурел? Ветер вон начинается, пурга может быть, а мы тут прохлаждаться станем.

— Пока не обсушитесь, я трактора не заведу, — отрезал Василий. — Это вам сейчас жарко, потом по-другому запоете.

Тася хотела что-то сказать, но, встретившись с озабоченным взглядом Василия, промолчала и пошла к костру. Ребята с ропотом побрели за ней. Над костром в ведерке кипела вода. Тася очень удивилась такой хозяйской распорядительности Василия и подумала: «Вот что значит на войне побывал человек».

— Чтобы чай поменьше пах керосином, я в него смородишника сунул, — сказал Василий. — Пейте, всем по-пемножку достанется, и обязательно просушитесь.

Погода портилась.

— Вот-вот, самое время чаевничать, — заворчали некоторые.

— Слушайте, что вам говорят, а не злитесь попусту, — проговорила Тася. — Вам же лучше делают, а вы...

Часто пробуксовывая, трактор с трудом выгнал сани с большим возом из впадины Талицы на перевал. Здесь порывы ветра оказались значительно сильнее. Глулся и шумел лес. Перегретый трактор, тускло посвечивая фарами, стоял под густыми пихтами. Василий поднял капот трактора, чтобы скорее остыл мотор, и комья снега, опа-

дающего с деревьев, с шипением таяли на нем. На перевале подымались пешком. Было жарко. На остановке сразу почувствовали, что Василий не напрасно заставил их просушить одежду. Девушки и ребята стояли за возом, но ветер все равно допымал их: сыпал пригоршнями снега в лицо и за воротник. Пробирала дрожь.

Василий хлопотал возле трактора. Тася выглянула из-за воза, различила в темноте его согнувшуюся над мотором фигуру и подумала: «В замасленной-го одежке обжигает, наверно. Надо бы у тети Лиды полушубок попросить для него». Тася увидела, что Василий спрыгнул с гусеницы в снег, побрел к радиатору и исчез за ним. Через секунду из трубы вылетел сноп огня и, покрывая шум ветра, затрещал трактор. Сразу сделалось веселей. Василий заскочил в кабину, убавил обороты, и, когда трактор заработал ровно, Тася услышала:

— Команд-и-р!

Она побрела к трактору. Василий выглянул из кабины и, раскуривая папироску, заговорил:

— Ты вот что, товарищ командир, скажи ребятам, чтобы они не слезали с воза, — отстать могут. Пару самых мерзлых подбрось мне. Здесь, — он кивнул головой на сиденье, — не баня, конечно, но все-таки от ветра скрывает.

Теперь еще один уговор: не давай скучать ребятам. Чем можешь — бодри! Ну, осподи баслови, как говорил мой преподобный родственник, патриарх всея Руси Нестор Беспрозванный, любитель армейских анекдотов и картофельной самогонки.

Тася махнула рукой, засмеялась и поняла, что Василий очень обеспокоен. «В душе у него тревога, что-то скрывает и, как всегда в таких случаях, начинает тревогу маскировать прибаутками».

После этой остановки ехали долго. Сначала ребята и девушки пели, смеялись, а потом пронизывающий ветер заставил всех сгорбиться, сомкнуть губы. Только слышно, как неугомонно и деловито трещит трактор, дергая сани. Его светлые фары выхватывали из темноты раскланивающиеся ели и пихты или березу с обиженно опущенными ветвями.

В кабине было всеелей. Здесь, кроме Василия, находились Райка и молчаливый, смущенный Райкиным соседством Осип. Райка отогрелась, на нее снова папало игривое настроение. Она визжала и смеялась до слез над каждым

анекдотом, на которые не скупились тракторист. Осип старался сдерживаться, но Райкин смех заразительней, и он, уткнув в воротник тужурки свое румяное лицо, тоже прыскал и сам не понимал, отчего ему так весело.

С силой выжав на себя рычаг и не отрывая взгляда от клочка дороги, освещенного фарами, Василий продолжал:

— А то еще так бывало: знают немцы, что наши солдаты любители покушать, вот и обольщают, кричат из своих окопов: «Русь! Иван! Комен зи хир?» — Переходи, значит, к нам. — «У нас шестьсот граммов хлеба дают!» А мы в ответ: «Пошли к свиньям собачьим. У нас девятьсот дают — и то не хватает!»

Пока Райка взвизгивает, машет обеими руками, пытается что-то выговорить, а Осип хохочет в воротник, Василий, покусывая губы, смотрит на пробку радиатора, как стрелок на мушку ружья. Потом переводит взгляд дальше, туда, где в бешеной пляске крутятся стаи снежинок. От следов, что оставили днем, почти не осталось никаких признаков. Только на голых буграх, которые встречались очень редко, сохранились отпечатки гусениц. Перевалив один из таких бугров, Василий глянул в заднее оконце, по его совсем залепил снег. Тогда он открыл дверцу и, не выпуская из левой руки фрикциона, взглянул на сани. В темноте от с трудом различил белые бугорочки на темном сене.

— Э-э, печально я гляжу на наше поколение! — прокричал он, останавливая трактор. — Так можно, душевной страсти не изведав, солдатской каши не поев, окончить свой праведный путь во младости. — И ошалело, на весь лес заорал: — Э-эй, подъем! Разминка-а! Командир обоза ко мне! Два наряда и семь лет расстрела этому командиру за увяданье бравого вида у вверенного ему подразделения!

Тася, сцепив руки в рукавах, вяло и виновато улыбнулась. Не лучше выглядели и остальные.

— Прыгать, бороться, плясать! — приказывал Василий. Сам толкнул какого-то парня — и тот, как гнилой пень, свалился в снег. — Эх-ма, а говоришь: я тоже, медведей убивал, девок целовал. А кто видал? — помогая парню подняться, наговаривал Василий и быстро исчез в кабине. Через минуту послышался его голос:

— Сюда все! Ко мне-е!

Ребята неохотно побрели из-за укрытия. У Василия в руках полная бутылка и консервная банка.

— А ну-ка, хлопцы и хлопчихи, тяните по маленькой, для разгонки крови. Оч-чень доброе лекарство! Обожаю! Спиртоцид называется!

— Как ты до сих пор не допил это самое лекарство? — удивилась Тася.

— Х-м, сам удивляюсь, откуда у меня взялась такая железная выдержка, — рассмеялся Василий и протянул ей банку. — Начальнику фуражного обоза Таисье свет Петровне — первой!

Тася взяла банку и, зажмурившись, опрокинула ее. Сразу обожгло и перехватило горло.

— Снежку, снежку, — услышала она голос Василия и черпанула рукавичкой снегу.

Ободренные ее примером, выпили и остальные. Девчата, поперхнувшись, кашляли, беспомощно и ошалело размахивали руками, смеялись друг над другом.

Стало теплей и веселей.

На следующей остановке, ковыряясь в двигателе, Василий попросил крутнуть заводную ручку. Его просьбу бросились выполнять сразу двое. Они быстро выдохлись, разогрелись, но завести двигатель не смогли. Василий покачал головой и огорченно пробормотал:

— Жидки, жидки, ай-яй-яй! Кто-нибудь пусть сменит их. Им надо орудовать не тракторной ручкой. Ложкой у них лучше получается. — Если бы было светло, то все увидели бы, какие хитрые искры прыгают в глазах тракториста.

За ручку в пару с Райкой взялась Тася.

— Во-во командир! Покажи удадь, крутни так, чтобы дым пошел коромыслом! — Подбодрил Василий и, нырнув под капот, стал ощупывать вентиляционный ремень. Пальцы его торопливо и озабоченно бегали по тому месту, где он еще давеча заметил расплзающийся шов. Ремешь был старый, много раз чиненный. О ключах, о горючем, о запасных свечах и даже о водке Василий позаботился, а запасных ремней в мастерской не оказалось.

— Что у тебя там не заводится? — услышал Василий Тасин голос и встрепенулся.

— Крутите неважно, вот и не заводится, — отозвался он и крикнул: — А ну, следующий! Эти тоже мало каши ели.

Так он погрел всех, а сам для виду ковырялся под капотом и папевал во все горло:

Умирать нам рановато,
Пусть умрет лучше дома жена!..

— Эх вы, мелочь пузатая! — фыркнул Василий.

Незаметно открыв краник подачи горючего в карбюратор, он взялся за ручку, налег на нее — и двигатель, содрогнувшись, пустил длинную и громкую очередь. — Учитесь, пока я живой! — перекрывая шум, озорно закричал Лихачев озадаченным комсомольцам. — Командир, твоя очередь занимать каюту-люкс, — показал он на тракторную кабину.

Когда миновали крутые перевалы и трактор стал меньше дергаться, Тася задремала. Сидевшая рядом с ней девушка тоже притихла. Заметив это, Василий перестал болтать и молча глядел вперед. Здесь, в низине, ветер был тише, а снегу гнало больше.

Сколько времени прошло, Тася не знала, когда ее разбудила неожиданная тишина. Она вздрогнула и с недоумением огляделась. Трактор не работал. Из радиатора валил густой пар. Василий поднял капот, нагнулся и пошел в кабину. В руках его, как мертвая змея, болтался ремень.

— Вот, — бросил он его под ноги, — на соплях тянул. Хорошо, не на перевале порвался, — загорали бы.

— А мы сейчас где? — стараясь что-либо разглядеть сквозь мчавшиеся тучи снега, спросила Тася. — Ой, как метет, еще сильнее ветер сделался.

— Нет, ветер не усилился. Это мы на реку спустились. Ехать-то пустык остался — километров пять. Если бы ремень не подвел, сейчас бы газанули будь здоров!

— Какая туг дорога, — стараясь сгладить досаду Василия, проговорила Тася и про себя отметила: «Вот он о чем давеча беспокоился. Ну и хитрый!» — И, покосившись на него, спросила: — А теперь как быть?

— Потихоньку поползем. Через каждые полкилометра будем останавливаться и снег толкать в радиатор.

— Ребят, может, пешком послать?

— Не выдумывай. Еще заплутают, тогда намылят тебе шею, — пообещал Василий.

Он надолго смолк. В сумраке кабины было чуть видно его лицо, и Тася различала, как устало у него опустились плечи и поникла голова.

— Досталось тебе, Вася.

Он встрепенулся и, стараясь придать своему голосу бодрость, отозвался:

— Ничего, не привыкать. — И, помолчав, со вздохом добавил: — То ли бывало во времена не столь отдаленные. — И тут же постарался замять проскользнувшую грустную нотку в голосе: — Однако тронулись! За простой не платят!

Когда-то Василий полушутя, полусерьезно обронил фразу, что они обязательно поладят, и он оказался прав. Тася с Василием крепко сдружились. Василий за это время во многом и сильно изменился: перестал пить, сделался скромней и выдержанней, правда, иногда еще паясничал. Тася не раз ловила себя на том, что, если Василий долго отсутствует в Корзиновке, ей чего-то недостает. Относилась она к нему с той заботливой теплотой, с какой матери обращаются к милому, но непутевому ребенку. Василий принимал ее покровительство хотя и полушутя, но беспрекословно. Очень нравилась Тасе в нем та особенная черта, которой другие люди в нем не подозревали. Он был скромен в отношениях не только с ней, но и вообще со всеми девушками! За его внешней разболтанностью Тася сумела распознать и душевную доброту, и природный такт. В Корзиновке говорили о нем много, говорили беззлобно, потому что Лихачев ничем не запятнал своей мужской репутации. Более того, он не ухаживал ни за одной из девушек. Находились люди, которые были склонны отнести это к его зазнайству; не хочет, мол, с нашими девками знаться. Он и за Тасей не ухаживал, а просто по-дружески относился к ней и к Сережке. В нужную минуту как-то незаметно приходил на помощь. Когда человек идет навстречу с открытым сердцем, трудно не принять его.

Не успели отъехать и десятка метров, как впереди появились подводы. С них махали руками, кричали. Василий остановил машину.

— Что такое? Заблудились, что ли? Да это корзиновские, оказывается! Ну и ну! Догадливый народ. — Он оглянулся на Тасю. — Должно быть, подводы выслали за нами.

Тася соскочила прямо в снег и, проваливаясь почти по пояс, побрела туда, где тускло светили фары. Только она вышла на свет, как из темноты вынырнула маленькая фигурка и кто-то повис у нее на шее.

— Мамка!

Горячее мальчишеское дыхание опалило ее. Тася при-

жала подвижную, легкую фигурку к себе и счастливо засмеялась.

— Серьга! Сорванец ты мой отчаянный! — При неясном свете она видела, как радостно сияли большие серые глаза Сережки, а на разгоревшейся щеке блестели размазанные соплишки. Она чмокнула его в эту щеку, потом в другую, такую же холоденькую, родную. Но Сережка, заметив, что на свет фар появляются люди, высвободился из Тасиных рук.

— Дай я тебя обгрясу, мам. Снегу на тебе пуд! — сконфуженно бормотал он и, хотя снегу на Тасе почти не было, начал старательно обмахивать ее рукавичкой.

— Увязался за нами малец, не брали ведь, так нет, бежит и бежит следом. Пристал чисто банный лист. Пришлось посадить — проговорил один из приехавших. — Мы думали, что вы где-то в лесу застряли. Яков-то Григорьевич шибко беспокоится. Он нас и отрядил.

Девчата и ребята пересели на подводы, Тася решила не ехать.

— Нужно кому-то остаться здесь, помогать трактористу.

— В таком случае останутся ребята, а вы поезжайте, — сказал Осип. — Хоть я останусь.

— Нет, нет, давайте трогайте, и ты, Осип, тоже. — Она улыбнулась и притворно строго спросила: — Кто тут командир, а?

Райка дернула Осипа за рукав и похлопала по шапке.

— Соображать надо!

Подводы тронулись и сразу исчезли в снежной кутерьме. Сережка уже сидел в кабине и надоедал Василию. Тот разъяснял ему назначение разных ручек и педалей. Тася опустила на сиденье.

После этой остановки долго ехали молча. Сережка вытащил из-за пазухи пирог, завернутый в тетрадный лист. Пирог был из ржаной муки с картошкой. Тася разломала его и, подав половину Сережке, кивнула головой в сторону Василия.

Сережка потянул за рукав Лихачева и, когда тот обернулся, сунул ему половину пирога, согревшегося у него под рубахой. Василий взял кусок, грубовато, одной рукой прижал к себе Сережкину голову и придавил пальцем его нос, оставив на нем темное мазутное пятно.

Сережка рассыпался звонким смехом. Не успел Василий проглотить кусок, показавшийся ему удивительно

вкусным, как трактор уже разогрелся настолько, что из радиатора вместе с паром полетели брызги горячей воды. Василий выключил мотор — стало темно и тихо. Выл и бесновался вестер, швырял в замерзший трактор снегом, набивая сугробы вокруг.

— Ух, визжит как! — заговорил Сережка. — Ему надоело сидеть молча, и он, как взрослый, добавил: — Известное дело, весна скоро, вот оп, Дед Мороз, и злитя, не хочется удочки сматывать.

Василий улыбнулся и терпеливо ждал, когда Сережка заговорит снова. Но тот почему-то притих.

— Серега, ты задремал? — поинтересовался Лихачев.

— Не. — Сережка шмыгнул посом и заерзал на сиденье так, что затинькали пружины. — Я про дяденьку вспомнил про одного. На подводе он сегодня приехал со станции. А шапка у него, как пирог. Вот ему нащипало уши-то, наверно? — Сережка помолчал и, что-то вспомнив, повернулся к Василию. — Ой, чуть не забыл сказать, дяденька этот лектор, наверно, потому что про море рассказывал, про повое. Говорит, что если плыть и плыть все время по Кременшой, то в море попадешь. Бо-ольшое-большое море.

Сережка не закончил одного и сразу перескочил на другое:

— Дядя Вася, у него зуб золотой вот здесь. — Сережка ткнул себе рукавичкой в угол рта. — И пальто у него, знаешь, какое, дядя Вася? С девчоночьим воротником... Хы-хы, интересное пальто. А Костя влип, как миленький, на уроке и кол домой приволок. Тетя Лида его в пашу с мамой половину закрыла. Он сначала все нам стучал по азбуке Морзе, потом песни пел, а потом как заревеет.

— Болтун ты, Серьга, у меня, — без всякого осуждения сказала Тася.

А Василий с задумчивой, теплой улыбкой вымолвил:

— Хорошо иметь на свете живую душу, родную, близкую, хотя вот бы и такую, совсем маленькую. — Он сдвинул на задиристый Сережкин нос лохматую шапку и похлопал его по спине. — Ждет вот, беспокоится.

Перед самым утром трактор с возом сена остановился возле молочной фермы. Василий спустил воду из радиатора и зашел в молочную, где дежурная расшевелила железную печку. Василий закурил, затянулся несколько раз и бессильно выпустил папиросу из пальцев. Усталость сморила его. Пришла Лидия Николаевна, растолкала Василия

и велела идти домой, сказав, что его ждут в Тасиной половине.

А Тася с Серезжкой отправились ночевать к Макарихе и забрались на горячую печку, спать.

Метель не унималась.

В Тасиной половине тускло светила лампочка, завешанная московской газетой вместо абажура. В газету заворачивали что-то жирное, и пятна, нагретые от горячей лампочки, чадили. За столом, положив перед собой журнал, сидел человек с седой, крутолобой головой и приплюснутым носом. Лицо его было простое, ничем не примечательное, а некрасивый нос придавал этому лицу даже что-то неприятное. Но маленькие синеватые глазки светились умом и добротой. Есть люди подобные березовому углю: с виду черен, холоден, а возьмешь — обожжешься. Огонь у березового угля тает глубоко, и не сразу его заметишь.

Человек этот — отец Василия — Герасим Кондратьевич Лихачев. Он много лет разыскивал сына, зная, что, кроме сына, ему разыскивать некого. Он заставил себя примириться с мыслью, что сын пропал, без вести пропал, и лишь глубоко в душе таилась маленькая надежда: «А может быть...»

Война безжалостно раскидала людей, спутала их судьбы. Но именно на войне профессор Лихачев по-настоящему научился ценить человеческую теплоту в горе. Именно на войне ему страстно захотелось встретиться со своим мальчиком и все, все, что он раньше ему недодал, отдать сполна.

Встрегить, обязательно встретить! Хоть раненого, изувеченного, но своего сына. Он докажет, что может быть отцом. Он сутками будет сидеть у его постели; весь свой ум, знания, всего себя отдаст ему. Только бы встретить!..

Будто в отместку за прежнее отчуждение злопамятная судьба все дальше и дальше разводила его с сыном. «Все проходят раны, поздно или рано...» — пели когда-то фронтовики, и, может быть, со временем Лихачев перестал бы думать о сыне. Тем более, что он женился и перестал быть совсем одиноким.

Но однажды в клинику — это уже спустя много лет после войны — с тяжелым ранением был доставлен молодой парень. Судя по одежде и по тому, как он держался, его не стоило по амнистии выпускать из тюрьмы. Он все время плевался кровью себе на грудь, грязно ругался, не

обращая внимания на сестер, готовивших его к операции, и клялся, что если он не даст «дубаря», то перережет «хрип» каким-то «подлюгам». Держался он так, пока был пьян. После операции несколько дней лежал без сознания, боролся со смертью. Только на седьмые сутки он окончательно пришел в себя и встретил Лихачева слабой, вполне человеческой улыбкой. Впрочем, профессор не раз убеждался в том, что даже самые отчаянные головорезы на больничной койке становятся людьми.

— А-а, доктор! — вяло и приветливо сказал он. — А я ведь вас знаю.

— Меня? Поразительно! Очевидно, в газетах читали?

— Я газет не читаю. Утирка! Мне о вас в исправительной колонии ваш сын, Васька, рассказывал, карточка у него хранится, на ней вы моложе.

— В-вы что-то путаете... у меня нет сына... вернее, у меня был сын, но его звали не так.

— Дело это всего одну косую стоит, батя, имя-то.

— Минутку, минутку! Вы серьезно. Вы не шутите? Молодой человек, я вас прошу!..

...Да, они все-таки встретились. Но встретились не так, как того хотел Герасим Кондратьевич. Ничего особенного не произошло. Все было просто и даже как-то слишком буднично.

Мела пурга, спутав грань между ночью и утром. Пришел трактор, стреляя очередями в заснеженную ночь. Потом стало тихо, только свистела и бесновалась метель за окном.

Спустя много времени дверь избы распахнулась и на пороге появился высокий паренек в серых валенках с рыжими пятнами мазута, в запацканной телогрейке и ватных брюках. Его красивые, резко очерченные брови недовольно сдвинулись, а темные, такие неповторимо темные, чуть грустные глаза на какую-то долю секунды встретились с глазами профессора и тут же опустились. Паренек колотил валенок об валенок и искал глазами веник. Герасим Кондратьевич бросился к нему, обнял, что-то пытался сказать. Тихий, недовольный голос привел его в себя:

— Я же грязный, выпачкаешься...

Так вот они и встретились...

Герасим Кондратьевич мерил шагами комнату, в которую их поселила Тася. Он остановился перед отрывным календарем и с недоумением уставился на него. Потом

понял, что у календаря просто-напросто давно не отрывали листочков. Он аккуратно и долго отрывал их. Слова прошелся по комнате. Василий спал, откинув голову к стене, чуть слышно похрапывая. За ушами и под челюстями у него остались мазутные пятна. «Он хорошо сделал, что убрал простыню и чистые подушки, — подумал профессор. — А женщина здесь живет любезная, уступила свою комнату без лишних разговоров».

Когда стрелки на часах профессора показали четверть второго, он начал хлопотать. Приготовил чистое полотенце, мыло, одеколон — все необходимое для туалета. Потом решил заняться обедом. Все было незнакомо, непривычно. Самостоятельно он, наверное, не смог бы ничего приготовить, надо было прибегать к чьей-то помощи. Словно разгадав его намерения, в избе появился тот самый шустрый мальчик в большой лохматой шапке, который вчера выскочил из кабины трактора. Он принес охапку дров, положил ее у подтопка. Нашарил в печурке ножик с обломленным концом и принялся щипать лучину.

— Ты хочешь затопить печку, мужичок?

— Да, печку, — неохотно отозвался Сережка и пояснил: — Видите, лучину щипаю, не избу же поджигать. Может, вам картошку сварить? Воды я принесу. Мама еще тоже спит.

— О, ты, оказывается, деловой человек. Но язык у тебя острее, чем этот ножик, — показал Герасим Кондратьевич на нож, зажатый в руке Сережки.

— А вы, что ли, дядин Васин папа, да? — не ответив на вопрос профессора, поинтересовался мальчик.

— Да, маленький мужичок, да.

— Г-м, а чего же вы тогда раньше не приезжали? — Сережка презрительно уставился на профессора и, сжав кулаки, продолжал: — Мой отец вон тоже никак не приезжает, ребята говорят, прячется.

— Прячется? Как это прячется?

Мальчишка насупился, шмыгнул носом.

— А я знаю, что ли, как?

Герасим Кондратьевич погладил его по голове, но мальчишка отстранился и спросил:

— Может, еще чего надо сделать?

— Да, надо. В лавку или в магазин — как у вас тут называется, не знаю, пужно сбегать.

— Магазин, конечно, как везде. Там тетя Августа торгует.

— Вот и прекрасно. Ты у этой тети Августы попроси бутылочку хорошего вина. — Профессор подмигнул. — Хорошего, понимаешь?!

— Понимаю, не бестолковый. Красного, значит. А еще чего? Шоколадку, может? — бросил дипломатический намек Сережка.

— Шоколадку? Нет. Шоколадку ты себе купи, а нам винца, сыру, селедки маринованной. Есть у вас сыр и селедка?

— Были бы деньги! — солидно отозвался Сережка. — У нас все есть. Тетя Августа продавец во! — показал он большой палец. — Она, если кому надо, и без денег даст — в долг.

Получив деньги, Сережка стиснул их в руке и ринулся из избы. Профессор притворил за ним дверь, покачал головой и обернулся, почувствовав на своей спине взгляд.

Василий лежал с открытыми глазами. И опять все получилось не так, как думал. Он хотел все приготовить, сделать и ждать у кровати, когда сын откроет глаза. И тогда сказать: «Доброе утро» — или что-нибудь в этом роде. И они, может быть, разом перешагнут ту черту отчуждения, которая разделяет их. Но все получилось по-другому. Василий потянулся, соскочил с постели и, надевая штаны, угрюмо сказал:

— Напрасно ты Сережку в магазин откомандировал: мать не любит давать ему такие поручения. И вообще все эти вина, закусочки ни к чему — я на работе.

— Ну и прекрасно, что на работе. Рюмка вина не повредит, — потирая руки, ответил Герасим Кондратьевич.

Василий прошел мимо него к умывальнику. словно не замечая приготовленных отцом предметов обихода, выцарапал из пластмассовой коробки плоский обмылок и принялся с чувством полоскаться.

Появился Сережка с покупками. Губы у него были коричневые от шоколадки. Он то и дело облизывал их.

— Серега, я сейчас схожу к трактору, посмотрю там кое-что, а ты достань тут картошки, только у матери спроси сначала, и сварите вдвоем обед. Я скоро вернусь, — сказал Василий.

Профессор с готовностью и старательно исполнял все распоряжения мальчишки, и ему даже нравилось быть под Сережкиным началом. На плите зашипела картошка. Они уселись рядом с дверцей подтопа и, прислушиваясь к гудению ветра в трубе, молчали.

Герасим Кондратьевич с нескрываемой мягкой улыбкой смотрел на Сережку, который опустил руки на колени и о чем-то сосредоточенно думал.

— Ты в каком же классе, мужичок мой?

— В первом. Я не мужичок. Я Серега!

— Ну, извини, брат. Я не думал, что тебя это может обидеть. И как твои успехи, Сережа?

— Успехи? Так себе — серединка на половинку.

— Почему же?

— Трудно учиться. Когда в садике был, очень хотелось в школу. Зачем? — Мальчик пожал плечами с таким видом, по которому легко догадаться, как жестоко он себя осуждал. После солидной паузы он рассудительно продолжал: — Да и мамка все на работе да на работе. Ребята играть зовут. Вот пробегаем, а после выкручивайся. Костя тетин Лидин, он уже в третьем, тот выкрутится. Он хоть слышет у девчонок или на ладошке напишет. А у меня так не получается, — с сожалением закончил Сережка.

— И не надо, — серьезно проговорил Лихачев. — Это все равно что, ну как тебе сказать, равносильно, как украсть что-нибудь.

— Н-не, Костя не вор. Дядешка, а вы взаправду профессор? — решился, наконец, Сережка задать долго томивший его вопрос.

Когда Герасим Кондратьевич дал утвердительный ответ, Сережка, наморщив лоб и придвинувшись к собеседнику, спросил, глядя ему в рот:

— А профессор, это как?

— Что тебе сказать... с некоторых пор... — начал выкручиваться из целовкого положения Герасим Кондратьевич.

Но, к его радости, послышался глухой стук в стенку и мальчик заспешил.

— Меня зовут. Мама, наверно.

Больше он не пришел.

Обедали Лихачевы вдвоем. Обедали, изредка перебрашивались ничего не значившими словами.

— Вы, оказывается совершили героический поступок, — разрезая селедку, заговорил Герасим Кондратьевич. — В такую пору, в такую яростную погоду доставили сено.

— Когда ты работаешь и спасаешь жизнь людей, не считаешь же это героическим?

— Разумеется. Это же обязанность каждого медика.

— А когда в прошлом году ты прилетал на Северный Урал, чтобы сделать срочную операцию школьнице, и, не отдыхая, прямо с самолета, пришел в операционную? Это что, тоже обязанность?

— Это, может быть, и не обязанность, по... Э-э, минуточку! А ты как узнал об этом?

— Да так вот и узнал. Я тоже иногда газеты читаю.

Герасим Кондратьевич отложил вилку, снял очки и напряженно уставился на Василия.

— И ты... и ты, зная, где я, зная, что я жив, не пожелал написать мне?..

Василий ткнул вилкой в картошку и небрежно обронил:

— К чему? Я считал, будет лучше для нас обоих, если мы не станем мешать друг другу.

— Мешать? Почему мешать?

Василий молчал, не поднимая глаз на отца.

— Чего же ты молчишь? Продолжай! Я хочу все знать, все услышать, понимаешь, все! Я, наконец, имею хоть небольшое право узнать о последних днях матери и о твоей жизни. Ты, может быть, считаешь, что я неправильно сделал, приехав сюда, что я всегда... — голос профессора понизился до чуть слышного шепота.

Василий поднялся, зашагал по комнате, иногда щупал висок. Профессор молча отметил хорошо знакомый ему жест жены.

— Я слушаю, — напомнил о себе Герасим Кондратьевич.

Василий остановился, долго и молча смотрел в глаза отца. Он, кажется, первый раз смотрел в его глаза после того, как они встретились.

Герасим Кондратьевич выдержал этот взгляд. Выдержал и прочитал в глазах сына то, чего тот не сумел бы передать никакими словами.

— Вот так-то, — тихо и горько прошептал отец и пожал руку Василия выше локтя.

Василий отстранился и нервно зашагал по комнате от печки до стены, за которой слышался шум. Там, очевидно, домовничали одни ребята.

— Объясняться будем? — усмехнулся Василий.

— Зачем ты так? — тихо уронил отец. — Зачем?

Василий резко повернулся к нему, и, когда заговорил, в голосе его послышалась затаенная боль:

— А как? Как надо разговаривать с отцом? Подскажи! Чего же молчишь? Ты ведь и сам не умеешь говорить с сыном. Даже стесняешься назвать меня сыном!

Василий умолк, увидев, как вдруг тяжело поник головой отец, и продолжал уже спокойней:

— Ты, наверное, женат? Имеешь семью. К чему ты разыскивал меня?

— Все-таки мы не чужие!

— Не чужие! Давно ли?

Профессор поднял руку, пытаясь возражать.

— Нет, ты дай мне высказаться. Раз уж ты пожелал этого разговора, раз за тем приехал...

— Тогда говори и не рисуйся, — потребовал отец.

— Как умею. Как научили, так и говорю.

Василий стоял перед отцом бледный, прямой. В нем многое сохранилось от матери: жесты, движения и даже эта вот полугоатральная суровость осталась в наследство. В сочетании с тем, что происходило в душе у этого молодого парня, его вид производил разящий эффект. А как его мать любила эффекты! Она и стихи-то всю жизнь писала со сверхъестественными эффектами. Оттого, наверное, их и не печатали.

— Не знаю, что ты имел в виду, снарядившись сюда, — продолжал Василий. — Забрать меня с собой? Так ведь? Устроить мою жизнь? На свой лад устроить? А меня не надо устраивать. Я сам устроился. Я сам шишек себе набил! Сам и лечился от них! Я сам уже с усам и с сединою даже. Понятно? Я еще куда не стал тем человеком, каким хотел бы быть. Но я стану им, стану! Стану потому, что вокруг меня много настоящих людей. А о золото, как тебе известно, потрешься — за медяк, да сойдешь! И я не желаю, чтобы мне мешали...

— Да никто тебе мешать и не собирается, — прервал Василия отец с грустной улыбкой. — Чего же ты шумишь? С усам и сединою, а разошелся, как школьник.

Герасим Кондратьевич уже понимал, что затаенный гнев, обида, недовольство собой, своей неустроенной жизнью говорят за Василия и что, вероятно, он хотел бы предстать перед отцом в другом виде. Гордый паренек сделался, а самолюбие прежнее еще осталось.

— Живи ты как желаешь, — продолжал отец. — Но к чему эти театральные жесты... Они тебе уже не идут. И потом, говоря о себе, ты забываешь о других... Тебя переменяло время, толкла жизнь в ступе, а разве для других,

для меня, допустим, это время прошло бесследно? Ты во многом прав, но и неправ тоже. Давай, друг мой, ты уж извини, я так и буду называть тебя, поговорим все-таки спокойно. — Профессор еще раз стиснул руку сына выше локтя и со вздохом добавил. — Не хмурься, садись, рассказывай. Я обещаю тебе сегодня же уехать.

Василий тихо рассказывал. Отец слушал его не шевелясь, не перебивая.

Когда Василий смолк, надолго воцарилась грустная тишина. Потом Герасим Кондратьевич зашагал по избе, заложив руки за спину, и поймал себя на мысли, что вот эта привычка у них с сыном одинаковая.

— Ты, пожалуйста, расплатись с хозяйкой за квартиру, — прервал молчание Герасим Кондратьевич.

— Не надо. Никаких денег она не возьмет, еще и обидится, если предложишь.

— Ну что ж, ладно. Я знаю — эти привычки добывать копейку трудом, даровых не принимают. Знаю, брат, знаю. Трудно поднимается деревня.

— Очень трудно. Надсадились за войну.

— Да-а, война. Пушки давно смолкли, а раны еще болят. Тебя тоже рапило или обошлось?

— Два раза. — Василий помолчал. — Один раз ребята выгнали... из пекла...

Они снова и надолго замолкли.

— Ну, я пойду, — сказал Василий поднимаясь. — Извини, работа есть работа.

— А я, пожалуй, собираться буду. У меня ведь тоже работа.

— Дело твое. Но только я не советую. Метель уймется, вместе на станцию поедем, я провожу.

— Вместе? Что ж, вместе так вместе. Вдвоем, конечно, лучше. Ну ты иди, иди. — Герасим Кондратьевич зажмурился, и у губ его легли горькие складки. — И... и прости меня...

— За что прощать-то?

— За седины твои ранние, за... — Голос Герасима Кондратьевича дрогнул, он кашлянул и через силу рассмеялся. — Стар становлюсь, сентиментален становлюсь, так-то. Работа у меня тоже беспокойная. Сдаю. Ну, ступай! — властно и звонко крикнул он.

Герасим Кондратьевич выехал только на следующий день. Что-то там не выходило с лошадыо. А пешком Василий его не отпускал.

Да отец и не особенно противился этому. Он лежал на кровати, а Василий — на табуретках, подставленных к скамейке. На дворе по стенам шуршал сыплющийся снег, стучал чердачной дверкой ветер. Они не спали, прислушиваясь к дыханию друг друга.

— Что ж, ты взял жещину с детьми? — осторожно осведомился Василий.

Профессор поворочался на скрипучей кровати, кашлянул:

— Не-ет. Видишь ли... мы с ней еще с фронта...

Василий не отозвался. Профессор поворочался и смущенно попросил:

— Ты разреши мне, пожалуйста, папироску. Мои где-то запропастились.

Василий прошлепал босыми ногами, достал из кармана пачку тоненьких папирос и протянул отцу. Потом он дал ему прикурить, прикурил сам. При свете спички они на мгновение встретились взглядом и больше не касались этой темы.

Василий скоро заснул, а Герасим Кондратьевич осторожно ворочался на кровати. Не спалось. Что-то мешало под боком, подушка казалась жаркой. Он перевернул ее, и щеку приятно охолодила чистая наволочка, папахивающая морозной свежестью: видно, стираное белье вымораживали на дворе.

В Москве белье было тоже всегда чистое, даже лучше отглаженное, но не имело такого запаха, способного вызывать в человеке какие-то особенные воспоминания — о купании в светлой реке, о сонном лесе, о ветре, щекочущем лицо. Герасиму Кондратьевичу захотелось выйти на улицу, может быть, ветер успокоит его, остудит.

Он спустил с кровати ноги, неслышно пробрался к печи и взял с шестка сушившиеся валенки Василия. В валенках ноги окутала мягкая, парная теплота.

На улице его хлестнул порыв ветра и сразу же умчался куда-то за избу, к крутому яру, смахнув с него горсть снега. Больше там уже ничего нельзя было отыскать. Небрежно обломанная кромка яра была начисто вылизана ветром. Налетел еще порыв ветра, но уже более слабый. Этот даже до яра не сумел добраться. Он ударился в избу, рассыпал принесенный снег и вместе с ним лег наземь, уснул.

Герасим Кондратьевич посмотрел на небо. Там еще громоздились, путались и мчались с ветром тучи в другие

края. Но вот где-то и небесный фонарик — звездочка — мелькнул, и тут же тучи стерли его, однако в другом месте зажглись сразу две несмелые звезды, как два глаза только что проснувшегося ребенка. Герасим Кондратьевич вышел из-за палисадника, преодолевая паметенные у изгороди сугробы.

К дому кто-то шел. Слышны были глухой кашель и резкий скрип затвердевших на морозе сапог.

— Лидия Николаевна, — узнал профессор и подался к ней. — Вы что же это, голубушка, так поздно возвращаетесь? Неужели все на работе?

— Да, приходится, непогодь... А вы не спите?

— Да вот тоже мучаюсь, тоже непогодь. Кости ломает. У медиков ведь иной раз тоже кое-что болит.

— А-а, — понимающе протянула Лидия Николаевна. — Ну как у вас с Василием?

— А никак, — признался Герасим Кондратьевич. — Да, собственно, и не могло быть иначе — слишком уж мы долго жили врозь.

— Нет, вы что-то не так говорите. Ведь совсем чужие люди и то умеют сродниться, а вы все-таки...

— Вот именно, что все-таки... Вы, голубушка, ступайте, ступайте — закоченели ведь, кашляете вон...

— Ничего мне не сделается, — сказала Лидия Николаевна и тут же прибавила: — Герасим Кондратьевич, пойдете ко мне, я самовар поставлю.

— С удовольствием, только вам отдохнуть нужно, — начал робко возражать профессор, уже шагая за Лидией Николаевной. Надоело ему быть одному, хотелось поделиться с кем-то своими тревогами, сомнениями и надеждами.

Они пили чай, разговаривали непринужденно, как давно знакомые люди. Лидия Николаевна говорила тихо, но теми словами, которые доходят до сердца. Говорила о себе, о Тасе, вообще о колхозных делах, о житье и как бы мимоходом о Василии.

— Льдом он взялся. Отогреть его надо — подо льдом-то чистая, светлая вода скрывается. Так и душа его. Только вы к нему попросту, по-отцовски... Сумеете ли — не знаю. Жизнь-то уж больно с ним неласково обошлась, как мачеха. Пустит ли он вас в душу? Такие люди не вдруг ее настежь открывают.

— Да, да, не вдруг, — подтвердил Герасим Кондратьевич, — не вдруг, голубушка. Ах, как мы жили! Как жили

мы?! Разбросано, неловко, порознь! Если бы все можно было запово начать!..

Василий проснулся от тишины, тихонько позвал отца и, когда в ответ никто не откликнулся, торопливо подскочил к кровати, оцупал ее. «Неужели уехал?!» — испуганно подумал он и хотел было выбежать на улицу, но валепок на плите не оказалось.

Поняв, что Герасим Кондратьевич может в любую минуту вернуться с улицы, он снова лег, задумался. Было неловко оттого, что он днем горячился, даже накричал на отца. Не надо бы так. Не надо. Он ведь искал его, нашел. Отец он все-таки. Отец. И если бы он еще тогда, до войны, попробовал искать сына и нашел бы его, да у матери отнял бы, разве они так бы сейчас встретились? Вместе жили, вместе — и какими далекими, чужими людьми были!

К утру мегель совсем угомошила. Возле церкви на узловатых березах появились галки. Они то по одной, то сразу кучей взмывали в небо или рассыпались по дороге.

Василий и Герасим Кондратьевич шагали за санями.

Профессор распахнул шалевый меховой воротник.

«Девчоночий воротник», — с улыбкой вспомнил Василий Сережкины слова, и сразу веселей сделалось вокруг. Нет, не оторваться ему от Сережки и от всего этого сверкающего солнцем мира. Крепко врос в него корнями. До сих пор он не мог этого знать, потому что даже мысленно не пытался представить себя в другом месте, среди других людей, а вот представил и понял: здесь ему жить, здесь работать, здесь его место.

— Весна приближается, — блаженно заговорил Герасим Кондратьевич.

— Да, весна! Для кого пора романтических мечтаний, а для нас бешеное время. Работы пинче будет уйма.

Скрывая улыбку, профессор покосился на него.

— А ты уж так-таки и отрешился от романтических мечтаний?

— Да нет, иногда... особенно, если выпью.

— Пьешь?

— Случается. Привычка!

— М-да, пинче это уже не привычкой, модой становится — мечтать в пьяном виде.

Прошли сосновый бор, показались первые избы деревни. Василий остановился. Встал и отец, нерешительно протянул руку.

— Ну что ж, давай прощаться, — как можно бодрей сказал он, но у него предательски вздрогнули губы.

Василий, не замечая протянутой руки, крепко обнял отца.

Профессор уткнулся в плечо сына. Так они постояли, не размыкая рук, стыдясь поцеловаться на прощанье.

— Так ты пиши, пиши, — торопливо говорил Герасим Кондратьевич. — Часто пиши, прошу тебя, и потом, может быть, ты все-таки соберешься, ненадолго к нам, а? Давай приезжай, хоть на недельку. Я рад буду. Да.

— Конечно, конечно, — забормотал Василий. — Ты тоже пиши. И это... извини... орал я...

— Чего там! — махнул рукой Герасим Кондратьевич. — И телеграмму, телеграмму дай, когда соберешься.

— А если я не один приеду, ничего? — отвернувшись, поинтересовался Василий.

Герасим Кондратьевич похлопал его по плечу, надвинул Василию, как мальчишке, шапку на глаза.

— Эх ты, парень, парень! Ты думаешь, я настолько постарел, что уж ничего и видеть не могу. Непременно вместе приезжайте, непременно. Этого архаровца я в планетарий поведу, в зоопарк. Мороженым до отвала накормлю за то, что он меня картошкой утешал. Ну, будь счастлив, сын! — Герасим Кондратьевич дакнул руку Василия и бодро поспешил по дороге.

Василий провожал его взглядом до тех пор, пока отец не скрылся в сосняке.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После смерти Евдокии, что-то неладное стало твориться с Юрием. Сначала Лидия Николаевна не подозревала, что резкие перемены в характере сына связаны со смертью Евдокии и вообще имеют какое-то отношение к Качалиным. Юрий сделался раздражительным, давал беспричинные подзатыльники ребятам, начал грубо поговаривать с матерью. Лидия Николаевна рассудила чисто по-житейски и отнесла это за счет переутомления. Скоро экзамены за семилетку — это не шутка. Попробовала освободить сына от домашних дел, взвалив их на плечи младших ребятешек, потому что самой ей в эту пору некогда было и передохнуть.

Думая между делами о сыне, Лидия Николаевна чув-

ствовала себя в чем-то виноватой. Юрий уже становится взрослым и стесняется своей бедности. Ему уже осточертело донашивать перешитые штаны и гимнастерки отца. Пришла пора юности. Ему уже хотелось одеться, сходить в клуб, на школьные вечера, а не возиться с младшими ребятами, чистить много раз чинельные валенки себе и ребятам, варить обеды, возить из-под горы воду, пилить дрова с Васюхой или Сережкой, которые бегают за пилкой: дернешь к себе — и пильщик вперед.

Большинство его ровесников имели костюмы, велосипеды и с девчонками заигрывали уже, по вечеркам ходили. «Как я понимаю тебя, сынок, — огорченно думала Лидия Николаевна. — Мне ли тебя не понять. Сама в обносках находилась и пужду ковшом похлебала». Как-то идя вместе с Тасей поздним вечером домой, Лидия Николаевна несколько раз тяжело вздохнула. Тася обернулась, но ничего не разглядела в темноте.

— Что, тетя Лида, тяжело с кормами? Но что же делать? Вот весна еще затягивается. Ничего, скоро все равно трава появится, дотянем. Дотянем ведь, правда?

Лидия Николаевна ничего не ответила. Она шагала непривычно молчаливая, замкнутая и наконец, как бы сама с собой, заговорила:

— С кормами тяжело, и на сердце тяжело, все тяжело.

— Тетя Лида, что с вами? — встревожилась Тася.

— Ничего особенного, просто так, давит вот тут, — показала она на грудь. И не удержалась, все рассказала Тасе.

Тася и сама заметила давно в Юрии перемены: он похудел, осунулся, грубо обращается со своими ребятами, а качалинских он и раньше чурался и все время спрашивал у Таси, куда лучше поступить учиться, причем делал это со злом, давая понять, что жить здесь не будет, что ему все надоело. Тася кое-что заподозрила, но сказать Лидии Николаевне не решалась. Услышав о костюме, она ухватилась за эту мысль.

— Вот что, тетя Лида, я получаю окончательную за март — и мы покупаем Юрию костюм. Да, да, ничего не слушаю. Покупаем — и весь разговор. Пусть пойдет на экзамены в новом костюме. Вот радость будет!

— Что ты, Тасюшка, выдумываешь? Чего из твоей зарплаты выкроится? У самой дыр столько.

— Ничего, проживем как-нибудь. Картошка есть, на

хлеб останется. — Она заразительно рассмеялась, и у Лидии Николаевны полегчало на душе.

— Ну ладно, скажу я ему сегодня, а с тобой потом рассчитаемся.

— Ерунда, какие там расчеты. Мне будет просто приятно сделать для вас хоть что-нибудь.

Дома Лидия Николаевна все посматривала на Юрия, меряла взглядом его мускулистую фигуру, еще немного длинноватую и нескладную. Она знала, что парни в таком возрасте не переносят пожностей, и потому просто, с гордостью в голосе проговорила:

— Какой ты большой у меня вырос, сынок!

Он удивленно посмотрел на нее, а затем скривил губы:

— А ты и не заметила... все на других заглядываешься!

Лидию Николаевну передернуло от этих слов, но на лице Юрия, в его глазах было столько обиды, злости, что она не решилась оборвать его и как можно мягче продолжала:

— Не мудрено, Юра, и не заметишь. Сам видишь...

— Конечно, вижу! — снова вызывающе заговорил он и прищурился, что было признаком крайнего раздражения.

— Ты чего грубить-то начал, Юрий? — с растерянной улыбкой спросила мать. — А я тебе, как хорошему парню, собираюсь костюм к экзаменам сшить.

— Не надо мне никакого твоего костюма, понятно? Ничего не надо! — глухим и дрожащим голосом заговорил Юрий, со злостью глядя на мать полными слез глазами. — Лучше им сшей, а я уеду — и все!

— Кому это им? — посуровела Лидия Николаевна.

— Не знаешь будто? Думаешь, я ничего не вижу? Уеду — и все!

— Так ведь я тебя не держу, не протестую, с богом, поезжай, учись, разве я враг тебе?

— Ага, я знаю, ты хочешь, чтобы я уехал! Все знаю, только и ждешь! И уеду! И уеду! Что, думаешь, побоюсь? — Он еще что-то хотел сказать, но круто повернулся и выбежал в сени.

Оттуда донеслись странные звуки, точно кто-то надсадно кашлял. Лидия Николаевна догадалась — это первый раз после смерти отца плачет Юрий, чем-то глубоко обиженный и раненый.

Лидия Николаевна сидела на скамейке растерянная.

убиная. Ребята затихли по углам. Они поняли, что в доме происходит что-то пеладное, и с испугом смогрели на по-никшую и как-то сразу постаревшую мать. Ребятам стало жаль ее, в их детских душах поднимался протест против Юрия, который почему-то взял и обидел мать. Васюха медленно подошел к матери, погладил ее повисшую руку с синими жилками и трещипками на пальцах, такими же, как на клеенке, потом ткнулся в ее колени и притих. Она перебирала его волосы и думала — отчего взбеленился Юрий?

«Как же это я, совсем закрутилась, забыла... он уже большой... он все понимает... а я пачет тряпок! Думала, обпоски, домашние трудности его тяготят».

Теперь Лидия Николаевна ясно поняла и до глубины души удивилась, как она не могла понять раньше. В последнее время Юрий часто заводил разговоры об отце, задавал вопросы на эту тему, не снимал шерстяной гимнастерки отца. Оказывается, все это только рассчитанные ходы.

Совсем недавно Юрий взял семейную фотографию, где Лидия Николаевна спяла с мужем. Она стояла рядом с ним, взявшись за руку, с длинными косами на груди, в белом платье. А Макар в галифе, в буденовке с большой звездой. Именно эту фотографию выбрал Юрий, увеличил и повесил на видное место в рамке собственного изготовления. И то, что Юрий в последнее время посматривал на Якова Григорьевича недоброжелательно, следил за матерью, не переносил присутствия Зойки и Славки, — все это говорит об одном и том же.

«Ах, какая же я дура! Какая дура! Выживаю, видно, из ума-то!»

Лидия Николаевна поднялась со скамейки, отстранила Васюху и, приоткрыв дверь, сдержанно бросила:

— Юрий, не стой долго на улице. На дворе сыро.

Он появился несколько минут спустя, с заплаканными глазами, тихо проскользнул в горницу и лег на кровать, лицом в подушки. Ужинать отказался. Когда без обычного шума и гама остальные ребята поужинали и улеглись спать, Лидия Николаевна прошла в горницу, потянулась к выключателю, да раздумала. Склонившись над кроватью, почувствовала, что сын не спит. Она положила ему на голову руку, и он ее не отстранил.

— Сыно-ок! — тихо позвала Лидия Николаевна. — Ты почему же мне просто-то не сказал обо всем? Я ведь поняла бы, или уж разучилась, по-твоему?

Он молча поймал ее руку и прижал к своей щеке. Лидия Николаевна присела на кровать рядом. Они долго молчали, будто прислушиваясь к дыханию друг друга.

— Ты, мама, прости меня, — чуть слышно сказал Юрий, — я понимаю, ты тоже... женщина... ну, дядя Яша овдовел, ребята у него... я все понимаю, но вот никак не могу, ну не могу вот... папка, там, в земле... а дядя Яша придет... — Юрий уткнулся в подушку и заплакал.

— Так этого можно и не делать. Я ведь прежде всего о вас думаю. Не хочешь — и не будет дядя Яша жить у нас.

— Нет, нет, — торопливо, сквозь слезы заговорил Юрий, — ребят надо поднимать, им пужны родители. Дядя Яша добрый, мы к нему привыкли. Пусть дядя Яша придет, только, мама, пусть он приходит потом, когда я успею учиться... потом... не обижайся, мама...

— Я не могу обижаться на тебя, Юрий. И ездить тебе не надо. Завтра я поговорю с Яковом, и он перестанет к нам приходять. А сейчас спи.

Она вздрагивающими руками поправила на нем одеяло и скрылась на кухне.

— Мама! — неуверенно и робко позвал Юрий, но она не откликнулась.

На следующий день Яков Григорьевич урвал немного времени и пришел поправить кое-что по хозяйству в доме Лидии Николаевны. То ли от потепления, то ли от сухости в доме стала туго ходить разбухшая дверь. Ребятишки вдвоем, с разбегу, а потом втроем открывали ее. Справив нужду, они в рубашонках вопили на улице, не в силах совладать с упрямой дверью. Можно было подтесать дверь и этим ограничиться, но Яков Григорьевич, как всегда, взялся за дело капитально. Сняв дверь с петель, он обнаружил, что один косяк стоял еле-еле. Пришлось менять косяк и попутно подправить дверь.

Зашвыркал в доме рубанок, застучал ловко пассаженный топоринко, повизгивала проворная ножовка. Ребятишки Лидии Николаевны, а вместе с ними Зойка и Славка да еще чьи-то вертелись вокруг, растаскивали стружки, пытались постолярничать сами. Шум и смех был невообразимый. Яков Григорьевич с карапашом за ухом, с засученными рукавами тихо улыбался, поглядывая на ребят, шлепал линейкой по рукам тех, кто намеревался стянуть инструмент. Косяк был уже поставлен и дверь наведена, когда в доме появился Юрий. Насупившись, быст-

ро проскользнул мимо Якова Григорьевича и в горнице сердито швырнул книжки на стол.

В избе выстыло. Ребята собрали стружки и обрезки в железную печку. Яков Григорьевич достал из кармана банку из-под зубного порошка, полную махорки. Он молча свернул сигарку, прикурил и той же спичкой поджег смоляные стружки. Они разом запылились, и печка загудела. Глядя сквозь молнисобразные щели на боках печки, как корчатся и рассыпаются прахом стружки, которые только что были такими красивыми, шелковистыми, Яков Григорьевич сказал Славке и Зое:

— Вы, ребята, шли бы домой. Не топлено там сегодня, сварите хоть картошки, что ли.

— Мы тоже с ними пойдем, — засобирались Макарихины ребятишки.

Кто в чем, и в латах шубенках, и в телогрейках, и в валенках, и в сапогах, а Васюха даже в старом, потерявшем свое обличье буденовском шлеме — все высыпали на улицу. В доме сделалось пусто и тихо. Юрий шуршал в горнице книжкой. Яков Григорьевич сделал глубокую затяжку от самокрутки, прошелся по кухне так, что прогнулись половицы, бросил окурок в таз под умывальником и негромко, но властно позвал:

— Юрий!

Минуту в горнице стояла тишина, потом что-то мягко упало, должно быть, книга, из-за старых цветастых занавесок показался Юрий. Яков Григорьевич ожидал увидеть лицо его насупленным, непримиримым, таким, какое оно было у него в последнее время. Но он ошибся. Лицо Юрия сейчас было самое обыкновенное и даже чуть наивное.

Только в глубине открытых черных глаз таились колючая неприязнь и мальчишеское упрямство.

— Что, дядя Яша? — спросил Юрий тихим голосом, будто между ними было все по-прежнему и ничего решительно не изменилось.

«Ну и хитер, бесенок, — подумал Яков Григорьевич. — В кого же это он такой? В отца? Нет, у того душа настежь открытая была. Надо с ним ухо остро держать, что-то он задумал». Чтобы выиграть время, Яков Григорьевич кивнул головой на печку:

— Принеси дров, стружки сгорели. Надо хорошо протопить, выстыло, а мать сегодня на силосных ямах работает, намерзнется.

При упоминании слова «мать», на которое так нажал

Яков Григорьевич, чуть заметно дрогнули брови Юрия. Он тут же отвернулся, схватил с вешалки шапку и выбежал во двор.

Пока он подкладывал дрова в печку, медленно собирал вылетевшие на железо угольки, молчали.

В печке пощелкивали, разгорались дрова. Изба погружалась в сумерки. За рекой в холодном, зловеще багровом огне тлели слоистые серые облака. Отблески зари окрашивали окна Макарихиного дома в красный цвет, а яркие блики, падающие из щелок печки, метались по избе, щупали раскаленные, но не греющие стекла.

— Командуем, значит, помаленьку? — медленно проговорил Яков Григорьевич, глядя на неподвижно сидевшего паренька.

Юрий не шелохнулся, не оторвал взгляда от огоньков, плясавших в печке, и Яков Григорьевич долго ждал ответа. Он опять выпнул банку, скрутил папироску, достал уголь и, положив его на печку, уткнулся в него кошлом сигарки, искоса наблюдая за Юрием. Паренек был так же неподвижен, непроницаем и тих. Ресницы его полуопущены. Он точно дремал. При очередной глубокой затяжке Яков Григорьевич заметил, что глаза Юрия следят за ним из-под ресниц настороженно и выжидающе.

— Ты, однако, Юрий Макарович, самолюбом растешь, — снова заговорил Яков Григорьевич и, уже не дожидаясь ответа, продолжал: — О себе только думаешь, стало быть, только себя и любишь.

Юрий разом повернулся к нему, но Яков Григорьевич не дал ему возразить.

— Так, так, не перечь. Молод еще мне перечить. Я, брат, с виду тих, а в тихом озере, как тебе известно, черти водятся, и, когда я рассержусь, перечить мне не следует. Ты что же, решил, будто мать твоя обязана всю жизнь тянуть лямку непосильную? Двужильная она? Это так, по и две жилы лопнут, если их натянуть до отказа. — Яков Григорьевич приостановился, сделал несколько затяжек и уже самым обычным, спокойным голосом добавил: — Нехорошо, Юрий, так обращаться с матерью. Ты не маленький, слава Богу, уже на самостоятельную дорогу выскребаешься, а вот Галка, Костя, Васюха, да и Зойка со Славкой — нуждаются еще в том, чтобы их за руку вели. Я понимаю, противится твоя душа... за отца обидно. Однако в жизни приходится делать уступки ради ближних, кого любишь. Если, конечно, по-настоящему любишь. Яков

Григорьевич остановился, напряженно посоображал, да взял и поведал Юрию завещание отца, рассказал о его последних минутах. Посидели в зимних сумерках окна, отбушевала цечка, и теперь в ней лишь золотились угольки, тускнея один за другим. Юрий опустил голову. Яков Григорьевич не мешал ему обдумать услышанное, знал, как это все разбредило сердце паренька. Лишь много времени спустя он поднялся, легонько отстранил Юрия, бросил три полена в печку. Постоял еще на одном колесе, потом поднялся, отряхнул штаны и тронул Юрия за плечо.

— Ну, чего притих? Брось-ка пыхтеть и сходи по воду, мать усталая придет.

Юрий молча поднялся, пошел за печку одеваться.

— Когда переходить-то будете? — слышался оттуда его педовольный голос, но уже с примирительными оттенками.

— Да не знаю. Вот посевицую проведем. Надо еще избу подремонтировать, старая больно стала. В паншу бы можно перебраться, да не хочу я, да и мать, пожалуй, не захочет. Продадим ту избу.

— Ну-ну, дело это ваше, — буркнул Юрий. — Я, как говорится, отрезающий ломоть, гость в чужом подворье. — И, стукнув дверью, выскочил на улицу.

— Экая ведь заноза! — покачал головой Яков Григорьевич. — Гляди ты, как его!

Долго сидел Яков Григорьевич один в непривычной для этого дома тишине. Он научился размышлять о своей нескладной жизни спокойно. С годами пригугилась в нем тревожная тоска по утерянному счастью, и любовь к Лидии Николаевне сделалась привычной, как что-то навечно неотъемлемое, без чего он не мыслил жизни. После молодых лет и до последнего времени он не стремился к тому, чтобы что-то переменить. Он боялся, что огонек, которым он согревается всю жизнь, вдруг погаснет от прикосновения к нему. Любовь для него была необходима такой, какой он ее изведal, и большего не хотел.

Каждый человек любит по-своему, и, очевидно, в этом кроется самый глубокий смысл любви. Бывает иногда, что человек, способный любить только раз в жизни, сам себя лишает этой радости, растворив любовь свою в буднях, как горсть сахара в огромной лохани. Но любовь, вмещающаяся в горсть, поселится в маленькую душу. У Якова Григорьевича в сердце жила любовь, которая обнимала и грела собой не только Лидию Николаевну, но и ее ребя-

тишек, Зойку, Славку. За такую любовь можно было не бояться.

И все-таки Яков Григорьевич не решился бы перешагнуть ту черту, которая отделяла его от Лидии Николаевны, если бы его жизнь не была жизнью родных детишек. Знал он, что Лидия Николаевна для детей также сделает все от нее зависящее.

Подремонтированная дверь тихо отворилась. Якова Григорьевича коснулась свежая, холодная струя, услышал голос Лидии Николаевны:

— Кто тут живой есть? Чего без свету сидите?

— Я один, Лида, сумерничая, — отозвался Яков Григорьевич. — Иди погрейся, озябла?..

— Да нет, у силосных ям не застынешь, подольбишь пепшей — жарко. — Однако она подошла к печке, протянула руки.

Яков Григорьевич пошарил в темноте табуретку, с шумом подоdvинул ей.

— Сядь. Устала?

Она молча села. Яков Григорьевич осторожно взял ее руку и начал греть в своих руках. Лидия не двигалась и ничего не говорила. В эту минуту наслаждались покоем и редкой близостью.

Сколько же лет промелькнуло? Сколько они ходили рядом и все же далеко друг от друга? Чем же это подогревалась в нем любовь, которую он сумел молча пропестить до сегодняшнего вечера? Видно, схожа любовь с рещейным корнем: срубят его, лопатой расщепают, а он соберется с силами и, как ни в чем не бывало, лезет из земли со своими листицами, да еще семя цепкое по ветру пускает.

В сенках захрустели шаги, ухнула в боченок из ведер вода и послышался удаляющийся звон ведер.

— Хорошо так сидеть, — вздохнула Лидия Николаевна, — да готовить что-то надо к ужину. — Но она не спешила подниматься и, помедлив, тихо спросила: — Разговаривали?

— Привередничает еще, но уже не так ретиво. Думаю, что все уладится.

— Господи, какие еще частоколы нам ломать? В деревне сейчас так кому только не лень, тот и чешет язык. — И дрогнувшим голосом добавила: — Ведь до чего дошли, дотрепались, говорят, что мы отравили Евдокию. Батюшки!

— Пусть говорят. Наслышались всякого. Но в угоду этой пташке-цыганке мы не сделаем ребятишек сиротами. Такие, как Клара, только и ждут, чтобы мы поссорились. Им же радость, когда другие корчатся от горя, как береста на огне.

— Ладно, Яша, перебором и эту беду. Вдвоем перебором. А я устала. Даже осиновый лист и тот куда-то хочет притулиться, а я одна уже не могу. Устала.

— Скоро уж, скоро, Лида, мы будем вместе, — дрожащим голосом проговорил Яков Григорьевич и несмело нацупал своими губами ее обветренные, но все еще не утрагившие свежести губы. — Жизнь моя.

Лидия Николаевна отстранилась, перевела дыхание, легонько погладила его руку и виновато сказала:

— Я пойду, свет включу. Скоро ребята прибегут, есть запросят.

Все эти дни Тася пропадала на острове. Здесь развернулись работы на парниках и в теплице. Решено было заниматься ранними овощами в основном на острове. Парниковое хозяйство здесь более или менее в порядке, имеется теплица. В третьей бригаде также полным ходом идут работы на парниках. На этих двух участках все силы овощеводов, иначе пока нельзя.

Распылишь их по всем бригадам — и ничего не добьешься. Если на острове и в третьей бригаде удастся сохранить и вырастить ранние посеы овощей и реализовать их, колхоз получит порядочный доход. Деньги дадут возможность развернуться шире.

В теплице запах прелой земли, свежий аромат зелени.

Ранние огурцы набирают цвет. Под бледными листиками пабухают цветы, похожие на клюв желторотого птенца. Вот в одном месте этот клювик уже раскрылся, сделался похожим на миниатюрную граммофонную трубку, и уже сразу потянулся со стеллажа в сторону тонкий липкий огуречный ус. Надо ему помочь уцепиться за твердую опору.

Тася привязывает к огуречному стеблю мочалку, цепляет другой ее конец за гвоздик в потолке. Она уже представляет, как этот ус обовьется вокруг мочальной ленточки кольцами, а затем выюном взвихрится вверх, вытягивая к свету своей тонкой, но удивительно крепкой нитью все растение вместе с листьями, цветами, с продолговатыми пупыристыми плодами...

А вот и знаменитые морозоустойчивые помидоры Букреева. На некоторых кустах с розеточными листьями уже осыпались невзрачные цветочки. На их месте появилась завязь. Помидорчики похожи пока на чуть заметные бородавки. Но пройдет неделя, другая и бородавочки поплывут, нальются, а потом их уж в ящики, в тепло, — и нае, пожалуйста, граждане-товарищи, свежие красные помидоры ранней весной.

Тася улыбнулась своим мыслям, на ходу сорвала сочное перо лука, изжевала его и поморщилась. Горек лук, свиреп, несмотря на то, что в теплице вырос. Через несколько дней его можно будет срезать на продажу.

Приятно в теплице. За стеклянными рамами, всего в нескольких шагах, еще лежит снег, а здесь все зеленеет, здесь маленькое лето. Так и не уходил бы отсюда. Сидел бы, дышал свежими запахами, смотрел, как проклевываются сквозь черную почву семечки, как идет растение в жизнь смело и настойчиво.

Но вот лицо Таси омрачилось. Она остановилась перед узенькими ящиками, в которых виднеется резкая щетица зеленых всходов. И это семена! «Напрасно доверилась старым данным, напрасно, — ругала себя Тася. — Теперь вот любуйся!»

Еще осенью Птахин объяснил ей, какие семена следует проверить на всхожесть и какие в проверке не нуждаются. Это были так называемые сортовые семена. Может, они в свое время и в самом деле подходили под ряд сортовых, но успели утратить свои добрые качества.

«Все же хорошо, что догадалась проверить семена: еще успею подработать их или обменять до начала сева».

Несколько утешившись этим, Тася вышла из теплицы и направилась к парникам. Здесь работали женщины с острова и из Корзиновки. Они сеяли рассаду капусты, поливали ранние всходы огурцов и помидоров. Осип застеклил старые рамы. Мало их. Много парниковых секций завалено снегом. Эти даже не раскапывали, все равно закрывать нечем. Тася вздохнула. Надо будет поставить вопрос перед правлением, чтобы при первой возможности выделили деньги для приобретения стекла и пиломатериалов. В нескольких парниковых секциях морозоустойчивые помидоры выпускали уже по третьему листу. В солнечные, теплые дни, которые нынче случались редко, половину рам открывали и тогда на листиках

мохнатых растений выступали мелкие капельки, будто растения потели.

Часто наведывался на остров Павел Степанович. Он ковылял среди парников, мимоходом делал замечания женщинам, давал советы Тасе. Он очень настойчиво прикидывал и рассчитывал, где и как в будущем развивать парниковое хозяйство.

— Нынче я только по пужде ковыряюсь у себя, там. Вот доживем до следующей зимы, оклемаемся маленько, и я перевожу свою избу на остров, и, если товарищ агроном доверит мне, — улыбнулся он, — возьму все дела на себя. Ух, давно у меня руки, тыфу, все забываюсь, рука чешется на дзеннюю землю.

Федосья Ральникова слушала эти разговоры с нескрываемой злостью. При случае не упускала возможности поехидничать над проектом Букреева. С особенной неприязнью она начала относиться к агроному. Тася старалась не обращать внимания на ее подковырки, шуточки, на ее косые взгляды. Она понимала, что Федосья, в прошлом толковая работница, чувствует себя неловко оттого, что выбилась из нормальной житейской колеи, стала в открытую кутить.

Пробовала Тася говорить с ней по душам, но та грубо обрывала ее. Пока Федосья еще числилась бригадиром на острове. Делала же она все через силу, нехотя и вообще почти не появлялась на работе. Тася поговорила о ней с Яковом Григорьевичем. Тот подумал, подумал и махнул рукой.

— Передурит, не тропь ты ее.

И Тася не трогала больше Федосью. А это, видимо, большей всего и задевало женщину. Если бы ее ругали или уговаривали, она бы сумела разрядиться. Она мстала злобу на Тасю, которая как хозяйка распоряжалась на острове — в ее бабьем царстве.

Подкараулив, когда Тася и Осип остались вдвоем в теплице, Федосья незаметно появилась там и, подбоченившись, хриплым с переноя голосом спросила:

— Любезничаєте?

Осип отложил в сторону молоток, повернулся к Федосье:

— Тебе чего, мама? — чувствуя, что надвигается что-то недоброе, несмело спросил он.

— Любезничаєте, говорю? — Не обращая внимания на Осипа, Федосья вперила свои глаза, подернутые сет-

кой красных прожилок, в Тасю. Тася выдержала взгляд и как можно спокойнее сказала:

— Не понимаю, что вы злитесь, Федосья Романовна?

— Ах, не понимаете? — закричала Федосья и с клоко-чущей яростью рассмеялась. — Люди добрые, она не понимает! Она глазки строит! Охмурила сонляка-мальчишку, замучила ему мозги, бесстыдница этакая, и ничего не понимает...

— Мама! — Осип порывался еще что-то сказать, но губы его беззвучно повелились. Из руки парня со звоном высыпались гвозди.

А Федосья буневала. И чем дальше, тем злей и отважней. Тася отшатнулась к стене. У нее появилось желание бежать отсюда. Бежать скорее от криков, от этих оскорблений, как когда-то они бежали, задыхаясь, с Лидией Николаевной по темным улицам Корзинковки. Но, вспомнив Лидию Николаевну, Тася и слова ее вспомнила: «Тебя помоями обливают, а ты не гнишь! Они и не пристанут! В жизни надо быть гордым...» Теперь уж Тася слушала Федосью с поднятой головой. Окаменев ждала. И когда Федосья накричалась, Тася почти спокойно сказала:

— Глуности это все! И сами, вероятно, знаете, что глуности, так ведь, Федосья Романовна? Я даже не знаю, как мне быть: обижаться на вас или не стоит? Вы бы, наверно, обиделись, если бы вам столько радостей наговорили?

Федосья опешила. Она ожидала истерики, потасовки, чего угодно, но только не этого. Она растеряла пуговицы у телогрейки, потопталась на месте и, немного оправившись, попыталась снова настроиться на боевой лад.

— Ты это... ишь, говорунья... он мальчишка, он за первой юбкой...

— Перестань! — с прорвавшейся болью закричал Осип. Кулаки его были сжаты, весь он непривычно взъерошился. — Убирайся отсюда! Убирайся! Людей обзываешь, а сама... — Федосья испуганно понялась к двери. — Матери так делают, да? Ты кого позоришь? Себя позоришь! — Голос Осипа взвился до фальцета, в нем задрожали слезы.

Федосья рванулась в дверь. На улице она отчаянно завывала:

— Испортила парнишку... змея подколодная... против меня направил-а-а... И уже издали долетело: — Удулю-у-ушь!..

В теплице долго молчали. Осип вытер лицо рукавом,

собрал с полу гвозди и поднял глаза на Тасю. В них смешались стыд, недоумение, тяжкая обида.

— Простите вы мать, Таисья Петровна. Грызет ее, вот она и... — Осип замотал головой, сморщился, как от зубной боли... — Я знаю, тяжело слышать такое. Вы ведь хороший человек, честное слово. — Он доверчиво взглянул на Тасю и уже совсем по-мальчишески: — Будто я подлизываюсь или что, не подумайте.

Тася ничего не сказала Осипу, лишь легонько, дружески тряхнула его руку и пошла в Корзиновку.

Осип видел сквозь стекла, как изменилась ее походка. Тася шагала, опустив голову и плечи, с трудом передвигая тяжелые ноги по зарыжевшей весенней дороге, будто преодолевала встречный ветер.

Осип проводил ее взглядом до самой протоки, стукнул кулаком по коленке и, сложив инструмент, отправился домой. Вид у него был решительный, а синеватые глаза, всегда полные задумчивости и любопытства, сделались колючими, сердитыми.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Нудная и длинная выдалась весна. То припечет, высушит крыши, сгонит снег с пригорков, разъест забереги на реке. То ворвется откуда-то метель и сердито упрячет все, что успела сделать молодая и слабосильная весна. Больших холодов нет, но и тепло бывает редко. Слякоть вокруг непроходимая. По Кременной уже давно не ездят и не ходят. Колхозные бригады живут на той стороне самовластно, и что у них там творится — никому не известно. А в этих бригадах сев должен был начаться в первую очередь, потому что поля там и в третьей бригаде Букреева расположены на угористых местах. Дорог каждый день, а тут, на тебе, полюбуйся, поработай!

Яков Григорьевич то и дело глядел в окно на серую, безжизненную поверхность Кременной и плевался:

— А, чтоб тебе провалиться!

Утром рано спрашивал у Славки, который днюет и ночует на реке вместе с ребяташками Лидии Николаевны:

— Как там?

Славка без расспросов уже знал, о чем разговор, и уныло докладывал:

— Стоит!

— Это же беда!

— Беда, — соглашался Славка.

Как готовилась к ледоходу Кременная, исподтишка, так и тронулась — незаметно, под утро, без всякого шума. Лед на ней сделался уже рыхлым и сразу же превращался в кашу. Яков Григорьевич поднялся рано, вышел на кухню. У печки стояли грязные Славкины сапоги, а сам он спал на печке в мокрых штанах, «Видно, недавно явился». Яков Григорьевич пабросил на сына тулуп и, проходя к умывальнику, изумленно ахнул: по реке, наползая друг на друга, выпирая на берег, мчались льдины. Яков Григорьевич не поверил глазам, приник к окну, потом радостно засмеялся и схватил Славку за ногу.

— Эй, рыбак! Проспал! Проспал! Ледолом начался!

Славка, не проснувшись, выдернул ногу и еще глубже залез под тулуп.

— Эй, эй, рыбак! Не дам спать! Вставай! — сдернул Яков Григорьевич тулуп со Славки и начал стаскивать его с печки. — Да проспись ты, чудо гороховое, — лед пошел!

Славка сразу встрепенулся, разомкнул тяжелые веки и, поморгав ими, глянул в окно.

— Ой, правда!

— Врать я тебе буду, что ли? Я, брат, лучше тебя карульщик оказался! — поддразнил сына Яков Григорьевич. — Проспал бы ты самую лучшую рыбалку, если бы я дрыхнул, как ты. А сейчас крой за саком, да поешь хоть маленько. Рыбу-то удь, а про экзамены не забудь! Мне за вами следить некогда.

Славка прыснул и закашлялся, подавившись картошкой, а когда отдышался, зачистил, приговаривая:

— Ой, папа, ты, как поэт! «Рыбу удь, а про экзамены не забудь!» Здорово! Надо записать, пока не забыл, для стенгазеты.

— Подь ты к лешему, чертенок! — засмеялся Яков Григорьевич, натягивая сапоги. — Ему дело говорят, а он прыгает.

Славка был восприимчивым парнишкой. Долгое общение с нервной матерью научило его быстро улавливать перемены настроения у взрослых, и он знал, что отец ворчит сейчас для порядка и что на самом деле он сегодня особенно добрый. Причина тому — ледоход. Славка жевал кусок хлеба с холодной картофелиной и одновременно наматывал непросохшие портянки. Он бодро заявил:

— Не беспокойсь, папа, не подкачаю!

— Гляди мне! Ты ведь постарше, Зойку должен умудазу учить, сам видишь, как у нас...

Он не договорил, но Славка без слов понял, па что намекает отец. Мальчик сразу сделался серьезным, огляделся кругом и пробормотал:

— Я как с реки приду, приберу дома... — Помолчав, еще тише, но тверже произнес: — Экзамены мы сдадим, о нас не думай. Мы уж большие.

— Ну, ну, я ведь так. Пошли, что ли?

— Пошли.

Было пасмурное, но теплое утро. От реки вместе с холодком несся то нарастающий, то затихающий шум. Славка кинулся к устью Корзинювки. Здесь в ледоход, как в отстойнике, скапливалась рыба. Ямку в устье речки звали золотой. Славка оказался первым. Яков Григорьевич пошел к правлению, уже поравнялся с домом Макарихи, когда услышал не крик, а победный вопль Славки:

— Пап-ка-а-а!

Яков Григорьевич приблизился к обрыву. Славка обернулся и помахал рукой, в которой была зажата белая рыбина.

— Есть! Жареха!

— Ты поосторожней там, — предостерег сына Яков Григорьевич. — А то свалишься в воду.

— Я соображаю!

— До соображений тебе будет, — хмыкнул Яков Григорьевич.

В правлении чисто, тепло, уютно. В тишине четко, как шаги солдат, раздаются удары маятника больших настенных часов.

Яков Григорьевич открыл свой кабинет, причесал непослушные волосы на правую сторону. Эта незамысловатая прическа сохранилась у него на всю жизнь. На столе лежали вчерашние газеты, Яков Григорьевич мимоходом заглянул в них и, усевшись на новый стул, обтянутый коричневым дерматином, потянулся.

В кабинете появилась заспанная Тася.

— Уже поднялась, барышня-агрономша! — пожимая ей руку, улыбнулся Яков Григорьевич и пригласил: — Садись давай, хорошо, что рано пришла. Надо нам кое-что обмозговать. Я только прежде позволю па колпный двор, чтобы лодку спускать готовили.

— Уже плыть собираетесь?

— Да нет, по льду-то далеко не уплынешь. К вечеру уж разве, когда реке льдины поплывут. Но о лодке приходится хлопотать. Забыли небось за зиму, где она и что с ней.

Пока Яков Григорьевич с сердцем крутил ручку телефона, безуспешно пытаясь дозвониться до конного двора, Тася, облокотившись о стол, глядела на него.

Лицо у Таси было озабоченное, усталое от постоянных недосыпаний, однако без прежнего уныния и настоженности. С тех пор как Яков Григорьевич стал председателем, жизнь Таси в колхозе утвердилась, пошла уверенней. А ведь она уже могла и не быть здесь. Птахин как-то написал на Тасю жалобу в МТС, требовал убрать ее из колхоза. Весь тон докладной изобиловал сарказмом Клары и кудреватыми словечками Карасева. Чудинов дал Тасе прочесть докладную. И, ничего не добавив, при ней же разорвал бумагу.

— Работай. Не думай, что другим легче. Помни, что, концы-концов, спрашивать с тебя будут, с нас, а не с какой-то там гонкомпании. — Он еще что-то хотел сказать, но замолчал и, порывшись в столе, подал бумажку. — Вот тебе распоряжение на получение добавки в смысле зарплаты. Чего уставилась? За двоих ведь ворочаешь. Трудно, знаю, скоро придем зоотехника. Бери, бери, согни-другая не лишние.

Чудинов разговаривал с ней грубоватым тоном, не глядя в глаза. Она со строго поджатými губами выслушала его. Забыв, видимо, про уговор, на людях он называл ее на вы, а когда оставались вдвоем — на ты.

Когда вместо Птахина начал работать Яков Григорьевич, этот большой и даже чем-то родной человек, Тася сразу поняла, что теперь ей уже не надо будет мучиться, ренать и бороться за свои решения одной. К этому человеку она может прийти всегда, с чем угодно, и он поможет ей.

Тася спокойно и охотно приняла покровительство нового председателя. В МТС ей часто говорили, чтобы она не тяпулась на поводу у председателя, ты, мол, самостоятельная фигура. Она соглашалась с этим — и делала, как хотел Яков Григорьевич. Тася так суждалась в человеке, который был бы сильнее ее. Она всегда льнула к сильным людям и словно черпала у них упорство.

Так и не дозволился Яков Григорьевич до конного двора, бросил трубку.

— Дрыхнут мертвым сном или на речку ушли. — Он почесал, затылок, подвинул к себе растрепанный блокнот и, листая его, проговорил: — Итак, товарищ агроном, ледок тронулся, сеять начинаем. Ох и аврал будет у нас, не приведи Господи! Весна дурит, людей недостает. Знаешь, что я хочу предложить тебе?

— Пока нет.

— То-то, что не знаешь! Узнаешь — заревешь!

— Так уж и зареву?

— Хотя верю, ты — барышня храбрая, — улыбнулся Яков Григорьевич и, погасив улыбку, отодвинул блокнот. — Дела и вправду серьезные. Я хочу попросить тебя на время возглавить посевную кампанию в здешних бригадах. Сам я переплыву на ту сторону, думаю, не завтра, так послезавтра начнем там выборочный сев. А в Заречье у нас гулеваны живут, за ними глаз да глаз пужен. — Яков Григорьевич положил свою руку на стекло и сразу закрыл половину календаря из журнала «Огонек», где был изображен Василий Теркин. — Тебе придется отправиться в третью бригаду. Несколько дней побудешь там, займешься зерновыми и кукурузой.

— Как же с семенами?

— Вот к этому вопросу и подходим. Заберешь семена из шестой бригады и из Ильичевки.

— А Ильичевка?

Яков Григорьевич налил воды, попил и, пристально посмотрев на нее, угрюмо пробасил:

— Ильичевка подождет. Сев в ней обычно начинается позднее. К тому времени семена завезем из соседнего колхоза. У них есть сортовые, дают в долг, до осени.

— Что же с нашими семенами, Яков Григорьевич?

Яков Григорьевич нахмурился, смахнул со стола спичку, потом нагнулся, достал ее, искрошил в пальцах и сказал:

— Не хотел я тебя расстраивать да не скроешь шила в мешке. наших семян уже нет.

— Как нет? — изумилась Тася.

— Так и нет. Проданы и пропиты.

— Да это что же? Удар в самое сердце колхоза. Преступление!

— Преступление и есть! Ну, ты пока молчи об этом. Идет следствие, и паниковать не надо. Людям хлопот и

трудностей без того по горло. — Он смолк и покачал головой. — И ведь все с позволения Птахина. Ой, дурная голова. Они, как о тряпку, ноги об него вытирали.

— Стоит такого жалеть, — фыркнула Тася.

— Такие люди, как Птахин, — глина, и от того, в какие руки попадут, зависит — кирпич сделают или безделушку для забавы. Так-то, Таисьюшка. Люди-то разные живут на земле, очень разные.

Тася опустила глаза, затеребила концы косынки, уловив в его словах какой-то глубокий смысл, касающийся и ее.

Яков Григорьевич положил в стол газеты, свернул блокнот.

— Ну, беги завтракай. Распоряжайся тут твердо. У нас еще надо часто круто завертывать, так не робей, подвинчивай гайку. Я постараюсь попутно похлопотать насчет людей и поскорее возвратиться, неохота мне оставлять тебя одну, да и иначе пельзя. Заречье — колхозная жигница. Сеять там надо вовремя и хорошо. Во всех здешних будем в дальнейшем расширять посадку картофеля и овощей, а в Заречье — зерновые. В этом весь корень нашего хозяйства. Да, я тебе забыл сказать, будет у тебя хороший помощник.

— Кто?

— Вот догадайся.

— Где мне?

— Решил райком всеми силами вытягивать наш колхоз из прорыва. Уланов и квартировать думает здесь. Повезло нам, — простодушно подмигнул Яков Григорьевич.

— Хоть в этом повезло — и то ладно, — заключила Тася и стала отодвигать стул к стене.

— Я вот еще о чем хочу тебя попросить, Таисьюшка. Будешь паезжать из бригады, ребят моих попроведай. Весна сейчас, река вскрылась, всякое может быть, да и экзамены у них.

— О ребятах не беспокойся. — Она покосилась с усмешкой на озабоченное лицо Якова Григорьевича. — И чего вы топчетесь, как зайцы возле капусты! Нерешительные какие-то.

— Ты больно решительная, — улыбнулся Яков Григорьевич и отмахнулся. — Иди уж. Скоро все уладим. Вот закончим посевную — и баста! Начнем жить одним домом.

— Давно пора. И окончания посевной ждать не обяза-

тельно, не свадьбу гулять. Я вот велю ребятам манатки перегаскивать без тебя — и весь разговор.

— Иди-ка ты, иди, взбалмошная! — испуганно приподнялся Яков Григорьевич. — Такое дело сразу нельзя...

— Эх, Яков Григорьевич, Яков Григорьевич! — покачала головой Тася. — Так вот и упустил ты невесту смолоду. Еще и сейчас останешься с посолом, — предупредила она. — На тетю Лиду еще любой засмотрится, да окажется не таким тяжкодумом, как ты, — и готово.

— Ладно, не пугай, пуганый я, — смущенно отшугился Яков Григорьевич и, покраснев до самого воротника гимнастерки, пробубнил: — Если Лида разрешит, пусть тут ребята перегаскиваются, так даже лучше. Да поговорит прежде с ней, кто ее знает, может, что слова там.

Тася захлопала в ладоши и от двери, сияя глазами, крикнула:

— Как я рада! Как я рада! Все вместе! Красота! Я и разговаривать с ней не буду, я прикажу, и все! Сколько можно так?

Тася выбежала из кабинета. Яков Григорьевич подошел к двери, притворил ее и так, держась за скобу, постоял в задумчивости. Потом тряхнул головой и прокашлялся:

— Девчонка еще, как есть девчонка!

Он медленно подошел к окну. Отсюда видно было кусок протоки между крутых яров, разрезанных речкой Корзинновкой. В этом вырезе, как на экране, появлялись и исчезали льдины. Вот проплыло торчащее бревно, за ним ободранные, похлившинные шпичочки, загораживавшие зимой прорубь. Потом кусок дороги, словно обрызганный йодом. Мелькнуло и пронеслось несколько черных льдин, должно быть, стоячка трактора была или что-нибудь мазутное на лед складывали. Между солидно плывущих огромных льдин ныряли и крутились околотые льдинки-коротышки. Все чаще и чаще стали мелькать темные окна воды. Лед редел. Рука Якова Григорьевича снова потянулась к телефону.

По воде с шумящим плыли и плыли льдины. Над рекой носились крикливые птицы. С берега, попыривая, прилетела серенькая трясогузка в черном фартучке и такой же ермолочке. Вильнув на ходу, она подхватила муху и села на льдину, довольнехонько покачивая хвостиком. Низко-низко, чуть не касаясь брюшками льдин, промча-

лась стайка цырков, посвистывая крыльями. Немного спустя в том направлении, где они исчезли, ухнул выстрел.

В Заречье справляли Николу-престольного. Над рекой разлетались переборы гармошки. Мужской голос, едва поспевая за ними, проревел заковыристую частушку. Ему откликнулся бойкий голос подвыпившей и оттого хулиганшстой женщины:

Я на камушке спужу,
Слезы мои канают.
Меня замуж не берут,
А лишь только лапают.

Раздался взрыв хохота, заглушивший гармошку. Кто-то подзадоривающе воил:

- Ы-ы-ых, язви те! Пой, Грунька!..
- Жми па все лады!
- Пропадай моя телега, все четыре колеса!
- Оп, оп, оп, гуляй, Заречье!..

Яков Григорьевич подтащил лодку па берег, послушал маленько и пошел в гору.

Ребячнички, игравшие па берегу в бабки, переглянулись, и один босой помчался в избу, откуда доносилось веселье. Гармошка квакнула и смолкла. Навстречу Якову Григорьевичу, что-то дожевывая на ходу и застегивая пуговицы па гимнастерке, спешил бригадир. Он совсем недавно возвратился из армии, и Яков Григорьевич надеялся, что бригадир из него получится толковый. Армейскую выучку прошел, здесь вырос, людей знает, свой человек. И вот тебе па!

Бригадир по армейской привычке прицелкнул каблучками и заплетающимся языком доложил:

— Гуляют.

Яков Григорьевич смерил его сердитым взглядом:

— Если уж взялся докладывать, так докладывай точнее.

— Гуляем! — покорно поправился бригадир жалобным голосом и глуховато уставился на председателя мутными глазами.

— Так и будешь стоять? — спросил Яков Григорьевич бригадира, а краем глаза наблюдал за тем, как в избе папически расталкивают все куда попало. Что-то упало и со звоном разбилось. «О, мать твою!» — ругнулся какой-то мужик, и па него сразу зашикали со всех сторон. — Веди, что ли, в избу-то! — снова заговорил Яков Григорьевич и первый шагнул в сени.

— Я... мы... понимаете, товарищ пре... председатель... теща моей жены человек верова... верующий... женился я недавно... теща... — лепетал сзади бригадир.

— Помолчи пока! — буркнул Яков Григорьевич. — Я еще с тобой потолкую. — И, шагнув через порог, как ни в чем не бывало, сказал: — Мир честной компании!

Ему отозвался разрозненный и вялый хор женских голосов. Мужики голоса не подали и по возможности старались укрыться от его цепких глаз кто за спиной жены, кто за печкой, а то и за фикусами, составленными в угол горницы. Некоторые явно прицеливались выскользнуть из избы, но Яков Григорьевич нарочно не уходил от дверей.

— Чего же не приглашаете председателя за стол? — с иронической усмешкой продолжал Яков Григорьевич. — Выбрать выбрали, а теперь ни потчевать, ни узлавать не желаете!

Народ зашевелился, послышались сконфуженные голоса:

— Да что вы... да мы... да Яков Григорьевич, дорогой ты наш начальник... да ежели не побрезгуешь... милости просим...

Яков Григорьевич снял кепку, поискал глазами, куда ее повесить, и сунул в руки расторопно подскочившей молодой. Он видел; как тесть бригадира, кряжистый мужик в сатиновой вышитой косоворотке, подмигнул своей жене и она захлопотала. Это был тот самый колхозник Варегин, что выступал на собрании. Бригадир, то и дело роняя голову на грудь, стоял у дверного косяка с бессмысленным видом. Яков Григорьевич с прищуркой глянул на него.

— А вы, я вижу, пачальство любите, побольше подаете?

Послышался легкий смешок, бригадира отгеснили на кухню и потом толкнули в чулан. Он притих там, успокоился.

Яков Григорьевич спокойно принял стакан, наполненный брагой, понюхал и деловито осведомился:

— Не с хмелем? А то с хмелевой голова здорово болит.

— Нет, нет, что ты, бражка — первый сорт! Откушай, сам увидишь!

Сразу с двух сторон к нему угодливо потянулись вилки с закуской. Слева вилку с соленым рыжиком держала та самая, что пела залихватские частушки, краснощекая иттичица Груня. Справа — сама теща. Яков Григорьевич

чокнулся со всеми, зажмурившись, выпил стакан до дна, крикнул и взял вилку с рыжиком.

— Старых везде бракуют! — с притворным вздохом сказала теща и сама съела огурец со своей вилки.

— Какая же ты еще старая? — повернулся к ней Яков Григорьевич и тут же решительно накрыл ладонью стакан, в который тесть под шумок намеревался плеснуть еще браги. — Стоп! Стоп, граждане, — запротестовал председатель. — Мы сначала поговорим по душам.

Он еще поддел рыжик, съел его и не торопясь положил на стол большие руки.

— Что ж, мужики, выбрали время и решили действовать прежним манером?

Все затихли, насупились. Яков Григорьевич подождал, но никто не проропнул ни слова.

— Зачем же вы меня тогда выбирали? Чтобы было на кого свалить все колхозные грехи? Шея, значит, у меня толстая, сдюжит? Сегодня Никола-престольный, завтра какой-нибудь Тихон-раздолыный, потом Троица, глядишь, леги-то и промелькнет, а на отчетном меня за грудки возьмете?

— Мы не так просто, мы День Победы празднуем-то, — подал неуверенный голос один из мужиков, рассчитывая, должно быть, смягчить председателя тем, что гулянка ведется по патриотическим мотивам.

— День Победы? — повернулся Яков Григорьевич на голос. — А когда он был?

Подавший реплику колхозник завел к потолку глаза, беззвучно зашевелил губами и уныло молвил, почесывая загривок:

— Кажись, позавчера.

— Эх, до чего допились! Счет времени потеряли! Небось с первого мая так и шуруете?

На вопрос никто не ответил. Мужчины сидели красные, ковыряли ногтями клеенку, женщины теребили концы платков, цокусывали губы. У раскрытых окон затаились ребятишки.

— А я везде говорю, — продолжал Яков Григорьевич, — заречные не подведут, на заречных можно надеяться. Они у себя посеют и другим помогут. Они же, видали, и бригадира своего, молокососа, споили! Видно, плохо я знал заречных. Сейчас переплыву к ильичевцам, там у них еще грязно на полях. Пусть они у вас посеют, а вы гуляйте. Никола ведь, да еще престольный...

Он сорвал с гвоздя кепку, пахлобучил ее и пошел из избы. Безмолвно, с раскрытыми ртами, провожали его сидевшие за столом.

Постояв на яру, Яков Григорьевич закурил, с досадой швырнул спичку в лужу, спустился к реке и начал отвязывать лодку.

С горы, едва успевая переставлять ноги, в одной косоворотке, без планки, скатился Варегин и схватился за цепь. За ним спенила вся компания.

— Товарищ председатель! Яков Григорьевич! Не позорь! Просим тебя, не позорь! — торопясь и задыхаясь, говорил Варегин. — Мы перед ильичевцами сроду в грязь лицом не ляпались. — Яков Григорьевич, бей, режь, ругай, что хочешь делай, только не плавай к ильичевцам. У нас соревнование с ними, еще сыснокон веку, и мы всегда впереди шли. Хоть в чем впереди: в драке ли, в работе ли. Сыснокон веку так, и негоже нам, понимаешь, негоже в таком облаке перед ними... Хочешь, сегодня в почь пацнем, только не ездн.

Яков Григорьевич уселся на нос лодки и с непроницаемым видом дымил папирсой. В душе он смеялся, но лицо его было по-прежнему сурово. Будто он не знал, какие отношения у заречных с ильичевцами, будто он не здесь родился и вырос. Но он послушает и помолчит. Помолчать иной раз полезнее, чем говорить.

На той стороне, за островом, возле дома Лидии Николаевны копошились игрушечные фигурки. Яков Григорьевич догадался, что это возле палисада играют ребятишки. Все остальные дома корзинщиков утонули в сипеватом мареве, и дальше горы за деревней с трудом угадывались в дрожащей зелене.

Когда на берегу собралось порядочно народу и вспотевший Варегин в отчаянии замолк и обратил свой упылый взор на односельчан: все, мол, мои пределы кончились и ничего поделатъ не могу, Яков Григорьевич швырнул окурок в воду, проводил его глазами и поднялся.

— Ладно, на этот раз не поплыву! Но чтобы все, что за эти прогулянные дни не сделали, — паверстать! Ты, Варегин, отвечаснь головой, и за зятя своего отвечаснь!

— Есть! — по-солдатски рявкнул Варегин, разом воспрянув духом, и начал круто распорядаться:

— До вечера гулять, чтобы и капли браги не осталось и никому она души не смущала. Мишке-трактористу больше не подавать, поскольку па агрегате, а положить спать.

Хорохориться начнет — связать его, сукиного сына. Ты, Никифор, тоже больше не принимай, отяжелел. Зятя мово сполоснуть холодной водой, ежели до вечера не восстановится...

Гулянка возобновилась. Яков Григорьевич был обескуражен, но, к его удивлению, все получилось так, как приказал Варегип. Брагу допили до последней капли, и вечером часть людей вышла на работу. На другой день здесь началась посевная. Следом должны были начать сеять у Букреева. «А из Варегипа, пожалуй, добрый бригадир получится, надо это учесть, — отметил про себя Яков Григорьевич. И тут же его мысли перепрыгнули на другое: — Как-то там у Таисьи дела?»

Он тоскливо глядел на корзиновскую сторону. На пологой седловине чуть виднелась Дымная.

Еще в начале зимы Павел Степанович Букреев съездил на совещание передовиков сельского хозяйства в город. Там у него произошла любопытная встреча.

Он обедал в столовой, и к его столу неожиданно подсади два человека. Один из них оказался бывшим колхозником, уехавшим из Дымной года два назад. Звали его Илья Морозов.

Павел Степанович относился к подобным людям с большой неприязнью. Он хлебал щи, а те двое заказали сборную солянку, гусятину, чебуреки. Бывший колхозник держался вызывающе, хрустел новыми полусотенными и косил глаза на Букреева. Павел Степанович похлебал щи и принялся за котлету. Он делал вид, будто не узнает Илью. Букреев хитрил. По лицам этих двух мужиков видел — они подсади за его стол неспроста. Им хотелось поговорить, и Букреев догадался, о чем они собираются с ним разговаривать. «Что ж, покуражиться и мы сумеем», — отметил он про себя.

Соседи его заказали водки, и Павел Степанович догадался для чего. Но он, как ни в чем не бывало, клевал свою котлету вилкой. Илья был одет в хороший бостонный костюм, который парочко расстегнул, чтобы лучше был виден атласный галстук с китайскими завитушками. Говорил он громко и все больше о каких-то покупках, о заработке, о квартире с «крангом». Сосед его, не проронивший ни слова за это время, согласно кивал головой. Одет он был попроще, часто и с интересом поглядывал на Павла Степановича. Один раз он даже порывался обра-

титься к нему, однако Илья скорчил гримасу и приложил палец к губам. Павел Степанович прикрыл улыбку рукой.

Принесли водку. Илья поставил длинноногие рюмки перед собой, наполнил их из графинчика и обратился к Павлу Степановичу:

— Земляк, не откажись за компанию!

— Спасибо, на чужие не пью, а своих не накопил.

Илья вспыхнул, ресницами захолопал, но тут же преодолел замешательство:

— Не чуждайся земляков, Павел Степанович, от души угощаем!

— А я от таких, как ты, и от души ничего не приму.

— Да ты слушай! Ты что? Ты за кого нас считаешь?

— Товарища твоего не имею чести знать. А ты отеческую избу на произвол судьбы оставил в трудное время, за сладким куском погнался... за кого же мне тебя считать?!

Илья скривил губы.

— Дезертир! Илюха Морозов подлый дезертир, — как можно небрежней промямлил он. — И тут же взвихрился: — А почему я дезертиром стал, а? Знаешь ведь, дядя Паша?

— Чего ты крик-то в общественном месте поднимаешь? — сурово уставился на Морозова Павел Степанович и погрозил пальцем. — Ты, парень, оправдания себе не ищи. Трудно жилось. А мне, ты думаешь, с семьей, да об одной руке, да об одной ноге — легче твоего было?

Илюха Морозов потупился. Его сосед, старше Ильи лет на восемь, с прозрачными, доверчивыми глазами, терзал в руках шапчонку. Он, наконец, набрался духу и заговорил с Букреевым, который сердито помешивал ложечкой полуостывший чай:

— Я вот не знаю вас, вот сейчас познакомился. Сам я тоже колхозник, работаю на капаве с Илюхой. Завербовался на завод. Ой, Илюха-го, мучается. Это он вам пыль в глаза пускает, вид делает купецкий. А я скажу — тяжело без родного угла, да и, вот ежели бы... ну, говори ты, Илюха!..

Морозов поднял глаза на Павла Степановича и умоляюще спросил:

— Да выпей ты с нами, ради Бога, дядя Паша, и всю мы тебе душу откроем. Окажи ты нам доверие...

И оказалось, что квартира с «краптом» вовсе не по душе Илюхе, и работа тоже. Денежная работа, но горячая, кругом металл, пламя, ой к земле с детства привык, к

крестьянскому труду. Ребятинки вон народились, растут квелые. На природу бы их...

Словом, после постановления Пленума стал Морозов подумывать о возвращении домой. Как ему быть? Посоветовал бы Павел Степанович!

Букреев сказал ему, чтобы он хорошо подумал, взвесил все. Изменения в деревне к лучшему начинаются — это так, но жизнь пока еще очень трудная. После сентябрьского постановления калачи на березах разом не выросли, да и не вырастут скоро.

И все же, несмотря на серьезные и честные доводы Букреева, Морозов первым возвратился в колхоз со своей семьей. Вместе с ним ехал и его товарищ. Мужик холостой, безродный, все растерявший во время войны.

Морозов шагал рядом с санями, нагруженными доверху разным скарбом. На возу сидели закутанные в одеяло сынишка и дочь. Жена шла рядом с Ильей.

Появились первые проталины. Мокрый снег шлепал под ногами лошади. Новорожденные ручейки пробовали свои силенки, пробивая дорогу к логам и речкам. Где-то в стороне от дороги, подгоняя весну, азартно бормотали тетерева.

Вот и поскотина. Морозов остановил лошадь, без надобности осмотрел воз, кое-что поправил, потом заметил на желтой проталине несколько беленьких брызг и, проваливаясь в снег, пошел к ним.

— Илья, слурел! — крикнула ему вслед жена. — Полные сапоги начерпал!

Но Илюха ничего ей не ответил. Он сграбастал ручищей, впитавшей металлическую пыль на долгие годы, белые брызги подснежников, дал по цветочку ребятам и жене. Как только приблизились к крайним домам деревушки Дымной, Илюха прокашлялся, выпрямился и, отступаясь, пошел рядом с лошадей. Вот и знакомая до мелочей улочка с несколькими старыми липами и срубом колодца посредине. На улицу выходит народ. Кто отвечает на приветствие Морозовых, кто нет.

Родной дом! Дом этот, по словам покойного отца, построен еще его отцом, то есть Илюхиным дедом. Окна дома переkreщены досками. Одна тесина на крыше провалилась, стало видно желтое, источенное червями стропило. Удивительно быстро и как-то само собой разрушается заброшенное жилье. Морозов оторвал доски от ворот, повернул заржавевшее кольцо щеколды и услышал, как

оно знакомо звякнуло о верх скобы. Обыкновенный, даже не очень музыкальный звук вызвал ворох воспоминаний у Ильи...

В детстве, бывало, пробегает допоздна Илья, старается сделать так, чтобы щекотка-предательница поднималась беззвучно, иначе отец отгаскает за ухо. А когда учился в школе, мать по звуку щекотки узнавала, какую отметку Илья несет. Хорошую — звон на весь двор, плохую — едва слышимый стук. А когда первый раз вышел Илья работать в колхоз, возил снопы и вернулся вечером домой, он так затарахтел щекоткой, что бабка-покойница с перекугу перекрестилась.

Илья заулыбался, но тут же улыбка сошла с его губ. Он услышал разговоры односельчан.

Преобладали замечания едкие, пачет того, что вот, мол, поднажились в городе, а теперь в деревню вернулись, поскольку сейчас колхозникам большие льготы вышлись. А дед Еремей, тряся головой, злобно заявил:

— Лодырей да прохвостов и в городе не больше жалуют!

«Гляди ты, живой еще дед!» — удивился Морозов и вздохнул: откуда знать деду, что фамилия Илюхи не сходила с Доски почета. Провинился Илюха перед односельчанами, ой провинился. Неужели они за это ему ласковые слова говорить станут? Иного и ждать было нельзя. Но вот лодырем и прохвостом они его все же зря обзывают, со зла это.

Илья услышал голос Букреева:

— Не подумавши говоришь, не подумавши! Лодырь, он в деревню осенью нагрянет, когда будет урожай убран, на готовый каравай, а эти весной, к самой работе...

«Да пусть срамят, пусть! — стиснул зубы Морозов. — Все одно не поверну оглобли, не поверну и еще докажу кое-кому здесь, как надо работать».

Тася, проходя по Дымной, с радостью отмечала: народу заметно прибыло. В деревушке шумней стало, веселей. Она знала, что, кроме Морозовых, в Дымную вернулись еще несколько семей. В заречные деревни тоже приехали три семьи.

Здесь, в этой небольшой деревушке, сильнее, чем в других селах, ощущалось дыхание возрождающейся жизни и весны. Осенью пусто было, безлюдно и тихо. А сейчас вот мужики стоят посреди улицы, курят и хохочут.

Шапки у них на затылки сдвинуты, телогрейки расстегнуты — пригревает. Вон дом осенью был пустой, с выбитыми стеклами, а сейчас к окнам прилепились посами ребята-тишки, смотрят, галдят. Мужики бросили сигарки, подались на склад, в дом, выкрашенный сиптей краской, и вернулись оттуда с мешками. Крякнув, бросили их па телегу с заржавленными ободьями. Один мужик щекотнул подвернувшуюся па пуги женщину. Та взвизгнула и лягнула его. Опять хохот. «Вот что значит настоящий человек, пусть даже па маленьком посту, — подумала Тася о Букрееве. — К нему, как к магниту, тянутся люди. Умест он и поговорить с ними, и расшевелить их. Насиделся он в стороне, натерпелся за эти годы. Теперь горы свернет».

Разыскать Букреева Тасе долго не удавалось.

Колхозники, у которых справлялась о нем Тася, смеялись:

— Где тебе, милая, его догнать, у него ведь одна нога не своя, вот он ее и не жалеет. Как ероплан летает!

Разыскивая непоседливого бригадира, Тася успела ознакомиться с положением дел в дымновской бригаде. Бригада в общем-то была готова к севу. Мужики, оказывается, таскали в мешках семена. Завтра выезд в поле пачечен, если погода устоится.

Размахивая жидким ивовым прутом с лохматенькими охровыми шишечками, Тася папевала привязавшийся с утра один и тот же мотив. Так, без слов и без всякой мысли папевала и прутиком помахивала.

— Рапо пташечка зашла, кабы кошечка не съела! — услышала Тася позади себя насмешливый голос Букреева и обернулась. С крыльца дома Морозовых спускался Букреев все в той же тужурке, перешитой из солдатской шипели, но в новом сукошном картузе.

— А я вас ишу по всей деревне, — сказала Тася и нивырнула надоевшую ей ветку в палисадник, возле которого остановились.

Букреев крепко пожал Тасе руку и, покачиваясь рядом с ней, несердито выговаривал:

— Давненько к нам не заглядывала, товарищ агроном, давненько.

— Некогда, Павел Степанович, сами знаете, какие наши дела. В вашей-то бригаде спосно, па вас мы падеемся, не подведете, — пемножко польстила она, рассчитывая тем самым поднять дух бригадира и выклянчить у него кое-что для других бригад.

Павел Степанович прищурился.

— Картошки нужно в шестую бригаду. Угадал?

— Угадал, Павел Степанович, — откровенно призналась Тася, — догадливый вы, я еще осенью это заметила.

Павел Степанович так громко захохотал, что курицы, копавшиеся возле дороги на просыхающей полянке, переполошились и петух недовольно поднял голову, призывая их к спокойствию.

— Подли-иза, ох и подли-за! — захлебывался Павел Степанович и, все еще не переставая улыбаться, сказал: — Ладно, дам картошки на семена, уж ради общего дела, а самому Разумееву каленого камня пожалею. Ну, как Сережа у тебя? Познакомился я тут с ним на улице. Хороший парень, сорванец такой же, как мои, ухо с глазом!

Тася чувствовала, что Павел Степанович рад ее приходу, спешит наговориться с ней, как с родной, и от этого на душе ее сделалось светлее. Тревога о посевной, о доверенном ей деле меньше донимала, рождалась уверенность, что с такими людьми она все одолеет, и эта уверенность прибавляла сил.

— Да, а хорошо я сделал, что осенью не послушал Карасева. Были бы мы без картошки. Нюх у меня еще не притупился, чувствовал я, дело пахнет керосином! — говорил Букреев, шагая с Тасей к своему дому. — Эх, сукины сыны, до чего колхоз довели: ни кормов, ни семян, ни людей... Все пустили под гору. Неужели им это просто сойдет?

— Не сойдет!

— Думаешь? — повернулся к Тасе Букреев и, уловив на ее лице что-то намекающее и успокаивающее, заторопился: — Надо взять их за шиворот, надо тряхнуть! — Он помолчал, оскребая сапог о железку на крыльце, уступил железку ей и сказал: — А ты молодец, Петровна, и ребята молодцы, что не дали скоту пасть, сено приволокли. До самой ростепели сено возили с Талицы по вашей дороге и колхозники, и лесозаготовители. Право, молодцы! От души говорю.

— Чего там, съездили и съездили. Больше разговоров, — смутилась Тася. — Лучше скажите, как у вас дела? Видела я инвентарь — в порядке. Семена подготовлены. Все будто на мази.

— Завтра думаем начать у Крутого лога. Горка там, вроде просохло. Ждать больше нечего. Весна-то дурит!

Павел Степанович перекинул деревяшку через порог, пропустил Тасю и спросил:

— Ты первый раз самостоятельно на посевной?

— Первый, Павел Степанович.

— Крещение, значит? Ну, ну, ничего, — похлопал он ее по плечу. — Глаза боятся, а руки делают. Люди кругом свои. Разные, конечно, люди, но наши, советские. Они тебе помогут, ты им, и дело пойдет. Нынче легче у нас, веселей. Так ли бывало? Я тебе никогда не рассказывал, как мы тут начинали в тридцатом году? Нет? Вот пойдем обедать, я тебе поведаю кое о чем.

Утро выдалось солнечное, яркое. Павел Степанович довольно жмурился, причмокивал губами:

— Погодка-то, погодка, ровно по заказу!

Кругом курились поля. Небо подернулось бледной синью. На самой середине его сиротливо болтались два беспутных облачка. Солнце пронизывало их насквозь своими острыми иглами. В низинах бушевали бесшабашные ручьи. Они папоминали малых ребят, которых долго держали взаперти и наконец-то выпустили. Мчались они с говором и с шумом, не разбирая пути, в любую подвернувшуюся канавку, трещинку, извилинку, смывая тлеющие под солнцем кучи серого снега.

У Крутого лога, возникавшего далеко в лесу и на открытом месте спаявшегося с высокой горой, Тася и Павел Степанович спрыгнули с телеги.

— Наиболее плодородная почва в вашей бригаде, как мне помнится, возле реки, — сказала Тася, спуская с головы на плечи платок.

— Да, ближе к реке, — показал кнутовищем Павел Степанович, — там, где намечено сеять кукурузу. Читал я насчет этой самой кукурузы в газетах. Вроде как стоящее дело. Но у многих людей в нашей бригаде сомнения: лучшую ведь землю отдаем.

— Мне думается, Павел Степанович, нужно попробовать часть кукурузы посеять на угористых полях. Растение теплолюбивое, как бы от реки его инеем нехватило. Как думаете?

— Пожалуй, ты дело говоришь, только обработку посевов на неровных полях будет трудно вести. Но мы пробуем и там и тут. Дело-то новое, без разведки не обойдешься. — Он помолчал и добавил: — Когда уж это переберемся мы на остров? Ну вот хочется мне вплотную заняться овощами, и только. А озимые, ячмени, яровые, овсы

только отдергивают от дела. Ну какой у нас хлеб? Зато овощи родятся куда с добром! Вот и развивали бы овощное дело.

— Вы, значит, противник многоотраслевого хозяйства?

— А-а, какой там противник! — махнул рукой Павел Степанович. — Я противник того, чтобы труд людей зря переводить. Мне кажется, многоотраслевое хозяйство надо тоже с толком развивать.

— Направимся потихоньку. Яков Григорьевич велел тебе передать, что на острове пынце будет дополнительно распахано десять гектаров под овощи. Глядишь, через год-два мы туда постепенно переместимся с овощами и здесь тщательней будем плашировать посевам! Нынешний год покажет, что и где лучше родится. Поля везде удобрены неплохо, спасибо шефам.

— И Ваське Лихачеву, — подхватил Павел Степанович. — Между прочим, палаживается парень. Спервоначально был такой шалопай, беда! У меня тут как-то пахал, так согрешил с ним.

Они поднялись потихоньку в гору. Здесь кренче припекало солнце. По обочине пашни белели подснежники да шуршали нарядные медуницы. Тася сорвала несколько цветков. От них тянуло крепким вином, и запах этот пьянил сердце, кружил голову. Она выдернула из гнездышка сипенький цветок медуницы, положила в рот и словно бы попробовала душистого сладкого меду.

Возле мелкого березника, на поляне, Илюха Морозов и рыжий парень запрягали лошадь. Девчата засыпали зерно в сеялку. Все они были в рубашках и кофточках, а верхняя одежда сложена на землю. Девчата громко и беспричинно смеялись, подталкивали Илюху и в особенности рыжего парня.

— Женех из города вернулся! — показывая на рыжего, сказал Павел Степанович. — Вот девки-то и стараются перевизжать одна другую, заневестились, засиделись в девках-то, а он поль внимания, важничает, дескать, против городских устоял, не поколебался, а уж вам где меня окрутить, не поддамся. — И тут же, перейдя с шутливого тона на серьезный, Букреев прибавил: — Как ни трудно возле земли родной, а без нее, видно, труднее.

Остановив лошадь, бригадир крикнул:

— Здорово живем, молодцы!

— Здорово, коль не шутите! — отозвалась бойкая девушка в брезентовых сапогах с загнутыми голенищами.

— Сыровато малеько начинать-то, Павел Степанович, — озабоченно сказал тот самый непрístupный жещих с рыжим чубом и треснувшей посредине губой.

— Ничего, мокро — не засуха, жизни не убивает. Попробуем, глядишь, и не так сыро покажется. Ну-ка, Илья, дай мне!

Павел Степанович взял вожжи, проворно забрался на сиденье сеялки, пеловко выставив копец деревяшки, чмокнул губами:

— Н-но, Лысуха! Н-но, милая, пачнем? Ты кобыла удачливая, знаю.

Лысуха, большая пегая лошадь с мягкими отвисшими губами, махнула хвостом и важно зашагала по пашпе. Все молча смотрели ей вслед, только рыжий парень бежал рядом с сеялкой и кричал:

— Начали! Дядя Паша, начали! В добрый час начали!

— А ты как думал! Знай паших! — подмигнул ему бригадир, подстегивая лошадь. — Но, милая, шевелись, подбавляй ходу-у!

За сеялкой ложнились ровные рядки, надежно укрывая палитые зерна. Тянулся парок, воздух наполнялся запахом вешней теплой земли. Появились галки, заковыляли по полю. Тронулась и вторая сеялка. С горы было видно извинаяющуюся ленту Кременной. На ней белели редкие льдины. На взгорье за рекой деревушка. За ней крутобокие горы. По одному из угоров медленно танцевала малеькая черная точка. Это был трактор. И там начали.

Хлопотливая весна вступила на поля. За этим трактором Тася увидела уже множество других, за полем, где сейчас она стояла, ей чудилась бесконечная вереница полей, черных, пробудившихся, ждущих человеческих рук.

— С зачином тебя, товарищ агроном! — услышала Тася голос Букреева и вздрогнула.

По лицу бригадира расплылась хорошая улыбка, а глаза строгие. Она поняла, что он серьезно поздравляет ее с первой бороздой. Дрогнувшим голосом Тася ответила, переходя на «ты»:

— Спасибо, Павел Степанович, спасибо, дорогой! И тебя тоже!

Под горой загромыхла телега. Из деревни везли меша, и Миша Сыроежкин, лежа на мешках, во всю головушку орал несно без слов. Все удивились тому, что поет он просто так, без подпития, ипаче он непременно гаркнул бы про вора и бандита.

Птахин настоял на своем. На станцию они выехали рано утром. Большинство жителей Корзиновки в это время обычно спали. К удивлению Птахина, весь их багаж уместился на одной телеге. Воз, правда, получился солидный, но зато ничего не осталось, кроме расшатанных табуреток и скамеек в покинутом доме. Дом занял недавно прибывший новый кузнец. Он хмуро выжидал, когда они уберутся. Птахин снова поймал себя на мысли, что жена так вела хозяйство, чтобы при случае можно было без лишних хлопот собраться и ничего не оставить. «Тряпки, тряпки, тряпки! Неужели она жила как квартирантка в Корзиновке?»

Как ни избегал Птахин людских глаз, увернуться от них все же не сумел. В деревне уже топились печи, шевелился народ. Совсем неожиданно встретился Букреев. Он сошел с дороги, глянул на Птахина, и тот, не выдержав взгляда, опустил голову.

«Черти-то его поднимают ни свет ни заря!» — пронеслось раздраженно в голове Птахина. Клара глядела на Букреева, впаявшего деревяшку в грязь, нахально, вызывающе, чувствуя, что это ее единственное оружие. Она хотела и не могла быстро придумать какую-нибудь грубость.

К досаде и огорчению Птахина, людей встречалось много. «Корзиновцы нынче рано просыпаются, на работу спешат, не то что в прошлый год!» — отметил он. Было неловко и обидно оттого, что многие встречные смотрели на него, как на незнакомого проезжего. Некоторые усмехались, но никто не пожелал доброго пути. «Как быстро чужаком для них стал!» — подумал он и стегнул лошадь, чтобы скорее выбраться из деревни. Но у самой околицы, уж совсем некстати, встретилась старая Удалиха с ведрами. До Птахина доходили слухи, что она сильно болела и бедствовала. А тут вот, как нарочно, поднялась и шагает себе, да еще твердо шагает, долго проживет.

«Смотаться бы скорей!» — тоскливо подумал Птахин, проезжая мимо Удалихи, стоявшей обочь дороги.

— Нахапали — и ходу! — сердито крикнула она. — Да ворованное еще никому впрок не шло.

— Заткнись, клыча! — огрызнулась Клара. — Завидно, самой-то нечем грех прикрыть!

— Брось ты! — ткнул Птахин жену под бок и вытянул по костлявой спине старого мерина.

— А чего она свой нос сует?

— ...Голову вам сломать, шею свернуть... — несся вдогонку голос Удалихи.

Они сделали вид, будто ничего не слышат.

Мерина Птахину дали старого. Назывался он почему-то Петушок. Ничего в нем петушиного не было. Сколько его ни хлестал Птахин, прибавлять шагу он и не подумал, только на каждый удар вожжами отвечал досадливым помахиванием хвоста, будто паутов отгонял. Птахин плюнул и отступился, бросил вожжи на колени. «Нарочно клячу дали, — стиснул он зубы, — и сопровождающего не послали, там, говорят, на станции лошадь отдашь новому колхознику: из города едет к нам работать. Заслужил!» И тут же утешил себя: «Посевная. Работы по горло. Кого же посылать? Сами уедем. Лошади хорошие тоже в расходе». Но самообман не помогал. Ведь он своими глазами видел, что кобылка Бабочка стояла на конюшне. Птахин оглянулся на деревню, в которой начал свою трудовую жизнь, и со вздохом пропел:

Эх, Корзиновка! Корзиновка! Деревянное село!

А Клара, сидя на возу, беззаботно напевала «Самару-городок». Птахин досадливо сморщился: нашла время веселиться. Хотел оборвать ее, но раздумал и начал грустным взглядом прощаться с Корзиновкой.

Мало что изменилось в ней за эти десять лет. Она не расширилась, не разрослась. Только несколько новых домиков и построек, еще не успевших почернеть от времени и солнца, виднелись на краю села. Остальное — как было. Так же слепо сквозь узорчатые железные решетки глядела с горки на деревню старая, безмолвная церковка. Крышу ее украшали несколько толевых заплат, заметно выделявшихся на старом, ржавом железе. Вокруг церкви вились беспокойные галки и падали на вершины старых берез, росших когда-то в церковной ограде. Теперь, без ограды, они имели вид прибудных состарившихся странниц.

За Корзиновкой на косогоре виднеется правление с новым крыльцом. Чуть поодаль от него, ближе к обрыву — старый длинный дом Макарихи. Из дворов тянет перепрелым навозом, разносятся от дома к дому доволь-

ные голоса петухов, на улицах начинает появляться зелень. Мир, покой и удивительно мягкий уют кругом.

Дорога сворачивает к реке. Скоро начнется сосновый бор, и Корзиновка исчезнет.

Птахин смотрит на Корзиновку не отрываясь, и вспоминается ему, как десять лет назад он пришел сюда тоже весной, в заношенной вельветовой куртке с «молнией», в тапочках, с фанерным чемоданом, закрытым на большой замок. Как он спал в первые дни в правлении на стульях и ел картошку с луком. Картошку ему приносил в кармане бригадир-полевод Яков Григорьевич Качалин. Выкладывая на стол припорошенные табачными крошками картофелины, он ободрял:

— Не робей, парень. Все образуется. На квартиру определишься, сапоги раздобудешь, невесту подсмотришь. Все пойдет по порядку.

И все шло по порядку: жил, работал, вырастил первый урожай, женился. Время шло незаметно, быстро шло время в трудах, заботах, радостях и горестях. Ведь были и радости. Были. Шли к нему люди и с тем, и с другим, шли за помощью, за советом, не таясь выкладывали все. Они нуждались в нем, а он в них — вот в чем была самая большая радость. А потом он как-то привык к этому, обтерпелся, надоедать ему стали люди, и жалобы, и просьбы их показались ему докучливыми, раздражать стали. Раз отмахнулся, другой. Так незаметно лишился главного — сердечного отношения людей и остался как перст один.

Сдавило грудь Птахина, и судорога докатилась до горла. Он только сейчас понял, что у человека на земле бывает два самых дорогих места.

Одно, где сонно скрипит деревянный оцеп, где трюкает под печкой сверчок, где пахнет парным молоком и из русской печки тянет сладким угаром. Там он сделал свой первый шаг: от кованого сундука к подолу большой, вечно запятой женщины, которую звали единственным, известным ему тогда словом — «мама».

Пошел он необычно, а запомнил все обстоятельства, связанные с этим событием, потому что ему часто потом рассказывали, как все получилось. Оказывается, он еще с детства был «ползунком». Миновало уже два года, а он все еще ходил у скамейки, возле сундука. Ему достаточно было одного пальца матери, чтобы шагать. Но отнимала мать палец — и он тут же шлепался на пол. Однажды он стоял у сундука, смотрел в окно и заметил, что рыжее

солнце исчезло, окно потемнело, кругом сделалось тихо. Он прислушался к этой тишине, позвал мать. Никто не откликнулся. За окном блеснуло что-то яркое и ужалило его в глаза. Вслед за этим забарабанило так, будто на чердаке передвигали по камням такой же тяжелый сундук, за какой он держался.

Тут-то мальчик и обнаружил, что он уже не держится за сундук, а, теряя равновесие, ковыляет головой вперед к цветастому переднику матери, будто боднуть ее собирается. Мать ахнула, подхватила его и выбежала в сени.

— Отец, отец, гляди-ка, Зинка-то пошел!

Отец долго молчал, а потом угрюмо выдавил:

— Какой град, все выхлещет!

На крыльце прыгали, бились со щелканьем друг о дружку градины. Они были круглые, похожие на пуговицы, пришитые к материнской кофте. Мальчику они еще напоминали сладкие круглые конфеты. Он высвободился из рук матери, подобрал одну кругленькую, положил в рот. Она оказалась несладкой. Он выплюнул ледяшку и шагнул на улицу. По голове больно заклевали злые курицы. Зинка заревел. Светлый, большой мир, который был за порогом, сразу обидел его.

Вторая родина памяти. Может быть, оттого, что сам помнишь, как сделал здесь первый шаг, как получил первую получку, как заработал первое, вслух сказанное спасибо. Если в краю детства каждый дом, каждый пригорок и переулочек были таинственной загадкой, то здесь они до мелочей знакомы. Порой постылы, надоедливы делались корзиновские места. А вот трудно от них оторваться...

«Устроимся еще лучше, подумаешь, невидаль какая, Корзиновка!» — толкует ему Клара постоянно. «Вот и невидаль. Для меня всего одна Корзиновка на свете». — Птахин вдруг выпрямился, изумленно огляделся вокруг. «Правда, ну куда я, зачем? Хотел, чтобы мне покорились, догнали, упрашивали, а мне клячу и, пожалуйста, катись колбасой. Ничего пикому не доказал и докажу ли?»

Телегу подбросило на выбоине, покотился чемодан. Клара ловко подхватила его, пристроила, зевнула и, сонно щурясь от солнца, снова замурыкала что-то под нос.

— А знаешь, — оборвала она песню, — все, что ни свершается, к лучшему. Даже хорошо, что тебя турнули из председателей. Устроимся где-нибудь в городе, в театр, в цирк ходить станем, а в этой дыре уж заплесневели, одичали вовсе.

Птахин повернулся, с нескрываемым раздражением посмотрел на ее затененное косынкой лицо с черными полуопущенными ресницами.

— Ни шиша же ты не понимаешь! — желчно и снисходительно бросил он и соскочил с телеги. — Н-но, паскуда! — выругался Птахин, охаживая кнутом мерина.

— Псих ненормальный! — пожалала плечами Клара.

Дорога свернула в желтоствольный сосняк. Корзиновка пропала из виду. Ехали молча. Показалась МТС.

«Скорей бы здесь проехать, а то еще кого-нибудь черт вытащит», — нахмурилась Клара.

Птахин грубо бросил:

— Слезь. Не видишь, грязь, тяжело коню.

Клара нехотя слезла с воза, оглядела юбку, подтянула косынку и, догнав Птахина, пошла рядом с ним, покусывая выдернутую из-под чемодана соломинку. Птахин отдал ей вожжи.

— На, я закурю.

Она взяла вожжи, подсунула их под чемодан на телеге.

— Не беспокойся, рысак не удерет!

— А у тебя руки отсохнут?

Клара удивленно пожалала плечами.

— Псих, я сказала — псих, так оно и есть. Жалко Корзиновку стало? Так я-то тут ни при чем.

— Ты ни при чем. Ты всегда ни при чем! — забубнил Птахин.

— Разумеется, ни при чем! — И тут добавила, чтобы вывести Птахина из дурного расположения духа: — Вот и река, гляди, как вода здорово прибывает, на острове уже кусты затопило.

«Эх, пиломатериал для парниковых рам не увезли с берега, — ахнул про себя Птахин. — Унесет, если Яков Григорьевич или Голубева не вспомнят. Позвонить, что ли? А ну их!»

Стараясь идти рядом с лошадьёю, чтобы закрыться от окон МТС, они воровато ехали по улице.

В ограде МТС рядами стояли новые машины. Часть их уже отправлена в колхозы. Возле некоторых хлопотали люди. «Да-а, посевная начинается, вот и шевелятся, как муравьи, — думал Птахин. — А машин-то, машин! Только и работать теперь. Тут тебе и для хлеба, и для овощей: тракторы, культиваторы, сеялки и всякая холера. Вот в войну бы или в первые годы после войны попробовали. Руками голыми, на одной картошке, а кругом кричат: «Да-

вай! Давай! И давали. Еще как давали! Птахина весь район знал, в газете писали об опыте его работы! Теперь никому не нужен, все рыло воротят. Отваливай, мол. А куда?»

— Н-н-но ты, одер! — закричал Птахин и с яростью ударил по обвислому заду Петушка.

В кабинете Чудинова выставляли рамы. Горбатенькая секретарша убирала со стола и что-то сердито говорила уборщице, вытаскивавшей рамы.

Чудинова в кабинете не было. Птахин вздохнул и облегченно и раздосадованно. Где-то в глубине души у него еще таилась надежда, что здесь, на этом последнем рубеже, его остановят. И думалось: остановит именно Чудинов: «Концы-концов, не хочешь в Корзиновке быть», айда в другой колхоз или к нам. Агрономы да еще с такой практикой, как у тебя, по проулкам не валяются». Но Чудинова не было. Обрывалась последняя нить. Моментально созрела уловка:

— Может, в магазин заедем, на дорожку чего-нибудь купим? — спросил Птахин у Клары.

— Время терять, да чтобы глазели тут разные! Поехали дальше. Закусить на дорогу есть, а что другое — на станции купим.

— Да и... коня покормить бы... еле ноги переставляет.

— Ничего, доедем. Не наше дело кормить колхозных кляч.

Птахин прошел несколько шагов и, ничего не сказав жене, вернул к конторе МТС, заглянул в несколько комнат, но Чудинова в них не оказалось. Тогда он зашел к секретарше, взял телефонную трубку, намереваясь вызвать Корзиновку, но раздумал и попросил секретаршу позвонить насчет пиломатериала:

— Пусть не царапаются — унесет.

Больше здесь делать нечего. Птахин потоптался, нахлобучил кепку и, попрощавшись с секретаршей, побежал догонять подводу.

Вот и последние дома деревни Сосновый Бор. Дорога поднимается в гору. МТС остается внизу. Рыжий домик правления, как муравьиная куча, посредине ограды, а вокруг него, будто рой замерзших муравьев: тракторы, автомашины, какие-то механизмы, похожие на стрекоз, селяки, видимо.

Из кузницы валил черный дым и долго не растворялся в голубом небе. По реке плыли редкие льдины. Иногда

какой-нибудь куст со слабыми корнями выворачивало течением, и он мчался неведомо куда, то исчезая в реке, то ненадолго выныривая. Куда-то его прибьет? Сумеет ли он уцепиться своими переломанными корнями в другом месте, на другой косе или обмыске? А может, закрутит его течением и бросит на сплошной камешник, где и со здоровыми корнями не всякий куст приживается.

Река все дальше и дальше, а впереди, насколько хватает глаз, поля озими, отороченные ельником и пихтачом. Дышит озимь, расправляет выстоявшие зиму перышки, тянется навстречу солнцу.

Впереди за щетинкой мелколесья дымки. Станция. Птахин еще раз оглянулся на реку, на МТС и скользнул взглядом дальше, туда, где из-за соснового леса чуть выглядывала белая церковка, в которой, может быть, сейчас Миша Сыроежкин отпуская семена в бригады.

Но Миша Сыроежкин оказался на станции. Вместе с ним был тот человек, которому велели передать лошадь. Птахин узнал его.

— Здравствуй, Хопрров. — И протянул ему руку.

— Здравствуйте, здравствуйте, — раскланялся Хопрров.

Одет он был в хороший шевиотовый костюм, обут в добротные хромовые сапоги. По всему видно, жилось человеку в городе неплохо. И язвительный вопрос насчет того, что несладко, мол, в городских хоромах, отпал сам собой. Вместо этого Птахин просто спросил:

— Потянуло, значит?

— Потянуло, — откровенно признался Хопрров. — Да и все время тянуло. Я в городе-то чувствую себя временным жителем. Да и не один я. Много нас таких толкалось в городской тесноте, и не теряли мы надежды переехать обратно. — Хопрров помолчал и признался: — Мне часто изба своя снилась. Будто стоит она, забитая досками. Я подхожу ближе, а это уж не изба, а отец-покойник глядит... мурашки по коже... да-а, земля родная, она тянет к себе человека. А вы что же надумали?

— Да вот, — пожал плечами Птахин, — надоел я корзиповцам, выгнали.

— С председателей тебя прогнали, а из деревни небось не гнали, — недоверчиво протянул Хопрров. — Я корзиновцев знаю. Они зря обидеть не позволят. Не-ет.

В словах Хопррова была затаенная надежда. В трудное для деревни время он отсиделся в городе. Побавивался Хопрров, как и Илюха Морозов, как бы земляки не показали

от ворот поворот. Как бы между прочим он поинтересовался, пустует ли та половина избы в доме Лидии Николаевны, которую он занимал прежде, или уже заселена.

Птахин рассказал ему обо всем. На лице Хопрова появилось огорчение, но он тут же горячо заговорил, уверяя скорее себя, чем Птахина, в том, что не может, мол, быть такого положения, чтобы в родной деревне не нашелся уголок для своего человека.

Почувствовав, что разговор принимает неприятный характер, Птахин распрощался с Хопровым и направился в вокзал. Там на деревянном чемодане по-хозяйски устроилась Клара.

Скрыться от неприятных собеседников Птахину не удалось. Только вышли они из вокзала, появился Миша Сыроежкин, с ним Хопров.

— Пых, пара кривых! — заговорил Миша, увидев Птахина и Клару. — Ну и лошадку вам удружили! На ней только горшки возить. — И громогласно прибавил: — Распрощаться пришли, значит.

В поведении Миши чувствовалась заносчивость. Птахин торопливо ответил:

— Что ж, спасибо.

Миша прикурил от его папироски и сообщил:

— Ездил вот с Яковом насчет семян. Выхлопотали, будут семена. Меня было за холку там взяли, да расписка выручила. Хорошо, что я тогда расписочкой разжился у Карасева, а то бы как милый загремел! Семена, оказывается, Карасев сплавил. Ты как-то отвертелся. Вовремя удочки сматываешь, а то и тебя бы прижали!

— Я за карасевские махинации не ответчик.

Миша сердито сощурился, вспыхнули глаза его педобрым огнем.

— Конечно, ты не ответчик. Мы — ответчики. И отвечать нам вот этим местом, — он похлопал себя по загривку. — Сейчас вот займы нам семена дали, а потом их вернем, а вернем непременно, не беспокойтесь. Но то, что вы нажили на нашем горе, боком у вас выйдет.

— Ты чего разорался-то? — зашипела Клара. — Забери свою клячу и уходи. Ишь, налил шары!

— Налил? Зашабашил Миша Сыроежкин, точка! Прежде выпивал, но на свои любезные — никого не ограбил, не обворовал, на ваш манер я никогда не жил. Вы от людей тоже не убежите! Разгадают вас. Может, еще скорее,

чем здесь! Не везде такие людишки вислоухие, как корзиновцы.

— Ладно, мотай, мотай!

— Да не связывайся ты с ним, — оборвал Клару Птахин, весь красный от смущения. — Вон уже люди останавливаются. Пошли к багажу.

Он завернул за скверик и напустился на нее.

— Тебя хлебом не корми, дай поругаться!

— А чего они привязываются? — Завидно голоштанцам! Жить не умеют, завидовать только ловки!

— Это еще неизвестно, кто жить не умеет, — прогнул савил Птахин.

— Эх ты, мямля! На тебя каждое слово действует, отпор дать не умеешь.

Так, переругиваясь, они перетаскали чемоданы в багажное отделение. Клара достала дорожные харчи, разложила их на чемодане, который оставила при себе, но есть Птахин отказался.

— Мне больше достанется, — заявила Клара.

Она сердито изжевала бутерброд, легла на скамейку, положив чемодан под голову. Вскоре Клара уснула, а Птахин ходил от стены к стене по вокзалу и, не обращая внимания на табличку «Не курить. Штраф!», жег папироску за папироской.

Пришел пригородный поезд, постоял немного, и паровоз тендером вперед потащил дальше десяток старых вагонов. На перроне остался милиционер. Он кого-то поджидал. Появился Миша Сыроежкин, о чем-то с ним поговорил, показывая рукой в сторону МТС, и они пошли вместе. Несколько минут спустя мериш Петушок важно прошествовал через переезд. На телеге возле багажа сидел Хопров. За тельгой шагали милиционер и Миша Сыроежкин. Отчаянно жестикулируя, он что-то рассказывал. «Куда это они?» — удивленно подумал Птахин, и на душе у него вдруг сделалось тревожно.

Клара спала. Дорожная пыль, осевшая на ее лице, отенила тонкие, не нуждающиеся в помаде алые губы. Даже во сне на ее продолговатом и смуглом лице лежала печать высокомерия, надменности, будто и сейчас она говорила: «А я плевать на всех хотела! Ну, найди, кто тут краше меня?» Было в ее красоте что-то вызывающее, броское, до чего дотронуться боязно и отступить нет сил.

Однажды пастух Осмолов очень удачно сравнил ее с мухомором. «Самый яркий гриб, а в пищу не годится —

отрава!» Глядел, глядел на нее Птахин и вдруг ясно понял: «А ведь то, что болтали насчет Карасева и ее, — правда!»

У Птахина кончились папиросы. Он пошарил в кармане, нашел скомканные рубли и пошел в конец станции, к переезду, где заваленный разнокалиберными ящиками приютился магазин.

Поезда ждать еще долго. Птахин купил папирос и книжку. Среди множества завалывшихся и по своей устарелости уже годных только на обертку книг, брошюр продащица по его просьбе отыскала «художественную вещь». Книжка была в хорошем переплете, во многих местах изъеденном мышами.

В книжке рассказывалось о том, как один фронтовик, вернувшись с войны, зажил с передовой во всех отношениях женой.

Сначала жизнь шла гладко, но зазнался фронтовик, и началась драма. Фронтовик даже из родной деревни норовил уйги, но его перехватили. Колхозный парторг прочитал ему соответствующую мораль, и все закончилось благополучно.

Зиновий перелистал книжку до конца, со вздохом вернулся к началу, пробежал глазами краткую биографию автора с перечислением его литературных трудов. Портрет писателя был помещен рядом. Сквозь роговые очки, занимавшие пол-лица, глядели на Птахина простодушные глазки.

Птахин швырнул книгу, поднялся и, терзая зубами незажженную папироску, зашагал по скверу за вокзалом. Сколько он так проходил, сам не знал.

Уж начало вечереть, когда он увидел спускавшуюся к переезду телегу, которую снова тащил Петушок. На телеге сидели двое: милиционер, которого он узнал по форме; другого пока различить не мог. Птахин хотел выйти из скверика, да раздумал. Толстые стволы одряхлевших от старости, изросших в сучья тополей скрывали скамейку, на которой он сидел. Телега повернула к вокзалу. Птахин узнал сидевшего на телеге рядом с милиционером Карасева. Возле магазина телега остановилась. Милиционер повел Карасева к вокзалу.

— Курить разрешается? — услышал Птахин голос Карасева.

— Курите, чего ж?

Следом за телегой, поныривая в выбоинах, подъехал

газик зонального секретаря. Уланов торопливо вынырнул из него и тоже направился к вокзалу.

Птахин подождал, пока Уланов поравнялся с ним.

— Добрый день, Иван Андреевич! — окликнул он его и протянул через заборчик руку.

Уланов помедлил, нехотя подал руку и сухо ответил на приветствие:

— Здравствуйте.

Птахин молчал, не зная, с чего начать разговор, и ухватился за спасительное средство.

— Закуривайте, — шлепнул он по пачке «Беломор», — ленинградские, с фабрики Урицкого.

— Спасибо. Я только что бросил.

— А-а, тогда я один закурую, — смущенно пробормотал Птахин и, когда справился с собой, щурясь от дыма, как мог небрежной полубопытствовал:

— Куда же Карасева-то?

— В тюрьму, — ответил Уланов, колюче прощупывая Птахина через стекла очков.

Чисто выбритое лицо секретаря было обветрено, губы шелушились. Раздвоенный на кончике нос заострился. Худоба и стремительность появились в Уланове. Почему-то все это бросилось в глаза Птахину только сейчас, и он первый раз поймал себя на мысли, как, должно быть, трудно работать этому, не очень здоровому, не очень сильному человеку, на новой должности, сколько напряжения, подчас, может, непосильного, требуется от него, чтобы поднимать такие колхозы, как «Уральский партизан». Кабы он один был такой «Партизан».

— Во-он что! — с плохо скрываемым изумлением сказал Птахин, думая обо всем этом. — За что Карасика-то?

— За ловкость рук.

— За это у нас, кажется, еще не садят, — натянуто усмехнулся Птахин.

— Эх, Птахин, Птахин! — не отзываясь на его реплику, покачал головой Уланов. — Знаешь ли ты, что тебя спасли от тюрьмы только расписки этого пройдохи Карасева да твои прошлые добрые дела?

— Ничего я не знаю.

— А жаль, придется рассказать, хотя и не особенно хочется с тобой здесь, с таким вот, разговаривать. Качалин Яков Григорьевич тебя отстаивал в райкоме. Я, говорит, вот таким юнцом его знаю. Способный он и невредный для колхоза человек. Беда только, что с курса сбился.

Но если, говорит, он побудет среди колхозников, поработает в поле, мозолей на ладони натрет, да сам своим горбом рассчитается за тот урон, который нанес колхозу, поймет, с кем идти надо и куда. Я, говорит, верю в него. Это в тебя, значит. — Уланов поправил пальцами очки и задумчиво прибавил: — Не вернулся еще Яков Григорьевич домой и не знает, что вы уже бросили колхоз. Другое бы, вероятно, заговорил.

Птахин молчал и, как мальчишка, крутил пуговицу на пиджаке, глядя себе под ноги. К сапогу пристал прошлогодний лист. Птахин наклонился, чтобы отскрести его.

— Между прочим, — донесся до него голос секретаря, — когда у Качалина спросили, отчего он так яро заступает за тебя, он ответил: «Я, говорит, заступаюсь не только за человека, но и за молодого коммуниста и хочу, чтобы он смог заглядеть свою вину перед людьми, перед партией». Хорошо сказал Качалин, да, вижу я, напрасно хорошие слова тратил, — заключил Уланов и, ничего больше не прибавив, пошел к вокзалу.

От березового листка в руках остались только клочки. Птахин зачем-то понюхал их, вытер руку и почувствовал, как рубашка у него прилипла к спине. Он утерся рукавом и снова закурил, хотя во рту уже и без того было горько.

Пришел пригородный поезд. Паровоз теперь катился передом и, весело прокричав, пшикнул тормозами.

Из вокзала вывели Карасева. Он небрежно хлестал по голенищу хромового сапога березовой веткой, мимоходом пугнул охальным движением руки молоденькую проводницу и, громко расхохотавшись, исчез в вагоне.

— У, гадюка! — сквозь зубы процедил Птахин и почти бегом кинулся на вокзал.

Клара с помятым после сна лицом сидела у чемодана. Она раздраженно набросилась на мужа:

— Где тебя нечистая носит?

— Забарабали твоего приятеля, видела?

— Даже разговаривала и кое-что ему на дорогу дала.

Он выкрутится, не беспокойся. Это не ты! Тебе ведь надо везде няньку. На твердый поступок ты не способен. А Карасев выскользнет, он такой!

— Значит, ты думаешь, так уж ни на что и не способен? — зловеще спросил Птахин. У него вдруг изменился голос, стал тверже, исчезла гнусавость. Он поднялся. По лицу его разлилась бледность. С трудом владея собой, Птахин по возможности спокойно сказал, решительно и

гневно, отбрасывая все страхи и сомнения, одолевавшие его еще минутоу назад:

— Дай сюда ключ от маленького чемодана.

— Зачем?

— Дай. Надо, — повторил он и, уже выходя из вокзала, обернувшись, бросил:

— Время покажет, кто на что способен!

Клара, подняв брови, озадаченно смотрела на закрывшуюся дверь, перевела взгляд на окно и увидела, что Птахин широкими шагами направился к камере хранения.

Клара подозрительно прищурилась.

Где-нибудь в горах, затаившись от солнца, закрытый плотной шубой хвойных лесов, лежит и млеет в полдень снег, распуская слезы, которые тут же превращаются в ручейки. Мчатся они с удалым, недолговечным шумом. Вместе с ручьями ползет из лесов холодок, а по утрам туман и ишей. Там, будто раненная насмерть медведица, залегла зима и последними, злыми усилиями отбивается от звонкой, всюду проникающей весны. Зато здесь, у реки, о зиме напоминают только редкие льдины, застрявшие на берегу. Солнце лижет эти голубоватые снизу и серые сверху глыбы. Они рыхлеют и со стеклянным звоном рассыпаются на множество тонких прозрачных сосулек. Любят тайком от родителей полакомиться ими ребятишки. Тася даже остановилась от неожиданности, подумав о том, что Сережка непременно попробует лизать соблазнительные сосульки. А потом его ангино замучает.

«А-а, ничего, все равно не усмотришь! Я тоже маленькая ела». Она вспоминала, как прятала от бабушки кусочек сосульки за спиной. Говорить не могла, потому что во рту тоже была обжигающе холодная сосулька. «Ладно уж, ела, ела», — не выдержав пристального взгляда бабушки, призналась она и выплонула льдинку на землю. «Вдруго-редь соврешь — подавишься», — сказала бабушка.

Где-то совсем близко мелькнули эти видения, словно из другого мира, подернутого золотым маревом. Яркое, в меру ласковое солнце, шуршащие побеги травки на берегу, тиньканье капель возле льдин — все это располагало к воспоминаниям. Тасе хотелось открыто любить все вокруг и всех вокруг, но обязательно иметь при этом такую душу, которая бы так же, без лишних слов, понимала и чувствовала ту музыку, которая поет внутри. Сладкая

грусть щиплет сердце Таси, какая-то смутная тревога не дает ей покоя.

За льдиной, навалившейся на угловатую каменную глыбу, она увидела человека. Он сидел на желтом чемодане и бросал в воду камешки. Рядом с ним лежал плащ и стоял никелированный чайник с вмятиной на боку. Человек бросал камни с мальчишеским азартом и ловкостью. Вот он запустил каменную плиточку с особенным усердием. На воде замелькали «блинчики», сначала редкие и широкие, потом частые. Наконец они слились воедино.

— Восемь! — вслух сказал человек и автоматически, очевидно, совсем не задумываясь над словами, начал твердить напевом: — Восемь, восемь, восемь, доктора просим... восемь, восемь, доктора просим...

— Зиновий! — пораженная до глубины души, воскликнула Тася, забыв о том, что она прежде называла его по имени и отчеству, и были они всегда на вы. Она шагнула из-за льдины и поздоровалась.

Птахин вспыхнул, опустил руку, отшвырнул камешки.

— Здравствуй, Петровна, здравствуй! — перебарывая смущение, заговорил он торопливо. — Не думал я, что тебя первую встречу! Хорошо это, удача будет. Ты — человек легкий! Казнить-ся вот к вам иду... — Он помялся, поглядел на реку и неожиданно сказал, совсем не к месту: — Видела, как я ловко запустил плиточку, сразу восемь блинчиков выкушал.

— Постой, постой, — вовсе сбитая с толку, остановила его Тася и, не веря в возникшее предположение, вопросительно глянула на него. — А жена?..

— Уехала... — Птахин перебросил несколько раз из руки в руку камень, а потом замер, стиснув холодный буроватый голыш в ладони. — Так-то, Петровна, видишь вот... — Он выронил камень из рук, снова поднял его, запустил подальше в реку и отвернулся.

Тася присела, начала теревить пальцами травку. Птахин запылся тем же.

— Как думаешь, Петровна, — угрюмо заговорил Птахин, — как, говорю, думаешь, — кивнул он головой в сторону Корзиновки, — дозvoлят наши работать в деревне?

Тася подумала, отломилa сосульку и держала до тех пор, пока с нее ручейком не потекла вода. Руки Птахина перестали метаться. Он почти с мольбой глядел на Тасю.

— Не знаю, — откровенно произнесла она, глядя на беспокойную гладь реки. — Право, не знаю, Зиновий. Бо-

юсь тебя обнадеживать, по мне известно одно: наши люди умеют больше прощать, чем наказывать.

В глазах Птахина мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Он торопливо поднялся, бросил на плечо плащ и, взяв чемодан, пошел напрямик к крутому берегу.

— Чайник-то! — крикнула Тася.

— Фу, окаянный! Ну никак я его потерять не могу! — улыбнулся Птахин и, принимая чайник, поймал Тасину руку. — Ты-то хоть, Петровна, не сердись на меня.

— Да что ты, что ты, Зиновий! — смутилась Тася и неожиданно для себя добавила: — Я рада за тебя...

— Спасибо на добром слове. Надо еще на ночлег остановиться где-то. Не всяк меня в Корзиновке ночевать пустит.

— Не устройшься, к нам приходи.

— За приглашение тоже спасибо. Только едва ли. Перед Макарихой-то как я буду...

— Все равно ведь придется и с ней, и с другими встречаться.

— Да, это верно, — опустил голову Птахин и встряхнулся. — Ну так я пошел, Петровна. — Он отошел несколько шагов и окликнул ее: — Иди берегом, в сосняк не сворачивай, клещи появились. Вопьется в человека — и сразу его припадки начинают колотить. А то, бабы рассказывают, и кондрашка хватит. Конечно, верить им... — он безнадежно махнул рукой, — но все-таки поберегись. Иногда и бабы правду говорят...

— Ничего, не беспокойся, клещи тоже знают, в кого впиваться. У нашего брата, деревенских, кожа крепкая.

— Оно так! — рассмеялся Птахин и одним махом прыгнул с чемоданом на обвалившийся взгорок.

Он шел быстро, будто боясь остановиться, и когда исчез за поворотом, Тася сама себе задумчиво сказала:

— Вот так, Петровна, разные люди бывают. Иные как глина, а иные просто человеки и человеки. Хорошо, что на свете много человеков!

Сосулька в Тасиной руке стала совсем тоненькой. Не выдержав соблазна, она лизнула ее, раскусила и зашагала по берегу, норовя ступать на плоские, каменные плиты. В глубине острова призывно кричал журавль. В его голосе чувствовалась весенняя истома.

Тася вслушалась в журавлиный клещ, в шум и плеск воды, в печальный перезвон распадающихся льдин. У нее сжалось сердце от какого-то тревожного предчувствия.

Неужели в этом была виновата весна?..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Давно нет в живых тех, кто мог бы рассказать, как поровистая река Кременная в одну из весен рванулась в сторону и, смыв на пути половину деревеньки Малышок, что располагалась под угором, потекла новой дорогой. Уцелевшая часть деревеньки оказалась на острове, а деревня Корзиновка, стоявшая на горе, вдали от реки, очутилась возле самой воды.

Летом обмелевшую, больше похожую на ручей, протоку можно перебрести во многих местах. Весной же протока мало чем отличается от того рукава реки, который мчится и бурлит по другую сторону острова. В вешнее половодье бурные струи, с силой ударяя в податливый берег, подмывают его, подбираясь ближе и ближе к дому Лидии Николаевны.

Особенно ходко обваливается крутой, рыхлый берег ныпче: глыбы за глыбами ухают в мутную, быструю воду. Часть земли вихревые струи затаскивают на остров, увеличивая пологий выступ, а остальная земля уносится неведь куда.

Пользуясь отсутствием Галки и Юрия, Костя, Васюха и Сережка затеяли игру. Они вначале помогали ногами отваливаться глыбам: упрутся в щель пятками, нажмут — и поползет этакая махина вниз все быстрее и быстрее, а когда бултыхнется так, что пойдут волны до самого острова, ребята визжат от восторга. Но ребятишкам всякая однообразная игра быстро приедается. Надоела им и эта. Гораздый на выдумки Костя предложил:

— А давайте, кто смелей, а? — И, подвернув штаны, уже увлеченный этой выдумкой, Костя промчался по накренившейся глыбе. — Вот так!

Щель между пластом земли и берегом стала заметней. Васюха разбежался, но оробел и остановился у самой щели.

— Эх ты, кержа-ак! Вон Сережка не испугался! Правда, Серег?

Сережка не мог ничего выговорить от волнения. Он согласно кивал головой, потом зажмурился и побежал. Глыба не отвалилась, а разделилась надвое, и одна половина ускользнула из-под Сережкиных ног. Он схватился за другую половину. Костя видел, как мальчик цеплялся за чахлую травку и, выдирая ее с корнями, сползал вниз.

— Держись! Я чичас! — крикнул Костя и отважно бросился на помощь Сережке. Но он только помог отвалить-

ся земле и едва сам успел перескочить обратно на берег. Где-то над краем обрыва мелькнули огромные, застывшие в ужасе, глаза Сережки, и все исчезло...

Тася сидела лицом к окну, разговаривала с Улановым. Она первая заметила мчавшегося верхом, без седла, Юрия и, побледнев, вскочила:

— Что-то случилось! У меня так щемило сердце. Что-то случилось? — Оставив Уланова одного, она ринулась вниз по лестнице.

— Юрий, что произошло... говори... с Сережкой?..

Юрий опустил голову. Тася вскрикнула, взмахнула руками и побежала по дороге.

Уже около ручья, верхом на лошади Юрия Тасю догнал Чудинов и, соскочив с седла, помог ей сесть.

— Верхом скорей...

Когда на взмыленной лошади Тася примчалась в Корзиповку, почти все жители деревни суетились на берегу. Они были с баграми, кошками, плавали на лодках, готовились закидывать сети. Кошками вытащили несколько корней, похожих на водяные чудища, старые ведра, разное барахло.

Тася подошла к берегу, непонимающими глазами уставилась в мертвую, стремительно мчавшуюся воду.

— Голубушка ты наша! — запричитала Августа. — Не уберегли сиротку-у-у...

— Молчи ты! — дернула ее за полу кофты Лидия Николаевна. И, заметив на лице Августы неподдельную скорбь и крупные слезы, катившиеся по пухлым щекам, дрогнувшим голосом прошептала:

— Убирайся домой, без тебя тошно...

Тася все стояла и стояла на кругоярье. Люди смолкли, поглядывая на ее застывшую фигуру, готовые успокаивать или спасать, если ей вдруг вздумается с отчаянием тоже броситься с яра. Но вот Тася повернулась к односельчанам, и все поразились. Она не плакала. На лице ее была какая-то странная улыбка, похожая скорее на гримасу, жуткая, неживая улыбка.

— Что-то не то... что-то не то... — повторяла она едва слышно и терла висок рукой.

И всем стало понятно: она не хотела, не могла поверить тому, что случилось. Она с надеждой глядела на собравшихся, ждала от них одного только ответа, чтобы и они сказали: «Да, не то». И она ловила взгляды людей, искала в них ответ, но, встретившись с ее взглядом, люди

мгновенно прятали глаза. Будто все были виноваты перед ней. И когда опустила свои глаза даже Лидия Николаевна, Тася без звука упала на землю, рухнула, как неумелый пловец в воду, грузно, с судорожно открытым ртом.

Ее подхватили на руки, поспешили в дом. Там натирали нашатырным спиртом виски, лили в перскошенный рот студеною воду.

По берегу бродил осунувшийся Костя и, размазывая рукой слезы, звал:

— Сереженька! Где ты, матушка?..

Сдерживая рыдания, боясь, чтобы он не помешался, Лидия Николаевна ходила за ним и упрашивала:

— Костюшка, сынок, пойдем домой, милый, пойдем.

Костя смотрел на нее с горьким недоумением.

— Мама, ведь это я придумал.

Внезапно на берегу появился взлохмаченный, запыхавшийся Лихачев и, узнав, что Тася в избе, кинулся туда. Он схватил ее руку, потянул за собой.

— Там... сплавщики поймали...

Тася не сразу пришла в себя, но в ее остановившемся, оледеневшем взгляде начала пробуждаться надежда. Еще не осознав полностью того, что говорил Василий, она ринулась к реке. Руку у Лихачева она вырвала и бежала так быстро, что Василий едва поспевал за ней.

Неподалеку от Дымной навстречу вынырнул газик Уланова. Секретарь выскочил из машины на ходу.

— Я был у сплавщиков... Серезу откачали и отправили в больницу. На машине не смогли проехать. Успокойтесь, Таисья Петровна. Успокойтесь...

Потрясение было настолько велико, что Тася уже утратила способность сразу воспринимать события, понимать слова. Все до ее рассудка доходило сейчас медленно, и если она куда-то бежала, что-то делала, то автоматически. В сердце ее раскаленной иглой уже вошла боль, неизмеримая боль, от которой зашлось сердце. И вот оно начало биться сильнее, словно сжавшиеся в ней пружины медленно отпускались. Слова Василия и Уланова с трудом пропикали в оцепеневший мозг.

Она диковато уставилась на Ивана Андреевича, медленно перевела взгляд на Лихачева. «Лжете?» — спрашивали ее глаза. Уланов выдержал взгляд матери, потрясенной почти до потери рассудка, инстинктивно протянул к ней руки, и Тася с рыданием упала на них. Слез было так много, что она захлебывалась ими.

Иван Андреевич растерялся, что-то бормотал, усаживая ее в машину.

Рядом с ней на продавленное сиденье опустился Лихачев и тоже пытался говорить успокаивающие слова. Уланов уже взялся за дверцу, намереваясь сесть рядом с шофером, но посмотрел на Лихачева, на Тасю, доверчиво прикинувшую к нему, и понял больше, чем увидел.

— Давай! — крикнул он шоферу.

Газик пустил облако голубого дыма, рванулся по дороге. Уланов стоял неподвижно, прислушивался к удаляющемуся шуму мотора.

Запах прошлогодней прелой листвы мешался с нарождающимися ароматами молодой травы и ранних цветов. Аромат тревожил и пьянил. В небо со звонкой песней вибрировался жаворонок. С каждым взмахом крыльев все бесшабашней становилась его песня.

Камешком упал жаворонок с высоты, проведая свою подружку, пощebetал о чем-то влюбленно и снова взвился, будто выстреленный из рогатки, и запел еще звонче. Пьян от любви жаворонок и способен слышать лишь две песни: свою да ту, которая поется для него.

«Весна поет влюбленными голосами!» — вспомнилась Уланову строчка из какой-то давно прочитанной книги, и он вздохнул. Глубокое сожаление о том, что он упустил в жизни что-то очень дорогое, угнетало его.

Как он мог жить без любви?

Он пожил на свете и умел управлять собой и своими чувствами, поэтому ни единым вздохом, ни единым движением не выдал себя. Может быть, это и плохо. По-видимому, рассудок вредит любви. Но любить не задумываясь, не рассуждая — удел юношей. Уланов же не терял от любви голову. Но видеть Тасю, слышать ее голос, чем-то помочь ей — было для него неизмеримой радостью.

Иногда ему становилось досадно оттого, что не встретила ему такая раньше, когда он был моложе. Тася обращалась к нему как к старшему товарищу. Ей, очевидно, никогда и в голову не приходило, что Иван Андреевич может относиться к ней как-то иначе.

И все-таки пришло бы, такое время, когда Уланов, несмотря на всю свою осмотрительность, выдал бы себя.

Но все складывалось иначе. Беда, постигшая молодую женщину, была и его бедой — это он сегодня ощутил особенно ясно! И когда он мчался на машине вдоль протоки, что-то кричал, отдавал какие-то распоряжения, он

так же, как и Тася, плохо помнил себя. Ничего не помня, бросился он в будку сплавщиков, где в забытьи лежал выловленный Сережа, припал ухом к груди мальчика. До него донеслось отдаленное, чуть слышимое биение мальчишеского сердца. Иван Андреевич вдруг почувствовал, что горло у него перехватило. Он поднял мокрого мальчишку на руки и, не чувствуя тяжести, помчался к машине. Машина застряла недалеко от эстакады на размытой дороге. Он перенес Сережу на платформу и, согнув по-азиатски ноги, пристроил на них мальчика. Дорогой Сережу расстрясло, его начало рвать густо замутившейся водой. Мальчик корчился от натуги, жалобно хныкал между свирепыми вспышками рвоты. На лбу Уланова выступил холодный пот. Он прижимал к груди голову Сережи, что-то говорил ему, сам не понимая своих слов.

Паровозик примчал их в леспромхоз. Здесь Уланов попробовал встать на ноги и не смог. Ноги затекли и сделались точно чужие.

Потом он мчался уже обратно, чтобы принести радость Тасе. Он еще сейчас ощущал на груди прикосновение ее головы. Признательное, благодарное это прикосновение обрадовало и напугало Уланова. Она и впредь придет к нему с бедой и радостью, как к старшему другу. И он всегда всем сердцем откликнется, подаст ей руку, но у него хватит силы воли и мужества ничем не омрачать их дружеских отношений. Он никогда не помешает ее счастью, если оно у нее сыщется. А он боялся этого и хотел, чтобы она была счастлива.

В глубокой задумчивости миновал Уланов околицу Корзиновки. Под его ногами мягко заколыхалось болотце, раскинувшееся среди сосняка.

С одной топкистой сосенки к другой деловито, как заботливый рыбак, тянул коварную сеть клещастый паук. Первым в его ловушку попало солнце. Оно забилося в паутине, рассыпалось яркими жучками. Но сколько паук ни гонялся за ним, овладеть добычей не мог.

Вдруг из-под ног Уланова, фыркнув, снялась пара рябчиков. Петушок разметал сеть крыльями, уронил в кочки сонного паука. Через минуту в глубине леса послышался его переливающийся трелями свист. Ему откликнулся с земли дрожащий от нетерпения голос самки. Весна проникла и в этот хилый болотный сосняк.

Тропинка вывела Ивана Андреевича к усадьбе МТС, здесь его встретил непривычно взволнованный Чудинов.

— Ну, как там? Я звонил и ничего толком узнать не мог. Он с надеждой и испугом смотрел на Уланова. Было в его взгляде такое, от чего Уланов пришел в замешательство. Не отводя взгляда от Чудинова, он рассказал ему о спасении Сережки. Чудинов сразу весь обмяк и бессильно опустился на траву.

— Дай закурить, Иван Андреевич! — Чудинов зажег спичку, поднес ее к папиросе и не зажег, а вдруг неестественно страдающим голосом произнес: — Уехать мне надо. — И все так же, не поворачивая головы, добавил: — Вы ведь моего сына сегодня спасали.

— Что?! — не понял Иван Андреевич.

— Моего, говорю, сына спасали, — уже громче, как глухому, сказал Чудинов и подтвердил: — Да-а, Сережа — мой сын.

Уланов стоял, с недоумением глядел на Чудинова. Он еще ничего не понял. Мелькнуло в памяти мальчишеское лицо, разительно схожее с лицом Чудинова. Уланов сделал шаг к директору. А тот, вероятно, истолковав движение Ивана Андреевича по-своему, начал торопливо, захлебываясь, как напроказивший мальчишка, говорить. Он перескакивал с одного на другое. Главное все же можно было понять.

Рассказ Чудинова занял не больше двух минут, а пауза, наступившая после него, длилась целую вечность. Все, что было святым для Ивана Андреевича, — молодость, любовь, родительское чувство, — осквернил этот человек, который, судя по его характеру и виду, не мог бы обидеть и малой козявки, которому Уланов так доверял, дружбой которого дорожил. Такой удар Уланов пережил только раз в жизни. То было давно и боль успела притупиться. Иван Андреевич все-таки нашел в себе силы перебороть закипающий гнев. Он сквозь зубы выдавил:

— Не знал, не знал я, что ты такой... — он хотел сказать «мерзавец», но, заметив, как жалко сник и разом постарел Чудинов, круто повернулся и зашагал от него прочь.

«Нашел кому исповедоваться», — горько усмехнулся Уланов. Ивану Андреевичу хотелось уйти куда-нибудь, скрыться, чтобы не видеть ни яркого солнца, ни внешнего половодья, ни людей.

Пасмурный и усталый явился Иван Андреевич утром в контору МТС. Чудинов уже был у себя. Уланов прошел к нему, не подавая руки, примостился на подоконнике.

Пытливо глядя на осунувшееся лицо директора, заговорил:

— Чего расклеился? Ночь не спал? Люди из-за тебя, может быть, много ночей не спали, да о деле помнили.

Уланов помолчал, преодолел раздражение и, остановившись перед Чудиновым, уже спокойно спросил:

— Ну, что молчишь?

— А чего я скажу? Нечего сказать! Лучше ты подскажи, Иван Андреевич: как мне быть?

Уланов снова сел, задумался.

— Да-а, как тебе быть? Не знаю я, честное слово, не знаю. Осудить тебя как коммуниста? А кому от этого легче? Таисье Петровне и так сейчас тяжело. Кроме того, у нее, кажется, что-то палаживается с Лихачевым. Удивляешься? — Он поднял глаза на Чудинова, который быстро повернулся к нему. — Думаешь, ты совсем лишил ее права на семейную жизнь?

— Ничего я не думаю, — невнятно проговорил Чудинов. — Я рад буду, если у нее все устроится.

— Хорошо, если так.

— Иван Андреевич...

— Верю. Не верил бы, сюда не зашел. Что же касается... Когда-нибудь соберешься с силами, расскажешь обо всем жене. А сейчас нельзя.

Иван Андреевич, раздраженно продолжал:

— Ты несколько раз говорил о том, чтобы тебе с семьей уехать куда-нибудь, я поддерживаю эту идею.

Чудинов сидел не двигаясь, глядя в одну точку. Он что-то трудно обдумывал.

Машина снова забуксовала неподалеку от лесосклада. Василий предложил ехать в леспромхоз по узкоколейке. Однобufferные платформы плотно загружены лесом. Невзирая на занятость и суету, лесозаготовители узнали, что очередного рейса дожидаются родители вытасченного из реки мальчика. Молодой бригадир заорал на машиниста, который вылез из жаркого паровозика и, лежа на берегу, курил:

— Тут не пляж! Собирай пустые платформы, пока идет разгрузка!

Машинист начал отругиваться. Бригадир нагнулся, тихо заговорил, поднеся кулак к чумазому носу машиниста, и тот поспешил на паровоз.

Бригадир пригласил Тасю и Лихачева в конторку, сказав, что там сейчас сплавщики отогревают того малого,

который спас мальчика. Сплавщик, вытащивший Сережку из воды, был молоденький, конопатый, с выкрошившимся передним зубом. Он уже изрядно выпил. Сплавщики «отогревали» его па совесть. На нем был накинут пыльный тулуп, из-под которого виднелись тесемки кальсон. На голове нахлобучена большая меховая шапка, которая закрывала парню уши и глаза. Он то и дело приподнимал ее рукой. Видно было, что парень рассказывал о сегодняшнем происшествии не первый раз, но никто его не перебивал, все слушали с одобрением.

— Я, понимаешь, стою па боне, ниже Корзиновки, с багром, и вижу: мельтепит в воде, рубашонка вроде, беленькая,— шепелявя рассказывал он, обращаясь к молоденькой приемщице, которая ласково глядела на него.— Я сперва не понял ничего, потом вижу — головенка! Я, понимаешь, как был, ух! В воду! Хватаю, хватаю — рука соскользает. У него, понимаешь, голова стриженная, а я хватаю. Потом уж изловчился, нырять пришлось. Снесло.

Что-то горячее шевельнулось в груди Василия. Он перешагнул через порог тесной, прокуренной конторки.

— Спасибо тебе, друг!

Сплавщик смущенно отмахнулся.

— Да чего там! Вы что, папаша мальчика будете?

— Вроде... — неуверенно выдавил Василий и оглянулся на дверь.

Тася ничего не слышала. Она стояла на улице и с нетерпением ждала, когда состав будет готов к отправке.

Паровозик, запыхавшись, мчался по лесу, окропленному первыми брызгами зелени. Платформочки лихо подбрасывало, Тася и Лихачев сидели рядом, приспособившись спиной к тормозной стенке. Тася по-прежнему молчала, и Лихачев не надоедал ей разговорами.

Тасю одолевали нетерпение, раскаяние и множество тревожных мыслей. Из мыслей ее, па первый взгляд хаотических, разрозненных, как из кусков железа, составлялись звенья, соединялись между собой в единую цепь. Звеньями этой цепи были дни жизни маленького сына, который лежал где-то в больнице. «А вдруг он умрет?» — эта мысль оглушала Тасю. Надо было заботиться о нем, не отпускать от себя, за руку держать, за упрямую мальчишескую руку. Скорее, скорее! Дышать на эти руки, отогреть и потом, когда он уснет, чмокнуть его в завихренную макушку... А ночью чувствовать, что рядом, угкнувшись носом в грудь, дышит теплом самый драгоценный

человек. Ее сын! Она мало заботилась о нем. За делами забывала порой о сыне. Его растили чужие люди. Она часто его ругала и даже наказывала. Как только рука поднималась! Да если он будет живой, она не только тронуть, а взглянуть на него сердито не посмеет...

Стучали колеса, и Тася думала то самое, что думают все матери, когда с их детьми случается беда. Чем ближе было до леспромхоза, тем чаще Тася вскакивала на ноги, смотрела вперед. Вот и стрелка. Еще не успели отшипеть тормоза паровозика, а Тася и Лихачев уже мчались мимо выкорчеванных корней, огородов, новых домишек к больнице. Больница в центре поселка. Еще на улице ударил в нос забыглый запах лекарств — и замерло сердце. Тася приложила руки к груди и так, не отнимая их, подтялась на крыльцо. Василий легонько ее поддерживал.

Вот уже третий день Сережка дома. Он еще не совсем оправился после воспаления легких.

Сережка лежал на кровати, разомлевший от тепла и ласки. Он позволял себе даже капризничать, и любой каприз его выполнялся беспрекословно как взрослыми, так и ребятами. Сейчас добровольные сиделки и посетители немного схлынули, Сережка уснул. По избе с величайшей осторожностью ходил Василий Лихачев и выгонял в открытую дверь залетевшую муху. Все свободное от работы время Лихачев проводил здесь. Квартировать он переехал к старой Удалихе, чтобы быть поближе к Тасе и Сережке.

В поле работал его трактор. Лихачев за короткий срок так вымуштровал своего помощника, что тот свободно заменял его. Василий метался все эти дни от поля к дому Лидии Николаевны. Натаскал он мальчишке ворох цветов, но Сережка к ним относился довольно равнодушно. Зато машины и механизмы приводили его в восторг.

Лихачев затаил в душе думку и с нетерпением ожидал полочки. Вчера он получил деньги и купил Сережке двухколесный велосипед. Он знал, что именно двухколесный, а не трехколесный, по душе Сережке. Пока мальчик спал, Лихачев сбегал домой, принес велосипед и, осторожно поставив его возле кровати, побежал в поле. Он нарочно не снял бумажную обмотку с велосипеда, не стер мазут с ходовых частей. Все это они сделают вместе.

На душе у Василия празднично. Он заранее радуется

Сережкиной радости, «Какое это, оказывается, счастье, дарить что-нибудь близким людям!»

Часа через два Лихачев заглянул в Тасину квартиру и застал мальчика одного. Он сидел на кровати в трусиках и, не притрагиваясь к велосипеду, во все глаза глядел на него.

Когда Василий перешагнул порог и приблизился к Сережке, мальчишка вдруг пружинисто взвился и обхватил его шею похудевшими ручонками с острыми локтями.

— Я не буду ломать этот велосипед! — доверчиво прошептал он Василию на ухо, и у Лихачева сладко замерло сердце.

Потом они вместе обрывали бумагу, вытирали смазку подвернувшейся под руку еще доброй наволочкой. Ключики, гайки и прочее добро они складывали на постель. Сережка все поровил делать сам и то и дело заливался звонким смехом. Когда они вытерли велосипед и Василий прокатил его по комнате, звеня колокольчиком, Сережка выдохнул мальчишеское откровение:

— Хорошо, что я утопался.

— Чего, чего?

Но что-то неуловимое свершилось в мальчишеской душе, и он, спрятав глаза, неохотно отозвался:

— Ничего, так...

Однако Василий сумел разгадать весь смысл этого, идущего от всего сердца, признания. Да, мальчик был рад, что несчастье, свершившееся с ним, так сдружило его с Лихачевым, с мужчиной, который стал ему дорог и близок. Сережке нужен был отец.

Но существовало еще такое, чего Сережка не мог постичь своим умом. Мир для него не был тем сложным миром, каким он был для взрослых. Василий подавил вздох и предложил:

— Ты бы поел, Серега!

— Опять молоко, опять лапшу? — капризно надул губы Сережка.

— А чего же тебе хочется?

Мальчишка, глядя в сторону, тоном приказа отрубил:

— Селедки с картошкой и с луком.

Василий поскреб в затылке:

— Нельзя тебе, Серьга, острого, понимаешь?

Мальчик демонстративно отвернулся к стене и скосил глаза на Василия.

— Здорово хочется, Серега?

Завихренная макушка Сережки дернулась в знак того, что без селедки жить невыносимо и диета осточертела.

Лихачев стоял некоторое время в раздумье, потом удалился. Минут через десять он принес в замазанном газетном свертке кусочек селедки, несколько перышек луку и сваренной картошки в мундире, которую дала ему старая Удалиха. К этому она сделала словесное добавление насчет того, что надо есть все, чего душе желательно, и тогда человек любую хворь победит.

— На, рубай, только проворней!

Сережка уписывал за обе щеки запретную пищу, размахивал при этом руками, пытался что-то рассказывать Василию. Лихачев не спускал с него глаз и одновременно прислушивался к шуму на улице.

Хлопнула дверь в сенках. Василий вскочил.

— Полуцдра, Серега! Мать идет! Засыпались!

Через секунду они уже сидели как ни в чем не бывало. Остатки еды лежали под матрацем, а Сережка, давясь, дожевывал пищу.

Тревога была напрасной. В избу завернула Лидия Николаевна. Она кое-что прибрала, поправила постель и сделала вид, будто никакой подозрительной поклажи под матрацем не заметила. Уже отворив дверь, она спросила у Василия:

— Ну и долго так думаете канителиться?

— О чем это вы?

— Будто не знаешь? Где так догадлив и храбер. Неужели мне в помощники опять зачисляться?

— Сделайте милость, тетя Лида, возьмите еще одну внештатную должность на себя.— полусерьезно, полушутя проговорил Василий и потупился.— Неудобно мне самому...

— Эх ты, вояка! — с улыбкой покачала головой Лидия Николаевна.— Худой он вояка? Мышонок? — обратилась она к мальчику и притворно плюнула.— Тьфу, какой трус!

Сережка нахохлился.— Откуда знаешь? Он не трус! Он на танке воевал!

Лидия Николаевна прикрыла рот кончиком платка и со смеющимися глазами шагнула за дверь.

Перед вечером заглянула домой Тася. Она заметила велосипед, мазутные пятна на простыне, подушке и, как это умеют делать только хозяйки, ворчливо сказала:

— Вы тут, ребята, зря на кровати ремонтные мастерские открыли. Мне стирать сейчас некогда.

«Ребята» заговорщически глядели друг на друга: ничего, дескать, пошумит да перестанет.

Трудно было Тасе сдержать душевное ликование при

виде этой картины. Она осмотрела велосипед, тоже позвенела в звонок и, тихонько напевая, припалась собирать на стол.

Уже солнце село за щетинку дальних лесов, оставив после себя широкий лист раскаленного недоката, остывающего по краям, когда пришел навестить Сережку Уланов. Он держался подчеркнуто вежливо, чувствовал себя стесненно и стал быстро прощаться.

Тася вышла проводить его. Вечер успел накрыть мягким пологом деревню, сделалось прохладней. Где-то вдали опять одиноко кричал журавль. Ему никто не откликнулся. Уланов крепко пожал Тасе руку и, на секунду задержав ее, как бы между прочим сообщил:

— Чудинов на днях начнет сдавать свои дела и уедет работать в Сибирь.

Почувствовав, как дрогнула Тасина рука, он поспешно направил разговор в другое русло:

— Если нужно, Таисья Петровна, я похлопочу путевку в санаторий для вашего сына.

— Нет, нет, я его теперь от себя не отпущу,— запротестовала Тася и, высвободив руку, отступила назад, в сенки. Оттуда прозвучал ее напряженный голос:

— Вы знаете все, Иван Андреевич?

Наступило долгое молчание, и человек, которому страшно хотелось соврать, не сумев этого сделать, произнес:

— Да.

Опять пауза, только еще более продолжительная. В наступившей тишине слышалось лишь их дыхание. Даже журавль умолк, устал, видно. Звякнула щеколда ворот. За дощатой перегородкой сенок заскрипели половицы под грузными шагами. Яков Григорьевич возвращался с работы домой. Открылась дверь, на улицу выплеснулся ребячий гомон. Дверь стукнула, и снова сделалось тихо.

— Я вот часто теперь задумываюсь,— неожиданно заговорила Тася,— задумываюсь над тем, что было бы со мной и с Сережкой, если бы вокруг нас не жило столько хороших людей.

Иван Андреевич ничего не ответил, только слегка встрепенулся и поискал ее взглядом. Глаза уже привыкли к темноте, и он различал ее фигуру с накинутым на плечи белым шарфиком. Она стояла, прислонившись спиной к косяку, и смотрела вверх, на звезды. Смотрела задумчиво, тихо. Многому научилась понимать Тася и потому часто задумывалась.

Вернувшись с улицы, она застала Сережку и Василия за интереснейшей, с мальчишеской точки зрения, беседой. Они разговаривали про войну. Сережка весь подался вперед и восхищенно, с полуоткрытым ртом слушал Василия.

— А вот что такое герой, дядя Вася? — спросил мальчик и уставился в рот Лихачеву своими любопытными, до необычайности жадными глазами. — Это тот человек, который больше фашистов убил, да?

— Герой?

Василий задумался. Оказывается, очень трудно ответить на такой, казалось бы, простой вопрос, особенно ребенку. Ведь даже у взрослых неодинаковое представление о героизме, а у детей герой — это тот, кто самолеты сбивает, из пулемета косит врагов, как козявок. Они, дети, видят героев в кино и склонны думать, что герои бывают только на войне. И Сережка, конечно, ждал, что дядя Вася сейчас начнет рассказывать такое, что дух захватит.

Тася стояла с недочищенной картошкой, ожидая ответа Василия. Все так же неотрывно глядел ему в рот Сережка, и Лихачев понял: не надо в этот удивительно ласковый и мирный вечер рассказывать про войну, про смерти и кровь. Не надо. Он потрепал Сережку за щеку и с плохо скрытой грустью сказал:

— Нет, Серега, герой не тот, кто больше убил.

Сережка не понял Василия, а Тася поняла, утвердительно закивала головой. Василий принялся разъяснить Сережке, что, когда он вырастет, наступят уже другие времена, и, может, о войне уже все люди забудут, и на земле будут только трудовые герои... может быть...

Поздней ночью Сережка утомился, заснул, положив руку в руку Василия. Лихачев осторожно поднялся, накрыл малого одеялом, постоял еще возле его постели и засобирался домой.

С каждым днем ему все труднее и труднее становилось уходить из этого дома. Сегодня покидать его особенно не хотелось. Он завел часы на угловике, искал еще какую-нибудь работу, которая могла бы хоть ненадолго задержать его здесь, и, не найдя, начал прощаться. Он дошел до двери, обернулся. Тася молча глядела ему вслед и закручивала кончики шерстяного шарфика жгутом.

— Скажи, Вася, тебе не хочется, ну... уходить?

Василий поднял глаза, взглянул на нее с удивлением и, скомкав в руках кепку, признался:

— Не хочется.

Он тут же схватился за дверную ручку, готовый выскользнуть на улицу.

— Погоди.

Тася медленно подошла к нему, скрестила на груди шарфик и продолжала все так же тихо, глядя прямо ему в глаза:

— Если ты все обдумал, если... оставайся... Мне скрывать от тебя нечего. Я тебя люблю.

За окном занималось утро. Оно медленно проникало через окна.

Василий распахнул створки. На подоконник упали легкие снежно-белые лепестки. Ночью расцвела черемуха.

Маленькая южная гостья — яблонька, посаженная Юрием три года назад, смело тянулась за зубчики частокла. Переболела яблонька, и не храни ее от ветра и холода ветвистая черемуха, может быть, и погибла бы.

Оттого, что дом Лидии Николаевны стоял на крутоярье, солнце заглядывало здесь в палисадник раньше, чем в другие. Еще внизу, в распадке, у берега Корзиновки и на острове, едва-едва обозначались липкие язычки листьев на кустах, а на Макарихином угоре уже млела в цвету черемуха — у всех на виду, тихая, белая.

В домах начинали топить печи, запахло в деревне дымком. На улицах замычали коровы, защелкал кнутом пастух Осмолов, выгоняя стадо за околицу. К правлению колхоза, поевживаясь и зевая, прошел уполномоченный из райкома, человек городской, не привыкший вставать рано. Из дворов, что-то еще наказывая на ходу ребятишкам, с узелками в руках выходили женщины и спешили на поля и фермы. Дымя махрой, мужики запрягали лошадей у конного двора и привычно ругали конюха, который так же привычно огрызался, выгаскивая сбрую во двор.

В чьем-то доме играло радио, но его заглушал стук: колхозник Балаболка рубил топором угол конного двора, пробуя острие. Он мозолил топор на точиле в конюховке часа два, пережидая, когда все уберутся на работу, и он потихоньку начнет загораживать свой индивидуальный участок. На Балаболку никто не обращал внимания, и он рубил, рубил да зыркал по сторонам.

А улицы Корзиновки становились все шумней и многолюдней. Деревня просыпалась. Люди собирались на работу.

КОММЕНТАРИИ

Комментарии к этому тому много места не займут, так как я подробно коснулся раннего периода своего творчества в предисловии к данному изданию. Ранние рассказы печатались в основном в уральской периодике: в газетах «Чусовской рабочий», «Звезда», «Молодая гвардия», в журналах «Урал» и «Уральский следопыт», а рассказ «Солдат и мать» был напечатан в журнале «Знамя», № 9 за 1959 год. Это не первая моя ласточка в столице. Первым меня начал публиковать журнал «Смена» — очерки и рассказы, житейские зарисовки: «Строитель», «Заноза», «Обида» и другие — не стоят того, чтобы ими загромождать книгу. Типичные для того времени рассказы, бесхитростные по замыслу и исполнению, но непременно назидательные: «Коршун», «В страдную пору», «Жил на свете Толька», вместе с начальным вариантом повести «Стародуб» были изданы в одноименной книге Пермским книжным издательством в 1960 году. Быть может, стоит обратить внимание на рассказ «Жил на свете Толька», который послужил как бы прологом к повести «Кража», не изменилось даже имя главного героя. Любопытно, что когда-то мне правился рассказ с таким редкостным для того времени, шибко красивым названием «Ария Каварадосси» — он оказался первым моим произведением, переведенным на другой язык, на французский, и печатался в тогда мало кому известной газете «Московские новости» и потом уже в самом Париже. Рассказ с французского был переведен на русский и напечатан в эмигрантской газете «Русские новости», которую, я уж и не помню какими путями, переправили ко мне, в Пермь. То-то удивления и радости было — меня за границей, в самом аж Париже, знают!

Рассказы: «Последний кусок хлеба», «Кавказец», «Шинель без хлястика» и «Бурелом» — увозил в «Новый мир» проводивший семинар в Перми зам. главного редактора Александр Григорьевич Дементьев, они там были даже набраны, но в таком заредактированном виде, что сделалось уж и неловко мне печатать их под своей фамилией. Я забрал из журнала гранки, поработал над короткими рассказами и напечатал их в журнале «Урал», а наиболее трудный материал рассказа «Бурелом» превратился после большой и серьезной работы в рассказ «Восьмой побег», который я напечатал в журнале «Наш современник» № 8 за 1965 год, и с тех пор этот рассказ я включаю во все свои издания, будет он напечатан и в этом собрании сочинений.

Рассказы: «Сибиряк» («Гражданский человек»), «Земляника», «До будущей весны», — Молотовское книжное издательство, 1953 год. Из них только доработанный «Сибиряк» печатался и переиздавался много, особенно почему-то по юбилейным и разным серийным сборникам. Остальные же из-за их немоцности я никуда не включал, а три совсем слабых рассказа из первой книги я не включаю и в первый том. Пусть это будет только моим наследием, напоминанием о моем литературном детстве, когда я только-только начинал учиться «ходить».

Рассказы «Живая душа», «Глухая просека» — печатались в журнале «Урал».

О романе «Тают снега» сказано в предисловии даже больше, чем он того стоит.

Вот собственно, и все, что я смог выбрать для первого тома из начального периода своего творчества и что, на мой взгляд, заслуживает, если не внимания, то хотя бы читательского любопытства.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Подвоя итоги.</i> Вступительная статья автора.	5
РАССКАЗЫ	65
Сибиряк	67
Земляника	84
До будущей весны	95
Жил на свете Толька	111
Васюткино озеро	128
Гирманча находит друзей	152
Теплый дождь	163
Огоньки	169
Солдат и мать	175
В страдную пору	189
Ария Каварадосси	204
Живая душа	211
Глухая просека	220
Коршун	227
Дядя Кузя — куриный начальник	239
Шинель без хлястика	267
Кавказец	270
Последний кусок хлеба	277
Кровь человеческая	282
ТАЮТ СНЕГА. Роман	239
Часть первая. В конце осени	301
Часть вторая. На крутоярье	383
Часть третья. Тают снега	505
Комментарии	605

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

Художественное оформление А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы А. Ф. Гречицкая, Г. И. Сысоева

Художественный редактор Е. В. Корнеева

Технический редактор Н. Н. Шабли

Корректоры

А. Ф. Пантелеева, В. Н. Ключина, Е. М. Гаврилина, Л. С. Павленко

Оператор компьютерной верстки Н. А. Боброва

ЛР N010162 от 04.01.92

Подписано в печать 20.01.97. Формат 84x108 1/32. Бум. офс. N 1.
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 31.92. Уч.-изд. л. 32.44.
Тираж 10000. С-001. Заказ 60.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате
«ОФСЕТ»

660049. Красноярск, ул. Республики, 51.

